

Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук
Петрозаводский государственный университет

МАТЕРИАЛЫ
научной конференции
«Бубриховские чтения:
гуманитарные науки на Европейском Севере»

Петрозаводск
1–2 октября 2015 г.

Редколлегия:

Н. Г. Зайцева, Е. В. Захарова, И. Ю. Винокурова, О. П. Илюха,
С. И. Кочкуркина, И. И. Муллонен, Е. Г. Сойни

Рецензенты: д.ф.н. А. В. Пигин, к.ф.н. Т. В. Пашкова

Материалы научной конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европейском Севере». Петрозаводск, 1–2 октября 2015 г. / Редкол.: Н. Г. Зайцева, Е. В. Захарова и др. – Петрозаводск, 2015. – 282 с. [Электронный ресурс].

Электронная публикация включает в себя материалы, подготовленные к конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европейском Севере» (Петрозаводск, 1–2 октября 2015 г.), приуроченной к 85-летию юбилею Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН и 125-летию юбилею одного из основоположников российского финно-угроведения Дмитрия Владимировича Бубриха. В рамках центральной темы конференции рассматриваются актуальные вопросы финно-угорского языкознания, фольклористики и литературоведения, этнической истории и современных этносоциальных процессов.

Оригинал-макет Н. Л. Шибанова

ISBN 978-5-9274-0698-2

© Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 2015
© Коллектив авторов, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Пленарное заседание	5
<i>Колтакова Н. Н.</i> Д. В. Бубрих: открывая заново (к 125-летию со дня рождения)	5
<i>Зайцева Н. Г.</i> Фонетические маркеры вепсской диалектной речи	9
<i>Муллонен И. И., Сойни Е. Г.</i> Д. В. Бубрих и «Калевала»	14
<i>Галанина Л. Б.</i> Материалы по научно-организационной деятельности Д. В. Бубриха в Научном архиве КарНЦ РАН	23
Секция «Археология»	28
<i>Бельский С. В.</i> Погребальная обрядность древней <i>корелы</i> : современное состояние проблематики	28
<i>Иванищева М. В.</i> О рыболовстве в каменном веке и средневековье на Тудозере	33
<i>Сумманен И. М.</i> Средневековые памятники юго-восточной Карелии: проблема культурной атрибуции	43
<i>Тарасов А. Ю.</i> Начальный этап заселения побережья Онежского озера в свете новых радиоуглеродных датировок	51
<i>Филатова В. Ф.</i> Некоторые предположения о социальном устройстве и верованиях в обществе эпохи мезолита в бассейне Онежского озера	52
<i>Хорошун Т. А.</i> Геохимические исследования керамики позднего неолита Карелии	65
Секции «История» и «Этнография»	80
<i>Бландов А. А.</i> Валдайские карелы в XXI веке: опыт изучения постэтнического сообщества	80
<i>Вавулинская Л. И.</i> Промышленное и сельскохозяйственное переселение в Карелию и изменение национального состава республики (конец 1940-х – 1950-е гг.)	85
<i>Габукова О. С.</i> О принципах обучения традиционной певческой культуре в детском фольклорном коллективе карелов-людиков села Михайловское Олонецкого национального муниципального района	89
<i>Дубровская Е. Ю.</i> Политические приоритеты и житейские заботы: губернский центр и карельская глубинка весной–осенью 1917 г.	93
<i>Дудинова Т. Ю., Ковчинская С. Г.</i> Проектная деятельность школьного музея поселка Гирвас	99
<i>Ивановна Л. И.</i> Функциональный код карельской бани	101
<i>Илюха О. П.</i> Белорусы в составе промышленных рабочих Карелии в 1960-х годах	106
<i>Кокко В. А.</i> Репатриация ингерманландских финнов в Финляндию: 25 лет истории	110
<i>Конкка А. П.</i> Карельская традиция ряжения и связанная с ней терминология	115
<i>Литвин Ю. В.</i> Маркеры этнической идентичности карелов (по материалам исследования в г. Петрозаводске)	121
<i>Логинов К. К., Наумов Ю. М.</i> Славянское и дославянское в названиях водных транспортных средств и традиционной лодкостроительной терминологии Заонежья и Водлозерья	125
<i>Минвалеев С. А.</i> Этнографическое изучение карелов-людиков в 1950-е гг.	135
<i>Нилов В. М.</i> «Олонецкие губернские ведомости» как фактор развития общественного сознания	139
<i>Пушкин И. А.</i> Этнические особенности гражданской культуры населения белорусско-российского пограничья (на примере Могилевского региона)	143
<i>Семакова И. Б.</i> О некоторых металлических идиофонах карелов и вепсов	147
<i>Смирнова Т. М.</i> Школы для финно-угорского населения Ленинградской области (1936–1938 гг.)	152
<i>Строгальщикова З. И.</i> Вепсская письменность: история восстановления.	159

<i>Урванцева Н. Г.</i> Почитание Николая Чудотворца в Олонецкой губернии (по материалам газеты «Олонецкие губернские ведомости» и журнала «Олонецкие епархиальные ведомости»)	168
Секция «Литература и фольклор»	173
<i>Казакова М. В.</i> Проблемы билингвизма в поэзии Олега Мишина – Армаса Хийри 1970-х гг.	173
<i>Калинина Е. А.</i> Литературные беседы как форма преподавания российской словесности в учебных заведениях Европейского Севера России в первой половине XIX в.	179
<i>Колоколова О. А.</i> Трансформация мотива блудного сына (блудной дочери) в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» и в повествовании Н. Яккола «Водораздел». Интертекстуальные связи	184
<i>Марцина И. Ю.</i> Предмодернистский психологизм в «Маленькой истории жизни» Т. Паккала (1903)	188
<i>Матвеева И. С.</i> Восприятие творчества Ф. М. Достоевского в шведоязычной литературе Финляндии XX века	194
<i>Миронова В. П.</i> Символический мир карельской частушки	196
<i>Сойни Е. Г.</i> Средневековое финское искусство в эссеистике Н. К. Рериха	204
<i>Титова А. А.</i> Капшинские вепсы в художественной литературе	209
<i>Чикина Н. В.</i> К вопросу о билингвизме в творчестве П. Пертту	214
<i>Чикина Н. В.</i> Т. А. Коски – музыковед и собиратель фольклора	217
Секция «Языкознание»	220
<i>Бойко Т. П.</i> Новая лексика в словарях новописьменного карельского языка и ее адаптация	220
<i>Зайков П. М.</i> Симпатетические конструкции в карельском языке	223
<i>Князева Ю. А.</i> Современное состояние удмуртского языка	226
<i>Кузьмин Д. В.</i> Типовые топоосновы для отражения размера объекта	230
<i>Малкова Т. А.</i> Научная и преподавательская деятельность Д. В. Бубриха в годы Великой Отечественной войны в г. Сыктывкаре Коми АССР	238
<i>Муковская Л. Ю.</i> Венгерская глагольная приставка <i>us</i> эстонское аффиксальное наречие (в плену терминологии)	242
<i>Муллонен И. И.</i> Топонимический метод в исследовании этноязыковой истории Карелии	247
<i>Мызников С. А.</i> Вепские диалектные данные: проблемы дифференциации и этимологизации	256
<i>Нагурная С. В.</i> Роль Д. В. Бубриха в создании единого карельского языка	259
<i>Новак И. П., Егорова А. А.</i> Система послеложных падежей в периферийных диалектах карельского языка	267
<i>Родионова А. П.</i> Людиковские материалы в «Диалектологическом атласе карельского языка»	272
<i>Тихонович Е. А.</i> Partitiivin käyttö lauseopilliselta kannalta [Парциальные члены предложения в финском языке]	278

Пленарное заседание

Наталья Николаевна Колпакова
*Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург*

Д. В. БУБРИХ: ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО (К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

О члене-корреспонденте АН СССР профессоре Дмитрие Владимировиче Бубрихе писали много в связи с разными знаменательными датами [Керт 1975, 1992, Дубровина 1962, 1992 и другие]. И вот новый, 125-летний юбилей. Сегодня литература о Д. В. Бубрихе сама становится историей и представляет особый интерес, поскольку, не секрет, что и те, кто писал о нем, не всегда могли сказать все, что хотели, и так, как хотели. Некоторые факты биографии, игравшие положительную роль до революции, могли стоить жизни в послереволюционный период, и, наоборот, при советской власти положительно оценивались события, которые могли самым негативным образом повлиять на его судьбу. Перечитывая статьи и книги о Д. В. Бубрихе, осознаешь, что нынешние поколения студентов, молодых преподавателей, исследователей не всё в его биографии и научной деятельности поймут без специальных комментариев. Много из того, о чем писали, заставляет задуматься, многое относится к области загадок. Поэтому и возникает необходимость вновь обратиться к архивным материалам.

Есть и еще одна причина, побудившая автора этих строк обратиться в первую очередь к архивным документам, не полагаясь только на публикации. Чем основательнее знакомишься с работой и научно-исследовательской деятельностью Д. В. Бубриха, тем больше хочется знать о нем не только как об ученом, хотя и о его научной работе сказано еще не все. Сейчас, когда мы отмечаем уже 125-летний юбилей Д. В. Бубриха – человека талантливого, очень интересного, обладавшего прекрасным чувством юмора – не хотелось бы, чтобы его образ, по прошествии времени, превращался в образ хрестоматийного классика. В этом отношении многое сделал Г. М. Керт – он не только учился у Д. В. Бубриха и беззаветно был ему предан. Уважение и любовь к своему Учителю, он доказывал не словами, а делами, собирая материалы о его жизни и деятельности и публикуя замечательные книги и статьи. Попытаемся же и мы оживить некоторые страницы биографии Д. В. Бубриха и рассказать подробнее о том периоде жизни, когда он учился и делал первые шаги как исследователь и преподаватель.

Начнем с некоторых фактов биографии. О Д. В. Бубрихе всегда писали как о сыне учителя средних учебных заведений Петербурга. Эти сведения вносил и сам Дмитрий Владимирович в соответствующую графу личного листка по учету кадров во время работы в университете. Однако в 1909 году прошение к ректору о приеме в Санкт-Петербургский университет после окончания гимназии он подписывает как сын статского советника, и здесь нет ни слова о том, что его отец В. Ф. Бубрих – учитель [ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597, л. 7]. Об этом мы узнаем из прилагаемого к прошению послужного списка отца [ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597, л. 45–52], который свидетельствует, в частности, о том, что в 1889 году Владимир Федорович Бубрих, в прошлом выпускник Санкт-Петербургского университета, получает назначение в Хельсинки и приступает к работе в качестве преподавателя сначала немецкого, а потом и русского языка в двух Гельсингфорских гимназиях. Только в 1898 году (через 9 лет) предложением Попечителя С-Петербургского учебного округа он был «перемещен» в Новгородское реальное училище [ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597, л. 46–47]. Если вспомнить о том, что Д. В. Бубрих родился в июле 1890 года, то можно предположить, что первые годы жизни он мог провести в Финляндии. Кстати, и в свидетельстве о рождении значится, что он родился в семье преподавателя Гельсингфорской Александровской гимназии [ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597, л. 43].

О статском советнике нужно сказать несколько слов отдельно. Дело в том, что по окончании университета в царской России рассматриваемого периода вместе со специальностью выпускник получал и чин, соответственно Табели о рангах. За подготовку в университетах, прежде всего, высококвалифицированных специалистов, а не чиновников решительно выступил Министр народного просвещения П. Н. Игнатьев в 1916 году, но только в 1917 году Советской властью чины были отменены. В царской России статский советник – гражданский чин 5-го класса. Чтобы понять, насколько высок его статус, достаточно сказать, что этот чин входил в первую (то есть, высшую) группу, причем, за ним следовал действительный статский советник, имевший право на потомственное дворянство. Очевидно, что после революции давать подобные сведения об отце (как мы знаем, в различных документах часто встречалась графа «Происхождение») было просто опасно. Однако не исключено, что именно то обстоятельство, что Д. В. Бубрих был сыном статского советника, помогло ему после отчисления за участие в студенческом движении довольно скоро вернуться в университет: 5 февраля 1911 года он был исключен из числа студентов, а уже 7 мая того же года (через 4 месяца!) восстановлен предложением Министра народного просвещения Л. А. Кассо (причем, весьма реакционно настроенного министра, усилия которого были направлены на укрепление государственного контроля за университетами и ограничение их самостоятельной деятельности) [ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597, л. 4, 5]. В связи с этим, вызывает недоумение содержание одного из документов (датированного 1913 годом) в личном деле студента Д. В. Бубриха. В этом документе, именуемом «удостоверением... для представления в историко-филологическую испытательную комиссию», обнаруживается следующая запись: «За время пребывания в стенах СПб Университета ни в чем предосудительном замечен не был» (!) [ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597, л. 14]. Документы говорят и о том, что после отчисления из университета в феврале 1911 года Д. В. Бубрих вынужден был вернуться домой, к родителям, то есть, ему ничего и не оставалось делать, как покинуть Петербург, поскольку семья жила в Риге. В дальнейшем, уже в послевоенные 1940-е годы Д. В. Бубрих, работая в университете, неоднократно заполнял личный листок по учету кадров. В личном листке по учету кадров эти факты биографии получали следующую интерпретацию: в графе об участии до революции в революционном движении Д. В. Бубрих указывал, что «в 1911 году был арестован за участие в студенческом революционном движении и выслан из Петербурга» [ОАСПбГУ, ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127, л. 2] или «в 1911 году был репрессирован (сидел в тюрьме, высылался) за участие в студенческом революционном движении» [ОАСПбГУ, ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127, л. 15].

В 1912 году Д. В. Бубрих женился, будучи студентом третьего курса. Для того чтобы вступить в брак, надо было получить разрешение от ректора Университета, а чтобы поехать на собственную свадьбу (венчание состоялось в Риге) – так называемый «билет», своего рода свидетельство о том, что студент Д. В. Бубрих «уволен в отпуск в Ригу сроком по 6 апреля 1912 года» [ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597, л. 13]. Как мы видим, все перемещения студентов строго контролировались. По истечении срока отпуска этот документ должен был быть возвращен проректору с соответствующей отметкой церкви о венчании, что и было сделано.

В 1913 году после окончания учебы на славяно-русском отделении (с дипломом первой степени) Д. В. Бубрих был оставлен при Петроградском университете для подготовки к преподавательской и научной деятельности по кафедре русского языка. Однако, как свидетельствуют протоколы заседаний историко-филологического факультета и совета университета с 1913 по 1917 гг. (четыре года!), он оставался без стипендии [см. например: ЦГИА, ф. 14, оп. 3, т. 4, д. 16196, л. 60; ф. 14, оп. 3, т. 4, д. 16216, л. 329 об.; а также: ф. 14, оп. 1, д. 10966, л. 58; ф. 14, оп. 1, д. 11367, л. 96]. Летом 1913 года Д. В. Бубрих отправляется в диалектологическую экспедицию во Владимирскую губернию исследовать говор села Пустоши. Всего за 9 дней ему удается, не без проблем с местным населением, собрать богатый материал, о чем он сразу пишет А. А. Шахматову письмо, своего рода отчет. Большая, вторая часть этого письма представляет собой почти готовую статью о фонетических особенностях исследуемого говора [СПФ АРАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 192, л. 3–10] (материал этот хорошо

известен, он был опубликован в 1914 году). Однако интересна и первая часть письма, в которой Д. В. Бубрих с юмором повествует о возникших в процессе общения с местным населением проблемах и проявляет себя как мастер эпистолярного жанра. Оказывается, крестьяне с недоверием и даже враждой отнеслись к молодому исследователю и никак не хотели понять цель его приезда: «Он говорит, что записывает в книжечку наше наречие; а на самом деле он прописывает наши имена. Уедет, – а там гляди, нас похватают да и погонят, куда Макар телят не гонял» [СПФ АРАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 192, л. 2]. И далее Д. В. Бубрих подробно, с юмором пишет своему учителю об этой экспедиции: «Один мужичок усиленно распространял слух, что в прошлом году пил со мною чай на стеклянном заводе (12 в. от Пустошей), и что я тогда прозывался Смирновым, а не Бубликом... Чтобы рассеять эти слухи, я отправился к старосте, показал ему свои бумаги и попросил уверить всех интересующихся, что я личность самая благонамеренная. Однако это на крестьян впечатления не произвело... Под конец моего пребывания в Пустошах благодаря Ежову и старосте, а особенно благодаря тому, что я дал крестьянам на водку, положение мое несколько улучшилось. Но на смену явилось новое зло. Узнав, что я за разговор плачу деньги, ко мне повалила вся деревня. Это, конечно, было хорошо с той стороны, что я успел выслушать людей самых разнообразных возрастов и полов. Но перспектива истратить все деньги и оказаться запертым в Пустошах навеки – заставила меня позорно бежать... Я бежал поздно вечером, опасаясь, что крестьяне пожелают по случаю моего отъезда на водку и таким образом лишат меня возможности полностью оплатить свой проезд по железной дороге» [СПФ АРАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 192, л. 2 об.–3 об.].

Между тем, жизнь Д. В. Бубриха с этого времени складывалась не просто, поскольку он вынужден был не только заниматься «подготовкой к преподавательской и научной деятельности», но и работать. В 1913 году умирает его отец, в 1915 году навсегда уезжает в США один из братьев, Лев, а через пять лет, в 1918 году, умирает мать [ОАСПБГУ, ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127, л. 1]. Надо еще вспомнить о том, что в это время идет Первая мировая война, разразившаяся летом 1914 года. Читая письма Д. В. Бубриха А. А. Шахматову (с 1913 по 1920 год), можно составить некоторое представление об этом периоде жизни. Из переписки следует, что в Петербург Д. В. Бубрих переезжает в 1915 году, но до этого лишь приезжает не часто, а живет сначала в Риге, потом в Вендене (Латвия) и преподает там в гимназии, работая также над словарем русского языка и ежедневно читая труды Лоренца [СПФ АРАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 192, л. 11, 12, 14–18]. В последнем письме к А. А. Шахматову от 28 июля 1920 года (Д. В. Бубрих в это время живет уже в Петрограде) в приписке P.S. на полях он с горькой иронией пишет: «К тому, что называлось магистерскими экзаменами, никак не могу отнестись с достоподобным тщанием. Впрочем, Бог даст, как-нибудь справлюсь» [СПФ АРАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 192, л. 26 об.]. А через две с небольшим недели, 16 августа 1920 года (в возрасте всего лишь 56 лет) А. А. Шахматова не стало.

Письма к А. А. Шахматову любопытны и с еще одной точки зрения: их содержание ярко свидетельствует о том, что Д. В. Бубрих всегда стремился обсуждать с А. А. Шахматыным те лингвистические проблемы, над которыми работал. В этот период он занимается русистикой, славистикой и индоевропеистикой. Письма Д. В. Бубриха А. А. Шахматову, датированные 1913–1920 гг. (семь лет переписки!), не содержат сведений о том, что в это время он хотя бы предполагает, планирует заниматься финно-угорскими языками [СПФ АРАН, ф. 134, оп. 3, ед. хр. 192, л. 1–32]. В 1920 году он сдает магистерские экзамены, завершает работу над диссертацией о северно-кашубской системе ударения. С 1920 года он начинает преподавать в Петроградском университете [ОАСПБГУ, ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127, л. 48], с 1922 года, по данным Г. М. Керта, читает сравнительную грамматику индоевропейских языков, позднее – курс финского языка, а с 1925 года – финно-угорское языкознание; с 1920 года (по 1935 год) преподает также в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена, сначала – историю русского языка, позднее – современный финский язык [Керт 1975: 11; см. также: ОАСПБГУ, ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127, л. 28 об.]. Здесь следует отметить, что некоторые даты, касающиеся времени замещения преподавательских должностей в начале трудовой деятельности (речь идет о 1920–1921 гг.), в статьях о Д. В. Бубрихе и в его

личном деле из университетского архива, не совпадают. Публикации, связанные с финно-угорской тематикой, начинают появляться после 1925 года. С этого момента Д. В. Бубрих полностью посвящает себя финно-угорским языкам.

Выше мы попытались, опираясь в основном на архивные документы, ответить на ряд вопросов, касающихся так называемого «дофинно-угорского» периода в жизни и деятельности Д. В. Бубриха, оживить некоторые страницы его жизни, поскольку финно-угроведы, по понятным причинам, уделяли меньше внимания этому времени. Попытаемся теперь ответить на вопрос, который часто задают в наши дни молодые люди, посещающие лекции по финно-угроведческой тематике: почему именно с 1925 года и сразу столь интенсивно Д. В. Бубрих начинает заниматься финно-угорскими языками. Этому сопутствует целый ряд обстоятельств. Очевидно, что на судьбу, работу, научную карьеру Д. В. Бубриха оказали влияние различные, порой драматические события, происходившие как в жизни страны, так и в жизни людей, окружавших его.

Во-первых, Д. В. Бубрих должен был как русист и славист завершить все, что было задумано и запланировано с А. А. Шахматовым. Можно представить себе, каким тяжелым ударом для него в 1920 году явилась смерть А. А. Шахматова, который был не только его наставником в науке, но и старшим товарищем, к которому можно было обратиться за советом, о чем свидетельствуют письма. Как мы знаем, магистерская диссертация Д. В. Бубриха была не только успешно завершена и опубликована в 1924 году, но и получила, как он сам написал в одной из многочисленных автобиографий в личном деле, «блестящий печатный отзыв» известного индоевропеиста А. Мейе [ОАСПбГУ, ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127, л. 25].

Во-вторых, следует вспомнить о том, в какое трудное, если не сказать, страшное время началась в 1920 году преподавательская деятельность Д. В. Бубриха, и какие события этому предшествовали. Незадолго до этого, в 1918 году закончилась Первая мировая война. В России в 1917 году произошел революционный переворот, далее разразилась гражданская война, что имело тяжелые для российской науки и образования последствия. Можно привести лишь некоторые рубрики и выдержки из обзора архивных документов Петроградского университета этих лет. *Аресты и репрессии* (1918, 1919, 1921–1926 гг.): Протокол экстренного заседания Совета ПГУ в связи с арестом ЧК с 30 августа 1919 года около 20 профессоров университета (в их числе, непреременный секретарь РАН С. Ф. Ольденбург, С. К. Булич, Л. В. Щерба и другие); принято решение направить депутацию к В. И. Ленину и собрать по 100 рублей с членов Совета на питание арестованных, а в сентябре было решено сбор средств продолжить «в пользу арестованных товарищей или на случай выселения из квартир, болезни или смерти» [Материалы 1999: 88]. *Материально-бытовое положение*: Письмо ПГУ от 15 декабря 1919 года в Объединенный совет научных учреждений и вузов и в Комиссариат Народного Просвещения «по поводу бедственного положения и гибели русских ученых» [Материалы 1999: 89–91]; Письмо Совета ПГУ (январь 1920 года) в КУБУ (Комиссия по улучшению быта ученых) «о тяжелом положении персонала университета: за последнее время умерло 15 чел., хоронить умерших приходится в складчину, гробы отсутствуют, некоторые преподаватели вынуждены есть мясо лабораторных животных...» [Материалы 1999: 89–90]. Понятно, почему не нашла практического воплощения инициатива А. А. Шахматова, И. А. Бодуэна де Куртене, С. К. Булича и Л. В. Щербы об учреждении кафедры угро-финской филологии (октябрь 1917 года), поддержанная Советом историко-филологического факультета и Советом университета в декабре 1917 года (постановили принять учреждение кафедр балтийской и угро-финской филологии), а в феврале 1919 года повторно поддержанная Советом университета (постановили кафедры балтийской и угро-финской филологии учредить) [ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 27, ед. хр. 114, л. 1–3] (подробнее об этих событиях автором доклада рассказывается в статье 2015 года, которая сдана на опубликование в сборнике материалов XLIV Международной филологической конференции «Уралистика»). Таким образом, создавалась парадоксальная ситуация: учрежденная кафедра не могла работать, как в силу внешних обстоятельств, так и потому, что не было специалистов по финно-угорским языкам. В последующие годы положение осложнялось еще и постоянными реорганизациями, которым под-

вергался Петроградский университет и историко-филологический факультет. В процессе очередной реорганизации в 1925 году, а именно в ходе преобразования факультета общественных наук (ФОН, возникшего в 1919 году на базе историко-филологического факультета и факультета восточных языков) в факультет языкознания и материальной культуры (ЯМ-ФАК) [Филологический факультет 2008: 13, 24], видимо, наконец, и «вспомнили» о кафедре финно-угорской филологии, не без инициативы со стороны Академии наук. Кандидатура молодого, но уже опытного, отлично зарекомендовавшего себя лингвиста Д. В. Бубриха, ученика А. А. Шахматова, уже преподававшего финский язык, несомненно, подходила для заведования финно-угорской кафедрой. В работе заведующего кафедрой финно-угорской филологии ЛГУ профессора Д. В. Бубриха было лишь два вынужденных перерыва: с 10 января 1938 года по 1 сентября 1940 года (в связи с арестом) и с 15 сентября 1941 года по 1 декабря 1943 года (в связи с эвакуацией в Сыктывкар) [ОАСПБГУ, ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127, л. 48]. И таким образом, с 1925 года и до 30 ноября 1949 года – последнего дня своей жизни – Д. В. Бубрих работал на кафедре, которой в этом году исполняется 90 лет.

Литература и источники

Дубровина З. М. Д. В. Бубрих как исследователь финно-угорских языков // Учен. зап. Ленингр. ун-та. 1962. № 314. Серия филол. наук. Вып. 63: Финно-угорская филология. С. 3–11.

Дубровина З. М. Дмитрий Владимирович Бубрих как исследователь прибалтийско-финских языков // Д. В. Бубрих: К 100-летию со дня рождения. СПб., 1992. С. 17–24.

Керт Г. М. Дмитрий Владимирович Бубрих. Очерк жизни и деятельности. Ленинград, 1975.

Керт Г. М. Д. В. Бубрих – основатель отечественного финно-угроведения // Д. В. Бубрих: К 100-летию со дня рождения. СПб., 1992. С. 5–16.

Материалы по истории Санкт-Петербургского университета. 1917–1965. Обзор архивных документов / Под ред. Г. А. Тишкина. СПб.: Издательство С-Петербургского университета, 1999.

ОАСПБГУ (Объединенный архив СПбГУ), ф. 1, оп. ОК1949–50, св. 69, д. 127.

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета: Материалы к истории факультета / Авт.-сост. И. С. Лутовинова; Отв. ред. С. И. Богданов. 4-е изд. (юбилейное), испр. и доп. СПб.: Филол. ф-т С.-Петерб. гос. ун-та, 2008.

СПФ АРАН (Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук), ф. 134, оп. 3, ед. хр. 192.

ЦГИА (Центральный государственный исторический архив СПб.), ф. 14, оп. 3, д. 53679, св. 2597.

ЦГИА, ф. 14, оп. 3, т. 4, д. 16196.

ЦГИА, ф. 14, оп. 3, т. 4, д. 16216.

ЦГИА, ф. 14, оп. 1, д. 10966.

ЦГИА, ф. 14, оп. 1, д. 11367.

ЦГИА СПб., ф. 14, оп. 27, ед. хр. 114.

Нина Григорьевна Зайцева

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ФОНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВЕПССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ*

В последние годы лингвистическая география как метод исследования языков стала исключительно востребованной, поскольку ученые изучили многие наиболее важные аспекты языков, а также накопили значительный языковой материал, который может быть интер-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-00063 «Формирование диалектных ареалов вепсского языка» (2015–2017).

претирован и нанесен на лингвистические карты, наглядно характеризуя диалектные ареалы. Вепские материалы также попали в поле зрения лингвистических атласов, прежде всего, «Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков» [ALFE 2004, 2007, 2010]. В последние годы при поддержке РГНФ ведется работа по подготовке «Лингвистического атласа вепского языка», который призван помочь более обоснованно высказать идеи формирования вепских диалектных ареалов. Вопросник атласа содержит около 400 вопросов по всем областям языка: фонетике, грамматике, лексике [см. Вопросник 2013: 7–45].

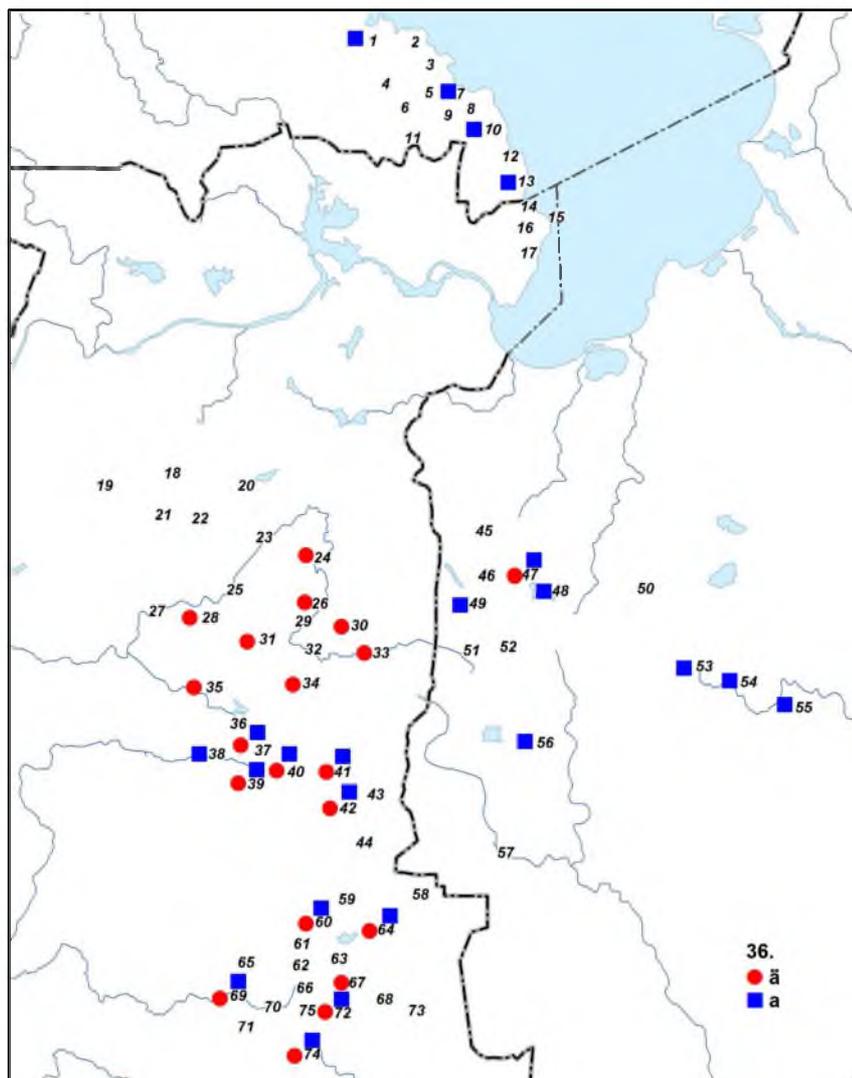
Фонетические различия всегда наиболее заметны, и именно с ними мы сталкиваемся, прежде всего, когда говорим о диалектной речи. Они сказываются в дальнейшем на характере звучания лексем, а также на оформлении морфологических показателей, таким образом вторгаясь в грамматику и отчасти воздействуя на нее. В данном случае мы обратились лишь к одному древнему прибалтийско-финскому фонетическому явлению – употреблению переднерядных звуков и тем самым проявлению остатков закона гармонии гласных, которая хоть и не настолько ярко, тем не менее, характеризует вепскую диалектную речь.

Фонетика вепского языка достаточно хорошо исследована финляндскими учеными с точки зрения ее исторического развития. Интерес к исторической фонетике вепского языка у них возник в эпоху младограмматизма, когда искали возможность найти более древние факты языка для объяснения истории развития той или иной исторической категории, того или иного форманта или явления. С этой точки зрения у исследователей после поездок в места проживания вепсов и анализа языкового материала возникла идея о достаточно древнем состоянии некоторых фактов языка именно в вепском континууме. Вепский язык с легкой руки Д. Е. Д. Европеуса даже получил наименование «прибалтийско-финского санскрита», которым нередко оперировали лингвисты.

Как известно, для фонетики многих прибалтийско-финских языков и сейчас свойственно явление гармонии гласных, когда употребление гласных звуков в слове регламентируется качеством гласного звука первого слога. Большинство исследователей склонно признавать праприбалтийско-финские корни гармонии гласных и в языке вепсов [см. напр.: Posti 1935: 73–89]. По мнению же исследователя вепского языка Л. Кеттунена, гармония гласных изначально не была характерна для языка вепсов, а лишь позднее была привнесена в него различного рода западными передвижениями родственных народов или их групп, в которых он видел представителей восточных групп воды [Kettunen 1935: 231–236]. Кеттунен, кроме того, полагал, что явление гармонии гласных в вепском языке в последние столетия не ослабело, а – напротив – в результате данного влияния укрепилось. В этом случае он склонен был не преувеличивать роль русского воздействия на вепский язык. Подчеркнем, что именно в северновепском диалекте и, очевидно, ответвившихся от него восточных говорах средневепского диалекта, т.е. в говорах, которые находятся на противоположной, восточной, окраине вепского языкового ареала, следов гармонии гласных практически не наблюдается. И было бы соблазнительно в этом влиянии увидеть источник формирования вепских диалектных ареалов, о котором говорит Л. Кеттунен. Но скорее всего, следует согласиться с теми исследователями, которые употребление переднерядных гласных звуков в вепском языке дальше первого слога считают остатком древней прибалтийско-финской фонетической системы [Wiik 1989: 105–106], которая постепенно ослабевает.

Отметим, что переднерядные гласные в языке вепсов употребляются ограниченно и чаще всего не выступают далее второго или даже первого слога. Тем не менее, они существуют в вепском языке, а в отдельных случаях могут отчасти маркировать и диалектные ареалы. В вопроснике «Лингвистического атласа вепского языка» предусмотрен ряд вопросов, который был призван решить: насколько и каким образом переднерядные гласные звуки представлены в вепском языке и могут ли они служить некими маркерами диалектных регионов, способствующими их формированию.

Собранный для «Лингвистического атласа вепсского языка» материал и его анализ



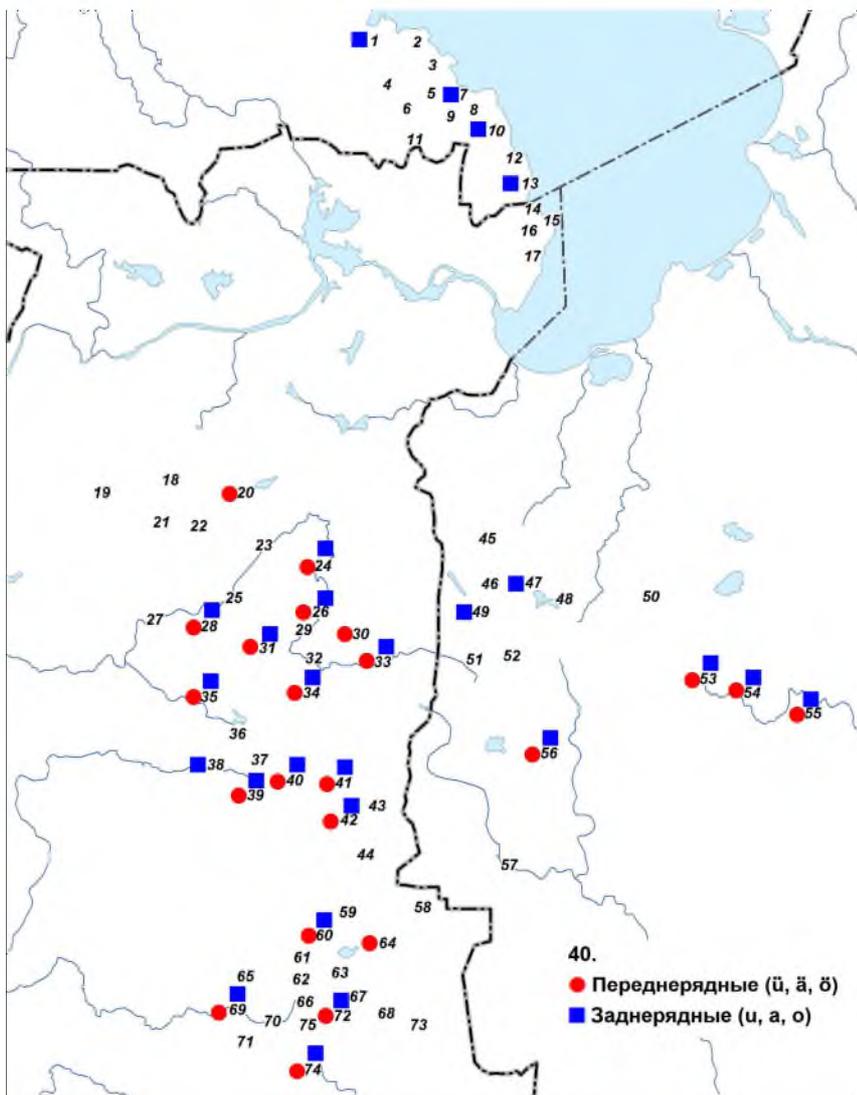
Карта 36. Что произносится во *втором* слове, если в *первом* слове -i-, -e-: -ä- или -a-?

позволил составить 2 лингвистические карты – 36 и 40. Карта 36 (Что произносится во *втором* слове, если в *первом* слове -i-, -e- – ä или a: на примерах лексем *igä* ~ *iga* ‘век’; *sil’mäd* ~ *sil’mad* ‘глаза’; *pit’käd* ~ *pit’kad* ‘длинные’, *pidän* ~ *pidan* ‘держу’; *idäb* ~ *idab* ‘прорастает’; *midä*, *mid’a* ~ *mida* ‘что’; *hiinän*, *heinän* ~ *heinan*, *hiinan* ‘сено-GenSing’; *siinän*, *seinän* ~ *seinan*, *siinan* ‘стена GenSing’; *liibän*, *leibän* ~ *leiban*, *liiban* ‘хлеб-GenSing’; *veibä*, *vüibä* ~ *veiba*, *viiba* ‘унесли’-3PImpPl) демонстрирует полное сохранение ä во всех выясняемых случаях 2-го слога в центральном средневепсском западном ареале: Vil, Mg, Jä, Ladv, Pec, Nem, En, Rih (*igä*, *sil’mäd*, *pit’käd*, *pidän*, *idäb*, *midä*, *hiinän*, *liibän*, *siinän*, *vüibä*). В части говоров западного ареала отмечается во *втором* слове двойственность: т. е. в ряде слов сохраняется ä, а в ряде слов ä > a: Nür, Reb, Har, Kor, Noid (напр., *pidän*, *idäb* – но *iga*, *sil’mad*, *pit’kad*, *mida*, *hiinan*, *liiban*, *siinan*).

Из наблюдений К. Вийка [Wiik 1989: 48], который проявлению гармонии гласных в языке вепсов посвятил целую монографию, следует, что наиболее последовательными в отношении представительства переднерядных гласных и, таким образом, остатков гармонии гласных, выступают именно средневепсские западные говоры, сконцентрированные вокруг п. Вонозеро (En). И именно этот регион с находящимися с ним по соседству центральными западновепскими говорами, и в нашем случае, как показал сбор материала для атласа вепсского языка и как свидетельствует карта, прочно удерживается в ситуации двусложности слова на позиции гармонии гласных.

Что касается южновепсского диалекта, который исследователи всегда считали наиболее архаичным, выдвигая идею о сходстве системы гласных звуков южновепсского диалекта с финским языком [Wiik 1989: 11–17], то собранный материал показал, что употребление переднерядных гласных звуков в двусложных словах, в случае, когда в первом слове выступают гласные -e-, -i-, здесь сильно ослабело, и этот ареал на сегодняшний день показывает значительно меньшее сохранение остатков гармонии гласных.

Карта 40 (Что произносится во *втором* слове слова, если в *первом* слове *ü*, *ä*, *ö* – *ü*, *ä*, *ö* или *u*, *a*, *o*: на примерах лексем *hüvüz’* ~ *hüvuz’* ‘доброта’, *sügüz’* ~ *süguz’* ‘осень», *lühüd* ~ *lühud* ‘короткий’, *tähkäd* ~ *tähkad* ‘колосья’, *lämäd* ~ *lämad* ‘теплые’, *vähä* ~ *väha* ‘мало’,



Карта 40. Что произносится во *втором* слоге двусложных слов, если в *первом* слоге *ü, ä, ö, – ü, ä, ö* или *u, a, o*?

sömäd ~ sömad ‘корма’, *södä ~ söda* ‘есть’, *lödä ~ löda* ‘бить’, *mödä ~ möda* ‘продавать’) была призвана выяснить, что выступает во втором слоге слова, если в первом слоге *ü, ä, ö*. Как показал анализ, при звуке *ä* в первом слоге переднерядность гласного второго слога встречается значительно чаще.

Не достаточно показательными оказались случаи с переднерядными *ü* и *ö*. Что касается *ü*, то в значительном количестве говоров (и средневепский западный, и северновецкий ареал) произошло сужение этого звука и переход его в *i*: *sigiz* ‘осень’ (ср. *sügüz*), *lihid* ‘короткий’ (ср. *lihüid*), и уже трудно было определить, что же в этом случае ранее употреблялось.

В качестве примеров, какого качества звуки выступают во втором слоге, когда в первом слоге присутствует *ö*, были взяты глаголы типа *söda, löda, möda*. За редкими исключениями в двусложных словах с глас-

ным *ö* в первом слоге гармония гласных отсутствует. И в целом, переднерядный *ö* исключительно редко встречается в языке вепсов дальше первого слога. В опросных же случаях можно полагать, что несохранению во втором слоге переднерядных гласных в значительной степени способствовал суффикс инфинитива *-da*, который законсервировался в вепском языке в заднерядном варианте. Лишь в южновепском Боброзере (Mai), где в первом слоге наблюдается вместо *ö* долгий *ee* (*seedä, leedä, meedä*), глаголы сохранили гармонию гласных. Думается, что в данном случае сказалась ошибка с недостаточно правильно подобранными примерами в вопроснике атласа. Хотя в целом, утверждение об ограниченном употреблении переднерядного *ö* дальше первого слова, замещением его гласными *o, u* высказывалось и другими исследователями (*törzotada* ‘надуть губы’, *öhusai* ‘до ночи’) [Tunkelo 1946: 716–718].

Любопытно, что в вепском языке есть отдельные случаи сохранения переднерядных гласных и дальше второго слога. По нашим наблюдениям, данное явление больше всего характерно для форм иллатива или иных слов, где в третьем слоге выступает согласный *h*: *süvähä* ‘в глубокий’, *külähä* ‘в деревню’, *ülähän* ‘высоко’. Очевидно, былая переднерядность гласных звуков содействовала смягчению согласного *h*, который, в свою очередь, способствовал сохранению переднерядных звуков. И в целом, исследователи полагают, что употреблению переднерядных гласных дальше первого слога помогла сохраниться именно ранняя палатализация согласных звуков, особенно в тех случаях, где палатализованный соглас-

ный следовал за переднерядным гласным звуком, способствуя его сохранению (например: *hüppäs't* «прыгнул») [Wiik 1989: 90].

Хочется отметить, что вариации подобного типа с переднерядным или заднерядным гласным во втором слоге основ важны не только с точки зрения фонетики и формирования диалектных ареалов; они имеют выход в орфографию некоторых грамматических форм младописьменного вепсского языка. В вепсском языке, также как и в иных прибалтийско-финских языках, качество гласного звука было важным особенно для двусложных основ на **-a-**, **-ä-**, поскольку от этого зависело, как поведет себя конечный звук основы при присоединении к нему показателя множественного числа **-i-** или показателя имперфекта **-i-**: **-ä-** всегда в этих случаях выпадал, **-a-** же выпадал лишь тогда, когда в первом слоге выступали гласные **-o-** или **-u-** (напр. вепсск. *kova* «твердый» ~ *kovid*; *soba* «одежда» ~ *sobid*; *krongab* «(он) каркает» ~ *krongi*). В остальных случаях **i** воздействовал таким образом, что при его присоединении **a > o** (напр. *sima* «леска» ~ *simoid*; *kana* «курица» ~ *kanoid*; *valab* «(он) наливает» ~ *valoi*).

После утраты гармонии гласных в говорах вепсского языка возникла большая группа словоизменительных основ на **-a-**, у которых в этом **-a-** исторически совпали **-a-** и **-ä-**. Однако, при словоизменении лексема вела себя за редкими исключениями таким образом, как будто в ней до сих пор употребляется переднерядный **-ä-**, сохраняя о нем своеобразную «генетическую» память, например: *leib* (*liib*) «хлеб» ~ *leiban*, но – *leibid*; *sein* (*siin*) «стена» ~ *seinan*, но – *seinid*; *tedab* «(он) знает» но – *tezi*. Данное явление оказалось чрезвычайно важным при построении правил орфографии в современный период создания вепсского младописьменного языка. Чтобы не было путаницы, при написании для младописьменного языка в качества литературной нормы была выбрана форма средневепсского диалекта, где в конце второго слога в подобных словах выступает переднерядный **-ä-**. В этом случае правило отпадения **-ä-** при присоединении показателя множественного числа **-i-** или имперфекта **-i-** работает и не вызывает сложностей при образовании форм множественного числа или форм имперфекта, например: *hein* «сено»: *heinä-n* ~ *hein-i-d*; *pidäda* «держать»: *pidän* ~ *pidin*. Рефлексы древнего явления гармонии гласных в языке вепсов сказались и в его младописьменной норме, потребовав своеобразного окончательного ее решения.

Таким образом, остатки гармонии гласных, являющиеся древним прибалтийско-финским наследием, характеризуют наибольшим образом центральный ареал западных говоров средневепсского диалекта. Южновепские говоры несколько утратили данное явление в настоящее время, по сравнению с тем, как были изданы образцы речи названного диалекта в начале XX века Л. Кеттуненом [Kettunen 1920, 1925]. Весь северновепский ареал с восточными говорами средневепсского диалекта демонстрирует в этом случае единство, характеризуясь полной утратой во втором слоге переднерядного **ä** и его переходом в **a** (*iga*, *sil'mad*, *pit'kad*, *pidan*, *mida*, *hiinan*, *liiban*, *siinan*). Это выглядит даже несколько непонятно для северновепского диалекта, который по отдельным позициям указывает на контакты с карельским языком и воздействие последнего на него. Карельские наречия сохранили гармонию гласных в полном объеме, однако вепсский это явление оставил без внимания. Влияние русского языка в этом случае оказалось более значительным, нежели могло иметь место влияние карельского языка.

Вепсский язык с точки зрения представительства, и в целом, переднерядных звуков в первом и втором слогах можно разделить на два региона: один – это типичный северновепский регион с примкнувшими к нему восточными говорами средневепсского диалекта, и другой, ему противоположный – южновепский регион со средневепскими западными говорами. Любопытно, что К. Вийк [Wiik 1989: 101], опираясь, прежде всего, на явление гармонии гласных, делит языки на языки «гласного типа», обладающие гармонией гласных (*vokaalikelet*), и языки «согласного типа» без гармонии гласных или языки, согласная система которых характеризуется мощным стремлением к смягчению согласных звуков, компенсируя отсутствие гласных переднего ряда (*konsonanttikelet*). Можно утверждать, что влияние русского языка на вепсский сказывается таким образом, что он постепенно покидает группу языков «гласного типа». И лишь язык центрального западновепского ареала средних вепсов,

а также отчасти южновепского, хоть и не в полной мере, можно считать наследником древнего прибалтийско-финского явления гармонии гласных, которая сказывается до сих пор, определяя различные стороны его языка и участвуя в формировании ареальных особенностей вепской речи.

Список сокращений

En = Enarv, Озера Подпорожский район, Ленинградская область;
Har = Haragl, Харагеничи, Тихвинский район, Ленинградская область;
Jä = Järved, Подпорожский район, Ленинградская область;
Kor = Korbal, Корбиничи, Тихвинский район, Ленинградская область;
Ladv = Ладва, Подпорожский район, Ленинградская область;
Mai = Maigär', Боброзера, Бокситогорской район, Ленинградская область;
Mg = Mäggär', Мягозеро, Подпорожский район, Ленинградская область;
Nem = Nemž, Немжа, Подпорожский район, Ленинградская область;
Noid = Noidal, Нойдала, Тихвинский район, Ленинградская область;
Nür = Nürgl, Нюрговичи, Тихвинский район, Ленинградская область;
Pec = Pecoil, Пелдуши, Подпорожский район, Ленинградская область;
Rih = Rihaluine, Подовинники-Азмозера, Подпорожский район, Ленинградская область;
Reb = Rebagj, Ребов Конец, Тихвинский район, Ленинградская область;
Vil = Vil'häl, Ярославичи, Подпорожский район, Ленинградская область.

Литература

Вопросник «Лингвистического атласа вепского языка» // Вепские ареальные исследования. Петрозаводск, 2013.
ALFE = Atlas Linguarum Fennicarum, I–III. Helsinki, 2004–2010.
Kettunen L. Näytteitä etelävepsästä, I–II. Helsinki, 1920, 1925
Kettunen L. Vepsän vokaalisoinnun iästä // Virittäjä. Helsinki. 1935.
Posti L. Vepsän vokaalisoinnusta // Virittäjä. Helsinki, 1935.
Tunkelo E. A. Vepsän kielen äännehistoria // Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Toimituksia, 228. Helsinki, 1946.
Wiik K. Vepsän vokaalisointu // Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki, 1989.

Ирма Ивановна Муллонен, Елена Григорьевна Сойни
*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

Д. В. БУБРИХ И «КАЛЕВАЛА»*

Знаменитый памятник эпической поэзии «Калевала», созданный на основе рун карельского и финского народов, стал подлинным «посредником» в русско-финских культурных контактах в 1930-е годы, когда встречи писателей соседних стран, совместные выставки, переводы произведений на языки друг друга практически прекратились. Для «Калевалы» не существовало границ. Но общее национальное наследие карелов и финнов с конца XIX века воспринималось как древний памятник финской литературы западно-финского происхождения.

Идеи фольклориста Юлиуса Крона, автора географо-исторического метода, и особенно его сына Каарле Крона долгое время занимали лидирующие позиции в финской фольклористике. В фундаментальном исследовании «Kalevalan runojen historia» («История рун «Калевалы»), открывшем новый этап в изучении фольклора и особенно в его систематике, Каарле Крон утверждал миграционную теорию движения фольклорных сюжетов с запада на во-

* Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 13-04-0266 «Взаимопроникновение русской и финской литературы в первой половине XX века».

сток и даже предлагал схемы и карты. По словам Э. Г. Карху, предлагаемые им схемы и выводы были «отвлеченными, без достаточного исторического наполнения» [Карху 1994: 24].

На вопросы, поставленные в названиях глав: «Где возникли калевальские руны?», «Когда возникли калевальские руны?» – Крон отвечал достаточно конкретно: в Западной Финляндии в эпоху католицизма, а «карельские рунопевцы только сохранили калевальские сюжеты» [Krohn 1910: 824–825]. Беломорская Карелия была у Крона хранительницей западно-финского наследия, а острову Готланд он «оказывал» честь быть целью походов калевальских викингов. Такой, «западно-финской», «Калевала» вернулась в Россию.

В канун столетия со времени первой публикации «Калевалы» в Финляндии издательство «Academia» решило выпустить первое издание «Калевалы» в СССР на русском языке. (Полный перевод «Калевалы», выполненный Леонидом Бельским, доцентом Московского университета по предложению и под руководством академика Федора Ивановича Буслаева, издавался перед революцией два раза: в 1888 и 1915 годах). Оформление эпоса было предложено Павлу Николаевичу Филонову. «Я отказался, но мы договорились, – вспоминал художник, – что эту работу сделают Мастера аналитического искусства – мои ученики под моей редакцией» [Филонов 2000: 121]. Инициатором издания выступил полпред СССР в Финляндии Иван Михайлович Майский (с 1932 г. советский посол в Великобритании), прекрасно понимавший, какое значение имеет «Калевала» в современной истории. Майского, по его признанию, консультировали профессора Гельсингфорсского университета Иосиф Миккола и Вильо Мансикка, и в предисловии чувствуется знание советским дипломатом взглядов на «Калевалу» современных ему финских фольклористов.

Автором вступительной статьи, состоящей из четырех разделов и примечаний, был Д. В. Бубрих (1890–1949), член-корреспондент АН СССР, основатель советского финно-угроведения, будущий директор Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. В год работы над «Калевалой» Дмитрий Владимирович был профессором Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Перу ученого-лингвиста, знавшего финский язык, принадлежала статья о «Калевале» в «Литературной энциклопедии» 1931 г., возможно, поэтому Дмитрию Владимировичу было предложено написать вступительное слово к первой советской «Калевале», отредактировать перевод Л. П. Бельского и дать эстетические установки будущим иллюстраторам. Редактура Бубриха касалась прежде всего собственных имен. В примечаниях, составленных ученым, собственные имена были исчерпывающе прокомментированы, а в предисловии прослежена этимология имен главных героев. Что же касается непосредственно истории происхождения рун, то в этом вопросе Бубрих полностью разделял взгляды Каарле Крона, приводя следующие выводы ученого, возглавлявшего финскую школу фольклористики:

«1. При изучении рун «Калевалы» обнаружилось, что исторические корни этих рун идут вовсе не по линиям связей финнов с другими так наз. финно-угорскими народностями, а по линии связей финнов с другими народностями ближайшего окружения Балтийского моря, особенно с германцами, как эти связи сложились после начала нашей эры. Тем самым оказался нанесен тягчайший удар тем построениям, которые ищут корней каких угодно культурных явлений в «пранародностях» с их «пракультурами» и «праязыками».

2. <...>. Такое громадной важности культурное явление, как руны «Калевалы», оказалось явлением, отнюдь не связующим финнов и карел культурно, ибо совершенно ясно не финно-карельское его происхождение, а финское. То обстоятельство, что руны «Калевалы» оказались известны не только финнам, но и приграничным карелам и у последних сохранились особенно хорошо, не должно толковаться неверно. Проникновение рун «Калевалы» к приграничным карелам – явление весьма позднее и притом затрагивающее не больше, чем именно приграничных карел, составляющих 67 % карельского населения. Остальные 93–94 % карел рун «Калевалы» не знают и никогда не знали» [Бубрих 1933: XVI–XVII].

В советской науке изучение «Калевалы» только начиналось. Статьи Г. Х. Богданова в «Карельском сборнике», Лаури Летонмяки, в его «Истории Карелии» («*Karjalan historia*») Б. Г. Островского в журнале «Карело-Мурманский край» – пожалуй, это все, что было напи-

сано о «Калевале» в 1920-х годах. И тот факт, что Бубрих знал многотомные исследования Юлиуса и Каарле Кронов, Эмиля Сетяля, Т. Карстена, говорит о блестящей эрудиции ученого. Естественно, он во многом шел по их следам, выражая общепринятые в те годы взгляды на «Калевалу», принимая миграционную теорию К. Крона и вслед за ним усиливая значение героев-богатырей и воинских сюжетов: «Образы героев «Калевалы» – это образы викингов, неугомонных воителей, бороздящих моря, озера и реки в поисках военной добычи <... > до нас доносится шум смелых грабительских поездок квенов (финской военной организации XI в. – *авт.*) и им подобных к острову Готланду.<...> Поездки эти воспевались при дворах конунгов самими конунгами или специалистами-скальдами» [Бубрих 1933: XIII–XIV]. К этим работам, пишет Э. Г. Карху «теперь следует подходить исторически» [Карху 1994: 39–40]. Надо заметить, что Д. В. Бубрих был любимым учителем Э. Г. Карху. «Его речь, его суждения, то, что он говорил о финно-угристикe, поражало, – вспоминал Эйно Генрихович. – Я слушал как легенду его лекцию о финском ученом М. Кастрене и других исследователях, совершавших дальние поездки в Сибирь в трудное время. Бубрих вызывал восторг. Было видно, что он понимающий интеллигентный человек, восхищавшийся научным подвигом других людей. Это подкупало. Но были и никчемные преподаватели, в том числе те, кто загубил Бубриха. Хотя Бубрих их сделал кандидатами наук» [Сойни 2013: 25–26].

Политическая ситуация 1930–1940-х годов сделала невозможной научную дискуссию о статье Д. В. Бубриха. При подготовке юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного издания «Калевалы», целому комплексу научных проблем придавался политический характер, все возможные разговоры не только о западно-финском, но и вообще финском происхождении рун пресекались. И в первом номере журнала «На рубеже» за 1949 год в заключении раздела, посвященного 100-летию «Калевалы», Бубрих «отрекается» от своей вступительной статьи: «...вступительная статья и примечания были грубой моей ошибкой. <...> Я свою ошибку безоговорочно признаю. Я жестоко ее осуждаю. В ходе своей научной работы я уже давно от нее отказался» [Бубрих 1949]. Статья Д. В. Бубриха «Из истории Калевалы» становится предметом специального анализа лишь в 1950-е годы, сначала в исследовании фольклориста В. Я. Евсеева [Евсеев 1957, 1: 59–60], затем в статьях литературоведов Э. Г. Карху [Карху 1994: 39–40] и Н. А. Прушинской [Прушинская 1988: 71–82].

Между тем объяснить позицию Д. В. Бубриха можно, используя и лингвистический подход. Почему из двух существовавших в довоенное время в финляндской фольклористике теорий происхождения рун Калевалы: 1) исходившей из праприбалтийско-финских их истоков (см., например, работы В. Салминена) и 2) ведшей их из средневековой западной Финляндии (К. Крон) – Бубрих выбрал последнюю? Он никогда не был сторонником праязыковой теории возникновения языковых семей, отдавая предпочтение так называемой волновой теории – одной из разновидностей контактной теории, и считал, что в формировании финно-угорского единства ареальные факторы играли более важную роль, чем генетическое родство. Поэтому ему была чужда позиция Салминена, что руны являются древним общим достоянием карелов, финнов, эстонцев и других прибалтийско-финских народов, возникшим в период существования гипотетического праязыка на территории гипотетической общей их прародины.

Бубрих подошел к проблеме не столько как фольклорист, сколько с позиций исторического языкознания, причем как сторонник контактной теории. Вряд ли стоит его обвинять в фольклористической некомпетентности. Он, собственно, излагал позицию наиболее известной на тот момент фольклорной школы Кронов, которая, очевидно, в ряде моментов согласовывалась с его языковедческими воззрениями того времени.

В частности, важным исходным источником для Бубриха оказался именник действующих персонажей. В соответствии со списком «богов» разных финских племен, приведенным Михаэлем Агриколой, и Вяйнямейнен, и Илмаринен, и Ахти, и Тапио, и сыны Калевы – важнейшие персонажи Калевалы – являются богами Еми (Häme), в то время как боги Корелы совсем иные. Это естественным образом наводило Бубриха на мысль о западных истоках Калевалы. Впоследствии он, как известно, пришел к другой интерпретации этого списка, обра-

тив внимание на полное отсутствие в нем общих богов еми и корелы, вызванное, как он предположил, произвольным распределением представителей языческого пантеона между емью и корелой Агриколой. По мысли Бубриха, список проповедника Агриколы тенденциозен и направлен против «языческих мерзостей», главные из которых он приписывал кореле, в связи с чем именно в карельской части списка приведена наиболее сильная «нечистая сила» [Бубрих 1950: 49]. Тенденциозность списка Агриколы признается и современной фольклористикой, правда, исходный посыл предлагается иной, а именно попытка Агриколы создать подобие известных греческого и римского пантеона из 12 божеств, каждый из которых соответствует определенному месяцу [Наавио 1959]. В любом случае, список оказался не столь надежным источником «некарельскости» рун, как это виделось первоначально Бубриху.

Другим подтверждением западно-финских истоков калевальской поэзии выступали для Бубриха сами этимологические истоки имен действующих персонажей. О некоторых он упоминает в предисловии, другие приводятся в комментариях. Значительная часть именника имеет скандинавские истоки, признававшиеся и основателями прибалтийско-финского исторического языкознания, и признающиеся современными этимологическими источниками. На протяжении десятилетий происходит определенная коррекция [см. SSA] ряда этимологий в сторону прибалтийско-финских истоков (например, *Ахти*), а для других, наоборот, приводятся дополнительные доказательства германского происхождения имен (например, *Лоухи*). Многие этимологии до сих пор спорны (среди них *Калева*), или их просто нет. Все это свидетельствует об исключительной сложности материала. Понятно, что Бубрих опирался на предшественников, и приведенный к предисловию список источников свидетельствует о его широкой начитанности в этой области.

При этом наукой оказался не оценен собственно лингвистический потенциал проделанной Д. В. Бубрихом работы в связи с публикацией «Калевалы». К примеру, одним из лексических подтверждений привнесенности рун в карельскую языковую среду он считал лексему *susi* ‘волк’, которая широко бытует в текстах рун (60 упоминаний на фоне 4 употреблений синонимичного карельского *hukka* [см. Turunen 1979: 318]), при том, что она является западно-финским словом и не была по-настоящему морфологически освоена рунопевцами [Бубрих 1933: XII]. Последующее исследование показало, что слово *susi* присутствует в ряде восточно-финских и карельских говоров в составе некоторых застывших выражений, загадках, поговорках, причем действительно в незакономерном виде: падежные формы образуются не от исторически правильной основы *sute-*: **sude-* (> *suve-*), а от представленного в номинативе *susi-*, иногда *suse-*: в говорах Кайнуу *meni suseksi* ‘о деле, которое провалилось не удалось, сорвалось’ [Palander 2013]. Целый ряд примеров вторичного, т. е. непрямого использования лексемы *susi* (в незакономерном виде *suzel*, *suzekse* и т. д.) в собственно карельских (и в некоторых ливвиковских) говорах приводит словарь карельского языка [KKS], а этимологический словарь SSA на основе этих фактов полагает, что слово является в карельском финском заимствованием. Иначе говоря, современная лингвистика полностью подтвердила безупречность языковедческих рассуждений Бубриха. Другой вопрос, может ли этот языковой факт свидетельствовать о западных истоках тех рунопевческих текстов, в которых он присутствует.

И в предисловии, и в примечаниях, и в публикации 1950 г. есть некоторые собственные этимологии Д. В. Бубриха, которые, кажется, прошли мимо внимания прибалтийско-финского исторического языкознания, будучи опубликованными в нелингвистическом источнике. Среди них очень привлекательная интерпретация названия озера *Aloe* или *Alue*, которое известно в восточно-финских и карельских вариантах сюжета о рождении ветра. Бубрих корректно реконструирует его в виде **Alodeh*, **Aludeh* ‘низинная местность’, который убедительно сопоставляет с *Aldoga* [Бубрих 1950: 149]. (ср. известное еще со времен Н. М. Карамзина сопоставление названий *Ладоба* и *Aldeigjaborg* – др.-сканд. название крепости Ладога). Если исследователь прав, то руны донесли до нас древний облик названия Ладожского озера и подтверждают истинность этимологической реконструкции *Aldeigja-* – *Ладоба*. К сожалению, находка Бубриха оказалась вне поля лингвистической дискуссии. Види-

мо, о ней просто не знали, подтверждением чему служит то обстоятельство, что в словаре языка Калевалы Аймо Турунена [Turunen 1979] топоним *Aluenjärvi* оставлен без этимологии.

Еще более значима этимологическая интерпретация этнонима *suomi*, которую Бубрих убедительно вписывает в исторический контекст древних германских контактов. В языке германцев самоназвание древних жителей Финляндии саамов *sabme* в соответствии с закономерностями древнегерманской фонетики преобразовалось в **soom-*. В ходе формирования прибалтийско-финского населения германцы перенесли этот этноним на него. На следующем этапе этноним был воспринят от германцев финнами и закономерно преобразован в *suomi*. В примечании к этимологии Бубрих совершенно справедливо замечает, что этнонимы редко объясняются средствами собственного языка, поскольку даются, как правило, соседями [Бубрих 1933: 318–319]. Естественно, что истоки этнонима *suomi* исследователи искали задолго до Бубриха, и было понимание того, что он должен входить в одно этимологическое гнездо с этнонимами *saame* ‘саамы’ и *håme* ‘емь’, восходящими к древнему балтийскому заимствованию **sāmā*. Однако не удавалось убедительно объяснить, с одной стороны, инициальный **s*, с другой стороны, долгий гласный первого слога **-oo-*, преобразовавшийся далее в дифтонг *-uo-* в *suomi*. К большому сожалению, интерпретация Бубриха не попала в прибалтийско-финское исследовательское поле, и понадобилось еще 60 лет, чтобы к такому алгоритму объяснения истоков этнонима пришел известный финский индоевропеист Jorma Koivulehto, исходивший, правда, не из германского, а из балтийского посредства [Koivulehto 1993: 400–406]. Германское посредство предложил несколько лет спустя Riho Grünthal [Grünthal 1997: 51–72]. Окончательно этимологическая парадигма, верно угаданная Бубрихом почти столетие назад и оставшаяся неизвестной, закреплена Этимологическим словарем финского языка [SSA] в 2000 г.

Сейчас, по прошествии времени, в связи с появлением новых материалов и новых интерпретаций Калевалы становится очевидной излишняя категоричность Бубриха в вопросе западнофинских истоков калевальской поэзии. Эта поэзия многослойна и включает в себя как общеприбалтийско-финский пласт, так и более поздние напластования, в том числе и связанные с древнескандинавскими связями, сложившимися на западе Финляндии. Однако, вряд ли все это дает основания для осуждения Бубриха и его позиции, тем более, что он сам ее уже осудил. С позиций сегодняшнего дня это один из фактов истории фольклористики и Калевалы в России.

Диссертация В. П. Мироновой «Сюжет о сватовстве в мифической стране Хийтола в контексте карельской эпической традиции», а так же выход «Эпических песен Южной Карелии» доказывают, что «руна была известна как в Карелии (Беломорской, Олонецкой, Приладожской), так и в Финляндии (губерния Северная Карелия, губерния Саво) [Миронова 2011: 35]. Современные эпосоведы предполагают, что в рунах «Калевалы» как полистадиальном памятнике важен прежде всего древнейший архаический пласт. По словам одного из крупнейших мифологов Е. М. Мелетинского, «в «Калевале», как и в других архаических эпосах, доминирует не воинская героика и богатырская самонадеянность, <...>, а мудрость, магическая сила, творческий порыв в космогонии и мирном труде, своего рода «прометеевский пафос», чуждый классическим формам героического эпоса...» [Мелетинский 1985: 80].

Когда в 1933 году художники филоновской школы приступили к работе над иллюстрированием «Калевалы», им была известна только точка зрения Д. В. Бубриха на происхождение рун. Филоновцам было предложено оформить «Калевалу» как памятник в западнофинской интерпретации. И «Калевала» стала для них своеобразным окном в Европу. Они четко осознавали, что имеют дело с памятником словесности Северо-Запада. В письме в производственный сектор издательства «Academia» в Москву Филонов это подчеркивал: «Мы обращаем Ваше внимание на то, что неправильно подобранные цвета и силовые отношения цветов превращают переплет в какую-то вычурную азиатчину, как дамасская сталь, а в «Калевале» мы имеем дело с Северо-Западом Европы в сложнейших национальных взаимодействиях, на что и рассчитан наш рисунок переплета» [Филонов 2000: 216–217]. Теоретически филоновцы начали работать над «Калевалой» как над финским памятником, восходя-

щим к временам финского католического средневековья. Но подлинное искусство оказалось выше теоретических установок. Вживаясь в калевальские образы – а большой художник-иллюстратор всегда является не только интерпретатором, но и соавтором материала, над которым работает – они почувствовали древнейшую архаику, первобытный синкретизм мышления, «хтоническую» наднациональную символику Севера. Софья Людвиговна Закликовская, одна из иллюстраторов (1906–1978) вспоминала: «Мы изображали не отдельные эпизоды, а полузабытую подоснову. Вы видите, что пространство просвечивается сквозь пространство, а время переливается сквозь время. Мы называли это – концентрированное время и пространство» [Покровский 2008: 341].

Своими графическими работами филоновцы на десятилетия предвосхитили открытия фольклористов. То, что было не выявлено наукой 1920–1930-х годов, выявили художники.



Школа Филонова [С. Л. Закликовская].
Страничная иллюстрация на вкладном листе «Куллерво-батрак», руна 31-я «Рождение и воспитание Куллерво»

«Калевала» заворожала их воображение своей архаичностью явно докатолического происхождения, времен прибалтийско-финской общности. Кстати, именно за выявление в «Калевале» эстетики древнейшего архаического пласта, что являлось несомненным достоинством филоновцев, критика 1930-х годов подвергла иллюстрации осуждению: «Преобладающий уклон – в сторону архаизации. Эта архаизация, чаще всего достигаемая приемами, идущими по линии наименьшего сопротивления, – подражанием иконописи, лубку. <...> Крайне неудачно изображение древних героев в карикатурном виде с подчеркнутыми типическими чертами» [Пальвадре, Худяков 1934].

Памятник словесности, созданный многими рунопевцами, был проиллюстрирован коллективом художников. В результате родилась новая эстетика, образец нового графического искусства. Мастера аналитического искусства, одержимые единой идеей «Калевалы» и вынужденные подчиняться жесткому канону (в данном случае роль канона выполнили художнические указы и заветы П. Н. Филонова), были похожи на мастеров единой иконописной школы, создавшей коллективное, художественное письмо. Мастера и ученика

связывало «полное единство духовных и моральных принципов, принятие общих обетов почти религиозного братства, принятие особой веры, самодисциплины и самоограничений» [Мислер 1982: 241]. Художники показали свое ощущение натурфилософии эпоса и в то же время добивались максимальной «сделанности» иллюстраций. «Мы были объединены одной целью, – вспоминал Михаил Цыбасов, – исследуя живописью жизнь, передать наиболее законченные ее формы, придать живописи атомистическую сделанность и поставить на службу народу» [Бондаренко 1985: 98]. Ощущение архаичного мира, смена эпох древних и исторических, чередование небесного и земного подчеркивается формами «неопримитивного» рисунка.

Особенно это ощутимо в страничной иллюстрации Софьи Людвиговны Закликовской к циклу рун о Куллерво, (помещенной между страницами 192 и 193 – конец руны 31 («Рождение и воспитание Куллерво») и начало руны 32 («Куллерво служит пастухом»). Возможно, художница сама не ожидала, какого результата она сможет достичь, «просвечивая время сквозь время». В рисунке абсолютно отсутствует традиционное понимание композиции, перспективы, пространства, одних только линий горизонта пять. Небо проходит сквозь землю, и даже через человека. Земля и вода едины, едины и времена года: зима (лесоруб в валенках на заднем плане, рубит сосновый ствол) и лето (босой Куллерво стоит среди бурных вод поро-

жистой северной реки, возле его ног рыбы, тут же разворачивается сюжет из истории вражды двух братьев Унтамо и Калерво.



Школа Филонова
[М. П. Цыбасов].
Полустраничная
заставка к руне 34-й
«Куллерво находит
своих родителей»

Тело его как бы прозрачно и сквозь него видны речные волны, бьющаяся в сетях большая рыба, угол бревенчатой избы, перевернутая лодка на камнях. Изображенные в диагонали река, небо, земля, животные, рыбы, сливаются в один поток жизни, устремлены в одном направлении, указанном рукой, сжатой в кулак. Эта же диагональ поддерживается линией плеч и расположением топорича. Поток-стрела тянет Куллерво к испытаниям – злым знаком выглядит открытая пасть щуки. Судя по его суровому лицу, он к ним готов, он их жаждет. Путь мести – это тупиковый путь. «Отмстив за оскорбление, он становится сам оскорбителем. Свое страдание не изжить страданием других, – размышляла художница» [Покровский 2008: 341]. На месте сердца изображено единственное на рисунке молодое растущее деревце, словно доказывающее, что трагический герой изначально был добр, и его путь мог бы быть другим.

Это почувствовал Михаил Цыбасов и передал в иллюстрации к руне 34-й «Куллерво находит своих родителей». Куллерво бережно обнимает мать после многих лет разлуки, согревает ее своими большими ладонями. В трагической судьбе матери и сына художник находит счастливый момент – их встречу и создает образ Куллерво не в минуты позора и отчаяния героя, а в момент радости и подлинной человечности.

Образ Куллерво в страничной иллюстрации Цыбасова к руне 36-й («Смерть Куллерво») уже совсем иной, чем образ Куллерво в иллюстрации к руне 34-й. Жестокий взгляд, открытый в гнев рот. На него с осуждением и жалостью смотрят лошадь и собака. И если в иллюстрации С. Закликовской на месте сердца у Куллерво нарисовано деревце, то в иллюстрации Цыбасова деревце расположено под ногами мстителя. Дерево как символ рода, мироздания. Куллерво перешагивает через него, идя навстречу гибели.

В работе над фронтисписом Цыбасов, возможно, учел точку зрения Д. В. Бубриха, относившегося к калевальцам как викингам. Фронтиспис выполнен в красно-синей цветовой гамме. Декоративность, локальный цвет, историческая направленность позволяют поставить эту работу в один ряд с картинами раннего Николая Рериха на варяжские темы. Но Цыбасов стремится передать мир своих героев через портрет – через изображение лица и рук. Изображению рук придается едва ли не самое важное значение. Художник прописывает пальцы, сжимающие весла и даже ногти. Действуя «точкой», Цыбасов воссоздает средневековый орнамент на костюмах и оружии. А колдующий взгляд голубых глаз рулевого, длинная седая борода и полуоткрытый, словно в песне, рот, выдает в богатыре не столько воина, сколько певца.

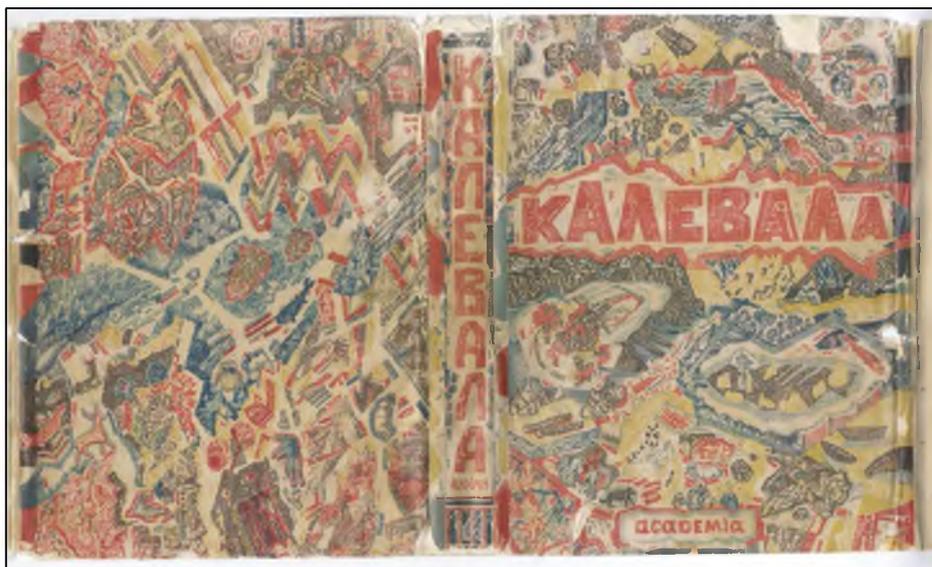
В страничной иллюстрации Нины Ивановой к руне 42 «Похищение Сампо» значительно больше подчеркивается воин-



Школа Филонова [Н. Ивановой].
Страничная иллюстрация на вкладном листе
«У хозяйки Похъёль», руна 42-я «Похищение Сампо»

ственность героев: грозные лица в шлемах, в руках боевые топоры, на заднем плане изображены силуэты елей, они повторяют линию копья, остриё которого как бы делит иллюстрацию на две части – с одной стороны – Лоухи, с другой – калевальцы. В иллюстрации Н. Ивановой изображены явно средневековые воины, в контексте бубриховской статьи. У Лоухи сжатый кулак, подчеркнута острый профиль. Филонов благосклонно отнесся к этой страничной иллюстрации художницы, 5 января 1934 года он пришел к Нине Ивановой, чтобы сказать о выходе «Калевалы»: «Мне было приятно смотреть, ... как оживились радостью лица Ивановой и ее мужа ... Муж Ивановой, гордый и счастливый счастьем и успехами своей жены, налюбовавшись ее иллюстрациями и "Калевалой" в целом, подарил мне папиросу Кемалю-Паши» [Филонов 2000: 230].

Участие И. М. Майского в отборе иллюстраций порой шло на пользу книге. Однако в отводе форзацев, возможно, И. Майский сыграл определенную роль. Сначала ему не понравился красный цвет головы одного из калевальцев, нарисованной на форзаце Алисой Порет,



Школа Филонова. «Калевала». Суперобложка

что, на его взгляд, могло финскому читателю внушить мысль о красной опасности, затем, возможно, из перестраховки он решил отказаться от форзацев вообще, хотя один из форзацев Елена Борцова выполнила синим и белым – цветами финляндского флага, «как просила Москва». Но Москва отвела и этот форзац Борцовой, «прекраснейшую вещь» по выражению Филонова.

При отсутствии форзацев большее значение стало придаваться суперобложке – ее делали коллективно. Филоновцы создали красочный, удивительный по разнообразию цветовой гаммы образ Финляндии. Евгений Ковтун называл эту акварельную работу «Суоми <...> с высоты птичьего полета, не только в зримом, но умопостигаемом образе» [Ковтун 1985: 265]. В единой, совершенной гармонии, показаны люди и птицы, животные и травы. Абстрактные формы сочетаются с вполне реалистическими образами. Красный, синий, терракотовый, охра в сложнейших сочетаниях напоминают филоновскую «Формулу весны», но в отличие от нее здесь все узнаваемо. В такой суперобложке «Калевала» 1933-го года издания вышла в свет в самом начале 1934-го года. Павел Филонов и Михаил Цыбасов параллельно описывают в своих дневниках ее появление на прилавках книжных магазинов:

Павел Филонов:

4 января 1934 года. Я ждал не только ее выхода, но и любой провокации, вплоть до отвода ее в целом и изъятия, я удивился, что не очень-то обрадовался ее выходу. Чудо, что при такой травле на нашу школу эта книга все же вышла [Филонов 2000: 229–230].

Михаил Цыбасов:

4 января 1934 года. Это было неожиданно и наибольшая экспансивность была, конечно, со стороны К[атерины] Ал[ександровны] (жена П. Н. Филонова. – авт.) [Цыбасов 2009: 159].

Выход «Калевалы» вызвал одобрение в дипломатических кругах. Большая часть тиража ушла в Финляндию.

«Калевала» сплотила филоновцев, утвердила их в вере в собственные силы и в филоновский метод. Художники смогли проникнуть в глубину архаических калевальских образов,

передать личные человеческие чувства героев, изобразить смешение времен и пространств, встречу язычества с христианством, передать напластования разных эпох, все то, что стало предметом изучения исследователей-фольклористов десятилетия спустя.

Фольклористические идеи Д. В. Бубриха были со временем откорректированы исследователями, а языковые этимологии, открытые ученым, еще только вводятся в научный оборот. Они не только не устарели, но поистине являются новыми фактами науки. То, что в издании «Калевалы», вышедшей в 1933 году, в сложнейший период истории, соединились имена Д. В. Бубриха и П. Н. Филонова, делает это издание выдающимся явлением в мировой культуре.

Литература

- Бондаренко В. Г. Летописец северного края // Север. 1985. № 10. С. 95–100.
- Бубрих Д. В. Из истории Калевалы // Калевала. Перевод Л. П. Бельского под ред. Д. В. Бубриха. М.-Л.: Academia. 1933. С. IX–XX; Примечания, с. 311–323.
- Бубрих Д. В. Об одной моей грубой ошибке // На рубеже. 1949. № 1. С. 121–122.
- Бубрих Д. В. К вопросу об этнической принадлежности рун «Калевалы» // Труды юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного издания «Калевалы». Петрозаводск, 1950. С. 142–151.
- Евсеев В. Я. Исторические основы карело-финского эпоса. В 2 т. М.; Л. Изд-во АН СССР, 1957. Т. 1.
- Карху Э. Г. Карельский и ингерманландский фольклор в историческом освещении // История литературы Карелии. В 3-х т. Т. 1. СПб.: Наука, 1994. 240 с.
- Ковтун Е. Графическая «Калевала» // Советская графика. М.: С. Х., 1985. С. 259–266.
- Мелетинский Е. М. «Калевала» в сравнительном освещении // «Калевала» – памятник мировой культуры: Материалы науч. конференции, посвящ. 150-летию первого изд. карело-фин. эпоса. 30–31 января 1985 г. Петрозаводск, 1985. С. 79–81.
- Миронова В. П. Сюжет о сватовстве в мифической стране Хийтола в контексте карельской эпической традиции. Дисс. ... канд. фил. наук. Петрозаводск, 2011. 230 с.
- Мислер Н. Павел Николаевич Филонов: Слово и знак (По следам архивных материалов) // Russian Literature, XI, Amsterdam, 1982. С. 241. Цит. по: Марушина Г. Комментарии // Филонов П. Н. Дневник. СПб.: Азбука, 2000. С. 455–592.
- Пальвадре М., Худяков М. «Калевала» // Советская этнография. 1934. № 3. Цит. по: Марушина Г. Комментарии // Филонов П. Н. Указ. соч. С. 455–592.
- Покровский О. В. Тревогой и пламенем (Воспоминания о П. Н. Филонове) // Павел Филонов: реальность и мифы. М.: Аграф, 2008. С. 282–361.
- Прушинская Н. А. Изучение «Калевалы» в СССР (1917–1945): Библиографический обзор // Проблемы литературы Карелии и Финляндии. Петрозаводск, 1988. С. 71–82.
- Сойни Е. Г. Беседа с Эйно Карху в канун юбилея ученого // Эйно Карху – человек, филолог, мыслитель. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 22–37.
- Филонов П. Н. Дневник. СПб.: Азбука. 2000. 672 с.
- Цыбасов М. П. Дневник // Сойни Е. Г. Финляндия в литературном и художественном наследии русского авангарда. М.: Наука, 2009. С. 132–220.
- Grünthal R. Livvistä liiviin. Itämerensuomalaiset etnnyymit. Kastrenianumin toimitteita 51. Heksini, 1997.
- Haavio M. Karjalan jumalat. Porvoo, 1959.
- KKS – Karjalan kielen sanakirja 1–6. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura. 1968–2005.
- Koivulehto J. Suomi // Virittäjä100, 1993. S. 400–408.
- Krohn K. Kalevalan runojen historia. Helsinki: SKS. 1910.
- Palander M. Susi-havainto Itä-Suomesta // Kielikello. 2013. № 4.
- SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1–3. SKST 556. Helsinki, 1992–2000.
- Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Lappenranta, 1979.

**МАТЕРИАЛЫ ПО НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д. В. БУБРИХА В НАУЧНОМ АРХИВЕ КАРНЦ РАН**

Имя Дмитрия Владимировича Бубриха (1890–1949) – члена-корреспондента АН СССР, доктора филологических наук, профессора, лингвиста, основоположника советского финно-угроведения хорошо знакомо филологам в России и за рубежом. Советское правительство высоко оценило вклад Д. В. Бубриха в науку. Он награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Карело-Финской ССР» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 121, л. 1–3].

За свою не слишком продолжительную жизнь ученый сотрудничал с отечественными языковедами в различных научных учреждениях и высших учебных заведениях г. Москвы, Ленинграда, Петрозаводска и из других уголков страны. Следы его научной и организационной деятельности многообразны и отложились в нескольких российских архивах. Однако не все документы о жизни и деятельности выдающегося филолога введены в научный оборот. Целью настоящей публикации является знакомство с комплексом документальных материалов о научно-организационной деятельности Д. В. Бубриха, находящимся в фондах научного архива Карельского научного центра РАН (НА КарНЦ РАН).

В Карельском научном центре РАН более других исследователей личностью Д. В. Бубриха занимался его ученик, доктор филологических наук Георгий Мартынович Керт. Им опубликован ряд интересных работ о жизни и деятельности своего учителя, в том числе биографического характера [НА КарНЦ РАН, ф. 11, оп. 1, д. 46, 81 л.].

Очевидно, Г. М. Керту пришлось одновременно выступить не только в роли хорошего писателя, но и историка, поработавшего с архивными материалами. Однако авторские издания Г. М. Керта не могут претендовать на исчерпывающую полноту охвата жизненного пути и научных изысканий Д. В. Бубриха.

Следует также заметить, что определённую сложность в научном и моральном осмыслении деятельности известного ученого представляет оценка его вклада в развитие отдельного научного направления отечественного языкознания – финно-угроведения во второй половине 1940-х гг. На наш взгляд, еще недостаточно полно представлена та историческая и общественная ситуация периода культа личности И. В. Сталина, которая сложилась вокруг выдающегося ученого в академическом сообществе.

Однако имеющиеся в нашем распоряжении архивные документы позволяют раскрыть некоторые научные и административные коллизии, создавшиеся на этой почве. «Шершавый язык документов» свидетельствует об искусственном стремлении многих современников Д. В. Бубриха умалить значение его авторской методики диалектологического обследования карелоязычных районов [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 133, 70 л.; д. 137, 275 л.; д. 157, 192 л.; д. 158, 205 л.; д. 160, 139 л.]. Известно, что в этой работе ученый широко использовал сравнительно-исторический метод и составлял лингвистические карты. Также не все в научных кругах смогли воспринять и языковедческую теорию Д. В. Бубриха о происхождении карельского народа.

Научно-организационная работа известного ученого в карельских научных учреждениях (КНИИ АКССР, НИИК АКССР, НИИК К-ФССР, ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР)* прохо-

* КНИИ АКССР – Комплексный научно-исследовательский институт Автономной Карельской ССР (1931–1936); НИИК АКССР – Научно-исследовательский институт культуры Автономной Карельской ССР (1937–1939); НИИК К-ФССР – Научно-исследовательский институт культуры Карело-Финской ССР (1940–1945),

дила с 1930 по 1949 гг. и разделяется на два этапа: первый – довоенный (с 1930 г. по 1941 г.), второй – послевоенный (с 1945 г. по 1949 г.). Второй этап для Дмитрия Владимировича оказался более плодотворным. В это время он помог воссоздать лингвистический сектор Института и организовал его работу в направлении изучения финно-угорских языков, в первую очередь, карельского и финского. Именно в ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР в 1946 г. ученый был выдвинут на получение почетного звания члена-корреспондента АН СССР [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 10, 46 л.]. В 1947–1949 гг. он исполнял должность директора ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР (на условиях совместительства), бывая в Петрозаводске наездами из Ленинграда [НА КарНЦ РАН, ф. 2, оп. 35, д. 267, 14 л.].

В рамках данной публикации мы даем краткий обзор научно-организационных документов о деятельности Дмитрия Владимировича за 1927–1949 гг., отложившихся в НА КарНЦ РАН. Это документальное наследие хранится в составе трех фондов: № 1 – ФГБУН Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН; № 2 – ФГБУ Карельский научный центр РАН; № 11 – личный фонд Д. В. Бубриха.

Фонд № 1 содержит документы о деятельности Д. В. Бубриха за период с 1931 г. по 1949 г. Они собраны в описях № 3, 4, 26. Первые две описи вбирают научно-организационные документы ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР и его учреждений-предшественников. В третьей из указанных описей (№ 26) находятся документы по личному составу учреждений (личные дела сотрудников). Все три описи переработаны сотрудниками архива в 1983–1986 гг., в результате к каждой описи был составлен добротный научно-справочный аппарат в составе главного листа, оглавления, предисловия, списка сокращений, итоговых учетных записей.

Основные виды документов по 3 и 4 описям представлены планами, отчетами, протоколами заседаний этнографо-лингвистического сектора КНИИ АКССР и НИИК К-ФССР довоенного периода (1931–1941), а также перепиской по широкому кругу вопросов, касающихся деятельности Института и его секторов, послевоенного периода (1944–1949).

Определенный интерес для реконструкции событий по организации и деятельности этнографо-лингвистического сектора представляет переписка. В частности, в фонде № 1 имеются запросы, справки, сообщения, программы, докладные записки и отчеты о подготовке и проведении научных конференций, совещаний, экспедиционной деятельности, о состоянии языкознания и развитии финно-угроведения в Карелии, по кадровым вопросам [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 3, д. 9, 10 л.; д. 27, 17 л.; д. 223, 100 л.; д. 268, 47 л.].

Документы поясняют, что вплоть до конца 1940-х гг. в лингвистическом секторе остро ощущался недостаток квалифицированных специалистов – финно-угроведов. В 1944 г. профессор Дмитрий Владимирович совместно с доцентом Карело-Финского госуниверситета Василием Ивановичем Алатыревым написал докладную записку в Совнарком К-Ф СССР и горком партии о необходимости восстановления лингвистического сектора в составе НИИК К-ФССР [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 3, д. 337, 36 л.]. В ней говорится: «...Совершенно необходимо безотлагательное восстановление лингвистической секции в Карело-Финском научно-исследовательском институте. Существование лингвистической секции должно определяться не только внешнеполитическими, но и внутреннеполитическими моментами... Особенное значение изучение местной речи приобретает сейчас, когда перед советской наукой согласно решению Президиума Академии наук СССР ... поставлена задача диалектологического изучения русского и всех других языков СССР ... Карело-Финскому научно-исследовательскому институту предстоит продолжить изучение карельских диалектов...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 3, д. 337, л. 11–12]. В 1945 г. лингвистический сектор возобновил свою работу. Однако кадровый вопрос еще долгое время оставался острым. Его решением Д. В. Бубрих занимался в качестве директора ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР (1947–1949). Об этом свидетельствуют его обращения в партийные и советские органы республики в 1948 г. [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 77, 14 л.].

В период деятельности ученого в ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР во второй половине 1940-х гг. серьезное внимание уделялось сбору полевых материалов. Читая докладные записки и отчеты сотрудников секторов, нельзя не отметить их основательный подход к планированию экспедиционных работ с учетом актуальных задач исследования [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 64, 49 л.; д. 95, 132 л.; д. 101, 78 л.; д. 133, 70 л.].

Д. В. Бубрих прилагал немалые усилия к практическому решению некоторых острых проблем финно-угорского языкознания. В письме, направленном в Президиум Верховного Совета К-ФССР и Совету Министров К-ФССР, он предлагал создать «правительственную комиссию по вопросам финской орфографии и терминологии» [На КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 76, 31 л.].

Из служебной переписки мы узнаем, что в годы директорства Д. В. Бубриха в Институте готовились и редактировались научные издания по языкознанию и истории Карелии, учебники и словари на карельском и финском языках, разрабатывалась карельская письменность, шла подготовка первого научного сводного издания «Очерков истории Карелии» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 41, 2 л.; д. 70, 35 л.; д. 103, 126 л.; д. 112, 25 л.]. Такая масштабная теоретическая работа осложнялась слабостью собственной методической базы. Администрация Института под руководством Д. В. Бубриха вела переписку с центральными научными учреждениями Москвы и Ленинграда, в которой обращалась за помощью к ученым в проведении совместных исследований и создании научных работ (например, «Очерков...») [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 45, 183 л.; д. 65, 93 л.; д. 66, 70 л.; д. 69, 56 л.; д. 74, 29 л.; д. 75, 373 л.; д. 128, 234 л.].

Кроме того, в фонде № 1 представлены докладные записки и стенограммы критических выступлений апологетов так называемого «нового учения о языке» (1949) [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 123, 35 л.; д. 127, 55 л.], а также полемическая защита Д. В. Бубрихом сравнительно-исторического метода языкознания на совещаниях в Петрозаводске и Ленинграде [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 157, 192 л.; д. 158, 205 л.; д. 160, 139 л.]. Особенно интересна докладная записка профессора Бубриха от 25.06.1949 «О критических выступлениях В. И. Алатырева», направленная секретарю ЦК КП(б) К-ФССР И. И. Цветкову и заместителю председателя Совета Министров К-ФССР И. И. Сюкияйнену [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 123, 35 л.]. В документе автор защищает отечественное финно-угроведение и отмечает свой вклад в его развитие. Так он пишет о себе: «Бубрих вложил много сил в дело создания в СССР работы по финно-угорским языкам, которая ... разбивает сложившуюся в начале XX века финляндскую «монополию» в финно-угроведении ... он взялся за карельский вопрос в 1937 г. ... принимает живое участие в строительстве литературных языков в ряде союзных республик...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 4, д. 123, л. 1–2].

Среди комплекса рассмотренных нами документов из фонда № 1 личное дело самого профессора Бубриха, сохранившееся в описи № 26, выглядит особняком. Дело датируется 1937 г., состоит из двух листов, которые содержат запись карельского алфавита на кириллице [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 26, д. 21, 2 л.].

Общий объем архивных дел в 3, 4 и 26 описях фонда № 1, в которых прямо или косвенно затронута фигура профессора Бубриха, насчитывает порядка 400 ед. хранения. Большинство документов являются его автографическими подлинниками или правленными им же машинописными экземплярами. Указанные документы характеризуют Д. В. Бубриха как незаурядную личность и способного организатора научной деятельности в ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР.

В фонде № 2 – ФГБУ Карельский научный центр РАН – находится личное дело члена-корреспондента АН СССР директора ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР Дмитрия Владимировича Бубриха [НА КарНЦ РАН, ф. 2, оп. 35, д. 267, 14 л.]. Оно датировано 04.10.1947–12.09.1949.

В деле хранится заявление, написанное профессором 21.06.1947, о согласии принять предложение вице-президента АН СССР В. П. Волгина и директора К-Ф НИБ АН СССР И. И. Горского исполнять обязанности директора ИИЯЛ. Там же имеется постановление АН СССР от 04.10.1947 об утверждении ученого в этой должности [НА КарНЦ РАН, ф. 2, оп. 35, д. 267, л. 1, 8].

Другой ценный документ – автобиография Д. В. Бубриха. В ней дается краткий, но емкий обзор пути, пройденного ученым-лингвистом. В частности, мы узнаем, что его первоначальная специализация в области славянских языков. Однако с середины 20-х гг. XX в. под влиянием своего учителя, академика А. А. Шахматова, он стал интересоваться финно-угорскими языками. Далее продолжительное время он посвятил изучению методологии языковедения в соседней с Карелией Финляндии. Ученый вел научно-методическую работу в области финно-угроведения по всей стране. В автобиографии указано: «...Руководжу лингвистической работой во всех учреждениях СССР, разрабатывающих проблемы финно-угроведения ... Петрозаводск, Саранск, Йошкар-Ола, Ижевск, Сыктывкар...» [НА КарНЦ РАН, ф. 2, оп. 35, д. 267, л. 4].

В личном деле хранится листок по учёту кадров, в котором содержатся дополнительные биографические сведения о крупном ученом. Так, в графе «Знание иностранных языков и языков народностей СССР» отмечено: «Различные западноевропейские классические, славянские, финно-угорские» [НА КарНЦ РАН, ф. 2, оп. 35, д. 267, л. 2–3]. В другой графе перечислены следующие девять должностей (мест работы): 1913–1920 гг. был оставлен при Петербургском университете (г. Ленинград) «для подготовки к научной и профессорской деятельности», в 1920–1921 гг. преподавал в пединституте им. Герцена, в 1922–1925 гг. – в Ленинградском госуниверситете, где в 1925 г. получил звание профессора и должность заведующего кафедрой финно-угорской филологии. Далее, в 1934 г. работал заведующим сектором финно-угорских языков в Институте языка и мышления АН СССР (ИЯМ АН СССР), в 1941–1944 гг. преподавал в Коми пединституте (г. Сыктывкар) в качестве профессора, с 1944 г. – в Карело-Финском университете (г. Петрозаводск) в той же должности и, наконец, с 1947 г. стал директором ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР. Подчеркнем, что среди такого широкого спектра трудовой деятельности основной работой для Д. В. Бубриха все же оставалось заведование сектором в ИЯМ АН СССР. Весьма показательны и такие автобиографические сведения, как высылка будущего профессора из Петербургской губернии в 1911 г. «за участие в студенческом движении» и арест в 1938 г. («...был арестован, но затем освобожден за прекращением дела») [НА КарНЦ РАН, ф. 2, оп. 35, д. 267, л. 3 об.].

В заявлении об увольнении, написанном ученым 27.06.1949, изложена просьба освободить от обязанностей директора до августа 1949 г. Далее в личном деле следуют телеграммы о невозможности находиться на работе по причине болезни и, наконец, выписки из приказов об увольнении с должности 12 сентября 1949 г. [НА КарНЦ РАН, ф. 2, оп. 35, д. 267, л. 10–14].

Личное дело директора ИИЯЛ К-Ф НИБ АН СССР Д. В. Бубриха, несмотря на свой небольшой объем, обладает богатой информацией о становлении крупного ученого и неординарной личности.

Из истории комплектования личного фонда Дмитрия Владимировича (фонд № 11) отметим, что документальное наследие известного ученого поступило в научный архив КарНЦ РАН от его родственников в 1961 г. В результате обработки документов объем фонда составил 62 дела за 1927–1971 гг. В 1984 г. личный фонд перерабатывался, его опись была составлена заново, равно как и научно-справочный аппарат: заглавный лист, оглавление, предисловие, список сокращений, итоговая запись об объеме фонда, переводная таблица прежних и новых номеров дел.

На сегодняшний день опись фонда № 11 имеет четыре раздела. Первый – научные работы, второй – материалы служебной и педагогической деятельности, третий – материалы, посвященные жизни и деятельности и четвертый – научные работы, собранные по русскому и финно-угорскому языкознанию.

Для понимания роли Бубриха в создании основ научной школы отечественного (советского) финно-угроведения определенное значение имеет второй раздел упомянутого фонда. Здесь собраны документы за период с 1931 г. по 1948 г. Их видовое разнообразие представлено широким спектром: планы, отчеты, справки, протоколы заседаний финно-угорского сектора ИЯМ АН СССР и различных рабочих комиссий, стенограммы заседаний, служебная переписка, тезисы и тексты докладов участников научных конференций по проблемам фин-

но-угорского языкознания и др. [НА КарНЦ РАН, ф. 11, оп. 1; д. 23, 20 л.; д. 24, 30 л.; д. 25, 10 л.; д. 32, 15 л.; д. 31, 215 л.; д. 33, 5 л.; д. 34, 18 л.].

Образ Д. В. Бубриха как будущего исследователя финно-угорских языков представлен в информации о работе Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народов (ЛОИКФУН) [НА КарНЦ РАН, ф. 11, оп. 1, д. 29, 16 л.]. В этой общественной организации на протяжении 20–30-х гг. XX в. он активно работал, сначала являясь ученым секретарём, позже – заместителем председателя. Другие документы показывают уже зрелого ученого с вполне сформированным научным интересом. В своих докладных записках Д. В. Бубрих отмечал, что в 1930 г. организовал экспедицию по исследованию диалектов карельского языка [НА КарНЦ РАН, ф. 11, оп. 1, д. 32, 15 л.; д. 34, 18 л.]. В процессе этой работы была составлена обширная «Программа по собиранию материала для диалектологического атласа карельского языка», куда автор включил более двух тысяч вопросов. За период 1937–1941 гг. под его руководством было обследовано более 150 населённых пунктов Карельской АССР и 50 в Тверской области [НА КарНЦ РАН, ф. 11, оп. 1, д. 30, 454 л.].

Послевоенный период деятельности профессора Бубриха (1944–1948) в Карелии отмечен его активной педагогической работой в Карело-Финском госуниверситете. Среди уже упомянутых видов документов второго раздела личного фонда имеются конспекты лекционных курсов: «Введение в финно-угроведение», «Русская и славянская акцентология», «Сравнительная грамматика финно-угорских языков», «История финского языка», «Отношения между финским и карельским языками», учебные программы и др. [НА КарНЦ РАН, ф. 11, оп. 1, д. 35, 10 л.; д. 36, 5 л.; д. 37, 13 л.; д. 41, 36 л.; д. 43, 19 л.; д. 44, 8 л.].

Объем документов второго раздела фонда № 11 насчитывает 23 единицы, что составляет 1/3 всех материалов. Большинство документов – это рукописные автографические подлинники, написанные чернилами (автографы), или отредактированные собственноручно машинописные экземпляры.

Мемориальные документы личного фонда Д. В. Бубриха уникальны по истории создания, способу воспроизводства информации, бумажному носителю. Благодаря сохранившемуся наследию мы видим талантливого организатора и педагога, чья плодотворная деятельность в 1930–1940-х гг. помогла создать научную школу и подготовить квалифицированных специалистов – отечественных финно-угроведов.

Таким образом, научный архив КарНЦ РАН располагает уникальным комплексом документальных материалов о научно-организационной деятельности Дмитрия Владимировича Бубриха на территории Карелии в 1930–1940 гг. Документы представляют этого человека как неординарную личность, неутомимого организатора и педагога. Можно с уверенностью заключить, что они являются неотъемлемой частью в истории отечественного (советского) финно-угроведения и жизнеописании своего основателя.

Станислав Викторович Бельский

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,
г. Санкт-Петербург

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ДРЕВНЕЙ *КОРЕЛЫ*: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ

Погребальные комплексы, под которыми понимается структурное единство как надмогильного сооружения, так и погребения, включающее собственно останки погребенного, могильную яму, внутримогильные конструкции и артефакты, составляют один из основных видов археологических источников. Памятники эпохи Средневековья, известные на Карельском перешейке и в Северном Приладожье, не являются в этом смысле исключением в ряду синхронных культур. Однако регион, в силу определенных географических, геоморфологических, исторических и прочих черт, является специфичным в сравнении с соседними, что отразилось, в частности, в особенностях погребальных практик средневекового населения. Более того, именно погребальные памятники, сведения о которых получены только благодаря археологическим раскопкам, и формируют эту, подчеркиваемую многими исследователями, культурную специфику региона.

Принято считать, что в Средневековье на указанных территориях проживало население, упоминаемое в северо- или западноевропейских и древнерусских письменных источниках как *корела*, *кирьялы* и пр. Справедливости ради следует отметить, что, в действительности, до 1293 г. – времени основания Выборга, в текстах не упоминаются какие-либо географические привязки. Есть, конечно, сведения скандинавских саг о *Кирьяланде* или *Кирьялаботнар*, но из них ясно только, что земли *кирьялов* расположены где-то между землями эстов, Норвегией и Северной Русью [подробнее см.: Кочкуркина 2010: 154–155]. Со второй половины XII в. регулярные упоминания *корелы* как активных участников различных военно-политических акций, происходивших вне Карельского перешейка и Северного Приладожья, позволяют видеть за этим названием вовсе не этноним, т. е. все население региона, включая женщин, детей и стариков, а определение этносоциальной группы хорошо вооруженных мужчин-воинов. Специфика социальной структуры изучаемого общества, о котором мы имеем весьма смутные представления сейчас, не могла не отразиться на погребальных практиках. Последовательное накопление новых археологических данных, происходящее на современном этапе исследований, позволяет несколько приблизиться к пониманию культурных процессов и явлений, происходивших на указанных территориях в Средневековье.

Особенности погребальной обрядности средневековой *корелы* были тщательно исследованы в работах С. И. Кочкуркиной, А. И. Саксы и П. Уйно [Кочкуркина 1982: 41–75; Сакса 2010: 82–92; Uino 1997: 44–50]. Но есть ряд моментов, на которые следует обратить особое внимание. А. И. Сакса справедливо отмечал, что детальная характеристика обряда погребения карельских могильников затруднена состоянием документации [Сакса 2010: 82]. Действительно, основным источником служит публикация «пионера карельской археологии» Т. Швиндта [Schwindt 1893], изданная более века назад. Следует отметить, что в основополагающей монографии автор не только детально описал и, что очень важно и нехарактерно для археологических публикаций того времени, привел чертежи открытых комплексов, но и дал первые обобщения по составу инвентаря могильников, особенностям костюма, хозяйству и, наконец, погребальной обрядности и верованиям [Schwindt 1893: 183–191]. Однако научное наследие Т. Швиндта составляют не только его известные публикации, но и многочисленные полевые дневники, хранящиеся сейчас в Архиве Национального музейного ведомства (Хельсинки, Финляндия). Этот корпус источников еще ждет своего исследователя. Можно только предполагать, какие неожиданные сведения они содержат. Например, П. Уйно, в разделе мо-

нографии, посвященном методике его полевых работ, приводит сведения о том, что он открыл могильник Кекомяки (*Kekomäki*) в Коверила (*Koverila*) (совр. пос. Богатыри в Приозерском районе Ленинградской области) в последний день работы экспедиции, в чем, конечно, нет ничего необычного. Но четыре могилы, содержавшие 10 костяков в сопровождении значительного количества артефактов (426 единиц), в том числе и из органических материалов – ткани, кожи, бересты – были раскопаны за 20 часов [Uino 1997: 28]. С точки зрения современной методики такую скорость раскопок при полноценной фиксации представить невозможно. Красивые и информативные чертежи, приведенные в диссертации 1893 г., на самом деле были исполнены в Хельсинки профессиональным художником Рудольфом Укербломом (*Rudolf Åkerblom*) на основании набросков-скетчей в полевых дневниках Т. Швиндта [Uino 1997: 30]. Источниковедческая проблема заключается в том, что после работ 1870–80-х гг. более века на изучаемой территории не происходило столь масштабных исследований могильников. Фактически, до настоящего времени погребальные памятники эпохи Крестовых походов, открытые Т. Швиндтом, остаются основным источником наших знаний о материальной и, в определенной степени, духовной культуре населения в тот хронологический период. Но все же абсолютная достоверность информации вызывает некоторые сомнения – не является ли ее какая-то часть плодом фантазии талантливого исследователя-энтузиаста? Разрешить сомнения могли бы масштабные современные исследования, но пока, за единственным исключением, могильников, подобных раскопанным Т. Швиндтом, найти и изучить современными методами не удастся. К сожалению, масштабы уничтожения памятников археологии в Ленинградской области приняли катастрофический характер [подробнее см.: Бельский 2014б: 213–215]. У автора есть сведения о находках нескольких «классических» погребений на Карельском перешейке в районе пос. Сосново (*Rautu*; здесь и далее названия населенных пунктов даны на финском языке), Громово (*Sakkola*), оз. Комсомольское (*Kiimajärvi*), т. е. в тех самых местах, где так успешно работал Т. Швиндт. Но сейчас сведения об этих комплексах представлены только в виде фотографий вещей. Но и они нуждаются в изучении и введении в научный оборот.

Вновь интерес исследователей к Карельскому перешейку проявляется в 1920-е гг. и связан с находками новых групп археологических объектов. В 1920 и 1921 гг. А. Европеус (*A. Europaeus*, после 1930-х гг. – *A. Åyräpää*) произвел раскопки в районе Лапинлахти (*Lapinlahti*) на южном берегу озера Суванто (*Suvanto*) (совр. пос. Ольховка на озере Суходольское в Приозерском районе Ленинградской области). Работы носили спасательный характер, так как объект на участке Наскалинмяки (*Naskalinmäki*) разрушался распашкой. Комплекс относился ко времени, значительно более раннему, чем массив грунтовых могильников, раскопанных Т. Швиндтом. По современным данным он может быть датирован концом VIII–IX вв. [Сакса 2010: 58].

Помимо А. Европеуса, в 1920–1930-е гг. небольшие по масштабу полевые исследования в рассматриваемом регионе проводили С. Пяльси (*S. Pälsi*), Н. Клеве (*N. Kleve*), В. Войонмаа (*V. Voionmaa*) и Э. Кивикоски (*E. Kivikoski*). Между тем, в эти годы здесь происходило активное аграрное освоение территории, что неизбежно приводило к находкам древних предметов. Местные жители регулярно сообщали о новых находках, и профессиональные археологи выезжали на обследования. К примеру, именно так было найдено погребение VI в. в Нукутталахти (*Nukuttalahti*) на острове Риеккалансаари (*Riekkalansaari*) около Сортавалы (*Sortavala*), изученное в 1938 г. Э. Кивикоски [Кочкуркина 1981: 19–20, № 14]. Благодаря сообщению местных жителей был обнаружен могильник Кууппала (*Kuuppala*) возле Куркийоки (*Kurkijoki*), где в 1927–1928 гг. раскопки проводил Н. Клеве, а в 1937–1938 гг. В. Войонмаа [Сакса 2010: 246–247]. Следует отметить и открытие Э. Кивикоски могильника эпохи викингов (*Hernämäki*) у города Сортавала. Могильник состоял из нескольких каменных «курганов». Один из них, содержавший наиболее выразительные находки, был разрушен при строительных работах, два других изучены Э. Кивикоски [Kivikoski 1944: 5–8].

Новый этап археологического изучения Карельского перешейка и Северного Приладожья начался в 1970-е гг. и был связан с исследованиями поселенческих центров, городищ и

крепостей. Масштабных раскопок погребальных памятников не происходило. Исключение составляют раскопки А. И. Саксы [Сакса 2010: 246] на могильнике Куркийоки Кууппала (*Kurkijoki Kuuppala*). Несмотря на множество находок, в том числе и периода каменного века, все они происходят не из закрытых комплексов, так как были разрушены вследствие многовековой активности населения. Только в раскопках 1986 и 1995 г. были обнаружены три непотревоженные могилы, содержавшие инвентарь [Сакса 2010: 248–249, 252–254].

Таким образом, приходится констатировать, что изучение погребальной обрядности древней *корелы* уже более века упирается в серьезное источниковедческое препятствие: проанализирован крайне немногочисленный материал. Речь идет, фактически, о неоднократных попытках систематизации небольшого количества комплексов, состоящих, в свою очередь, из малых серий. При этом, как показали исследования А. И. Саксы [2010: 290], существовали и локальные различия между могильниками. Диспропорция в хронологическом распределении памятников еще более показательна. Достаточно отметить, что до работ последних лет XI – началом XIII в. в изучаемом регионе были датированы всего семь более–менее реконструируемых комплексов [Бельский 2014а: Рис. 3: 1–9].

В последние годы в результате работ Приладожской археологической экспедиции Музея Антропологии и Этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН на Карельском перешейке и в Северо-Западном Приладожье была открыта и изучена серия новых погребальных объектов, материал которых вновь заставляет обратиться к проблематике погребальной обрядности населения региона в Средневековье.

Следует обратить внимание, что во всех известных сейчас могильниках на данной территории представлен исключительно грунтовый обряд захоронения. Какие-либо заметные наземные сооружения отсутствуют. Такая особенность обрядности, отличающая регион от соседних, весьма затрудняет поиск и выявление новых объектов. Необходимо отметить, что многие памятники, ставшие «классическими» для карельской археологии, в конце XIX – начале XX в. обнаружены случайно местными жителями, обратившими внимание на древние предметы в процессе хозяйственной деятельности. Поэтому подавляющее число находок представлены целыми изделиями крупных размеров, которые привлекали внимание: это оружие (мечи, наконечники копий, топоры) или массивные бронзовые фибулы, браслеты и другие приметные украшения. Иными словами, перечисленные комплексы, в действительности, состоят из предметов, собранных местными жителями и вещей, обнаруженных профессиональными археологами на месте таких находок. При этом с данной территории происходит внушительное количество «случайных» находок. В настоящее время можно говорить о минимум 200 пунктах, где найдены древние артефакты [Сакса 2010: 63, 81, Рис. 11, 13; Uino 1997: 114, fig. 4: 6]. Несомненно, часть из них связана с поселениями. Но также, в силу их сохранности, очевидно, что большинство происходит из разрушенных погребений. В свою очередь, количество же изученных могильников к 2014 г. не превышало 18-ти, причем, включая объекты, где были открыты единичные инвентарные погребения [Бельский 2014а: Рис. 2, табл. 1]. Отмеченное различие в составе источниковой базы настолько очевидно, что требует особого внимания.

Увы, но в XXI в. ситуация повторяется. И связана она с деятельностью «любителей металлопоиска», весьма многочисленных сейчас, которые находят погребальные памятники, часто в самых неожиданных местах, и иногда сообщают о них профессиональным археологам. На месте находок проводятся археологические исследования с соблюдением современных норм методики раскопок с целью полноценного изучения поврежденного памятника и введения его в научный оборот. Несколько таких объектов были изучены в последние годы силами археологических экспедиций МАЭ РАН.

К сожалению, рамки статьи не позволяют охарактеризовать каждый открытый комплекс отдельно, но некоторые заключения могут быть сформулированы. Наибольший интерес представляют могильники, содержащие погребения по обряду кремации.

Данная группа погребальных памятников Карелии, хотя и известна с XIX в., но, по-прежнему, является несколько загадочным явлением в археологии региона. Связано это об-

стоятельство со сложностью их выявления. Кроме того, поскольку данные объекты имеют минимальную глубину залегания, не более полуметра от поверхности, и содержат, как уже было указано, большое количество крупных металлических артефактов, они наиболее подвержены разрушению. Для этой категории памятников в настоящее время можно выделить две группы: это крупные могильники с рассыпными кремациями, т. е. памятники, содержащие более двух захоронений и отдельные погребения, имеющие компактную площадь залегания. К разновидности последних можно отнести парные захоронения – мужское и женское.

Крупные могильники с рассыпными кремациями (фин. *“polttokenttäkalmisto”*) были открыты в последние годы на Карельском перешейке: Староселье 1 (Выборгский район Ленинградской области), Мельничные ручьи и Горы (Приозерский район Ленинградской области). К сожалению, территории памятников сильно повреждены нелегальными раскопками. Но при изучении новых данных можно заключить, что при всех частных различиях указанные объекты обладают рядом общих черт.

Во-первых, они расположены на скалистых возвышенностях, в светлых борových лесах. Ландшафт характерен более для памятников каменного века, чем раннего Средневековья, что вызывает дополнительный интерес. Места кладбищ расположены вблизи мест древних поселений. В Карелии в силу природно-географических факторов земельный фонд, пригодный для поселения и распашки, ограничен. Вследствие этого люди продолжали использовать одни и те же места на протяжении нескольких столетий вплоть до современности. Поэтому очень часто средневековые селища располагаются на месте довоенных или современных деревень и поселков. Могильники с кремациями, в отличие от более поздних кладбищ с несожженными телами умерших, были вынесены за пределы поселения, но недалеко – на соседний залесенный холм или скалу.

Во-вторых, погребения или концентрации артефактов локализуются на относительно ровных площадках на вершинах или склонах возвышенностей. Иногда создается впечатление, что эти площадки были намеренно расчищены.

В-третьих, на месте могильника не всегда, но часто, расположена естественная доминанта – огромный валун или скальное возвышение – вокруг которой или в непосредственной близости к ней концентрировались находки.

В-четвертых, комплекс находок включает большое количество предметов вооружения: мечей, копий, топоров, стрел. Также характерны другие предметы из железа: ножи, кресала, различные инструменты. Украшения представлены скорлупообразными (ранних «карельских» типов), подковообразными, равноплечими и круглыми ажурными фибулами, браслетами разных типов, гривнами, перстнями, привесками, бубенчиками, цепочками. Встречается и нумизматический материал. Для этих памятников также характерны находки бус: сердоликовых, глазчатых, серебростеклянных. Почти во всех случаях известны находки элементов снаряжения верхового коня.

В-пятых, обращает внимание разная сохранность вещей. Многочисленны находки сильно оплавленных, неопределимых предметов, но наряду с ними были найдены частично оплавленные вещи или совсем не подвергавшиеся воздействию огня. Из этого следует, что сама кремация происходила где-то в другом месте, возможно, на самом поселении. Некоторые предметы были принесены на место погребения отдельно.

В-шестых, далеко не все вещи на территории памятника связаны с погребениями, могильными ямами или с зонами концентрации кальцинированных костей. При тщательных раскопках и фиксации выясняется, что многие предметы, особенно оружие, лежат отдельно или в нескольких метрах от погребений. Часто копыя воткнуты вертикально в землю, согнуты от удара о камни. На мой взгляд, это является археологическим свидетельством существования определенных поминальных ритуалов, которые могли происходить как во время погребальной церемонии, так и спустя какое-то время после нее. На месте таких могильников иногда встречаются вещи явно более поздних типов, чем основной комплекс находок. По моему мнению, рассматриваемые объекты могут быть названы не только погребальными, но погребально-поминальными памятниками.

До настоящего времени индивидуальные или парные погребения по обряду кремации как самостоятельное явление в археологии Карелии эпохи Средневековья в историографии не выделялась, несмотря на то, что отдельные объекты были известны, например, уже упоминавшееся погребение в Нукутталахти. Тем не менее результаты современных исследований свидетельствуют, что отдельные погребения, содержащие большое количество сопроводительного инвентаря, но не формирующие могильников, распространены на изучаемой территории достаточно широко. Их поиск особенно затруднен в виду небольшой площади распространения находок, но главное – пока не совсем понятна топографическая приуроченность подобных памятников. Фактически они могут быть обнаружены в самых неожиданных и непредсказуемых местах – на скалистых или каменистых склонах, часто довольно крутых, в расщелинах скал, на невысоких холмах среди полей, на скалистых мысах, что особенно характерно для северного побережья Ладоги. Чаще всего указанные объекты представляют собой захоронения, совершенные в неглубоких ямах или на древней поверхности, общей площадью не более 2 кв. м. Хотя, как и в случае с большими могильниками с рассыпными кремациями, отдельные вещи могут находиться вне погребений.

В последние годы были открыты и частично изучены погребения на острове Килпола (*Kilpola*) (Хийтольское сельское поселение, Лахденпохский район Республики Карелия): Сянкинмяки (*Sänkinmäki*), Пихлаянмяки (*Pihlajanmäki*), Туркинсалми (*Turkinsalmi*) 1–3; на материковой части Хийтола: Кавонсалми Хассинтарха (*Kavonsalmi Hassintarha*), Ристиниеми (*Ristinieniemi*); на Карельском перешейке: Горы (*Unnonkoski*) 1–2 (Приозерский район Ленинградской области); есть сведения о находках схожих комплексов и в других местах.

Категориальный и типологический состав сопроводительного инвентаря у части открытых комплексов рассматриваемой группы схож с крупными могильниками. Однако, и это существенное открытие последних лет, часть из них содержит изделия, характерные для грунтовых могильников с ингумациями XIII в.: овально-выпуклые фибулы, копоушки, «Ф»-образные принизки, зооморфные привески, овальные кресала, топоры и копья «поздних» типов. Идея о том, что часть средневекового населения региона в XIII в. продолжала практиковать более архаичную погребальную обрядность – грунтовые кремации синхронно с кладбищами, где были погребены несожженные тела умерших, уже высказывалась [Бельский 2013: 22]. А. И. Сакса [2010: 285] также предполагал, что традиции погребальной обрядности эпохи викингов, прежде всего обряд трупосожжения, продолжались до начала или даже середины XII в. Современные данные, в том числе радиоуглеродные датировки, позволяют омолодить подобные объекты еще, как минимум, на столетие [Бельский, Лааксо 2015: 368–379]. Согласно современным исследованиям в области хронологии грунтовых могильников, ингумации в регионе распространяются не ранее начала – первой четверти XIII в. [Бельский 2014а: 330]. В этом случае возникает проблема, которую можно условно назвать «проблемой XII в.»: проявляется определенная хронологическая лакуна между памятниками рубежа X–XI вв. и XI в., количество которых увеличилось сейчас значительно и кладбищами XIII–XIV вв. Можно высказать предположение, что часть индивидуальных погребений по обряду кремации, совершенных в могильных ямах, относится к возможному «переходному» периоду. Выделение таких объектов, построение их хронологии является одной из наиболее актуальных задач текущих археологических исследований погребальной обрядности древней *карелы*. Особую роль могут сыграть радиоуглеродные даты, получение которых – дело ближайшего будущего.

Литература

Бельский С. В. Погребальные памятники Карельского перешейка и Северного Приладожья XI–XV вв. (хронология вещевых комплексов). Автореф. канд. дисс. СПб., 2013.

Бельский С. В. Хронология погребальных памятников Карельского перешейка и Северного Приладожья XI–XV вв. // *Stratum Plus*. Вып. 5. Кишинев, 2014а. С. 317–332.

Бельский С. В. Масштаб уничтожения археологических памятников в Ленинградской области в 2000–2010-х гг. В поисках приемлемых путей выхода из сложившейся ситуации //

Труды IV(XX) Всероссийского Археологического съезда в Казани. Том IV. Казань, 2014б. С. 213–215.

Бельский С. В., Лааксо В. О двух погребальных традициях эпохи Крестовых походов на Карельском перешейке и в Северном Приладожье // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2014 году. СПб., 2015. С. 368–379.

Кочкуркина С. И. Археологические памятники корелы V–XV веков. Л.: Наука, 1981.

Кочкуркина С. И. Древняя корела. Л.: Наука, 1982.

Кочкуркина С. И. Древнекарельские городища эпохи Средневековья. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010.

Сакса А. И. Древняя Карелия в конце I – начале II тысячелетия н. э.: Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли. СПб.: «Нестор-История», 2010.

Kivikoski E. Zur Herkunft der Karelrier und ihrer Kultur // Acta Archaeologica. Vol. XV. København, 1944. S. 1–28.

Schwindt T. Tietoja Karjalan rautakaudesta ja sita seuraavilta ajoilta. SMYA XIII. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapainossa, 1893.

Uino P. Ancient Karelia. Archaeological studies. SMYA 104. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1997.

Марина Викторовна Иванишева
*Детско-юношеский центр «Лидер»,
г. Вологда*

О РЫБОЛОВСТВЕ В КАМЕННОМ ВЕКЕ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ НА ТУДОЗЕРЕ*



Рис. 1. Археологические памятники микрорегиона Тудозеро

Рыболовство – древнейшая отрасль промыслового хозяйства человека. Археологические свидетельства этого занятия немногочисленны, поскольку и в современности для изготовления рыболовных снастей чаще всего используются органические материалы, не сохраняющиеся в песчаном грунте большинства известных археологических памятников, в том числе и на юго-восточном побережье Онежского озера, где расположено многослойное поселение Тудозеро V. В статье рассматриваются материалы, связанные с рыболовством, полученные при раскопках памятника. Дается анализ остеологической коллекции из слоев эпохи мезолита – раннего неолита. На основе археологических и этнографических данных реконструируются разнообразные приемы и способы лова у промыслового населения южного Прионежья.

Многослойное поселение Тудозеро V находится в Вытегорском районе Вологодской области на песчаной косе, шириной около 40 м, между озерами Онежским и Тудозеро, в 1 км к югу от протоки, соединяющей озера. Географически эта территория относится к южному Прионежью. Оз. Тудозеро входит в Прионежскую

* Исследования проведены при поддержке фонда РФФИ и правительства Вологодской области, грант № 14-06-98807 p_север_a.

группу озер. Площадь его 1125 га, длина береговой линии озера 25 км, максимальная ширина зеркала 1,8 км, глубина 4,5 м, в среднем 2,5–3 м. В настоящее время по берегам Тудозера известно 17 археологических памятников (Рис. 1), выявление которых связано с именами И. С. Полякова, А. Я. Брюсова, Г. А. Панкрушева, С. В. Ошибкиной, А. М. Иванищева [Иванищев 1997: 13–15]. Поселение Тудозеро V, исследованное раскопками А. М. Иванищевым на площади 1276 м², отличается четкой стратиграфией: изучены культурные слои от эпохи мезолита до Средневековья, в которых отразились этапы заселения микрорегиона в целом.

Памятник Тудозеро V приурочен к отложениям золотых песков, образующих прибрежные донные гряды [Кулькова, Иванищева, Солдатенкова 2014: 194]. По данным палинологии, начало формирования этих отложений относится к пребореальному периоду [Иванищева, Кулькова, Сапелко 2015: 287]. В конце бореала участок был освоен охотничье-рыболовецким населением. Культурный слой эпохи мезолита в виде черного песка мощностью до 0,3 м приурочен к древней западине, где залегал ниже современного уровня воды в Онежском озере, и частично сохранился на южном возвышении дюны. Незначительное число объектов, связанное с мезолитическим слоем, датированным по углю из ямы 8280±35 (ЛЕ-6701), указывает на кратковременный характер этого освоения. Два слоя раннего неолита с керамикой ранней гребенчатой и ранней сперрингс так же разделялись в западине стерильными прослойками и были отделены от вышележащих культурных напластований. Нижний ранненеолитический слой (нижний серый 2) мощностью до 0,6 м распространен на площади более 1000 м² и связан с долговременным (круглогодичного обитания) поселением, возраст которого приходится на период 6600–6200 14С ВР. Верхний ранненеолитический слой (нижний серый 1) связан с кратковременными стоянками, возобновлявшимися после похолодания середины атлантикума, имевшего место около 6100 ВР [Иванищева, Кулькова, Сапелко 2015: 288]. Более поздние поселенцы обладали ямочно-гребенчатой керамикой развитого неолита, гребенчато-ямочной, ромбо-ямочной, асбестовой керамикой позднего неолита – энеолита. Вновь долговременное поселение на косе возникает в раннем железном веке в первых веках н. э. [Иванищев 2005: 48]. В арсенале промыслового инвентаря, изготовленного на поселении, обнаружены железные наконечники стрел и рыболовные крючки. В развитом Средневековье на дюне существовали сезонные лагеря промысловиков охотников и рыболовов. Рыбный промысел документирован находками железных крючков в комплексе с грубой лепной керамикой IX–XI вв. [Иванищев, Иванищева 2003: 178].



Рис. 2. Рыболовный инвентарь каменного века поселения Тудозеро VIII (1–5) и Тудозеро V (6–9):

Инвентарь, связанный с рыболовным промыслом, обнаруженный на памятниках Тудозерья, представлен следующими категориями предметов.

Из слоя эпохи мезолита поселения Тудозеро V происходит сланцевая галька с нарезками на противоположных концах, интерпретированная как рыболовный грузик (Рис. 2: 7) [Иванищев, Иванищева 2000: 287, 288; Рис. 1:10]. Комплекс материалов, связанный с рыболовством, из слоя долговременного поселения раннеолитического времени более разнообразен. Он представлен пешней в виде киркообразного орудия с обколотым нижним концом, грузилами для сетей в виде небольших овально-уплощенных галек, со сверлиной в центре или выемками по краям [Иванищев 1997: 23, Рис. 5]. Этот набор свидетельствует о развитии сетевого лова, в том числе и подледного. Сетевой лов относится к коллективным формам добычи рыбы и, как правило, наиболее эффективен при использовании плавсредств. Косвенным аргументом в пользу наличия последних у древних тудозерян является значительное увеличение в раннем неолите (по сравнению с мезолитом) разнообразных специализированных орудий деревообработки [Иванищев, Иванищева 2000: 286]. Из этого же слоя происходят рыболовные грузики в виде небольших удлинённых галек с нарезками или боковыми выемками на одном из концов (Рис. 2: 6, 8, 9), свидетельствующие о развитии индивидуальных способов лова. Индивидуальный лов со снастью типа уда или других крючковых снастей демонстрируют находки деталей составных рыболовных крючков. Это сланцевые стерженьки с кольцевой нарезкой для привязывания линька (нить из естественных волокон) и углублением на другом конце, к которому крепилось костяное жало. Хронология этих находок весьма широка. Каменные цевья составных крючков обнаружены на памятниках с ямочно-ребенчатой керамикой развитого неолита и более позднего времени в Карелии [Савватеев 1991: 184], представлены в материалах каменного века в Прибалтике [Загорска 1991: 54, 56]. Отметим, что в нашем случае обломки двух и одно целое изделие с квадратным, линзовидным и округлым сечением (Рис. 2: 3, 4, 5) происходят из подъемного материала с многослойного поселения Тудозеро VIII (ранний неолит – Средневековье), расположенного в 50 м восточнее поселения Тудозеро V.



Рис. 3. Промысловый инвентарь раннего железного века поселения Тудозеро V: железные рыболовные крючки

В настоящее время это небольшой островок, отделенный от косы болотом, а от «материковой» части суши – заторфовывающимся заливом «Щучья Тоня». Интересно отметить, что детали составных рыболовных крючков с этой стоянки впервые были опубликованы И. С. Поляковым, обследовавшим местность у д. Бабовщина на Тудозере в

1871 и 1873 годах, с чего, собственно, и началась история изучения неолита на Севере [Поляков 1882: 167]. В подъемном материале памятника имеются 2 грузила в виде камней с берестяной оплеткой (Рис. 2: 1), но датировать их затруднительно, так как подобные изделия были в ходу до недавнего времени. Еще один предмет с «островка» представляет собой обломок сланцевого заостренного стержня со сверлиной на боковой стороне (Рис. 2: 2) и имеет аналогии в редкой категории находок позднего неолита с ребенчато-ямочной керамикой в Карелии. Это часть рыболовного грузика, выполненного на плоской гальке в форме рыбки. Целые экземпляры известны на поселениях Черная Губа IV, IX на северном и Суна IV на юго-западном побережье Онежского озера [Витенкова 2002: 124, Рис. 51: 5]. В культурном слое раннего железного века обнаружены железные крючки с петлеобразной головкой и заостренным жалом размерами 3,8–4,0 см (Рис. 3). Аналогичные, но более крупные (4,8 см и 5,0 см) изделия обнаружены в слое с грубой лепной керамикой IX–XI вв. Тудозерья.

О значительной роли рыболовства в раннеолитическое время свидетельствует особый орнамент на посуде, выполнявшийся рыбьими позвонками [Титов 1972: 36] и другими частями скелета рыб. Тудозерскую раннеолитическую керамику отличает абсолютное пре-

обладание в орнаментации сосудов гребенчатых оттисков, зафиксированных на 237 из 290 сосудов. Оттиски наносились как искусственными штампами, так и естественными орнаментирами. При экспериментальном моделировании нам удалось выяснить, что наиболее четкие «гребенчатые» отпечатки получались при использовании в качестве орнаментиров жаберной дуги горбуши (лосося, палии) и костей грудного плавника судака [Иванищев, Иванищева 2000: 292]. По-видимому, совершенно не случайно в определенной археозоологической коллекции поселения Тудозеро V преобладают кости судака и рыб из семейства лососевых. Из других предметов, обнаруженных на поселении, отметим находки кремневых фигурок рыб (Рис. 4). Ценный промысловый вид изображенных особей диагностируется при сравнении с формами современных лососевых, а также по намеченному в верхней хвостовой части одного изделия жировому плавнику, отличающему это семейство (Рис. 4: 2). Изделия обнаружены в переотложенном состоянии и их хронологическая позиция не ясна. Традиционно кремневую пластику связывают с эпохой энеолита.

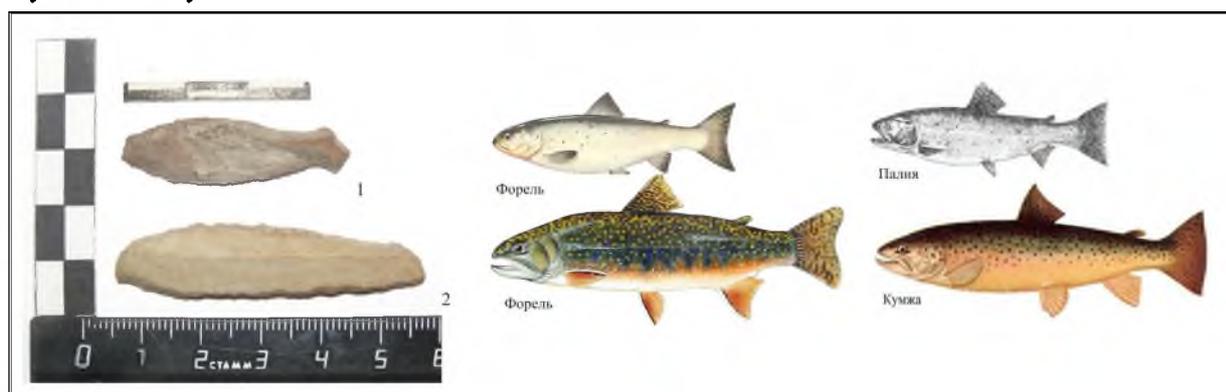


Рис. 4. Кремневые фигурки с поселения Тудозеро V (1, 2).

Археозоологические материалы из культурных слоев мезолита – раннего неолита поселения Тудозеро V дают представление о соотношении групп позвоночных животных, являвшихся объектами промысла древнего населения, а также о видовом составе древних уловов. Слои этого времени насыщены костями. Правда, все они относятся к кухонным остаткам. Единичные находки «сырых костей» бобра и лося, помещенных в сосуд с гребенчатым орнаментом и засыпанных охрой, связаны со слоем раннего неолита [Иванищев 1997: 25–26]. В выборке кальцинированных костей для археозоологического анализа с поселения Тудозеро V исследовано около 400 экземпляров из слоев раннего неолита с керамикой ранней гребенчатой и сперрингс и около 300 из мезолитического слоя¹. Большая часть коллекции происходит из раскопа 11, покрывшего древнюю западину. Здесь разделенные стерильными прослойками слои исследованы на одинаковой площади [Иванищев, Иванищева 2000: 285]. В слое раннего неолита с объектами сезонных стоянок (Таблица 1, слой нижний серый 1) кости происходят из кострищ открытого типа (без камней) и хозяйственных ям. В ранненеолитическом слое поселения круглогодичного обитания (Таблица 1, слой нижний серый 2) костные остатки концентрировались в очагах, в небольших ямках около очагов, заполненных костями, в основном, рыбьими, зольниках, кострищах и хозяйственных ямах. В слое эпохи мезолита (Таблица 1, слой нижний черный) костные остатки скоплениями располагались в культурном слое, в одном случае были связаны с очагом, вокруг которого концентрировался кремневый микролитический инвентарь. Часть коллекции происходит из раскопа 12, с участка, где отсутствует четкое разделение культурных слоев, что не дает основания четко их датирования (Таблица 1, слой нижний серый 2 без керамики). Отчасти, в этом

¹ Определение костных остатков рыб проведено младшим научным сотрудником Института аридных зон (ИАЗ) ЮНЦ РАН С. В. Куршаковым (г. Ростов-на-Дону). Определение костных остатков животных проведено старшим научным сотрудником лаборатории териологии Зоологического института РАН М. В. Саблиным (г. С-Петербург).

случае археозоологические определения могут выступать как хронологический маркер, о чем речь пойдет ниже.

В слоях раннего неолита кости рыб абсолютно преобладают над костями млекопитающих, что, по-видимому, свидетельствует об увеличении доли рыболовства в жизнеобеспечении коллективов в этот период (Таблица 1).

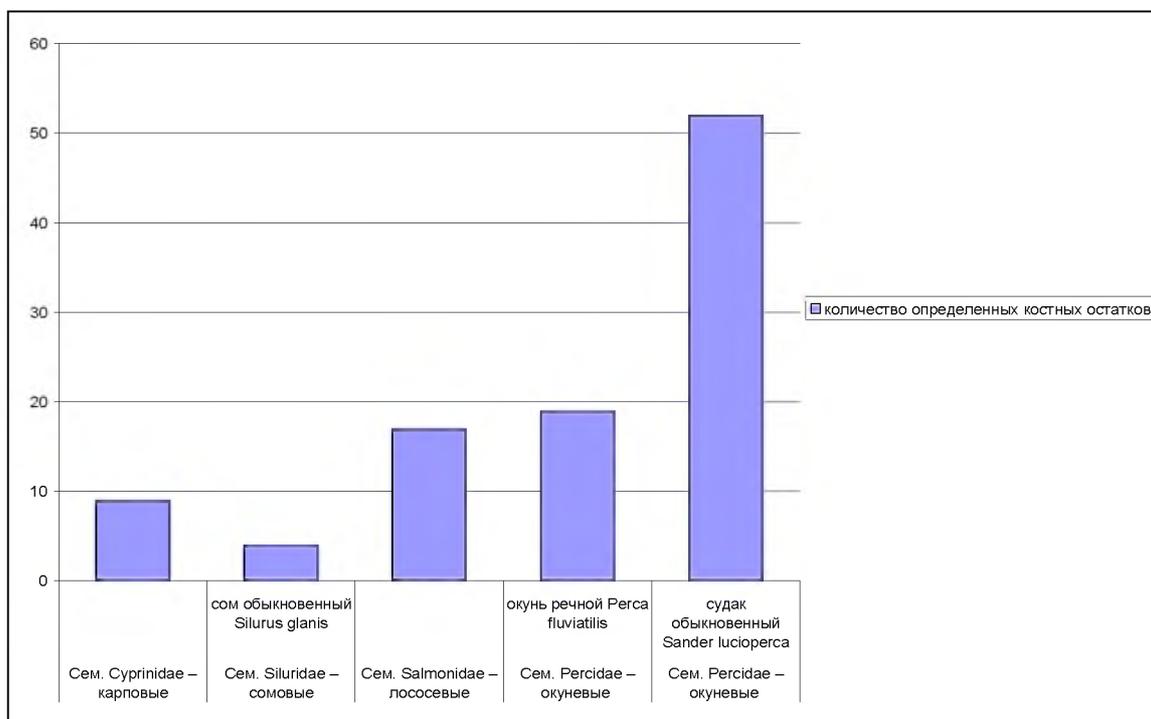


Рис. 5. Систематический список и соотношение определенных видов рыб в археозоологической коллекции поселения Тудозеро V

Из общего числа костей рыб определены около 14 %: до вида 75 экз. и до семейства 26 экз. В коллекции идентифицированы рыбы семейств: карповые (Сем. *Cyprinidae*), лососевые (Сем. *Salmonidae*), сомовые (Сем. *Siluridae*) (сом обыкновенный *Silurus glanis*), окуневые (Сем. *Percidae*) (два вида: окунь речной *Perca fluviatilis* и судак обыкновенный *Sander lucioperca*) (Рис. 5). В количественном отношении костные остатки рыб распределились следующим образом. Семейство карповые – 9 позвонков (8,9 % определенных костных остатков). Семейство лососевые – 17 позвонков (16,8 %). Сом обыкновенный – 4 экз. (3,9 %). Кости представлены грудными лучами и квадратной костью. По двум грудным лучам удалось восстановить длины особей: 29 и 29,5 см. Окунь речной – 19 экз. (18,8 %) костных остатков, которые представлены позвонками, зубными костями и различными костями черепа. Возраст двух особей 9 и 10 лет. Судак обыкновенный – 52 экз. (51,4 %). По числу костных остатков этот вид наиболее многочисленный; представлен, в основном, позвонками и сошниками, а также зубными костями и другими костями черепа. Восстановленные по сошникам размеры особей составили 39, 43, 45 см. Возраст определенных особей от 5 до 17 лет. Они являются хищниками, обитают в водоемах озерно-речного типа с хорошей аэрацией. Большая часть костных остатков принадлежала мелким и среднеразмерным особям рыб.

О хронологии слоев на основе археозоологических определений. Состав определенных видов в уловах дает дополнительные основания к хронологии отдельных объектов эпохи камня поселения Тудозеро V. По данным Л. А. Кудерского, формирование рыбного населения Онежского озера включало два этапа вселения рыб. Северные холодноводные виды, включая семейство лососевых, являются реликтами микулинского межледниковья, в современном виде появляются в позднеледниковье. Тепловодные виды, к которым из определенных относятся рыбы семейства карповых, а также сом и судак, являются волго-

каспийскими иммигрантами, их вселение приходится на климатический оптимум голоцена – плювиальный период атлантического времени [Кудерский 2005: 161]. Соответственно ряд объектов, содержащих значительное количество костей судака и особо теплолюбивого сома, из слоя «нижнего серого 2 без керамики» по составу ихтиофауны тяготеет к атлантическому периоду и может быть отнесен к раннеолитическому времени (Таблица 1).

О местах промысла на основе археозоологических определений. По составу определенной ихтиофауны можно полагать, что рыбный промысел осуществлялся в обоих водоемах – Онежском и Тудозере. Последнее и в настоящее время отличается значительным разнообразием видового состава рыбного сообщества от других небольших водоемов, расположенных в округе, за счет соединения с Онежским озером протокой и за счет мелководности. В ихтиоценозе оз. Тудозера зарегистрировано 20 видов рыб, относящихся к 9 семействам, в том числе промысловые виды из семейства сиговых, хариусовых, корюшковых, щуковых, колюшковых. Из семейства лососевых в Тудозере представлены лосось атлантический и кумжа – жилая форма озерного лосося, иначе, озерная форель. Из карповых, представленных 13-ю видами, в уловах преобладают уклейка, плотва, лещ, красноперка [Коновалов, Борисов, Болотова 2008: 137, 252, 253; Табл. 4.4]. Находки костей сома предполагают добычу рыбы в Онежском озере. В составе современной ихтиофауны оз. Тудозера этот вид не зафиксирован, причиной чему может служить мелководность этого водоема. Особое значение этого вида в неолитическое время отмечено изображением в центральной «триаде» наскальных рисунков Бесова Носа на восточном берегу Онежского озера, являющимся в определенной степени основанием для датировки последних [Жульников 2006: 34]. Наличие значительного числа костей лососевых указывает, возможно, на дальний промысел. Известно, что в настоящее время единственным поблизости водоемом-нерестилищем лососевых является р. Андома, устье которой удалено от Тудозерской протоки на 13 км к северу. Не исключено, что в атлантикуме, когда уровень Онежского озера был на 3 м ниже современного, Тудозера, сформировавшееся в районе палеодолины раннего плейстоцена [Гаркуша, Буслович 2008: 168], могло представлять собой реку. Правда, это предположение требует дополнительного обоснования. Естественно, что Онежское озеро, отличающееся наибольшим разнообразием рыбного населения, так же могло быть местом лова данного вида.

Способы и время лова в Онежском озере по этнографическим данным. Учитывая, что основные рациональные приемы лова были выработаны населением в древности, а со временем изменялись лишь материалы, использовавшиеся для изготовления снастей, уместным кажется привести этнографические данные о рыболовстве на Онежском озере. По данным Н. Матросова [Матросов 1909]: «Способы рыболовства въ водахъ онежскаго озера весьма различны въ зависимости отъ времени года и отъ породы рыбы. Ловятъ рыбу мережами или матками, продольниками, кереводами, сѣтками самоловками, мердами, неводами; по осенямъ лучать, а зимой ставятъ крючки». Мережи или матки – вид стационарных ставных ловушек, принцип действия которых основан на установке на пути рыбы неподвижного препятствия – «крыла», которое направляет её в ловушку «мережу». «Ловля матками начинается сразу по открытіи навигаціи и кончается въ заморозки ... Въ матки ловятъ крупную рыбу: лососей, форелей, сиговъ, судаковъ и проч.».

Второй тип относится к снасти типа невод. Это подвижные сетные орудия лова, состоящие из сетного полотна и канатов. Принцип лова основан на обмѣтывании скоплений рыбы и вытягивании сети с уловом на берег или на борт судна. Неводом «... ловятъ ... весной по ночамъ, а осенью днемъ. Рыба попадаетса разныхъ породъ».

«Кереводом» – снастью типа донного невода – «... ловятъ на мысахъ, меляхъ или лудахъ въ разныхъ мѣстахъ, ... каменистых, въ весеннюю ночь или осенній день много дѣлаютъ переѣздовъ отъ одной луды на другую... Весной ловятъ окуней, сиговъ, гарьюсовъ, а съ 30-го августа по 1-е октября палею – (форель), когда та идетъ на мель».

«Лососей ловятъ по открытіи навигаціи по большей части вблизи устьевъ рѣкъ матками, а въ самыхъ рѣкахъ бродниками и калечатъ» – снастями типа закидного невода. «Бродники состоятъ изъ двухъ рѣдкихъ сѣтокъ различной длины. Одну сѣтку ставятъ поперекъ

рѣки. Затѣмъ отъ нея заходятъ по теченію рѣки съ другой сѣткой на большое разстояніе, которую ставятъ тоже поперекъ рѣки и идутъ съ нею къ первой сѣткѣ; и при приближеніи къ первой сѣткѣ рыба, бывшая на этомъ пространствѣ, попадаетъ въ ячеи обѣихъ сѣтокъ, откуда ее вынимаютъ руками, не поднимая сѣтокъ... Калезать лососей такъ: берутъ очень длинную даже связанную жердь (ворило) и къ одному концу ея привязываютъ конецъ сѣтки, и это ворило съ привязанной сѣткой пихаютъ поперекъ рѣки и затѣмъ ворило плыветъ вмѣстѣ съ сѣткой по рѣкѣ – съ другимъ концомъ ворила идутъ по берегу, а также и съ другимъ концомъ сѣтки, проплывши известное пространство, ворило тащатъ на берегъ и добравшись до сѣтки тянутъ какъ и неводъ на берегъ; рыба бывшая въ этомъ пространствѣ, и попадаетъ. Ловля производится на гладкихъ мѣстахъ. Лососей ходятъ ловить даже въ самое верховье рѣки».

Мерда «...представляетъ изъ себя половину разрѣзаннаго по высотѣ конуса сдѣланнаго изъ гибкихъ вичевѣвъ обтянутыхъ сѣткой. Прямою площадью погружаютъ въ воду; ... у входа въ мерду дѣлается такое горло, чтобъ окунь не выходилъ обратно. Ставятъ около мелей. Окунь охотно идетъ въ нее тереться, выпуская икру. – Ловятъ по веснамъ мердами хорошо».

Еще один тип представлен крючковыми снастями. «Продольники состоятъ изъ толстой крѣпкой нити ..., къ которой привязываются по тоньше нитки ..., а къ нимъ прицѣпляются крючки ...; чрезъ каждые 4 уды привязываются маленькіе камешки, чтобы продольникъ лежалъ на землѣ; концы продольника прикрѣплены къ веревкѣ, къ одному концу веревки привязывается якорь – камень, къ другому кубасъ – деревянный знакъ; наживляются крючки корюшкой, попадаетъ рыба крупная, иногда очень хорошо. Но бываетъ затрудненіе въ корюшкѣ. По Шекснѣ охотно налимъ ѣсть лягушку, но у насъ это еще не пробовано».

Описанные снасти относятся к видам, использовавшимся в рыболовстве с глубокой древности. Ловля рыб ставными деревянными ловушками известна по археологическим материалам с эпохи позднего мезолита [Лозовский, Лозовская, Зайцева 2015: 89]. Лов крючковыми снастями типа «кораблик» (подвижный тип «продольника») зафиксирован на стоянке Каравайха 4 раннего неолита [Косорукова, Венедиктова 2014: 31]. Описанные способы сетевого лова не требовали сложного специализированного оборудования, в ряде случаев сеть оснащалась подручными средствами, которые не идентифицируются как специализированные орудия лова и вряд ли вообще могли быть принесены на стоянки. Логично предположить, что немногочисленный по составу орудийный набор, обнаруженный на поселениях Тудозерья, вряд ли адекватно отражает степень значимости этой отрасли в хозяйстве населения различных эпох.

Выводы:

Удобное расположение и значительное разнообразие биоресурсов микрорегиона Тудозеро и прежде всего рыбных запасов, являлось, по-видимому, основным фактором, определившим заселение участка в различные периоды древности и Средневековья.

Определения в составе археозоологической коллекции трех систематических групп позвоночных животных – рыбы, млекопитающие, птицы – отражают комплексный многоукладный характер присваивающего хозяйства у обитателей поселений эпохи камня.

Соотношение этих групп в разновременных слоях указывают на ориентацию промыслового хозяйства насельников ранне-неолитического времени на рыболовство, и, вероятно, эпизодичность этого занятия в мезолите.

Разнообразные орудия лова свидетельствуют о высоком уровне развития этого промысла, включая индивидуальные и коллективные его формы.

Литература

Витенкова И. Ф. Памятники позднего неолита на территории Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 183 с.

Гаркуша В. И., Буслович А. Л. История развития рельефа южного Прионежья в неоген-четвертичное время // Масштабы географии. Первые чтения памяти Ю. Д. Дмитриевского: Сб. научн. ст. Вологда: «Граффити», 2008. С. 88–105.

- Жульников А. М. Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов. Петрозаводск: Скандинавия, 2006. 224 с.
- Загорска И. А. Рыболовство и морской промысел в каменном веке на территории Латвии // Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита – раннего металла. Л.: Наука, 1991. С. 39–64.
- Иванищев А. М. Древности Вытегории // Краеведческий альманах «Вытегра». Вып. 1. Вологда: Изд-во «Русь», 1997. С. 11–42.
- Иванищев А. М., Иванищева М. В. Тудозеро V поселение позднего мезолита – раннего неолита в Южном Прионежье // Тверской археологический сборник. Вып. 4. Том I. Тверь: Тверской государственный объединенный музей, 2000. С. 284–296.
- Иванищев А. М., Иванищева М. В. Средневековые древности Тудозерья // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: материалы IV Международной научной конференции «Рябининские чтения–2003». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. С. 178–180.
- Иванищев А. М. Комплексы раннего железного века поселения Тудозеро V // Археология Севера: материалы археологических чтений памяти С. Т. Еремеева. Вып. 1. Череповец: ТПФ «Графитти», 2005. С. 42–54.
- Иванищева М. В., Кулькова М. А., Сапелко Т. В. Природные процессы в голоцене Южного Прионежья (по материалам комплексных исследований многослойного поселения Тудозеро V) // Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию В. П. Третьякова / Под ред. В. М. Лозовского, О. В. Лозовской, А. А. Выборнова. СПб.: ИИМК РАН, 2015. С. 285–288.
- Коновалов А. Ф., Борисов М. Я., Болотова Н. Л. Разнообразие водных экосистем ООПТ «Онежский». Рыбное население // Сохранение биоразнообразия природных комплексов водосбора Онежского озера на территории Вологодской области / Под ред. Н. Л. Болотовой, Н. К. Максutowой, А. А. Шабунова. Вологда: Вологодский государственный педагогический университет, 2008. С. 129–143.
- Косорукова Н. В., Венедиктова Н. Н. Рыболовный промысел у населения стоянки Каравайха 4 // Археология Севера: материалы V археологических чтений памяти С. Т. Еремеева. Вып. 5. Череповец: ЧерМО, 2014. С. 30–41.
- Кудерский Л. А. Пути формирования ихтиофауны Онежского озера // Труды Карельского научного центра РАН. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. Вып. 7. Биогеография Карелии. С. 147–163.
- Кулькова М. А., Иванищева М. В., Солдатенкова А. Д. Геоэкология памятника эпохи каменного века – Средневековья Тудозеро V по данным геохимических исследований // Геоэкология, геоэкология, эволюционная география: Коллективная монография. Том XIII / Под ред. Е. М. Нестерова, В. А. Снытко. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. 304 с.
- Лозовский В. М., Лозовская О. В., Зайцева Г. И. Хронология деревянных рыболовных сооружений мезолита–неолита на стоянке Замостье 2 // Тверской археологический сборник. Вып. 10. Том 1. Тверь: Изд-во «Триада», 2015. С. 85–89.
- Матросов Н. Способы рыболовства в Онежском озере // Олонецкие Губернские Ведомости. 1909. № 70. С. 1–2.
- Поляков И. С. Исследования по каменному веку в Олонецкой губернии в долине Оки и на верховьях Волги // Записки Русского географического общества по отд. Этнографии. Т. 9. СПб., 1882. С. 167.
- Савватеев Ю. А. Рыболовство и морской промысел в Карелии // Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита – раннего металла. Л.: Наука, 1991. С. 182–202.
- Титов Ю. В. О культуре сперрингс // Археологические исследования в Карелии. Л.: Наука, 1972. С. 34–51.

Таблица 1. Распределение определимых костных остатков в слоях раннего неолита-мезолита на поселении Тудозеро V

дата	слой	объект	рыбы					млекопитающие				птицы	
			карповые	окунь	судак	лососевые	сом	н/о	лось	бобр	медведь	н/о	н/о
ранний неолит	Нижний серый 1 Сезонные стоянки	кострище						2					
		слой			4	1		6					
		слой											
		хоз.яма	2	1		1		7					1
		хоз.яма		2	1	1		6					
		Всего в слое	2	3	5	3		21					1
		Всего по группам						34				0	1
	нижний серый 2 Поселения круглогодичного обитания	кострище			1			2					
		кострище	1	1	4								
		кострище				2		3					
		очаг				1							
		очаг						10					
		очаг							1				
		очаг							1				
		скопление						5					
		слой											
		слой										1	
		слой						7					
		слой						1					
		слой						1	2				
хоз.яма				1			1						
хоз.яма				4			8						
хоз.яма	2	10	1	2		53							
яма с к.к				1		19							
яма с к.к	1		4			17							
зольник								1					
	Всего в слое	4	11	15	6		127	4	1		1	0	
	Всего по группам						163				6	0	

Таблица 1.(продолжение) Распределение определимых костных остатков в слоях раннего неолита-мезолита на поселении Тудозеро V

дата	слой	объект	рыбы						млекопитающие				птицы	
			карповые	окунь	судак	лососевые	сом	н/о	лось	бобр	медведь	н/о	н/о	
мезолит - ранний неолит (?)	нижний серый 2 без керамики	очаг		3		1	2	5						
		скопление						2				1		
		скопление			2			1						
		скопление	3	1	5	1		22						
		слой				2		1						
		слой			17	2		10						
		слой			4	2		21						
		слой			1			3						
		слой			3			2	5					
		слой			1				1				1	
		очаг								1				
		Всего в слое		3	5	32	8	4	71	1			2	
	Всего по группам							123				3	0	
мезолит	нижний черный	очаг										10		
		очаг							2		1			
		слой							2				2	
		слой							1					
		слой							2		1			
		слой											1	
		слой											1	
		слой							1					
		Всего в слое							6	4	1	1	16	4
	Всего по группам							6				22	4	

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ КАРЕЛИИ: ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ АТРИБУЦИИ*

Средневековые памятники юго-восточной Карелии приурочены к бассейнам Онежского озера и Белого моря (рис. 1). Наибольшая их концентрация отмечена на северном и юго-восточном побережьях Онежского озера; немногочисленные объекты встречены в юго-западном Прибеломорье. Впервые средневековые древности выявила Н. Н. Гурина [1961: 328, 329] в 1950-х гг. в материалах поселений на Муромском озере. В 1960–2000-е гг. памятники эпохи Средневековья стали известны благодаря полевым исследованиям в основном сотрудников сектора археологии ИЯЛИ КарНЦ РАН.

Большинство памятников юго-восточной Карелии найдены при раскопках поселений со смешанными комплексами, где основной материал представлен коллекциями эпох неолита – железного века. Средневековые памятники невыразительные: для них характерен маломощный, зачастую фиксируемый пятнами или вовсе не прослеживаемый культурный слой, отсутствие сооружений и, как следствие, скудный археологический материал. Следует отметить, что эти территории малопригодны для производящих форм хозяйства ввиду низкой плодородности почв. Наиболее подходящие для земледелия участки расположены в северном Прионежье и на побережье оз. Сямозера, в то время как восточное Прионежье, юго-западное Прибеломорье характеризуются значительной заболоченностью, обилием лесов и наличием разветвленных водных систем [Потахин 2015: 211]. Предполагается, что основу хозяйства населения юго-восточной Карелии составляли охота и рыболовство, но, судя по находкам горнов и шлаков, жители поселений владели технологией железодельного произ-

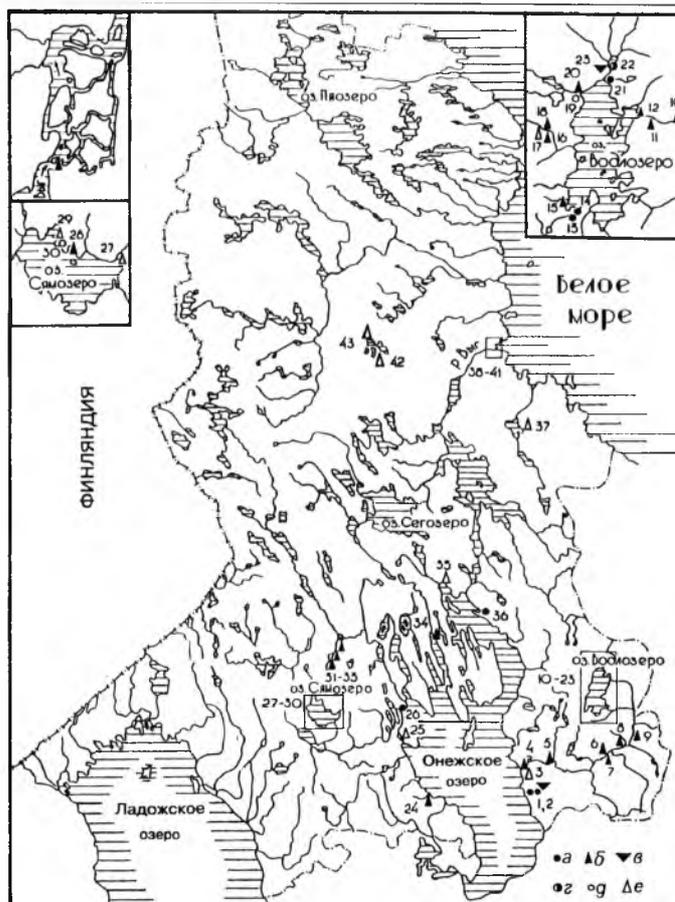


Рис. 1. Средневековые памятники юго-восточной Карелии [Археология Карелии 1996: 274–275]. а – крупные поселения с керамикой; б – кратковременные поселения и местонахождения; в – погребения; з – поселения смешанного облика; д – крупные бескерамические поселения; е – кратковременные поселения без керамики. 1 – Муромское III, IV, IX; 2 – Муромское VI–VIII; 3 – Бесов Нос VI; 4 – Усть-Водла I, II, V; 5 – Пудож; 6 – Росляково; 7 – Колово; 8 – Водла XII; 9 – Водла XXVII; 10 – Водла V; 11 – Сухая водла (каменные кучи); 12 – Сухая Водла Ia; 13 – Сомбома I; 14 – Малая Пога I, Бостилово II; 15 – Пога I; 16 – Охтома I; 17 – Охтома II; 18 – Охтома III; 19 – Келка I; 20 – Келка III; 21 – Илекса III, IV; 22 – Илекса V; 23 – Шеттима I; 24 – Шелтозеро III, X; 25 – Пичево; 26 – Суна VI; 27 – Малая Суна IX; 28 – Лахта II; 29 – Кудома X; 30 – Кудома XI; 31–33 – Чёранга I, III, VIa; 34 – Куткостров; 35 – Повенец; 36 – Чёлмужи; 37 – Сумозеро I; 38 – Ерпин Пудас I, II; 39 – Горельный Мост V; 40 – Горельный Мост VI–VIII; 41 – Золотец VII–X; 42 – Тунгуда; 43 – Бохта II

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Карелия, в рамках проекта проведения научных исследований («Гончарное производство и сырьевая база на территории Карелии (эпоха каменного века – Средневековье)», проект № 14-11-10002.

водства. Основные категории вещей из металла, стекла, камня неоднократно рассматривались в научной литературе [Косменко 1992, 1996; Кочкуркина 2015; Спиридонов 2001, 2013; Спиридонов, Герман, Мельников 2012]. Керамика указанных памятников¹ еще не подвергалась специальному анализу, что послужило задачей настоящего исследования.

В 1990-х гг. памятники юго-восточной Карелии были разделены на «бескерамические комплексы» и поселения с «керамикой приладожского типа» [Косменко 1992, 1996, 2006]. М. Г. Косменко [2006: 223, 225–226, 229] предположил, что в этнокультурном отношении бескерамические комплексы тяготеют к памятникам саамского происхождения, тогда как поселения с лепной керамикой связаны с древневепсским населением (выходцы из Юго-Восточного Приладожья). Проведенная автором данной статьи инвентаризация коллекций «бескерамических комплексов», анализ лепной керамики поселений и данные археологических исследований последних лет [Спиридонов 2013] показали, что в решение вопроса о культурной атрибуции памятников юго-восточной Карелии можно внести некоторые коррективы.

«Бескерамические комплексы»

По мнению М. Г. Косменко [2006: 224–225], в финале железного века – раннем Средневековье жители поселений северных и юго-восточных территорий Карелии утратили традицию керамического производства и вместо глиняной утвари стали использовать металлическую, что, вероятно, обусловил подвижный образ жизни населения с охотничье-рыболовецким укладом. Памятники, на которых отсутствовала глиняная посуда, исследователь отнес к «бескерамической культуре» IX–XIV вв. с оговоркой о возможности корректировки приведенных датировок [Косменко 2006: 223]. Так, к «бескерамическим» были отнесены: Ерпин Пудас I, II, Горелый Мост V, Горелый Мост VI–VIII², ма X, XI, Малая Суна IX, Охтома II, Сумозеро I, Тунгуда, Бохта II, Келка I, Повенец, Бесов Нос VI, Пичево, Илекса V, Чёранга I, III, VIa [Косменко 1992: 46–52, 207–209; 1996: 274–275] и, предположительно, Золотец VII–X [Амелина 2009: 177]. Единичные средневековые находки без сопровождающей их лепной керамики выявлены в поселках Чула и Софпорог Лоухского района [Кочкуркина 2008: 146–147].

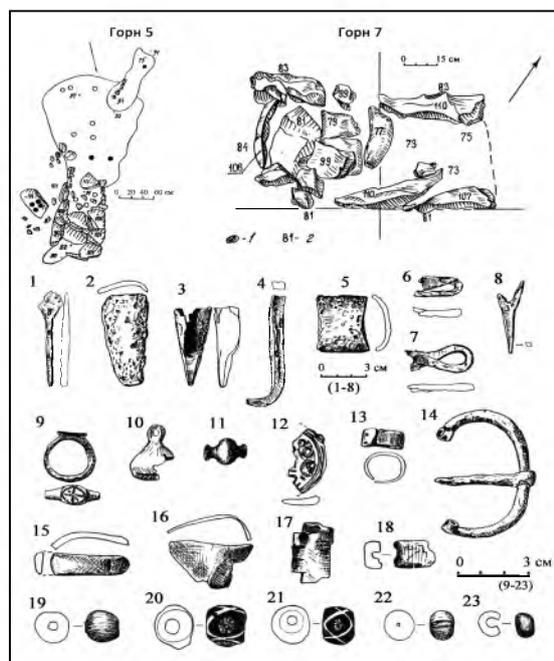


Рис. 2. Кудома XI. Горны, находки из железа (1–8), цветного металла (9–17) и стекла (18–23) [Косменко 1992: 85, 88, 199, 201. Рис. 14, 15, 63, 64]

При решении вопроса о культурной атрибуции «бескерамических комплексов» и выделении «бескерамической культуры» в целом, важно уточнить терминологию и, в первую очередь, оговорить термин «комплекс». На мой взгляд, наиболее удачным является определение, предложенное

В. С. Бочкаревым [1975: 37], согласно которому *комплексом* называется группа артефактов и других объектов, найденных в ограниченном локусе и составляющих одно функциональное целое, определяемое не только суммой артефактов, но и характером взаимосвязей между его отдельными компонентами. Исходя из этого, археологические объекты, известные ранее как «бескерамические», следует разделить на комплексы, местонахождения и единичные находки.

Анализ материалов средневековых поселений юго-восточной Карелии показал, что полноценные археологические комплексы присутствуют на шести памятниках. Пять из них

¹ За исключением посуды селищ южного Заонежья (Кижский погост) [Спиридонов, Герман, Мельников 2012].

² Поселения Горелый Мост VI–VIII объединены в одно ввиду близости расположения [Кочкуркина 2015: 133].

(Пичево, Илекса V, Кудома X, XI, Чёранга III) приурочены к бассейну Онежского озера, один (Горелый Мост V) – к побережью Белого моря, однако на поселениях Илекса V и Пичево выявлены фрагменты лепных горшков [Косменко 1992: 46; Спиридонов 2013: 382, 385.

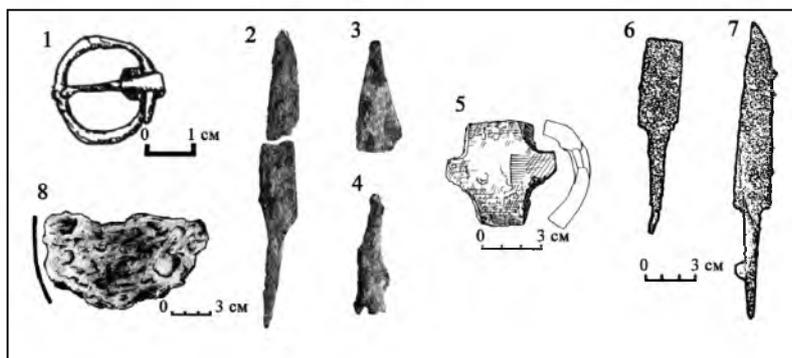


Рис. 3. Инвентарь бескерамических комплексов памятников Кудома X (1–4), Чёранга III (5) и Горелый Мост V (6–8). Рисунки: 1, 5 [Косменко 1992: 199, 201. Рис. 63, 64]; 2–4 [Анпилогов 1966: 181. Рис. 3]; 6, 7 – иллюстрации И. М. Сумманен; 8 [Амелина 2009: 186. Рис. 7]

бусами, грушевидным бубенчиком, спиралеконечной застёжкой, фрагментом браслета, обломком подвески [Косменко 1992: 83, 208–209], датирующимися временем не ранее XI в. [Кочуркина 2015: 77], и перстнем с орнаментированным овальным щитком. Предполагается, что жителям поселения Кудома XI принадлежит производственный комплекс, выявленный на стоянке **Кудома X**² [Анпилогов 1966: 184; Косменко 1992: 210], включивший остатки трех железоделательных горнов и железные предметы: кольцевидная застёжка, нож, обломок остроги и фрагмент неопределенного изделия (Рис. 3: 1–4). Небольшой комплекс обнаружен на поселении **Чёранга III**, к которому отнесены очаг и, вероятно, частично вскрытый фундамент жилой постройки, сложенный из цепочки камней. С сооружениями связаны шесть медных пластинок и обух железного топора (Рис. 3: 5) [Косменко 1992: 99, 207], близкий изделиям типа VI, по А. Н. Кирпичникову [1966: 38–39], бытовавшим в XI–XII вв. Четвертый бескерамический производственный комплекс зафиксирован на поселении **Горелый Мост V**. По предположению Ю. А. Савватеева [1977: 275–276], в Средневековье здесь находилась небольшая железоделательная мастерская с примитивным горном, в непосредственной близости от которого

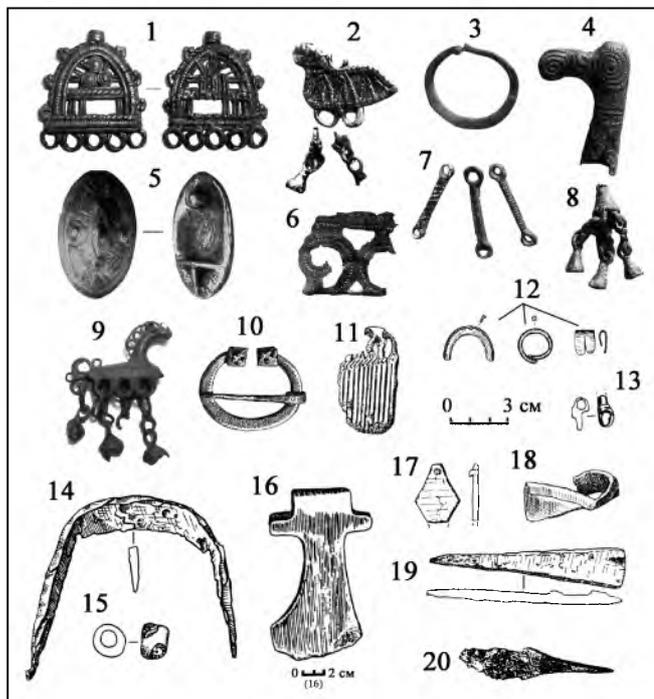


Рис. 4. Единичные находки и предметы отдельных местонахождений юго-восточной Карелии. 1, 5 – Чупа; 2–4, 6–8 – Софпорог; 9 – Бохта II; 10 – Повенец; 11 – Золотец X; 12 – Тунгуда III; 13, 17, 18 – Малая Суна IX; 14, 15 – Чёранга I; 16 – Сумозеро I; 19 – Охтома II; 20 – Чёранга VIa. 1, 9, 20 – рисунки и фото И. М. Сумманен; 2–4, 6–8 [Кочуркина 2008: 129]; 5 – фото, полученное от «черных копателей»; 10 [Станкевич 1947: 99]; 11 [Амелина 2009: 178]; 12 [Жульников 2005: 279]; 14–19 [Косменко 1992: 198–199, 201, 184]

¹ Для угля из горнов (№ 5 и 7) получены радиоуглеродные даты 800±80 лет назад (ТА-965; 93,9% cal 1030–1300 гг. н. э.) и 1165±80 лет назад (ТА-1259; 95,4% cal 760–1000 гг. н. э.); уголь из очага в раскопе I датирован 880±100 лет назад (ТА-964; 95,4% cal 970–1300 гг. н. э.) [Косменко 1992: 88–89; Спиридонов 2013: 398].

² Находится в 300 м северо-восточнее поселения Кудома XI.

вскрыты остатки очага. Среди находок два ножа и обломанная рукоять, сланцевый точильный брусок, фрагмент железной сковороды и обломки железных изделий (Рис. 3: 6–8).

На 11 памятниках – Малая Суна IX, Чёранга I, VIa, Охтома II, Сумозеро I, Тунгуда III, Золотец X, Бохта II, Повенец, Софпорог, Чупа – обнаружены вещи эпохи Средневековья, но определить их как комплексы нельзя – это местонахождения и единичные находки (Рис. 4). Инвентаризация коллекций остальных памятников, ранее отнесенных к «бескерамическим», показала, что их материалы содержат лепную керамику (Ерпин Пудас I, II, Горелый Мост VI, Келка I), или, наоборот, лишены находок, надежно датируемых Средневековьем (Тунгуда XII, XXIV–XV, Золотец VII–VIII, Горелый Мост VII–VIII¹) [подробнее об объектах см.: Жульников 2005: 68–69; Шахнович 1993: 60–68; Амелина 2009: 177].

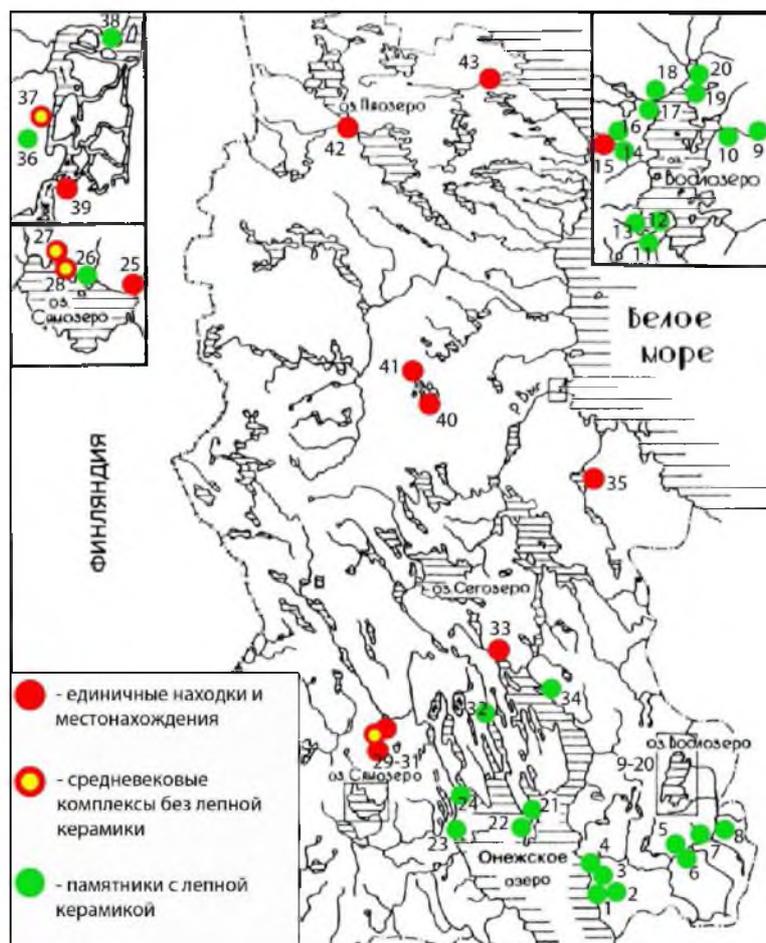


Рис. 5. Карта средневековых памятников юго-восточной Карелии (составлена по результатам инвентаризации материалов в 2014 г. с учетом новых данных). 1 – Муромское III, IV, IX; 2 – Муромское VI–VIII; 3 – Бесов Нос VI; 4 – Усть-Водла I, V; 5 – Росляково; 6 – Колово; 7 – Водла XII; 8 – Водла XXVII; 9 – Водла V; 10 – Сухая Водла; 11 – Сомбома I; 12 – Малая Пога I; 13 – Пога I; 14 – Охтома I; 15 – Охтома II; 16 – Охтома III; 17 – Келка I; 18 – Келка III; 19 – Илекса III, IV; 20 – Илекса V; 21 – Васильево 2, Наволок, Волкостров; 22 – Керкостров 2, 4, Сенная Губа I; 23 – Пичево; 24 – Суна VI; 25 – Малая Суна IX; 26 – Лахта II; 27 – Кудома X; 28 – Кудома XI; 29 – Чёранга I; 30 – Чёранга III; 31 – Чёранга VIa; 32 – Куткостров; 33 – Повенец; 34 – Чёлмужи; 35 – Сумозеро I; 36 – Ерпин Пудас I, II; 37 – Горелый Мост V; 38 – Горелый Мост VI; 39 – Золотец X; 40 – Тунгуда III; 41 – Бохта II; 42 – Софпорог; 43 – Чупа.
Рисунок И. М. Сумманен

Таким образом, на территории юго-восточной Карелии можно выделить 15 памятников эпохи Средневековья без лепной керамики (Рис. 5), но необходимо учитывать их специфику. Во-первых, на 11 из 15 объектов отсутствуют полноценные средневековые комплексы. Во-вторых, хотя на других четырех имеются комплексы бытового и производственного назначения, имеющийся материал не позволяет определить типовой набор инвентаря памятника предполагаемого «бескерамического» типа. Более того, четыре памятника неясной культурно-хронологической принадлежности нельзя объединить в самостоятельную археологическую культуру. Поэтому, на мой взгляд, термин «бескерамическая культура» противоречит археологическому материалу, и, как справедливо отметил А. М. Спиридонов [2013: 377], не представляется удачным, так как факты прекращения керамического производства достоверно не установлены.

Поселения с лепной керамикой

В ходе археологического изучения памятников юго-восточной Карелии встречена средневековая керамика. Лепная посуда из ожелезненной глины с примесью минерального отощителя в основном происходит с поселений

восточного побережья Онежского озера (бассейн оз. Водлозера), где находятся 27 из 41

¹ Металлические находки с поселений Горелый Мост VI–VIII утрачены [Кочуркина 2015: 133].

известного памятника, на которых обнаружено 90 % реконструированных изделий (преобладает керамика поселений Муромское III, VII). Всего учтено 5092¹ фрагмента лепной керамики с 36 памятников. К исследованию привлечены материалы поселений Пичево и Васильево 2, обработанные А. М. Спиридоновым [2013; 2012 – в соавторстве с К. Э. Германом и И. В. Мельниковым].

Для 113 восстановленных горшков разработана типология, позволившая в общих чертах проследить смену керамических форм на протяжении X–XII вв. и сопоставить керамические наборы селищ юго-восточной Карелии и курганов Юго-Восточного Приладожья. Лепная посуда сильно фрагментирована. Она сделана из ожелезненной глины в основном с примесью крупной дресвы (более 2 мм в длину). Обжиг керамики окислительный неравномерный, по-видимому, костровой. Абсолютное большинство изделий вылеплено вручную, вероятно, приемом кольцевого или спирального налепа из лент или жгутов. Орнамент зафиксирован на семи сосудах, пять из которых украшены отпечатком гребенчатого или мелкозубчатого штампа по венчику и плечу. Этот вид орнамента наиболее характерен для керамики Вологодской области (Крутик, Белоозеро) [Макаров 1991: 145, 1985: 84]. Горшки разделены на четыре типа в зависимости от профилировки венчика, шейки и плечика.

К **типу I** отнесены 38 крупных (в среднем диаметр по венчику составляет 25 см) сосудов с ребристым плечиком и усечено-конической нижней частью тулова (Рис. 6: 1, 2). Ребристые сосуды так называемого ладожского типа широко распространены в Старой Ладоге и на памятниках Поволховья и Приильменья². Ближайшие аналогии горшкам типа I известны в курганной керамике Юго-Восточного Приладожья (тип IV, датируется X – началом XI в. [Спиридонов 1989: 305, 312. Рис. 2: 4–6; Табл. 2]), посуде памятников бассейнов озер Белого, Воже и Лача (тип I, в основном распространенный в X–XI вв. [Макаров 1989: 85. Рис. 1: 1–11]).

Тип II представлен 36 горшками (средний диаметр 24 см) плавной профилировки с раздутым туловом, вертикальным или слегка отогнутым к внешней стороне венчиком³ (Рис. 6: 3–5). Близкие формы встречены в комплексах Юго-Восточного Приладожья X – первой половины XI в. (тип II, по А. М. Спиридонову [Спиридонов 1989: 305. Рис. 3: 2, 3]). На памятниках Вологодской области аналогичная посуда (тип II, по Н. А. Макарову) получила широкое распространение с рубежа IX–X вв. до середины X в., после чего численность типа упала, и к XII в. он практически исчез [Макаров 1989: 84, 85, 88. Рис. 1: 12–19. Табл. 2].

Тип III объединил 12 сосудов диаметром 16–22 см слабой профилировки с туловом, вероятно, цилиндрической (баночной) формы и незначительно выступающим плечиком, иногда оформленным в виде небольшого уступа (Рис. 6: 6–8). Баночные сосуды типа IV, по Н. А. Макарову [Макаров 1989: 88. Табл. 3; 1991: 135], составляли до 77,8 % керамики Белоозера в течение X–XII вв. Немногочисленные аналогии имеются в сосудах типа III Приладожской культуры [Спиридонов 1989: 305, 306. Рис. 3: 4, 5].

Тип IV – горшки несколько меньших, по сравнению с остальной керамикой, размеров (диаметр 16–18 см) с вертикальным венчиком и четко обозначенным плечиком (Рис. 6: 9–11). Похожие приземистые небольшие сосуды известны в керамике Вологодской области типа I, по Н. А. Макарову [1989: 87, 88. Рис. 3: 8, 11, 15, 16], период распространения которых в основном пришелся на X – первую половину XII в.

¹ Указано количество фрагментов, хранящихся в фондохранилище Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН.

² Использование керамических шкал таких поселений, как Старая Ладога, Рюриково городище или Новгород, в качестве основы для датирования типов лепной керамики селищ юго-восточной Карелии не убедительно из-за разного статуса памятников.

³ Подобную, но более развитую профилировку, тяготеющую к характерной для гончарной керамики S-видной форме, имеют сосуды селища Васильево 2. По наблюдению авторов [Спиридонов, Герман, Мельников 2012: 55], на памятнике обнаружены фрагменты примерно от 25 лепных сосудов, часть из которых имеет следы правки на гончарном круге. Керамика этого поселения и один сосуд с селища Муромское VII предварительно отнесены мною к типу Васильево 2.

Керамика охотничье-рыболовецких поселений не обладает какими-либо индивидуальными чертами: в ней прослеживаются влияния восточного и западного керамического производства, присутствуют привозные изделия, близкие посуде как соседних (Вологодская область), так и более отдаленных территорий (Камско-Вычегодский край). По-видимому, ни один из указанных типов керамики не относится к самобытным и не может служить специфическим идентификатором культуры средневековых поселений. Сосуды первых двух типов (I и II) тяготеют к посуде памятников Ленинградской и Новгородской областей. Период их использования, вероятно, приходился на X–XI вв. Посуда типов III и IV близка керамике поселений Вологодской области. Баночные сосуды типа III, в которых присутствуют раннекруговые изделия (17%), использовались в X–XII вв. Им синхронны сосуды с развитой морфологией типа IV, тяготеющие к гончарным формам, предположительно бытовавшие в X – первой половине XII в. Вероятно, в указанный период существовала однообразная технология изготовления лепной посуды, распространенная на обширных территориях Северо-Запада Руси, знакомая и населению юго-восточной Карелии.

Результаты сопоставления данных по морфологии и статистике типов керамики селищ юго-восточной Карелии и курганов Юго-Восточного Приладожья¹ выявили, что при наличии общих форм они существенно различаются по ведущим морфотипам изделий и их количественному соотношению (Табл. 1).

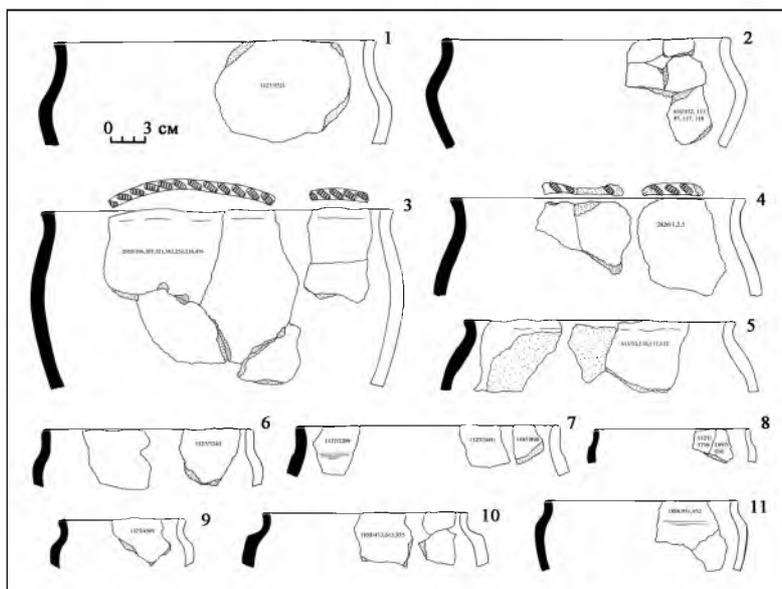


Рис. 6. Лепная керамика поселений юго-восточной Карелии. 1, 2 – тип I; 3–5 – тип II; 6–8 – тип III; 9–11 – тип IV. 1, 6–9 – Муромское VII; 2 – Муромское VI; 3 – Охтома I; 4 – Сухая Водрла; 5 – Муромское VIII; 10, 11 – Малая Пога I. Рисунок И. М. Сумманен

Таблица 1. Соотношение типов лепной керамики памятников юго-восточной Карелии и курганов Юго-Восточного Приладожья

Типы лепной керамики средневековых памятников Карелии	I	II	III	IV
Количество сосудов	38	36	12	13
Доля в керамическом наборе памятника	34 %	32 %	11 %	12 %
↓ ↓ ↓ ↓				
<i>Аналогии выделенным типам керамики в посуде Приладожской курганной культуры (по типологии А. М. Спиридонова, 1989)</i>				
Типы лепной керамики Юго-Восточного Приладожья	IV	II	III	-
Количество сосудов	10	14	5	-
Доля в керамическом наборе памятника	15 %	22 %	8 %	-

В коллекциях средневековых селищ юго-восточной Карелии основными являются сосуды типов I (34%) и II (32%). В курганах Юго-Восточного Приладожья аналогичные им горшки типов IV и II (15% и 22% соответственно) в сумме составляют немногим более

¹ В работе использованы данные керамической шкалы, разработанной А. М. Спиридоновым [Спиридонов 1989: 303–315].

1/3 лепной керамики. Относительно равномерно распространены сосуды баночной формы, которые представлены типом III как в керамике селищ, так и приладожских курганов. Их доля колеблется в пределах 10 %. Тип IV, выделенный на лепной посуде поселений юго-восточной Карелии, не находит аналогий в курганной керамике.

Опираясь на данные сопоставления посуды средневековых селищ юго-восточной Карелии и Приладожской курганной культуры, можно констатировать некоторую близость их наборов, выраженную в наличии весомой доли сосудов с раздутым туловом и практически в равном количестве горшков баночного типа. Но существует ряд очевидных различий между курганной посудой Приладожья и керамикой селищ юго-восточной Карелии, что не позволяет определять последнюю как «приладожский тип». Так, количественное соотношение типов сосудов, несмотря на наличие аналогий, демонстрирует расхождение составов морфотипов и их удельного веса. В курганах Приладожья появляются раннегончарные изделия со свойственной такой керамике морфологией (симметрия, S-видный профиль с выраженной шейкой и плечиком) и орнаментацией. В керамике селищ юго-восточной Карелии, напротив, раннегончарные изделия¹ представлены примитивными сосудами, сделанными приемом скульптурной лепки, лишённые нарезного линейного или волнистого орнамента. Более того, комплексы Приладожской курганной культуры X–XII вв. содержат не только лепную и раннегончарную керамику, но и гончарную посуду. А. М. Спиридонов [Спиридонов 1989: 314] указывает, что раннегончарные сосуды, как и некоторые типы гончарных изделий, не имеют общих черт с лепной керамикой и привезены в Приладожье из древнерусских центров. Собственное производство круговой керамики у населения Юго-Восточного Приладожья фиксируется по материалам XI–XII в. Характерной чертой курганной посуды является сосуществование лепной и гончарной керамики до середины XI в., после чего круговая посуда вытесняет лепную [Спиридонов 1989: 315]. Что касается памятников юго-восточной Карелии, то здесь гончарная керамика фактически отсутствует. Вероятно, небольшие охотничье-рыболовецкие селища запустели еще в период бытования лепной посуды.

В результате проведенной инвентаризации коллекций и анализа лепной керамики памятников юго-восточной Карелии автор статьи пришел к заключению о неправомерности использования терминов «бескерамическая культура» и «керамика приладожского типа». Предположение М. Г. Косменко [Косменко 2006: 223, 226, 229], что в этнокультурном отношении бескерамические комплексы тяготеют к памятникам саамского происхождения, тогда как поселения с лепной керамикой связаны с древневепским населением, не находит подтверждений в немногочисленных находках. На современном этапе исследования невозможно установить типовой набор инвентаря бескерамического комплекса, тем более выделить какие-либо специфические черты, определяющие его этнокультурную принадлежность. Керамика юго-восточной Карелии не идентична приладожской посуде, хотя влияние курганной культуры прослеживается на материалах селищ, а проникновение ее носителей на Север фиксируют курганы Кокорино на северном побережье Онежского озера [подробнее см.: Спиридонов 1992]. Более того, по наблюдениям М. Г. Косменко [Косменко 1992: 211], коллекции памятников с лепной керамикой и без нее практически одинаковы, а сами бескерамические комплексы зачастую располагались на периферии ареала поселений с керамикой. По моему мнению, оба типа памятников принадлежат единой средневековой культуре юго-восточной Карелии.

Литература

Археология Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1996. 416 с.

Амелина Т. П. Вопросы хозяйственно-культурной адаптации населения Карелии в эпоху Средневековья и Нового времени // Адаптация культуры населения Карелии к особен-

¹ Немногочисленные сосуды отнесены к раннегончарным исключительно по наличию следов заглаживания поверхности, которое выполнялось с помощью вращающейся подставки, возможно, гончарного круга.

- ностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Гуманитарные исследования. Вып. 4. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 169–191.
- Анпилогов А. В. Древняя железодельная мастерская на северном побережье озера Сямозера // Новые памятники истории древней Карелии: Археологический сборник. М., Л., 1966. С. 178–184.
- Бочкарев В. С. К вопросу о системе основных археологических понятий // Предмет и объект археологии, и вопросы методики археологических исследований. Материалы симпозиума. Л., 1975. С. 34–42.
- Гурина Н. Н. Древняя история Северо-Запада европейской части СССР // Материалы и исследования по археологии. № 87. М.-Л., 1961. 588 с.
- Жульников А. М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного Беломорья. Петрозаводск: ПетрГУ, КГКМ, 2005. 310 с.
- Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие: Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. // Свод археологических источников. 1966. Вып. Е1–36. 147 с.
- Косменко М. Г. Многослойное поселение Кудума XI на Сямозере // Новые археологические памятники Карелии и Кольского полуострова. Петрозаводск, 1980. С. 95–147.
- Косменко М. Г. Многослойные поселения южной Карелии. Петрозаводск, 1992. 224 с.
- Косменко М. Г. Поселения охотничье-рыболовецких культур // Археология Карелии. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1996. С. 272–285.
- Косменко М. Г. Проблемы изучения этнической истории бронзового века – раннего Средневековья в Карелии // Проблемы этнокультурной истории населения Карелии (мезолит – Средневековье). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. С. 158–229.
- Кочкуркина С. И. Новые археологические находки эпохи Средневековья в Северной Карелии // Российская археология. № 4. Москва, 2008. С. 146–147.
- Кочкуркина С. И. Археологические памятники и этносы на территории Карелии в эпоху Средневековья // Истоки Карелии: время, территории, народы. Междисциплинарные исследования. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. С. 35–148.
- Макаров Н. А. Орнаментака Белозерской лепной керамики X–XI вв. // Советская археология. 1985. № 2. С. 79–100.
- Макаров Н. А. Лепная керамика Восточного Прионежья IX–XII вв. // Краткие сообщения Института археологии. 1989. Вып. 196. С. 83–93.
- Макаров Н. А. Лепная керамика поселения Крутик // Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX–X вв. Голубева Л. А., Кочкуркина С. И. Петрозаводск, 1991. С. 129–165.
- Потехин С. Б. Историко-природно-хозяйственное районирование территории Карелии (XIX – начало XX в.) // Истоки Карелии: время, территория, народы. Междисциплинарные исследования. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. С. 204–216.
- Савватеев Ю. А. Залавруга. Л.: Наука, 1977. Ч. 2. 324 с.
- Спиридонов А. М. Керамика приладожской курганной культуры // Кочкуркина С. И. Памятники юго-восточного Приладожья и Прионежья. Петрозаводск. 1989. С. 303–315.
- Спиридонов А. М. Раннесредневековые памятники в приустье р. Илексы // Национальный парк «Водлозерский»: Природное разнообразие и культурное наследие. Петрозаводск: РИО КарНЦ РАН, 2001. С. 246–254.
- Спиридонов А. М. Поселение Пичево под Петрозаводском и проблемы изучения «самского железного века» в южной Карелии // Кижский вестник. Вып. 14. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 376–401.
- Спиридонов А. М., Герман К. Э., Мельников И. В. Южное Заонежье в X–XVI веках (археология центра Кижского погоста). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. 165 с.
- Станкевич Я. В. Курганы Юго-Восточного Приладожья и Карело-Финской ССР // Археологический сборник. Петрозаводск, 1947. С. 94–110.
- Шахнович М. М. Погребальный комплекс поселения Тунгуда XXIV–XXV // Вестник Карельского государственного краеведческого музея. 1993. Вып. 1. С. 60–68.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЗАСЕЛЕНИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА В СВЕТЕ НОВЫХ РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК*

Имевшиеся до настоящего момента радиоуглеродные даты позволяли более-менее уверенно говорить о существовании поселений на побережье Онежского озера не ранее второй половины бореального периода (8300–7800 л. н. в радиоуглеродных годах или около 7300–6800 кал. лет до н. э.). Между тем в последние годы были получены весьма многочисленные датировки с целой серии археологических памятников из соседних регионов, свидетельствующие о начале освоения Восточной Фенноскандии уже в позднепребореальном периоде. Наиболее ранние памятники, существовавшие в период Анциловой трансгрессии Балтийского моря и Ладожского озера, имеют датировки около 9500–9200 лет назад в радиоуглеродных годах (около 8800–8400 кал. лет до н. э.).

Представляется весьма маловероятным, чтобы древние обитатели этой территории могли миновать такой крупный водоём, как Онежское озеро, в ходе своих миграций. Косвенным подтверждением их присутствия на его побережье в это время являются некоторые находки, сделанные на позднепребореальных памятниках Финляндии и Приладожья. Это артефакты из лидита, найденные на памятнике Эно Йокиварси 1 (Eno Jokivarsi 1), и топор из метатуфа, входящий в комплекс древнего кораблекрушения в Антреа Корпилахти (Antrea Korpilahti) на Карельском перешейке. С очень большой вероятностью материал для изготовления этих вещей был добыт на западном побережье Онежского озера, поскольку в нашей части Земного шара только на западном побережье этого озера встречаются коренные выходы данных пород.

Для проверки возможности человеческого обитания на побережье Онежского озера в течение позднего пребореала – рубежа пребореала и бореала была проведена серия радиоуглеродных датировок памятников северного побережья Онежского озера, расположенных на наиболее высоких гипсометрических отметках. По мнению Б. Ф. Землякова (1940), Г. А. Панкрушева (1978, 1982), наиболее высоко расположенные памятники должны датироваться IX тыс. до н. э. Пребореальный возраст стоянки Пиндуши XXXVIII допускала Э. Девятова, проводившая на ней геоморфологические исследования (1987). Столь ранняя датировка указанных стоянок до настоящего времени не была подкреплена радиоуглеродными датами. Попытка датировать некоторые из них (Повенчанка I, Повенчанка XV) по образцам угля из культурного слоя привела к обескураживающему результату. Ранняя датировка указанных комплексов была поставлена под сомнение В. Ф. Филатовой на основании типологического анализа их инвентаря (1996, 2004).

Для датировки данных памятников использовались образцы кальцинированной кости. Подходящие по размеру образцы найдены среди материалов стоянок Пиндуши XXXVIII (62 м над уровнем моря), Повенчанка V (67 м) и Повенчанка XV (70 м). Со стоянки Пиндуши XXXVIII по кости северного оленя получена дата 9000±50 лет назад (около 8100 кал. лет до н. э.), которая согласуется с геоморфологическими наблюдениями Э. Девятовой и позволяет говорить об обитании на данном памятнике уже на рубеже пребореала и бореала. Вторая дата с данной стоянки, а также датировки с двух других памятников относятся к более позднему времени и свидетельствуют о длительном посещении этих мест в течение мезолитической

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект «Онежское озеро и его водосбор: история геологического развития, освоение человеком и современное состояние»). Грант РНФ 14-17-00766, 2014–2016.

эпохи. Подобная ситуация зафиксирована на ряде других наиболее ранних памятников сопредельных территорий.

Таким образом, можно констатировать, что Онежское озеро не оставалось в стороне от миграционных процессов раннеголоценовой эпохи в Восточной Фенноскандии. Заселение его побережья началось, как минимум, с рубежа пребореала и бореала. С большой вероятностью человеческие коллективы могли их посещать и в ещё более раннее время в течение позднего пребореального периода.

Литература

Земляков Б. Ф. Геологическая история Карело-Финской республики в четвертичное время в связи с проблемой заселения человеком севера Европы // Краткие сообщения Института истории материальной культуры (КСИИМК). М. –Л., 1940. С. 21–27.

Панкрушев Г. А. Мезолит и неолит Карелии. Л., 1978. Ч. 1. Мезолит.

Панкрушев Г. А. Раннемезолитические поселения долины р. Повенчанки // Поселения каменного века и раннего металла в Карелии. Петрозаводск, 1982. С. 6–30.

Филатова В. Ф. Мезолит // Археология Карелии. Петрозаводск, 1996. С. 36–61.

Филатова В. Ф. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск, 2004.

Валентина Федоровна Филатова

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ И ВЕРОВАНИЯХ В ОБЩЕСТВЕ ЭПОХИ МЕЗОЛИТА В БАССЕЙНЕ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА

В процессе изучения древних поселений исследователи получают сумму вещественных остатков, на основе которых возможна реконструкция обусловленной традициями и проживанием в определенной природной среде материальной стороны жизни населения: ее уклад, виды деятельности и хозяйственно-экономическая стратегия, набор жизнеобеспечивающих инструментов, техника обработки разных видов природного сырья и пр. Картина существенно дополняется при наличии связанных с обитателями поселений погребальных комплексов. Но другие стороны жизни, в частности, социальное устройство, системы верований и взглядов на окружающий мир, на свое место в нем на базе имеющихся в распоряжении археологов источников восстановить трудно, если вообще возможно. Привлечение этнографических сведений требует большой осторожности. Древние общества социально и мировоззренчески могли быть организованы на кардинально иной основе, хотя бы в силу существования в ином природном окружении, при иных способах жизнедеятельности. Кроме того, у находившихся на «первобытном» уровне развития исторических этносов многие прежние институты и верования были утрачены, в лучшем случае сохранились слабо уловимые следы и пережитки. Понятно, что решение этих проблем применительно к отдаленным на тысячи лет обществам требует особых методов анализа и круга источников. Ряд таких «загадочных» предметов и явлений зафиксирован при изучении общества эпохи мезолита на территории, связанной с бассейном Онежского озера.

Установлено, что все известные к настоящему времени памятники (около 200) на всех побережьях озера и берегах водоемов его бассейна отличает сумма общих признаков в материальной культуре, позволяющих объединить их в особую онежскую археологическую культуру (Рис. 1). Она занимала сравнительно небольшую территорию (250 x 150 км) в период от 8700 до 7000–6900 л. н. (в некалиброванных значениях). В социальном плане ее можно воспринимать как объединение локально-территориальных групп (около 15) населения. Каждая группа состояла из 30–50 человек, проживавших в 3–5 жилищах площадью около 20–28 кв. м, способных вместить до 10 индивидуумов. В период расцвета численность населе-

ния могла достигать 750–1000 человек. Можно предполагать, что члены этих коллективов осознавали себя частью единого сообщества, отличали себя от объединений такого рода за пределами своих границ. Это тем более вероятно, что с данным сообществом территориально, хронологически и, главное, по сходству вещевых комплексов связан единственный известный погребальный комплекс Оленеостровский могильник на Южном Оленьем острове в центральной части озера; число погребенных в нем могло достигать 600 [Гурина 1956]. Предполагается, что могильник возник в местной среде и служил общим для всего населения культуры местом захоронения умерших. Время его существования в пределах 8300–7900 л. н. в некалиброванных значениях [Филатова 2002; 2004: 121–126].

Население онежской культуры достигло высокого уровня развития, что в немалой степени определялось весьма благоприятной природной средой. Об этом свидетельствуют значительное количество и функциональное разнообразие орудий труда и быта из разных местных горных пород и привозного кремня, кости, рога и дерева. В соответствии с природными условиями и географией расселения, жизненными потребностями была выстроена хозяйственно-экономическая стратегия и жизненный уклад. Основными и круглогодично обитаемыми были базовые поселки со стационарными, углубленными в почву на 0,5 м жилищами каркасно-столбовой конструкции, с очагами и кострищами внутри (размещались на ближайших небольших островах). Сопутствовали им крупные летние поселения и небольшие летние и/или зимние становища (размещались на удалении, в основном на континентальных берегах), использовавшиеся в сезоны промыслов. Население пользовалось разнообразными хозяйственно-бытовыми сооружениями. Известны крупные кострища с заслоном-стенкой с подветренной стороны, открытые неукрепленные кострища и выложенные из камней очаги разных типов и назначения, печи-каменки, другие каменные вымостки, хозяйственные ямы, хранилища охры [Филатова 2004: 57–60].

Но если по археологическим источникам материальная культура данного сообщества реконструируется с достаточной полнотой, то о духовной ее стороне, в частности, мировоззренческих аспектах, внутренней организации общества возможны лишь самые общие предположения на основе немногих фактов.

К числу, пожалуй, самых распространенных, вызывающих различные интерпретации, относится присутствие на памятниках охры. Это природная железистая краска желтого и красного цветов, месторождения которой находят у обрывистых берегов, в болотах и других местах в виде рыхлых, напоминающих глину масс в сыром виде и порошкообразных в сухом; встречается по всей территории Карелии [Природные краски... 1957: 10–20]. Отмечены случаи ее наличия на памятниках. Так, обнаруженная практически во всех погребениях могильника охра воспринимается исследователями как символ крови, огня или средства для перехода в иной мир [Гурина 1956: 230]. Эти представления имеют право на существование, но не исключаются иные трактовки (имеется в виду ее присутствие в других и разных контекстах). Например, на всех поселениях разного назначения обнаружены специальные «хранилища», где охра, судя по компактности залегания, находилась в упаковках из органических материалов; часто рядом или в слое располагались валуны и гальки со следами ее растирания. Известны специальные орудия (каменные плитки и гальки) для этих целей, но иногда использовали бытовые инструменты типа пил и точильных брусков (Рис. 7: 4–5). Как правило, ямы с охрой находились на периферии поселений, вдали от других сооружений. Но известны случаи размещения около длинных очагов, устраиваемых внутри жилищ или вблизи базовых поселков (Оровнаволок IX, XV, Черная Губа VI и XI), а также на сезонных поселениях-стоянках (Пиндуши XIVa). Интересно, что у очагов округлой формы и у других каменных вымостках скопления ее отсутствуют, но обнаружены у краев и в заполнении практически всех особо крупных и длительное время использовавшихся кострищ, и обязательно у расположенных у северных (глухих) стен жилищ. Известны случаи засыпки охрой кострищ после прекращения их функционирования (Оровнаволок XII, Черная Губа VI, Пиндуши XIV).

Интерес представляет присутствие охры внутри жилищ [см. Филатова 2004: 23–57]. Отмечены следующие случаи ее залегания: 1 – локальными скоплениями около кострищ и очагов; 2 – в ямах от основных, несущих столбов каркаса; 3 – в подбоях от горизонтально уложенных (слег, жердей), облицовывающих песчаные стенки оснований жилищ; 4 – в нишеобразных выступах-эркерах в коротких стенках жилищ; 5 – по основному (всегда в южной стенке) входу-выходу широкой полосой или скоплениями по обе стороны проема, там же залегали некоторые орудия; 6 – по второму вспомогательному (специальному?) входу, всегда обращенному к берегу водоема, обычно в восточную сторону (Рис. 2–3).

На основе указанных выше случаев залегания можно предполагать охранительные, защитные функции охры, например, от неблагоприятных внешних воздействий и посягательств, в том числе от умерших, отношение к которым даже у исторических этносов было далеко не однозначным [см. Смоляк 1991]. Имея также в виду присутствие в погребениях, позволительно считать, что она была включена в мировоззренческую и ритуально-обрядовую системы данного социума и занимала в ней определенное место.

В связи с социальными аспектами внимание привлекает ряд установленных других фактов. Оказалось, что каждое из жилищ отличается свой набор изделий и инструментов. Так, на Оровнаволоке IX [Филатова 1986: 40–41] в жилище 6 залегали практически все микро-скребки (около 100) и изделия из кости (игла, рыболовный крючок, подвески, фрагмент с орнаментом), а в синхронном ему и рядом расположенном жилище 5 – в основном крупные деревообрабатывающие инструменты (топоры, тесла, стамески, клинья для расщепления дерева), в то время как мелкие изделия (скребки, сверла, скобели, резцы и др.) единичны. Преобладание последних отмечено в жилищах 1 и 3, но в одновременном им жилище 2 и в несколько более позднем жилище 4 были сосредоточены деревообрабатывающие орудия и нужные для их изготовления инструменты. Различия в наборе инвентаря отмечены в других памятниках [Филатова 2004: 23–57]. Можно предполагать на этих основаниях существование внутри каждого локального коллектива подразделений по роду деятельности.

Показательны другие, связанные с жилищами факты, возможно, отражающие уже иную, не ясную по своему характеру сторону жизни обитателей. В их числе размещение на входе-выходе под слоем охры обычных бытовых изделий (Рис. 4–8), причем набор их специфичен практически для каждой постройки. Например, на Оровнаволоке IX в жилище 1 по обе стороны проема основного входа залегало по ножу из кварца, а в одновременных ему жилищах 2 и 3 внутри проема того же входа было прикопано по крупному клину для расщепления дерева. В жилище 4 по обе стороны проема основного входа залегали такой же клин для расщепления дерева и 2 ножа из кремня, по второму (восточному, в сторону берега) – тесло и кремневый наконечник стрелы. В жилище 5 клин для расщепления дерева лежал у основного входа снаружи, а в одновременном ему соседнем жилище 6 внутри проема того же входа – орудие для землекопных работ (мотыга). На Оровнаволоке XV (все три исследованные жилища одновременны) снаружи у второго входа (в сторону берега) в жилище 1 прикопано кайло для льда и точильный брусок, у жилища 2 там же – обломок кайла или мотыги, у жилища 3 – компактное скопление кальцинированных косточек (остатки изделия?) и обломки крупного орудия. На этом же поселении у жилищ 1 и 2 (очевидно, у жилища 3) у основного входа снаружи располагалось по длинному очагу и скопления охры, рядом – много разных изделий, в том числе типа кайл и мотыг. Подобные случаи помещения орудий известны на других памятниках: клиньев у основных входов в жилищах 1 и 2 в Черной Губе XI, стамески у основного входа и мотыги у восточного в жилище на Оровнаволоке XII, стамески по основному входу, а мотыги, стамески и наконечника стрелы по второму в жилище 3 Бесова Носа VI (нижний слой), по клину у основных входов в жилище 1 на Кладовце Va и в жилище в Черной Губе VI.

В этом же ряду случаи закладки крупных сланцевых орудий и тоже из числа обычных и массовых в ямах угловых опорных столбов каркаса жилищ и непременно под слоем охры. Так, на Оровнаволоке XV в ямах в юго-восточных углах (постройки ориентированы в соответствии с междувальем параллельно берегу озера в направлении ЮЗ–СВ) в жилище 1 лежа-

ли обычные топор и тесло, в жилище 2 – мотыга и тесло, в жилище 3 – обломок тесла или топора. На поселении Оровнаволок XIV в яме несущего столба в юго-западном углу был прикопан топорик, а в северо-западном – обломок мотыги или кайла для льда.

Как известно, в Оленеостровском могильнике практически каждого погребенного сопровождает свой, индивидуальный набор предметов, причем в разных количествах и независимо от пола и возраста; безынвентарных погребений мало. Все изделия имеют аналоги в поселенческих комплексах (кроме изделий из кости, не сохранившихся в силу природных условий). Главенствуют обычные для охоты наконечники стрел (вероятно, были в колчанах), а также элементы украшений одежды.

Интересно, что некоторые другие массовые изделия в погребениях немногочисленны или единичны. Так, крупных сланцевых орудий всего 4, остальные [Гурина 1956: Рис. 79: 5–8] – естественные гальки и их части. Согласно морфопризнакам одно из орудий – мотыга для землекопных работ, другое – кайло для разбивания льда. Оба располагались у края ям внутри и сбоку от головы (женское и мужское погребения № 68 и 82), вероятнее всего, использовались для устройства ям. Два остальных орудия (тесла) лежали у правых бедер вместе с другими изделиями (мужские погребения № 8 и 76), отмечая, возможно, прижизненные занятия индивидов. Показательно залегание в могильнике других массовых обычных инструментов. Так, 2 скребка, резец, 3 резчика и 9 кварцевых сверл (ошибочно назывались наконечниками стрел) вместе со многими поделками из кости были в погребениях № 114, 117, 118 и 118а (трое мужчин и женщина), расположенных вблизи друг друга [Гурина 1956: Рис. 9]. Возможно, эти люди представляли особую группу мастеров, специалистов в косторезном деле.

Кроме названных выше, в могильнике обнаружены редкие изделия, которые выделяются также неоднозначным расположением на умерших. Это так называемые ножи из сланца (Рис. 9; 10: 1–8). Обнаружено 60 экз. у 30 из 177 погребенных, из них – 16 мужчин, один ребенок в тройном детском и 4 женщины, в одном случае с ребенком, у остальных пол не определен. Чаще встречалось по одному-два «ножа», реже по 3–5 [Гурина 1956: 123–139; Табл. 11–12; 18–21]. Заметим, что на поселениях обнаружено всего 14 экз. (Рис. 11: 1–8). Назначение их достоверно не установлено, роль в погребальном обряде также до конца не ясна. Высказывалось мнение об использовании их при снятии шкур с медведей, ориентируясь на залегание вместе с ними зубов этих зверей [Гурина 1956: 130], а также как подвесок-украшений на головных уборах и одеждах [Уткин, Костылева 2009: 34–39]. Но, судя по малой толщине, работа этими изделиями могла быть лишь разовой. Кроме того, в погребениях с ними встречаются зубы и кости других животных. Считать их подвесками-украшениями тоже вряд ли можно из-за внушительных размеров. Вероятнее всего, они изготовлялись в качестве погребальных атрибутов, знаков, указывающих, к примеру, на причину смерти, положение человека в обществе, на родственные связи и т. д. Возможно, их символика имела несколько уровней или значений, если исходить из разных положений на телах, причем, безотносительно к полу и возрасту [Гурина 1956: Приложение 1]. Так, в 16 погребениях (возможно, в 18 или 20) у мужчин и женщин эти изделия лежали у края ям на дне выше черепа, реже – рядом с ним или под ним; иногда в дополнение к ним «ножи» укладывались у правого плеча или на груди. Намного реже они располагались у правого плеча (погребения № 6, 36, 108, 114, 120), еще реже слева, у пояса, на груди, в области таза и колен. Отмечены необычные залегания, например, поперек шеи у ребенка в погребении № 46–47 с женщиной, один «нож» слева рядом с «жезлом» (второй над головой) у мужчины в тройном с женщинами (погребения № 55–57). В целом, можно констатировать их преимущественное положение в верхней части тела. Отметим также, что подавляющее большинство погребенных с «ножами» лежали на спине, четверо (№ 55, 56, 61 и 120) – на боку, один (№ 100) – в вертикальном положении.

Приведенные факты размещения орудий труда и быта на поселениях и в могильнике, индивидуальность набора сопровождающих вещей и наличие погребенных без них, различия в качестве предметов у разных индивидов предполагают сложную организацию и структуру данного общества, возможно, обусловленную также мировоззренческими представлениями.

На поселениях и в могильнике обнаружены предметы, хозяйственно-бытовое применение которых сомнительно: это так называемые ромбические изделия и изделия с гравировкой. Первых известно 3 целых и 6 фрагментов (Оровнаволок IX, XV, XII, Пиндуши IV). Они тонкие и плоские вытянутой ромбической формы, линзовидные в сечении (края сточены на клин), частично зашлифованные, с отверстием в центре (Рис. 11: 2, 3, 8). Изготовлены из разновидности сланца красного цвета, применявшегося крайне редко для обычных орудий. Размеры варьируются от 8 x 3,5 x 0,6 до 15 x 10 x 0,8 см, диаметр отверстия – от 0,5 до 2,0 см.

Один из трех предметов с гравировкой – трехгранный обломок песчаника с одним приуженным концом, длина и ширина соответственно 16 и 8 см (Рис. 12: 11). Орнамент по всем сторонам из вписанных друг в друга расположенных поперек плоскости зигзагообразных линий из коротких прямых прочерченных отрезков. Посредине одной из сторон диагонально идет прямая глубокая прочерченная (или пропиленная) канавка, у ее начала на узком конце предмета под углом к ней две таких же коротких почти параллельных друг другу. На двух других гранях узор слабо заметен, но также состоит из зигзагообразных линий. Предмет залегал у левого бедра скелета (пол не установлен) в погребении № 44, других вещей не было. Сложнее узор на втором изделии из поселения Суна XIV. Это плоская овальная галька размером 10,5 x 5 x 1,8 см из туфосланца с подшлифованной поверх естественной гладкой корки поверхностью, местами со следами заполировки и неглубокими выбоинками на узких концах (Рис. 12: 10). На одной половине одной из широких плоскостей (при продольном положении предмета) поперек нанесено несколько вписанных друг в друга зигзагообразных линий из коротких прямых прочерченных отрезков; другая и большая часть ее занята заштрихованными прямыми линиями малыми треугольниками, частью вписанными в большой, обозначенный глубокими линиями посредине плоскости, частью примыкающими к его внешним сторонам. На противоположной плоскости прочерченные неглубокие прямые линии разной длины образуют косую сетку с неправильными ячейками. Обращает внимание близость орнаментов на обоих изделиях и на костяных из могильника [Гурина 1956: Рис. 62, 122], а также на «чуригах» из мезолитических поселений южных областей [Лозовская, Лозовский 2009: 55–59, Кат. 207–214; Жилин 2006: Рис. 48; Ошибкина 1997: Рис. 43].

Последний предмет с гравировкой (два фрагмента на сезонном летнем поселении Пиндуши XIVa), возможно, представлял собой глухой цилиндр или конус диаметром до 4 см (Рис. 12: 8–9). На сохранившейся средней части с длиной окружности 13 см имеются два просверленных насквозь круглых отверстия (диаметр около 1 см) перпендикулярно друг другу на расстоянии 2,5 см; внешний край каждого оконтуривает неглубокая кольцевая канавка-надпил. На участке между отверстиями поперек выгравированы зигзагообразные линии из коротких прямых прочерченных отрезков. Второй фрагмент – отслоившаяся внешняя поверхность того же цилиндра в более узкой части с длиной окружности 12 см. На узком конце имеется неглубокий кольцевой надпил-канавка, ниже параллельно ей более широкая и глубокая, а диагонально к последней еще одна короткая. На сломе другого конца сохранилась половина сквозного биконического отверстия (диаметр до 1 см), перпендикулярно одному и параллельно другому отверстиям на первом фрагменте. Общая длина обоих обломков 9 см. Аналоги ему неизвестны, но узор в целом виде типичен.

Еще два вида изделий неустановленных функций встречены на онежских поселениях и в Оленеостровском могильнике. Одни из них – небольшие и маленькие плоские подовальные или каплевидные галечки и плиточки кварцита или сланца, реже гранита (толщина от 0,4 до 2,5 см, диаметр 2,5–3 см) с отверстием 0,3 см диаметром в центре или (чаще) вблизи приуженного конца, или с зарубками-надпилами на нем же (Рис. 10: 9; 11: 5–7, 9; 12: 5–7, 12). По аналогии с изделиями из кости их можно отнести к разряду украшений, небольшое число в могильнике и на поселениях можно объяснить предпочтениями поделкам из кости. Известны более крупные изделия такого рода из плиточек сланца, вероятно, иного назначения, на поверхности некоторых наблюдаются неглубокие штрихи (Рис. 12: 1–2, 4), у одного (сохрани-

лась верхняя часть) из сланца зеленоватого цвета по краям на разном расстоянии нанесено по три зарубки (Рис. 12: 3). Возможно, особое значение имели другие предметы (Рис. 8: 7–8).

Второй вид сверленных изделий (часть на поселениях, в могильнике отсутствуют) – крупные плоские овально-округлые, овальные в сечении естественные гальки сланца или кварцита, реже песчаника или гранита, размерами от 5 x 2 x 1 до 13 x 5 x 2–3 см; многие пришлифованы поверх гладкой корки по широким плоскостям. В центре имеется сквозное отверстие диаметром до 3 см; иногда оно непропорционально большое относительно размеров галек (Рис. 13). Следов работы визуально не наблюдается. Обычно их считают грузилами для сетей, что вызывает сомнения, в первую очередь, из-за неоправданной функционально и не отвечающей необходимости степени обработки – шлифовке по гладкой естественной поверхности, значительных трудозатрат при оформлении отверстия. Кроме того, грузилами для сетей или ловушек, по мнению исследователей, служили обернутые берестой или растительными волокнами гальки или куски камня без каких-либо следов подработки, или с неглубокими подбитыми выемами на противоположных сторонах, известные на многих памятниках мезолита восточноевропейской лесной зоны [Жилин 2004: 52–53; Ошибкина 1997: 63–64, Рис. 40]. Один из таких крупных предметов из сланца, с отверстием в центре известен в веретинской культуре [Ошибкина 1997: 41]. Он назван мотыгой, сопоставлен исследовательницей с ромбическими изделиями из красного сланца из памятников бассейна Онежского озера, что представляется совершенно неправомерным, так как они отличаются и по форме, и по размерам (Рис. 11: 1–3, 8).

Не отвечают действительности приведенные С. В. Ошибкиной аналоги сверленным галькам из онежских мезолитических комплексов шаровидным предметам (кониформам) с отверстиями, а многих и с орнаментом из поселений мезолита Финляндии и Северной Европы, которые считают навершиями булав или утяжелителями для палок-копалок [Ошибкина 1997: 64–65]. Подобные изделия в онежской культуре отсутствуют, мало отвечают им, вопреки утверждениям исследовательницы, и сверленные гальки, известные в веретинской культуре [Ошибкина 1997: Рис. 42] и в мезолитических комплексах бассейна Верхней Волги [Жилин 2004: 71; 2006: 35, Рис. 47], по сути аналогичные таким же из онежских памятников. Можно предположить утилитарное назначение крупных сверленных плоских галек, например, в качестве пряслиц при изготовлении веревок, жгутов, нитей из разных материалов; не исключается иное, не связанное с хозяйственной деятельностью.

Очевидно, свое место, но с разными значениями занимали обнаруженные в могильнике скульптурные формы – два «жезла» – изображения голов лосей из рогов северного оленя и лося? (Рис. 14), залегавшие на уровне плеч слева у мужчин в тройном и парном с женщинами (погребения № 55–57 и 152–153), 4 малых лосиных головки и плоское изображение этого животного (погребения 68, 81 и 82), две змеи (погребения № 23 и 57) и 3 антропоморфные фигурки в погребениях № 18, 23 и 130 (Рис. 15–16). Среди них выделяются «жезлы» и в художественном отношении, и по условиям залегания; считается, что они указывают на статус носителей как хранителей веры – руководителей обрядовых действий [Гурина 1956: 242] или олицетворяли тотема-первопредка [Хлобыстина 1993]. Но определенно можно говорить лишь об особом положении в обществе этих мужчин. «Жезлы» могут быть символами и светской власти, а их носители лидерами, главами управляющего или надзорного органа для всего оставившего могильник сообщества.

Заметим, что изображения лосей в качестве штандарта для данного общества кажется вполне закономерным хотя бы из-за внушительных размеров этих животных в сравнении с другими. Очевидно и понятно уважительное отношение к ним как к основным поставщикам необходимой для жизни продукции. Вместе с тем, столь же важное место в жизни населения занимали другие животные, особенно бобры, а также, медведи, мелкие пушные звери и птицы [Гурина 1956: Приложение IV]. Поэтому представление о лосе как главном объекте верований, о верховенстве его культа, определяющем систему миропонимания в целом, не находит явного отражения в погребальной обрядности. Число его изображений невелико, отдельные малые головки и плоскостная фигурка могут быть украшениями или личными оберега-

ми, а часть головок – отломившимися наверхшими кинжалов наподобие одного из них [Гурина 1956: Рис. 118–119], выполнявших, возможно, чисто эстетическую функцию.

Скульптурки змей воспринимаются как покровители женщин, а антропоморфные как покровители мужчин [Гурина 1956: 229–246]. Но не исключено, что они, наряду с малыми фигурками лосей, указывают на какие-то личные, индивидуальные предпочтения или на связи погребенных с существовавшими внутри общества объединениями, или на их прижизненный статус. На эту мысль наводят указанные выше условия залегания мелких орудий (скребков, резца и пр.), различия в положениях тел умерших, индивидуальность набора сопровождающего инвентаря.

Интерес вызывают другие выявленные при исследовании поселений онежской культуры факты, не имеющие достоверных объяснений, также, возможно, отражающие нематериальную сферу жизни. Так, на некоторых из них обнаружены каменные кладки, хозяйственно-бытовое назначение которых маловероятно из-за особых форм, отсутствия связанного с ними инвентаря (в отличие от обычных кострищ и очагов, ям, печей). Одна из них (поселение с жилищами Оровнаволок IX, раскоп III) – каменная вымостка прямоугольной формы размерами 2,6 x 1 м из 40–45 уплощенных валунов песчаника и кварцита диаметром от 0,2 до 0,35 м (Рис. 3). Камни уложены в один слой плотно друг к другу, самые крупные по периметру, более мелкие в средней части, причем здесь они сильно разрушены огнем, может быть, с попеременным и неоднократным воздействием воды. В южной половине между ними встречались мелкие угольки. Кладка располагалась на материке, грунт под ней имел следы прокала; под камнями залегало две линзы грунта неорганического происхождения, у юго-восточного края одной встречались угольки, послужившие образцом для даты по $14C$ (7720+–100 л. н., ТА-1092, не калибрована). Вещи в перекрывающем слое, между камнями и ниже отсутствовали. Примечательно ее расположение – на плоском гребне древнего берегового вала (или бара) в 1 м от северо-западного угла жилища, устроенного в ложбине между восточным склоном этого и западным следующего; ориентация (в направлении СЗ–ЮВ) соответствует междувалью и жилищу. Аналоги неизвестны.

Оригинальная кладка обнаружена на сезонном летнем поселении Пиндуши XIVa [Филатова 2004: Рис. 39: 4]. Она устроена в намеренно выкопанной яме (1,5 x 1,6 x 0,4 м) дно и северо-восточный склон ее устилал слой угля толщиной 0,1 м. В центре лежал валун (0,3 x 0,3 м), на нем еще один побольше, вокруг в два-три слоя – камни поменьше, причем самые крупные из них по периметру, мелкие между ними, всего около 40 камней. Кладка имела подовальную форму (1,4 x 1,2 x 0,75 м). Верх выступал над краем ямы на 0,3 м. Ориентирована в направлении С–Ю перпендикулярно линии берега, располагалась в центре площадки памятника. Находки рядом и в ней отсутствовали. Дата по $14C$ по образцу угля (7280+–120 л. н., ТА-1521, не калибрована) не соответствует возрасту памятника, установленному по археологическим и палеогеографическим данным (7800 л. н.). Близкие по конструкции вымостки в яме или на ровном участке известны на поселениях Пиндуши XIV, Черная Губа IX, Шелтозеро XV, Суна XIII и др. [Филатова 2004: Рис. 43].

Понятно, что на основе изложенных выше разнородных по содержанию фактов невозможно получить полное представление о социальном устройстве и духовной стороне жизни общества онежской мезолитической культуры. Возможно, оно было четко организовано и иерархически структурировано по разным категориям и принципам, а взаимоотношения между его членами – коллективами локально-территориальных групп, семьями, индивидами, предположительно существовавшими внутри общества и отдельных коллективов объединениями (например, по полу, возрасту, по роду деятельности, по родству и свойству и пр.), выстраивались на основе единых для всех правил и норм. Представляется необходимым существование органа управления (надзора) из одного или нескольких лиц. Вполне вероятно, что регламентация всех сторон жизни, согласно определенному поведенческому кодексу, понималась и принималась сообществом, поскольку лишь его наличие и соблюдение обеспечивало выживание при существовавшем уровне развития. Можно полагать, что сложившаяся система отношений явилась результатом консолидации накопленных в ходе практической

деятельности знаний, умений и возможностей членов локальных коллективов и отдельных личностей.

Нет сомнений, что люди эпохи мезолита пытались осмыслить окружающий мир, выстроить систему представлений о нем, определить свое место в нем. Возможно, они относились к нему рациональнее, больше полагались на здравый смысл и практику, чем это принято считать сейчас; безусловно, были способны к обобщениям наблюдений и умозаключениям, выявлению закономерностей. Полагают, что тесно связанные с природой, они не выделяли себя из нее, одушевляли все ее проявления. Но надо признать также, что в определенной степени властвовали над ней, приспособливая и используя отдельные компоненты для своих нужд. Взгляд на мир мог быть вполне прагматичным как на обеспечивающий физическое существование и в известной степени покоряющийся человеку. Люди опытным путем познавали, что для выживания в первую очередь следует полагаться на собственные силы, знания и умения, а не уповать безоглядно на иррациональных помощников, тем более что прямых доказательств воздействия их на человеческую жизнь не могло быть.

С этих позиций существование культа животных или растений, их верховенства в данном обществе представить трудно. Равно как и культ предков, которых могли почитать за накопленные и переданные знания и навыки, помнить о них, но и опасаться их воздействия. Однако прямой физической помощи от них получить не могли, хотя отдельные психологические воздействия возможны, в том числе негативные.

Другое дело – независимые от человеческой деятельности самые яркие проявления окружающего мира: небесный свод, солнце, луна, особо яркие созвездия, цикличность и постоянство их движения, а также смена времен года или менее масштабные – водное пространство, снег и дождь, ветер, облака, радуга. На особое отношение к некоторым из них может указывать весьма показательный факт единой для всех погребенных в Оленеостровском могильнике ориентации головой в восточную сторону. Н. Н. Гурина связывала это с почитанием востока как стороны восходящего солнца, дающей свет и тепло. Но резонно предположить, что главным объектом было непосредственно солнце. Возможно именно его обожествление и верховенство, восприятие как высшего начала, с которым связаны все основные и самые значимые для жизни проявления окружающего мира. Его культ был главным для людей данного времени и места, определяя всю систему их миропонимания и верований. На этой основе могли складываться главные ритуалы и обычаи, объяснялись наблюдаемые природные явления, то есть весь спектр духовной жизни или, по крайней мере, важнейшей ее части. Соперничать с солнцем по силе и результатам воздействия на материальную сторону жизни, на разум и чувства человека вряд ли могли, например, звездное небо или луна, поскольку их влияние на конкретные действия и практику явно не проявлялось. Еще более проблематично верховенство менее масштабных природных явлений и стихий, не подвластных человеку (смена времен года, радуга и пр.), которые могли быть составной частью главного культа, а другие, например, ветры, могли с успехом использоваться при определенных знаниях и усилиях.

С позиций вероятного господства культа солнца, а опосредованно, особого отношения к огню, источнику света и тепла, можно объяснить некоторые не обусловленные хозяйственно-бытовой деятельностью факты, например, функцию описанных выше кладок с интенсивными следами огня, закладывание охры у кострищ и очагов. Сложнее связать с ним некоторые необычные предметы, например, ромбические изделия из красного сланца, а также понять, а по сути, прочесть выгравированные узоры; они могут отражать ритуалы и символику более низкого уровня, например, индивидуальные, семейные и пр., но обусловленные верховным культом и общей системой взглядов на мироздание.

В этом плане весьма интересна наиболее реалистичная из всех предлагаемых исследователями гипотеза о солярной символике оригинальных знаков, выявленных в группе Онежских петроглифов [Лобанова 2015: 259–264, Рис. 183–185]. Подтверждение ее может указывать на существовавшую систему взглядов на мироздание не только в обществе, создавав-

шем наскальные полотна (носителей неолитической ямочно-гребенчатой керамики), но и в мезолитическом, базировавшемся ранее на той же территории.

Высказанные выше предположения о возможных верованиях и культах в одном из обществ эпохи мезолита не столь беспочвенны и умозрительны, как может показаться на первый взгляд. По мнению специалистов, древнейшие формы религиозных верований имели космогоническую природу, обуславливались представлениями о Вселенной; на них базировались взгляды на окружающий мир и на человека в нем, вся духовная составляющая жизни. Эти верования и определяли систему мировоззрения в целом и в соответствии с ней – ритуалы и обычаи, обрядовые действия, главные и второстепенные культы объектов и явлений (неба, солнца, зенита, рассвета, огня, ярких созвездий), а также культы природных стихий, их проявлений (воды, леса, земли, сезонов года и пр.). Возможно наличие понятия Творца как верховного существа, начала начал. Не исключается существование многих божеств низшего ранга, их изображений [Памятники культуры народов Сибири и Севера 1977; Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера 1976; Кабо 1969; Смоляк 1991]. Интересно, что отношения с божествами всегда были не слепым вымаливанием благ, а договорными – жертвоприношение (дар) должно было быть оплачено [Вдовин 1977: 120–121].

Можно предположить, что поздние системы верований – тотемизм и анимизм, стадильно еще более поздний культ предков, а тем более шаманизм – явное сужение горизонта восприятия мира, вызванное разными причинами, в том числе социальными и сугубо материальными: неверно выбранной хозяйственно-экономической стратегией или природными катаклизмами, приведшими к катастрофическим последствиям, исчезновением под давлением внешних или внутренних факторов ряда общественных институтов и связей между членами общества и пр. Все это вкупе могло привести к стагнации в развитии общества и его полной деградации и изменениям во всех сферах, в том числе смене приоритетов в системе верований. Примером такой деградации в социальном и хозяйственно-экономическом планах может служить онежская культура, на финальном этапе своего существования утратившая прежнюю поступательность в развитии. Примечательно, что эти процессы начали проявляться некоторое время спустя после прекращения функционирования Оленеостровского могильника – важнейшего объединяющего и стабилизирующего фактора [Филатова 2004: 121–126].

Понятно, что все сказанное о вероятной системе взглядов и ценностей, верований, социальных аспектах в обществе времени мезолита требуют более веской аргументации на базе новых источников. Но очевидно также, что изучение этих сторон жизни должно быть конкретизированным, то есть для каждого отдельно взятого сообщества на всех временных отрезках его существования.

Литература

- Брюсов А. Я. История древней Карелии // Тр. ГИМ. 1940. Вып. 9.
- Вдовин И. С. Религиозные культы чукчей // Памятники культуры народов Сибири и Севера. Сб. МАЭ. Вып. XXXIII. Л., 1977. С. 117–177.
- Гурина Н. Н. Оленеостровский могильник. МИА 47. 1956.
- Жилин М. Г. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны Восточной Европы. М., 2004.
- Жилин М. Г. Мезолитические торфяниковые памятники Тверского Поволжья: культурное своеобразие и адаптация населения. М., 2006.
- Лобанова Н. В. Петроглифы Онежского озера. М., 2015.
- Лозовская О. В., Лозовский В. М. Стоянка Замостье-2 // Зверь и человек. Тр. ГЭ XLIV. СПб., 2009.
- Ошибкина С. В. Веретье I. М., 1997.
- Ошибкина С. В. Мезолит Восточного Прионежья. М., 2006.
- Памятники культуры народов Сибири и Севера. Сб. МАЭ. Вып. XXXIII. Л., 1977.
- Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976.

Природные краски Карело-Финской ССР. Петрозаводск, 1951.

Смоляк А. В. Шаман: личность, функции, мировоззрение (народы Нижнего Амура). М., 1991.

Уткин А. В., Костылева Е. Л. Еще раз о сланцевых «ножах» Оленеостровского могильника // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. СПб., 2009.

Филатова В. Ф. Оленеостровский могильник в системе мезолитических поселений Карелии // Кижский вестник № 7. Петрозаводск, 2002.

Филатова В. Ф. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск, 2004.

Хлобыстина М. Д. Проблема социогенеза культур Северной Евразии в неолите-палеометалле (по материалам погребальных комплексов) // АД Polus. Археологические изыскания. Вып. 10. СПб., 1993.

Сокращения

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М. –Л.

Тр. ГИМ – Труды Государственного исторического музея. М.

Тр. ГЭ – Труды Государственного Эрмитажа. СПб.

МАЭ – Музей антропологии и этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. СПб.

Иллюстрации



Рис. 1. Схема размещения мезолитических памятников в бассейне Онежского озера (см. Филатова 2004: Приложение 2).

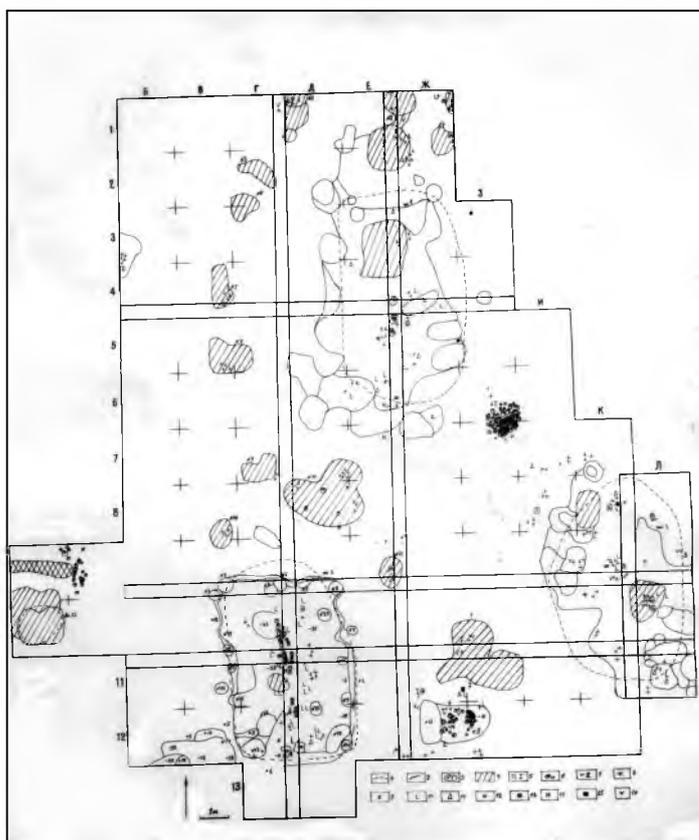


Рис. 2. Оровнаволок IX. Раскоп I. План материковой поверхности с жилищами 1–3 (условные обозначения: 1 – контуры впадин по современной поверхности; 2 – контуры впадин и ям; 3 – скопления охры; 4 – кострища; 5 – печи; 6 – камни; 7 – изделия из кварца; 8 – изделия из кремня; 9 – изделия из сланца; 10 – абразивы; 11 – шлифовальная плита; 12 – сверленные изделия; 13 – ножи; 14 – ромбические поделки; 15 – кальцинированные косточки; 16 – кирки).

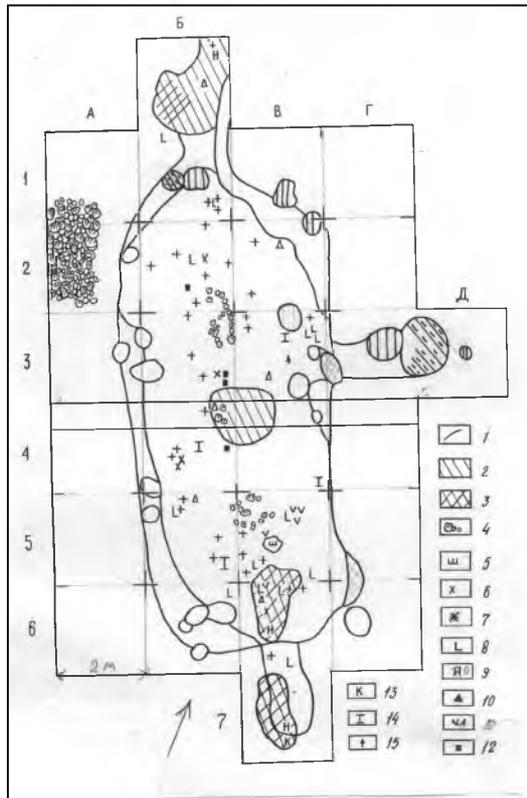


Рис. 3. Оровनावолок IX. Раскоп III. План жилища 4. (условные обозначения: 1 – контуры котлована и ям; 2 – кострища; 3 – скопления охры; 4 – камни; 5 – шлифовальные плиты; 6 – кремневые изделия; 7 – кварцевые изделия; 8 – сланцевые изделия; 9 – ножи; 10 – абразивы; 11 – кости кальцинированные; 12 – оригинальные изделия; 13 – кирка; 14 – топоры и тесла; 15 – наконечники стрел).

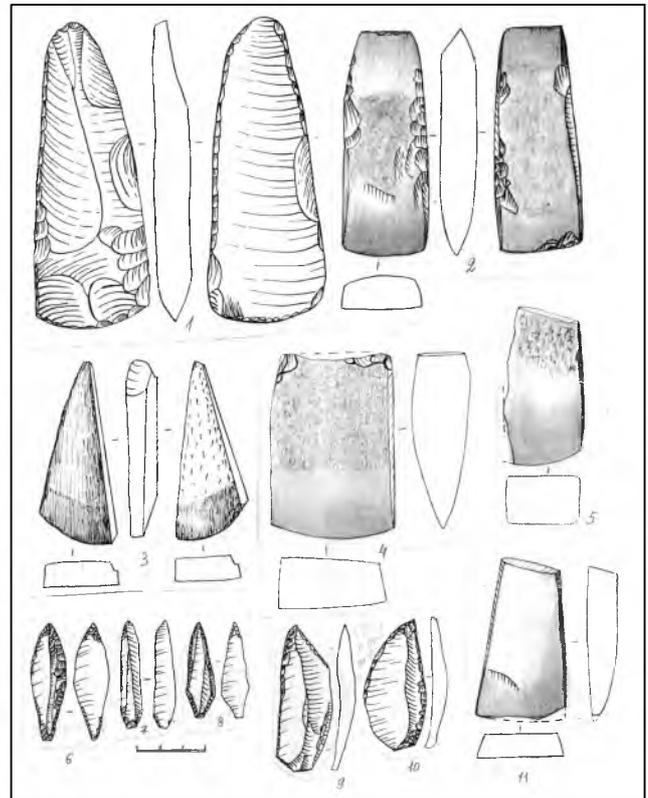


Рис. 4. Изделия из камня: 1–5, 11 – топоры и тесла; 6–8 – наконечники стрел; 9–10 – ножи. 1–5, 11 – сланец; 6–10 – кремнь. 1 – Черная Губа XI, жилище 1; 2 – Оровनावолок XV, жилище 2; 3 – Оровनावолок XIV, жилище; 4 – Кладовец Va, жилище 1; 5 – Бесов Нос VI, верхний слой, жилище 2; 6–10 – Оровनावолок XV, раскоп III, жилище 4; 11 – Черная Губа VI.

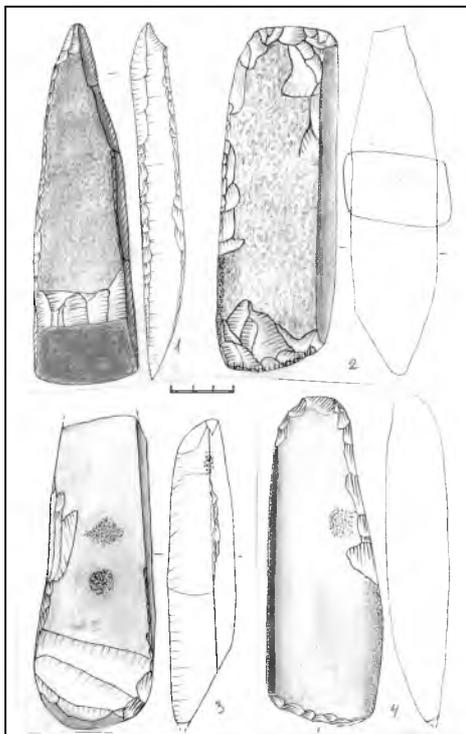


Рис. 5. Мотыги. Сланец. 1 – Суна XIII; 2 – Оровनावолок IX, раскоп II, жилище 6; 3 – Повенецкая III, жилище; 4 – Черная Губа VI

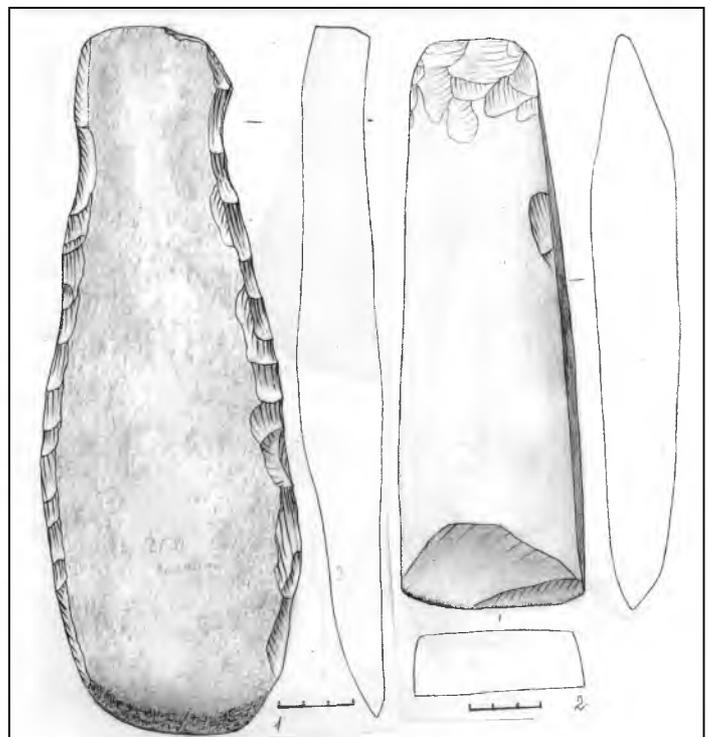


Рис. 6. Мотыги. 1 – гранит; 2 – сланец. 1 – Черная Губа XI; 2 – Оровनावолок XII

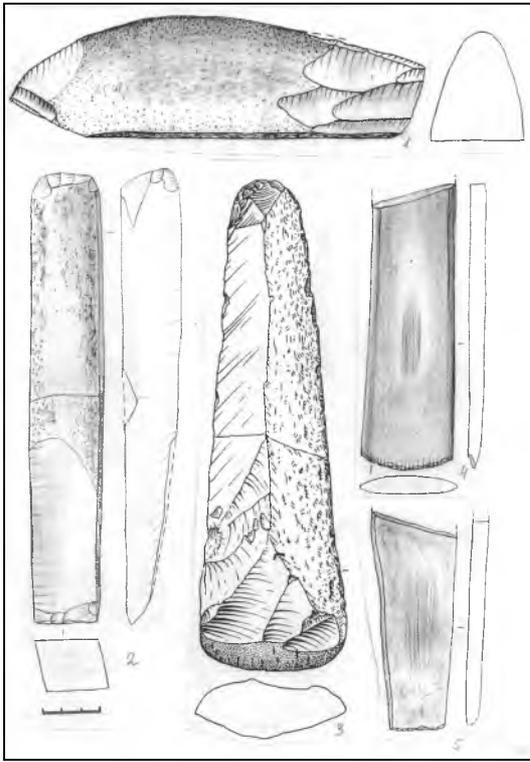


Рис. 7. Изделия из сланца: 1— клин для расщепления дерева; 2–3 – кайла для льда; 4–5 – абразивы для охры на пиле и точильном бруске. 1 – Черная Губа VI; 2 – Оровнаволок XV, жилище 3; 3 – Оровнаволок XV, кострище; 4 – Палайгуба VI; 5 – Оровнаволок IX, раскоп I.

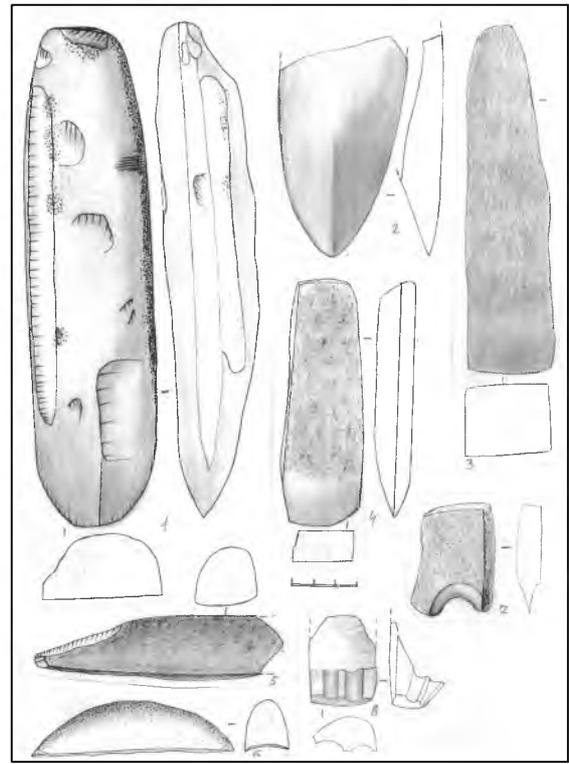


Рис. 8. Изделия из сланца: 1–6 – клинья для расщепления дерева; 7–8 – фрагменты изделий неустановленного назначения. 1, 6 – Черная Губа XI, жилище 2; 2 – Оровнаволок IX, раскоп III, жилище 4; 3 – Черная Губа VI, жилище; 4 – Кладовец Va, жилище 1; 5 – Оровнаволок XV, жилище 1; 7–8 – Оленеостровская стоянка.



Рис. 9. Скульптурное изображение головы лосоля из погребения № 153. Рог. Оленеостровский могильник.

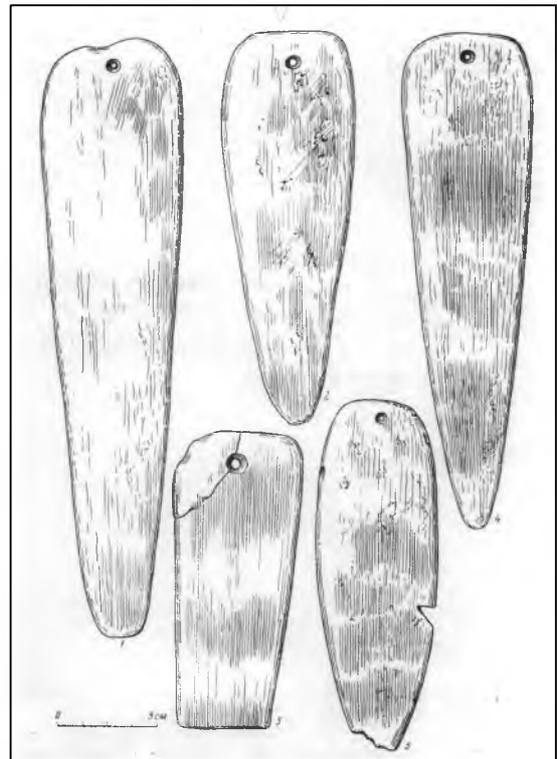


Рис. 10. Сланцевые «ножи» из Оленеостровского могильника (1–2 – погр. № 161; 3 – погр. № 119; 4 – погр. № 67; 5 – погр. № 85) (по Гуриной, 1956).

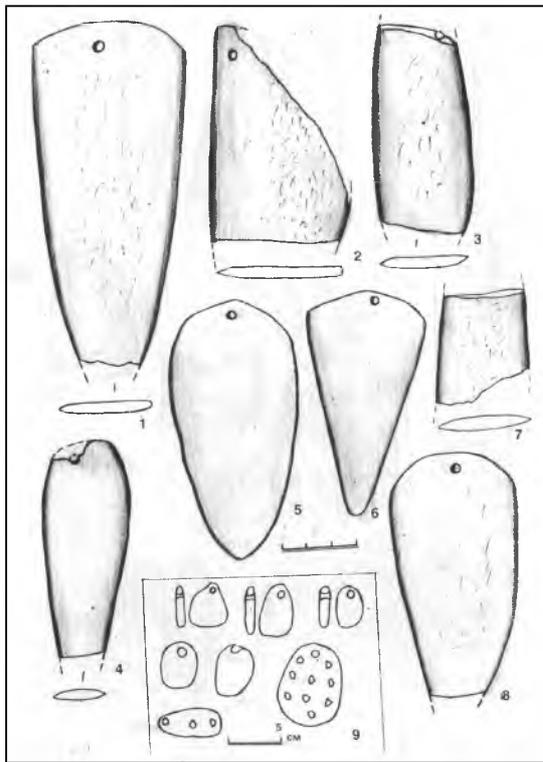


Рис. 11. Изделия из сланца: 1-8 – «ножи»; 9 – подвески (?). 1-2 – Черная Губа XI (1 – жилище 2); 3-4 – Черная Губа II; 5-6 – Пески I (по Брюсову, 1940); 7 – Палайгуба VI; 8 – Пески III; 9 – Оленеостровский могильник (по Гуриной, 1956).

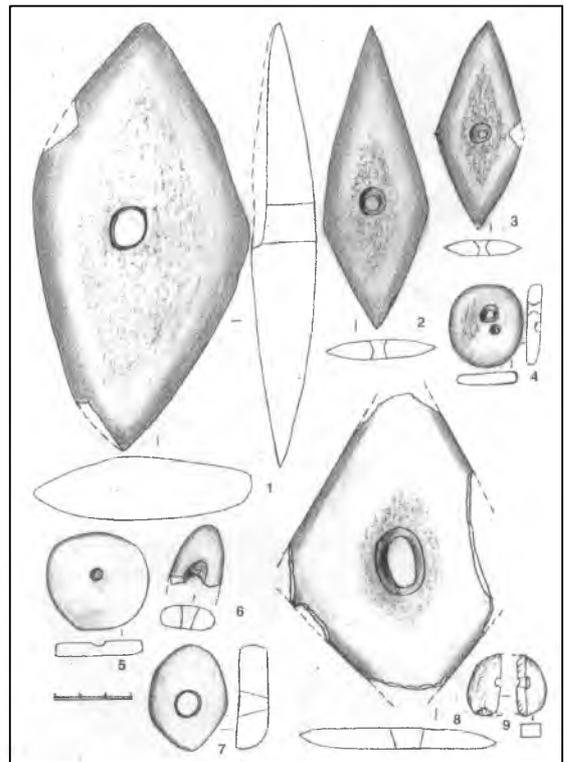


Рис. 12. Сверленные изделия: 1-3, 8 – ромбические предметы; 4-7, 9 – подвески (?). Сланец. 1 – Оровнаволок XII; 2 – Пиндуши IV; 3, 6 – Оровнаволок IX, раскоп I (6 – в жилище 1); 4 – Бесов Нос VI, верхний слой; 5 – Черная Губа II; 7 – Пиндуши XIVa; 8 – Оровнаволок IX, раскоп II; 9 – Шелтозеро III.

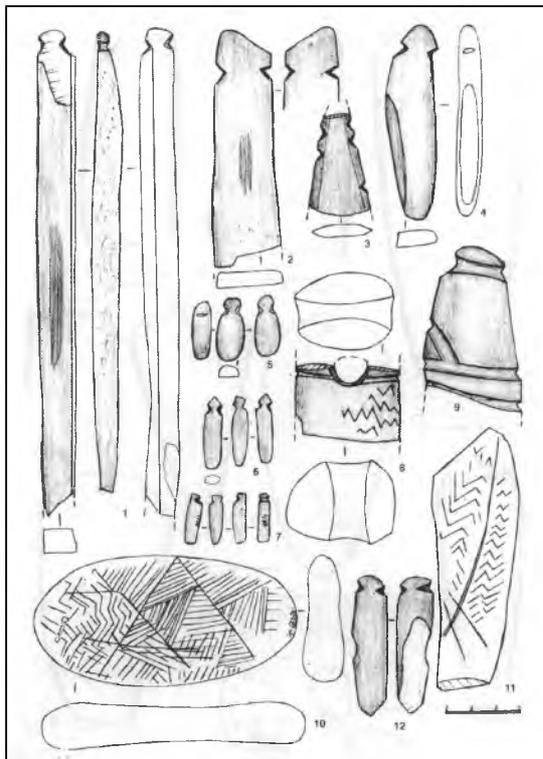


Рис. 13. Изделия из камня: 1-7, 9, 12 – с надпилем на конце; 8, 10-11 – с гравировкой. 1-10, 12 – сланец; 11 – песчаник. 1-2, 4 – Оровнаволок IX, раскоп III, жилище 4; 3 – Оровнаволок IX, раскоп II; 5 – Суна XIII; 6-7 – Палайгуба VI; 8-9 – Пиндуши XIVa; 10 – Суна XVI; 11 – Оленеостровский могильник (по Гуриной, 1956); 12 – Илекса III.

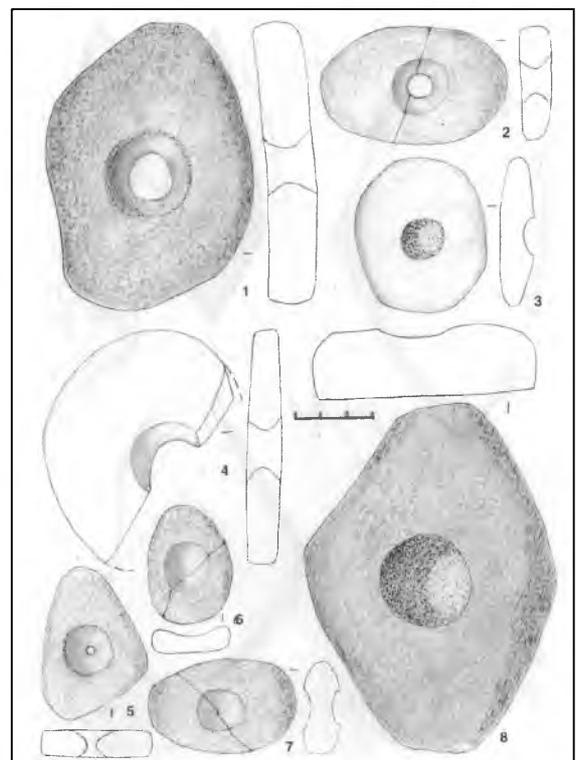


Рис. 14. Сверленные изделия. 1-3 – сланец; 4-7 – кварцит; 8 – гранит. 1, 6-7 – Оровнаволок IX, раскоп I; 2 – Оровнаволок XII; 3 – Черная Губа XI; 4 – Пиндуши XXXVIII; 5 – Оровнаволок IX, раскоп II; 8 – Черная Губа II.

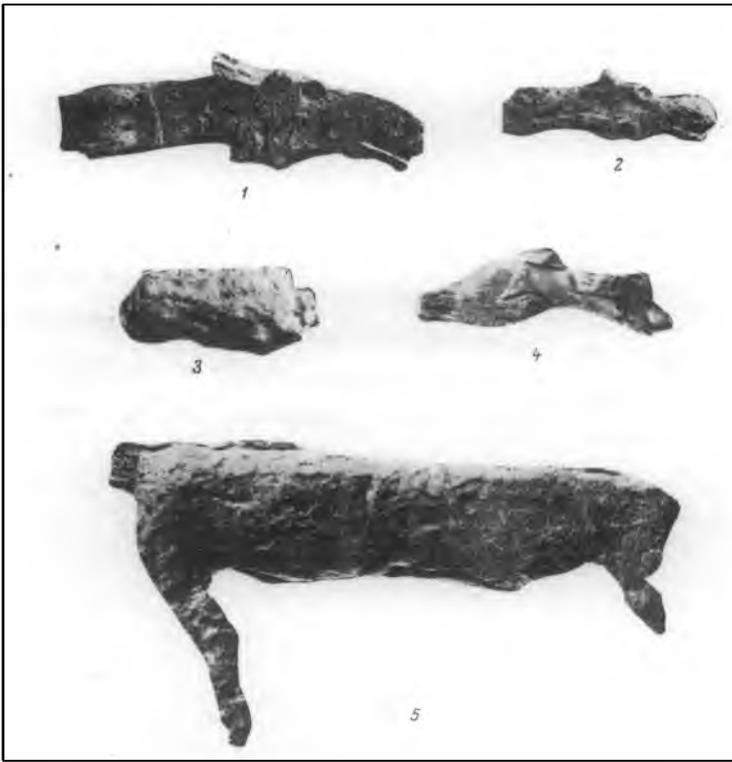


Рис. 15. Скульптурные изображения лосей из Оленеостровского могильника. Кость. 1–2 – погребение №81; 3 – погребение № 68; 4 – погребение № 82; 5 – погребение № 64 (по Гуриной, 1956).



Рис. 16. Скульптурные изображения змей (1–2) и антропоморфные фигурки (3–5) из Оленеостровского могильника. 1–2 – кость, 3–5 – рог. 1, 5 – погребение № 23; 2 – погребение № 57; 3 – погребение № 18; 4 – погребение № 130 (по Гуриной, 1956).

Татьяна Анатольевна Хорошун
*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
 г. Петрозаводск*

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИКИ ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА КАРЕЛИИ*

Технология древнего керамического производства на территории Карелии в эпоху каменного века остается малоизученной, но актуальной темой, требующей всестороннего исследования. Керамика как массовый материал представлен на поселениях целыми сосудами и их фрагментами, чаще всего в перемешанном слое. В эпоху позднего неолита – раннего энеолита в IV – начале III тыс. до н. э. распространены поселения с гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамикой. Вопросы их происхождения, развития и финала являются важными научными задачами, для решения которых особое значение приобретает исследование древних технологий этих культур. Производство глиняной посуды – сложившийся технологический процесс, включающий несколько основных этапов: начальный с выбором и подготовкой исходного пластинчатого сырья, затем создание формовочной массы и изготовление изделий, заключительный – термическая обработка. Наличие массового керамического материала на поселениях и отсутствие прямых свидетельств изготовления ее на месте несколько осложняют доказательность местного производства изделий, поэтому в данной работе внимание уделено использованию методов смежных дисциплин.

Применение геохимических исследований впервые апробировано на средневековой гончарной керамике Приладожья коллективом авторов [Поташева, Чаженина, Светов 2013].

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Карелия в рамках проекта проведения научных исследований «Гончарное производство и сырьевая база на территории Карелии (эпоха каменного века – Средневековье)» (проект № 14-11-10002).

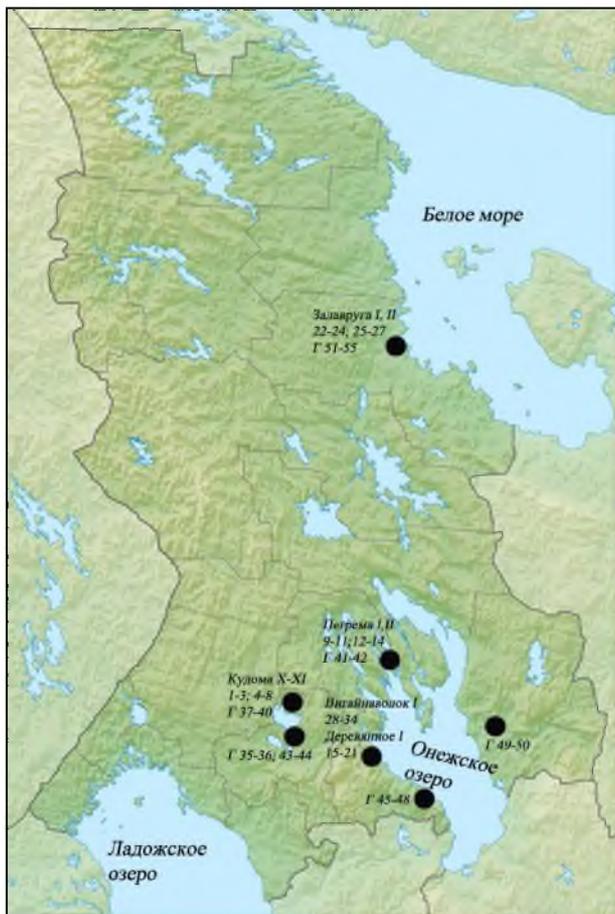


Рис. 1. Карта-схема исследуемых образцов из памятников и местонахождений на территории Карелии

Полученные результаты подтвердили ранее высказанное предположению о наличии местной и импортной посуды, которая была выделена в результате сравнительно-типологического анализа керамики [Поташева, Светов 2013]. Таким образом, методы естественных наук позволяют разработать методику для определения устойчивых показателей, по которым возможно выявить взаимосвязь источников глинистого сырья и готовых образцов керамики.

Стоит отметить, что физико-химические исследования керамики для определения составов глиняной посуды проводились еще П. Н. Верюковым с поселений бассейна Ладожского озера [Иностранцев 1882: 168–170]. Но первые попытки исследования древней керамики Карелии с использованием методов естественных наук сравнительно недавно предприняты при разработке темы «Памятники с ямочно-гребенчатой и ромбо-ямочной керамикой на западном побережье Онежского озера (конец V – начало III тыс. до н. э.)» [Хорошун 2013]. Первоначальной задачей являлось выяснение химического и минерального состава глиняных масс, используемых при изготовлении ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики. Исследование выполнено в Институте геологии КарНЦ РАН

[Хорошун, Ильина 2006; Хорошун 2008, 2009]. В работе применены различные методы: для определения химического состава – полный силикатный и спектральный анализы, электронно-зондовая микроскопия; для выяснения минералогического состава – метод оптической микроскопии (петрографический) и рентгенофазовый анализ.

В 2013 г. проведено петрографическое обследование 24 образцов ромбо-ямочной и 26 образцов гребенчато-ямочной керамики из 20 поселений на территории южной и северной Карелии (проект РФФИ № 13-06-90716 мол_рф_нр «Петрографическое исследование керамики позднего неолита Карелии»). В результате исследования определены составы формовочных масс керамики позднего неолита, что дало возможность сопоставить исследованные образцы не только внутри выделенных типов, но и по районам их распространения, выявить развитие традиций и взаимовлияний [Хорошун, Кулькова 2014; Хорошун 2015].

В 2014–2015 гг. в рамках проекта РГНФ и Правительства Республики Карелия (14-11-1002 «ар» «Гончарное



Рис. 2. Местонахождение глины на Белом море.



Рис. 3. Местонахождение глины на Залавруге (Белое море).

производство и сырьевая база на территории Карелии (эпоха каменного века – Средневековье)» апробированы геохимические анализы (ICP-MS) для прецизионного изучения химического состава тонкозернистой глинистой фракции в образцах керамики и глинистого сырья (Рис. 1). Цель исследования – изучение и оценка сырьевой базы для изготовления гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики на эталонных памятниках позднего неолита – раннего энеолита Карелии (IV–III тыс. до н. э.) – достигалась решением нескольких задач. Вначале определялись опорные памятники изучаемого периода, отбирались соответствующие образцы керамики. Затем происходил отбор эталонных образцов глинистого сырья из находящихся в непосредственной близости от поселений местонахождений. Изучены 19 образцов гребенчато-ямочной, 15 ромбо-ямочной керамики и 21 проба глины из нескольких месторождений. Центральное место занимало проведение ICP-MS анализа химического состава образцов глинистого сырья в эталонных образцах и в формовочных массах керамики, а также изучение полученных данных и определение за-

висимостей между образцами керамики и эталонами по памятникам, типам керамики и районам распространения.

Исследованные образцы (Таблица 1) взяты с поселений Залавруга I–II № 22–27 (юго-западное Прибеломорье), Пегрема I–II № 9–14, Деревянное I № 15–21, Вигаинаволок I № 28–34 (северо-западное побережье Онежского озера), Кудума X–XI № 1–8 (оз. Сямозеро) (Рис. 1). Отобраны 34 образца керамики (№ 1–34) и 21 (№ 35–55) эталон глины из выходов, находящихся в непосредственной близости от памятников. В двух случаях (в Прибеломорье и на северном побережье оз. Сямозера) взято несколько образцов глин с разной глубины (№ 37–40, 51–55). Источники сырья различные: если из района Белого моря это образцы морской глины (Рис. 2), то на Залавруге получена глина из заболоченного места (Рис. 3), в южной Карелии, на побережье оз. Сямозера часть материала добыта на низине на осушенных болотах в районе дер. Корза – пос. Эссойла (Рис. 4) и в лесной части под слоем песка на территории дер. Лахта – пос. Кудума (Рис. 5), в местечке Пегрема выходы глины зафиксированы на дне озера (Рис. 6).



Рис. 4. Местонахождение глины в районе д. Корза.

исследования. Вначале определялись опорные памятники изучаемого периода, отбирались соответствующие образцы керамики. Затем происходил отбор эталонных образцов глинистого сырья из находящихся в непосредственной близости от поселений местонахождений. Изучены 19 образцов гребенчато-ямочной, 15 ромбо-ямочной керамики и 21 проба глины из нескольких месторождений. Центральное место занимало проведение ICP-MS анализа химического состава образцов глинистого сырья в эталонных образцах и в формовочных массах керамики, а также изучение полученных данных и определение за-

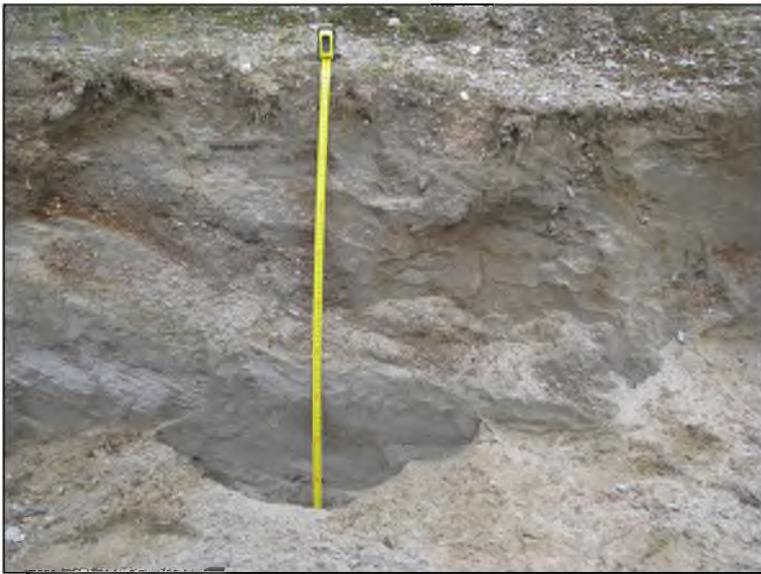


Рис. 5. Местонахождение глины в окрестностях д. Лахта – Кудома.

земельных элементов в образцах керамики и глин впервые применена масс-спектрометрия с локальным лазерным отбором проб (метод лазерной абляции LA-ICP-MS), позволяющая произвести точечный отбор образцов глинистой массы. Это метод рассматривается как альтернативное направление в геохимических исследованиях. Методика заимствована из геологии, где ICP-MS анализ используется для идентификации горных пород и различных геологических объектов. В основе метода лежит принцип обнаружения редких и редкоземельных элементов (REE) в образцах. Концентрация таких элементов в веществах настолько мала, что они используются как геохимические маркеры. Для сравнительного анализа и более точных построений с каждого образца получена серия данных (по три участка и усредненное значение). Наиболее распространенным является сочетание следующих пар показателей: Ti-Li, Nb-Zr. Диаграммы построены с учетом средних показателей (Таблица 2). При сопоставлении данных в каждом случае намечается определенный интервал (Диаграмма I, Пегрема II), что необходимо учитывать при работе с совершенствованием подходов в изучении керамики при использовании геохимических исследований. Вполне вероятно, что наличие этого интервала значений может быть связано с условиями формирования пластинчатого материала. Некоторые образцы глины при анализе были растерты до состояния порошка и исследованы традиционным путем, так как они изначально не были пригодны для лазерной абляции в силу их механического размельчения. Это пробы глин из Корзы (№ 35, 36), Лахты – Кудомы (№ 37–40), Пегремы (№ 41, 42), Белого моря (№ 51). Между тем показатели этих образцов корректны и использованы их усредненные значения.

Аналитическое исследование выполнено на квадрупольном масс-спектрометре X-SERIES 2 (Termoscientific) в аккредитованном «Испытательном центре анализа вещества» в Институте геологии КарНЦ РАН. Графический анализ полученных данных приводится на



Рис. 6. Местонахождение глины в районе Пегремы.

бинарных диаграммах, построенных для элементов, имеющих контрастное поведение в природных процессах. В бинарных системах Ti-Li, Nb-Zr, а также Ti-Y, Ti- Σ REE и пр. (в ppm [1 грамм на тонну = 0,0001 %]), фигуральные точки образцов формируют области с разными концентрациями элементов в образцах с различными геохимическими характеристиками.

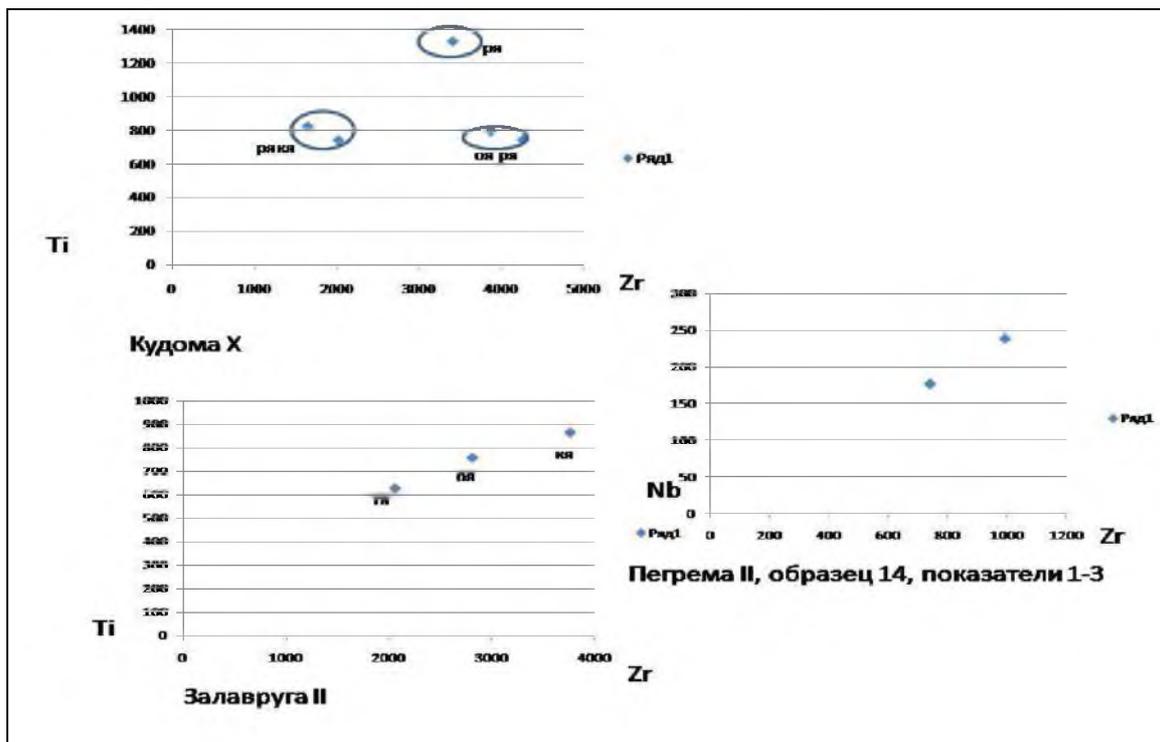


Диаграмма 1. Пример распределения образцов керамики на памятниках по типу орнаментации (Кудоме Х, Залавруга II). Показатели 1-3 образца №14 (Пегрема II).

При анализе показателей важно проработать диаграммы с разными значениями, что позволяет критически подойти к методике исследования в решении научных задач. Обратим внимание на диаграммы с показателями Ti-Li и Nb-Zr. По типу орнаментации для обозначения образцов использованы такие определения, как «круглоямочная», «овальноямочная», «гребенчато-ямочная», «ромбо-ямочная» керамика. Эта детализация необходима при учете данных и сопоставлении материала. В целом наблюдается определенная общность в расстановке показателей по этим признакам (Диаграмма 1). При рассмотрении этих же показателей в сравнении с остальным материалом выстраивается следующая картина. Намечается три группы образцов: первая – основная и самая многочисленная, вторая и третья – обособленные с несколькими значениями. В первом случае образцы № 23, 42, 54 и 55 отдалены от общего массива (Диаграмма 2). Два последних взяты из одного источника на Залавруге и показательно, что их значения довольно сильно разнятся, та же ситуация наблюдается в образцах № 41 (группа I) и № 42 (группа II) из выходов глин в местечке Пегрема. К образцу глины № 54 близок образец гребенчато-ямочной керамики поселения Залавруга I № 23, что может свидетельствовать об использовании местных источников сырья. Для второго случая (Диаграмма 3) общая картина иная: также имеется три группы, две из которых малочисленные, но включают они уже другие образцы. Образцы глины из Залавруги № 54 и 55 входят в центральную и наиболее крупную группу I, хотя они находятся на значительном удалении друг от друга. Образцы № 41 и 42 из Пегремы концентрируются в группе II и располагаются компактно, как и № 34 (Вигайнаволок I, ромбо-ямочная керамика), 35 (Корза), 37, 38 (Лакта – Кудоме), 51 (Прибеломорье). Получается, что по показателям Nb-Zr глины из южной Карелии близки образцу глины из Прибеломорья. Однако в группе III четыре образца керамики № 13 (Пегрема II), 23, 24 (Залавруга I), 29 (Вигайнаволок I) находятся на некотором удалении друг от друга, но более всего связаны с керамикой, где доминирует гребенчато-ямочная

орнаментация. Этот пример достаточно показателен и свидетельствует о наличии определенной погрешности в получаемых результатах, поэтому при дальнейшей работе необходимо выяснить, насколько она велика.

В обеих диаграммах намечается центральная группа I, включающая достаточно компактно все образцы. Можно наметить определенные связи по более близким показателям.

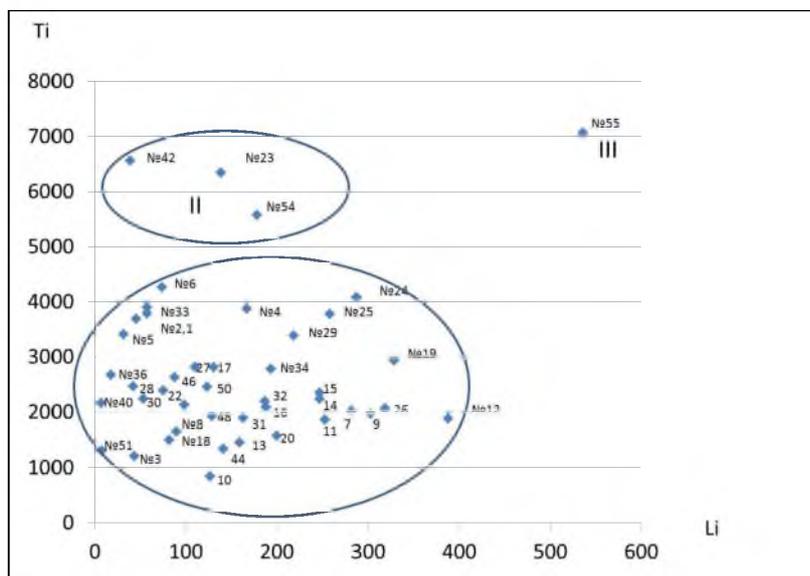


Диаграмма 2. Распределение образцов по показателям Ti-Li (ppm).

показательных примеров, когда образцы ромбо-ямочной керамики (№ 3, 8) соотносятся с источником глинистого сырья (№ 40).

4. № 17 (Деревянное I), 22 (Залавруга I), 27 (Залавруга II), 28, 30 (Вигайнаволоок I), 40 (Лахта – Кудома), 46 (глина, Рыбрека) – образцы с гребенчато-ямочной орнаментацией близки глинам из источников, расположенных на юго-западном побережье Онежского озера и северном берегу оз. Сямозера.

5. № 8, 18, 21, 28, 50 сближают керамику из Деревянного I, Кудомы X с глинами из Пудожа и Рыбреки.

6. № 10, 13, 20, 44 связывают керамику из Пегремы I–II, Деревянного I и глины из Корзы.

7. Прослеживается определенная близость в показаниях ромбо-ямочной керамики из Вигайнаволока I и Деревянного I (№ 16, 32, 34), а также из Деревянного I, Пегремы I, Кудомы X, Залавруги II (№ 7, 9, 11, 14, 15, 26).

8. Образец гребенчато-ямочной керамики из Пегремы II (№ 12) близок некоторым образцам ромбо-ямочной керамики № 9 (Пегрема I) и № 26 (Залавруга II).

Диаграмма 3:

1. Наблюдается близкое сходство образцов глины из Лахты – Кудомы (№ 37, 38), Корзы (№ 35), Пегремы (№ 41, 42), Прибеломорья (№ 51) с ромбо-ямочной керамикой Вигайнаволока I (№ 34), также как глин из Рыбреки (№ 46, 48) и из Корзы (№ 44) с ромбо-ямочной керамикой Пегремы I (№ 10).

2. Образцы глины Прибеломорья имеют сходные показатели (№ 52, 53), подобная ситуация характерна для Деревянного I с гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамикой (№ 16, 18, 21).

Диаграмма 2:

1. № 5, 6 (Кудома X), 21 (Деревянное I), 33 (Вигайнаволоок I), за исключением последнего, все образцы с гребенчато-ямочной орнаментацией из памятников южной Карелии;

2. № 4 (Кудома X), 19 (Деревянное I), 24 (Залавруга I), 25 (Залавруга II), 29, 34 (Вигайнаволоок I) – керамика как с гребенчато-ямочной (№ 24, 29), так и с ромбо-ямочной (№ 19, 25, 34) орнаментацией из памятников северной и южной Карелии;

3. № 3 (Кудома XI), 8 (Кудома X), 18 (Деревянное I), 40 (Лахта – Кудома) – один из

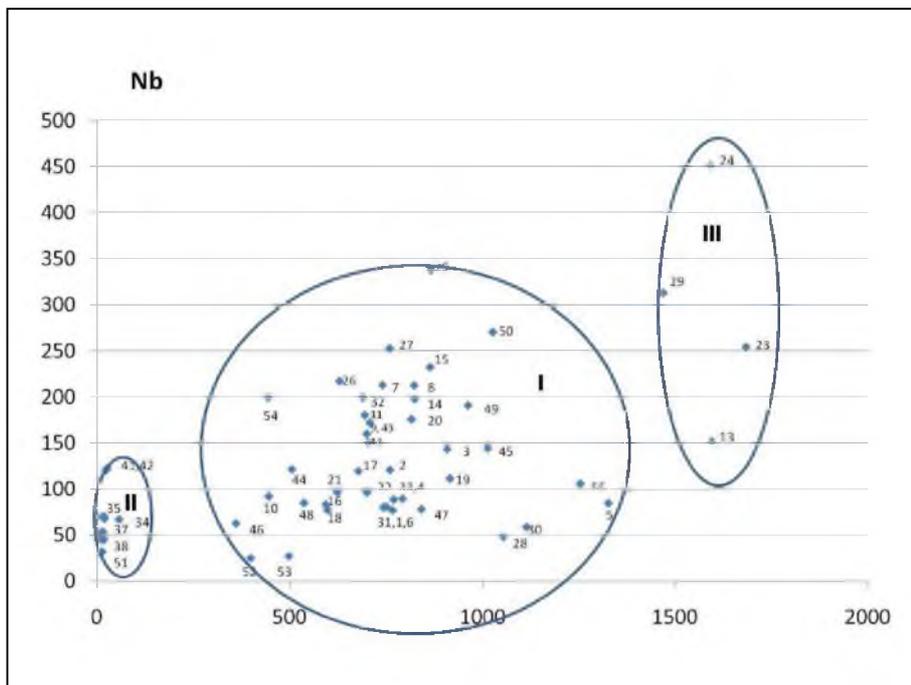


Диаграмма 3. Распределение образцов по показателям Nb-Zr (ppm).

женному сходству показателей в образцах ромбо-ямочной керамики из Вигайнаволока I, Пегремы I и гребенчато-ямочной из Пегремы II с глиной из Корзы (№ 9, 11, 12, 32, 43).

5. Имеются неожиданные сочетания ромбо-ямочной керамики из Кудомы X и Залавруги II (№ 7, 26), а также вполне ожидаемые из Кудомы X, Пегремы II и гребенчато-ямочной из Деревянного I.

Такая ситуация может говорить о близких составах исходного сырья для изготовления керамики и пластинчатого материала на территории Карелии в целом. В последующем, при проведении подобных исследований, необходимо включить образцы керамики и глины из других регионов, чтобы определить возможный импорт, но на данном этапе ставилась задача сравнить показатели керамики с известными выходами пластинчатого материала, что и было достигнуто в процессе работы.

При анализе данных составлена Таблица 3, где цветом выделены источники глины и близкие к ним образцы керамики. Подобная ситуация наводит на мысль о сложных процессах на исследуемой территории, интерпретация которых требует дополнительной аргументации. Заметно определенное единство в показателях гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики, что подтверждает мнение о сохранении преемственности в выборе исходного сырья на памятниках и территории в целом, что также может свидетельствовать о связях и контактах населения в исследуемых районах. Этот вывод согласуется с исследованиями автора и позволяет более осмысленно подойти к постановке вопроса о дальнейших изысканиях. Стоит признать, что, несмотря на новые подходы и достижения в естественнонаучных дисциплинах, имеется некая доля вероятности и погрешностей, которые могут привести к ошибочным выводам. Во избежание возможных заблуждений необходимо ставить четкие исследовательские задачи и критически подходить к получаемым данным. Но, отметим, важным результатом исследования является составление документированной базы данных образцов керамики по редкоземельным элементам из эталонных памятников позднего неолита – раннего энеолита на территории южной и северной Карелии. Несомненно, что варибельность показателей и их взаимосочетаемость не случайны и могут свидетельствовать о длительных и устойчивых контактах населения на территории Карелии в течение IV – начале III тыс. до н. э., что фиксируется на многочисленном керамическом материале со схожими морфотипологическими признаками. Полученные результаты согласуются с основным выводом о

3. Выявляются небольшие подгруппы: например, Кудома X – Деревянное I (№ 2, 17 – гребенчато-ямочная и ромбо-ямочная керамика); Кудома X (ромбо-ямочная); Залавруга I (гребенчато-ямочная); Вигайнаволок I (ромбо-ямочная) (№ 4, 22, 33); ромбо-ямочная керамика из Кудомы X–XI, Вигайнаволока I и глина из Рыбреки (№ 1, 6, 31, 47); а также ромбо-ямочная Кудомы XI, Деревянного I и глина из Рыбреки (№ 3, 19, 45).

4. Примечательны сочетания по прибли-

единой культурной преемственности населения – носителей традиций гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики.

Литература

Иностранцев А. А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. СПб., 1882. 244 с.

Поташева И. М., Светов С. А. Геохимические исследования в археологии: ICP-MS анализ образцов круговой керамики древнекарельских городищ // Труды КарНЦ РАН. Серия «Гуманитарные исследования». Вып. 4. Петрозаводск, 2013. № 4. С. 136–142.

Поташева И. М., Чаженгина С. Ю., Светов С. А. Возможности применения микронного анализа образцов круговой керамики к изучению технологии древнего гончарства карелов в эпоху Средневековья // Ученые записки ПетрГУ. Серия «Естественные и технические науки». Петрозаводск, 2013. № 8 (137). С. 44–50.

Хорошун Т. А., Ильина В. П. Использование физико-химических методов при изучении керамики неолита–энеолита (по материалам памятника Вигайнаволоок I) // Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономика. Матер. Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2006. С. 315–318.

Хорошун Т. А. Физико-химическое исследование неолитической керамики южной Карелии // Вестник Поморского университета. № 3. Архангельск, 2008. С. 100–103.

Хорошун Т. А. К вопросу использования местных ресурсов для изготовления древней глиняной посуды (развитый неолит – энеолит) // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Гуманитарные исследования. Вып. 4. Петрозаводск, 2009. С. 98–110.

Хорошун Т. А. Памятники с ямочно-гребенчатой и ромбо-ямочной керамикой на западном побережье Онежского озера (конец V – начало III тыс. до н. э.). Автореферат на соискание ученой степени канд. ист. наук. М.: ИА РАН, 2013. 18 с.

Хорошун Т. А., Кулькова М. А. Технология изготовления и состав глиняной посуды неолита Карелии // Геология, геоэкология, эволюционная география: Коллективная монография. Том XII / Под ред. Е. М. Нестерова, В. А. Снытко. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. С. 252–259.

Хорошун Т. А. К вопросу об изготовлении глиняной посуды в позднем неолите – раннем энеолите на территории Карелии // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии. Межд. симпозиум (29–31 октября 2013 г., Москва). М.: ИА РАН, 2015. С. 278–297.

Таблица 1. Образцы древней керамики и глинистого сырья.

Номер образца	Название объекта	Район	Описание	Фото
О-1	Кудома XI	Сямозеро	Ря (кя) №221/1046	
О-2	Кудома XI	Сямозеро	Ря (кя) №221/840	
О-3	Кудома XI	Сямозеро	Ря №154/351	
О-4	Кудома X	Сямозеро	Ря (оя) №220/1359	

Номер образца	Название объекта	Район	Описание	Фото
О-5	Кудома Х	Сямозеро	Ря №220/265	
О-6	Кудома Х	Сямозеро	Ря (гя) №153/558, 588	
О-7	Кудома Х	Сямозеро	Ря №153/805	
О-8	Кудома Х	Сямозеро	Ря (кя) №220/156	
О-9	Пегрема I	Онежское озеро	Ря №721/3	
О-10	Пегрема I	Онежское озеро	Ря №721/1373	
О-11	Пегрема I	Онежское озеро	Ря (оя) №721/348	
О-12	Пегрема II	Онежское озеро	Гя №663/13	
О-13	Пегрема II	Онежское озеро	Гя (кя) №663/14	
О-14	Пегрема II	Онежское озеро	Гя (кя) №663/3	
О-15	Деревянное I	Онежское озеро	Ря (оя) №3336/2	
О-16	Деревянное I	Онежское озеро	Ря №1681/332	
О-17	Деревянное I	Онежское озеро	Ря (оя) №1681/803	

Номер образца	Название объекта	Район	Описание	Фото
О-18	Деревянное I	Онежское озеро	Ря 1681/301	
О-19	Деревянное I	Онежское озеро	Ря (оя) Без№	
О-20	Деревянное I	Онежское озеро	Гя №1681/349	
О-21	Деревянное I	Онежское озеро	Гя №1681/351	
О-22	Залавруга I	Белое море	Гя (кя) №378/258	
О-23	Залавруга I	Белое море	Гя №378/447	
О-24	Залавруга I	Белое море	Гя №378/548	
О-25	Залавруга II	Белое море	Ря №282/10	
О-26	Залавруга II	Белое море	Ря (оя) №738/315	
О-27	Залавруга II	Белое море	Ря (кя) №379/79	
О-28	Вигайнаволок I	Онежское озеро	Гя (оя) №330/10323	
О-29	Вигайнаволок I	Онежское озеро	Ря (гя) №330/7317	
О-30	Вигайнаволок I	Онежское озеро	Гя №368/315	

Номер образца	Название объекта	Район	Описание	Фото
О-31	Вигайнаволок I	Онежское озеро	Ря (оя) №368/1446	
О-32	Вигайнаволок I	Онежское озеро	Ря (кя) №368/1181	
О-33	Вигайнаволок I	Онежское озеро	Ря №368/4250	
О-34	Вигайнаволок I	Онежское озеро	Ря 368/3477	
О-35	Глина 1	Корза, Сямозеро	Глина светлая, глубина 1 м	
О-36	Глина 2	Корза, Сямозеро	Глина темная, глубина 1 м	
О-37	Глина 3	Лахта-Кудома Сямозеро	Глина запесоченая Глубина 0,65 м	
О-38	Глина 4	Лахта-Кудома Сямозеро	Глубина 0,85 м	
О-39	Глина 5	Лахта-Кудома Сямозеро	Глубина 1 м	
О-40	Глина 6	Лахта-Кудома Сямозеро	Глубина 1,4 м	
О-41	Глина 7	Пегрема, Онеж- ское озеро	Обнажения, глубина 0,2 м	
О-42	Глина 8	Пегрема, Онеж- ское озеро	Обнажения, глубина 0,3 м	
О-43	Глина 9	Корза, Сямозеро	Необожженная, глубина 0,7 м	

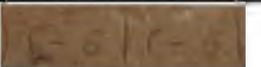
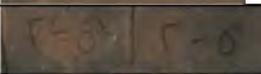
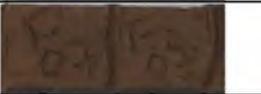
Номер образца	Название объекта	Район	Описание	Фото
О-44	Глина 10	Корза, Сямозеро	Обожженная, глубина 0,7 м	
О-45	Глина 11	Рыбрека, Онежское озеро	Необожженная, глубина 1 м	
О-46	Глина 12	Рыбрека, Онежское озеро	Обожженная, глубина 1 м	
О-47	Глина 13	Рыбрека, Онежское озеро	Необожженная, глубина 0,8 м	
О-48	Глина 14	Рыбрека, Онежское озеро	Обожженная, глубина 0,8 м	
О-49	Глина 15	Пудож, Онежское озеро	Необожженная, глубина 0,7 м	
О-50	Глина 16	Пудож, Онежское озеро	Обожженная, Глубина 0,7 м	
О-51	Глина 17	Белое море	1, глубина 0,5 м	
О-52	Глина 18	Белое море	2, глубина 0,7 м	
О-53	Глина 19	Белое море	3, глубина 0,7 м	
О-54	Глина 20	Залавруга, Белое море	4, глубина 0,8 м	
О-55	Глина 21	Залавруга, Белое море	5, глубина 0,8 м	

Таблица 2. Данные по геохимическим исследованиям образцов

№ образца	Памятник	Показатели (ppm)			
		Li	Ti	Zr	Nb
1	Керамика Кудома XI	45,46	3691	766,8	76,89
2	Керамика Кудома XI	57,38	3785	760,1	120,7
3	Керамика Кудома XI	43,6	1209	908,4	143,3
4	Керамика Кудома X	167,2	3869	792,6	89,15
5	Керамика Кудома X	31,31	3408	1327	84,43
6	Керамика Кудома X	73,75	4261	742,8	80,04
7	Керамика Кудома X	282,2	2022	740,9	213
8	Керамика Кудома X	89,3	1647	822,8	212,6

№ образца	Памятник	Показатели (ppm)			
		Li	Ti	Zr	Nb
10	Керамика Пегрема I	126,9	839,4	445,5	91,74
11	Керамика Пегрема I	252,8	1863	694,8	180,2
12	Керамика Пегрема II	387,6	1881	703,8	150,4
13	Керамика Пегрема II	159,3	1456	1595	151,6
14	Керамика Пегрема II	247,2	2239	824,3	197,8
15	Керамика Деревянное I	246,8	2348	864,5	232,3
16	Керамика Деревянное I	188,3	2080	594	82,95
17	Керамика Деревянное I	130,5	2815	678,1	119,3
18	Керамика Деревянное I	81,93	1505	598,2	77,1
19	Керамика Деревянное I	327,9	2928	916	111,3
20	Керамика Деревянное I	199,8	1576	815,9	175,8
21	Керамика Деревянное I	98,12	2127	623	96,15
22	Керамика Залавруга I	75,18	2392	700,6	96,1
23	Керамика Залавруга I	138,8	6346	1684	254,3
25	Керамика Залавруга II	258,4	3770	866,4	338
26	Керамика Залавруга II	318,3	2061	629,3	217,2
27	Керамика Залавруга II	110,3	2815	759,3	252,7
28	Керамика Вигайнаволок I	41,96	2466	1054	47,97
29	Керамика Вигайнаволок I	218,4	3380	1469	313,2
30	Керамика Вигайнаволок I	53,06	2232	1114	58,59
31	Керамика Вигайнаволок I	162,8	1885	751	80,53
32	Керамика Вигайнаволок I	186,6	2192	689,7	199,5
33	Керамика Вигайнаволок I	57,02	3890	769,9	88,37
34	Керамика Вигайнаволок I	193,4	2780	569,7	66,66

№ образца	Памятник	Показатели (ppm)			
		Li	Ti	Zr	Nb
36	Глина Корза	17,22	2665	17,18	70,36
37	Глина Лахта – Кудома	8,03	1514	14,76	53,40
38	Глина Лахта – Кудома	6,98	2051	16,36	45,01
39	Глина Лахта – Кудома	8,20	2134	15,90	44,30
40	Глина Лахта – Кудома	6,64	2165	16,00	44,46
41	Глина Пегрема	37,71	8681	22,66	120,20
42	Глина Пегрема	38,43	6555	25,54	122,30
43	Глина Корза	229,4	1639	700	159,8
44	Глина Корза	141,2	1336	505,2	121,3
45	Глина Рыбрека	180,3	1361	1014	144,1
46	Глина Рыбрека	87,85	2632	360,4	62,56
47	Глина Рыбрека	131,9	2075	841,7	77,93
49	Глина Пудож	132	3557	962,7	190,8
50	Глина Пудож	123	2450	1027	270,5
51	Глина Белое море	7,31	1311	13,20	31,64
52	Глина Белое море	75,62	1367	398,4	24,7
53	Глина Белое море	72,47	1598	497,8	26,88
54	Глина Залавруга	178,1	5575	443,7	199,4
55	Глина Залавруга	535,6	7062	1254	105,6

Таблица 3. Образцы керамики и источники сырья по типам керамики

Гребенчато-ямочная керамика								
памятники								
Глина - место-положения	Кудома XI	Кудома X	Пегрема I	Пегрема II	Деревянное I	Вигайнаво лок I	Залавруга I	Залавруга II
Корза								
Лахта – Кудома								
Пегрема								
Рыбрека								
Пудож								
Белое море								
Залавруга								
Ромбо-ямочная керамика								
памятники								
	Кудома XI	Кудома X	Пегрема I	Пегрема II	Деревянное I	Вигайнаво лок I	Залавруга I	Залавруга II
Корза								
Лахта – Кудома								
Пегрема								
Рыбрека								
Пудож								
Белое море								
Залавруга								

**ВАЛДАЙСКИЕ КАРЕЛЫ В XXI ВЕКЕ:
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПОСТЭТНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА**

Валдайские карелы, некогда проживавшие на территории Валдайского уезда Новгородской губернии, принадлежат к числу этнографических групп карел, формирование которых происходило за пределами их исторической родины. Так же как тихвинские и тверские карелы, они являются потомками переселенцев, прибывших в Россию из-за шведского рубежа в XVII столетии. Однако, судя по сохранившимся источникам, процесс формирования этнографической группы карел на Валдае отличался от аналогичных процессов, протекавших в других регионах с пришлым карельским населением. Во-первых, переселение «зарубежных выходцев» на Валдай началось сравнительно поздно (в конце 1620-х гг.), а завершилось относительно рано (в 1660-е гг.). Во-вторых, в этом переселенческом движении принимали участие почти исключительно бывшие жители северных погостов Корельского уезда и северо-восточного Приладожья. Уроженцы Карельского перешейка и северо-западного Приладожья за редкими исключениями не селились в пределах Валдайской округи [Бландов 2014-1: 20–30].

В общих чертах территория расселения карел в окрестностях Валдая сложилась к началу XVIII в. Но в то же самое время стали проявляться и первые признаки обрусения возникшей этнографической группы. Отхожие промыслы, развитие транспортной инфраструктуры региона, посещение карелами церковных служб на русском языке, обучение в русскоязычных школах, смешанные браки да и в целом проживание среди русского населения лишь способствовали начавшемуся процессу ассимиляции.

В результате в 1900-е и 1910-е гг. в большинстве карельских деревень Валдайской округи по-карельски могли говорить лишь люди пожилого возраста [Садко 1909: 4; Virtaranta 1960: 33–34; Соколов 1914: 118; Свод материалов... 1931: 55–56], а через 50 лет во всем Валдайском районе оставалось не более нескольких десятков носителей карельского языка [Palmeos 1962: 4]. С последними из них в 1983 и 1990 гг. успела пообщаться А. В. Пунжина [Слушаю карельский говор... 2001: 6]. Окончательную языковую ассимиляцию проживавших вблизи Валдая карел засвидетельствовал в середине 1990-х гг. С. А. Мызников [Мызников 2010: 167].

На протяжении XIX и XX вв. валдайские карелы интересовали ученых, в первую очередь, с лингвистической точки зрения, а история и традиционная культура этой этнографической группы оставались практически неизученными. Сбор материала по данным темам был начат нами в 2010 г. и проводился в рамках нескольких всероссийских комплексных экспедиций «Живая вода» и в ходе многочисленных самостоятельных выездов в Валдайский, Окуловский, Демянский, Крестецкий и Боровичский районы Новгородской области, а также в соседний Бологовский район Тверской области.

Необходимо сразу сказать, что все наши попытки найти носителей карельского языка в данном регионе не увенчались успехом. За время исследований мы встретили лишь нескольких людей, которые в детстве понимали этот язык, но и они сегодня им не владеют. В лучшем случае в памяти местных жителей сохраняются отдельные карельские слова и выражения. Кроме того, все опрошенные нами люди с уверенностью назвали себя русскими, даже несмотря на тот факт, что среди их ближайших родственников могли быть «чистокровные карелы», использовавшие в общении карельский язык. Приведем в качестве примеров несколько типичных рассказов, которые можно услышать от уроженцев карельских деревень Новгородской области: «У меня бабка карелка была, она со Стекнова была, моего отца мать, взята в Сухое. Дак оны и разговаривали немного как, не так, как русские говорят. Ну теперь-

то эти кореляки все выжили тоже» (Окуловский район, п. Первомайский, 2014 г.). «Мои батька и матка кореляки были, оны по-карельски говорили. Так-то самы русские, а по-карельски говорили» (Валдайский район, д. Большое Уклеино, 2014 г.). «У меня бабушка карелкой была, не мама, а бабушка, но и мама умела говорить, вот, и мама умела говорить» (Валдайский район, д. Новотроицы, 2014 г.).

Как видно из этих текстов, память о карелах сохраняется в регионе до сих пор. Но, что примечательно, многие наши информанты уже не воспринимают «кореляков» как отдельную этническую группу, полагая, что это не более чем прозвище, данное жителям того или иного населенного пункта. Весьма показательны в этом отношении слова уроженки д. Поддубье Валдайского района: «Это не кореляки, это карелы... дак это русские, просто название какое-то... И у нас, вот, середейские назывались кореляки» (Валдайский район, с. Яжелбицы, 2015 г.).

Очевидно, лексемы «корела» и «кореляки» в русских говорах Новгородской области постепенно теряют свою семантику. Поэтому не вызывает никакого удивления тот факт, что некоторым из опрошенных нами местных жителей вообще ничего не известно о карельском прошлом региона, а слово «карел» не вызывает у них никаких ассоциаций или воспоминаний. Например, информанты 1950-х гг. рождения из д. Сухая Ветошь (Валдайский район), где носители карельского языка проживали по крайней мере до первой половины прошлого века, общими усилиями вспомнили, что их деревня некогда называлась Корельские Новики, но объяснить значение этого названия не смогли.

С другой ситуацией мы столкнулись в дд. Наволок, Лучки и Гагрино (Валдайский район), жители которых без труда указали на соседние карельские поселения, но свои деревни назвали несомненно русскими. По всей видимости, это связано с тем, что процесс обрусения карел происходил в регионе неравномерно. Раньше всего родной язык был утрачен в деревнях, располагавшихся наиболее близко к Валдаю. Несколько дольше он использовался в отдаленных и труднодоступных поселениях (например, в д. Марково Валдайского района и д. Климово Демянского района). Однако в большинстве населенных пунктов карельский язык служил средством общения лишь вплоть до середины XX в. [Бландов 2014-3: 78–83]. При этом в последний раз он оказался востребованным во время Великой Отечественной войны, когда стал использоваться для коммуникации с прибывшими в окрестности Валдая ингерманландскими финнами. В качестве иллюстрации приведем рассказ, записанный в д. Пестово Валдайского района: «В 42-м году, наверное, сюда навезли к нам карелофин[нов]. Мы тогда сами с эвакуации приехали... Зимой навезли их, помню, холод такой был. И вот они говорят на своем языке, проклинают советскую власть, кого-то еще всё проклинали. А моя бабушка и еще одна бабушка, они стояли где-то рядом и на их языке им отвечали. Они видят, дело какое, и они давай извиняться перед нашими бабушками. Они думали, что те не понимают ничего» [Тарасова 2008: 80].

В отличие от разговорного карельского языка, до наших дней в юго-восточных районах Новгородской области сохранилась (хоть и в сильно редуцированном виде) карельская топонимия. Примечательно, что многие местные жители догадываются об иноязычном происхождении некоторых известных им географических наименований, а иногда даже знают их перевод: «Мы с Софронихи были, — рассказывает жительница Валдайского района, — мои родители, я с Софронихи... Но бывше деревня карельская тоже... но уже родители не говорили по-карельски... Я почему говорю, потому что там эти названия все карельские... Например, вот, название Кешкилуги... ‘средние луга’ это называется — Кешкилуги. Лехмикоппи — это ‘коровье копыто’... Это названия, вот, в Софронихе такие названия» (Валдайский район, д. Полосы, 2012 г.).

Справедливости ради, отметим, что общее количество карельских топонимов, зафиксированных в ходе исследований, невелико — чуть более 100 (еще несколько десятков топонимов в 1990-е гг. записал С. А. Мызников [Мызников 2010: 170]). Но, несмотря на ограниченную источниковую базу, можно сказать, что в целом топонимия валдайских карел схожа с топонимией других обособленных групп карельского населения [Рягоев 1977: 210–211, 223–230; Кузьмин 2008: 192–200; Фишман 2011: 15–21; Кузьмин 2015: 69–82]. Во-первых,

все более или менее крупные географические объекты, а также все населенные пункты в изучаемом регионе имеют русские наименования (карельские аналоги названий некоторых деревень, которые в 1910 г. записал Ю. Куйола [Virtaranta 1960: 33], нынешним жителям неизвестны). Во-вторых, русские истоки имеет и основная масса географических терминов, употреблявшихся карелами, проживавшими в окрестностях Валдая. Так, в двусоставных топонимах в качестве детерминантов наиболее часто выступают русские по происхождению термины: *гора/горка, луга/луги, ручья/ручей, лужа*. В третьих, типичными для карельской топонимии являются и собственно карельские детерминанты: *lambi/lamba/lambuška, hawda, aho, randa* и *šilda*. Но кроме того, в топонимии валдайских карел нами неоднократно отмечались термины *vara, šelgä* и *šalmi* — обычные для большинства карелоязычных территорий, но практически не встречающиеся у тверских и тихвинских карел. Возможно, сохранность названных терминов на Валдае объясняется тем, что природные ландшафты Валдайской возвышенности были более близки исторической родине карел, чем Тверская область или Тихвинский край. С другой стороны, в ходе исследований нами не были отмечены топонимы с детерминантами *šuo, peldo, nurmi, oja, järvi, šuari, lahti, jogi, niemi*, которые очень продуктивны у других этнографических групп карел. Вероятно, часть из них до сих пор не выявлена, но очевидно и то, что некоторые из этих географических терминов были полностью вытеснены русскими синонимами.

На сегодняшний день лишь небольшое количество карельских названий активно используется деревенскими жителями. Столь же немногочисленны и карельские слова, вошедшие в местные русские говоры. Всего в лексике юго-восточной Новгородчины известно не более нескольких десятков лексем прибалтийско-финского происхождения. Большая их часть отмечена в Новгородском областном словаре [Новгородский областной словарь 2010] и подробно проанализирована в работах С. А. Мызникова [Мызников 1996: 80–87; Мызников 2004: 257–264; Мызников 2007; Мызников 2010: 171–172]. Среди ранее не отмечавшихся на этой территории лексем назовем следующие: *бру да/бру душка* ‘пруд’ (от кар. *bruwdu* ‘пруд’), *шалакуча* ‘рыба, наподобие плотвы’ (от кар. *šalakko* ‘мелкая рыбешка’), *пеже льня* ‘место, где полоскали белье’ (от кар. *pežöš* ‘стирка’), *маюшка* ‘домик, в котором дети играли в куклы’ (от кар. *taja* ‘детский домик’). Все они имеют спорадическую фиксацию.

Еще одним реликтом карельского языка, сохранившимся в окрестностях Валдая, является антропонимика – коллективные и личные прозвища деревенских жителей. Утратившие свою семантику, они тем не менее в некоторых случаях до сих пор употребляются в исследуемом регионе. В качестве примера приведем лексему *Горма* служащую прозвищем жителей Демянского района, а по сведениям А. С. Мызникова, и некоторых деревень Валдайской округи [Мызников 2010: 168–169]. По всей видимости, этимология этого прозвища связана с карельским словом *horma*, используемым тверскими и тихвинскими карелами для обозначения русских, русского языка. Вероятно, тот же корень лежит в основе фамилии *Гормин*, известной в Валдайском уезде с XIX в. [НИА СПбИИ РАН, ф. 181, оп. 3, д. 175, л. 76].

Повторим, что большая часть местных жителей не застала здесь активного бытования карельского языка и других элементов карельской культуры. Поэтому, отвечая на наши вопросы, многие информанты заявляли, что карелы ничем не отличались от русских — они отмечали те же праздники, что и жители русских деревень, ходили в те же церкви, носили такую же одежду, выращивали те же сельскохозяйственные культуры, исполняли те же песни. Пожалуй, единственным исключением является приписывание карелам традиции приготовления некоторых блюд, малоизвестных за пределами карельского ареала. Среди них называют *сульчины, кукки, сканцы*. Все прочие элементы традиционной карельской культуры, по всей видимости, действительно, исчезли здесь сравнительно рано. Полное отсутствие карельского фольклора, например, отмечали даже исследователи начала XX в. [Садко 1909: 4].

И все же в ходе изучения этнографии данного региона нами были выявлены определенные локальные различия в материальной и духовной культуре местного населения (например, в обрядности Егорьева дня, способах обмолота зерновых культур, интерьере жилых домов, изготовлении долбленых лодок и т. д.), и было бы соблазнительно связать эти

наблюдения с этнической спецификой юго-востока Новгородской области. Однако, как показали наши исследования, причины таких различий, скорее всего, иные. Так, расположение стола не в переднем углу, а посреди избы (что традиционно считается своеобразным карельским маркером) было характерно и для карельских, и для некоторых русских деревень Валдайской округи. Конечно, данный феномен можно трактовать как следствие длительного совместного проживания русских и карел на одной территории, но нельзя исключать и то, что такое расположение стола является реликтом докарельских времен и поэтому в качестве этнического признака рассматриваться не может [Слудняков 2006: 86–100].

Основываясь на материалах, полученных в ходе нашей работы, можно лишь заключить, что карелам, в отличие от русских, были свойственны более архаичные методы строительства и ведения хозяйства. Кроме того, некоторые этноспецифичные черты удалось выявить в календарной обрядности. Так, в нескольких деревнях Валдайского района сохраняется память о карельском празднике «кегрын пайве» (от кар. *kegrin päiva* ‘день кегри’), отдельные элементы которого бытовали здесь вплоть до 1920–1930-х гг. Еще одним проявлением карельской культуры, по-видимому, являются деревья-карсикко, впервые обнаруженные в Новгородской области А. П. Конккой [Конкка 2013: 156]. Впрочем, несмотря на то, что деревья с обрубленными нижними ветвями до сих пор можно встретить на некоторых кладбищах Валдайского района, никаких устных рассказов, связанных с этими объектами, нам записать не удалось.

Без всякого сомнения, обрусение валдайских карел было необратимым уже в начале XX в., и, нужно полагать, если бы не стремительное опустение деревень, произошедшее в послевоенный период, то со временем на юго-востоке Новгородчины сложилась бы ситуация, схожая с той, которая наблюдалась в XIX–XX вв. среди медыньских карел в Калужской области, когда о карельском прошлом региона напоминали лишь коллективные прозвища жителей некоторых населенных пунктов и отдельные элементы материальной культуры (например, традиционные блюда) [Маслова 1947: 53–58]. Однако практически полное запустение многих некогда карельских поселений Новгородской области, а также отсутствие интереса к карельской тематике со стороны местных краеведов ставит под сомнение возможность сохранения какой-либо памяти о карелах в окрестностях Валдая. Уже сейчас, рассказывая о своих предках, многие старожилы опускают сюжеты, связанные с карелами, как малозначительные и неинтересные (вероятно, именно поэтому некоторым ученым не удалось обнаружить в Валдайском районе вообще никаких воспоминаний об иноэтничном прошлом [например: Островский 2008: 115]). Хотя, хочется верить, что публикации, появившиеся в районных газетах в 2014 г. [например: Бландов 2014-2: 15], все же несколько изменили положение дел в лучшую сторону.

Подводя итог, необходимо признать, что исследования, проведенные в постэтническом сообществе, позволили получить довольно ограниченный объем информации по интересующим нас темам. Но все же, как нам представляется, продолжение полевых изысканий в регионе необходимо. С одной стороны, это последний шанс собрать фрагментарные свидетельства о традиционной культуре ныне исчезнувшей этнографической группы. С другой стороны, это возможность детально и, что называется, на «свежем» материале изучить феномен постэтничности.

Литература и источники

- Бландов А. А. Валдайские карелы в XVII–начале XVIII веков // Финно-угроведение. 2014. № 2. С. 20–30.
- Бландов А. А. Где затерялись наши корни? Валдайские карелы // Валдай. 2014. № 52. С. 15.
- Бландов А. А. «Нас все корелякам звали, а мы карельского языка не знаем...»: субэтническая группа валдайских карел в XX и начале XXI в. // Финно-угорский мир. 2014. № 4 (21). С. 78–83.

Конкка А. Карсикко: деревья-знаки в обрядах и верованиях прибалтийско-финских народов. Петрозаводск, 2013.

Кузьмин Д. В. Географические термины русского происхождения в топонимии и диалектной лексике карельского ареала Тверской области // Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18). С. 69–82.

Кузьмин Д. В. Топонимия тихвинской карелы: интерпретация экспедиционных материалов // Вопросы ономастики. 2008. № 5. С. 192–200.

Маслова Г. С. Медыньские «карелы» (отчет о рекогносцировочной поездке) // Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. Краткие сообщения. 1947. № 2. С. 53–58.

Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб., 2007.

Мызников С. А. Глаголы прибалтийско-финского происхождения в новгородских говорах // Этимологические исследования: Материалы I–II научных совещаний по русской диалектной этимологии. Екатеринбург, 10–12 октября 1991 г., 17–19 апреля 1996 г. Вып. 6. Екатеринбург, 1996. С. 80–87.

Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: этимологический и лингвогеографический анализ. СПб., 2004.

Мызников С. А. О некоторых особенностях карельского воздействия на русские говоры Новгородской области // *Humaniora: Lingua Russica*. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика XIII. Развитие и вариативность языка в современном мире. I. Тарту, 2010. С. 165–173.

Новгородский областной словарь / Подгот. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. СПб., 2010.

Островский А. Б. Поведенческие стратегии межконфессионального взаимодействия в Новгородской области. 1930–1970 гг. // Этнографическая карта Ленинградской области и сопредельных территорий. Вторые Шёгреновские чтения: Сб. ст. СПб., 2008. С. 109–118.

Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977.

Садко. Корела в Валдайском уезде // Новгородская жизнь. 1909. № 17. С. 4–5.

Свод материалов, собранных Комиссией по диалектологии русского языка. Сер. 2-я: Ответы на программу Комиссии // Труды Комиссии по диалектологии русского языка (б. Московской диалектологической комиссии). Вып. 12. Л., 1931. С. 1–198.

Слудняков А. О. Стол и красный угол в интерьере крестьянской избы Северо-Запада России и Верхнего Поволжья // Этнографическое обозрение. 2006. № 5. С. 86–100.

Слушаю карельский говор: Образцы речи дёржанских и валдайских карел / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 2001.

Соколов Н. Н. Диалектологический материал по Новгородской губернии, собранный Новгородским обществом любителей древности // Труды Московской диалектологической комиссии. Вып. 3. Варшава, 1914. С. 112–133.

Тарасова Е. С. Научный отчет по полевой этнологической практике (Валдайский район, Новгородская область, 3–20 июля 2007 год). Великий Новгород, 2008. (Архив Учебно-научной лаборатории этнологии и истории культуры НОЦ ИГУМ Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого).

Фишман О. М. Факторы формирования природно-хозяйственного пространства микролокальной группы (тихвинские карелы) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 15–21.

Virtaranta P. Juho Kujola karjalan ja lyydin tutkija. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. 266.). Helsinki, 1960.

Palmeos P. Karjala valdai murrak. Tallinn, 1962.

**ПРОМЫШЛЕННОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В КАРЕЛИЮ И ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА РЕСПУБЛИКИ
(КОНЕЦ 1940-х–1950-е гг.)**

В первые послевоенные десятилетия в Карелии проходили активные миграционные процессы, которые привели к существенному изменению национального состава республики. Если во второй половине 1940-х гг. рост населения шел в основном за счет демобилизации и реэвакуации, то с конца 1940-х гг. ведущую роль в пополнении населения Карелии стала играть межреспубликанская миграция. Основной поток мигрантов шел из центральных областей Российской Федерации, Белоруссии, Украины, республик Поволжья и Прибалтики. В Карело-Финскую ССР в массовом порядке прибывало население из других областей и республик СССР, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы.

Великая Отечественная война нанесла большой урон населению республики. К январю 1946 г. оно составляло 274 тыс. человек, в то время как перед началом Великой Отечественной войны – 606,3 тыс. человек [История Карелии 2001: 686]. Особенно острой проблема кадров была в приладожских районах – Сортавальском, Суоярвском, Питкярантском и Куркиекском, отошедших от Финляндии к СССР по мирному договору от 12 марта 1940 г., так как финские власти эвакуировали жителей, а начавшееся переселение из других краев, областей и республик страны было прервано войной.

В июле 1946 г. Верховный Совет Карело-Финской ССР утвердил первый послевоенный пятилетний план на 1946–1950 гг., который предусматривал увеличение объема вывозки древесины в республике в 1950 г. в 1,8 раза по сравнению с 1940 г. Столь масштабные задачи потребовали неотложного решения кадровой проблемы отрасли, которая в начале 1946 г. насчитывала лишь 4,3 тыс. постоянных рабочих, то есть в три раза меньше, чем в 1940 г. [Закон 1946: 10; Клементьев, Кожанов 1988: 129]. Не менее остро стояли вопросы кадров в сельском хозяйстве республики. К началу 1945 г. численность колхозного населения сократилась более чем в два раза по сравнению с 1940 г., при этом число женщин превышало число мужчин более чем в 5 раз [НА РК, ф. Р-1394, оп. 7, д. 347, л. 1–2; КГАНИ, ф. 8, оп. 99, д. 82, л. 238].

Основным путем решения кадровой проблемы в республике с конца 1940-х гг. стало промышленное и сельскохозяйственное переселение. По постановлению Совета Министров СССР от 11 февраля 1949 г. «О мероприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок в Карело-Финской ССР» для работы на предприятиях лесной и отчасти целлюлозно-бумажной промышленности предполагалось в течение двух лет переселить на добровольных началах 25 тыс. семей колхозников и другого сельского и городского населения [Ленинское знамя 1949: 18 и 22 февраля].

12 февраля 1949 г. пленум ЦК КП(б) Карело-Финской ССР принял решение по вопросам переселения рабочих кадров в республику, которое легло в основу дальнейшей деятельности хозяйственных и партийных органов республики. Непосредственное руководство вопросами переселения было возложено на республиканскую комиссию по переселению. К этому времени в республику уже прибыло 1576 семей, насчитывавших 4337 человек [КГАНИ, ф. 8, оп. 57, д. 1, л. 133–138].

В сентябре 1949 г. Переселенческий отдел при Совете Министров КФССР был реорганизован в Переселенческое управление при Совете Министров Карело-Финской ССР [НА РК, ф. Р-3149, оп. 1, д. 5/29, л. 440]. За районами Карелии закреплялись области и республики, из которых вербовалась рабочая сила. Так, кадры из Белоруссии поступали в Пудожский и Медвежьегорский районы (3500 семей), из Украины – в Олонецкий и Куркиекский районы (3700 семей), из Татарии – в Питкярантский район (800 семей), из Чувашии – в Беломорский район (800 семей), из Мордовии и Пензенской области – в Заонежский район (2000 семей). В

остальные районы предусматривалось переселение из Тамбовской, Орловской, Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областей. В целом по плану в 1949 г. в республику переселялось 14800 семей [НА РК, ф. Р-1394, оп. 56, д. 220/1106, л. 122].

Учитывая необходимость размещения переселенцев, прибывавших в республику, пленум ЦК КП(б) обязал Министерство лесной и бумажной промышленности КФССР в 1949 г. построить 90 тыс. кв. м жилой площади и культурно-бытовой сети вместо 24 тыс. кв. м, предусмотренных планом капитального строительства. В соответствии с этим решением Министерство лесной и бумажной промышленности развернуло работы по строительству 30 новых рабочих лесных поселков. Совет Министров и ЦК КП(б) КФССР направили в 12 областей и республик 60 уполномоченных [НА РК, ф. П-8, оп. 1, д. 3762, л. 12].

С целью привлечения кадров в республику была организована широкая агитационная работа. Массовыми тиражами издавались фотоплакаты, листовки, содержавшие письма переселенцев к своим землякам, была организована запись выступлений переселенцев на радио и пленки с записями выступлений отправлены в области и республики, из которых проводилось переселение.

В первой половине 1949 г. в республику по переселению прибыло 3,2 тыс. семей, или 21,3 % от плана. Большая часть переселенцев поступила из Псковской и Вологодской областей, а также из Эстонской ССР. Прибывшие переселенцы были расселены в колхозах – 3954 семьи (14474 человека) и в лесозаготовительных предприятиях – 3490 семьи (8700 человек) [НА РК, ф. П-8, оп. 1, д. 3476, л. 36–39].

В послевоенном переселении исследователи выделяют два этапа: 1946–1953 и 1954–1958 гг. На первом этапе в послевоенной миграционной политике, помимо очевидной экономической целесообразности заселения, усиливалось значение политических мотивов. Речь шла о заселении территорий, прежде занятых другими народами. Объектами активной миграции стали районы бывшей Кенигсбергской и Саратовской областей, Карельского перешейка. За 1945, 1947–1948 гг. в районы Карельского перешейка было переселено 1057 семей колхозников из Вологодской области [Ильина 2009].

Для укрепления Карело-Финской ССР «национальными» кадрами, по инициативе первого секретаря ЦК КП(б) КФССР Г. Н. Куприянова и в соответствии с постановлением Совета Министров и ЦК КП(б) КФССР от 1 декабря 1949 г. о плане вербовки и переселения в республику в 1950 г. 8 тыс. семей финнов-ингерманландцев, в 1949 г. было предпринято их организованное переселение в Карелию. К концу года из Эстонской ССР, Красноярского края, Томской, Новосибирской, Калининской, Псковской и других областей СССР сюда переехало 7468 ингерманландских семей (21032 человека), то есть почти половина всех переселенцев, прибывших в республику на основании постановления Совета Министров СССР от 11 февраля 1949 г. «О мероприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок в Карело-Финской ССР» [Суни 1998: 80]. Однако вскоре, в связи с так называемым «ленинградским делом» и арестом первого секретаря ЦК КП(б) КФССР Г. Н. Куприянова, постановлением Совета Министров КФССР от 10 мая 1950 г. было прекращено организованное переселение финнов-ингерманландцев в Карелию, а ранее завезенные ингерманландцы переселены из пограничных районов в непограничные [НА РК, ф. Р-1394, оп. 7, д. 67/441, л. 134–136, 178]. Со спадом ингерманландской волны переселение в Карелию утратило «национальный» характер. Рабочая сила вербовалась по всей стране [Лайне 1998: 246].

Переселение в Карело-Финскую ССР проходило с большими трудностями, и планы переселения постоянно не выполнялись. Из-за бытовой неустроенности, суровых климатических условий значительная часть переселенцев возвращалась на прежнее место жительства. Украинские переселенцы в силу отличных от Украины природных и климатических особенностей Карелии не закреплялись в республике и почти полностью возвращались на прежнее место жительства. В связи с этим предпочтение при вербовке рабочих кадров было отдано Белоруссии и более северным областям РСФСР – Калининской, Костромской, Вологодской, Брянской, Ярославской.

1 декабря 1949 г. Совет Министров и ЦК КП(б) республики приняли постановление о мерах по приему, размещению и трудоустройству переселяемого в КФССР населения в 1950 г. В нем отмечалась неудовлетворительная организация этой работы в республике, в результате чего 661 семья переселенцев выехала с предприятий Министерства лесной и бумажной промышленности на прежнее место жительства [НА РК, ф. 3149, оп. 1, д. 2/14-а, л. 1]. На Койву-сельгском стройучастке треста «Лесстройтрест» 40 человек, в том числе дети, к 1 декабря 1949 г. проживали в летних палатках, здесь не было бани, столовой, пекарни. В Ламбовском лесопункте Петровского леспромхоза в палатках проживали 4 девушки и 18 семейных рабочих-переселенцев. Размещенные в деревнях Койкары и Гомсельга Петровского района, переселенцы вынуждены были ходить на работу на расстояние от 7 до 11 км [НА РК, ф. 3149, оп. 1, д. 2/14-а, л. 3]. В Сумском леспромхозе не было организовано медицинское обслуживание переселенцев, а ближайшие населенные пункты находились на расстоянии от 4 до 10 км.

В 1950 г. был сорван план строительства новых домов для переселенцев в колхозах республики: вместо 450 домов построено только 37, отремонтировано и восстановлено 1115 домов при плане – 1974. Часть переселенцев (88 семей) жили по две семьи в одной комнате. Только 52 % переселенных семей имели приусадебные участки. В 1950 г. из колхозов выбыло 432 семьи (20,5 %), в том числе за пределы республики – 240 семей [НА РК, ф. 3149, оп. 1, д. 8/51, л. 12].

Сенокосные угодья переселенцам часто выделялись на расстоянии от 50 до 100 км от леспромхоза. Так, для Кировского леспромхоза были выделены сенокосные угодья на расстоянии 200 км от леспромхоза, где не было дороги. Из-за необеспеченности сеном в октябре–ноябре 1952 г. переселенцам пришлось забить более 200 голов крупного рогатого скота [КГАНИ, ф. 8, оп. 93, д. 456, л. 11].

Для работы в колхозах часто вербовалось городское население, не знакомое со спецификой сельскохозяйственного труда. В числе 13 семей, прибывших в колхозы Питкярантского района из Винницкой области, оказалось 5 семей служащих, которые сразу выехали обратно. В Сортавальский район поступило до 35 % переселенцев, не знакомых с сельскохозяйственным производством и никогда не работавших в колхозе [НА РК, ф. 3149, оп. 1, д. 8/51, л. 5].

Все эти факторы в совокупности влияли на слабое закрепление переселенцев в республике. Так, государственным планом 1950 г. предусматривалось переселение в КФССР 11900 семей, в том числе в лесную и бумажную промышленность – 6 тыс. и в колхозы – 5900. На 1 декабря было принято 4506 семей, или 38 % к плану, в том числе для работы на предприятиях лесной и бумажной промышленности – 2198 семей, в колхозы – 2158 семей и на Беломорско-Балтийский канал – 150 семей [НА РК, ф. 3149, оп. 1, д. 8/51, л. 1–2]. За 1950 и первый квартал 1951 г. возвратились на прежнее место жительства из колхозов республики 564 семьи, из леспромхозов – 219 семей [НА РК, ф. Р-1394, оп. 7, д. 71/460, л. 194].

Несмотря на трудности в организации переселения рабочих кадров в республику, в послевоенные годы удалось существенно пополнить лесозаготовительные предприятия, колхозы и совхозы республики постоянной рабочей силой. Только в 1949–1955 гг. в лесную промышленность республики было переселено 17 тысяч 408 семей в совхозы – 1253, в колхозы – 4840 семей, всего – 23531 семья [НА РК, ф. П-3, оп. 9, д. 65, л. 15]. В 1955–1958 гг. на предприятия лесной промышленности прибыло около 10 тыс. семей переселенцев [Жербин 1971: 34]. Однако, как справедливо отмечает финляндский ученый А. Лайне, эти сведения следует рассматривать как общую характеристику ситуации, поскольку, к примеру, в них полностью отсутствуют данные о городах [Лайне 1998: 247].

В целом в послевоенные годы население республики росло быстрыми темпами. В 1950–1954 гг. оно ежегодно увеличивалось на 23–41 тыс. человек, или на 4–8 %, в то время как по стране – лишь на 1,6–1,8 %. Механический прирост населения Карелии в начале 1950-х гг. составлял 62–69 % общего прироста населения республики [Покровская 1978: 107].

К концу 1950-х гг. промышленное переселение в основном выполнило свою задачу по обеспечению республики постоянными рабочими кадрами. Постановлением Совета Министров КАССР от 1 октября 1956 г. деятельность Управления по переселению и организован-

ному набору рабочих при Совете Министров КАССР была упразднена, а прием, хозяйственное и бытовое устройство семей переселенцев и рабочих, поступивших по организованному набору, возложены на министерства и ведомства республики [НА РК, ф. 690, оп. 11, д. 2/10, л. 129–130]. В 1957 г. вновь был создан отдел переселения и оргнабора рабочих Совета Министров КАССР. В его задачи в начале 1960-х гг. входили проведение сельскохозяйственно-го переселения уже в пределах республики, подбора и направления специалистов и т. д. [НА РК, ф. Р-690, оп. 11, д. 2/10, л. 129–130; д. 131/725, л. 202–203].

Промышленное и сельскохозяйственное переселение в Карелию оказало влияние на изменение этнического состава населения республики, которое заключалось в росте численности русского и в целом славянского населения, при этом одной из самых многочисленных национальностей, населявших Карелию, стали белорусы, число которых с 1939 по 1959 г. увеличилось в 16,7 раза и составило 71,9 тыс. человек. Белорусы представляли третью по величине – после русских и карел – этническую группу, составив 11 % населения Карелии (в 1939 г. – 0,9 %) [Покровская 1978: 154].

Как численность, так и удельный вес карелов в национальном составе населения республики за период между двумя переписями (1939 и 1959 гг.) понизился с 23,2 % до 13,1 %, вепсов – с 2,0 до 1,1 %, однако за то же время число финнов возросло в 3,3 раза, а их удельный вес за счет массового переселения финнов-ингерманландцев вырос с 1,8 до 4,3 %. В результате значительного притока населения в предвоенные и послевоенные годы в Карелии увеличилась численность поляков, литовцев, чувашей и некоторых других национальностей, которых раньше здесь почти не было. Несколько сократился за эти годы удельный вес украинского населения (с 4,5 до 3,6 %), хотя в абсолютных цифрах их число увеличилось с 21,1 тыс. человек до 23,6 тыс. [Покровская 1978: 154].

В последующие годы в связи с сокращением объема лесозаготовок и замедлением темпов роста промышленного производства произошли дальнейшие изменения в национальном составе населения Карелии, обусловленные усилившимся оттоком кадров из республики.

Литература и источники

- Жербин А. С. Промышленные рабочие Карелии. 1946–1958 гг. Петрозаводск: Карелия, 1971.
- Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Карело-Финской ССР на 1946–1950 гг. Петрозаводск: Госиздат КФССР, 1946.
- Ильина О. В. Регулирование механического движения сельского населения Европейского Севера России в 1940–1950-е гг. // Электронный ресурс: http://volog.ranepa.ru/download/conf_2009/Iiina.pdf. [Дата обращения 21 апреля 2015 г.]
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001.
- Карельский государственный архив новейшей истории (КГАНИ, в настоящее время – в составе Национального архива Республики Карелия).
- Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии 1945–1960 гг. Историко-социологические очерки. Л.: Наука, 1988.
- Лайне А. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика и финны // В семье единой: Национальная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 1920–1950-е годы. Под ред. Тимо Вихавайнена и Ирины Такала. Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. С. 223–250.
- Ленинское знамя. 1949. 18 и 22 февраля.
- Национальный архив Республики Карелия (НА РК).
- Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1978.
- Суни Л. Ингерманландские финны // В семье единой: Национальная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 1920–1950-е годы. Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. С. 66–82.

Ольга Сергеевна Габукова
*Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева,
г. Петрозаводск*

**О ПРИНЦИПАХ ОБУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАРЕЛОВ-ЛЮДИКОВ
С. МИХАЙЛОВСКОЕ ОЛОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» создан в рамках системы дополнительного образования на базе фольклорного отделения МОУ ДОД «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» в 2001 году. Коллектив работает по авторской Образовательной программе, которую в 2008/2009 учебном году разработала, апробировала и внедрила руководитель коллектива – музыковед Габукова Ольга Сергеевна. Данная программа, пройдя региональный этап (г. Петрозаводск) Всероссийского конкурса на лучшую учебную программу для детских школ искусств, стала победителем конкурса (г. Москва). Экспертная комиссия ГОУ «Институт повышения квалификации работников образования» рекомендует авторскую программу для использования в учреждениях дополнительного образования детей.

Цель программы – создание условий для комплексного освоения локальной аутентичной традиции обучающимися, оживления межпоколенного механизма ее передачи, а также воссоздание в детском фольклорном коллективе этнически достоверных образцов музыкально-поэтического и хореографического творчества карелов-людииков.

Опыт работы по авторской комплексной образовательной программе позволил разработчику осознать необходимость углубления и расширения программы за счет объединения в ней на комплексной основе всех предметов образовательного цикла фольклорного отделения школы. Это позволяет в совместном педагогическом партнерстве раскрыть перед детьми и с детьми основы традиционной культуры в ее локальном проявлении как целостного синкретического явления и способствует формированию у обучающихся верных этнокультурных и мировоззренческих установок. Такое творчество-обучение позволяет раскрыть в каждом ребенке креативные личностные способности на основе его природной одаренности.

Для реализации идеи автор использовал инновационный в этнопедагогике интегративный метод, который предполагает, что различные предметы учебного плана фольклорного отделения призваны создать общее поле, на котором традиционную культуру в ее локальной версии возможно изучать как единое целое, в том числе, одновременно различные ее срезы (тексты, структуры, модели и др.).

Основу учебного образовательного плана фольклорного отделения составляют дисциплины специального цикла: «Фольклорный ансамбль», «Основы певческой традиции» (индивидуально), «Основы традиционного инструментального музицирования» (индивидуально), «Инструментальный ансамбль», «Основы традиционной народной культуры» (этнография), «Традиционная хореография», «Основы традиций ремесленного творчества». Важной составляющей программы является организация собирательской деятельности (экспедиций) для обучающихся (с 10–11-летнего возраста, 3-й класс) в с. Михайловское и иные территории проживания карелов.

Село Михайловское расположено на юге Олонецкого района Карелии на границе с Ленинградской областью. В недалёком прошлом в бассейне реки Свирь вокруг с. Михайловское располагался большой куст карельских людиковских деревень. Сегодня из 11 населенных пунктов бывшего Лояницкого уезда Олонецкой губернии жизнь течёт только в Михайловском, Ташкеницах и Палнаволоке.

Традиционная культура с. Михайловского сложилась на межэтническом сплетении традиций карелов, русских и вепсов. Язык михайловских карелов в лингвистике принято рассматривать как говор карельского людиковского языка, наиболее близкого языку оятских

вепсов. Его определяют по названию озера как лояницкий (кууярвский). И хотя михайловским карелам вепсский язык очень близок, они всё-таки идентифицируют себя как особую группу карелов. В настоящее время здесь продолжает деятельность аутентичная творческая мастерская «Pit'krandaane / Долгий бережок», руководителем-организатором которой является Татьяна Анатольевна Габукова. По мнению специалистов, певческая культура группы близка традиции оятских вепсов. Характер звучания песен – напряжённый, звук плотный. Специфика певческого тембра группы заключается и в значительном присутствии назальной окраски (носовые звуки). Репертуар аутентичной творческой группы во многом перекликается с певческим репертуаром оятских вепсов, однако, михайловские карелы традиционно исполняют значительное количество политекстовых свадебных величальных песен, общих с традицией русских деревень Посвирья.

В 1980-х годах во время работы и далее во время встреч и консультаций с фольклористами-музыковедами Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Т. А. Габукова была обучена основам методики деятельности руководителя-организатора аутентичного творческого коллектива. Благодаря ее неустанным усилиям аутентичный ансамбль с Михайловское активно работает свыше 30 лет. За эти годы на основе форм коллективного хранения традиционной культуры («фольклорной памяти») ансамбль реконструировал и внедрял в жизнь забытые в связи с утратой актуальности для жизни карелов-людиков обряды, песни, танцы, образцы традиционной народной драмы, прикладного творчества.

За период с 2005 по 2015 годы обучающиеся фольклорного отделения ДШИ (коллектив «Veslāžed») провели более 40 выездов в село. Коллектив стал признан носителями традиционной культуры с Михайловское как продолжатель традиций кууярвских карелов-людиков. Сегодня аутентичный коллектив «Pit'krandaane / Долгий бережок» и детский коллектив «Veslāžed» имеют отношения наставничества, организуют совместные мероприятия, анализируют материалы по традиционной культуре людиков и др.

Участники ансамбля за время изучения традиционной народной культуры карелов-людиков, их быта и уклада жизни узнали на практике и из рассказов коренных жителей села, например, особенности традиционных календарных обрядов и обычаев, в том числе, сведения о древнем карельском празднике Кегри, детали и ход которого помогали восстанавливать жителям села. Среди образцов возрожденной культуры Михайловского – обряды окончания уборки урожая, первого выгона скота на пастбища, некоторые элементы семейно-бытовых обрядов, традиции новоселья. Только совместная творческая межпоколенная многолетняя деятельность участников двух коллективов позволила возродить к новой жизни такие традиционные праздники карелов-людиков как «Кегри», «Егорьев день», «Троица», а также праздники иконы Казанской Божией Матери (21 июля, с. Михайловское) и Тихвинской Божией Матери (9 июля, д. Палнаволок). В их проведении традиционно участвуют оба творческих коллектива.

Таким образом, общение детского коллектива «Veslāžed» с аутентичным коллективом карелов-людиков «Pit'krandaane» и выстроенные отношения наставничества стали важными и для знатоков и носителей традиций с Михайловское: появление активных, творчески настроенных детей мотивировало опытных жительниц села активизироваться, стать социально востребованными, получить признание односельчан. Эти обстоятельства позволяют не только поддерживать деятельность аутентичного коллектива, но и сегодня быть творчески востребованными. Для учебного коллектива работать с аутентичным сельским творческим коллективом наставников – огромное счастье и удача. Это позволяет, пусть несколько искусственно, но всё-таки на практике, в системе традиционной для народной культуры трансляции бесписьменным способом передавать (со стороны наставников) и усваивать (со стороны детей) локальные этнокультурные традиции карельского края, в котором живут участники детского коллектива. Подобное творческое сотрудничество коллективов особенно необходимо и значимо в процессах личностного становления участников детского коллектива «Veslāžed», развития их мировоззрения, в том числе, патриотических установок, реализации

креативных способностей, осознания собственного коллективного и индивидуального вклада в сохранение и продолжение практического музыкального краеведения. С позиций педагога скажу, что влияние наставников коллектива «Veslāžed» заметно меняет к лучшему у детей их жизненные позиции, взгляды и оценки происходящих событий, формирует установки патриотизма, углубляет их знания, умения и навыки.

Расскажем о структуре работы в детском творческом коллективе «Veslāžed» в свете специфических черт традиционной культуры.

Фольклорный ансамбль «Veslāžed» для учащихся фольклорного отделения с 1 по 7 классы является основным предметом учебной программы. Для детей, обучающихся на других отделениях школы искусств и изучающих предмет «Фольклорный ансамбль», он является предметом коллективного музицирования¹. Постепенно в фольклорном ансамбле с численностью более 50 человек сложился четыре возрастных состава. Каждая из групп коллектива реализует в соответствии со своим пониманием, особенностями восприятия, уровнем певческой подготовки, спецификой репертуара собственную возрастную модель певческой традиции карелов-людиков с Михайловское. Таким образом, в рамках творческого коллектива «Veslāžed» сосуществуют четыре модели коллективного хранения традиционного певческого, хореографического и этнографического материала. Ежегодно небольшая группа детей, переходя из класса в класс, переходит и в иную, более старшую группу большого творческого коллектива. Поскольку в каждой из групп занимаются дети двух классов – более старшего и младшего, то внутри ансамбля «Veslāžed» постепенно выработался и стал важным для функционирования всего большого коллектива своеобразный механизм «преемственности поколений» за счёт внутренней «текучести» группы и взаимосотрудничества в новом, ежегодно меняющемся в своем составе группы и коллектива в целом.

Самый первый состав ансамбля «Veslāžed» (занимался с 2001 года) начал свою творческую деятельность со знакомства с традиционной культурой карелов-людиков с Михайловское в тесном общении с ее носителями. Именно этот детский коллектив заложил основы творческого межвозрастного взаимодействия двух коллективов – «Pit'krandaane» (с. Михайловское, взрослые) и «Veslāžed» (г. Петрозаводск, детский коллектив). На основе фундамента, заложенного старшими детьми коллектива «Veslāžed», следующий, уже второй состав детей-ансамблистов, перенимал особенности аутентичной традиции карелов-людиков у старшего состава как от своих более опытных товарищей. Таким образом, за четыре года постепенно выстроилась четырехвозрастная структура большого концертного коллектива, где в каждой из групп культивируется собственная учебная программа, изучается собственный репертуар на основе различных форм и жанров репертуара ансамбля «Pit'krandaane». Для работы каждой из возрастных групп детского коллектива важным является контакт с первоисточником. На протяжении почти полутора десятилетий стало хорошей традицией для каждого последующего поколения в ансамбле стремление к максимально адекватному вокальному звучанию коллектива «Pit'krandaane», но не в плане воспроизведения звучания голоса как у людей старших возрастов, а на основе собственных возрастных характеристик звучания традиционного вокала. Такой подход был активно поддержан певицами аутентичного ансамбля и позволил не только выявить индивидуальность каждого ребенка нашего коллектива, но и сохранить, углубить его творческое дарование. Так, например, второй состав коллектива стал в пении звучать значительно интереснее, в сравнении с ансамблем первого состава и, прежде всего, за счёт появления в более молодом по возрасту коллективе двух ярких лидеров-запевал, проявивших себя достаточно контрастно в певческой фактуре ансамбля. Участники коллектива «Veslāžed» второго года образовали исполнительское «ядро», в котором на бесписьменной основе возникла вариантность певческих «моделей» репертуара певиц с Михайловское, но уже в своеобразном «прочтении» ансамбля «Veslāžed». Важным в этом процессе оказались природные возможности участников ансамбля и, прежде всего, его лидеров. Оказалось, что одна из запевал сумела на базе собственного слухового и

¹ В творческом коллективе «Veslāžed» по желанию занимаются и некоторые выпускники школы искусств.

певческого опыта «выйти» на уровень импровизации в рамках традиционной певческой модели. За счёт такого «дара» одной из запевал, интонационная канва песни не только «оживила», но и весь ансамбль стал стремиться каждый раз по-новому воспроизвести знакомую песенную модель, то есть, среди творчески заинтересованных участников коллектива появился ещё один, второй лидер ансамбля, сумевший на практике реализовать свои возможности в области вокальной импровизации в рамках традиционных моделей песен, исполняемых ансамблем «Pit'krandaane». В сложившейся творческой ситуации остальным певцам, находящимся на уровне «общинной» традиции, пришлось приспособливаться к новым творческим возможностям ансамбля, постепенно вырабатывая свою, уже собственную интонационную линию в рамках конкретной песенной модели.

Руководитель ансамбля «Veslāžed» с коллективом творческим, активным, заинтересованным в результате своей работы, не может стоять на месте. В его собственной творческой лаборатории неизбежно появляются аналитические методики традиционного и инновационного, воспроизводимого детьми материала относительно рамок закономерностей строения традиционных напевов с. Михайловского, теоретического осмысления музыкального языка аутентичной традиционной культуры карелов-людиков.

Все дети, занимающиеся в фольклорном ансамбле «Veslāžed», владеют нотной грамотой, знания которой используются на уроках сольфеджио, иногда – в инструментальной исполнительской практике. Однако работа фольклорного коллектива во всех возрастных его группах опирается только на бесписьменную методику освоения традиционного вокального стиля, в том числе на совместном пении с носителями традиционной культуры, с участниками групп старшего состава. Важной является также методика слуховой работы с фонограммами, которые призваны дополнять экспедиционные впечатления участников ансамбля «Veslāžed» от «живого» аутентичного пения. В условиях отрыва детского коллектива от естественной среды бытования традиционной певческой, хореографической и этнографической культуры карелов-людиков эта методика является очень важной. Она позволяет руководителю коллектива использовать фонограммы экспедиционных записей ансамбля с. Михайловское разных лет: записи, хранящиеся в фонограммархиве ПГК имени А. К. Глазунова, записи от людиковского общества Финляндии, записи И. Б. Семаковой, личные записи фольклорного ансамбля «Veslāžed». Подобный временной срез даёт широкие аналитические возможности руководителю для анализа традиций аутентичного коллектива карелов-людиков с. Михайловского, позволяя определить возможные творческие «границы» традиционной культуры. Следовательно, такой анализ позволяет не только глубже понять уровни и формы вариативности традиционной культуры, но и определяет глубину погружения собственного коллектива в традиционный материал.

Необходимо заметить, что все составы коллектива «Veslāžed» представляют собой разные формы творческих сообществ. Третий состав концертного ансамбля, например, является наиболее психологически открытым, ориентированным на неформальное общение, а также бытовую жизнедеятельность коллектива. Благодаря большому количеству мальчиков, посещающих данный состав, атмосфера в коллективе добрая, непосредственная, живая.

Многолетний опыт работы с коллективом показывает, что первоначально каждый из составов групп вовлекает в свою деятельность значительное количество детей (все хотят заниматься!). Со временем по разным причинам некоторые дети отсеиваются, а в ансамбле постепенно остаются соученики, близкие друг другу по духу, по общению (одноклассники, друзья, родственники), по взглядам на творчество. Таким образом, в коллективе складывается хорошая обстановка, рождается особая энергетика, складывается коллектив единомышленников, готовых к практической деятельности в области традиционной культуры нашего края.

Литература

Власова С. Ю. Традиционное пение: музыкальная логика и вокальная техника // Вестник Российского фольклорного союза. 2003. № 4.

Семакова И. Б. Певческий тембр как способ этнической идентификации населения Онежско-Ладожско-Белозерского Межозерья и Южной Карелии // Народная песня и музыка как носитель идентитета и объект культурного обмена. Таллин, 1996.

Семакова И. Б. Из наблюдений за музыкальной и хореографической традициями жителей карельской деревни Панозеро // Панозеро: сердце Беломорской Карелии / под ред. А. Конкка, В. П. Орфинского. Петрозаводск, 2003.

Семакова И. Б. Звукосигнальный язык и допесенные формы в культуре Сегозерья // Юккогуба и её округа / Отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск, 2001.

Семакова И. Б. О формировании ритмики рунических напевов Беломорской Карелии (по материалам сборника «Напевы карельских рун» А. Лауниса) // Бубриховские чтения / Сост. П. М. Зайков. Петрозаводск, 2002.

Семакова И. Б. Мелодические типы рунических напевов Северной Карелии (по материалам сборника «Напевы карельских рун» А. Лауниса) // Бубриховские чтения. Петрозаводск, 2002.

Путешествия Элиаса Лённрота: Путевые заметки. Дневники, письма. 1828–1842 / Перевод В. И. Кийрайнен, Р. П. Ремшуевой, науч. ред. У. С. Конкка. Петрозаводск, 1985.

Елена Юрьевна Дубровская

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ: ГУБЕРНСКИЙ ЦЕНТР И КАРЕЛЬСКАЯ ГЛУБИНКА ВЕСНОЙ–ОСЕНЬЮ 1917 г.

Февральская революция 1917 г., за несколько дней потрясая всю страну, и падение самодержавной власти стали началом лавинообразного и непредсказуемого развития событий на огромной территории бывшей Российской империи. У миллионов ее вчерашних подданных атмосфера всеобщего эйфорического ликования в марте 1917 г. пробудила мечты о преобразованной России, о демократии и гражданских правах. Революционные символы, известные военным служащим и формировавшиеся в контексте российской политической культуры в годы Первой мировой войны, в 1917 г. благодаря возвращавшимся на родину демобилизованным уроженцам северного края оказывали особое эмоциональное и эстетическое воздействие на его население, только что приобщившееся к политической жизни.

Воспоминания участников политических событий, неразрывно связанных с российской революцией 1917 года, с Первой мировой войной и войной гражданской, позволяют проследить, насколько глубоким оказался раскол в традиционном обществе, какие из черт прежнего патриархального уклада остались неизменными, а какие стороны повседневной жизни крестьян подверглись трансформации под влиянием иноэтничного окружения и массового возвращения фронтовиков в родные деревни в 1918–1919 гг. [Витухновская-Кауппала 2013].

До начала российской революции 1917 года жизнь крестьянского мира приграничных уездов Олонецкой и Архангельской губерний, составлявшего подавляющее большинство населения Российской Карелии, оставалась монотонной и предсказуемой, по-прежнему регулировалась традицией и обычаями. Финское население карельского приграничья в Финляндской Карелии задолго до революции было настроено оппозиционно к самодержавной российской власти. Оно, в частности, с большим неудовольствием относилось к обязанности в «царские дни» поднимать на флагшток государственный флаг империи. Об этом свидетельствуют детские дневниковые записи будущего известного художника Александра Ахола-Вало, который родился в с. Импилахти Выборгской губернии в семье финского писателя и журналиста Петри Ахола и провел детство в Северном Приладожье. «Какой ужас! Сегодня день царя, и нам необходимо поднять флаг на вышку, – записывал он в своем дневнике, – Бедный отец, как бы он не упал с крыши вышки, ведь шнурок флага порвался, когда его поднимали в прошлый раз. По закону сегодня ничего нельзя делать, только царский гимн раз-

решается распевать. Но я умышленно буду выступать против закона и буду работать сильнее, чем всегда" [Ахола-Вало 2010: 30].

Жители Российской Карелии встретили Февральскую революцию 1917 года с надеждой на скорое прекращение мировой войны, на проведение назревших преобразований в жизни городов, сел и деревень. Кемский уезд Архангельской губернии (Беломорская Карелия и Карельское Поморье) до революции 1917 г. оставались глухой провинцией империи. Поэтому все общероссийские политические процессы отражались на общественной жизни края в более умеренных формах не только по сравнению с центральными районами России, но и с уездами Олонецкой Карелии, которые издавна сохраняли экономические связи с российской столицей. Во многом этому способствовали отдаленность северо-карельского приграничья от губернского центра в Архангельске, недостаточность, а зачастую и полное отсутствие путей сообщения и транспорта, слабое распространение информации, языковой барьер и т. д. Однако колоссальные политические перемены в центре страны неизбежно должны были взорвать общественное спокойствие в карельской глубинке.

В населенном русскими Карельском Поморье война более ощутимо вторгалась в повседневность сельского и деревенского социума. По свидетельству современника, в 1916 г. в поморском селе Сорока бросалось в глаза, «в отличие от деревень, обилие молодых мужчин», поскольку здесь было «много пленных и рабочих из других губерний». В Сороке «выросла гостиница, прилетел кинематограф, появились лавки, пекарни», однако вслед за этими изменениями общественной жизни обнаружились и шокировавшие население приметы нового времени: бытовые преступления и лишения, вызванные военной обстановкой. «Ограблен магазин, убита торговка пивом... Объявлено военное положение... Отсутствие предметов первой необходимости. Дороговизна, спекуляция...» [Бубновский 1916: 187–198; Трошина 2014: 286].

Рассказы очевидцев об обстановке в Олонецкой губернии весной 1917 г. контрастируют с описаниями дореволюционного «безвременья»: «в деревне, так же как и в городе, время текло быстро, подобно воде разлившейся реки в весеннее половодье» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 20, д. 75, л. 12]. По словам одного из авторов воспоминаний, С. С. Ракчеева, уроженца вепсской д. Наумовская Шелтозерско-Бережной волости Петрозаводского уезда, «как магнитом тянуло людей» к дому, где находился фронтовик. «Нельзя не упомянуть того, что на деревенских улицах после долгого отсутствия появились вепские парни: то пехотинцы, то моряки, то артиллеристы...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 20, д. 75, л. 3].

Первые известия о событиях в Петрограде жители г. Кемь и поморских сел Кемского уезда Архангельской губернии получили 28 февраля 1917 г. На следующее утро, придя в церковь на службу, кемляне узнали о падении царской власти от солдат расквартированного в городе железнодорожного батальона, которые обратились к ним с соборного крыльца. Выступавшие предложили присоединиться и вместе пройти к зданию вокзала на митинг, устроенный солдатами-железнодорожниками. Охотники нашлись, и колонна кемлян под красным флагом отправилась к вокзалу, «охваченная пьянящим чувством свободы». Горожане, сами желавшие стать активными участниками революции, арестовали уездного исправника, пристава, полицейских и стражников [Баркина 1982: 51].

Как и повсюду, пытаясь скрыть от населения известия об обстановке в Петрограде, губернские и местные власти предопределили многое из того, что впоследствии будут связывать с началом «русской смуты». Современники назовут события весны 1917 г. «эсеровской революцией». Нельзя не согласиться с исследователем проблем исторической памяти И. В. Нарским, отметившим среди результатов «принудительно-модернизационного опыта 1914–1916 годов» то обстоятельство, что русская армия воспитала множество врагов «устаревшего» сельского образа жизни. Фронтовики, мечтавшие в окопах отомстить тыловым «предателям» и «трусам», уже к началу 1917-го понимали восстановление справедливости как наведение порядка и принуждение «необстрелянных» соотечественников к дисциплине на военный лад. Инициированное ими превращение тыла во фронт вскоре отозвалось беспримерной жестокостью в отношении крестьянства в годы гражданской войны и «военного коммунизма» [Нарский 2007: 500].

К лету 1917 г. доверие карельского населения к местным властям было подорвано их невниманием к крестьянским нуждам [НА РК, ф. 553, оп. 1, д. 1/1, л. 18–22]. Так, в апреле 1917 г. житель д. Регозеро Ухтинской волости обратился в Кемский уездный съезд по крестьянским делам с просьбой войти в его бедственное положение и назначить ему казенное пособие на содержание семьи, в которой воспитывались шесть малолетних детей. Пятидесятирехлетний Кирилл Луккоев сообщил о том, что его старший сын был принят на военную службу в 1915 г. и через год умер, находясь в армии, а в июне 1916 г. в досрочный призыв попал единственный совершеннолетний сын Василий [НА РК, ф. 553, оп. 1, д. 1/1, л. 21].

В июле 1917 г. по предписанию Ухтинского съезда по крестьянским делам Ухтинское волостное попечительство провело обследование состояния семейства новобранца, который прежде занимался «крестьянством и отхожим промыслом». Пришли к заключению, что Луккоевы нуждаются в казенном пособии как лишившиеся единственного в семье работника [НА РК, ф. 553, оп. 1, д. 1/1, л. 18, 19 об., 22]. Однако и полгода спустя после заявления крестьянина, еще весной находившегося «в самом бедственном положении», вопрос о назначении пособия оставался нерешенным.

27 ноября односельчане фронтовика на общем собрании засвидетельствовали, что Луккоев, не способный к труду по болезни, по-прежнему не получал пособие на содержание семьи, хотя прошение об этом подано своевременно. Как и сам проситель, крестьяне-карелы были неграмотными, но заверили документ, скрепленный печатью Регозерского сельского старосты, девятью особыми карельскими знаками собственности, обычно использовавшимися для обозначения территории промысловой деятельности того или иного карельского рода [НА РК, ф. 553, оп. 1, д. 1/1, л. 20; Конкка 2013: 281].

Национальное движение карел глубоко уходило корнями в присущее северному крестьянству сознание своей независимости и внутреннее сопротивление мероприятиям, которые исходили от государства и чиновничества, преследовавшего его интересы. Тем не менее, среди карельского населения разброс мнений по вопросу о будущем Карелии оказался весьма широк. Здесь не сложилось единое национальное движение, ведь в числе обсуждавшихся вариантов оказались проекты, отстаивавшие как независимость Карелии, так и ее автономию в составе России или Финляндии.

Слабое в довоенное время, социально-экономическое положение Карелии к заключительному периоду участия России в Первой мировой войне ухудшилось в несколько раз. В Олонецкой губернии население стало враждебно воспринимать работавших здесь земских деятелей, поскольку те призывали к терпению, а люди ожидали коренных перемен в самое ближайшее время, что обещали в случае прихода к власти лидеры радикальных партий – большевиков и левых эсеров. Показательна в этом отношении судьба госпиталя для размещения раненых воинов, развернутого в Петрозаводске, губернском центре Олонецкого края, в 1917 г.

Созданные в самом начале войны, в конце июля – начале августа 1914 г., Всероссийские земский и городские союзы ставили своей целью объединить деятельность в области снабжения армии и содействовать мобилизации мелкой, в том числе кустарной и средней промышленности, оказывать помощь правительству в организации тыла [Россия 2014: 501]. Олонецкое и губернское земство и Петрозаводская городская дума также образовали местные отделения Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов, которые были призваны содействовать государственным органам в деле снабжения армии снаряжением, обмундированием и медикаментами, оказывать помощь беженцам, больным и раненым воинам [История Карелии 2001: 315].

Одним из направлений работы губернского земско-городского комитета по снабжению армии, возглавлявшегося видным общественным деятелем, ректором Олонецкой духовной семинарии протоиереем Н. К. Чуковым, стала подготовка к организации в Петрозаводске пяти госпитальных пунктов для размещения 150 раненых воинов. Для этого предполагалось использовать помещения мужской гимназии, духовной семинарии, епархиального и духовного училищ. Однако петроградский областной комитет Всероссийского городского союза признал целесообразной эвакуацию сюда раненых только после завершения в ноябре 1916 г.

строительства Мурманской железной дороги, соединившей российскую столицу с незамерзающим портом на Мурманском побережье [Кораблев 2014: 382–383; Карелия 2014: 6].

Из отчета распорядительного комитета по эвакуации и размещению раненых в Петрозаводске следует, что к 1 января 1917 г. лазарет был оборудован почти полностью: приглашен медицинский персонал, организована канцелярия, набран почти полный состав служащих, верхний этаж духовной семинарии – одного из немногих каменных зданий города – был отремонтирован и приспособлен для приема больных, проведено электрическое освещение, частью на местном рынке, а отчасти на средства петроградского областного комитета приобретались белье, посуда, были заключены договоры на поставку продуктов [Карелия 2014: 231–233].

Всего в течение года, с ноября 1916 по октябрь 1917, из Петрограда по железной дороге и водным транспортом 20 раз отправлялись электрооборудование, перевозочные средства, медикаменты, хирургические инструменты, хозяйственный инвентарь (железные кровати, когтетки для больных и т. п.), продукты (сахар-рафинад, сгущенное молоко, мука, крупы), спички, папиросы. Правда, дважды – в начале декабря 1916 г. (пуд сахара) и вскоре после Февральской революции (хозинвентарь, электрические провода, упаковочный материал, «белье и перо», медикаменты) – затерялись в пути следования [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/12, л. 1 об.–5].

Единственный госпитальный пункт на 130 коек (лазарет № 1) был открыт в здании Олонецкой духовной семинарии лишь 15 июня 1917 г., заведование было возложено на приехавшего из Петрограда врача А. В. Покровского. К этому времени в Петрозаводске работали всего два лечебных заведения: губернская земская больница, в которую обращались пациенты из шести уездов Олонецкого края, и центральная больница Мурманской магистрали, обслуживавшая врачебно-санитарные нужды всей линии. По словам заведовавших ими врачей, «обе эти больницы изнемогали от переполнения больными» [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 54–55 об.].

К лету 1917 года была создана соответствующая материальная база деятельности нового лазарета, с началом каникул для размещения раненых освободили третий этаж семинарского здания, а с осени общежитие воспитанников переместили в Назарьевский братский дом [Кораблев 2014: 382]. Подбор медицинских кадров облегчало то, что в городе с 1899 г. работала фельдшерская школа Олонецкого губернского земства, к 1914 году преобразованная в фельдшерско-акушерскую школу, в которой тогда учились 55 лиц мужского пола и 19 женщин. В начале войны в Петрозаводске трудились 12 фельдшеров-мужчин и четыре женщины. Общее количество выпускников школы к 1918 г. составило около 250 специалистов [Карелия 2014: 390–391; Савченко 2011: 152–153].

«Квартирный вопрос» обострил отношения между медперсоналом, присланным в лазарет петроградским областным комитетом Земгора, и руководством губернского комитета, которое 5 сентября приняло решение откомандировать приехавших из Петрограда двух фельдшерниц и трех сестер милосердия обратно в столицу. При открытии лазарета санитарно-техническое бюро областного комитета «без ведома и согласия» местного комитета направило в Петрозаводск «полный состав медперсонала по своему усмотрению», причем весь персонал назначался на службу «при готовой квартире» [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 47 об.].

Как докладывал 27 сентября председатель губернского комитета протоиерей Чуков, «таковые квартиры и были временно предоставлены персоналу правлением семинарии на все вакационное время» по ходатайству заведующего лазаретом А. В. Покровского. Однако в дальнейшем правление отозвало свое разрешение в связи с наступлением учебных занятий и «с обострением ныне до крайности квартирного вопроса в Петрозаводске», а также из-за невозможности использовать для ученических спален Назарьевский братский дом, помещение которого по решению городской думы было отведено под реальное училище. По мнению губернского комитета, целесообразнее было бы часть персонала, обслуживавшего 101 койку лазарета, заменить специалистами, которые проживали в Петрозаводске, а приезжему персоналу предложить подыскать частное жилье. С этим петроградские фельдшерницы и сестры категорически не согласились [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 48–48 об.].

Солдаты, находившиеся на излечении, высказались в их поддержку и обратились в Олонецкий губернский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с просьбой

оставить в лазарете приезжих медиков, которые «все свободное время могут посвящать больным». Совет встал на сторону обратившихся, приняв к сведению, что «настоящий медицинский персонал заслуживает со стороны больных полной признательности за примерно-хорошее исполнение возложенных на него обязанностей, знание дела и внимательное отношение». Депутаты губсовета учли также «возможность эксцессов со стороны больных в случае ухода нынешнего персонала», о чем предупреждал представитель от солдат, находившихся на излечении, Кукуруза. Сообщивший о решении исполкома совета поручик Соколовский отметил, однако, что «семинария дала лазарету все, что она могла дать, и большего требовать от нее едва ли возможно» [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 49–50].

Яркой иллюстрацией напряженной общественной обстановки в губернском городе осенью 1917-го года может служить выступление члена губернского комитета Земгора адвоката И. И. Леви. «Хотя сестры милосердия и не имеют права вмешиваться в сферу ведения губернского комитета, а также во взаимоотношения между городской думой и комитетом, – заявил он, – тем не менее, приходится считаться с условиями времени, и поэтому ныне, когда дело доходит до открытого возражения и недоверия комитету, я просил бы немедленно ходатайствовать перед думой о переизбрании комитета. Не получая доверия демократической думы, оставаться в составе комитета морально не представляется возможным» [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 51 об.]. Доктор В. М. Морошкин, говоря о 40–50 пациентах, находившихся в это время на излечении, сообщил, что тяжелобольных, которые нуждались бы в постоянном надзоре, в лазарете нет, и «более или менее серьезно больных, слава Богу, немного, всего человек пять» [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 51 об.].

Ноябрь–декабрь 1917 г. оказались уникальным периодом в истории Петрозаводска. Отсюда на места посылались решения, которые делали Олонецкую губернию своего рода автономным образованием, не испытывавшим на себе давления центра и почти не выполнявшим декреты советской власти [Финансы Карелии 2002: 85]. Несмотря на решения губсовета, в городе и губернии продолжали действовать распоряжения губернского комиссара Временного правительства А. Ф. Кожевникова.

В конце ноября 1917 г. санитарно-техническое бюро Петроградского областного комитета приняло решение немедленно закрыть петрозаводский лазарет и приступить к его ликвидации. Признав решение нецелесообразным, местный комитет Земгора подчеркнул, что «приток больных, особенно с фронта, в связи с начавшейся частичной мобилизацией с каждым днем усиливается», а с ликвидацией лазарета больных приходится направлять в другие, «совершенно перегруженные» больницы, где им отказывают в приеме. «Отчего не исключается возможность конфликтов и даже эксцессов на почве недоразумений между администрацией лечебных заведений и солдатами. Многие больные возвращаются в лазарет после тщетных попыток лечь в другие больницы и наотрез отказываются уходить из лазарета. Seriously больным по врачебным соображениям отказывать не приходится, и таковые в лазарет принимаются» [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 55 об.].

В ответ в конце декабря 1917 г. областной комитет уведомил, что дальнейшее содержание в Петрозаводске лазарета на средства союза городов не представляется возможным и напомнил, что в учреждении лазарета живейшее участие принимала Мурманская железная дорога (МЖД) [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 57]. Действительно, магистраль способствовала его открытию крупной субсидией в размере 260 000 руб., надеясь, что сможет здесь рассчитывать на обслуживание врачебно-санитарных нужд дороги [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 55 об.]. Однако врачебно-санитарная служба управления МЖД сообщила Петроградскому областному комитету о согласии принять петрозаводский лазарет в свое полное ведение лишь после заключения Брестского мира, в начале марта 1918 г. [НА РК, ф. 301, оп. 1, д. 1/5, л. 59 об., 61 об.].

У местных политических лидеров сохранялась надежда на то, что большевистский социальный эксперимент не будет иметь успеха в России. Но время шло, и надежды эти таяли. Ещё с 15 ноября 1917 г. велись переговоры правительства Народных Комиссаров с Германией о перемирии на фронте, поскольку союзники России отказались участвовать в поисках мира. К концу декабря перемирие было заключено, и начались переговоры о более проч-

ном мире. Рабочие, солдаты, крестьяне приветствовали стремление большевиков к мирным переговорам, прежде поддержав их решение об отмене помещичьей собственности на землю без всякого выкупа.

7 декабря 1917 г. Олонецкий губсовет подтвердил свою прежнюю позицию по отношению к петроградскому Совету народных комиссаров (СНК), но признал необходимым считаться с тем, что в руках СНК находится весь аппарат государственной власти. Приняв во внимание невозможность «изолировать Олонию от общегосударственного организма», губсовет вынес решение о допустимости деловых отношений с СНК как органом, фактически обладающим государственной властью, но с обязательным рассмотрением его декретов на общем собрании совета. Предполагалось проводить в жизнь лишь те из них, «которые целесообразны с революционно-демократической точки зрения» и неосуществление которых могло бы усугубить разруху во всех сферах жизни страны [НА РК, ф. 1541, оп. 1, д. 3/28, л. 1–2 об.; История Петрозаводска 2008: 148–150; Советы 1993: 29–32].

Выход из трагического положения России депутаты совета видели только в созыве полномочного Учредительного Собрания и настаивали на его немедленном открытии.

Литература и источники

Ахола-Вало А. // Сердоболь. 2010. № 8. С. 30 (перевод С. Махохей).

Баркина В. С. Кемь. Петрозаводск: Карелия, 1982.

Бубновский М. В глубоком тылу // Известия Архангельского общества изучения Русского севера. 1916. № 5. С. 187–198.

Витухновская-Кауппала М. А. Карельский крестьянин в горниле гражданской войны 1917–1922 // Карелы российско-финского пограничья в XIX–XX вв. Петрозаводск, 2013. С. 172–211.

История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001.

История Петрозаводска: власть и горожане. Петрозаводск, 2008.

Карелия в годы Первой мировой войны. Сб. докум. и материалов. Петрозаводск, 2014.

Конкка А. П. Карсикко. Деревья-знаки в обрядах и верованиях прибалтийско-финских народов. Петрозаводск, 2013.

Кораблев Н. А. Общественное движение помощи фронту и жертвам боевых действий в Карелии в годы Первой мировой войны // Первая мировая война и Европейский Север России: материалы междунар. науч. конф. Архангельск, 2014. С. 382–383.

НА РК – Национальный архив Республики Карелия.

НА КарНЦ РАН – Научный архив Карельского научного центра РАН.

Нарский И. В. «Я как стал средь войны жить, так и стала мне война, что дом родной...» Фронтвой опыт русских солдат в «германской» войне 1917 г. // Опыт мировых войн в истории России. Челябинск, 2007.

Россия в Первой мировой войне 1914–1918: Энциклопедия. В 3 тт. Т. 1. М., Политическая энциклопедия, 2014.

Савченко И. В. Фельдшерская школа в Петрозаводске // Вестник Карельского краеведческого музея. Вып. 6. Петрозаводск, 2011. С. 152–153.

Советы Карелии: 1917–1992. Сб. докум. и материалов. Петрозаводск, 1993.

Трошина Т. И. Великая война и Северный край: Европейский Север России в годы Первой мировой войны. Архангельск, 2014.

Финансы Карелии. Петрозаводск, 2002.

Таисия Юрьевна Дудинова
*Гирвасская средняя общеобразовательная школа,
п. Гирвас, Кондопожский р-н РК*
Светлана Геннадьевна Ковчинская
*Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск*

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ПОСЕЛКА ГИРВАС

Школьный музей в организационном плане является структурным подразделением школы, т. е. музеем ведомственным. В связи с этим он ориентируется в своей работе, прежде всего, на выполнение основных задач и функций общеобразовательной средней школы.

История школьного музея поселка Гирвас берет свое начало 9 мая 1982 года, когда в средней общеобразовательной школе п. Гирвас (далее – СОШ п. Гирвас) был открыт «Зал боевой Славы». В 1987 г. школьному структурному подразделению было присвоено звание «Школьного музея» [Свидетельство].

Главными задачами любого школьного музея являются собирание, организация хранения и использования памятников истории и культуры, реликвий и достопримечательных вещей, связанных с историей школы или места, где располагается школа.

В настоящее время школьный музей включает 144 единицы хранения основного фонда и 112 единиц хранения научно-вспомогательного. Профиль любого школьного музея (состав фондов и направление деятельности) определяется, как правило, в самом начале работы музея. В музее СОШ п. Гирвас изначально стали собираться материалы историко-краеведческого характера: вещи, документы, фотографии, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также истории школы и поселка Гирвас.

Музей располагается в здании школьного интерната, в комнате на первом этаже. Общая площадь помещения, выделенного под музей, составляет 30 кв. м. Экспозиция музея оформлена на основании историко-краеведческих материалов в виде тематических стендов. Разделы экспозиции представлены следующими темами: 1) «История 71-ой Краснознаменной Торуньской дивизии»; 2) «История 72-го Петрозаводского Краснознаменного авиаполка»; 3) «Учителя школы – участники Великой Отечественной войны и труженики тыла»; 4) «История школы» [Фонды школьного музея].

Одним из основных направлений работы современного школьного музея является культурно-образовательная деятельность, теоретической основой которой стала музейная педагогика, важное звено музейной коммуникации [Музей в XXI веке 2009: 75]. В работе с обучающимися школьные музеи разрабатывают разнообразные проекты и программы, которые призваны установить активный диалог музея с местным сообществом. В 2007 г. в школе утверждена «Программа деятельности школьного музея по созданию истории деревень Гирвасского поселения» в рамках дополнительной образовательной программы краеведческой направленности «Моя малая Родина». Исследовательская деятельность школьников продолжается в музее в течение всего учебного года. Музейные фонды используются при реализации образовательных программ СОШ п. Гирвас, привлекаются на уроках истории, литературы, «Моя Карелия» и во внеурочной деятельности.

В 2007 году школьный музей принимал участие в республиканском конкурсе проектов «Современный школьный музей». По итогам конкурса музейный проект «Краеведческий передвижной лагерь – экспедиция «Истоки» занял 3-е место по Республике Карелия и выиграл грант (25 тысяч рублей). На эти деньги для школьного музея были приобретены ноутбук и сканер.

«Краеведческий передвижной лагерь – экспедиция «Истоки» работал летом 2007 года. В результате работы лагеря «Истоки»: собраны материалы по истории деревень: Юркостров, Койкары, Евхоя, Красная Речка, Уссуня. Участники проекта получили практические навыки поисковой краеведческой работы, научились пользоваться современной аппаратурой (ноутбук, сканер, цифровой фотоаппарат). У обучающихся проявился интерес к исследованиям в обла-

сти краеведения: автор работы «Из истории деревни Койкары», Юрина Валентина, стала лауреатом республиканской конференции «Будущее Карелии», награждена дипломом II степени.

В 2011 году школьный музей был награжден дипломом победителя Республиканского конкурса школьных музеев «Историческая память».

Школьный музей СОШ п. Гирвас на протяжении всего периода своей деятельности активно сотрудничает с Гирвасской сельской библиотекой, Гирвасским центром культуры и досуга, общественной социально-экологической организацией «Сампо», Центральной городской библиотекой имени Б. Кравченко г. Кондопоги, МУК «Музей Кондопожского края».

В настоящее время школьные музеи начинают включаться в сферу туристской деятельности, не ограничиваясь традиционными формами работы (собираение и хранение музейных коллекций, организация выставок, проведение экскурсий), в связи с чем музейная деятельность становится существенным фактором развития современной туристической индустрии в районе [Музей в XXI веке 2009: 45].

Одним из таких исследовательских проектов, осуществленных в 2014–2015 учебном году на базе школьного музея СОШ п. Гирвас, стала разработка обучающимися 10 класса Кононец Екатериной и Прокопьевой Дарьей «Путеводителя по поселку Гирвас» (победители XIX районной учебно-исследовательской конференции обучающихся «Юность. Наука. Культура», III место в региональном творческом конкурсе «Туризм и гостеприимство: шаг в профессию»), выполненного в формате познавательной экскурсии. Методическую поддержку исследовательской работе обучающихся оказала руководитель школьного музея Наталья Дмитриевна Васильева. Вместе с тем, данный проект стал своеобразным экспериментом по разработке востребованного туристского продукта, в котором нуждаются сегодня карельские турфирмы, разрабатывающие популярные экскурсионные программы по Карелии.

Главной проблемой в сфере карельского туризма в настоящее время является недостаточная разработанность туристских маршрутов, отсутствие интересных и информационно насыщенных туристских путеводителей по различным регионам Карелии, в т. ч. и по Кондопожскому краю. Отвечая на вызов времени и запрос турфирм, творческий коллектив обучающихся СОШ п. Гирвас при поддержке школьного музея поставил перед собой задачу – разработать такой Путеводитель по достопримечательным местам поселка Гирвас и предоставить его материалы карельским турфирмам для использования в работе. Главной целью работы по проектированию путеводителя стало изучение памятников истории, культуры и природы поселка Гирвас и его окрестностей. Для этого были сформулированы следующие задачи проекта: во-первых, необходимо было разработать исторический маршрут познавательной экскурсии по поселку Гирвас; во-вторых, спроектировать геоморфологический маршрут; в-третьих, составить контрольные тексты экскурсий по двум маршрутам и, в-четвертых, спроектировать макет путеводителя по разработанным экскурсионным маршрутам в виде буклета и рекламного ролика.

Первая часть путеводителя представляет собой геоморфологическую пешую экскурсию по маршруту № 1 «Геологическая тропа» продолжительностью 1 час. Объектами показа на экскурсии являются памятники природы: Гирвасский разрез реки Суна, Гирвасский древний вулкан и сама река Суна. Вторая часть путеводителя включает в себя историческую пешую экскурсию по маршруту № 2 «Познавательная прогулка по Гирвасу». Продолжительность исторической экскурсии – 1,5 часа. Объектами показа выбраны наиболее интересные исторические, культурные и природные достопримечательности поселка Гирвас: сунские водопады (Гирвас и Поор-Порог), «безымянная высота», братская могила, военный аэродром, Пальеозерская ГЭС, церковь Святого Пантелеймона. Экскурсия начинается с показа места Сунских водопадов.

Исследовательский проект обучающихся СОШ п. Гирвас по созданию «Путеводителя по Гирвасу» имел вполне конкретное практическое применение – создание на его основе печатных рекламных материалов (буклетов, путеводителей, флаеров), а также новых пеших экскурсий по поселку Гирвас и его окрестностям. Изобразительные материалы, представленные в Приложении к проекту, являются готовым материалом для «портфеля экскурсовода»

по данным маршрутам. Познавательная экскурсия может быть использована также в учебно-воспитательных целях и в патриотическом воспитании школьников. [Дудинова 2015: 32–33].

Литература

Дудинова Т. Ю. Разработка туристического путеводителя по п. Гирвас как вид исследовательской работы обучающихся на базе школьного музея // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты», 30 июня 2015 г. Тамбов. Том 5. С. 30–34.

Музей в XXI веке: учебное пособие / Авт.-сост. Т. В. Никулина, С. Г. Ковчинская. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 161 с.

Свидетельство № 5819 от 09.10.1987 о присвоении официального статуса «Школьный музей» // Фонды школьного музея МОУ ГСОШ п. Гирвас.

Фонды школьного музея МОУ ГСОШ п. Гирвас.

Людмила Ивановна Иванова

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОД КАРЕЛЬСКОЙ БАНИ

С точки зрения современного человека, главной функцией бани является утилитарная, гигиеническая. Немаловажное значение она имела и в прошлые века. После тяжелого трудового дня, проведенного зимой в холодном лесу, а весной, летом и осенью на лугу, в поле или риге, крестьянину требовалось смыть пот и грязь, летом удалить зуд от укусов насекомых, зимой – согреться. Массаж веником помогал натруженному телу расслабиться и отдохнуть. То есть в бане происходило физическое очищение тела.

Но фольклорно-этнографические материалы показывают, что на первый план в старину выходили иные функции бани, способствующие очищению не столько тела, сколько души. По предположению Е. Г. Кагарова, в дохристианские времена у русских баня была тем сакральным местом, где отправлялся культ домашних духов и культ предков-родоначальников [Кагаров 1917: 645]. Как пишет исследователь русской мифологии Н. А. Криничная, «баня осмыслялась как некое сакральное пространство (благожелательное и вредоносное), где совершается таинство перехода к важным этапам жизненного цикла. Здесь властвует идея круговорота, стирающая грани между жизнью и смертью, бытием и небытием, реальным и потусторонним мирами, ... профанным и сакральным временем, между прошлым, настоящим и будущим» [Криничная 1993: 75]. Для карела также баня вплоть до середины 20 века, в первую очередь, была неким семейным святилищем, в котором проводились многочисленные ритуалы, связанные с лиминальными периодами в жизни человека, с рождением, свадьбой и поминальной обрядностью. Баня была одной из ранних форм жилища, и в ее духах-хозяевах карелы «видели покровителей семьи, и культ их в известной мере можно рассматривать как одну из ранних форм культа предков» [Никольская, Сурхаско 1992: 83]. При этом следует сказать, что, по мнению карела, вредоносное влияние бани и ее хозяев встречалось только в единственном случае: когда человек сам нарушал пространственно-временные границы, различные табу и правила банного этикета.

Функциональный код карельской бани можно наглядно выявить, исследуя различные ритуалы, проводимые в этом локусе. Мы остановимся на обрядах жизненного цикла и подробнее – на похоронно-поминальном.

В родильной обрядности, во-первых, ритуал омовения и паренья в бане обеспечивал новорожденному облик, силу, статус и судьбу [Криничная 2001: 65–72]. Во-вторых, проживание роженицы с ребенком в бане служило не только обереганием обоих от злых сил в опасный лиминальный период, но самое главное – приобщало нового члена семьи к роду, к семейному культу хозяина и хозяйки бани и культу первопредков [Сурхаско 1985: 147].

В-третьих, баня была самым чистым и спокойным местом в крестьянской усадьбе, поэтому проведение в ней родов было целесообразно и с утилитарной точки зрения.

В банных родильных ритуалах воедино связывалось рациональное и иррациональное. Повитуха в бане массировала живот роженицы, поворачивая и направляя движение плода в правильном направлении. После родов она правила живот массажем, возвращая на место внутренние органы. Как пишет В. А. Липинская, ежедневное прогревание улучшало отделение молока, это подтверждается как народными наблюдениями, так и современной медициной [Липинская 2004: 177].

Таким образом, в бане происходило как физическое очищение, укрепление здоровья и роженицы, и ребенка, так и духовное очищение от грехов родовой нечистоты. Этому способствовали как многочисленные заговоры, сопровождавшие весь банный родильный обряд, так и христианские очистительные молитвы, произносимые уже после выхода женщины с младенцем из бани, из иного мира, в мир людей.

Большое значение бане отводилось и во время другого лиминального периода в жизненном цикле человека. В свадебном обряде посещением бани отмечали переход из одного социально-биологического состояния в другое.

В поморской свадьбе сохранилась особая ритуальная выпечка, которая особым образом подчеркивает, насколько важную роль играла баня в свадебном обряде. Она так и называлась – *баенник*. Это был ржаной хлеб, в верхней корке которого делалось неглубокое круглое (пять–семь сантиметров в диаметре) отверстие для зерен ячменя и дольки чеснока, разрезанной пополам (для предохранения молодых «от чирьев, дремоты и домашних неурядиц»), и капельки ртути (оберег от порчи колдуна). Баенников было два: один со стороны невесты, другой – жениха. Каждый зашивался в ситец или платок обязательно белого цвета и брался молодыми в церковь к венчанию. Женщины-поморки считали, что без баенников ни в коем случае нельзя выходить из родительского дома к венцу, потому что именно в них заключена «вся сила судьбы новобрачных, вся их будущая совместная жизнь». После венчания баенники приносили в дом мужа, ставили их на стол, где они и хранились в течение трех суток. После этого хлеба расшивались из оболочки и съедались новобрачными и их домочадцами. А обшивку как оберег от сглаза и болезней мать хранила до рождения первенца, а потом накрывала ею ребенка во время сна [Дуров 2011: 20].

Свадебный ритуал карелов включал в себя три вида бани: невестину, женихову и для новобрачных. Каждую из них топили со своей целью, но в основе всех трех лежал тот же культ предков и почитание банных духов-хозяев.

У девичей бани выделяется несколько основных функций. Это баня прощания с девичьей «волей». В причитаниях невесты неоднократно подчеркивается, что она идет в баню не мыться и не париться, а «с белой волюшкой расстаться» [Конкка 1992: 164–177]. Финский исследователь И. Вахрос отмечал функции очищения, приобретения плодовитости, а также отчуждения (в результате отлучения невесты от статуса девушки) от своих родовых духов-покровителей [Vahros 1966: 141]. Здесь же происходит прощание с духами-хозяевами бани, отлучение выдаваемой замуж девушки и от их покровительства. Эта баня была последней в ее родном доме, после свадебного обряда она больше не имела права заходить в нее [SKS 4945/33].

Ю. Ю. Сурхаско выделял в обряде жениховой бани два момента [Сурхаско 1977: 101–102]. Это, во-первых, была одна из мер предохранения жениха от порчи перед поездкой за невестой в чужой род. Для этого с ним в баню в северной Карелии ходил специально приглашенный свадебный колдун патьвашка, где он и совершал некие магические действия. Во-вторых, эта баня носила «посвятительный характер», в ней жених из парня переходил в статус мужчины. Об этом говорит существование и у северных, и у южных карел особых свадебных «банных песен» (*kylyvirzi*), связанных именно с жениховой баней. Их пели парни, пока жених один или с патьвашкой находился в бане. Жениху советуют «бросить глупость на дерюги, ребячество на краю полка, младенчество на прутьях веника» [SKVR II: 461, 467].

Следующей ритуальной баней в жизненном цикле человека являлась баня для новобрачных [Сурхаско 1977: 186–189]. Это третья, последняя баня в продолжительном свадебном обряде.

Изначально ей придавалась не только очистительная, но и посвятельная функция, особенно важная для молодой жены. Сакральная суть бани новобрачных состояла в том, что в ней происходило приобщение невесты к родовому коллективу мужа и обретение покровительства духов-первопредков его рода.

Баня в поминальной обрядности карелов также играла большое значение. Как считает И. Вахрос, ритуал приготовления бани для умерших у славян – один из древнейших, он возник задолго до XI века [Vahros 1966: 101].

Души родных предков, по мнению Б. А. Рыбакова, встречались живущими в избе и у ворот, а также они «ублагодотворялись в бане» [Рыбаков 1987: 514–515]. Для них в определенные дни устраивались трапезы и в избах, и в банях. Например, в Пермской губернии в середине XIX века накануне родительского дня на Фоминой неделе специально для умерших протапливали баню, в которой никто из живых в тот день не мылся [Кремлева 1997: 528]. В «Слове об идолах» св. Григорий, разоблачая древние языческие обычаи, писал: «Мнят себя христианами, а погански дела творят и еплом посреди мовницы сыплют. Оставляют мертвым молоко, масло, яйца, и все необходимое бесам на печь льют. Для мытья им чехлы и убрусы у мовницы вешают» [Гальковский, 1916: 72].

В карельском похоронном обряде роль бани выражена не столь ярко, как в поминальном. Но ее основные функции сохраняются. Во-первых, гроб с телом после выноса из дома несли к бане и ненадолго останавливались там, чтобы покойный мог проститься с ней [Тарова 1965: 116]. В похоронных причитаниях говорилось, чтобы он простился с духами-хозяевами бани и с сундюзет. Неслучайно, вынося гроб, в избе так же останавливались в сакральных местах обитания духов – у печи и на пороге. Иногда говорится, что гроб в таких локусах следует трижды немного приподнять и опустить.

Во-вторых, в похоронном обряде баня играла и очистительно-охранительную функцию. Пока основная процессия была на кладбище, те, кто оставались дома, топили баню. Иногда это делалось и рано утром, до ухода на кладбище. Возвратившись с похорон, хозяева сразу (реже после поминального стола) шли в баню, мылись и парились, чтобы освободиться от холода мира мертвых, очиститься от вредоносных сил калмы (*kalma* могила, *kalmannenä* могильный нос), которая могла пристать к человеку на кладбище. После бани пили чай (информатор подчеркивает, что в старину больших поминок карелы не устраивали, провожающих угощали только на кладбище) и ложились спать [ФА 2391/23].

Особая роль отводилась бане в поминальной обрядности. Во время поминок покойных родственников ждали на баню и приготовленное в избе угощение поздно вечером, а провожали их следующим утром.

Первым наиболее важным отрезком со дня смерти был шестинедельный *kuuzi-nedälihizet* (в русской традиции сороковой день, сорочины). Считалось, что в эту ночь покойный последний раз в образе невидимой птицы или бабочки (*näkömättömä lintu tai liipukkaine*) в сопровождении трех ангелов (*kolme anhelia*) придет последний раз в свой дом, свою баню попрощаться со своими родственниками. Если баня будет в меру горячая, веник мягкий, а поминальный стол (*kallis murkina*) богато накрыт, покойный будет доволен и уйдет, смеясь, в иной мир Туонелы-Маналы. Если же его что-то во время прощания не устроит, а стол будет пуст, он уйдет, «плача кровавыми слезами *verisiä kyuneleitä itkien*». Поэтому перед шестинедельными поминками мыли всю избу, готовили угощение, затем шли в баню. После нее одевались в лучшие одежды и начинали накрывать стол (на это время покойный приглашался в баню). На поминальный обед *kallis murkina* ‘поминальный обед’ (в старину его проводили в полночь) приглашали всех родственников и вдов, для покойного было отведено место во главе стола под образами [Paulaharju 1995: 158–163]. Баню для умерших накануне сорокового дня устраивали и вепсы [Винокурова 2012: 65], и русские на северо-западе [Vahros 1966: 103].

У карелов было несколько поминальных дней, во время которых накрывали стол, а накануне топили баню: через год, в день смерти, а также поминальные дни для всех умерших. Особенно выделялась Roadenču 'Радуница'. Карелы называли ее Пасхой мертвых: «Tossargen on Ruadinčat jälles Äijiäpäiviä, pokoiniekin Äijuräivü» – «Во вторник после Пасхи – Радуница, это Пасха покойников» [KKS 2005: 766].

В Суйстамо накануне Suysjurrinny 'Егория осеннего' топили баню для покойников, готовили им угощение. Сам хозяин с непокрытой головой вечером накануне Юрьева дня встречал в темном дворе умерших жителей дома, а на другое утро провожал их до края поля, время от времени выливая на землю вино [Конкка, Огнева 2010: 200]. Примечательно, что хозяин провожает покойных предков только до края поля. Вспаханная земля считалась безопасной, но это был рубеж, за которым начинались владения «инога мира», например, духов-хозяев леса.

Особо была ритуализирована поминальная обрядность во время празднования дня Кегри.

Kegrin päivü 'День Кегри', отмечавшийся 1–2 ноября или в первую субботу ноября (сведений о нем сохранилось очень мало), знаменовал собой окончание старого и начало нового хозяйственного года. Это был праздник урожая и завершения пастбищного сезона. В некоторых районах этот временной отрезок называют jakoaika 'время раздела' [Мансикка 1917: 203]. По сути, его можно трактовать как древний «новый год». Не случайно в старинных заговорах и ритуальных святочных песнях образ Кегри играет такую же роль, как, видимо, стадильно более поздний южнокарельский святочный персонаж Сюндю.

К этому времени заканчивался летний цикл и начинался зимний, была завершена полевая страда, наступал период женских работ: обработка льна и шерсти, прядение и вязание. Все многочисленные данные, собранные об этом празднике, свидетельствуют, что его центральным персонажем было некое божество (или мифологическое существо) Кегри [Иванова 2012: 27–35].

Сохранились сведения, что еще в конце XIX века карело-финское население Восточной Финляндии центральное место в этот праздник отводило обрядам, связанным с одним из самых архаичных культов, с культом мертвых [Kemppinen 1960: 37]. В древности, по видимому, именно он, наряду с жертвоприношением, составлял основу праздника, уступив позднее первенство ряженью, в котором в XX веке уже забывалась связь с тотемистическими представлениями, а приоритет отдавался развлекательной стороне.

Накануне дня Кегри для покойных предков, на время возвращающихся с того света, топили баню, приносили воду и веник, чтобы они попарились и помылись. А в избе в это время готовили праздничное угощение. Через некоторое время в баню шли хозяева, а synduzet 'первопредки и умершие родственники', согласно древним верованиям, приходили в дом и начинали пировать. Затем хозяева, вернувшись из бани, стелили постель для ночлега покойных, и сами садились на их место за стол [Krohn 1950: 296–298]. Всё это должно было обеспечить в будущем году хороший урожай, благополучие в доме, а особенно в животноводстве [Календарные 1973: 123–125]. Карелы также поминали почивших родителей и считали Кегри своим духом-покровителем. Праздник этот выпадал на первую субботу ноября перед Дмитриевым днем и считался поминальной субботой [Virtaranta 1958: 764]. В XX веке карелы ходили на кладбище, чтобы навестить прародителей и заручиться их покровительством. Там оставляли им угощение. Чаще всего это были рыбники, позже яйца (считалось, одним яйцом как средоточием жизненной энергии можно накормить сорок покойников); запрещалось брать изделия из картофеля (карелы считали его творением нечистого и называли *karun tyrä* 'кила черта или половой орган черта'). Одним из старинных поминальных угощений было толокно. В Суйстамо говорили: «Kegri tulou, pidäis talkkunajauhuo suaha» – «Кегри придет, надо бы толокняной муки достать» [KKS 1974: 119]. Тверские карелы, по свидетельству летописи 1869 года, в субботу «в день Кегри» варят много толокна, постятся до полудня, а затем, «помолившись, садятся за стол и с этим толокном поминают усопших родных» [Маслова 1937: 150]. Имеются сведения, что во время праздничного пира «покойники иногда присутствовали через представителей, т. е. ряженных и маскированных посетителей и нищих, или в виде человекообразного чучела» [Мансикка 1917: 203].

В Конттиолахти рассказывали в 1907 году быличку о Кегри и духе-хозяне бани: «Olivat ne Timovaaran asukkaat ennen vanhaan Keyriäki palvellet. Keyriä olivat näet kylpemään lähtiessä kantaneet ruokaa pöytään, kaikenlaista hyvyttä, mitä talosta oli ja sitten käskeneet Keyriä syömään, jotta “syykät nyt kylpyaikan!” Olipa kerran sitten muuan mieskanalja mennyt ja pistellyt suuhunsa paraan hyvän ja sitten laskenut siat loppuja korjamaan ja pannut oven kiini. Kylynväki oli saunasta tullut ja kuunnellut oven takana ja sanonut, jotta “Keuri on vielä ruuvalla, koska niin suu matsaa!”» – «Когда-то в старину жители Тимоваары поклонялись и Кегри. В день Кегри женщины перед уходом в баню собрали еду на стол, все самое хорошее, что было в доме, и пригласили Кегри покушать: «Поешь, пока мы в бане!» В это время чужой мужик-«каналья» пришел и съел все самое вкусное, а потом запустил свиней, чтобы те доели остатки, и закрыл дверь. Дух-хозяин бани пришел из сауны, слушает за дверью и говорит: «Кегри еще ест, раз так рот чавкает!» [Paulaharju 1981: 32].

К середине XX века под влиянием христианства празднование дня Кегри было забыто полностью. Но поминальная обрядность [Конкка 2014: 66–73] сохранилась как *mustinsuovattu* ‘поминальная суббота’: «Mustinsuovattu on jälkimäine suovattu Pokrovua vaste sygyzyl... Minä päivänä on Kekri, ni siitä ensimmäini suovatta tuaksipäin on muissinsuovatta» – «Поминальная суббота – это последняя суббота перед Покровом, осенью. В какой день Кегри, и одну субботу назад – это и есть поминальная суббота» [KKS 1974: 119]. Было четко расписано, как проводить дни всей поминальной недели. В среду и пятницу нельзя было ничего стирать, мыть, иначе «на том свете дорогим покойникам придется пить эту грязную воду». Женщины вязали, пряли, шили, мужчины вязали сети. Во вторник и четверг ходили в баню [Paulaharju 1995: 165].

Таким образом, и в похоронно-поминальной обрядности подчеркивается, что баня была сакральным локусом для карела. Главной ее функцией была не столько очистительная, сколько функция поддержания культа предков и духов-хозяев бани.

Литература и источники

ФА – Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН.

KKS 1974 – Karjalan kielen sanakirja. Osa II. Helsinki, 1974.

KKS 2005 – Karjalan kielen sanakirja. Osa VI. Helsinki, 2005.

SKS – Suomen kirjallisuuden seura (Фольклорный архив Общества финской литературы).

SKVR II – Suomen Kansan Vanhat Runot. Osa II. Helsinki, 1927.

Винокурова И. Ю. Банные обряды жизненного цикла человека в вепсском культурном ландшафте // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4. С. 57–67.

Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1.

Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Петрозаводск, 2011.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012.

Кагаров Е. Г. О значении некоторых русских свадебных обрядов // Известия Императорской Академии наук. VI серия. Пг., 1917. Т. XI. № 9. С. 645.

Календарные 1973 = Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1973.

Конкка А. П. Клубок для Кегри, или некоторые проблемы изучения древнего карельского аграрного праздника (культ мертвых и вопросы временной приуроченности) // Историко-культурный ландшафт Северо-Запада-3 / Шестые международные Шегреновские чтения. СПб., 2014. С. 66–73.

Конкка А., Огнева О. Праздники и будни. Петрозаводск, 2010.

Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992.

Кремлева И. А. Похоронно-поминальные обычаи и обряды // Русские. М., 1997.

Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза. СПб., 2001.

Криничная Н. А. Сынове бани // Этнографическое обозрение. 1993. № 4.

- Липинская В. А. Баня и печь в русской народной медицине // Баня и печь в русской народной традиции. М., 2004. С. 177.
- Мансикка В. Из финской этнографической литературы. Петроград, 1917.
- Маслова Г. С. «Kegrin päivä» у карел Калининской области // Советская этнография. 1937. № 4. С. 150.
- Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. Баня в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 68–85.
- Рыбаков Б. А. Язычество в Древней Руси. М., 1987.
- Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л., 1977.
- Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985.
- Тароева Р. Ф. Материальная культура карел. М. –Л., 1965.
- Kemppinen I. Suomalainen mytologia. Helsinki, 1960.
- Krohn K. Suomalaisen runojen uskonto. Helsinki, 1915.
- Paulaharju S. Matkakuvia Karjalan kankailta 1907. Helsinki, 1981.
- Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Jyväskylä, 1995.
- Vahros I. Zur Geschichte und Folklore der grossrussische Sauna. Helsinki, 1966.
- Vilkuna K. Vuotuinen ajantieto. Helsinki, 1950.
- Virtaranta P. Vienan kansa muistele. Porvoo-Helsinki. 1958.

Ольга Павловна Илюха

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

БЕЛОРУСЫ В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ КАРЕЛИИ В 1960-Х ГОДАХ*

Проблема экономической, в том числе трудовой миграции в современном мире вызывает интерес специалистов разного профиля, поскольку перемещение больших групп населения влечет за собой широкие социальные и этнокультурные последствия. В этой связи полезно обращение к историческому опыту отдельных стран и территорий, раскрытие особенностей и социокультурных эффектов трудовой миграции в их исторической динамике, выявление факторов инкультурации и интеграции мигрантов как в трудовые коллективы, так и в локальные сообщества.

Карелия стала регионом-реципиентом трудовых ресурсов уже в первые советские десятилетия. Вербовка рабочих кадров переселенческим управлением велась с учетом национального фактора с целью увеличения в составе населения автономной республики представительства карелов, финнов, ингерманландцев. Кроме того, добровольное и принудительное переселение привело к появлению здесь крупных групп рабочих-иммигрантов финского происхождения из США и Канады, а также пестрых по национальному составу рабочих поселений ГУЛАГа [Вавулинская 2005: 54–79]. Переселение из Белоруссии не имело сколь-либо существенных масштабов вплоть до 1940 г., когда началось заселение отошедших от Финляндии территорий Карельского перешейка, входившего до 1944 г. в состав Карело-Финской ССР и Северного Приладожья, а также депортация в Заонежье раскулаченных из западных районов Белоруссии [Бирин 1992: 80–83].

В послевоенный период Карелия испытывала острый дефицит рабочей силы, постепенная ликвидация которого вновь осуществлялась во многом за счет регулирования миграционных потоков с использованием системы организованного набора. Одним из наиболее значимых регионов-доноров в новых условиях стала Белорусская ССР, жители которой искали в Карелии средства для решения собственных материальных проблем. Вербовка рабо-

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект №15-21-01004 «Белорусская диаспора в Карелии: формирование и процессы интеграции (середина XX – начало XXI веков)»

чих кадров в Белоруссии шла успешно, чему способствовало использование системы льгот и надбавок для переселенцев. Однако многие мигранты задерживались лишь на сезон, поскольку не находили в северном крае приемлемых условий жизни. Главным препятствием для закрепления кадров становился жилищный вопрос, поскольку переселенцам приходилось жить в холодных и необустроенных бараках, клубах, сараях. По мере решения социальных проблем ситуация постепенно менялась [Барабаш 2015: 207; Вавулинская 2014: 35–38].

В целом во второй половине 1940–1950-х годов Белоруссия стала ведущим поставщиком рабочих кадров в Карелию, прежде всего, в лесозаготовительную отрасль. На момент всесоюзной переписи 1959 г. в каждом районе республики проживали белорусы, а их доля в составе населения КАССР превысила 11 %. В результате белорусы стали третьим по величине этносом Карелии вслед за русскими и карелами [Народное хозяйство 1985: 8].

В 1960-х годах, как и в послевоенные годы, основная часть рабочих, приезжавших в порядке оргнабора, поступала в Карелию из Белоруссии. Организованный набор производился в плановом порядке в республиках и областях, располагавших избытком рабочей силы и с учетом сложившегося тяготения отходничества к определенным промышленным районам. В первой половине 1960-х годов прибывшие из Белоруссии составляли в среднем 75 %, а в отдельные годы 100 % общего набора, во второй половине десятилетия – около 50 % [Илюха 1988: 97].

Включение белорусов (наряду с другими этносами) в рабочие коллективы, как и в целом их интеграция в состав населения Карелии, происходили, как правило, в бесконфликтной среде. Конкретное этнографическое исследование производственного и семейного быта лесозаготовителей многонационального поселка Верхний Олонец было проведено в 1960–1963 гг. группой научных сотрудников Петрозаводского института языка, литературы и истории АН СССР (ныне – ИЯЛИ КарНЦ РАН). В состав коллектива входили известные впоследствии этнологи В. В. Пименов, Р. Ф. Тароева (Никольская), фольклорист У. С. Конкка. В ходе экспедиций велось изучение различных сторон повседневной жизни лесозаготовителей. Путем непосредственного наблюдения, а также с помощью метода анкетирования был зафиксирован ряд интересных фактов и явлений, характеризующих межнациональные контакты коренных жителей и рабочих-мигрантов, составлявших коллектив лесопункта общей численностью 367 чел. (июль 1960 г.). Результаты работы были опубликованы в коллективной монографии «Верхний Олонец – поселок лесорубов» (1964). Книга написана с ярко выраженным идеологическим акцентом, однако приведенный в ней фактический материал уникален и представляет самостоятельную научную ценность. Он может быть по-новому интерпретирован при освещении проблем межкультурного контактирования.

В указанном исследовании приведены важные результаты наблюдений за бытом белорусов, хотя они и не были объектом специального рассмотрения. Проанализируем факты, позволяющие установить, какие элементы бытовой культуры оказались наиболее устойчивыми, а какие быстро утрачивались рабочими-белорусами в процессе адаптации к инокультурной (в данном случае – смешанной) этнической среде.

Этнический состав жителей поселка Верхний Олонец на рубеже 1950–1960-х годов сформировался из двух основных групп: старожильческого карельского ливвиковского населения и пришлого – белорусов, русских, украинцев, финнов и др. – составлявшего немногим более половины населения. Белорусы в 1960 г. составляли 21,8 % жителей рабочего поселка. Характерно, что к числу белорусов исследователями были отнесены и немногочисленные поляки, якобы утратившие свою этническую идентичность [Верхний Олонец 1964: 39–40].

Большинство белорусов прибыли сюда по вербовке. Часть из них имела опыт работы на лесосплаве, а основной состав – колхозники, – также были знакомы с особенностями работы в лесу и легко осваивались на производстве, «хорошо управлялись с лошадью, пилой и топором». Кроме того, информанты утверждали, что так или иначе «каждый крестьянин-белорус работал на лесозаготовках» [Верхний Олонец 1964: 41, 57]. Результатом такого положения вещей была быстрая адаптация и профессиональный рост многих рабочих-белорусов. Так, в республике и за ее пределами в начале 1960-х годов широко пропагандиро-

валась инициатива передового мастера лесозаготовительного участка из Верхнего Олонца, уроженца Белоруссии В. Д. Шипило, по развертыванию в Карелии движения за быстрее восстановление лесов, бригада которого работала под девизом «Срубил дерево – посади два» [Шипило 1960: 15].

В качестве позитивного момента отмечалось, что белорусы, как и другое славянское население, в отличие от карелов, не сохранили народных верований и «предрассудков», связанных с лесом [Верхний Олонец 1964: 58]. Как особенность работы женщин-белорусок на лесных участках исследователи отмечали пение ими советских патриотических и лирических песен, частушек, услышанных в клубе, по радио или собственного сочинения. Образ жизни лесного поселка отражался в тематике произведений самодеятельных поэтов, в местном фольклоре. Так, по наблюдениям исследователей, производственная тематика была центральной темой частушек, записанных белорусскими девушками А. Дубинец и Л. Петраченоквой в их рукописных песенниках [Верхний Олонец 1964: 58, 178].

Белорусские рабочие (наряду с карелами) оказались гораздо менее активными посетителями местной библиотеки, по сравнению с русскими. В духе времени это объяснялось низкой грамотностью приехавших из Западной Белоруссии: «сравнительно низкая грамотность их объясняется общим уровнем образования в Западной Белоруссии до воссоединения ее с Советским Союзом» [Верхний Олонец 1964: 170].

Наличие в домашнем хозяйстве скота исследователями не без основания рассматривается в качестве маркера степени «оседлости» семьи. Характерно, что коров в Верхнем Олонце держали в основном карелы, тогда как белорусы предпочитали иметь коз. При этом наличие в хозяйстве скота, даже мелкого, оценивалось как постепенное преодоление идеологии «сезонничества», закрепление белорусов на относительно продолжительный срок жительства. «Вместе с тем мысль о возвращении в родные места со значительными сбережениями отдельных рабочих не покидает», – этот мотив исследователи находили решающим, поскольку в случае отъезда мелкий скот «легче сбыть с рук».

Культурной интеграции белорусов в локальное сообщество способствовали смешанные браки. Наиболее характерным вариантом в Верхнем Олонце были русско-белорусские браки (13,7 % от общего числа браков), карельско-белорусские (10 %), тогда как национально-однородные браки между белорусами составили 9,4 % всех пар. Характерно, что свадьбу белорусские пары обычно играли на родине, когда приезжали в Белоруссию во время отпуска. Детей, родившихся в карельско-белорусских семьях, «записывали» карелами, в русско-белорусских – русскими [Верхний Олонец 1964: 106–107, 136].

С особой тщательностью выявляя «позитивные перемены» в жизни советской семьи, исследователи подчеркивали изменение отношения к зятю-примаку, статус которого в дореволюционное время в карельской семье был приниженным, а положение стесненным. Заслуживает внимания описание внутрисемейной «экономической политики» и связанной с ней субординации, выбранной исследователями в качестве эталона «интернациональных связей», где глава семьи был белорусом, невестка – карелкой, зять – русским. «Семья пожилого рабочего-белоруса К. А. Жука состоит из 8 человек: он, жена, сын с женой и дочь с мужем и ребенком и, наконец, младший сын, ученик 9 класса. Семья живет в отдельном 3-комнатном доме. Главой семьи является отец – «бацька». Все работающие члены семьи отдают ему заработанные деньги, а он выделяет часть из них жене на расходы (на продукты питания и мелкие покупки), а остальные деньги откладываются для приобретения вещей для всех членов семьи, вплоть до самого маленького – внуки. <...> В семье К. А. Жука их зять, В. А. Филин с женой и дочерью имеют отдельную комнату, все члены семьи питаются за одним столом, у них общая «касса». Зять работает в лесу трактористом, зарабатывает 160–170 руб. в месяц. Таким образом, участие зятя-примака в общественно-полезном труде делает его экономически-независимым и равноправным членом рабочей семьи» [Верхний Олонец 1964: 112–113].

Исследование выявило наиболее жизнеспособные элементы традиционной белорусской культуры в условиях многонационального поселка лесозаготовителей. В их числе ока-

зался свадебный обряд, традиционная вышивка (на полотенцах и занавесях, в т. ч. в «переднем углу»), но уже как самостоятельный элемент декора, а не украшение икон). В гардеробе, особенно у мужчин, не выделялись какие-либо национальные особенности. В одежде женщин они также были едва уловимы. У белорусских женщин, так же, как у украинок, более популярным был костюм, состоящий из блузы и кофты или блузки, тогда как карелки предпочитали носить платья. Под воздействием украинско-белорусской группы в рабочем поселке появился обычай ношения обручальных колец. Сферой интенсивного «международного культурного обмена» и заимствований стала народная кухня. Эти признаки национальной культуры, определялись специалистами как «едва уловимые», что соответствовало концепции стремительного сближения народов и слияния их в «единую общность – советский народ», «цементирующей силой» которого выступал рабочий класс, а ученые должны были доказывать неотвратимость процесса «стирания различий» [Гребенюк 2011]. В этой связи, не сомневаясь в достоверности отдельных фактов, приведенных в рассматриваемой монографии, следует подходить с критических позиций к принципам их отбора (информация о проблемах жизни поселка в целом сведена к минимуму, представлена лишь в общем плане), а также оценкам и выводам исследователей.

1960-е годы были отмечены началом новой тенденции в развитии белорусской диаспоры в Карелии. Если перепись 1959 г. отразила пик численности белорусов, то перепись 1970 г. показала снижение их доли в составе населения до 9,3 %. Постепенное сокращение доли белорусов в составе населения Карелии, начавшееся в 1960-х годах, продолжалось и в дальнейшем [Народное хозяйство 1985: 8].

Одной из ведущих причин изменения ситуации стало сокращение объемов лесозаготовок в Карелии. С 1965 г. в этой связи меняется направление миграционных потоков между Карелией и Белоруссией. Если за 1960–1964 гг. в результате миграционного обмена с этим регионом население Карелии увеличилось на 7,3 тыс. человек, то за 1965–1969 гг. оно сократилось на 8 тыс. человек [НАРК, ф. 3380, оп. 1, д. 5/45, л. 5; Сущенко 1972: 82]. Причиной сложившейся ситуации стало также замедление в целом темпов экономического развития Карелии, отставание республики от многих регионов страны в социально-бытовой и культурной сфере. Тем не менее, в 1960-х годах в Карелии доля белорусского населения, занятого в промышленном производстве, в целом соответствовала представительству белорусов в общей численности населения. Наиболее высокой доля белорусов была в зоне нового лесопромышленного освоения. По данным Юшкозерского, Паданского, Пряжинского леспромхозов за 1966 г., белорусы составляли 23,2 % численности рабочих. В то же время они преобладали среди населения лесозаготовительных поселков Вача, Ахвенламби, Шагловаара, Тулос, Телекино, Маслозеро, Тикшезерка и др. [Покровская 1978: 156].

Белорусская ССР из активного «поставщика» рабочих кадров в Карелию стала их «потребителем». Сформировавшаяся в первые советские десятилетия мобилизационная модель пополнения трудовых ресурсов в лесозаготовительной промышленности продолжала функционировать и в 1960-х годах, хотя для Карелии она постепенно утрачивала свое значение.

Литература и источники

Барабаш Н. Организованный набор рабочих и общественные призывы в БССР (1946–1965 гг.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск: Беларуская навука, 2015. Выпуск 30. С. 203–209.

Бирин В. Н. Этнический состав Заонежья в Советский период // Заонежье. Петрозаводск, 1992. С. 80–83.

Вавулинская Л. И., Веригин С. Г., Илюха О. П., Филимончик С. Н. История экономики Карелии. Кн. 2. Экономика Карелии советского периода. Петрозаводск: Петропресс, 2005. С. 54–79.

Вавулинская Л. И. Организованный набор рабочих в лесную промышленность Карелии во второй половине 1940-х – 1960-е гг. // Историческая демография. Научный журнал. 2014. № 1 (13). С. 35–38.

Верхний Олонец – поселок лесорубов. Опыт этнографического описания. Отв. ред. К. В. Чистов. М. –Л.: Наука, 1964.

Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность наличного населения городов и других поселений, районов, районных центров и крупных сельских населенных мест на 15 января 1959 года по республикам, краям и областям РСФСР. http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php.

Гребенюк М. Н. Советский народ: государственно-политический конструкт // Электронное научное издание «Аналитика культурологии» 2011. Вып. 3 (21). <http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/769-18.html>.

Илюха О. П. Промышленные рабочие Карелии в 1960-х годах. Дисс. ... канд. ист. наук. Ленинград, 1988.

Народное хозяйство Карельской АССР. Статистический сборник. Петрозаводск, 1985. Национальный архив Республики Карелия (НАРК).

Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1978.

Сущенко О. П. Некоторые социально-экономические проблемы формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в районах СССР со специфическими природными условиями (На материалах Карельской АССР). Дисс. ... канд. экон. наук.

Шипило В. Сохраним красу родной природы // Мастер леса. 1960. № 12. С. 15–16.

Владимир Адольфович Кокко

*Добровольное общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто»,
г. Санкт-Петербург*

РЕПАТРИАЦИЯ ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ В ФИНЛЯндию: 25 ЛЕТ ИСТОРИИ

10 апреля 1990 г. в интервью, данном второму каналу финского телевидения, президент Мауно Койвисто заявил, что «ингерманландцы являются финнами» и «их можно приравнять, например, к финским репатриантам из Америки и Швеции». Многими ингерманландскими финнами в СССР слова М. Койвисто были восприняты как приглашение в Финляндию. А финские официальные органы слова «можно приравнять» истолковали как «следует приравнять». Так, 25 лет назад началась репатриация финнов-ингерманландцев в Финляндию, ставшая заметным явлением в их новейшей истории.

Правомерность использования термина «репатриация»

На Приневские земли и южный берег Финского залива предки ингерманландских финнов начали переселяться с территории в Финляндии в XVII в. во времена шведского владычества. Гораздо в меньших масштабах эта миграция продолжилась в первой половине XVIII в. и в начале XIX в. с территории так называемой «Старой Финляндии». Сохраняя культурные связи с финляндской прародиной, к середине XIX в. ингерманландские финны сформировались в особый этнос. От финляндских финнов их отличала, прежде всего, историческая судьба, тесно связанная с Россией. Ингерманландские финны в начале XVIII в. стали подданными Российской империи. На сегодняшний день финны-ингерманландцы – единственная сохранившаяся в мире группа финнов за пределами Финляндии, не являющихся потомками финляндских граждан, поскольку понятие «финляндское гражданство» появилось в 1809 г. с образованием Великого Княжества Финляндского.

Такие факторы, как крепостное право, общинное налогообложение, советское колхозное строительство сформировали в ингерманландских финнах особые черты идентичности, как, например, коллективизм, не присущие финнам Финляндии. В годы раскулачивания и сталинских репрессий ингерманландские финны оказались в числе «репрессированных народов», тотально депортированных со своей родины. Эта трагедия сформировала в них то, что можно назвать «синдромом репрессированного народа», передающегося из поколения в поколение.

Отличными от финляндских финнов были экономические и культурные особенности их развития финнов-ингерманландцев, объясняющиеся, главным образом, близостью Петербурга. Разумеется, у них выработался собственный диалект (специалисты говорят о диалектах) финского языка, сохранявший родство с карельским и савским диалектами, но испытывавший огромное влияние русского языка. Даже этнический субстрат, из которого формировался ингерманландский этнос, является оригинальным. В течение XVII–XIX вв. они ассимилировали немалое количество автохтонных ижор.

С научной точки зрения, «вечный» спор о том, являются ли ингерманландские финны отдельным народом или представляют собой лишь этническую группу финнов, волею судьбы оказавшихся в России, должен быть решён в пользу отдельного народа. О том, что родина – это «здесь», а Финляндия – это «там», поётся в многочисленных народных песнях ингерманландцев.

Представление о том, что финны из Ингерманландии, хотя и соплеменники, но «чужие», к началу XX в. преобладало и в Финляндии. Впервые значительное число финнов-ингерманландцев оказалось в Финляндии во время гражданской войны в России. Через границу на Карельском перешейке на финскую сторону бежало свыше 8 тысяч ингерманландских финнов [Невалайнен 1999: 106]. Для помощи им был создан Государственный центр помощи беженцам [Мусаев 2007: 325], т. е. их рассматривали именно как **беженцев** (фин. *pakolaisia*). Кстати, с началом Новой экономической политики и после подписания в 1920 г. **Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией** почти половина из них вернулась обратно в родные деревни.

Во второй раз около 60 тысяч финнов из Ингерманландии оказались в Финляндии во время Второй мировой войны. В 1943–1944 гг. они, по соглашению между финскими официальными органами и немецкими оккупационными властями, были вывезены с временно оккупированной территории Ленинградской области в Финляндию через фашистский концлагерь Клоога (Эстония). Из лагеря их перевезли в Финляндию, где их направляли на работу на фермы и фабрики. В этот период ингерманландских финнов в Финляндии рассматривали как **перемещённых лиц** (фин. *siirtoväki*) [подробно об этом: Nevalainen 1989]. Формально их эвакуация с территории Ленинградской области была добровольной, хотя альтернативой «добровольного переезда» была голодная смерть в фашистской оккупации.

Идея о том, что в Финляндии к ингерманландским финнам следует относиться как к **репатриантам** (фин. *palumuuttajia*) целиком и полностью принадлежит Мауно Койвисто. Более трёх с половиной веков многие поколения ингерманландских финнов прожили на приневских землях, и для всех их вопрос о том, где родина, решался однозначно в пользу Ингерманландии. Президент М. Койвисто сообщил нам, что у нас есть ещё одна родина, Финляндия, т. к. термин «репатриация» (фин. *palumuutto*) означает именно возвращение на родину. Характерная особенность репатриации состоит в том, что обычно репатриантам родина незамедлительно предоставляет (или возвращает) гражданство. Ни в 1919, ни в 1943–1944 гг. Финляндия, однако, не озаботилась предоставлением гражданства финнам из Ингерманландии. Автоматического предоставления финского гражданства не предусматривалось для лиц финского происхождения с территории бывшего СССР и в этот раз. Решение М. Койвисто стало неожиданностью даже для членов руководства созданного в 1988 г. Общества «Инкерин Лиитто»; с нами этот вопрос финские представители не обсуждали.

В качестве мотивации своего решения президент М. Койвисто упоминал, в частности, «долг чести» (фин. *kunniavelka*). Имелся в виду, очевидно, возврат финскими властями ингерманландских финнов обратно в Советский Союз, начавшийся зимой 1944–1945 гг. Но Финляндия, спасшая от голода и ужасов войны десятки тысяч ингерманландцев, не могла тогда поступить иначе. Потерпев поражение в войне, она обязана была выполнить условия Московского перемирия, заключённого в 1944 г. между Финляндией и СССР с Великобританией, одна из статей которого указывала на необходимость возврата в СССР всех советских граждан.

Несомненно, что на решение, принятое М. Койвисто, повлияла и катастрофическая экономическая ситуация, сложившаяся в СССР к 1990 г. В Европе готовились к наплыву

миллионов голодных беженцев из бывшего социалистического лагеря, и Финляндия выразила, таким образом, желание легально принять «соплеменников». Такая политика работала также на новый имидж внешней политики страны, избавлявшейся от условий Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 года.

Так или иначе, термин «репатриация» с 1990 г. стал применяться в отношении переселения ингерманландских финнов в Финляндию с территории бывшего СССР. В настоящей статье мы, следуя фактам, будем придерживаться этого термина, понимая его недостаточную историческую обоснованность.

Механизм репатриации

В 1990 г. репатриация ингерманландских финнов началась хаотически. Финны из СССР приезжали в Финляндию по туристическим визам и, обращаясь в ближайший полицейский участок, показывали свой паспорт с финской фамилией, заявляя, что желают остаться здесь жить, что в ряде случаев являлось основанием для их переселения в Финляндию. Тогда чиновники, во-первых, озаботились вопросом, кого считать «финном»? Спешно было решено, что финном признаётся тот, кто предъявит советские документы, из которых следует, что хотя бы один дедушка или бабушка заявителя записаны финнами. Во-вторых, вид на жительство следовало впрямь запрашивать в стране своего проживания (напр., в России или Эстонии), а чтобы получить его, следовало пройти собеседование с ответственным консулом, представлявшим Департамент по делам иностранцев (фин. *ulkomaalaisvirasto, UVV*). На собеседование сразу стали расти очереди, ведение которых вначале было поручено ингерманландским союзам.

В 1996 г. условия репатриации ужесточились, теперь надо было доказать, что человек сам, один из его родителей или двое из дедушек и бабушек числятся по документам финнами. Фактически надо было предоставить два оригинальных документа, доказывающих финское происхождение, причём копии, например, свидетельств о рождении, выданные после 1990 г., в качестве доказательства не принимались. Теперь для желающих переселиться в Финляндию надо было обязательно пройти языковые курсы по подготовке к репатриации, которые в России, организовывались в Петербурге, Гатчине и Петрозаводске. Вводилось также требование «наличия жилья в Финляндии» (обычно следовало представить договор аренды жилья). В диппредставительствах Финляндии появился специалист, который, созваниваясь с властями коммун, выяснял наличие такого жилья и предлагал варианты будущим репатриантам. Стала расти ещё одна очередь из закончивших курсы, но ожидающих положительного решения о предоставлении жилья.

В 2003 г. соответствующая статья Закона об иностранцах, на основании которого ингерманландские финны репатриировались в Финляндию, снова ужесточилась. С 01.10.2003 г. для потенциальных репатриантов вводилось требование владения финским языком на уровне А2, и в России стал проводиться соответствующий экзамен, называемый сокращённо ИРАКІ. Для Эстонии, которая 1 мая 2004 г. вступила в Европейский Союз, очередное нововведение, как и репатриация, не имело значения, так как граждане и постоянные резиденты стран ЕС могут жить в любой стране Евросоюза. Для финнов-ингерманландцев, проживающих в странах СНГ, механизм репатриации усложнился настолько, что финские власти перестали справляться с его администрированием, а переезд ингерманландских финнов из России к 2007 г. фактически застопорился. Многие из них находились в очереди на репатриацию по 10–15 лет.

В основном ужесточение законодательства происходило под влиянием общественного мнения. В 1996 г. и в 2002–2003 гг., средства массовой информации бурно обсуждали «ингерманландскую преступность» в Финляндии и отсутствие у «ингерманландцев» из бывшего СССР финской идентичности. Реальных фактов приводилось немного, а полиция официально заявляла, что не вправе выяснять этническое происхождение правонарушителей.

В 2008 г. администрирование ингерманландской репатриации было целиком передано Департаменту по иммиграции (фин. *maahanmuuttovirasto*), подчинённого МВД. В 2010 г. законодательство вновь изменилось, на сей раз в сторону упрощения процесса репатриации [http://www.migri.fi/paluumuutto/paluumuuttaja_entisen_neuvostoliiton_alueelta/hakemuksen_jatt

amisen_edellytykset]. Очередь желающих переехать в Финляндию ингерманландских финнов официально упраздняясь; отныне всякий, в неё однажды заявившийся, мог записаться на очередной экзамен ИРАКИ. Обучение на курсах по подготовке к репатриации также стало добровольным, а собеседование вообще упразднилось. Главным же изменением было то, что были установлены временные рамки для ингерманландской репатриации: о желании переехать в Финляндию следовало заявить до 1 июля 2011 г., а 1 июля 2016 г. вся система объявлялась прекращающей своё существование. Департамент по иммиграции поставил своей целью ускоренно рассматривать дела тех, кто числился в бывшей репатриантской очереди и намерен переехать.

Масштабы репатриации ингерманландских финнов

Когда репатриация ингерманландских финнов только начиналась, в Финляндии были весьма фантастические представления о её возможных масштабах. В одном из документов 1998 г. находим информацию о том, что в Финляндию переехало 20 тысяч ингерманландцев и ожидается ещё 100 тысяч [Backman 1998].

Проблема в том, что точного количества переселившихся в Финляндию ингерманландских финнов не знает никто. Официальная статистика фиксирует количество **граждан** из России, приехавших в Финляндию со статусом «репатриант» в таком-то году. Но в это число входят также супруги финнов-ингерманландцев иной национальности и их несовершеннолетние (до 18 лет) дети. Большинство ингерманландских финнов состоят в межнациональных браках, и в таком случае сложно определить национальность детей.

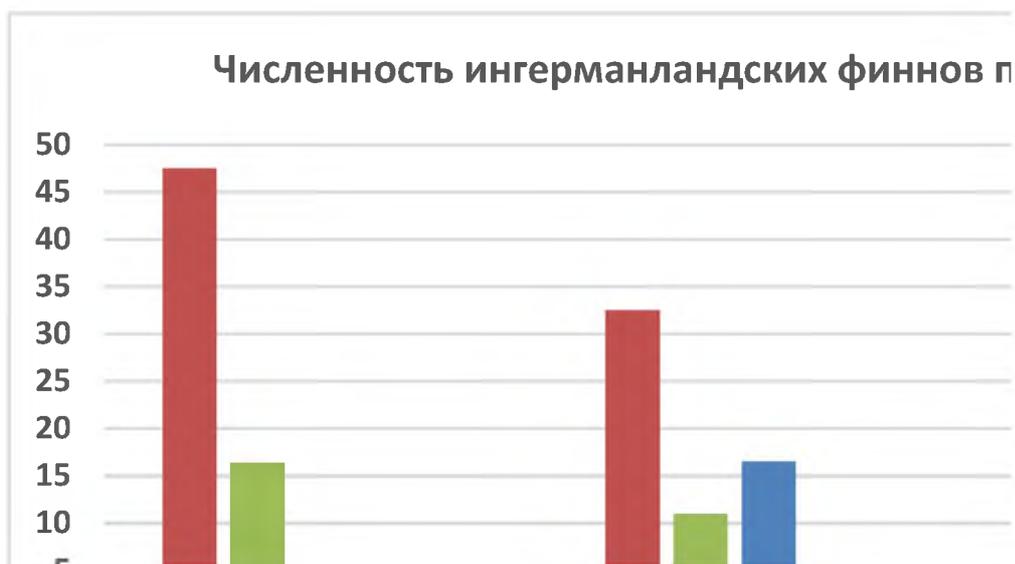
Со статусом репатрианта переезжают в Финляндию из России также потомки финских граждан, например, потомки так называемых «красных финнов». Понятно, что для оценки количества репатриантов-ингерманландцев в Финляндии цифры официальной статистики по репатриации надо уменьшать, но насколько – вопрос очень сложный. Сложно определить численность финнов-ингерманландцев, переселившихся в Финляндию из Эстонии, поскольку после 2004 г. они переезжали уже не как репатрианты. Значит, общую численность финнов-ингерманландцев в Финляндии надо увеличить, но насколько? Официальной статистики этнической принадлежности лиц, законно проживающих на территории Финляндии, не существует. Правда, статистика по родному языку имеется, но ведь ингерманландские финны-переселенцы могут заявить в качестве родного и финский, и русский, и эстонский языки.

В 1990-е гг. было установлено, что Финляндия будет принимать не более 2 тыс. ингерманландских репатриантов в год, однако лишь два-три раза в данный период это количество достигало 1200–1400 человек [Virtanen 1999: 6]. Главной причиной в то время переезда финнов из России в Финляндию была неуверенность в будущем, на втором месте стояли экономические мотивы и лишь на третьем – этнический фактор [Kokko 1997: 19]. Приживались ингерманландские финны в Финляндии непросто, в 1990-е гг. уровень безработицы среди них составлял 40 % [Virtanen 1999: 7], что, впрочем, соответствовало общему уровню безработицы среди иммигрантов в стране. В 2000-е гг. в Финляндию переселялось в среднем по 300–400 ингерманландских финнов в год [Kokko 2007: 9]. В 2010-е гг. это количество, судя по статистике Департамента по иммиграции (www.migri.fi), существенно не менялось, хотя в последние годы имелась тенденция к его уменьшению.

Отношение официальных органов Финляндии к репатриантам-ингерманландцам лучше всего отражает то, какие ведомства курировали этот процесс. В начале, когда Финляндия воспринимала репатриацию как гуманитарную миссию по «спасению» финнов-ингерманландцев, его вело Министерство соцобеспечения и здравоохранения. Когда выяснилось, что 37 % из переехавших имеют высшее образование [Virtanen 1999: 7], ингерманландских репатриантов стали рассматривать как ресурс рынка труда, и их делами занималось финское Министерство труда. Когда стало ясно, что «ста тысяч ингерманландцев» в Финляндии не предвидится, а их доля в общей иммиграции незначительна (около 1,5 % от общей численности), перешли к суммарному администрированию процесса репатриации силами Министерства внутренних дел.

25 лет репатриации ингерманландских финнов в Финляндию привели к радикальному изменению географии их проживания. Этот процесс сопровождался ассимиляцией финского меньшинства в России, Эстонии и Швеции. По данным ингерманландских союзов России и

Эстонии, ингерманландско-финских организаций Финляндии и имеющейся финской статистики по репатриации, можно привести оценочные данные [Kokko 2014: 7] об их проживании в разных странах (см. диаграмму). Из этих сведений следует, что больше всего ингерманландских финнов сейчас проживает в Финляндии. Их здесь больше, чем осталось в России. Этот сдвиг сравним в историческом масштабе с событиями их истории XVII или XX веков. Произошли поистине драматические, судьбоносные изменения, последствия которых предстоит ещё изучить. Несомненно одно – позиции финской культуры и финского языка в России в результате репатриации ингерманландцев в Финляндию существенно ослабли, несмотря на усилия ингерманландских союзов и Церкви Ингрии. Примеров этого ослабления можно привести множество. В Республике Карелия сдал свои позиции финноязычный журнал *Carelia*, на всех уровнях сократился объём преподавания финского языка. В Петербурге и Ленинградской области не осталось ни одного литератора, пишущего на финском языке, наблюдается дефицит переводчиков с финского языка и т. п.



В конце 2016 – начале 2017 г., когда будут рассмотрены заявления, поданные финнами-ингерманландцами до 1 июля 2016 г., на получение в Финляндии вида на жительство, процесс репатриации закончится. Закон сделал исключение лишь для лиц, находившихся в Финляндии в 1943–1944 гг., но к тому времени их останутся единицы. С 2017 г. ингерманландские финны смогут переселиться в Финляндию лишь на общих основаниях, как и другие иностранцы.

Литература и источники

Мусаев В. И. Россия и Финляндия: Миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX в. – 1930-е гг.). СПб., 2007.

Невалайнен П. Финляндия и Россия в 1920–30-е гг.: основные характеристики миграции и торговли // Россия и Финляндия в XVIII–XX вв. Специфика границы. СПб., 1999.

Backman M. Inkeriläiset Suomeen – paluumuutto vai etninen puhdistus? MOT 28.09.1998 <http://yle.fi/aihe/artikkeli/1998/09/28/inkerilaiset-suomeen-paluumuutto-vai-etninen-puhdistus-kasikirjoitus>.

Kokko W. Inkerinsuomalaiset elävät taas kohtalokkaita vuosia. Suomen mieli. 2/2014. S. 6–7.

Kokko W. Inkerinsuomalaisten ”paluumuuton” luonne. Siirtolaisuus – Migration. 1/1997. Siirtolaisuusinstituutti. Turku. S. 16–21.

Kokko W. Paluumuuttotilastot. Uutisia Inkeristä, Inkeriläisten viesti. 10/2007. S. 8–9.

Nevalainen P. Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla. Helsinki, 1989.

Virtanen M. Return migration to Finland from the former Soviet Union. Return migration, reintegration and reconstruction seminar 1–2 October 1999. Helsinki. S. 3–10.

Алексей Петрович Конкка
*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

КАРЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ РЯЖЕНИЯ И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В карельском языке имеется некоторое количество терминов, связанных с названиями ряженных на зимние Святки. До того, как перейти собственно к наименованиям ряженных, следует сказать несколько слов о ряженье как обрядовом действе, так как некоторые нижеприводимые термины напрямую связаны с мифологической основой ритуала. Как известно, ряженные – это переодетые и скрывающие свое лицо под маской, тканью или гримом, как правило, молодые, частично также и среднего возраста, жители одного населенного пункта или одной родовой общины, разнородными группами в зимние Святки вечерами обходящие дома односельчан. Вести себя они могли по-разному, в том числе в зависимости от того, какие персонажи в этом народном театре они изображали. Могли плясать и петь, изменяя голос, но часто все действо происходило молча. С другой стороны, у карел (в том числе у тверских) одной из целей ряженных было запугивание детей и молодых женщин. Пугание в данном случае связано с психологическим испытанием, которому человек должен подвергнуться в ходе ритуала, своеобразным катарсисом, то есть душевным перерождением. Переодеваться ряженные могли животными, нищими, калеками, инородцами (представителями иных национальностей или конфессий), свадебщиками (то есть участниками свадебного поезда), так называемыми специалистами (напр. охотниками, рыбаками, кузнецами, солдатами и т. д.), "покойниками", представителями нечистой силы (лешими) и пр. При этом общим явлением был так называемый трансвестизм, когда переодевались в представителей противоположного пола, например, молодые мужчины изображали пожилых беременных женщин, а мужчин в свадебном поезде – женщины средних лет.

Что же касается смысла всех этих действий (мифологического или психологического), то заметим, что у исследователей до сих пор нет единой точки зрения. Вполне вероятно, что это связано и с огромным разнообразием культур (а отсюда и множественности конкретных форм и мифологических подоплек), в которых бытуют подобные ритуалы. Надевание масок или переряжение, если использовать этот глагол, на свадьбах, похоронах, инициациях и в календарные праздники как явление существовало или существует практически у всех народов мира. И если отбросить или отложить в сторону все психологические в основе теории, связанные с *homo ludens*, то есть с "человеком играющим" (игра как естественное свойство поведения человека) [Хейзинга 1997] и взять только ритуально-мифологический аспект, то ключевым понятием здесь окажется термин «переход». Все упомянутые свадьбы, инициации и большие календарные праздники связаны, с одной стороны, с кризисом старого, а с другой стороны, сотворением нового времени и новой действительности, следующей за этим переходным временем. Замечено, что все персонажи ряженья изображают человека в переходном состоянии, в ситуации, когда в нем отсутствует некое жизненно важное качество. В этом смысле показательно зафиксированное Николаем Саухке у салминских карел представление о том, что на зимние Святки человек лишается души. Мы здесь не будем останавливаться на всех нюансах ритуальных действий, которые подробно описаны в статье о карельском ряженье [Конкка 2002], отметим лишь, что весь комплекс обрядовых действий и представлений, связанных с зимними Святками говорит нам о том, что человек в это время должен пройти своего рода реинкарнацию или перерождение – вместе с умирающим и возрождающимся окружающим человека миром.

Думается, до нас дошли не все названия ряженных, но те, которые зафиксированы на рубеже XIX и XX веков можно разделить, по крайней мере, на три группы, различных как по своему происхождению, так и по семантике. В данной статье мы рассмотрим следующие термины:

smuutta / smuuttu (smuutat) (Южная Карелия)

kruhl'atta (kruhl'atat), kuhl'atta (kuhl'atat) (Сямозеро)

bukoličča (bukoličcat) (Тунгуда)

gul'ašnikka (gul'ašnikat) (Панозеро)

kumma (kummat) (Ухта, Вокнаволок)

čuudo (čuudot) (Кимовары, тверские карелы). Ср. *čuudittaa, čuudittua*

huhl'akka (huhl'akcat), kuhl'akka (kuhl'akcat), huuhel'nikka (huuhel'nikat) (Средняя и Северная Карелия), *huuhennikka (huuhennikat), huuhenniekka (huuhenniekat)* (Ухта, Вокнаволок, Суомуссалми, Куусамо)

Kekri/Kegri (общекарельское), *Kekritär, kekrittäret* (Восточная Финляндия)

Здесь названы центры тех волостей или округов, в которых бытовал данный термин. Что касается географического распространения, то наиболее широко известными терминами являются два – это *smuutat* у ливвиков и людиков в Южной Карелии и *huhl'akcat* с вариациями на территории расселения собственно карел в Средней и Северной Карелии, а также в приграничных округах Северной Финляндии. Помимо того, на юге и севере существовали и некоторые локальные наименования ряженных, как, например, *bukoličcat* ‘буколицы’ и *gul'ašnikat* ‘гуляшники’, последнее из которых заимствовано у соседнего поморского населения. Также, например, в Вокнаволоке записан термин *smuutta*, который, возможно, указывает на исторические связи Северо-Запада Карелии и Корельского уезда, откуда мигранты в XVII веке занесли его на север.

Наименование ряженных *smuutat* [KKS 5: 439], вероятнее всего, достаточно старое заимствование. Перешедшее в русский из старославянского слово «смута» связано с глаголом *мутить* ‘перемешивать’ (ср. мутовка), *муцать* (народ) в значениях ‘неповиновение’, ‘нарушение порядка’, ‘разлад’ [Фасмер 1987: 694; Даль 4: 239]. В карельском языке имеется также ряд глаголов с этим корнем, напр. *smuttie* ‘обмануть’, ‘солгать’, ‘помутнеть’ (о зрении), ‘морочить’, ‘мерещиться’, ‘чудиться’ и т. д. [KKS 5: 438–439; Словарь карельского языка... 1990]. У Даля слово *смута* в значении ‘хухляк’, ‘окрутник’, ‘святочный ряженик’ обозначено как «олонецкое» русское, в других местностях не зафиксировано. Однако в словаре олонцкого наречия Г. Куликовского термин отсутствует. Словарь русских народных говоров повторяет Даля, ссылаясь на «Опыт областного великорусского словаря» 1852 года (откуда, возможно, и В. Даль почерпнул свои сведения) [Словарь русских народных говоров 2005: 64], что заставляет усомниться в наличии данного слова в русских говорах Карелии в значении «ряженный».

Таким образом, ряженные *смутами* – нарушители общепринятого уклада. Эта семантика в случае с ряженными связана с необычным их поведением, что, в свою очередь, диктовалось сутью временного отрезка Святки – их переходностью, когда время и пространство были принципиально иными, отличными от норм.

Название ряженного *kruhl'atta* бытовало в Сямозерской волости [KKS 2: 388]. В своем прямом значении слово употребляется для большой по объему ноши, например, копны сена. Здесь следует отметить, что часто ряженные надевали на себя одежду, полотенца и т. д. в несколько слоев, а также рядились в толстые вывернутые мехом вверх шубы, поэтому сравнение с копной сена в принципе логично. Иногда и собственно сено использовалось для придания толщины или неузнаваемости фигуре. Вполне вероятно, что и в этом случае имеется связь со святочным мифологическим персонажем *Сюндю*, которого часто видели в образе копны сена. В Сямозерской волости как название ряженного зафиксирован также термин *kuhl'atta* [KKS 2: 402]. При объяснении происхождения этого слова следует учитывать термин *kuhl'as* ‘суслон’ (что тоже связано с объемом и растительной основой – скирда или суслон ржи). Сходные по словообразованию и зафиксированные в одной местности слова *kruhl'atta* и *kuhl'atta*, отличаются, тем не менее, своей основой, и основа *kuh-* может оказаться

родственной основе *huh(l'akka)*, о которой речь пойдет ниже. «Кухляки» и «хухляки» в Карелии и в сопредельных районах часто встречаются в одних и тех же местностях и воспринимаются как варианты одного слова¹. Следует заметить, что в ближайшей к карельским деревням людиков, самой северной части расселения современных вепсов (в Шокше, Вехручье и Шелтозере), зафиксирован термин *kuhl'akod* (кухляки), более нигде у вепсов не встречающийся [Винокурова 1994: 46 (карта)]. Этот факт также дает повод для определения южной границы распространения терминов *кухляк* и *хухляк*.

В Тунгудской волости записан термин *bukoličat*, который, вероятно, представляет собой заимствование из русского. Однако в такой форме («буколицые») в описаниях святочных действий у русских он не встречается. С другой стороны известно наименование ряженных *буки*, от названия мифологического персонажа *Бука*, которым, как известно, пугали детей. У северных (шелтозерских) вепсов ряженных (наряду с *kuhl'akod*) называли словом *bukeid* (буки) [Винокурова 1994: 46]. В Вашкинском районе под *букой*, которым пугали детей, подразумевали медведя [Словарь русских говоров Карелии... 1994: 134]. Даль по поводу *буки*, помимо значения 'пугала', дает такие определения, как 'нелюдимый, угрюмый, суровый человек, медведь' [Даль 1: 138]. В Тунгуде рассказывали, что *буколицые*, в отличие от «чистых» и степенных ряженных, имели устрашающий внешний вид. Размалеванные и вымазанные сажей, с палками и поленьями, они с шумом врывались в дома и устраивали потасовки, а также нападали на другие артели ряженных [Конкка 2002: 219].

В отличие от *буколицых*, термин *guljašnikat* (< *гуляшники*), бытовавший в Панозерской волости [Конкка 2003: 396–402], был известен в Поморье как название ряженных в Кемской округе в форме *гуляльщики* [Подвысоцкий 1885: 36; СРГК 1: 414; Даль 1: 407]. Ср. *гулярный* (заонежское) 'праздничный': *гулярны сани*, *гулярна лошадь*, *гулярна сбруя* и пр. [СРГК 1: 414]. Здесь особо подчеркивается суть поведения ряженных, то есть гуляние, хождение по дворам и по деревенским улицам, когда над хозяевами домов устраивались безобидные, а иногда и не столь безобидные шутки. «Один раз мы ходили, нас было пять человек, дак мы только из дома успели выйти, как уже другие гуляшники в тот самый дом заходят. У гуляшников в руках были палки, которыми стучали по углам дома, по крыльцу и двери. (А у других что было?) Голик, голик, которым ноги вытирают, что если кто будет пытаться силой посмотреть (чтобы узнать ряженого), то по рукам хлестать. (Голиком?) Голиком, да этими, палками... Гуляшника нельзя трогать». «Некоторые (гуляшники) закрывали (снаружи) трубы... или же дверь припирали, навалят сани, что и из избы не выйти... воду из кадок выливали... подсанки за дом куда-нибудь спрячут, да поленицы сваливали...» [Конкка 2003: 401–402].

В Ухтинской и Вокнаволоцкой волостях был известен термин *kummat*, который, скорее всего, есть калька с русского *чуды*, *кудеса*. Словом *čuumdat* в Тверской Карелии называли ряженных в вывернутых шубах, с волосами из пакли и такими же усами и бородой. В том же значении он известен в Ребольской волости (*čuumta*, ФА 2936/2²), а также в других местах. В частности в южном Обонежье – Оште, на Вытегорщине и у шимозерских вепсов широко было распространено название ряженого «чудилко(а)» (вепс. *čudilkad*) [Куликовский 1898: 134; Винокурова 1994: 45–46, карта]. Глагол *čuidittaa*, *čuidittua* в значении 'чудиться' (на Святках все что-нибудь чудится) и производные от «чудо» (как, например, *čuumtie* 'изображать, проказничать, подшучивать') общеупотребительны у карел [KKS 6: 249–250]. Отметим, что *чуды* в значении 'ряженные', известны как вепсам, так и коми, а также коми-пермякам. Некоторые коми исследователи высказывали мнение, что термины «чуд» и «чуды» (антропоморфные существа маленького роста, появляющиеся на Святки на земле) связаны с легендарным народом *чудь*, обитавшим некогда на Европейском Севере.

Если большинство разбираемых терминов – заимствования с русского или более ранние славянизмы, распространенные на большей части территории Карелии, от Петрозавод-

¹ См., напр. *кухляк* [СРГК 3: 78]; *хухляк* [Куликовский 1898: 130]; *хухнать* и *кухнать* 'очернить, срамить, забраковать' – слова, употребляемые в Петрозаводском уезде [Куликовский 1898: 130, 146].

² ФА = Фонограммархив Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, № – номер кассеты. Зап. А. Конкка от О. С. Курченко и М. В. Эракко в с. Реболы в 1986 г. Ср. [KKS 6: 249].

ского уезда до Кандалакши, а также в приграничных районах Финляндии, ряд терминов: *huhl'akka*, *huu(h)helniekka*, *huuhelnikka*, *huuhennikka*, *huuhenniekka* [KKS 1: 317, 351], рус. *хухляк*, *хухоль*, *хухольник* (ср. *хухольничать* 'маскироваться, ходить ряженым'), *хухельник*, *хухленик* [Куликовский 1898: 130; Подвысоцкий 1885: 194; Меркурьев 1979: 174], несмотря на заимствованные в карельских терминах русские суффиксы – финно-угорского происхождения. Так считала исследовательница северных диалектов О. А. Черепанова, выделяя основу слова на *-hu* [Черепанова 1983: 86-87].

В свое время [см. Конкка 1986: 106–109] мною был проведен обзор значений слова *hurri* (имеющего ту же основу *-hu*), связанный с семантикой и этимологией данного термина. Думается, он представляет интерес и для нашей темы. Ниже отобраны именно те составляющие, которые имеют непосредственное отношение к обряду ряжения и типологически близким явлениям народной культуры.

Двумя основными группами значений слова *hurri* являются: 1) растительность в широком смысле и 2) чужак, человек из другой местности, говорящий на другом диалекте или на другом языке (ср. ряжение «инородцами»). Одним из основных значений слова *hurri* в Восточной Финляндии и Приладожской Карелии было «мохнатое, длинношерстное существо», а также – «длинная шерсть», «одежда из длинной шерсти», «длинношерстное животное» и т. п. Таким образом, в группе слов на *hu(r)*- значения «растительности» (в широком смысле) представлены довольно полно [SMS 4: 157–158]. Исторической основой группы слов на *hu(r)*- в финском языке, как считал Р. Э. Нирви, является значение 'волк' (*hurri*, *hurttä* – эвфемизм основного слова *susi*). Связано это явление с добрачными институтами молодежи и собиранием молодой даров, что в Ингерманландии и на Карельском перешейке называлось *käydä susimassa* 'ходить волком' [Nirvi 1981: 94]. Следует отметить, что и в Российской Карелии невеста, впервые оказавшись в доме жениха, называет себя иносказательно «волком». Иносказания и элементы ряжения, применяемые в названиях и действиях участников свадьбы, инициации, а в особенности ряжение в календарной обрядности, по-видимому, имеют целью скрыть под личиной или за подставным именем собственную сущность, которой в критический переходный момент, в связи с присутствием потусторонних сил и отсутствием покровительства личных духов грозит особая опасность. С другой стороны, представления о человеческой душе (или об одной из душ) в образе животного или птицы известны во многих культурах, и, возможно, что этот момент реинкарнации нашел отражение в обрядности.

Таким образом, иносказания и ряжение, связанные с животным миром, могут оказаться подтверждением того, что в определенный сакральный период «душа», жизненная сила человека концентрируется в некоем обрядовом символе, в образе какого-либо животного, которого изображают ряженные, или же просто в шерсти, шкурах, льне, пряже и растениях – неизменном и чуть ли не основном атрибуте ряжения и других обрядовых действий у разных народов. Представления о волосах, а шире – растительности какместилище какой-то части жизненной силы общеизвестны.

Со вторым значением слова *hurri* 'чужак' понятие *hurrikas* в значении 'инициируемый' объединяет момент переходного состояния, т. е. человек в отсутствие определенного качества (своего рода ущербный) и человек в момент смены социального статуса оказываются в очень близкой ситуации, характерной уязвимостью для вмешательства потусторонних сил, находятся в состоянии, часто называемом переходным состоянием «временной смерти», потери жизненной силы и покровительства духа-охранителя. Помимо *hurrikas* 'нищобродствующий, нищий', *hurri* могли называть также жениха, а слово *huri(e)* на большей части территории Карелии и в Восточной Финляндии обозначало помешанного, находящегося «не в себе» человека [Nirvi 1981: 90–102; Vilkuna 1952: 22–30; VKS: 85]. Что касается нищих, то уже само отсутствие статуса и «рода-племени» вело к осознанию их неполноценности и, как следствие, приписыванию им связей с потусторонним миром. Сумасшествие же осознавалось как прямой результат вселения в тело человека «инородной души», потери покровительства предков в лице конкретного духа-охранителя, что доказывают и способы, применяемые при лечении – непосредственное обращение к покойникам с просьбой «отпустить» ду-

шу больного. Особое значение в этой связи приобретает зафиксированное в Беломорской Карелии понятие *olla huureissa*. Когда охотник или рыбак, впервые в сезон отправившийся на промысел, возвращался ни с чем, то данное его состояние определяли как *tuli huureissa*. Этот же термин применялся в разговоре о девушке, не привлекавшей внимания парней на празднике и не участвовавшей в играх. В обоих случаях речь идет об отсутствии у данных лиц того, что называется удачей. Понятие «удачи», «доли» (*osa*, *oppi* и пр.) в народном сознании выделялось в некую конкретную и в то же время отвлеченную духовную субстанцию, от которой зависел ход человеческой жизнедеятельности. Это понятие тесно переплеталось с понятием духа-покровителя.

Что касается отсутствия у девушки привлекающих парней качеств, то здесь, по традиции, необходимо было прибегнуть (в том числе при помощи растительности) к так называемому «поднятию лемби» – получению путем воздействия на потусторонние силы эротической привлекательности с точки зрения противоположного пола. Представления о лемби напрямую соотносятся с понятиями «доли», «духа-охранителя» и девической души доброго периода [Конкка 2014а: 136–145].

При рассмотрении этой группы слов следует обратить внимание на термин с начальным *huu(hu)*- в сложных словах *huunpurema*, *huunhaukko* (букв. «укус *huu*») в значении «веснушка» или «синяя или черная точка на коже», которая появляется будто бы перед или после смерти близкого родственника. Выражение *jättää huun (hun) kunniaksi* (букв. «оставить в честь *hu*») означает ‘пропасть’, ‘выбросить’, ‘уничтожить’. Ю. Х. Тойвонен объединяет *hu(u)*- с понятиями «душа умершего», «человеческая душа», находя ему соответствия в финно-угорских, германских и других индоевропейских языках [SES 1: 83]. Следует отметить, что термины с начальным *hu-*, обозначающие мифологических персонажей и их имена (в том числе олицетворяющие представления о человеческой душе, ср. также *-uh*, напр., «дух» и производное «душа»), имеют широкое распространение [МНМ 2: Указатель] и связаны со звукоподражанием.

Таким образом, многие звукоподражательные в своей основе слова на *hu(u)* в ранне-историческом сознании были связаны с представлениями о духе-покровителе, жизненной силе и человеческой душе в разных ее проявлениях. Вероятнее всего, о чем говорит и этнографический материал, эту же основу имеют и карельские слова *huhl'akka* и *huuhel'nikka*, обозначающие святочных ряженных.

Наконец, в качестве заключения, упомянем еще об одном карельском названии ряженного. Это **Kekri** или **Kegri**. Название пишется с большой буквы, потому что совпадает с именем мифологического персонажа и названием древнего осеннего праздника, который многие исследователи считают предтечей Нового года [Конкка 2014б: 66–73]. В Восточной Финляндии, где собрано наибольшее количество сведений о Кекри/Кегри, основные обрядовые действия в этот праздник, а именно гадания и ряжение, а также некоторые представления о поведении на день Кекри/Кегри прямо соотносятся или даже совпадают с элементами святочной и новогодней обрядности.

В Карелии, включая Тверскую Карелию, Кекри/Кегри более всего был связан со скотоводством и прядением (обработкой шерсти и льна), то есть женскими работами. У тверских карел ряженный Кекри/Кегри ходил по домам в вывернутой наизнанку шубе, с большой котомкой или коробом за плечами, с ухватом, кочергой или палкой в руках, угощался толкомом и блинами и проверял мотки пряжи, которые женщины обязаны были спрясть к этому дню (начало ноября). Как в Карелии, так и в Восточной Финляндии (где ряженных называли *kekrittäret*) посещать дома на Кекри/Кегри могли также целые группы ряженных. По некоторым представлениям тверских карел Кекри/Кегри внешне представлял собой черное антропоморфного вида существо, приходившее из леса. Его также могли встретить в бане. У слова *кегря* в диалектном словаре Новгородчины два значения: ‘черт’ и ‘старик’ [Новгородский областной словарь: 38]. В некоторых рассказах о празднике Кекри/Кегри подчеркивается, что ряженные мазали лицо сажей. Судя по всему, ряженный непосредственно изображал мифологическое существо, появлявшееся среди людей в определенное время года, что, несомнен-

но, отличает его от святочных ряженных. В Салми (Приладожская Карелия) было записано представление о том, что в определенный день Бог отправляет Кегри с неба на землю приглядеть за людскими делами [Konkka 1999: 54].

Если распределить названия карельских ряженных по группам признаков, то их можно наметить три: по внешнему виду (*kruhl'atta*, *bukoličča*), по поведению и характеру (*gul'ašnikka*, *smuutta*, *kumma*, *čuuodo*) и по связи с иным миром (*huhl'akka*, *Kegri*). С другой стороны, названия типа *kumma* и *čuuodo* отражают и внешний вид персонажа, хоть и не конкретно. Что же касается отношения ряженных к иному миру, то большинство ряженных изображают персонажи, которые находятся в пограничном, промежуточном состоянии между двумя мирами, не говоря уже о персонажах – непосредственных представителях потустороннего мира, как Кегри, покойники, лешие и черти.

Литература

Винокурова И. Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX – начало XX века). СПб., 1994.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1, 4. М., 1955.

Конкка А. П. Карельское и восточнофинское карсикко в кругу религиозно-магических представлений, связанных с деревом // Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск, 1986.

Конкка А. П. Календарные обряды карел. Святочное ряжение // Финно-угры и соседи. Проблемы межэтнических контактов на территории Балтийского и Баренц-регионов. СПб., 2002. С. 218–249.

Конкка А. От колыбели до могильного креста (обряды и верования в рассказах панозерцев) // Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003.

Конкка 2014а – Конкка А. П. На плечах Большой Медведицы: карельские заговоры и магические действия на поднятие лемпи // Традиционная культура. 2014. № 3.

Конкка 2014б – Конкка А. П. Клубок для Кегри, или некоторые проблемы изучения древнего карельского аграрного праздника (культ мертвых и вопросы временной приуроченности) // Историко-культурный ландшафт Северо-запада – 3. Шестые международные Шегреневские чтения: Сборник статей. СПб., Издательство «Европейский дом», 2014.

Куликовский Г. Словарь областного олонекского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

Меркурьев И. С. Живая речь кольских поморов. Мурманск, 1979.

МНМ 2 – Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1988.

Новгородский областной словарь. Вып. 4. Новгород, 1993.

Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). Петрозаводск, 1990.

СРГК 1 – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1. СПб., 1994.

СРГК 3 – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 3. СПб., 1996.

Словарь русских народных говоров. Вып. 39. СПб., 2005.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1987.

Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997. 416 с.

Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983.

KKS 1 – Karjalan kielen sanakirja. Osa 1. Helsinki, 1968.

KKS 2 – Karjalan kielen sanakirja. Osa 2. Helsinki, 1974.

KKS 5 – Karjalan kielen sanakirja. Osa 5. Helsinki, 1997.

KKS 6 – Karjalan kielen sanakirja. Osa 6. Helsinki, 2005.

Konkka A. Herrojen joulu, talonpojan kekri // Carelia. 1999. № 1.

Nirvi R. E. Petojen nimitykset kosinta- ja hääsänastossa // Suomi 123:3. Helsinki, 1981.

SES 1 – Suomen etymologinen sanakirja. Osa 1. Helsinki, 1955.

SMS 4 – Suomen murteiden sanakirja. Osa 4. Helsinki, 1985.

Vilkuna A. Hurri-pesye // Virittäjä 56, 1952.

VKS – Vuorela kansanperinteen sanakirja. Helsinki, 1979.

Юлия Валерьевна Литвин

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

МАРКЕРЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАРЕЛОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ В Г. ПЕТРОЗАВОДСКЕ)*

Республика Карелия – один из субъектов Российской Федерации, образованных по национальному принципу. В то же время история региона представляет собой историю взаимодействия двух культур – прибалтийско-финской и славянской. В имперский период общественные отношения строились на основе взаимовлияния этих культур при доминировании в сфере повседневного взаимодействия культуры коренных народов.

Новые условия жизни после Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны привели к значительным изменениям в «национальном вопросе». Политика так называемой коренизации, которая, в том числе, предполагала этническое развитие «невеликорусских народов», имела свою специфику в Карелии. Так, с 1921 г. официальным был провозглашен финский язык, что повлекло за собой перестройку системы делопроизводства, преподавания и т. д. В начале 1930-х гг. были предприняты попытки найти баланс между распространением финского языка и развитием карельских диалектов за счет «карелизации» финского языка. Однако к концу 1930-х гг. политический курс вновь изменился, были свернуты все национальные проекты, последовали многочисленные репрессии влиятельных представителей коренных народов Республики. С этого времени можно говорить о расширении области применения русского языка в сфере социального функционирования, образования и науки. Усилению влияния русского языка способствовал и ряд других факторов: интернационализация жизни, миграции, эвакуация населения с традиционных мест жительства в период войны, репрессии, административно-территориальные реформы и т. д. В результате советский вариант модернизации привел к унификации практически всех сфер повседневной жизни населения: советская культура и «русскость» стали синонимами современности и престижности, а коллективизация, индустриализация и другие экономические реформы привели к постепенной утрате традиционного хозяйственного уклада.

Несмотря на единые принципы советской национальной политики, механизм их реализации и последствия были специфичны для каждого региона. Особенно отчетливо эти различия проявились в конце 1980 – начале 1990 гг., в период возрождения этнического самосознания, активизации национальных движений в республиках бывшего Советского Союза.

Постсоветский период характеризовался не только этнической мобилизацией и ростом национальных объединений, но и переосмыслением подходов к изучению этнических процессов и расширением методологических возможностей. Главное отличие заключалось, во-первых, в смене акцента с исследования «субстанциональных» характеристик этноса на изменчивость, подвижность этнических феноменов и границ¹. Во-вторых, благодаря распространению качественных методов, изменения претерпел методологический инструментарий. Смена исследовательской «оптики» позволила отечественным специалистам приблизиться к пониманию процессов создания, функционирования и воспроизводства социальных конструкторов. Такие понятия как пол (гендер), возраст и этнос стали рассматриваться не как объ-

* Статья подготовлена в рамках проекта «Идентичность населения пограничного региона: исторический опыт Карелии XX века», программа Президиума РАН.

¹ Данный подход с 1970-х гг. развивают зарубежные исследователи. См. напр.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества / пер. с англ. В. Николаева. М., 2001; Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий / под ред. Ф. Барта; пер. с англ. И. Пильщикова. М., 2006; Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. М., 2012.

ективно и естественно присущее индивиду или группе свойство, но как историко-культурный конструкт, *процесс* категоризации и приписывания определенных смыслов.

Согласно данным последней Переписи населения, в Карелии из 45570 карел (7,4 % от общей численности населения Республики Карелия) в городах проживают более половины – 25828 человек (5,5 % от общей численности населения Республики Карелия) – 10482 мужчин и 15346 женщин [Итоги 2010: 376]. Петрозаводск – республиканский центр – является местом проживания русских, карел, белорусов, украинцев, финнов, вепсов. Также в последние годы в Петрозаводске и республике в целом увеличилась численность армян и азербайджанцев [Итоги 2010: 112]. Традиционно Петрозаводск имеет тесные экономические и культурные связи с Финляндией. Таким образом, поликультурное пространство Петрозаводска представляет собой площадку для изучения места и роли этничности в повседневной жизни жителей города, способов ассоциирования себя со «своей», в данном случае, карельской этнической группой.

Обращение к этничности в городской среде обусловлено, с одной стороны, поликультурностью ее пространства, с другой – размыванием культурных и этнических границ, «деэтнизированностью». Вместе с тем в современном урбанизированном мире этнические различия сохраняются. Противопоставление сохраняется, даже когда изменяются культурные признаки и характеристики этнической общности [Этнические группы 2006: 10]. По мнению норвежского антрополога Ф. Барта, это происходит благодаря использованию этнических маркеров, которые структурируют социальное пространство в этнических терминах, обозначают «непохожесть» одной группы на другую [Этнические группы 2006: 18]. В этом смысле этническая идентичность – понятие дискурсивное, поскольку является одним из способов понимания мира и ориентации в нем. Представление об этнических границах позволяет сформировать способы узнавания, идентификации других людей, уловить тождество и различие, более глубоко осмыслить собственные действия в социальном мире [Брубейкер 2012: 158]. Идентичность горожанина множественна, подвержена переопределению, трансформации в большей степени, чем идентичность сельского жителя.

В рамках данного исследования важным также представляется выявить гендерный ракурс этнической идентичности карел. Включение в анализ категории гендера является одним из способов осмысления поведенческих ориентиров в этнокультурном измерении. Несмотря на изменчивость гендерных стереотипов, можно говорить о наличии элементов стабильности в ожиданиях и нормах, предъявляемых женщинам и мужчинам. На первом этапе исследования, внимание было обращено на изучение женской этнокультурной идентичности. Так, одним из главнейших предназначений женщины считается реализация репродуктивной функции. В широком смысле, это не только биологическое воспроизводство, но и культурная репродукция. Для последующего воспроизводства необходимо сохранить уже существующее, защитить его. Женскому началу атрибутируются консерватизм, пассивность, пустота (как безвременье), вечность. В символическом пространстве «женские» качества нередко соотносятся с этнической составляющей (мать-земля, природа, провинция, иррациональное) и противопоставляются мужскому «оформляющему» началу (цивилизация, город, рациональное) [Рябов 2001: 23, 47]. Если обратиться к гендерной метафоре, то любое пространство маркируется как женское, бесформенное, ждущее наполнения и последующего ограничивающего, структурирования. О. В. Рябов определяет данный процесс как *этнизация феминного*, который накладывает на женщину определенные культурные обязанности по воспроизводству этнической идентичности. Подобные ценностные ориентации, помещенные в «мужское», окультуренное пространство города, с одной стороны, противоречат созданному образу феминности, с другой – создают условия для переосмысления предписанных женщине ожиданий.

Задача этого этапа исследования заключалась в том, чтобы на основе интервью с карелками, постоянно проживающими в Петрозаводске, попытаться понять, как очерчиваются этнокультурные границы в пространстве города. В каких терминах маркируется, осмысливается и проговаривается этничность? Какую роль в повседневности женщин играют языковые

практики, знание и соблюдение «национальных» традиций? Какие существуют национальные «стандарты» феминности?

Выбор методики осуществлялся в соответствии с принципами качественного исследования, в числе которых – активное взаимодействие интервьюера с представителями изучаемой социальной группы, стремление раскрыть субъективность собеседника, трактовка каждого респондента как эксперта [Сабинская 2007: 126]. Использование тематического опросника подразумевало наличие определенного сюжета интервью. Вместе с тем круг вопросов не ограничивался анкетой, их формулировка и последовательность могли варьировать в зависимости от контекста конкретного интервью. В конце беседы информантке предлагалось заполнить стандартизированную анкету.

Статья основывается на серии полуструктурированных интервью, проведенных в 2012–2013 гг. В интервью приняли участие женщины – как представительницы карельской этнической группы (выбранные по критерию самопричисления), так и «эксперты» (ученые, руководители общественных организаций). При этом акцент делался в первую очередь на их самоидентификации – причислении себя к определенной этнической группе. Всего было опрошено 23 респондентки. Возраст опрошенных варьировал от 20 до 83 лет, причем более половины находилось в возрастной категории 26–35 лет (10 случаев) и от 55 лет и старше (10 случаев).

Половина карелок родились в одном из национальных районов республики, четыре – в Муезерском, Прионежском и Кемском районах. Местом рождения трех женщин являются города Петрозаводск, Костомукша, Кемь. Еще три информантки родились за пределами Карелии – в Ярославле, Тверской и Житомирской (Украина) областях. Большинство опрошенных женщин имеют высшее образование.

Поиск информанток осуществлялся по принципу «снежного кома». Согласно социологии качественных исследований, нет каких-либо существенных правил относительно определения размера выборки. Она должна строиться по следующему принципу: с одной стороны, быть компактной, с другой – покрывать цель исследования [Штейнберг, Шанин 2009: 75–76].

Кратко обозначим основные итоги исследования.

Наличие средних специальных и высших учебных заведений – маркер, признак города. «Городским» в рассказах собеседниц являлись театры, кинотеатры – элементы, составляющие ядро «культурной» жизни Петрозаводска. Информантки, приехавшие в город из других населенных пунктов, не испытывали трудностей, связанных с межэтническим взаимодействием. Особую роль здесь сыграла языковая ассимиляция карел, обусловленная вытеснением карельского языка из сферы повседневного общения и замена его русским. Вместе с тем язык признавался одним из важнейших маркеров этнической идентичности. Однако в Петрозаводске он имеет, скорее, символическую функцию. Например, многие информантки рассказывали, что знают отдельные слова, фразы на карельском языке:

— *Пословицы, поговорки, знаете какие-то?*

— *...матерные слова (смеется)... Чтоб на русском не говорить (смеется). Ну, по крайней мере, я у своих родственников в Москве иногда начинаю ругаться. «Это ты что сказала?». «Я говорю, что сказала, самое плохое» (1958 г.р.).*

Подобное «кодирование» инвективной лексики усиливает статус карельского языка как сакрального. Употребление фраз на карельском языке «при случае», в определенных ситуациях позволяет маркировать свою «карельскость» и очертить границу между «своими» и «чужими». Здесь же отметим, что для респонденток из группы «экспертов» владение карельским языком – это еще «язык власти», способ выражения солидарности с интересами карельской этнической группы и инструмент для репрезентации этих интересов в общественном и/или политическом пространстве.

Разговор о языке актуализировал осмысление информантками этнической идентичности. Осознание своего тождества с карелами у большинства информанток произошло в подростковом возрасте и было связано с языком общения в семье (в случае, если семья проживала в сельской местности или в одном из «национальных» населенных пунктов), посещением школьных факультативных уроков, получением паспорта. Особый интерес представляют

женщины, для которых этничность не была предметом рефлексии, а являлась «естественной» составляющей их жизни. Для них легитимизация этничности заключалась в убежденности о «натуральности» этнической общности. Причем определяющим фактором при этнической идентификации являлось представление об общем происхождении. Такая «натурализация» этнических категорий укоренена в человеческом сознании. Обращение именно к общности происхождения связано с изменениями в традиционном укладе жизни населения Карелии, социокультурной и языковой интеграцией этнических групп. В результате происходит своеобразное перераспределение этнических ценностей, и в центр выдвигается уверенность в общности происхождения, тогда как язык, специфика традиционной культуры и образ жизни уходят на периферию.

Сложности у информанток вызывали вопросы о том, что значит для них этническая принадлежность, «карельскость». Как и ожидалось, более четко отличительные черты называли представительницы карельской интеллигенции и женщины из этнически смешанных семей. Данный факт объясняется тем, что интеллигенция, образованная часть населения всегда была в «авангарде» осознания своей этнической идентичности. Во втором случае, более четкие представления о различиях между группами связаны с опытом межэтнического взаимодействия в своей семье [Стефаненко 1999: 126]. Информантки особо подчеркивали три качества, присущих карелам в целом – *спокойствие, трудолюбие и чистоплотность*. В числе характерных особенностей были также названы *упрямство, замкнутость, скромность, честность, гостеприимность*. Важную роль при определении «этнообразующих» качеств играли географические образы и символы, связанные с пограничным расположением региона. Так, карелы оказались «по-фински» *сдержанными* и «по-русски» *гостеприимными*. Пограничное положение Карелии и поиски «национальной» идентичности, возникшие в XIX в. в Финляндии, инициировали идеологический дискурс о «национальном» характере карел¹. В результате комплекс черт и свойств, описанных российскими и финляндскими учеными в XIX в. и позже воспроизводимые в СМИ, стал восприниматься самими карелами как выражение их «сущности», часть автостереотипных представлений.

При определении гендерной составляющей в структуре этнической идентичности видно, что «национальные» черты карел в целом совпадают с качествами, присущими карельской женщине – *сдержанность, замкнутость, трудолюбие, бесконфликтность*. Бесконфликтность не описывается в терминах смирения, покорности. Она, наряду со сдержанностью, соотносится с мудростью, спокойствием, умением уступать. Таким образом, карелка наделяется «*мудростью природной*». Хозяйственность и чистоплотность карелки намекает на сферу приложения ее сил, локализованную в приватной сфере. Карельская женщина не описывается информантками в терминах пассивности, консервативности, также отсутствует прямое указание на ее репродуктивную (биологическую и культурную) функцию. Однако передача «национального» все же входит в компетенцию именно женщины – она ответственна за передачу «женского» опыта, это, в частности, обучение средствам народной медицины и приготовление национальных блюд.

¹ В конце XVIII – начале XIX вв. российские путешественники и этнографы не преследовали цель найти в карелах «русские» черты, поскольку они уже находились в едином правовом поле и имели единую религиозную идентичность. Поэтому в своих записях они подчеркивали схожесть карел с финнами, приписывая им «северные» качества – спокойствие, сдержанность, замкнутость, низкий уровень насилия в семье, по сравнению с русскими [Heikkinen 1989: 36]. Ситуация изменилась в конце XIX в. в связи с «панфинской» угрозой. «*Веселый и легкий нрав*», «*любовь к сказительству*» объяснялись влиянием православного вероисповедания, благотворным воздействием русификации и вообще близостью с русскими [Лескинен 2009: 315]. Несколько иные процессы протекали «по ту сторону». Представители финляндской интеллигенции в XIX в. находились на пути осмысления и оформления этнической идентичности, создания национальной идеологии. Отправляясь в Приладожье, финляндские путешественники стремились акцентировать качества, роднившие карел с финнами. Это достигалось благодаря противопоставлению «русского» и «карельского» характера. Так, карелы, по сравнению с русскими, апатичные, замкнутые, честные, прямые, обладали «чисто финской» медлительностью. Одновременно им приписывалась общительность, непосредственность, непостоянство [Heikkinen 1989: 36]. Эти качества объяснялись русским, «восточным» влиянием.

Итак, обращение к понятию идентичности позволяет исследовать многообразие и специфику социокультурных процессов. Этническая идентичность является составной частью идентичности личности. Поликультурное пространство города может актуализировать этническую идентичность или, напротив, сместить ее на периферию. В целом, образ карельской женщины содержит в себе политико-географические символы Финляндии и России, условием развития которых стало пограничное положение Карелии. Эти же символы в значительной мере отражают и структуру гендерных стереотипов, образуя своеобразный этнический дискурс.

С этого года границы исследования были расширены – интервью проводится не только в женских группах, но и среди мужчин-карел. Методика сбора и интерпретация полученных результатов будет аналогична предыдущему исследованию с учетом специфики опрашиваемой группы. В настоящее время проводится сбор интервью и их расшифровка. В результате исследования появится возможность выявить основные этнокультурные символы и стереотипы, функционирующие в пространстве повседневности петрозаводчан, с учетом женского и мужского опыта.

Литература

Золотарев Д. А. Этнический состав населения Северо-Западной области и Карельской АССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1927.

Итоги 2010 – Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Т. 4. Табл. 10. Население наиболее многочисленных национальностей по возрастным группам и полу по субъектам Российской Федерации. (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-10.pdf; 12.03.2013)

Лескинен М. В. Путешествие по родной стране: описание как способ национальной репрезентации. Финляндия и финны в изображении З. Топелиуса // Одиссей. Человек в истории. 2009. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 175–204.

Рябов О. В. Матушка-Русь: Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М.: Ладомир, 2001.

Сабинская О. Б. Субъективность в качественном исследовании: новые подходы // Социологические исследования. 2007. № 10. С. 122–131.

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, 1999.

Штейнберг, Шанин 2009 – Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования в социальных исследованиях. СПб.: Алетейя, 2009.

Этнические группы 2006 – Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий / под ред. Ф. Барта; пер. с англ. И. Пильщикова. М.: Новое издательство, 2006.

Heikkinen K. Karjalaisuus ja etninen itsetajunta: Salmin siirtokarjalaisia koskeva tutkimus (Being Karelian and ethnic self-consciousness: A study of Karelian immigrants from Salmi). University of Joensuu Publications in the Humanities, no. 9. Joensuu, 1989.

Константин Кузьмич Логинов

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

Юрий Михайлович Наумов

*Музей-заповедник «Кижис»,
г. Петрозаводск*

СЛАВЯНСКОЕ И ДОСЛАВЯНСКОЕ В НАЗВАНИЯХ ВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТРАДИЦИОННОЙ ЛОДКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ЗАОНЕЖЬЯ И ВОДЛОЗЕРЬЯ

В этнической истории Заонежья и Водлозерья прослеживаются сходные исторические этапы. В общих чертах этническую историю региона можно представить следующим обра-

зом: в начале I тысячелетия н. э. эти территории занимали «лесные» саамы, затем они заселялись вепсами, потом на обеих территориях отмечался приток (в Заонежье несравнимо более мощный) карельского населения, а с расселением на этих землях выходцев из Новгородско-Псковских и Московских средневековых государств местное население постепенно обрусело [Логинов 1993: 3–12, Логинов 2006: 3–49, Ширококов 2012: 87–99 и др.]. Для жителей побережий и островов указанных микрорегионов роль водных транспортных средств невозможно было переоценить. Поскольку подробные материалы по традиционному лодкостроению обеих групп русских Карелии собирались по общей методике, разработанной Ю. М. Наумовым [Наумов 2011; Наумов, Орфинский, Скворцов 2008], мы можем себе позволить провести сравнительное исследование не только их водных транспортных средств, но и их традиционной лодкостроительной терминологии, попытаться выявить специфический дославянский пласт.

Умение саамов изготавливать лодку из бересты, описанное Н. Н. Харузиным в его работе «Кольские лопари» [Харузин 1890: 111], на Водлозере и в Заонежье этнографам зафиксировать не удалось. А оно, скорее всего, там некогда существовало. По крайней мере, среди бокситогорских вепсов одному из соавторов данной статьи в студенческие годы доводилось записывать воспоминания о существовании у них столь архаической технологии¹. Там же (в районе поселений Сидорово и Пелдуши) сведения о бытовании в прошлом вепсских лодок «пузико», шитых из бересты (ср. вепс. *puzik* – береста), записал в 2014 году и другой соавтор [Наумов 2015]. Безусловно, «саамский» (по происхождению) след в лексике и терминологии, связанной с водными транспортными средствами и традиционным лодкостроением водлозеров и заонежан, нам выявить не удалось. Хотя не исключено, что у карел, вепсов и русских Карелии не без участия саамов возник и распространился термин *шойда* (поперечный шип в плотях, сделанных по безгвоздевой технологии²). «Шойдами» (вепс. *šoid*, фин. *saita* ‘перекладина, свая’) [Фасмер IV: 464] именовались и поперечные шипы в сдвоенных долбленых лодках (см. ниже), пока их изготавливали без помощи гвоздей.

К вепсскому периоду этнической истории Водлозерья, видимо, восходит русское название лодок-ругочей, выдалбливаемых из цельного ствола осины без применения распаривания древесины. По верхнему краю долбленной части в старину нашивался корнем сосны (позднее – набивался гвоздями) один, реже два *набоя*, вытесанных из расколотого пополам бревна. Балансиры из толстых деревянных плах у водлозерской ругочи отсутствовали³. Название лодки-ругочи принято связывать с вепским *ruh-*, *ruhi* ‘корыто’, ‘долбленный челн’ [Фасмер II: 58]. Н. Н. Пушкарев – исследователь онежского рыболовства, увидевший долбленные лодки-однодеревки в нижнем течении Водлы (у впадения в Онегу река именуется Шалой), написал, что они «скорее напоминают корыта, чем водоходные судна» [Пушкарев 1900: 211]. Не случайно на реке Сухой Водле подобный тип долбленной лодки сами водлозеры иногда именовали *корытьем* [Логинов 2006: 195].

Сдвоенные долбленки (лодки-двудеревки) в Заонежье не зафиксированы. Они бытовали в северо-западной части Водлозерья, где их называли *руганы*, т. е. словом, восходящим все к той же прибалтийско-финской основе *ruh-*, *ruhi* ‘долбленный челн’ (см. выше).

Долбленные лодки-однодеревки, носившие названия *ушкойек*, и в Заонежье, и в Водлозерье для устойчивости оборудовались по бокам толстыми деревянными плахами, длиною несколько короче самой лодки. При этом заонежская ушкойка выглядела абсолютно так же, как и ругоча [Логинов 1993: 67, Рис. 6а–в], имея балансиры, тогда как водлозерская ругоча таковых не имела. Ругочами долбленные лодки-однодеревки называли в центральной части Заонежья (на территории Толвуйской волости), ушкойками – в южной части (на территории Великогубской волости), а на севере Заонежского полуострова (на территории Шуньгской волости) точно такая же долбленная лодка носила русское название *челн* или *целн* [Логинов 1993: 70]. Распространение названия *ушкойка* (кар. *uškoj* ‘лодка’) [Фасмер IV: 182], видимо,

¹ Полевой дневник № 1 студента К. Логинова экспедиции к южным вепсам. 1978 г. [НА КНЦ, ф. 1, оп. 50, д. 478, л. 11, 13].

² Плоты для рыбалки и переездов на небольшие расстояния у заонежан и водлозеров именовались *кобылками*.

³ Балансиры имели ругочи Заонежья.

следует связывать с распространением в Средневековье волны карельских мигрантов, а не новгородцев-ушкуйников.

Ни один тип из названных выше долбленых лодок заонежан и водлозеров не имел уключин для гребных весел. На исследуемых территориях они приводились в движение с помощью шеста или весла с одной лопастью, а поэтому для передвижения на большие расстояния их не использовали. Водлозеры для перевозки своих товаров к соседним группам, проживающим за водоразделами, использовали специализированную длинную шитую лодку *куйто* [Логинов 2006: 198], само название которой ясно и определенно указывает, что она была заимствована русским населением с территорий расселения карельского этноса. Основное водное транспортное средство заонежан для переездов и транспортировки грузов по бурным водам Онежского озера именовалось *соймою*. Есть основания предполагать, что ладожско-онежская сойма (люд., вепс. *šoim*, фин. *soima* 'крупная лодка') [Фасмер III: 707] тоже была культурным заимствованием русских из культуры карел. Интересный вопрос возникает также по поводу термина *карбас*, известного и заонежанам, и водлозерам, которые, тем не менее, данный тип водного транспортного средства сами не строили. Для первых карбас – это лодка поморов, для вторых – большая лодка (больше, чем шитые лодки водлозеров, и больше, чем куйто). А, между прочим, в словаре М. Фасмера значится, что слово «карбас» заимствовано из вепсского языка, ср. вепс. *karbaz* 'лодка-долбленка' [Фасмер II: 95].

У русских Заонежья и Водлозерья, безусловно, русским было общее название для долбленых и шитых водных транспортных средств – *лодка, лодочка, Кижанка* и *водлозерка* – это уточняющие (подвидовые) названия, исторически позднего происхождения, указывающие на место бытования данных транспортных средств, выводимые из имеющихся, давно сформировавшихся топонимных наименований. Так что они имеют уже русское, а не прибалтийско-финское происхождение.

Таким образом, не будет натяжкой утверждать, что большая часть названий водных транспортных средств Заонежья и Водлозерья восходят к дославянской этнической истории обоих микрорегионов.

Совершенно иную картину дают собранные авторами статьи данные о лодкостроительной терминологии и названиям инструментов для строительства лодок, в которых русская лексика абсолютно доминирует. В этом легко убедиться, просмотрев прилагаемые ниже таблицы.

Табл. I. Традиционные лодкостроительные термины Заонежья и Водлозерья

Конструктивный элемент, термин		Материал, технология, назначение, размеры
Водлозерье	Заонежье	
Матица, днище, колода, пластина, киль	Матица, матика, матка, киль	Килевой брус или килевая доска с пазами (штробами), материал – сосна, длина зависит от размера лодки. Матица отесывалась топором, затем выстругивалась рубанком, а с боков стамеской выбирались пазы для установки подгонки специально вытесанных бортовых досок (набоев). "При стариках" (около трех поколений назад, то есть в начале XX века) вытесывалась из корневой части сосны заодно с форштевнем. Ныне матица, форштевень и ахтерштевень изготавливаются отдельно.
Пробка, чопик (современные термины)	Пуповик (старый термин)	На Водлозере имеется только в современных лодках, нос которых задирается вверх при движении под лодочным мотором. Круглое отверстие диаметром 30–35 мм (водлозерский инвариант – два отверстия) для слива воды, просверленное у кормового штевня. Закрыва-

		ется деревянной пробкой (ныне называемой чофиком). При движении лодки оно открывается, а сливающуюся воду при этом «отсасывает» по принципу инжектора. Пробки затыкают заранее, до полной остановки движения лодки.
Носовая или кормовая карга, корга, кокора или коржина	Корник, кокора носовая – форштевень Корник, кокора кормовая – ахтерштевень	Для изготовления форштевня и ахтерштевня использовалась только ель (диаметром 18–20 см в комле) с отходящим от комля под углом, близким к прямому, ровным корнем (длина не менее 35–40 см), растущим перпендикулярно и ровно по оси ствола. Деталь отесывалась по шаблонным формам, с боков выбирались пазы для установки и крепления передних и задних концов досок-набоев.
Окладно, окладное	Обложейно	Килевая доска с форштевнем и ахтерштевнем, прижатая зажимами к стапелю (низким козлам или подставке из брусков) и закреплённая вертикальными стойками (в водлозерском инварианте – с одним или двумя подогнанными по формам и размерам нижними досками-набоями). В обрядовом смысле <i>окладно, обложно</i> – это угощение водкой от заказчика (вариант – самоугощение, если лодка строилась на свободную продажу).
Борта	Обшива	Борта лодки из скреплённых (сшитых корнями или сколоченных гвоздями) досок. Для обшивки бортов применялась сосновая (реже – еловая) выструганная доска, шириной до 30–40 см (зависит от длины лодки), лучше из прямослойного дерева. Заготовка сосны для строительства лодок, как и для другого строительства, обычно производилась зимой, сопровождалась рядом оберегающих и продуцирующих обрядов.
Тесина	Нашва	Доска-обшива при шитье бортов корнями.
Вица, корень	Вица, вица	Тонкий корень сосны для сшивания бортов лодки.
Тесина, набой	Набой	Доска обшивы при креплении гвоздями. Толщина неструганых досок зависела от размера лодки и была 16–22 мм. Для досок обшивы старались выбирать стволы с «горбом» (по форме набоев) для экономного раскроя. Все набои, пазы форштевня, ахтерштевня и матицы тщательно обрабатывались и выстругивались, чтобы избежать протекания корпуса.
Полунабой	Полунабой	Верхний ряд набоя из двух досок. При большой длине лодки верхний ряд бортов изготовлялся из двух состыкованных досок (полунабоев), скреплённых на среднем шпангоуте.
Конопатить мох	Конопать мох	Конопачение пазов предотвращало попадание воды в лодку через стыки набоев. "При стариках" пазы конопатили мхом. В наши дни используют смолу и паклю. Называют ныне данный процесс ставить борта на смолу и паклю .
Упруги, корги	Опруги	Изнутри в корпус причерчивали и устанавливали шпангоуты – распорки для бортов, изготовленные из развилок сосны или корневищ. В настоящее время большей частью шпангоуты делаются составными из двух половинок.

Кривули	Кривуля	Саморослые заготовки для шпангоутов. Для их изготовления годились распиленные вдоль раздвоенные верхушки сосны, иногда – достаточно крупное раздвоенное корневище.
Опруги передние и опруги задние	Закоренки	Первые от носа и кормы шпангоуты. В носовой и кормовой частях ставилось по одному–два цельному шпангоуту, что делало корпус лодки устойчивым к удару волн и о камни.
Стёки, дырки	Голбица (кижск.), голу-бицы	Пустые пазы вдоль килевой доски в шпангоутах для лучшего стока воды в корму для ее откачки или для слива через пуповик.
Порубень	Порубень	С обоих бортов внутри лодки по верхнему краю верхнего набоя приколачивается тесаный брусок с утолщениями для уключин, изготавливаемый из распиленной вдоль тонкой (15–16 см) сосновой жерди, именуемой « баланиной ». Порубень накрывает сверху концы шпангоутов. В Заонежье изредка верхние концы двух противоположных пар шпангоутов делались выступающими над бортами. В этом случае они использовались в качестве упоров в уключинах для весел.
Баланина	Баланина	Тонкое бревно, которое распиливается пополам продольной пилой для изготовления порубней. Для устройства уключин на баланине оставлялась пара утолщений для устройства уключин. Баланин с оставленным сверху сучком, конструктивным элементом уключин карел, водлозерцы не знали.
Обвод, кругообраз, огибень (внутренний и наружный)	Огибень наружный в Заонежье называли привальным брусом	Узкая доска или наружный тонкий брус прибивался снаружи вровень с верхней кромкой бортов для защиты верхнего набоя от ударов о другие лодки или причалы.
Нос лодки	Нос лодки	Борта в носу лодки сверху скреплялись досками, создающими сплошной треугольный настил, образующий также и защиту от дождя в носу лодки. В наши дни его иногда приспособливают для хранения чего-то ценного, оборудуя дверцей с навесным замком. Треугольная конструкция дополнительно укреплялась набиваемыми на стык самой широкой поперечной доски с верхним набоем угольниками из выпиленных сучков твердых пород дерева или их корней.
Настил	Полупалубка	Небольшой поперечный или диагональный настил из досок у форштевня для придания жесткости скрепления бортов в носу лодки. В Водлозерье от настила ныне сохраняется, как правило (но не всегда), лишь одинарная доска, скрепляющая верхние концы переднего шпангоута и верхние края правого и левого бортов.
–	Чердак, каютка	В больших лодках и соймах пространство под носовым настилом использовалось для хранения груза, а также для отдыха в дождь или жару.
Клюхи	Клюхи, кницы	Угольники из твердых сучков – два г-образных сучка, вытесанные или выпиленные из елового корня, которыми укрепляли соединение носового настила с правым и левым бортом.

Палец	Палец	Круглый деревянный стержень диаметром 3–4 см. Он намертво вставляется в круглое гнездо в носовом форштевне. За палец удобно хвататься, чтобы вытаскивать лодки на берег (носом вперед) на слани (пока-ти) – деревянные стапеля.
–	Носовик	Полукруглый вырез в носовом настиле для установки мачты, которая крепилась к настилу верёвкой или на хомутик из вицы, который прижимал мачту к носовику и закреплялся в петле на клин. На Водлозере мачта вставлялась в отверстие в носовом настиле лодки.
Корма	Корма	Традиционно – треугольной формы настил в корме лодки. В Заонежье под кормовым настилом имелась полка для хранения мелких предметов, снаружи закрытая широкой доской с круглым отверстием для руки. Ныне форма кормы лодок изменилась в связи с установкой на нее подвесного мотора.
Мостки или сиденье верхнее (у передних уключин), мостки или сиденье нижнее (у задних уключин) или кормовое	Скамейки, нашести – деревянные доски-сиденья	Скамейки из досок в лодке для пассажиров и гребцов.
Мостицы	–	Бруски, набитые внутри лодки параллельно килевому бруску на два соседних шпангоута, служащие опорой для досок сидений.
Мостки	Мостки – настилы	Съёмные настилы из досок на днище для удобства передвижения людей в лодке. Настилы рядом со скамейкой для гребцов (на Водлозере – гребников) иногда оборудовались подножкой – упором для ног гребцов из поперечного бруска.
Подтовара	Подтоварка – грузовой настил по днищу лодки	Грубый настил из досок или горбыля для укладки тяжелых грузов или для защиты дна лодки при перевозке скота. В больших лодках и соймах на Онежском озере чистый настил для перевозки товаров, которые сверху укрывали тентом. Иногда и сверху, под тент, устанавливали разборный настил из досок.
Вёсла, гребни, гребки	Вёсла, гребни	Для изготовления весел использовалась только ель. На лодках средних размеров имелось две пары весел, а на больших лодках – три пары. Различали весла верхние – в носовой половине лодки и нижние – в кормовой половине.
Оклюжины, оключины	Оклучинья – уключины	Устройства для удержания вёсел в уключинах при гребле. В настоящее время их делают из деревянного нагеля и веревочной петли . В старину изготавливали из витой еловой, березовой или черемуховой ветви в виде кольца или петли, набрасываемой на деревянный

		штырь, торчащий вверх из утолщения верхнего набоя, который создавал опору для весла при гребке, петля же удерживала весло в уключине при обратном движении весла.
Нагель	Палец, упор	Деревянный палец-нагель, наглухо закрепленный в круглом гнезде в утолщении верхнего набоя лодки для создания упора при гребле. Еще в 1980-х гг. иногда уключинами служили два нагеля, закрепленных в утолщениях верхнего борта на расстоянии 10 см друг от друга. Весло в такой уключине при гребле помещалось между нагелями и, если его постоянно не удерживали руками, тут же уплывало за борт.
Петли, кольца	Петли, кольца, коло	Кольца, скрученные из ветвей черёмухи или берёзы, либо веревочные петли для удержания весел при гребле.
Руль (железный в железных петлях на лодках со стационарно установленным двигателем)	Руль с румпелем	Цельный, тёсанный из толстой еловой корги. Ставился в металлических петлях на больших лодках и соймах при пользовании парусами в дальних поездках.
Жерди, доски, подбоины	Подбоины – 1) прибитые к днищу жерди; 2) выструганные до подтреугольной формы доски, поставленные на ребро и прибитые к днищу лодки. 3) Подбоина – изогнутая вниз часть матичного бруса	1) Для защиты от стирания о камни и песок киля и заднего штевня от повреждений при вытаскивании на берег на днище лодки снизу прибывали жерди от носа и до кормы (или только к задней трети или половине длины лодки). 2) Такие доски подбивались к днищу для уменьшения бокового дрейфа лодки при передвижении под парусом. 3) В Заонежье в тех же целях, приступая к постройке большой парусной соймы, распаривали и на 1/3 длины от носового штевня с помощью распорок загибали вниз массивный матичный брус.
Шина	Шина	Железная полоса в длину лодки толщиной 2–3 мм и шириной до 10 см. Ныне набивается по низу лодки с форштевня до заднего конца килевого бруса для защиты днища от стирания о песок и камни.
Мачта	Мачта	Мачта делалась длиной до 3 м (в Водлозерье – до 2 м). Материал – молодая ель диаметром 8–10 см. В Заонежье малые лодки имели 1 парус, средние – 2, грузовые соймы – 3 паруса. В Водлозерье лодки были однопарусными с мачтой, установленной в носу лодки.
Гнездо для мачты	Мачтовое гнездо, гайно мачтовое	В Заонежье мачта крепилась на уровне носового бака петлей к баку (в Водлозерье – вставлялась в отверстие в носовом баке), а внизу – вставлялась в специальное гнездо в шпангоуте или в килевом бруссе, реже – в гнездо в доске, закрепленное намертво на днище лодки. На соймах Заонежья (и больших кижанках) было две мачты – одну ставили в носу, вторую вставляли в отверстие в средней скамейке и гнездо на матице снизу.

Парус	Парус	Парус льняной, раньше домотканый, шился хозяином для своей лодки, привязывался одной стороной вплотную к мачте. Расправлялся к ветру с помощью косой реи и веревки. Паруса в Водлозерье были прямыми или трапециевидными, расширявшимися вверх, а не вниз, как в Заонежье.
Райна	Райно – косая рея	Нижний конец реи упирался в петлю на мачте около крепления мачты к передней банке, верхний конец – в петлю в верхнем (по диагонали) конце паруса. Домотканый парус хозяин шил сам (женщины на полу расстилали и вручную кроили и сшивали).
Веревки	Веревки, шкоты	Две или одна длинная верёвка из пеньки, конопли или лыка для управления парусом. Крепились к верхнему и нижнему углам.
Балансиров на Водлозере не знали	Оплотина – балансир, противовес	Брус, закреплённый на деревянный замок на жерди (в пазах на бортах) в качестве балансира, для перевозки скота на островные пастбища, плывёт в воде параллельно лодке.
Якорь	Якорь	Якорь из массивного камня, закреплённого между двух деревянных колодок.
Кошка	Кошка	В Водлозерье – двух-трехконечный малый якорь из железной проволоки для поиска потерявшихся сетей в озере. В Заонежье – как малый (для поиска сетей), так и средних размеров металлический якорь для лодки.
Плища, лейка, черпак	Черпак, лейка	Емкость для откачки воды из лодки.
Лавица, лава	Лава	Сходни для выхода на берег.
Пуск, спуск	Вдейка	Первый спуск лодки на воду.
Литки	Литки	Традиционное угощение заказчиками мастера при закладке и при первом спуске лодки на воду.

Табл. II. Приспособления, инструмент, заготовки

Приспособления, инструмент, заготовки		Материал, технология, назначение
Козлы	Стелюжки	Пара невысоких (около 40 см) козел длиной около 2 м для установки матицы – кия – на стапельном месте на сарае крестьянского дома. Стапелем на Водлозере чаще всего служили два поперечных бревна длиной до 1,5 м.
Стелюжья	Стелюги	Высокие (более 2 м) козлы для распиловки брёвен на доски продольной пилой – зубаткой.
Шаблоны, кобылки	Кобылки	Шаблоны из дерева устанавливались на матицу в местах загиба к штевням первой доски набоя. В них вставлялись стойки, которые в распор прижимали матицу к стелюжкам.
Клещи	Клещи, клецки	Специальные деревянные зажимы из берёзы с клином для плотного прижимания набоев друг к другу при причерчивании и сшивании (струбцины, зажимающие с помощью клина).
Зуб	Зуб	Разновидность деревянных зажимов – специальная доска с пазом для соединения и удержания бортовых

		досок у штевной при причерчивании и креплении набоев к кокорам.
Упоры, распорки	Упоры, порки, распорки, расшивины	Деревянные распорки для дополнительного прижатия (в добавление к прижатию деревянными струбцинами) набоев к шпангоутам или к матичному брусу строящейся лодки. Их концы упирались в специально оставляемые на досках набоев бобышки или в доски-прокладки, препятствующие образованию трещин в полотне загибаемых набоев.
Кренчики	Подпорки	Подпорки с правого и левого борта строящейся лодки. Их выбивали, когда надо было перевернуть лодку, чтобы начать крепить набои с другого бока.
Планка	Пластина	Толстая доска для килевой части современной лодки.
Корга, карга, кокора	Корга	Комель ели с корнем для вытески килевой доски с форштевнем переднего и заднего штевня или корень для распиловки вдоль на шпангоуты и угольники.
Сук кривой	Кривуля	Кривой толстый сук для шпангоутов. Хороший сук плотно ложился на два борта и получалась крепкая конструкция.
Скобели	Скобели	Разных размеров плоские и полукруглые кованые лезвия с ручками для окорки брёвен.
Топоры	Топоры	Металлические разных размеров и форм лезвия на деревянных рукоятях-топорищах. Для всех работ: заготовка деревьев и отеска заготовок, выборка пазов и отеска кромок набоев.
Поперечка	Пила поперечная	Двуручная с треугольным зубом (около 1см длиной) для поперечного перепиливания древесины.
Метр	Аршин, метр	Мерная деревянная рейка с нанесёнными делениями в 1 вершок или 1 см. Использовалась как линейка для разметки длинных конструкций и переноса размеров на лодку.
Отбивной шнур	Нитка	Туго натянутая нитка или тонкий шнур, вымазанный углем, оставляющие ровную линию на гладкой поверхности свежоошкуренной или оструганной древесины.
Черта	Черта	Плотницкий и столярный инструмент из сталистой проволоки. Приспособление для переноса (путем прочерчивания острыми загнутыми краями) изменяющейся линии конфигурации с верхней поверхности нижнего набоя или паза на нижнюю поверхность расположенного выше набоя или паза.
Циркуль	Циркуль	Раздвижной металлический или деревянный. Для разметки и переноса одинаковых линейных размеров, например, расстояния между осями шпангоутов. На Водлозере в наши дни его сменила рейка с поперечно закрепленным на конце карандашом.
Двуручник, тесовка, тесовая пила	Зубатка	Пила для продольного вертикального распила брёвен на доски длиной около 2 м, двуручная со съёмной нижней рукоятью. Полотно с зубьями до 5 см длины, заканчивающимися кривым режущим когтем-крюком.
Ножовка	Ножовка	Короткая пила с одной ручкой и мелкими зубцами для поперечного и косоого точного перепиливания тонких досок и других материалов в конструкции лодки.

Лучковка	Лучковка	Пила с узким и тонким лезвием и сдвоенными, обращенными друг к другу зубцами в деревянной основе, с регулируемым веревочным натяжением для продольной распиловки криволинейных конструкций лодки – шпангоутов и прочего.
Рубанок	Рубанок	Инструмент с деревянной прямоугольной колодкой, с закрепленным в пазу деревянным клином прямым железным лезвием.
Двойник	–	Метровой длины рубанок с двумя поперечными ручками, которым доски выстругивали только вдвоем.
Дорожник	Рубанок полукруглый	Рубанок с закруглённой (различного радиуса) внизу деревянной колодкой длиной до 20–25 см и таким же железным лезвием для острожки криволинейных плоскостей.
Молоток	Молоток	Металлический молоток на деревянной ручке. Для забивания гвоздей и клёпки шляпок.
Гвоздильня	Гвоздильня	Металлическая колодка с отверстиями под плоский подковный гвоздь. Для холодной расклёпки плоской шляпки гвоздя.
Долото и стамеска	Долото столярное, стамеска	Долото для выборки (вырубания) пазов в дереве.
Стамеска дорожковая	Стамеска полукруглая	Инструменты для выборки круглых углублений в набоях под шляпки подковных гвоздей.
Киянок	Киянка	Деревянный молоток для деревянных конструкций.
Коловорот с перкой, сверло-дрель, бурав	Коловорот с перкой, сверло-дрель, бурав	Инструменты для сверления отверстий разных диаметров при креплении конструкций и элементов лодки друг к другу.
Коржить	–	Тесать с изгибом (форштевень или доски для лодочного набоя).
Окоржить	–	Скрепить деревянными клещами не прибитые гвоздями доски одного или двух первых набоев к килевому брусу и форштевню. Все вместе называется «обложное».

В приведенную выше таблицу не попало название только одного, весьма архаического инструмента, который предназначался для постройки долбленых лодок – топора с поперечным расположением лезвия. В обоих микрорегионах его именовали и старым русским словом *терпуг*, и, возможно, заимствованным у вепсов словом *кокша* (ср. вепс. *kokš* '1. тесло; 2. острое багра; 3. клюв птицы' [СВЯ]).

Таким образом, мы делаем вывод, что лексика, связанная с названиями большей части бытовавших в конце XIX – начале XX века водных транспортных средств русских Заонежья и Водлозерья, несла в себе весьма и весьма сильное влияние дославянской этнической культуры, тогда как крестьянская лодкостроительная терминология практически была свободна от данного влияния.

Литература и источники

Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX – начало XX) вв. СПб.: Наука, 1993.

Логинов К. К. Этнолокальная группа русских Водлозерья. М.: Наука, 2006.

НА КарНЦ – Научный архив Карельского научного центра РАН.

Наумов Ю. М. «Кижанка» – лодка Онежского озера. Петрозаводск: Карелия, 2011.

Наумов Ю. М., Орфинский В. П., Скворцов А. П. Традиционные лодки Сямозерья // История и культура Сямозерья / под ред. В. П. Орфинского, И. Е. Гришиной, А. П. Конка, И. И. Мулонен, В. Д. Рягоева. Петрозаводск, 2008. С. 461–496.

Наумов Ю. М. К вопросу о судостроении и судоходстве у вепсов // VII Шёгреновские чтения. СПб.: МАЭ РАН, 2015.

Пушкарев Н. Н. Рыболовство на Онежском озере. Петрозаводск, 1900.

СВЯ – Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. II, IV. М.: Прогресс, 1986.

Харузин Н. Н. Русские лопари. М., 1890.

Широбоков И. Г. Дерматоглифические данные к проблеме формирования современного населения Северо-Запада России // Этнографическое обозрение. 2012. № 2.

Сергей Андреевич Минвалеев

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАРЕЛОВ-ЛЮДИКОВ В 1950-Е ГГ. *

Изучение различных подразделений этноса, выработка исследовательских подходов к ним, дискуссии по поводу их наименований – узел взаимосвязанных проблем, вызывающих постоянный, с годами неугасающий интерес у отечественных этнографов. В то же время следует заметить, что тема этнолокальных групп получила неравномерное освещение в этнографии различных народов. В кареловедении, например, эта тема недостаточно разработана. Людики – одна из субэтнических групп карельского народа. Точными сведениями о численности карелов-людикиков современные учёные не располагают. По данным финляндского лингвиста А. Турунена, в начале XX в. карелов-людикиков насчитывалось немногим более 10 тысяч человек. В настоящее время, по неофициальным данным, численность людикиков оценивается в 4–5 тысяч человек, но только около 300 из них являются носителями людикиковского наречия [Родионова 2013: 94]. Если обратиться к работам этнографов, то можно обнаружить, что они, как правило, изучали традиционную культуру людикиков в составе карельской народной культуры, не отделяя ее от южнокарельской. Сейчас ответить на вопрос о традиционной культуре этого субэтноса становится все сложнее, поскольку большая часть людикиковских деревень обрусела или опустела. В этой ситуации большое значение имеют поиски различных источников по данной проблеме. Среди них значимую роль занимают материалы экспедиционных исследований, которые проводились на территории традиционного проживания этой группы карелов: в Кондопожском, Пряжинском и частично Олонецком (с. Михайловское) районах Карелии.

Судя по фольклористической и лингвистической историографиям, составленным Л. И. Ивановой и А. П. Родионовой, приоритет в изучении людикиков принадлежит финляндским исследователям, таким как известный языковед Д. Европеус, собиравший материал в 1845 г., фольклорист А. А. Борениус-Ляхтеенкорва и языковед А. Генетц, побывавшие у людикиков в середине – второй половине XIX в. В 1905 г. у людикиков проводил исследования Ю. Куйола. Результаты его трудов были обнародованы в 1944 г. в виде словаря людикиковского языка. В 1946–1950 гг. увидела свет двухтомная историческая фонетика людикиковских говоров под авторством финляндского языковеда А. Турунена [Tuurenen 1946, 1950]. В 1950–1956 гг. профессор Хельсинкского университета П. Виртаранта записал рассказы о крестьянской жизни карелов-людикиков от Степана Годарева (1884 г. р.), уроженца д. Гальозеро (Кондопожский район РК). В 1963–1964 гг. профессор опубликовал 3 тома образцов людикиковской

* Работа выполнена по программе фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Евразийское наследие: новые смыслы», проект «Вепсы и карелы в Евразийском полиэтничном пространстве: общность и различие исторических судеб и культурных ценностей».

речи; позже – в 1976 и 1984 гг. – П. Виртаранта выпускает ещё два тома [Virtaranta 1963, 1964, 1976, 1984].

Первым российским исследователем карелов-людиков был педагог, краевед и этнограф Н. Ф. Лесков, собиравший по поручению Императорского Географического общества материал в южной Карелии летом 1892 г., в том числе и в людиковских деревнях Пряжа и Святозеро. Сам Лесков был уроженцем с. Святозеро.



Рис. 1.
Фото Р. Ф. Тароевой

Изучение людиков российскими учеными было продолжено уже в советское время. С образованием в 1930 г. Карельского научно-исследовательского института (ныне ИЯЛИ КарНЦ РАН) начинается изучение диалектов карельского языка под руководством Д. В. Бубриха. После войны в 1946 г. исследователь вепсского языка Н. И. Богданов со студентами выезжал в диалектологическую экспедицию к людикам Михайловского сельсовета, в результате которой были заполнены диалектологические вопросники, составлен русско-людиковский словарь Михайловского сельсовета и записаны образцы людиковской речи [Богданова, Винокурова 2006: 46–47].

Как можно видеть, до середины XX века полевые исследования среди карелов-людиков проводились в основном языковедами и фольклористами, которые собирали этнографический материал, руководствуясь своими задачами.

Однако с 1955 г. в ИЯЛИ начинают регулярно проводиться этнографические экспедиции. Они связаны с приходом в Институт после окончания аспирантуры и защиты в 1955 г. первой кандидатской диссертации по карелам КАССР на тему «Материальная культура северных карел во второй половине XIX в. и первой половине XX в. (по материалам района Калевалы)» профессионального этнографа Р. Ф. Тароевой (после замужества – Никольской), уроженки людиковской деревни Мунозеро (Рис. 1). При секторе истории была образована «этнографическая группа», которую составили молодой кандидат наук и четыре лаборанта-исследователя [Винокурова, Логинов 2010].

В 1950-е гг. Р. Ф. Тароева вместе со студентами и искусствоведами совершила ряд экспедиций к людикам в Юркостровский сельсовет (ныне Гирвасское, Кончезерское и Петровское сельские поселения Кондопожского р-на) [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 29, д. 39–45], в Пряжинский, Олонецкий и Кондопожский р-ны КАССР [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 29, д. 46–51, 53, 57, 59, 60]. В результате этих экспедиций были собраны интереснейшие и богатые деталями этнографические материалы. Эти экспедиции по праву можно назвать первыми этнографическими экспедициями ИЯЛИ к людикам.

В тот период Р. Ф. Тароева работала над написанием монографии «Материальная культура карел КАССР». Поэтому научный интерес, в русле которого проходили эти этнографические поездки, в большей степени представлял собой материальную культуру карелов. Но, тем не менее, во время этих экспедиций были собраны материалы, затрагивающие и духовную



Рис. 2. Маршрут экспедиции 1956 г., графически представленный Р. Ф. Тароевой

культуру карелов: обряды жизненного цикла, календарные и церковные праздники, приметы и заговоры. Хочется отметить, что названия поселений, праздников, примет, заклинаний и предметов материальной культуры участники экспедиций стремились записать на карельском языке, используя кириллицу.

Экспедиция в Юркостровский сельсовет проходила с 19 июня по 28 августа 1956 г. В состав экспедиции, помимо самой Р. Ф. Тароевой, входили студентки-лаборанты Н. И. Исаева и Ф. А. Тихонова, а также искусствовед В. И. Плотников. Это была самая крупная экспедиция к людикам, совершенная в 1950-х гг. Были исследованы такие людиковские поселения, как Мунозеро (родина Р. Ф. Тароевой), Пялозеро, Койкары, Юркостров, Чупа, Спасская Губа, а также на данный момент исчезнувшие поселения – Пуйгуба, Тюппега,



Рис. 3. Страница из полевых материалов с эскизом часовни и надмогильных крестов в д. Наволок

Куджино (Рис. 2). В ходе экспедиции были сделаны записи о жилищно-поселенческом комплексе людиков, их занятиях (в т. ч. коробейничестве и сплаве леса), средствах передвижения, орудиях труда, одежде, пище, праздниках, колдовстве, обрядах. Страницы полевых тетрадей содержат составленные вручную планы деревень, схемы домов, эскизы предметов быта и вышивки (Рис. 3). Альбом с рисунками, составленный искусствоведом В. И. Плотниковым, содержит 45 рисунков

(жилище, архитектурные детали, интерьеры, схематические планы 26 деревень, орудия труда, средства передвижения).

В 1957 г. этнографическая группа провела исследования в Пряжинском и Олонецком р-нах (5 июля – 29 августа). В этих районах традиционно проживают носители как людиковского, так и ливвиковского наречия карельского языка. Из людиковских селений этнографы побывали в поселениях Святозеро, Пелдожи, Лижма, Палатозеро, Прякка, Сюрга (Пряжинский р-он) и Михайловское (Олонецкий р-он). В состав экспедиции входили Р. Ф. Тароева, студентки-историки Л. Н. Титова, Н. И. Исаева, Ф. А. Тихонова, а также искусствовед В. И. Плотников. Была собрана информация о поселениях, средствах передвижения, пище, домашней утвари, рабочей одежде, а также праздничном наряде и обрядах. Например, встречаются описания обрядов постройки жилищ, в частности, возведения коневого бревна и переезда в новый дом, обрядов, связанных с покупкой скота и отёла, а также обрядов жизненного цикла. Было собрано также много материала, касающегося жизни деревенских школ, быта и труда лесозаготовщиков и сплавщиков леса, охотничьей деятельности. Тетради полевых исследований того года также содержат эскизы и зарисовки. В альбоме рисунков этнографической экспедиции, составленный самой Розой Фёдоровной, входят схематические планы деревень, интерьеры избы, рисунки бытовых предметов и орудий труда (36 рисунков на 28 листах). Эти наглядные материалы так нигде и не были опубликованы [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 6, д. 782, л. 74]. В научном архиве КарНЦ РАН содержатся также немногочисленные фотографии, сделанные во время экспедиций 1956 и 1957 гг., с видами деревень и их окрестностей [НА КарНЦ РАН, ф. 30, оп. 1, д. 72].

Экспедиция 1958 г. проходила в Кондопожском (территория проживания людиков) и Медвежьегорском районах (территория проживания собственно карелов). Временный сотрудник ИЯЛИ Л. Н. Титова посетила такие людиковские селения Кондопожского р-на, как Сопоха, Тивдия, Белая Гора, Ерши (в прошлом Сележский сельсовет), а также на данный



Рис. 4. Общий вид церкви на Лычном острове (набросок) Кондопожский р-н КАССР

момент исчезнувшие деревни Владимирская и Тимой Гора. Сбор этнографического материала проходил в деревнях преимущественно с карельским населением. Но для получения сравнительного материала по культуре и быту проводилось обследование населённых пунктов с русским населением, таких как Белая гора, Вишкозеро и др. Составленный Р. Ф. Тароевой отчет об этой экспедиции включает описание занятий населения, поселений, жилища, пищи и одежды. Отчёт содержит только сведения о материальной культуре, без обрядности, хотя в дневниковых записях присутствуют материалы о свадебных, похоронных

и окказиональных обрядах карелов Медвежьегорского района. Альбом рисунков, сделанных Р. Ф. Тароевой и художником В. Шевашевичем, содержит изображения архитектурных деталей, предметов интерьера изб, орудий труда, средств передвижения, видов одежды. Всего 59 рисунков на 37 листах (Рис. 4). Из них Р. Ф. Тароева в своей монографии о материальной культуре карелов опубликовала только рисунки курных печей и телег для вывозки назема [Тароева 1965].

Сейчас материалы этих этнографических экспедиций к карелам-людикам хранятся в научном архиве КарНЦ РАН. Они представляют особую ценность, поскольку до сих пор практически не были использованы учеными. Полевые дневники 1956 г., содержащие ценную информацию по обрядовой жизни карелов, остались, например, за пределами знаменитых монографий Ю. Ю. Сурхаско «Карельская свадебная обрядность» и «Семейные обряды и верования карел» [Сурхаско 1977, 1985]. Видимо, архивные материалы этих экспедиций оказались в свободном доступе исследователей уже после выхода Розы Федоровны на пенсию в 1987 г. Введение в научный оборот материалов этой экспедиции актуально и потому, что специальных работ, посвященных традиционной культуре людиков, пока не существует.

Литература

Богданова Г. Н., Винокурова И. Ю. Николай Иванович Богданов: человек и учёный (к 100-летию со дня рождения Н. И. Богданова) // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы (памяти Н. И. Богданова). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. С. 35–74.

Баранцев А. П. Фонологические средства людиковской речи. Л.: Наука, 1975. 280 с.

Винокурова И. Ю., Логинов К. К., Р. Ф. Никольская и становление этнографической науки в Карелии // Труды Карельского научного центра РАН. 2010. № 4. С. 132–140.

Иванова Л. И. Фольклор карелов-людиков: история собирания и современное состояние // Живая старина. 2013. № 3. С. 30–33.

Родионова А. П. Elgendät libo toimitat?: о личном опыте исследования карелов-людиков // Материалы XLII Международной филологической конференции 11–16 марта 2013 года. Уралистика / Под ред. доц. Н. Н. Колпаковой. СПб.: Филфак СПбГУ, 2013. С. 93–97.

Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность. Л.: Наука, 1977. 239 с.

- Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л.: Наука, 1985. 174 с.
- Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). М.-Л.: Наука, 1965. 223 с.
- Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria, I osa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1946. 338 s.
- Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä I–V. Kerännyt, kääntänyt ja julkaissut Pertti Virtaranta / Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1963, 1964, 1976, 1984.

Архивные источники

Научный архив Карельского научного центра РАН

Исаева Н. И. Материалы этнографической экспедиции в Олонецкий и Пряжинский р-ны КАССР 1957 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 49.

Исаева Н. И. Материалы этнографической экспедиции в Петровский р-н Карельской АССР, 1956 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 44.

Логинов К. К. Этнографическое собрание в Научном архиве Карельского научного центра РАН // НА КНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 782.

Плотников В. И. Альбом рисунков этнографической экспедиции в Петровский р-н Карельской АССР, 1956 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 45.

Плотников В. И. Материалы этнографической экспедиции в Петровский р-н Карельской АССР, 1956 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 42.

Тароева Р. Ф. Альбом рисунков, выполненных на ватмане Тароевой Р. Ф. по Олонецкому и Ругозерскому р-нам // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 53.

Тароева Р. Ф. Материалы этнографической экспедиции в Олонецкий и Пряжинский р-ны КАССР, 1957 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 46, 50.

Тароева Р. Ф. Материалы этнографической экспедиции в Петровский р-н Карельской АССР, 1956 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 39–41.

Тароева Р. Ф. Отчет этнографической экспедиции в Медвежьегорский и Кондопожский и р-ны // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 60.

Тароева Р. Ф. Фото экспедиции 1956, 1957, 1959 гг. в Кондопожский р-он // НА КНЦ, ф. 30, оп. 1, д. 72.

Тароева Р. Ф., Шевашевич В. Альбом рисунков на ватмане по этнографической экспедиции 1958 г. в р-ны Медвежьегорский и Кондопожский КАССР // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 43.

Титова Л. Н. Материалы этнографической экспедиции в Кондопожский и Медвежьегорский р-ны Карельской АССР // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 57.

Титова Л. Н. Материалы этнографической экспедиции в Олонецкий и Пряжинский р-ны КАССР, 1957 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 48, 51.

Тихонова Ф. А. Материалы этнографической экспедиции в Олонецкий и Пряжинский р-ны КАССР, 1957 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 47.

Тихонова Ф. А. Материалы этнографической экспедиции в Петровский р-н Карельской АССР, 1956 г. // НА КНЦ, ф. 1, оп. 29, д. 43.

Виталий Михайлович Нилов

*Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск*

«ОЛОНЕЦКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Современная глобализация характеризуется унификацией жизни обществ, однако это не означает обесценивания особенностей отдельных регионов. Более того, одним из ответов на эту унификацию становится активный поиск территориальной идентичности, векторами которой является не только пространство, но и время. Именно в этой системе координат формируется и развивается общественное сознание жителей региона. Данный процесс связан

в первую очередь с культурными достижениями на основе практически-преобразовательной общественной деятельности, что предполагает необходимость коммуникации и закрепления, фиксации навыков, способов, норм этой деятельности.

Исторически общественное сознание населения Карелии формировалось под действием различных факторов, среди которых важное место занимали национальный фольклор и православная церковь. Потребности повышения эффективности местного управления, а также расширение грамотности населения, создание полиграфической базы и путей сообщения стали предпосылками организации системы официальной губернской печати в Российской империи, одним из элементов которой явились «Олонецкие губернские ведомости».

В карельской историографии есть уже немало публикаций об истории и различных аспектах деятельности губернской печати, а также ее творцах. В частности, определенный вклад в эту тему внесли А. И. Афанасьева, В. Г. Баданов, М. А. Витухновская, А. В. Голубев, Н. А. Кораблев, А. И. Осипов, А. М. Пашков и др. Однако до сих пор недостаточно исследованной остается тема влияния официальной прессы края на общественное сознание населения губернии, а также сама местная дореволюционная журналистика как форма регионального общественного сознания.

Создание «губернских ведомостей» в Российской империи сопровождалось принятием целого комплекса правовых актов, регламентирующих создание особого типа издания «для облегчения и сокращения сношений губернского правления и для скорейшего обнародования распоряжений губернского начальства» [Из истории «губернских ведомостей» 1900: 2]. Современные исследователи находят и другие причины, заставившие царское правительство быть настойчивым в этом деле. Например, это потребность в обеспечении возможности идеологического воздействия на население и улучшения коммуникативных связей в провинции [Михайлова 2006], реформировании системы местного управления на основе принципа гласности [Акульшин 2004] и др.

Однако, как показала практика местного администрирования, для успешного управления губернией требовалось не только слаженное и гласное бюрократическое делопроизводство, но и достоверные знания о крае, осознание населением своей связи с территорией и историей региона. Поэтому редакторы «Олонецких губернских ведомостей», которые, как правило, являясь чиновниками Олонецкого губернского правления, стремились организовать изучение различных сторон общественной жизни, проявляя интерес к таким исследованиям.

Уже первый редактор неофициальной части или «Прибавлений» к «Олонецким губернским ведомостям» А. И. Раевский разработал программу краеведческих исследований, в которой, сделав акцент на изучении местного фольклора, по сути дела, обозначил направление изучения таких феноменов духовной культуры, как былины и плачи, записанные впоследствии П. Н. Рыбниковым, А. Ф. Гильфердингом и Е. В. Барсовым [Пашков 1990], а также потом частично опубликованные на страницах губернской газеты.

Сменивший А. И. Раевского на редакторском посту А. И. Иванов продолжил и расширил краеведческую повестку «Олонецких губернских ведомостей», и сам опубликовал около ста статей и материалов по истории, этнографии и статистике Олонецкого края [Благовещенский 1890].

А. А. Ласточкин, став редактором неофициальной части «губернских ведомостей» в начале 1850-х гг., также поддержал сложившуюся традицию краеведческих публикаций в газете и написал несколько оригинальных статей по истории и этнографии Олонецкой губернии [Александр Анисимович Ласточкин 1872].

Во многом благодаря позиции руководителей редакции «Олонецких губернских ведомостей» вокруг газеты из числа местной интеллигенции образовался читательский актив, из которого выделились активные исследователи и корреспонденты. Как правило, эти местные представители интеллектуальной элиты самостоятельно и бескорыстно занимались научными поисками, и предоставляли редакции результаты этой деятельности для публикации, с одним лишь условием, чтобы «сообщаемые в неофициальной части известия, сведения и материалы не облекались в формы таких литературных статей, в которых имеет место вы-

мыслей или ненадлежащие к предмету обстановка, каковы повести, рассказы и т. п.» [К истории «губернских ведомостей» 1900: 2].

В результате этой работы был не только собран широкий и уникальный корпус научных знаний об Олонецкой губернии, но создана определенная знаковая модель Карелии, сохранившая свое значение до настоящего времени. Существует мнение, что «Олонецкие губернские ведомости» «сыграли значительную роль в формировании региональной идентичности жителей Олонецкой губернии» [Голубев 2008: 41]. Действительно, комплекс краеведческих публикаций создал ядро весьма прочного культурного и исторического образа Карелии, который закрепился в общественном сознании на долгие годы, также как и подходы к периодизации истории Олонецкого края (до и после Петра I). Подходы в краеведческих описаниях отдельных мест (Каргополя, Вытегры, Олонца и, конечно, Петрозаводска), исторических событий и выдающихся деятелей, связанных с Олонецкой губернией, стали образцами, на которые оглядывались все последующие поколения исследователей края. При этом цензурные рамки, разумеется, тогда еще не позволяли редакции по своему желанию расширять спектр тем, имеющих значение для общественного сознания в середине XIX в., например, включать в тематику публикаций крестьянский вопрос.

В пореформенный период, когда цензурные ограничения стали немного слабее, «Олонецкие губернские ведомости» смогли более активно обратиться к общественным проблемам края. Особенно разнообразно и широко газета освещала конструктивную деятельность губернского и уездных земств, способствуя тем самым формированию и развитию гражданского общественного сознания.

Несмотря на нарастание кризисных явлений в деятельности «губернских ведомостей» в конце XIX в., вызванных формированием рынка информационных услуг и частной коммерческой прессы, «Олонецкие губернские ведомости» оставались верны своей изначальной программе и пытались адаптироваться к новым условиям. В это время количество частных подписчиков в отдельные годы превышало 1100 человек, кроме того, газета продавалась в розницу, поступала в библиотеки, образовательные и другие учреждения. Однако это был предел массовости, который «Олонецким губернским ведомостям» было уже не суждено преодолеть.

Тем временем в некоторых губерниях и областях «губернские ведомости» стали преобразовываться в ежедневные издания, стремясь, с одной стороны, посилено освещать местную жизнь и работать над выдвигаемыми ею вопросами, а с другой – сообщать сведения из общественной и заграничной жизни, иными словами, преследовать те же цели, что и частные периодические издания. Это дало им новое дыхание и возможность приобрести весьма солидную и вполне заслуженную репутацию. Однако для «Олонецких губернских ведомостей» такой путь оказался невозможным из-за инертного характера общественно-политической жизни в крае, которая притом еще практически всецело контролировалась местными властными структурами и имела весьма слабые зачатки гражданского общества [Кораблев 2011: 42]. Даже земские органы, являвшиеся в Центральной России основным оплотом либеральных общественных сил, в Олонецкой губернии находились под влиянием чиновничьей бюрократии, а преобладавшие в них представители богатого крестьянства придерживались, как правило, традиционалистской идейной ориентации. Из всех губерний, где было введено земское самоуправление, только в Олонецкой губернии не было ни одного члена земства, замеченного в симпатиях к либерализму. Более того, Олонецкое губернское земство неизменно выступало с адресами консервативно-охранительного характера и уклонялось от участия в общеземских съездах [Пирумова 1977: 232; Савицкий 1979: 648].

Необходимо также отметить, что барьером на пути развития олонецкой прессы было слабое развитие торговли и промышленности, а, следовательно, немногочисленность буржуазии в крае, что не позволяло потенциальным издателям надеяться на значительные доходы за счет публикации рекламных объявлений. Наконец, следует отметить, что и в начале XX в. издательское дело в России по-прежнему было сковано жесткими законодательными рамка-

ми, и, в частности, в отношении провинциальной периодики сохранялся режим предварительной цензуры.

Между тем, в Олонецкой губернии, как и в целом в предреволюционной России назревала борьба за прессу, поскольку новые политические силы понимали, кто владеет умами страны, тот управляет сердцами и волею общества и ведет его туда, куда захочет. В Петрозаводск и уезды начали поступать нелегальные журналы и газеты [Шумилов 1954], появились частные периодические издания, которые стали поднимать рабочий и крестьянский вопросы, остро критиковать местные власти [Кораблев 2011]. В Карелии эта ситуация обострялась еще и тем, что в крае назревал «карельский вопрос», для решения которого некоторыми силами использовалась панфинская пропаганда, противостоять которой были призваны и «Олонецкие губернские ведомости» [Осипов 2008].

Подводя итоги анализа деятельности «Олонецких губернских ведомостей» в сфере развития общественного сознания, следует добавить, что это воздействие было усилено тем, что многие газетные публикации получили вторую жизнь в виде перепечаток в таких изданиях, как «Памятные книжки Олонецкой губернии», «Олонецкий сборник», «Известия общества изучения Олонецкой губернии» и др.

Стать подлинно свободной прессой «губернским ведомостям» было не суждено, но в процессе издания их неофициальной части формировались традиции будущей демократической печати, развивалась читательская аудитория, чьи представления о своем крае и его будущем преломились в грядущих революционных событиях. В наши дни обращение к «Олонецким губернским ведомостям» помогает понять многие актуальные вопросы, и, в частности, «нужна ли в демократическом обществе официальная правительственно-административная пресса; если нужна, то каковы ее цели, задачи, функции; какова степень ее участия в политической борьбе различных партий» [Ахмадулина: 3].

Литература и источники

Акулышин П. В. Просвещенная бюрократия и русская провинция в пер. пол. XIX в.: по материалам Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний: дис. ... докт. ист. наук. Москва, 2004.

Александр Анисимович Ласточкин // Олонецкие губернские ведомости. 1872. № 63. 16 августа.

Ахмадулина Е. В. Правительственная печать России (конец X в. – февраль 1917 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЗАО «Книга», 2000. 77 с.

Благовещенский И. И. Александр Иванович Иванов (биография) // Олонецкие губернские ведомости. 1890. № 14. 21 февраля.

Голубев А. В. Роль местной прессы в становлении региональной идентичности в Олонецкой губернии в середине XIX в. (по материалам «Олонецких губернских ведомостей») // Провинциальная журналистика и жизнь Российской империи в XIX – начале XX в.: Сб. науч. ст. / Сост. и науч. ред. А. А. Кожанов, В. В. Волохова, А. В. Голубев. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. С. 114–128.

Из истории «губернских ведомостей» // Олонецкие губернские ведомости. 1900. № 2. 4 января.

Кораблев Н. А. Становление неофициальной газетной печати в Олонецкой губернии (1906–1917 гг.) // Краеведческие чтения. Материалы 4 научной конференции (16–17 февраля 2010). Петрозаводск: Национальная библиотека РК, 2011. URL: <http://old.library.karelia.ru/> (Дата обращения: 20.09.2015).

Михайлова М. Е. «Астраханские губернские ведомости» в контексте общественно-культурной жизни Астраханской губернии (1838–1917 гг.). Автореф. дисс. канд. ист. наук. Волгоград, 2006.

Осипов А. Ю. Финляндский вопрос на рубеже XIX–XX вв. в освещении провинциальной периодической печати (на примере «Олонецких губернских ведомостей») // Роль местной прессы в становлении региональной идентичности в Олонецкой губернии в середине

XIX в. (по материалам «Олонецких губернских ведомостей») // Провинциальная журналистика и жизнь Российской империи в XIX – начале XX в. С. 129–151.

Пашков А. Друг М. Ю. Лермонтова в Петрозаводске // Краевед Карелии. Петрозаводск, 1990. С. 88–102.

Пирумова Н. М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала XX в. М., 1977. 288 с.

Савицкий И. В. Либеральное дворянство Вологодской губернии в начале XX в. // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1979. С. 19–20.

Шумилов М. И. Дореволюционная Карелия на страницах «Правды» // На рубеже. 1954. № 4. С. 49–57.

Игорь Александрович Пушкин

*Могилёвский государственный университет продовольствия,
г. Могилёв, Республика Беларусь*

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЕВСКОГО РЕГИОНА)

Результаты социологических исследований в Могилевской области (белорусско-российское пограничье), проведённых социологами Могилёвского государственного университета продовольствия [Бубнов 2014: 98], позволяют сделать выводы о состоянии некоторых основных элементов и ценностей гражданской культуры в среде представителей титульной нации – белорусов и национальных меньшинств Беларуси.

Определяющими ценностями гражданской культуры являются законность (законопослушность), толерантность, сотрудничество общества с государством (эффективный диалог), свобода личности.

Всего было опрошено 686 респондентов, которым предложили, по их желанию, назвать свою национальность. Среди ответивших было 550 (80,2 %) белорусов, 85 (12,4 %) представителей национальных меньшинств (русских – 66, украинцев – 7, поляков – 4, евреев – 1, других – 7) и 51 (7,4 %) респондент не назвал свою национальность. В целом это соответствует национальному составу населения Могилевской области. Согласно последней переписи населения представители национальных меньшинств в области составляли 13,9 % [Перепись 2009: 8–24].

Законопослушность и толерантность традиционно считаются характерными чертами жителей Беларуси. Анализ ответов респондентов на вопросы, которые касались гипотетического нарушения законов, позволяет нам подтвердить существующий стереотип об их законопослушности. Ни один из представителей национальных меньшинств и только единицы среди белорусов считают возможным совершать тяжкие преступления.

Совершенно иная ситуация при выборе ответа на вопрос о «нарушении закона в зависимости от ситуации». По ряду позиций среди населения Могилевской области выбор практически одинаковый. По тяжким преступлениям он колеблется от 2 % (совершить террористический акт) до 7,2 % (убийство человека), в иных случаях – от 21,7 % (взять чужую вещь без разрешения) до 5 % (проехать бесплатно на общественном транспорте). Причины такого количества положительных ответов вызваны состоянием развития общества и реакцией на довольно высокий уровень преступности в Беларуси. Отвечая на этот вопрос, респонденты, скорее всего, учитывали внешние обстоятельства: угроза им и их семье, тяжелое экономическое положение в республике и т. д.

Среди опрошенных представителей национальных меньшинств почти в 2 раза больше, чем у белорусов, тех, кто допускает возможность совершения, в зависимости от ситуации, убийства человека (соответственно 7,2 % и 4,2 %), террористического акта (3,6 % и 2 %). У них в два раза выше и суицидальная склонность: в зависимости от ситуации к этому располо-

жены 8,4 % представителей национальных меньшинств, тогда как среди белорусов – 4,9 %. С другой стороны, среди белорусов в 2 раза больше число сексуальных агрессоров: 5,8 % белорусов, в зависимости от ситуации, допускают вероятность принуждения к сексу.

Существует разница между представителями национальных меньшинств и белорусами в рейтинге критериев законопослушности. Анализ ответов «никогда не нарушу закон» позволил увидеть определенные ориентиры в разных национальных группах. Представители нацменьшинств никогда не совершат (по убывающей): насильственный секс (97,6 %), теракт (96,4 %), грабеж и реализацию фальшивых денег (по 95,2 %), убийство человека (92,8 %), кражу (78,2 %), распространение недостоверной информации (71,1 %), не возьмут взятку (65,1 %). Соответственно белорусы не совершат: теракт (97,8 %), грабеж (96,2 %), убийство (95,6 %), насильственный секс (93,6%), реализацию фальшивых денег (92,9 %), распространение недостоверной информации (75,8 %), кражу (75,6 %), не возьмут взятку (66,4 %).

Толерантность как черта характера свойственна белорусскому народу, однако и она подвергается испытаниям в условиях глобализации. Из ответов респондентов можно сделать вывод, что даже в условиях относительной экономической и политической стабильности в белорусском обществе существуют определенные настроения явного и скрытого национального экстремизма.

Две трети (60–68 %) респондентов в Могилевской области считают, что красота и доброта спасут мир. В то же время только 16,9 % представителей нацменьшинств и 17,3 % белорусов разделяют библейский завет «возлюбите врагов ваших». Примерно половина респондентов не согласна с этим постулатом (соответственно – 48,2 % и 54,4 %). При этом надо иметь в виду, что среди опрошенных представителей нацменьшинств 73,5 % назвали себя верующими. Четвертая часть из числа нацменьшинств (25,3 %) и третья часть белорусов (33,8 %) считают, что счастлив тот, кто силен и хитёр.

В Могилевской области наибольшее количество представителей нацменьшинств (89,2 %) и белорусов (84,2 %) согласны с тем, что каждый человек может жить там, где хочет. В то же время каждый третий утверждает, что представители некоторых наций в области нежелательны (соответственно – 32,5 % и 33,8 %). Среди таковых назвали: азербайджанцев (против них высказались 14,5 % респондентов из числа нацменьшинств), чеченцев (14,5 %), армян (13,3 %), цыган (12 %), грузин (12 %), китайцев (9,6 %), туркменов (8,4 %), арабов (8,4 %), узбеков (7,2 %), таджиков (7,2 %), мусульман (7,2 %), негров (4,8 %). Дали ответ, что все нации желательны, только 16,9 % респондентов.

Вместе с тем высказывание «славянские земли только для славян» поддержали только 16,7 % опрошенных белорусов и 16,9 % представителей нацменьшинств, среди которых 92,6 % составляют восточные славяне (с поляками 97,4 %). Против этого утверждения высказались 51,8 % белорусов и 61,4 % представителей нацменьшинств.

Настораживает именно скрытый экстремизм, когда респонденты, отвечая на вопросы анкеты, были целиком или частично согласны с необходимостью узаконивания ряда запретов. За введение ограничений по месту жительства для лиц другой национальности высказались 28,9 % респондентов из числа нацменьшинств (против – 67 %). Поддержали запрет на приобретение недвижимости и земли людьми другой национальности 44,6 % (против – 54,2 %). Ограничение на занятие руководящих должностей в органах государственной власти в зависимости от национальности считают необходимым 48,2 % (против – 49,4 %). За насильственное выселение «инородцев» (целиком или частично) выступают 6% респондентов, за физическое уничтожение – 1,2 %.

Учитывая перечень неугодных наций и то, что преимущественное большинство нацменьшинств области состоит из славян, сделаем вывод о направленности их ответов против «кавказских и азиатских» народов. Среди белорусов запрещающие меры в отношении лиц другой национальности нашли еще большую поддержку (соответственно – 38,5 %, 48 %, 60,6 %, 20,8 %, 6,2 %). Практически такие же цифры были получены по итогам социологического опроса в Могилевской области в 2005 г. (632 респондента) [Пушкин 2010: 242–244].

Направленность против определенных наций имеет в основном политический и экономический подтекст. Так, за запрет смешанных браков высказались только 21,7 % из числа нацменьшинств и 26,2 % белорусов.

В религиозной сфере представители нацменьшинств Могилевской области проявляют большую толерантность, чем белорусы. 74,7 % из них (среди белорусов – 62,5 %) считают, что никакой борьбы между людьми разных вероисповеданий не должно быть, и полностью отрицают использование принудительных, насильственных методов для утверждения той или иной веры на нашей земле.

Существенными ценностями, которые характеризуют гражданскую культуру населения, являются сотрудничество общества с государством (эффективный диалог) и влияние на него, активная деятельность в общественно-политической жизни, солидарность (доверие друг к другу и к органам государственного управления).

Опрос также показал, что только пятая часть представителей национальных меньшинств и четвертая часть белорусов согласна с тем, что для достижения поставленной цели подходят все средства.

Еще более красноречивой является ориентация на тезис «изъять награбленное» как на меру достижения социальной справедливости. Его посчитали правильным и естественным 34,9 % респондентов из числа нацменьшинств Могилевской области и 44,9 % белорусов. Только четвертая часть представителей нацменьшинств и пятая часть белорусов не согласна с таким методом решения социальных и общественных проблем. С возрастом и повышением уровня образования процент сторонников данных высказываний уменьшается. Подобная ситуация характерна для общества с низким уровнем доходов населения и окончательно не сформировавшейся системой демократии. Респонденты не уверены в своем относительно устойчивом социально-экономическом положении в Беларуси.

Итоги социологического исследования свидетельствуют о том, что представители нацменьшинств не полностью удовлетворены политикой властей Республики Беларусь. Среди них больше, чем среди белорусов, процент тех, кто желал бы поучаствовать в антиправительственных выступлениях, а не наблюдать за ними (особенно в среде лиц с более высоким социальным статусом и молодёжи). Среди представителей национальных меньшинств, по сравнению с белорусами, меньше тех, кто одобряет разгон антиправительственных выступлений в Беларуси.

Анализ выбора методов воздействия на власть представителями нацменьшинств в зависимости от возраста (молодежь до 30 лет, средний возраст от 31 до 50 лет) и образования (с высшим образованием) свидетельствует о следующем: молодые люди еще не утратили оптимизма, и их не затронуло в полном объеме разочарование процедурой выборов; среди них больше тех, кто действенными методами влияния на власть считают выборы руководителей (молодежь – 59,1 %, средний возраст – 40 %), встречи руководителей с населением (соответственно – 50 % и 32,5 %), проведение референдумов (36,4 % и 22,5 %), круглых столов (22,7 % и 17,5 %), обращение с письмами в вышестоящие инстанции (22,7 % и 20 %).

Представители среднего возраста (как более опытные) и лица с высшим образованием также возлагают надежду на представительные органы власти. 25 % из них надеются повлиять на органы власти путём законодательной инициативы своих представителей – депутатов (среди молодых лиц таких только 14,2 %). Представители нацменьшинств с высшим образованием разделяют надежды молодежи на выборы, референдумы, «круглые столы», но более пессимистичны в отношении встреч руководителей с населением (25 %) и обращений с письмами в вышестоящие организации (8,3 %), как действенных средств и методов воздействия на власть.

Молодежи вообще свойственен радикализм. Поэтому понятно, что среди них почти в 2 раза больше тех, кто собирается принять участие в митингах и демонстрациях (22,7 %), забастовках (13,6 %), пикетах (4,5 %), по сравнению с лицами среднего возраста (соответственно – 12,5 %, 10 %, 2,5 %). В то же время лица среднего возраста более решительны, чем молодежь. Если среди последних из числа респондентов не нашлось ни одного сторонника голодовок и террористических акций, то 2,5 % лиц среднего возраста высказали готовность к

их проведению. Забастовки поддерживают 29,2 %, митинги и демонстрации – 25 %, пикеты – 8,3 %, голодовки и террор по 4,2 % респондентов из числа представителей не титульной нации с дипломами ВУЗов. Среди них – наименьший процент тех, кто считает, что ничего не поможет (4,2 %). Безразличие к общественно-политической деятельности затронуло и молодежь: похожим образом думают 13,6 % молодых респондентов.

Анализ выбора методов воздействия на власть представителями нацменьшинств и титульной нации засвидетельствовал почти одинаковую приверженность населения Могилевского региона Республики Беларусь к основополагающим принципам демократического общества – выборности и подотчетности руководителей народу. В то же время мы видим, что представители нацменьшинств более, чем белорусы, склонны к выбору активных и радикальных методов воздействия на власть и согласны участвовать в акциях протеста. Среди них на 20 % больше, чем среди белорусов, тех, кто склоняется к мысли, что именно митинговая деятельность может существенно повлиять на решения и действия властей; в 2 раза большее число респондентов считают действенными средствами воздействия на власть забастовки, пикеты, террористические акты, в 5 раз – голодовки. Наибольший процент лиц, склонных к радикальным методам воздействия на власть, приходится на представителей нацменьшинств, имеющих высшее образование. По сравнению с белорусами, среди представителей нацменьшинств почти в 3 раза больше тех, кто вообще разочаровался в возможности воздействия на органы государственной власти.

Нацменьшинства Могилевской области представлены русскими, поляками, украинцами и другими национальностями. Они, безусловно, интересуются тем, что происходит на их этнической родине. Большая часть населения области предпочитает российское телевидение и русскоязычный интернет. Общественно-политические процессы, которые происходят в Российской Федерации, гражданами Беларуси старшего возраста вообще воспринимаются как свои родные. События в Республике Польша и Украине волнуют общественность нашего региона. Учитывая, что большинство респондентов из числа нацменьшинств – русские, можно высказать мнение о восприятии довольно значительной частью респондентов общественных и экономических событий в России как более успешных и демократичных, чем в Беларуси.

Анализ ответов про имевшиеся случаи вымогательств со стороны административных и социальных служб позволяет сделать вывод, что представители нацменьшинств Беларуси на Могилевщине чаще сталкиваются с подобными негативными фактами, чем белорусы. Они вынуждены надеяться на общечеловеческие постулаты: люди в основном хорошие (с этим согласны 65,1 %), мир не без добрых людей (85,5 %), людям надо доверять (51,8 %), человек человеку – друг, товарищ и брат (49,4 %).

Белорусы не столь оптимистичны (соответственно – 49,5 %, 71,6 %, 45,8 %, 46,2 %). Незначительная часть представителей нацменьшинств и белорусов считают, что люди в основном плохие (6,2 % и 6 %), человек человеку – волк (11,6 % и 9,6 %).

Не сталкивались с фактами вымогательств только половина респондентов из числа белорусов и третья часть нацменьшинств. Если выделить в среде нацменьшинств группу лиц в возрасте от 20 до 40 лет, то отмечается следующее: увеличивается процент тех, кто сталкивался с фактами вымогательств со стороны таможни и прокуратуры (по 10,8 %), работников районных, городских и областного исполнительных комитетов (примерно по 8,1 %), ГАИ (29,7 %), работодателей (13,5 %), а также со стороны сотрудников милиции (29,7 %), преподавателей ВУЗов (37,8 %), налоговой инспекции (13,5 %).

Не отрицая наличия проблемы вымогательства в сфере образования, необходимо учитывать, что довольно часто в Беларуси учителя средних школ по требованию руководителей школы и соответствующих отделов образования обращаются с просьбами к родителям о финансовой помощи на ремонт школы, приобретение оборудования. Для этого добровольно-принудительным способом создаются попечительские советы в школах и детских садах. Многие из родителей воспринимают это как факт вымогательства со стороны учителей.

Подобные факты имеют место в учреждениях высшего образования, когда, сталкиваясь с требовательностью преподавателей, часть студентов (в особенности заочной формы обучения) воспринимает это как форму требований вознаграждения, либо взятки. Причем часто такие студенты самостоятельно, без каких-либо намеков, предлагают преподавателям «благодарность», впоследствии называя это вымогательством.

Все это влияет на формирование такой ценности гражданской культуры, как солидарность (доверие друг к другу и к органам государственного управления), в среде белорусов и национальных меньшинств. Население области объединяет одинаковая доля тех, кто надеется сам на себя (от 30 до 40 %) и считает, что миром правят сила и богатство (50–55 %). Четвёртая часть белорусов сегодня проявляет недоверие к другим лицам. Среди представителей национальных меньшинств в республике такое отношение свойственно только 13,3 % опрошенных. Это итог перемен, которые произошли на постсоветском пространстве.

Определённое поведение национальных меньшинств вызвано как политикой государства, так и их проживанием на «чужой» этнической территории. Таким образом, это результат не только объективного (типа политической культуры), но и субъективных факторов, связанных с внешними и внутренними обстоятельствами и поведением титульной нации – белорусов.

Литература и источники

Гражданское общество и государство (очерки теории и практики взаимодействия) / Е. М. Бабосов и др.; под общ. ред. Ю. М. Бубнова. Могилев: МГУП, 2014. 294 с.

Перепись населения 2009. Национальный состав населения Республики Беларусь. Том III. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. 433 с.

Пушкин И. А. Межнациональный аспект и ценности гражданской культуры в Могилевской области Республики Беларусь // Профессиональное и личностное самоопределение молодежи в современной России: материалы третьей Всерос. науч.-практ. конф. Самара, 27–28 сентября 2010 г. / отв. ред. А. В. Капцов. Самара: СамЛюксПринт, 2010. С. 242–244.

Ирина Борисовна Семакова

*Центр национальных культур и
народного творчества Республики Карелия,
г. Петрозаводск*

О НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИДИОФОНАХ КАРЕЛОВ И ВЕПСОВ

Колокольчики, ботало, бубенцы, рынды, колотушки, барабанки, палки, кокошники, детские погремушки и, конечно же, церковные колокола облечены невидимой властью над людьми. В чем же загадочность этих инструментов, которые определяются инструментоведами как идиофоны [Хорнбостель, Закс 1914]¹?

Звучание идиофона – это звук, формирующийся на пересечении времени и пространства, а человек, извлекающий его из идиофона – демиург: звучание идиофонов с позиций мифологии программирует, моделирует будущее. В настоящей статье автор ограничивается исследованием металлических ботало карелов и вепсов – языковыми висячими одиночными идиофонами.

Карелы как этнос сформировались на Карельском перешейке в Приладожье. Именно здесь археологи раскрыли в крупнейших могильниках идиофоны этноса. Международная группа исследователей курганов Приладожья и, прежде всего, С. И. Кочкуркина считают, что древние карелы имели хорошо развитые железо- и медноделательные промыслы, а также высококвалифицированных кузнецов и ювелиров.

¹ В соответствии с классификацией музыкальных инструментов Э. М. фон Хорнбостеля и К. Закса идиофоны имеют нумерацию: соударяемые идиофоны – бубенчики, кокошники (колотушки) – 111.1; ударяемые идиофоны – било – 111.2; языковые висячие одиночные идиофоны – колокола, колокольчики, ботало – 111.242.122.

Вепсы, как и карелы, являются представителями финно-угорского населения края. Первое письменное упоминание о племени Vas, Vasin встречается в работе готского историка Иордана «Деяния готов» VI века как Thiudos, Jnaunxis, Vasinabroncas, Merens. В древнерусских источниках о вепсах упоминается с IX в.

У древних карелов и вепсов технология кузнечных промыслов, как и ассортимент изделий, были типологически сходны.

Появление древних славян на территории Карелии (этот этнос важен в нашей работе) принято связывать с хозяйственным освоением края. Переселенцы несли с собой различные металлические изделия новгородских ремесленников, а затем, с XIII в., начали организовывать их изготовление на местах [Герд, Лебедев 2001; Колчин 1953: 155–186]. Уровень искусства древнерусских кузнецов и, прежде всего новгородцев был очень высоким и как бы «задавал тон» в развитии кузнечного промысла у их соседей.

В Карелии до наших дней в личных хозяйственных подворьях скот содержали преимущественно на свободном выпасе. Эта форма животноводства свидетельствует о том, что производство естественных удобрений скотом, особенно в древние времена, было для коренных жителей края наиважнейшей целью его содержания. При свободном выпасе о передвижениях домашних животных на «своей» территории сообщал, одновременно являясь и звукошумовым оберегом, подвешенный на шею одиночный языковой идиофон – ботало. Ботало, как правило, обладает дребезжащим, «надтреснутым», несколько «расплывчатым», неопределенным по звуковысотности акустическим полем средней динамической напряженности, т. е. полем, в котором звуки-негармоники «гасят» друг друга при наложении. Подобная специфика звука во многом определяется металлом (-ами) изготовления инструмента, а также формой самого инструмента – усеченная пирамида, реже – эллипсоид. Считается, что неблагоприятное сочетание извлекаемых из инструмента звуков-гармоник и негармоник отпугивает диких лесных зверей от домашнего животного с боталом на шее.

История инструмента ботало архаична и многогранна. Первое ботало карелов найдено в городище Паасо в северном Приладожье¹. Оно датируется X–XII вв., а наиболее раннее ботало на русском Северо-Западе – колоколку новгородцев – Б. А. Колчин относит к XII в. [Колчин 1953: 185–186].

Ботало карелов древнего Приладожья имели стальную основу (термическая обработка железа была не менее 750–800°C) с медным покрытием внутри и снаружи (так называемое обмеднение изделия), что придавало особую мелодичность звуку [Хомутова 1986: 205, 207]².

Традиция изготовления ботало карелами в более близкое к нам время была неоднородной. Она развивалась как минимум в двух направлениях – кузнечные традиции южных карелов и традиции северных карелов. У южных карелов, по мнению Л. С. Хомутовой, ботало уже в древнее время изготавливалось способом термического разогрева до высоких температур, а затем изделие обкладывалось и заминалось в глину – «обливалось» тонкими листами меди при высокой температуре и очень быстро охлаждалось в воде [Левинсон, Маясова 1953: 117]. Металл изделия становился мелкозернистым по структуре, особо прочным и непластичным (мартенситом). Кузнецы же Кемского уезда даже в XX веке, по свидетельству наблюдателей, «... паять и лудить ... не умеют» [Б/а 1908: 14]. Традиции изготовления ботало карелами сохранялись вплоть до последней трети XX века и ушли в историю вместе с деревенскими кузнецами, а часто – и с самим животноводством.

Если в курганах вепсов (поселение Крутик, представляющее культуру белозерско-судской группы вепсов второй половины IX – последней трети X вв.) из металлических идиофонов найдены шумящие подвески и бронзовые подвески в форме шаровидных и грушевидных бубенчиков [Кочкуркина 2003: 333–335, 339], то в оятских курганах XI–XIII вв. среди находок – два металлических ботала [Кочкуркина 2003: 340]. В отличие от карельских эк-

¹ Район п. Хелюля, Сортавала.

² Для стали, из которой изготавливались режущие орудия, в Древней Руси использовались термины «очеп», «харалуг», а с XVI века – «уклад» [Колчин 1953: 155–186; Хомутова 1986: 205].

земпларов, вепские ботала имели цилиндрическую форму и меньшие размеры. Язычок этих ботал выступал за губу инструмента примерно на половину его высоты. Исследователь Л. С. Хомутова пишет: «Изделия из металла не отличаются от аналогичных древнерусских ни формой, ни технологическими приемами... Высокий уровень кузнечного ремесла у приладожского населения был достигнут, очевидно, в результате контактов с ладожскими мастерами» (имеется в виду Юго-Восточное Приладожье) [Хомутова 1986: 207]. Ботало древних вепсов, как и у карелов, подвергалось обмеднению, но изделие обмеднялось только с внешней стороны, в то время как у карелов обмеднение ботал было и внешнее, и внутреннее.

Таким образом, исследователи древней культуры прибалтийско-финских народов Карелии утверждают, что кузнечное дело карелов и вепсов Приладожья восходит к новгородским традициям. Однако необходимо отметить, что приладожские карельские ботала, в сравнении с новгородским железным инструментом – колокольцем, звучали достаточно благородно: звук, извлекаемый из инструмента, был примерно определяем по звуковой высоте, тембру, имел значительную динамику. Достаточно благозвучным было и звучание древневепских ботал из оятских курганов. Эти инструменты имели более высокую, в сравнении с карельскими тесситуру звучания в связи с меньшими размерами и обладали меньшей полетностью звука в соответствии с конфигурацией ботал (цилиндр – у древних вепсов и усеченная пирамида или эллипс – у древних карелов Приладожья).

Известные нам археологические образцы новгородских ботал имели, как и у карелов Приладожья, форму усеченной пирамиды. Они изготовлялись из пластины сыродувного железа путем его клепания – сколачивания металлических частей с загибанием краев заготовки при одновременном их сплющивании. Таким образом, новгородцы, в отличие от карелов и вепсов Приладожья, при изготовлении ботал применяли иную производственную технологию – холодную ковку с частичным разогревом по линии швов изделия [Колчин 1953: 185–186].

Ботала, изготовленные собственно карелами, проживавшими в Кемском уезде Архангельской губернии, были принципиально железными, а не стальными, как в Приладожье. Бока ботал этого края для придания инструментам формы усеченной пирамиды аккуратно клепались, а не сваривались, как на юге Карелии. В целях износостойкости материала нижний край северонокарельских ботал, которые тяготели к форме усеченной пирамиды, подворачивались вовнутрь очень ровно – край металла закладывался вовнутрь подворота, напоминая обработку краев в текстильных изделиях. Следовательно, основным приемом изготовления ботал в северной Карелии была ковка железа с подворотом – утолщением нижнего края ботал и клепание боков инструмента – технологии более древние, в сравнении с технологиями изготовления ботал приладожских карелов и оятских вепсов. Звучание подобных клепанных железных ботал в связи со структурой железа против закаленной стали, отсутствием его высокотемпературной обработки, использованием клепки, а не сварных швов, отсутствием обмеднения тулова инструмента, было неблагозвучным и не могло охватывать звуком значительную территорию.

Ботала имеют различную величину в зависимости от их предназначения – для лошадей, коров, быков, телят и др. Все кованые, усеченной пирамидальной формы инструменты имеют внешнюю металлическую петлю для крепления шейного ремня и внутреннюю приварную петлю, предназначенную для закрепления била. Било, в свою очередь, имеет неравномерную толщину – утончено у петли, а средняя и нижняя части утолщаются не менее, чем в 2 раза, относительно его верхней части. По длине била ботала могут быть разделены на три группы – длина била меньше длины самого ботала, длина била равна длине тулова инструмента или длина била больше, иногда значительно, на несколько сантиметров, длины тулова ботала. Все три версии длины била встречаются в традиции коренных народов Карелии и зависят от пристрастий кузнеца, изготовившего то или иное ботало.

В середине и даже во второй половине XX века в деревнях нашего края ботало продолжали изготавливать по старинной технологии. На основе изученного материала мы выделили в этом процессе некоторые этнолокальные черты, связанные с музыкальным инструментоведением.

Наличие утонченной губы ботала и обмеднение края тулова порождает ранее не рассматриваемую в музееведении и инструментоведении проблему «стихийной настройки» звучания ботала. Ей могут подвергаться стороны ботала попарно – основные и боковые, а в редчайших случаях – три или все четыре стороны ботала, имеющего форму усеченной пирамиды. Автор данной работы попытался в полевых условиях на слух выявить примерные интервалы настройки инструментов. Наиболее часто противоположные по расположению губы основных сторон на внутренней поверхности инструмента ботало настроены одинаково. В сравнении со звуком, которое било извлекает из боковых поверхностей инструмента, их «настройка» выше на малую или большую секунду. В традиции южных, сидоровских, вепсов это соотношение может составлять даже больший интервал – малую или «нейтральную» терцию. У карелов-ливвиков Олонецкого района Карелии нам встретился единичный экземпляр кованого усеченно-пирамидального ботала, у которого вследствие расширения мастеров боковых поверхностей инструмента, двустороннего омеднения его губ, соотношение звуков приближается к звучанию кварты – интонации речевого призыва, свойственного интонациям преимущественно русского языка. В изученных автором инструментах, изготовленных практически в наши дни с применением холодной технологии его выработки, эффекта разновысотного звучания основных и боковых поверхностей не наблюдалось.

Остановимся на вопросах географии кузнечных промыслов изготовления ботала на территории Олонецкой губернии XIX – начала XX вв.

Практически в каждом более или менее крупном населенном пункте до последней трети XX в. работали от одной до нескольких местных кузниц, которые изготавливали ботала. Помимо этого, инструменты изготавливались и централизованно. «Их много выделывали по зимам в Коткозерской волости Олонецкой губернии, где этим делом занималось около 10 мастеров и сбывали на Шуньгской, Свирской, Тихвинской и др. ярмарках по 15–18 копеек за штуку. В 1890-х годах для этого производства закупали готовое листовое железо в Петербурге; на маленькие колокольцы <ботало – И. С.> шло 15 фунтов, на крупные – 25 фунтов железа. Медь покупали в виде лома на заводах», – пишет историк Н. И. Шилов [Шилов 2009–2012]. В Олонецком уезде Олонецкой губернии ботала изготавливались также в Неккульской¹ волости, где располагалось несколько железоделательных заводов, в Ильинской, Обжанской волостях, в Тулмозерье, в Паданской волости, в Улванах и иных территориях традиционного проживания южных карелов.

В 1905 году на территории Олонецкой губернии изготовлением ботал занимались, по мнению современников, исключительно литейщики, которые могли одновременно быть и кузнецами. Всех литейщиков в это время насчитывалось 15 человек [Б/а 1905: 154]². Так, в Коткозерской волости литьем *коровых* ботал занимались 8 человек, в Даниловской и Толвуйской волостях, специализировавшихся на изготовлении лошадиных ботал и мелкой литейной пластики, – по 1 человеку. На русских территориях Олонецкой губернии литейщики-кузнецы работали над изготовлением ботал в Вершининской волости Пудожского уезда, в Шильдийской и Оштинской – Вытегорского, Шуньгской – Повенецкого уезда. Коровьи ботала или, как их называют в статистическом отчете, колокола изготавливались в населенных карелами Ведлозерской, Рыпушкальской и Видлицкой волостях Олонецкого уезда. Авторы статистического отчета 1905 года утверждают: «Промысел падает потому, что колокольчик кустарного изделия с глухим звуком стал вытесняться лучшим, более звонким колокольчиком фабричного изделия» (под фабричным изделием авторами понимались маленькие литые валдайские и пр. поддужные колокольчики) [Б/а 1905: 153, 154]. Продавались ботала, изго-

¹ Территория современного Мегрегского и соседних с ним поселений Олонецкого национального муниципального района.

² Литейщики были востребованы на заводах и верфях Санкт-Петербурга (23 человека) и на заводах внутри Олонецкой губернии (4 человека), т. е. на «заработки» в год уходило 27 человек, из которых 1 был учеником. Наибольшее число отходников было родом из Великогубской волости Петрозаводского уезда – 11 человек, Ухотской волости Вытегорского уезда – 4 человека и 12 человек из 10-ти разных волостей губернии.

товленные местными мастерами по следующим ценам: большой инструмент – 60 копеек, средний – 40, малый – 30 копеек за штуку [Б/а 1905: 153].

В Кемском уезде Архангельской губернии ситуация в XIX – начале XX вв. была непростой. Кузнечное мастерство особенно процветало в карельских деревнях Юшкозеро и Маслянной <Маслозеро – И. С.> [Верещагин 1849: 166–168]. В исследовании Н. А. Кораблева «Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии. Вторая половина XX – начало XX в.» приведена статистика по кузнецам губернии: «По данным обследования 1900–1901 гг., всего в карельских уездах Олонецкой губернии насчитывалось 367 действующих кузниц, в которых было занято 428 человек. В Кемском уезде в 1901 г. было 65 кузнецов (включая слесарей)» [Кораблев 2009: 50].

Таким образом, к XX веку на территории Олонецкой губернии изготовлением коровьих ботал занимались в основном карелы Олонецкого уезда, лошадиных – литейщики (и кузнецы) Даниловской и Толвуйской волостей Повенецкого уезда. По тонкому замечанию И. Н. Ружинской, указанные территории были склонны к культивированию старообрядчества, которое «присутствовало в самых южных уездах края (Вытегорский и Олонецкий) и в самом северном – Повенецком уезде» [Ружинская 2002: 32], где до середины XIX века располагалась Выго-Лексинская поморская старообрядческая киновия. На территории Кемского уезда Архангельской губернии наблюдалась достаточно близкая картина. На севере края к 1847–1848 годам кузнечное дело у карелов, как, впрочем, и количество скота, находящегося на свободном выпасе, т. е. с боталом на шее, значительно опережало по численности поморские уезды. В то же время старообрядческие настроения именно в этом, карельском, крае Кемского уезда даже к началу XX века были очень сильны [Пулькин 2009: 272–298; Пулькин 2014]. Они выражались в том, что «раскол поддерживался взаимными их <прихожан – И. С.> отношениями между собой» [Пулькин 2009: 326].

Следовательно, благодаря именно традиционному мировоззрению и приверженности старообрядцев «вековечным» формам народной жизни, производство металлических идиофонов – ботал и технология их изготовления сохранялись. Этот вывод распространяется на традиции металлообработки старообрядцев – карелов Олонецкой и Архангельской губерний, их единоверцев – русских Повенецкого, Петрозаводского, Пудожского уездов, а также, в определенной мере, поморских волостей Кемского уезда Архангельской губернии.

Литература

Б/а. Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1905. Раздел IV.

Б/а. Маслозерский приход Кемского уезда (путевые впечатления) // Архангельские епархиальные ведомости. 1908. № 1.

Верещагин В. П. Очерки Архангельской губернии. СПб., 1849.

Колчин Б. А. Мастерство древнерусских кузнецов // По следам древних культур. Древняя Русь. М., 1953.

Кораблев Н. А. Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии. Вторая половина XX – начало XX в. Петрозаводск, 2009.

Кочкуркина С. И. Корела и Русь. Л., 1986.

Кочкуркина С. И. Весь (по археологическим материалам) // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003.

Левинсон Н. Р., Маясова Н. А. Историко-бытовые экспедиции 1949–1950 // Труды ГИМ. Вып. XXIII. М., 1953.

Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны / Ред. Герд А. С., Лебедев Г. С. СПб., 2001.

Пулькин М. В. Православный приход и власть в середине XVIII – начале XX в. Петрозаводск, 2009.

Пулькин М. В. Православные приходы на севере Карелии: этноконфессиональные аспекты пастырской деятельности (вторая половина XIX – начало XX в.). Петрозаводск, 2014. // <http://human.snauka.ru/2014/06/7051>

Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии в конце XVIII – середине XIX века: численность, расселение и состав. Диссертация на соиск. научн. ст. к. и. н. Петрозаводск, 2002.

Хомутова Л. С. Технологическая характеристика кузнечных изделий из раскопок Тиверска и Паасо по результатам металлографического анализа // Кочкуркина С. И. Древняя Карелия. Л., 1986.

Хорнбостель Э. М. и Закс К. Zeitschrift für Ethnologie, 1914.

Шилов Н. И. Ботало // Определитель музейных предметов. Сводный электронный предметно-тематический иллюстрированный каталог. Петрозаводск, 2009–2012. // <http://kizhi.karelia.ru/opr/>

Тамара Михайловна Смирнова

*Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения,
г. Санкт-Петербург*

ШКОЛЫ ДЛЯ ФИННО-УГОРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1936–1938 гг.)

В 1920–1930-е гг. в Ленинграде и Ленинградской области (далее ЛО) функционировала система школьного образования для национальных меньшинств региона. В первой половине 1930-х гг. национальные школы были коренизированы, то есть обучение в них стало производиться преимущественно на родных языках, в том числе и на младописьменных.

В 1935 г. в ЛО был количественный пик национальных школ – 576 школ, при этом абсолютное большинство из них – 508 (88%) – составляли школы для финно-угорского населения: 313 финских, 104 эстонских, 60 вепсских, 23 ижорских, 5 карельских и 3 зырянских (коми) [Янсон 1936: 73]. В результате очередных районирований от ЛО в 1935–1937 гг. отошли 23 района, в связи с чем изменились ее национальный состав и количество школ на ее территории. Кроме того, шел процесс укрупнения национальных школ, создания школ-интернатов для учащихся отдаленных деревень и присоединения национальных классов (с сохранением программы и языка обучения) к более крупным русским школам.

На 1 января 1936 г. в Ленинградской области (без Ленинграда) насчитывалось 317 отдельных национальных (начальных и неполных средних) школ с общим количеством учащихся более 17 тыс. чел., большинство из которых составляли финны (более 10 тыс.), эстонцы (около 2300 чел.) и вепсы (2600 чел.), ижор обучалось 569 чел., а во всех остальных национальных школах насчитывалось немногим более 1,5 тыс. учащихся. При этом большинство учащихся национальных школ – более 13 тыс. чел. – обучались в начальной школе [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 11, д. 162, л. 31].

Через год самостоятельных национальных школ стало меньше – 298, в том числе финских школ насчитывалось 183, эстонских – 57, вепсских – 29, ижорских – 9. Но при этом общее число учащихся даже немного выросло – с 17127 чел. в 1936 г. до 17594 чел. в 1937 г. Кроме того, работали еще 49 национально-смешанных школ. Таким образом, общее число учащихся нацменьшинств во всех 347 национальных школах и отделениях ЛО составляло 18532 чел. [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2«в», д. 2215, л. 42], из них 16772 чел. (90,5 %) относились к финно-угорским национальностям. Более чем на 2 тыс. чел. увеличилось количество финских школьников, почти на 400 чел. – ижорских. Одновременно снизилась численность учащихся в эстонских (на 600 чел.) и вепсских (на 800 чел.) школах.

**Национальные и национально-смешанные школы для финно-угорского населения
Ленинградской области в 1937 г.**

[По матер.: ЦГАИПД СПб, ф. 24, оп. 11, д. 162, л. 210; оп. 2 «в», д. 2215, л. 42].

<i>Нац. школы</i>	<i>Кол-во школ</i>	<i>Уч-ся в них</i>	<i>Смешанные школы</i>	<i>Кол-во школ</i>	<i>Уч-ся в них (всего)</i>	<i>Из них наименьшинств</i>	<i>Всего школ</i>	<i>Всего уч-ся наименьшинств</i>
Финские начальные	158	7611	Финско-русские нач.	9	721			
Финские НСШ	25	4539	Финско-рус. НСШ	9	2034			
			Финско-русские СШ	3	2629			
			Финско-немец. нач.	1	43			
Итого	183	12150		22	5427	183	205	12333
Эстонские начальн.	47	823	Эст.-рус. начальные	7	393	106		
Эстон. НСШ	10	770						
Итого	57	1593		7	393	106	64	1699
Ижорские начальн.	7	274	Ижорско-рус. нач.	3	299			
Ижорские НСШ	2	429	Ижорско-рус. НСШ	2	335			
			Ижорско-рус. СШ	1	584			
Итого	9	703		6	1218	252	15	955
Вепские нач.	26	1002	Вепско-рус. нач.	3	127			
Вепские НСШ	3	546	Вепско-рус. НСШ	2	326			
Итого	29	1548		5	453	237	34	1785
Всего	278	15994		40	7491	778	318	16772

Национальные школы обеспечивали обучение большинства финно-угорских детей ЛО, но, в зависимости от характера расселения (в крупных населенных пунктах, в мелких деревнях или на хуторах, в национальном или смешанном районе), возникала необходимость создания национальных классов при русских (в основном) школах. Так, из данных на 1937 г. следует, что в отдельных национальных школах училось 98,5 % всех финских школьников области, 94 % эстонских, 87 % вепских и 73,6 % ижорских учащихся. При этом в смешанных школах обучалось всего 183 финских школьника при общей численности учащихся около 5,5 тыс. чел., то есть всего 3,4%; ижор в таких школах было более 20 % (252 ижорских школьника из 1218), эстонцев – 27 % (106 из 393), а вепсов – 52 %, более половины из 453 учащихся.

Начальных национальных школ было в 6 раз больше, чем неполных средних, но если сравнивать количество учащихся, то соотношение будет всего 1,5 – в каждой из 40 неполных средних школах (далее НСШ) училось намного больше школьников, чем в каждой из 238 начальных: в среднем 157 учащихся в неполной средней и 41 – в начальной школе. Еще более отличалась от средней наполняемость ижорской и вепской школ разного уровня: примерно по 39 чел. в начальной и 214 (ижоры) и 182 (вепсы) чел. в НСШ. Следует также отметить, что в двух ижорских НСШ насчитывалось в полтора раза больше учащихся, чем в семи начальных школах.

Полное среднее образование на родном языке финны и эстонцы в ЛО могли получить только в смешанных школах, в то время как в Ленинграде работали самостоятельные финская и эстонская средние школы (последняя в 1937 г. уже была преобразована в отделение при общей школе) [Янсон 1936: 73; ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 «в», д. 2215, л. 41].

В работе национальных школ и классов при русских школах было много проблем: нехватка и часто невысокая квалификация преподавательских кадров, особенно в малокомплектных школах; слабая разработанность методики преподавания на младописьменных языках – вепском и ижорском; большие сложности в изучении русского языка – неродного для учащихся и учителей, и др. Слабое владение русским языком лишало выпускников

национальных школ перспектив дальнейшего обучения и трудоустройства вне национальных районов и сельсоветов или специальных организаций национальных меньшинств.

Таким образом, требовалось привести обучение в национальных школах в соответствии с требованиями ускоренного социально-экономического развития страны, не утратив позитивные стороны коренизации, позволявшие сохранять и развивать национальную культуру, при одновременной нейтрализации ее этнодифференцирующих тенденций. Однако вместо реформирования национальной школы в 1937–1938 гг. власти отказались от самой идеи школы на родном языке для национальных меньшинств.

Осенью 1937 г. Ленинградское облоно провело проверку национальных школ области. К этому времени уже развернулись репрессии во всей системе Народного комиссариата просвещения, курировавшей национальное просвещение, шли аресты среди инспекторов облоно, директоров школ и учителей. Докладная записка и. о. заведующего облоно (вместо арестованного предшественника) в отдел школ обкома ВКП(б) называется «О положении дел в нерусских школах области», хотя ранее использовались термины «национальные школы» или «школы нацменьшинств». Автор записки чутко уловил политическую конъюнктуру: организация нерусских школ, «как известно, мотивировалась осуществлением национальной политики большевистской партии», но действительное положение дел якобы противоречит этой цели. В работе школ были обнаружены так называемые «извращения националистического порядка», главным из которых называлось «игнорирование» русского языка, так как он изучался не с первого, а со второго класса и как иностранный, а не как «государственный». В целом положение в нерусских школах «не может быть более терпимым» [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 11, д. 150, л. 283–292].

В это время в обкоме ВКП(б) готовился проект предложений «О ликвидации национальных буржуазных культурно-просветительных учреждений, являющихся рассадником буржуазного национализма». Национальные школы названы здесь орудием «националистической фашистской пропаганды и шовинистического обособления и отчужденности инонациональных детей, хорошо владеющих русским языком, от общей социалистической культуры и коммунистического воспитания». В этих школах проводилось «наглое националистически-фашистское воспитание учащихся», выразившееся в распевании «контрреволюционных» песен и «дискредитации» руководителей советского правительства. Развитие вепских и ижорских школ названо «искусственным насаждением нацшкол вопреки желанию родителей». В связи с вышеизложенным предлагалось считать существование национальных школ вредным, а «искусственное насаждение» вепских и ижорских школ – грубым извращением политики партии и предложить горону и облоно все национальные школы ликвидировать, превратить их в «обычные» школы и перевести преподавание в них на русский язык уже к 1 января 1938 г. [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 «в», д. 2215, л. 36–38].

20 декабря 1937 г. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) рассмотрело проект постановления «О национальных школах и других культурно-просветительных учреждениях». Текст документа гораздо более сдержан по сравнению с вышеназванными предложениями. Пункт 1-й гласит: «Считать вредным существование особых национальных школ (финских, эстонских, немецких, польских, латышских, англо-американских, ассирийских и других, а также особых национальных отделений при школах). Предложить горону и облоно реорганизовать их не позднее 15 января 1938 г. в советские школы обычного типа...». Проект приказа по такой реорганизации требовалось представить в обком не позднее 25 декабря. Постановление было одобрено путем опроса секретарей и членов бюро обкома [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 (II), д. 2092, л. 62–63].

В это время в ЛО работало 346 национальных школ, перечисленные в «Списке районов области, где имеются национальные школы». Больше всего национальных школ было в Красногвардейском (Гатчинском) районе – 56, далее шли Токсовский (29 школ), Кингисепский (26), Волосовский (22), Винницкий и Слуцкий (Павловский) – по 19, Всеволожский (18), Струго-Красненский (11), Ораниенбаумский (10) и др. [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 (II), д. 2092, л. 56].

27 декабря 1937 г. в обком поступил «Список директоров нерусских НС [неполных средних] и средних школ Ленинградской области», включавший 63 школы, среди которых 57 – финно-угорские, в том числе 35 финских, 14 эстонских, 4 вепсских и 4 ижорских школ (несколько школ смешанных, средняя школа – всего одна).

Таблица 2

Список директоров финно-угорских неполных средних и средних школ Ленинградской области (по состоянию на 27 декабря 1937 г.)

[По матер.: ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 11, д. 162, л. 207–209]

Район / Фамилия директора	Название и тип школы (все, кроме одной – НСШ)	Нац-ть	Партий- тий- ность	Образование	Стаж работы
Волосовский					
Розенбук (врем.)	Зимишитецкая эст.				
Преман	Кикеринская эст.				
Теули И.А.	Везиковская фин.	финн	б/п	среднее пед.	10
Мартикайнен П.Г.	Губаницкая фин.	финн	ВКП(б)	педтехникум	15
Гдовский					
Вильбах	Трутновская эст.				
Ефимовский					
Амур	Родогощенская вепс.				
Капшинский					
Ржепницкий И.И.	Корбенничская вепс.	поляк	ВЛКСМ	педтехникум	6
Кингисеппский					
Котсолайнен С.М.	Липковская фин.	финн	б/п	высшее	8
Тамвиллиус А.И.	Тикописская эст.	эстонец	б/п	II к. агро-пед. ин-та	11
Исаев Г.Г.	Горковская ижор.	русский	б/п	среднее пед.	19
Степанов С.Е.	Кейкинская ижор.	ижор	б/п	среднее пед.	34
Котсолайнен	Конновская фин.	финн	ВЛКСМ	Педвуз Герцена	8
Ильин П.А.	Куземкинская ижор.	ижор	б/п	н/высшее	21
Карнаухов П.М.	Мишинская ижор.	русский	б/п	педучилище и курсы	8
Красногвардейск.					
Мартинен А.И.	Елизаветинская фин.	финн	ВКП(б)	высшее	29
Леметти А.С.	Ковшовская фин.	финн	ВКП(б)	Комвуз	2
Хуттер Г.П.	Колпанская фин.	финн	ВЛКСМ	н/высшее	7
Леукконен М.А.	Скворицкая фин.	финн	б/п	н/высшее	10
Финне Я.А.	Лукашская фин.	финн	б/п	среднее общее	27
Хяргинен И.А.	Вохоновская фин.	финн	ВКП(б)	пед. курсы и I к. ин-та	8
Крестецкий					
Паульман Л.И.	Камзовская эст.	эстонка	ВЛКСМ	высшее	8
Токсовский					
Савва Е.В.	Вартемягская фин.-рус.	русский	ВЛКСМ	высшее пед.	2
<i>Нет данных</i>	Кузьмолловская фин.-рус.				
<i>Нет данных</i>	Куйвовская фин.-рус.				
Хейсканен И.И.	Матокская фин.-рус.	финн	ВЛКСМ	Фин. Педтехн.	9
Сарелайнен	Токсовская ср. шк. (фин.-рус.)	финн	ВКП(б)	Пединститут	10
Лужский					
Вессарт Х.Я.	Эстонская НСШ № 5	эстонка	ВКП(б)	н/высшее	27
Лядский					
Якобсон Э.В.	Благодатская эст.	эстонец	ВЛКСМ	среднее пед.	3
<i>Нет данных</i>	Бешковская эст.				
Мгинский					
<i>Нет данных</i>	Марковская фин.				
Хальме Т.С.	Муйская фин.	финн	ВКП(б)	Комвуз	1
Ораниенбаумский					
Тахванайнен М.А.	Бабигонская фин.	финка	ВКП(б)	Педтехн. и 2 к. Комвуза	10
Катталайнен М.А.	Илликовская фин.	финка	ВКП(б)	Комвуз	6

Середкинский					
Мяник И.И.	Луговская эст.	эстонец	б/п	Комвуз нацмен. Запада	8
Пенинг К.П.	Ремдовская эст.	эстонец	б/п	н/высшее	12
Струго-Красненский					
<i>Нет данных</i>	Домкинская эст.				
Данцевич З.А.	Струго-Красненская эст.	эстонка	ВКП(б)	среднее общее	13
Новосельский					
Вебер В.Д.	Маяковская эст.	эстонец	ВЛКСМ	педкурсы и 1 к. педтехникума	4
<i>Нет данных</i>	Луг-Луговская эст.				
Тосненский					
<i>Нет данных</i>	Войсковорская фин.				
Вальяка П.А.	Лисинская фин.	финн	канд. ВКП(б)	среднее пед.	5
Горовьнева	Нурминская фин.				
Красносельский					
<i>Нет данных</i>	Дудергофская фин.				
Тойка П.О.	Аннинская фин.	финн	б/п	Фин. Педтехн.	8
Тейдер А.П.	Киненская фин.	финн	б/п	Земская учит. школа	34
Тукканен С.И.	Разбегаевская фин.	финн	ВКП(б)	Фин. Педтехн.	11
Ильмаст М.П.	Яльгюлевская фин.	финн	ВКП(б)	Комвуз нацмен Запада	5
Винницкий					
<i>Нет данных</i>	Озерская вепс.				
Кириллов И.Н.	Ярославская вепс.	вепс	ВЛКСМ	курсы историков	6
Парголовский					
Курхинен И.М.	Юкковская фин. – рус.	финн	ВЛКСМ	Фин. с.-х. техн.	9
Слуцкий					
Петтинен Э.А.	Шк. им. [ирзб.] фин.	финн	ВКП(б)	Комвуз им. Крупской	14
Ильмаст И.П.	Шк. им. Ленсовета фин.	финн	б/п	Педтехн. и Комвуз	13
Рюнтю И.М.	Шушарская фин.	финн	б/п	учится экстерном педин-т (б. им. Бубнова)	8
Всеволожский					
Лембинен В.А.	Колтушская фин.	финн	ВЛКСМ	10-летка с пед. уклон	10
Мурманский округ					
Витол А.П.	Ловозерская фин. – ижор.) [вероятно, ижемская]	латыш	ВКП(б)	Ин-т Герцена Севера [так в док-те]	12
Каява С.М.	Кировская НСШ № 7 (фин.)	финн	б/п	Педин-т Герцена	13
Тухканен Р.И.	Белокаменская фин.	финн	ВКП(б)	Учит. Ин-т	7

24 января 1938 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О реорганизации национальных школ». Во исполнение этого постановления Ленинградский ОК ВКП(б) 5 февраля 1938 г. принимает свое решение, аналогичное и одноименное.

Уже 24 февраля 1938 г. заведующий облоно Поликарпов докладывает в обком о ходе выполнения этих решений. В области к этому времени были расформированы национальные школы, находящиеся на расстоянии не более 2–2,5 км от ближайших русских школ, куда и были переведены ученики из национальных школ и классов. Школы национальных меньшинств, расположенные на значительном расстоянии от русских школ, сохранялись как самостоятельные единицы, но преподавание в них переводилось на русский язык и на учебный план русской школы. По состоянию на 20 февраля были реорганизованы 90 различных национальных школ. Самыми быстрыми темпами этот процесс шел в Красногвардейском районе, где 36 финских школ уже были реорганизованы, а 13 должны были перейти на русский язык к 1 марта. Все остальные национальные школы ЛО облоно обязалось реорганизовать до конца марта. Для подготовки учителей к преподаванию на русском языке были проведены краткосрочные курсы, охватившие 240 чел. С марта 1938 г. при областном Институте повышения

квалификации учителей открывались курсы без отрыва от производства для учителей пригородных районов [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 «в», д. 2856, л. 1–2].

Школьный отдел ЛОК ВКП(б) в обстоятельной докладной записке от 5 марта 1938 г. по итогам выборочной проверки шести районов области сообщал, что с начала второго полугодия преподавание в 45 вепсских и 15 ижорских школах переведено на русский язык, без особых затруднений проведена реорганизация 4 эстонских, 17 латышских и 9 немецких школ. Однако с реорганизацией 232 финских школ возникли затруднения из-за незнания учителями русского языка (при этом о степени владения детьми русским языком вообще не упоминается) [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 (II), д. 2092, л. 64–65].

В справке «О ликвидации национальных школ и других культурно-просветительных учреждений» от 8 марта 1938 г. указано, что выполнение поставленной задачи идет успешно: в Ленинграде все национальные школы (кроме татарской) и национальные отделения уже «реорганизованы в советские школы обычного типа», а в области из 376 школ [это количество школ не подтверждено другими данными – Т. С.] реорганизованы 340, пока не реорганизованы 30 начальных и 6 неполных средних финских школ. Таким образом, за январь – начало марта 1938 г. в Ленинграде и области «подавляющее большинство национальных школ и других культурно-просветительных учреждений уже ликвидированы» [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 (II), д. 2092, л. 57].

Поражает поспешность «реорганизации» школ – ведь речь шла о переводе на русский язык почти 20 тыс. учащихся и учителей, родным и разговорным языком которых русский не являлся. Полный и мгновенный переход на русский язык в школе не был только изменением языковой формы обучения, но означал радикальную ломку мышления и образа жизни участников учебного процесса, а за ними – и всей соответствующей национальной группы населения. «Реорганизация в советские школы обычного типа» для школ национальных меньшинств означала отнюдь не только перевод преподавания на русский язык, но и стандартную программу обучения, в которой не было места изучению родного языка и литературы, краеведения с элементами этнографии и истории своего народа – всех «национальных» предметов, способствующих живому функционированию родной культуры.

Такой процесс насильственной замены культуры на иноязычную не мог проходить совершенно гладко. Учителя национальных школ искренне не понимали, почему необходимо перечеркивать все достижения культурного строительства на родном языке, и видели в этом в лучшем случае ошибку местных властей. Но были и заявления принципиального характера. Так, учительница финского языка Кемпи (г. Кировск) при обсуждении вопроса о «реорганизации» заявила, что перевод школ на учебный план «обычной советской школы» является «нарушением принципов ленинско-сталинской национальной политики» [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 «в», д. 2856, л. 3]. Однако среди части населения нацменьшинств было и положительное отношение к проводимой реорганизации в силу ограниченных перспектив для дальнейшего специального образования на родном языке.

Большой сложностью в проведении реорганизации национальных школ было незнание или слабое знание русского языка учителями этих школ, в то время как преподавание на чужом языке требовало владения им как родным. В школах не было учебников, пособий и художественной литературы на русском языке.

Для решения первой части проблемы при всех районах были организованы краткосрочные курсы, а в школах – постоянные кружки по изучению русского языка. Преподаватели русского языка по заданию района приезжали в школы для проведения занятий и проверки выполнения заданий в этих кружках. Не перешедшие на русский язык учителя обвинялись в сопротивлении «помощи им в освоении русского языка» и в саботаже решений партийных органов [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 «в», д. 2856, л. 2–3; оп. 2 (II), д. 2092, л. 58, 64–66].

«Неожиданные затруднения» в проведении решений о реорганизации национальных школ были рассмотрены на заседании бюро ЛОК ВКП(б) 19 марта 1938 г., где были квалифицированы как недоработка облоно и отдельных райкомов ВКП(б). Постановление требовало «обеспечить реорганизацию национальных школ по существу», для чего облоно уси-

лить контроль над процессом и «укрепить» новыми педагогическими кадрами реорганизуемые школы, переводя в них учителей из русских школ. Реорганизацию всех оставшимися еще национальными школ предписывалось закончить к 15 апреля 1938 г. [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2 (II), д. 2087, л. 4–5], но еще и новый, 1938/39 уч. год в некоторых национальных школах Ленинградской области начали на родном языке.

Последний раз вопрос о ходе реализации решений ЛОК ВКП(б) по национальным школам рассматривался на секретариате обкома 14 ноября 1938 г. В принятом постановлении с удовлетворением констатируется, что такая реорганизация способствовала «разоблачению буржуазных националистов, пытавшихся под флагом «национальной политики» оторвать учащихся национальных школ от социалистической культуры и русского народа». Среди перечисленных задач указаны необходимость «доукомплектовать» квалифицированными кадрами бывшие национальные школы, обеспечить их учебниками, наглядными и учебными пособиями и детской художественной литературой на русском языке [ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2, д. 2615, л. 3–4].

Таким образом, процесс реорганизации, а по существу, ликвидации национальных школ ЛО затянулся почти на год и не был еще окончательно завершен осенью 1938 г. В первую очередь, это было вызвано объективными причинами – самим фактом существования национальных меньшинств, имевших свою культуру и родной язык, которые невозможно было отменить никаким постановлением. Однако систему организованных форм культурной жизни нацменьшинств, основу которой составляли национальные школы, разрушить было можно, но на это требовалось определенное время. Ликвидация национальных школ означала полное отрицание всей прежней культурной политики советской власти, базировавшейся на признании равноправия национальных меньшинств во всех сферах социальной жизни. С ликвидацией национальных школ исчезала основа огосударственной культуры национальных меньшинств, в силу чего оказывались «несуществующими» и все другие ее проявления, главным образом родной язык как средство этносоциализации в ином (русском) языковом окружении. Без школ на родном языке культура национальных меньшинств вытеснялась в бытовую и конфессиональную сферу, становилась частным делом практически без возможности развития.

Литература и источники

Янсон П. М. От угнетения и бесправия – к счастливой жизни. Л.: Изд-во Лениблс-полкома и Ленсовета, 1936. 88 с.

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.). Ф. 24 – Ленинградский областной комитет КПСС.

Оп. 11. Отдел школ.

Д. 150. Докладные записки и справочные материалы.

Д. 162. Докладные записки, статистические сводки и сведения, справки, заявления, телеграммы и переписка. Списки детских домов, ВУЗов и техникумов, национальных школ и их директоров по ЛО.

Оп. 2. Особый сектор.

Д. 2615. Протоколы заседаний секретариата ЛОК ВКП(б).

Оп. 2 «в». Особый сектор.

Д. 2215. Докладные записки и справки, материалы к протоколам пленумов, бюро и секретариата обкома. Списки национальных школ Ленинградской области.

Д. 2856. Докладные записки, статистические сводки, справки. О реорганизации национальных школ Ленинградской области.

Оп. 2 (II). Особый сектор. Особая папка.

Д. 2087. Протоколы заседаний бюро ЛОК ВКП(б).

Д. 2092. Материалы к протоколам секретариата и бюро Обкома ВКП(б).

ВЕПССКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ: ИСТОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

История вепсского языка, по выражению исследовательницы финно-угорских языков Ариадны Кузнецовой, «позволяет назвать вымирающий вепсский язык вечно живым» [Кузнецова 1998: 262]. Такая амбивалентная характеристика вепсского языка была ею дана в связи с его возвращением после полувекового бесписьменного периода в число языков с письменной традицией.

Предсказания об обреченности вепсов и вепсского языка высказывались почти всеми его исследователями с пониманием, насколько сложно малочисленному народу противостоять, по словам В. Равдоникаса, «засасывающей их и ассимилирующей русской массе» [Равдоникас 1926: 260]. Первый исследователь вепсов А. Шёгрэн, совершивший к ним три экспедиции в 1824–1827 гг., с сожалением отмечал, что народ, *«коего потомки еще поныне существуют в так называемой чуди, ... с каждым годом более исчезающими, сливаясь с главной массой российского населения»* [Шёгрэн 1829: 110–111]. Вслед за А. Шёгреном о скором обрусении вепсов заявил и его последователь – Элиас Лённрот, проводивший с июля по сентябрь 1842 г. сбор материала по вепсскому языку и фольклору. Его экспедиция началась с посещения вепсских деревень Исаевской волости Вытегорского уезда, находящихся на восточной окраине вепсской территории, где активно проходил процесс обрусения. Это первое впечатление об исаевских вепсах и стало основой для прогноза Э. Лённрота, *«что через столетие вепсский язык перейдет в предание, и в народе будут говорить, что в прежние времена их прадеды общались на каком-то другом, не русском языке»* [Путешествия Элиаса Лённрота 1985: 292–293]. Дальнейшая работа Элиаса Лённрота в течение нескольких недель у вепсов на Ояти, где вепсский язык в то время являлся основным и даже единственным средством общения между сородичами, увенчалась успехом. Собранный им здесь материал по вепсскому языку и фольклору стал основой для написания им докторской диссертации на шведском языке «Om det nord-tschudiska språket» («О языке северной чуди»), а диссертация – первым научным трудом по вепсскому языку. Её защита в мае 1853 г. в Александровском университете в Хельсинки позволила Э. Лённроту занять впервые учрежденную в Финляндии должность профессора финского языка [Карху 1996: 210].

Вместе с тем видимая утрата вепсского языка у исаевских вепсов привела Э. Лённрота к серьезным размышлениям о причинах перехода этнических меньшинств на язык доминирующего сообщества. Важнейшим фактором, по его наблюдениям, у вепсов Исаевской волости являлась не столько потребность знания языка соседей *«для поддержания торговых и прочих связей»*, а убеждение, что от русского языка *«большая польза, а от вепсского – никакой»*. Решающим в ситуации меньшинства становится оценочное восприятие своего языка его носителями, их желание сохранять или не сохранять родной язык, наличие или отсутствие веры в необходимость его существования. Вместе с тем Э. Лённрот, рассуждая об обстоятельствах, порождающих у меньшинств смену родного языка на более престижный язык доминирующего общества, отмечал условность добровольности этого процесса. Ответственность за сохранение языков «подчиненных» народов Э. Лённрот возлагал и на представителей господствующего сообщества. Он подчеркивал и важность создания письменности для языков меньшинств, поскольку *«отсутствие письменности и официального использования языка ускоряет его гибель, подобно тому, как отсутствие фундамента и угловых камней сказывается на прочности дома»* [Путешествия Элиаса Лённрота 1985: 293].

Вслед за финскими исследователями во второй половине XIX в. к изучению вепсов приступили отечественные краеведы и этнографы: В. Н. Майнов, А. И. Колмогоров, В. Ф. Лесков, Д. П. Никольский, Н. Подвысоцкий. Общей идеей их работ также являлись со-

жаления о скором исчезновении вепсов из-за активного процесса ассимиляции, который ускорился в пореформенную эпоху из-за распространения школьного образования на русском языке и расширения активности хозяйственной деятельности вепсских крестьян за пределами своих деревень. Вместе с тем, ситуация с бытованием вепсского языка в центре вепсской территории оценивалась неоднозначно. По сообщению Д. П. Никольского, *«в глухих кайванских деревнях женщины и дети не знают русского языка»* [Никольский 1895: 14]. Н. Подвысоцкий отмечает, что *«кайванская речь слышится на всем протяжении от села Вонозера до Печуи – здесь редко услышите даже русскую речь, так как сами русские говорят по-кайвански и при сношении с кайванами предпочитают инородческую речь своей русской»* [Подвысоцкий 1899:55]. Как и Э. Лённрот, Н. Подвысоцкий подчеркивает необходимость создания письменности для вепсов, отмечая, что *«никакой кайванской азбуки до сих пор не существует, и все попытки создать русско-кайванский словарь, а также хоть какую-нибудь грамматику или азбуку безуспешны. А об этом следует подумать серьезно, так как тихвинские кайваны вымирающая народность, и стыдно будет, если эта народность, живя так близко от столицы, исчезнет, не оставив после себя никаких письменных памятников. Составить же кайванскую азбуку, а также грамматику и русско-кайванский словарь вовсе не так трудно, зная русский и кайванский языки»* [Подвысоцкий 1899: 56]. По его наблюдениям, *«учителя в первый год вепсских детей учат на кайванском наречии, а со второго года – уже на русском языке, для чего учителю приходится более или менее знать как кайванский, так и русский языки»* [Подвысоцкий 1899: 56]. С целью облегчения труда учителей, *«которые, вступая в чудскую школу, не знакомы с наречием учащихся»*, П. Успенский, выходец из учительской семьи, проживавшей в с. Рыбрека, в 1909 г. подготовил на кириллице *«Русско-чудской словарь»* [Успенский 1913: 3]. Являясь пособием для учителей, *«Русско-чудской словарь»* П. Успенского был издан в небольшом количестве и не оказал влияния на использование письменной речи на вепсском языке.

Создание вепсской письменности и перевод школьного образования на родной язык началось в 1931 г. и проходило в рамках общей политики содействия советского государства развитию нерусских народов, известной как «коренизация». Она предусматривала создание в регионах их традиционного проживания автономных образований (республик, округов, областей), перевода в них делопроизводства и школьного образования на языки местных народов, использования их в просветительской и культурной деятельности, целевую подготовку управленцев из местной среды. Особое внимание уделялось малочисленным бесписьменным народам и национальным меньшинствам, не имевшим своих республик или округов, а также проживающим за пределами своих автономных образований. В постановлении Третьего съезда Советов СССР (май 1925 г.) *«По вопросам советского строительства»* Центральному исполнительному комитету СССР было поручено обеспечить в случае значительной численности национальных меньшинств *«образование отдельных Советов с употреблением языков этих меньшинств, организацию школ и судов на родном языке»* [Съезды Советов в документах 1960: 82]. Рост численности вепсов в период между Первой Всероссийской переписью населения Российской империи (1897 г.) и Всесоюзной переписью 1926 г. (с 26 до 33 тысяч) опровергал распространенное в литературе мнение о вепсах как исчезающей народности. Как писал первый вепсский этнограф С. А. Макарьев: *«Пресловутому вепсскому вымиранию... можно с полной уверенностью положить конец»* [Макарьев 1929: 8].

Среди вепсов коренизация в полном объеме реализовывалась только в Ленинградской области, где в то время проживало три четверти вепсского населения – 24 тыс. человек. В Карелии, в состав которой в 1924 г. была передана часть вепсской территории, её руководство, возглавляемое «красными финнами», добилось при преобразовании в июле 1923 г. Карельской Трудовой Коммуны в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику (далее КАССР) утверждения равноправным с русским карело-финского языка [Советы Карелии 1993:100]. Реально за несуществующим карело-финским языком в республике вторым официальным языком являлся финский язык, который использовался в сфере образования и культурной работы не только среди финнов, но и в местах традиционного рас-

селения карелов и вепсов. Весь период правления «красных финнов» (1920–1935 г.) в литературе определяется как первая финнизация Карелии [Килин 1999: 139–145].

Первое совещание по вопросу о создании письменностей для бесписьменных народов Ленинградской области состоялось **7 января 1931 г.** в отделе народного образования Ленobl-исполкома с участием Д. В. Бубриха. На нем было решено приступить к сбору вепского лингвистического материала и к осени 1931 г. подготовить буквари и учебные пособия на вепском языке. Руководителем экспедиции к вепсам, которая проходила с 6 марта по 27 мая 1931 г., был назначен аспирант русско-финской секции Комиссии по изучению племенного состава населения СССР (КИПС) Г. Х. Богданов, карел, уроженец д. Войница Ухтинского района Карелии. В экспедиционную группу входил студент института им. Герцена А. М. Михкиев, также карел по национальности, и ингерманландский финн М. М. Хямяляйнен, ученик Д. В. Бубриха. Их сопровождал курсант совпартшколы, вепс И. М. Гурькин (Гирькин?). Материал они собирали в Оштинском и Винницком районах Ленинградской области и Шелтозерском районе Карелии [Королькова 2008: 153]. После экспедиции был разработан и утвержден в 1931 г. вепский алфавит на латинской основе из 28 букв. По воспоминаниям М. М. Хямяляйнена, они сразу же приступили к работе над первым учебником вепского языка – *“Ezmäne vepsiden azbuk i lugendknig”*. Его писали втроем – один финн и два карела (Г. Х. Богданов и М. М. Михкиев) в родном доме М. М. Хямяляйнена в Лукашах Ленинградской области, но главную роль, как он отмечал, играл Иван Гурькин. И в экспедиции, и здесь *«Ваня служил лучше всякого справочника»* [Матвеев 1988: 17 декабря]. Закончив работу под звон колокольчиков коров, провожаемых утром хозяйками в стадо, *«от полноты чувств, пустились в пляс, а Ваня дал жару на балалайке. Они плясали, а в проеме двери стояли родители и, улыбаясь, смотрели на них: У ребят праздник»* [Матвеев 1988: 17 декабря]. Рукопись учебника потеряли в московском издательстве, и она вышла через год – в ноябре 1932 г. [Смирнова 2002: 157]. Букварь вепского языка, изданный в 1936 г. был переводным с типового.

Переход обучения на родной язык среди вепсов Ленинградской области и подготовка учебной литературы проводилась очень активно [Муллонен 1967: 105–109; Смирнова 2002: 157 и далее]. К 1935 г. почти все вепские дети учились на родном языке. По официальной статистике, в 1935/1936 учебном году в 53 вепских начальных школах обучались 2533 ученика, в 7 неполных средних школах – 554 ученика. К этому времени было издано около 30 учебников на вепском языке, над подготовкой которых под руководством Н. И. Богданова работала группа из десяти человек – аспирантов, учителей и студентов-вепсов, обучающихся в вузах Ленинграда [Муллонен 1967: 106].

В 1935 г. «красные финны» были отстранены от управления Карелией. Их национальная политика подверглась жесткой критике. В республике под руководством Д. В. Бубриха началась работа по созданию карельской письменности и переводу обучения карелов на родной язык. Осенью 1937 г. вышло постановление Совета народных комиссаров «О переводе карельских и вепских школ на родной язык обучения» [НА РК, ф. 630, оп. 6, д. 13/39, л. 115, 116]. Статья С. Яковлева «Вепсская литература и школа. Опыт Ленинградской области», опубликованная 14 мая 1937 г. в газете «Красная Карелия», призывала использовать опыт Ленинградской области для организации преподавания на родном языке для вепсов в Шелтозерском национальном районе Карелии. В ней говорилось о впечатляющих успехах по развитию вепского языка: *«В этом году Ленинградский отдел учпедгиза выпускает еще 13 учебников для начальных и средних школ и для взрослого вепского населения. Готовится также к печати работа Андреева “Методика преподавания вепского языка”. Сейчас учебники на вепском языке обслуживают все 4-классные вепские начальные школы. Начинает издаваться на вепском языке и художественная литература для детей. В этом году Детгиз выпускает на вепском языке 6 книг: Серафимович “Сцетцик”, Яковлев “Сказки моей жизни”, Шорин “Одногодки” и др.»*. Из-за резкого изменения национальной политики они не вышли в свет.

Смена языковой политики в Карелии совпала с общей линией перевода письменностей народов страны с латиницы на кириллицу, поэтому вепсская письменность в Карелии была переведена на кириллицу. На новом алфавите в период с 9 июля по 25 сентября 1937 г. в газете Шелтозерского района «Красное Шелтозеро» публиковались сообщения и заметки на вепском языке [Красное Шелтозеро 1937: 14, 20, 25 июля; 1, 15, 18, 22, 27 августа; 4, 25 сентября]. Заголовки статей – «*Эй тида пяста расхищенияд колхозныэид нийтид*» («Не дадим расхищать колхозные покосы»), «*Миня олен воомиж сейжутадасте рядыхе РККА*» («Я готов вступить в ряды РККА»), «*Кайк вяги завершенияле уборочныид радэйд*» («Все силы на уборочные работы»), «*Ведада район позорныяс прорываспэй*» («Вывести район из позорного прорыва») – показывают засилье русизмов.

В начале 1938 г., после зимних каникул, все вепские школы в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, куда в сентябре 1937 г. из Ленинградской области была передана часть вепской территории с пятидесяти тысячным населением, перешли на обучение на русском языке. В местной печати события, связанные с запретом преподавания вепского языка, не обсуждались. Для населения, как пишет участник тех событий С. Я. Гаврилов, «*объяснений не последовало никаких*» [Гаврилов 1997: 204].

При обсуждении причин утраты вепской письменности, из-за невозможности открыто заявить, что её запрет был политическим решением властей¹, высказывались разные суждения. Как писала А. Кузнецова, вепсская письменность была «после 1937 г. вплоть до конца 1980-х гг. забыта» [Кузнецова 1988: 261]. Одной из возможных причин её утраты указывалось решение о переводе во второй половине 1930-х гг. письменностей малочисленных народов с латиницы на кириллицу, что по отношению к вепскому языку якобы не было сделано [Муллонен 1967: 106]. Среди вепского населения основной причиной запрета использования вепской письменности и преподавания его в школе указывалось, что это мешало изучению русского языка.

Данный период в истории вепского народа известен как первый период возрождения. По заключению языковеда Н. Г. Зайцевой, он занял важное место в истории изучения вепского языка. Как отмечает исследовательница, за столь короткий период «*в нашей стране было сделано значительно больше, чем за целое столетие ранее: положено начало планомерному исследованию вепского языка; организованы экспедиции к вепсам и начат сбор лингвистического материалы; зародилось вепсоведение*» [Зайцева 1989: 98].

Недолго просуществовала и карельская письменность. После завершения военных действий СССР и Финляндии в 1940 г. и преобразования КАССР в Карело-Финскую ССР официальным языком в Карелии снова стал финский язык. Наступление второго периода «финнизации» в Карелии вепские школы не затронуло. Финский язык снова стал языком обучения у вепских детей в период оккупации финляндской армией части территории Карелии, в том числе Шелтозерского района во время Великой Отечественной войны. После освобождения Карелии школы в местах проживания вепсов перешли на обучение на русском языке, финский язык использовался только в школах карельских районов.

Долгое время тема карельской и вепской письменности для исследователей была запретной. За выступление в конце 1950-х гг. на собрании карельских писателей о необходимости восстановления карельской письменности ученый секретарь ИЯЛИ Г. Н. Макаров был снят со своей должности [Керт 2000: 76–77]. Спустя десятилетие появились статьи А. П. Баранцева [Баранцев 1967: 89–104] и М. И. Муллонен [Муллонен 1967: 105–109] о недолгой истории развития карельской и вепской письменностей как о событиях прошлого.

Ситуация стала меняться в начале 1980-х гг. Власти Карелии, скорее всего, под воздействием каких-то внешних обстоятельств обеспокоились организацией преподавания в школах финского языка как необходимого атрибута автономной республики. Карельский обком КПСС и Совет Министров «в свете Конституции СССР и решений партии и правительства о

¹ См. статью Смирновой Т. М. в данном сборнике «Школы для финно-угорского населения Ленинградской области (1936–1938 гг.).»

развитии советской школы» принимают 12 февраля 1981 г. совместное постановление «О состоянии и мерах улучшения преподавания финского языка в школах КАССР» [НА РК, ф. 3, оп. 37, д. 56, л. 2–6]. Ответственность за ослабление позиций финского языка в республике возлагалась на Министерство просвещения. Многочисленным организациям и ведомствам предлагалось принять меры по созданию условий для обучения учащихся на финском языке, расширению числа классов и групп, изучающих финский язык, изданию учебников, методических пособий и словарей, периодической и художественной литературы на финском языке, определить потребность республики в специалистах, владеющих финским языком, расширить тематику и качество телерадиопередач на финском и карельском языках. Ректорату ПетрГУ поручалось добиваться повышения качества подготовки учителей финского языка, улучшения материально-технической базы кафедры финского языка.

В том же году с целью оценить перспективы преподавания финского языка в школах республики по приглашению Карельского обкома и Совета Министров республики в Карелии работала бригада из Института национальных школ Министерства просвещения РСФСР, члены которой встречались с учителями, с преподавателями кафедры финского языка, представителями Института усовершенствования учителей, ИЯЛИ, Союза писателей. Заключение московских специалистов о роли финского языка в системе образования республики разошлось с общепринятым представлением о нем как официальном языке автономной республики, преподавание которого должно быть организовано для национального населения Карелии. По их заключению, финский язык должен преподаваться как родной язык только для финнов, а для карел – лишь как иностранный и в таком качестве учитываться при поступлении в вузы. При этом предлагалось увеличить подготовку преподавателей финского языка за счет увеличения набора студентов в КГПУ. Взгляд со стороны не был воспринят руководством республики. Статистика, как и прежде, учитывала четыре формы изучения финского языка: язык автономной республики, изучаемый углубленно, факультативно и как иностранный [НА РК, ф. 3, оп. 37, д. 56, л. 2]

Постановление действовало до февраля 1986 г. За пять лет его работы число изучающих финский язык увеличилось с 2717 до 5025 человек, а число школ с его преподаванием с 30 до 38 [НА РК, ф. 3, оп. 37, д. 56, л. 16, 31, 34, 81, 88, 94, 95]. Вместе с тем его итоги оценивались как неудовлетворительные: слабой признавалась разъяснительная работа о значении финского языка в социально-экономическом развитии республики, о возможностях его изучения [НА РК, ф. 3, оп. 37, д. 56, л. 91, 93].

Своеобразная попытка четвертой «финнизации» республики в 1980-е годы дала неожиданный результат. При обсуждении с директорами школ вопросов преподавания финского языка в местах проживания карел и вепсов у них возникли вопросы о необходимости восстановления карельской и вепсской письменностей и организации преподавания карельского и вепсского языков в школе. Первым об этом заявил заведующий Шелтозерским музеем А. П. Максимов в газете Прионежского района «Коммунист Прионежья» от 21 ноября 1981 г. В 1983 г. сотрудники ИЯЛИ, Г. М. Керт и Л. Ф. Маркианова, направили в Карельский Обком КПСС «Записку по вопросу о воссоздании карельской письменности и усилении общественных функций карельского языка в Карельской АССР», которая, как отмечает Г. М. Керт, после двух обсуждений «тихо уплыла в архивы обкома» [Керт 2000: 77].

В 1986–1987 гг. началось широкое обсуждение в прессе проблемы восстановления карельской и вепсской письменностей, выбора основы для их алфавитов: латиницы или кириллицы, вопросов организации преподавания языков в школах [Карелы: модели языковой мобилизации 2005: 9–94; Вепсы: модели языковой мобилизации 2007: 30–70].

Весной 1987 г. в с. Шелтозере образовалась инициативная группа под руководством А. П. Максимова, Р. П. Лонина, Р. Ф. Максимовой. Через газету «Коммунист Прионежья» они начали вести просветительскую и агитационную работу по возрождению вепсского языка. В республиканской и местной печати прошла острая дискуссия «Быть или не быть вепсскому языку?». По решению директора Шелтозерской школы Р. Ф. Максимовой в апреле

1987 г. Р. П. Лонин стал вести среди школьников факультативные занятия по вепсскому языку [Вепсы: модели языковой мобилизации 2007: 101].

В июне 1987 г. Р. Ф. Максимова обратилась с ходатайством в Прионежский райисполком о включении вепсского языка как отдельного предмета в учебный план, которое было поддержано райисполкомом и передано в Совмин с просьбой о содействии «в решении вопроса о введении вепсского языка как учебного предмета для учащихся Шелтозерской средней школы» [НА РК, ф. 690, оп. 11, д. 1107/4813, л. 29]. 15 мая в с. Озера (на второй день после проведения первого вепсского праздника «Древо жизни» в с. Винницы Подпорожского района Ленинградской области) состоялась научно-практическая конференция по вопросам сохранения вепсского языка и культуры. Она повлияла на активность движения за восстановление вепсской письменности и организацию преподавания вепсского языка в школе. В августе 1987 г. инициативная группа в составе М. И. Муллонен (председатель), Н. Г. Зайцевой, И. И. Муллонен, З. И. Строгальщиковой и А. В. Петухова, которая сформировалась после конференции в с. Озера, утвердила на своем заседании Алфавит вепсского языка на основе кириллицы и поручила авторскому коллективу в составе Н. Г. Зайцевой (руководитель), М. И. Муллонен, З. И. Строгальщиковой к 1 декабря 1987 г. представить рукопись вепсского букваря [НА РК, ф. 690, оп. 1, д. 2.10-1, л. 17–18]. В Министерство просвещения КАССР инициативная группа направила записку «О разработке вепсского алфавита и авторском коллективе Вепсского букваря». Министерство просвещения КАССР решило объединить предложения научной общественности и педагогического коллектива Шелтозерской школы и предложило Р. Ф. Максимова создать под руководством Н. Г. Зайцевой рабочую группу по подготовке необходимых учебных программ и пособий и после их создания «получить разрешение Минпроса РСФСР о включении вепсского языка как предмета в учебный план Шелтозерской средней школы». Кафедре финского языка и литературы госуниверситета поручалось начать подготовку кадров по вепсскому языку (за счет факультативных занятий) [НА РК, ф. 690, оп. 1, д. 2.10-1, л. 30–33].

Однако решение вопроса о восстановлении вепсской письменности столкнулось с проблемой отсутствия не только в республике, но и в стране органа, в полномочия которого входило утверждение вновь создаваемой письменности для бесписьменных народов. В ответе старшего референта Совета Министров И. Попова от 13 августа 1987 г. на запрос Прионежского райисполкома по обращению Р. Ф. Максимова о включении преподавания вепсского языка сообщалось, что *«Министерство просвещения КАССР не решает вопрос о возможности введения вепсского языка как учебного предмета для учащихся Шелтозерской средней школы. Эта проблема идеологического характера и должна решаться в Карельском обкоме КПСС... В обкоме изучается представленный материал по данной проблеме и требует длительной проработки»* [НА РК, ф. 690, оп. 1, д. 2.10-1, л. 34].

Для поддержки решения учительского коллектива о включении вепсского языка в учебный план в декабре 1987 г. состоялось собрание граждан села Шелтозера [НА РК, ф. 690, оп. 1, д. 2.10-1, л. 19–23]. В нем приняли участие члены инициативной группы по разработке вепсского алфавита Н. Г. Зайцева и З. И. Строгальщикова. Собрание решило, что «все единодушны в том, чтобы изучать вепсский язык», и поручило инициативной группе научной общественности в составе М. И. Муллонен, Н. Г. Зайцевой, И. И. Муллонен, З. И. Строгальщиковой и члена Союза писателей СССР А. В. Петухова *«разработать алфавит вепсского языка на русской основе»*, а после утверждения алфавита, начать подготовку программ и учебно-методических пособий и учебников по вепсскому языку. Для оказания им «практической помощи в создании учебно-методической литературы» из педагогов Шелтозерской школы была образована рабочая группа. Коллективу школы поручалось проведение родительского собрания по вопросу изучения вепсского языка в школе [НА РК, ф. 690, оп. 1, д. 2.10-1, л. 24]. Протокол и решение собрания направили в исполком Прионежского районного совета. Совет Министров Карелии в начале 1988 г. направил обращение исполкома Прионежского района, «Краткий свод правил орфографии по вепсскому языку для начальной школы», подготовленный Н. Г. Зайцевой и М. И. Муллонен, протокол и решение

собрания жителей с. Шелтозера в Министерство просвещения РСФСР с просьбой рассмотреть вопрос об утверждении вепского алфавита [НА РК, ф. 690, оп. 1, д. 2.10-1, л. 15–24]. В мае 1988 г. Совмин Карелии получил ответ из Министерства просвещения, в котором сообщалось что вариант вепского алфавита, предложенный инициативной группой научной общественности, был рассмотрен 3 мая 1988 г. специалистами Научно-исследовательского института национальных школ Минпроса РСФСР и рекомендован к утверждению Советом Министров КАССР [НА РК, ф. 690, оп. 11, д. 1107/4813, л. 30–31]. В Совмине Карелии состоялось совещание совместно с представителями ИЯЛИ с целью обсудить «проект постановления о вепском алфавите» для принятия решения на Президиуме Совмина. К этому времени возник вопрос и о карельском алфавите, который был разработан Л. Ф. Маркиановой на латинице. Перед вепской общественностью также встала дилемма: на какой основе принимать вепский алфавит – кириллице или латинице [Архив Шелтозерского вепского этнографического музея. НВФ, д. 1412.]. Совещание предложило вынести на утверждение два варианта вепского алфавита – на кириллице и латинице, а также «провести опросы населения (родителей, учащихся, представителей партийных, советских органов) в Олонецком и Пряжинском районах по вопросам карельской письменности» [НА РК, ф. 690, оп. 1, д. 2.10-1, л. 56–57].

Затягивание принятия решения о восстановлении вепской письменности побудило вепскую интеллигенцию обратиться в Советский Фонд культуры, которым руководил академик Д. С. Лихачев. Созданный при Советском Фонде культуры Научно-общественный совет по сохранению и развитию культур малых народов СССР на своем первом заседании 16 мая 1988 г. рассмотрел ситуацию с вепсами. По итогам обсуждения за подписью Д. С. Лихачева было направлено 11 обращений в различные министерства и ведомства, органы власти. В них говорилось о необходимости восстановления вепской письменности и изучения вепского языка в школах, организации подготовки специалистов по вепскому языку в ПетрГУ, проведения телепередач на вепском языке, расширения научных исследований по языку и культуре вепсов, выделения средств на издание научно-популярных книг о вепсах. В преддверии предстоящей переписи 1989 г. Госкомстату СССР и Госкомстату РСФСР рекомендовалось в районах проживания вепсов строго придерживаться инструкции, предусматривающей их регистрацию по самоопределению. Д. С. Лихачев обратился также в ЦК КПСС и Совет Министров РСФСР, к руководству Карелии, Ленинградской и Вологодской областей о проведении в Карелии совещания по проблемам вепсов. Научно-общественный Совет по сохранению и развитию культур малых народов Советского Фонда культуры принял решение на примере помощи вепсам выработать модель возрождения малочисленных народов, которые, как и вепсы, оказались в критическом состоянии [Вепсы: модели этнической мобилизации 2007: 16–17].

Состоявшееся в октябре 1988 г. в г. Петрозаводске региональное межведомственное совещание «Вепсы: проблемы развития экономики и культуры в условиях перестройки», в подготовке которого активное участие приняли сотрудники ИЯЛИ, являлось первым в стране публичным обсуждением проблем вепского народа. В совещании приняли участие руководители органов власти Карелии, Ленинградской и Вологодской областей, представители ЦК КПСС, Совета Министров РСФСР, Советского Фонда культуры, известные ученые К. В. Чистов, В. В. Пименов, А. Ю. Петерсен, писатели А. В. Петухов, Г. А. Горышин, делегации вепсов с районным начальством из основных мест их проживания. Итоги совещания широко освещались в прессе [Вепсы: модели этнической мобилизации 2007: 16–17]. Известный финский исследователь российских финно-угорских народов Сеппо Лаллукка отметил, что его проведение «явилось ярким показателем того, что в новой ситуации исследователи и деятели культуры были готовы к целеустремленной работе по вновь открывшимся направлениям научного поиска и проявили при этом желание приступить к практическим действиям по предотвращению угрозы исчезновения народа» [Вепсы и этнокультурные перемены XX века 2007: 8].

Рекомендации совещания представляли собой обширную программу действий, направленных на ликвидацию отставания в социально-экономическом и культурном разви-

тии районов традиционного проживания вепсов, и мер, способствующих их этническому возрождению: восстановление письменности, развитие вепсского языка и культуры, подготовку национальных кадров и организацию мероприятий, объединяющих вепсов разных регионов, проведение специальных исследований. Они поддержали предложения вепсской общественности о восстановлении в местах компактного расселения вепсов национальных районов и сельсоветов. Рекомендовалось рассмотреть вопрос в будущем об объединении их в единый Вепсский национальный округ. Предлагалось также распространить на вепсов меры социальной поддержки, которые имеют малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Вопрос о выборе алфавита вепсского языка остался открытым: предлагалось в 1989 г. «объявить конкурс на создание вепсского букваря» и «считать целесообразным в экспериментальном варианте создание букваря на кириллице» [Вепсы: модели этнической мобилизации 2007: 80–85].

В конце 1988 г. секретарь Карельского обкома КПСС В. С. Степанов в письме от 30.12.1988 г. в ЦК КПСС «О ходе подготовки Карельской областной партийной организации к Пленуму ЦК КПСС «О совершенствовании межнациональных отношений в СССР» уже признавал отсутствие письменности у карел и вепсов как ошибки, допущенные в национальной политике, и сообщал о работе по их устранению. В нем впервые высказано мнение о необходимости изучения вопроса о создании отдельной письменности для собственно карел [НА РК, ф. 3, оп. 45, д. 120, л. 155–161].

Проведение петрозаводского совещания ускорило принятие решения о вепсской и карельской письменности. Совет Министров КАССР постановлением № 119 от 20 апреля 1989 г. одобрил рекомендованные Ученым Советом ИЯЛИ алфавит и основные правила правописания на ливвиковском наречии карельского языка, алфавит вепсского языка (на латинской основе) и краткий свод правил орфографии по вепсскому языку для начальной школы (на латинской основе); алфавит вепсского языка (на основе кириллицы) и краткий свод правил орфографии по вепсскому языку для начальной школы (на основе кириллицы). Постановление обязывало министерство народного образования КАССР, ИЯЛИ и Карельский институт усовершенствования учителей организовать работу по составлению программ, учебников, учебно-методических и наглядных пособий, обеспечить издание «букварей карельского и вепсского языков к 1990/91 учебному году, а в последующие годы – необходимой учебной литературы и дидактических материалов» [НА РК, ф. 690, оп. 11, д. 1125/4873, л. 27–40].

Утверждение карельской и вепсской письменностей санкционировало публикацию рукописей карельского и вепсского букварей. Преподавание карельского и вепсского языков, которое началось за два года до утверждения письменностей, шло по их ротاپринтным вариантам. С 1988/1989 учебного года вепсский язык преподавался в Рыборецкой и Шелтозерской школах Прионежского района. В 1991 г. в Петрозаводске был издан вепсский букварь на латинице «Abekirj» Н. Г. Зайцевой и М. И. Муллонен [N. Zaicева, M. Mullonen: 1991], через год в Санкт-Петербурге – вепсский букварь на кириллице Э. В. Коттиной и Р. Ф. Максимовой [Максимова, Коттина 1992.]

В школьном образовании и книгоиздательской деятельности закрепились вепсская письменность на латинской графике. Постановление Правительства Республики Карелия № 37 от 16 марта 2007 г. «Об утверждении алфавитов карельского и вепсского языков» признало утратившим силу прежнее постановление 1989 г. о карельском и вепсском алфавитах. Новым постановлением единственным алфавитом для вепсского языка был утвержден алфавит на основе латиницы [<http://kodeks.karelia.ru/api/show/919323769>].

История вепсской письменности, как и письменностей многих других миноритарных языков, показывает сложный путь реализации права коренных народов и национальных меньшинств на развитие их языков. Этот процесс в значительной степени остается зависимым от языковой политики государств, стремящихся сохранить в первую очередь язык доминирующего сообщества. Значительная государственная поддержка языков национальных меньшинств, реализуемая в СССР в начале 1930-х гг., считается важным шагом в формирова-

нии новой языковой политики по отношению к меньшинствам, в какой-то степени беспрецедентным экспериментом. Но и в СССР она продолжалась недолго. Для вепсов это время стало первым периодом возрождения, благодаря чему за очень краткий период нарождающейся вепсской интеллигенции удалось чрезвычайно много сделать для развития вепсского языка.

В 1980-е гг. – во втором периоде вепсского возрождения – инициатива по восстановлению вепсской письменности, по развитию вепсского языка и культуры исходила от вепсской общественности, сумевшей использовать те возможности, которые предоставил начавшийся в стране процесс демократизации, что и обеспечило продолжение жизни вепсского языка.

Литература и источники

Баранцев А. П. Карельская письменность / Прибалтийско-финское языкознание. Вопросы фонетики, грамматики и лексикологии. Л., 1967. С. 89–104.

Вепсы и этнокультурные перемены XX века. Семинар в г. Санкт-Петербурге 5–6 октября 2006 года // *StudioslavicaFinlandensia*. Tomus XXIV, Хельсинки. 2007.

Вепсы: модели этнической мобилизации: Сборник материалов и документов. Петрозаводск. 2007. 338 с.

Гаврилов С. Я. Из истории вепсов и их письменности // Вытегра. Краеведческий сборник. Вып. 1. Вологда, 1997. С. 202–204.

Зайцева Н. Г. Вепсский язык и проблемы его развития // Проблемы истории культуры вепсской народности. Петрозаводск, 1989. С. 95–102.

Карелы: модели языковой мобилизации. Сб. материалов и документов. Петрозаводск, 2005. 281 с.

Карху Э. Г. Элиас Лённрот. Жизнь и творчество. Петрозаводск, 1996. 239 с.

Керт Г. М. Очерки по карельскому языку. Петрозаводск, 2000. 112 с.

Килин Ю. М. Карелия в политике Советского государства 1920–1941. Петрозаводск, 1991. 276 с.

Королькова Л. В. Из истории создания вепсской письменности (лингвистическая экспедиция Г. Х. Богданова 1931 года) // Вепсы на рубеже XX–XXI веков. По материалам межрегиональной науч.-практ. конф. «Вепсы – коренной малочисленный народ Российской Федерации: перспективы сохранения и развития» (Петрозаводск, 24–25 апреля 2008 года). Петрозаводск, 2008. С. 153–157.

Кузнецова А. И. О двух ключевых моментах в изучении прибалтийско-финских языков и народов // *Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhanen sexagenarii*. Mémoires de la Société Finno-Ugrienne 228. Helsinki, 1988.

Макарьев С. А. Вепсы: этнографический очерк // Карело-Мурманский край. 1929. № 1. С. 6–9.

Максимова Р. Ф., Коттина Э. В. Букварь для 1 класса вепсских школ. Санкт-Петербург, 1992.

Матвеев Б. Слово об истории слова. Исторический очерк о судьбе человека и его дела. Комсомolec. 1988. 17 декабря.

Муллонен М. И. Вепсская письменность // Прибалтийско-финское языкознание. Вопросы фонетики, грамматики и лексикологии. Л., 1967. С. 105–109.

Никольский Д. П. Кайваны или чухари // Живая старина. Вып. 1. СПб., 1895. С. 14–16.

Подвысоцкий Н. Кайваны (Этнографический очерк из моей последней летней экскурсии) // *Естествознание и география*. Год IV. 1899. № 1. С. 51–62.

Путешествие доктора Шегрена для исследования обитающих в России народов финского племени // *Исторический, статистический и географический журнал*. М., 1829. Ч. IV, кн. II. С. 98–112.

Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985. 320 с.

Равдоникас В. И. Чухари // Тихвинский край. Краеведческий сборник по Тихвинскому уезду. Тихвин, 1926. С. 242–261.

Смирнова Т. М. Национальность – питерские. Национальные меньшинства Петербурга и Ленинградской области в XX веке. М., 2002.

- Советы Карелии 1917–1992. Документы и материалы. Петрозаводск, 1993.
Съезды Советов в документах. М., 1960. Т. 3.
Успенский П. К. «Русско-чудской словарь с некоторыми грамматическими пояснениями. СПб., 1913.
Zaiceva N., Mullonen M. Abekirj. Petroskoi, 1991.
НА РК – Материалы Национального архива Республики Карелия.

Наталья Геннадьевна Урванцева
*Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск*

ПОЧИТАНИЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ОЛОНЕЦКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И ЖУРНАЛА «ОЛОНЕЦКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»)

Николай Чудотворец – один из почитаемых православных святых в Олонецкой губернии. Легенды и предания о святом Николае, статьи об иконах, церквях, праздниках, крестных ходах в его честь публиковались в газете «Олонецкие губернские ведомости» и журнале «Олонецкие епархиальные ведомости».

9 (22) мая верующие Русской Православной Церкви отмечают день памяти перенесения мощей святителя Николая из г. Миры Ликийской области в итальянский город Бари. Епископ Олонецкий и Петрозаводский Анастасий (в миру В. А. Опоцкий) в 1903 году опубликовал статью «Историческое значение перенесения мощей св. Николая Чудотворца с востока на запад и важность для России праздника установленного в воспоминание этого события» [Анастасий 1903: 337–346]. В 1911–1913 гг. в журнале «Олонецкие епархиальные ведомости» опубликованы статьи о сборе средств на построение храма во имя святого Николая в Италии. К епископу Олонецкому и Петрозаводскому обращались члены Совета Императорского Православного Палестинского Общества [От Совета Императорского Православного Палестинского Общества 1911: 514–516] и Комитета по сбору пожертвований и построению во имя Святителя Николая Мирликийского храма и странноприимного дома при нем в городе Бари [Шахматов 1912: 170–171; 1913: 203–204; Отношение 1913: 345].

В честь Святителя Николая воздвигались многочисленные храмы и монастыри, писались иконы. В Карелии до революции было построено более тридцати Никольских церквей. Только в Петрозаводском уезде из восьмидесяти семи храмов семнадцать были освящены во имя святителя Николая Чудотворца.

Священник А. Пр-ский, наблюдая над местными прихожанами, отмечает, что Николай Чудотворец чтится среди простонародья необычайно высоко, но «представления о нем смутные» [Пр-ский 1908: 311]. Мужик, попросивший поставить его пятикопеечную свечу в церкви, называет Николая Угодника Николаем Николаевичем.

В Олонецкой губернии существовало множество чудотворных икон святого. В Тагажмозерской Николаевской церкви Вытегорского уезда стояла часовня, в которой находилась чудотворная икона Святителя и Чудотворца Николая [Петров 1860: 51]. Первый Тагажмозерский священник Михаил Аникиев-Шайжин записал в 1876 году «Сказание о явлении и прославлении иконы Святителя и Чудотворца Николая Тагажмозерского» [Шайжин 1908: 483–485]. В народе сохранилось предание, что икона в полтора вершка толщины, около полуаршина длины была явлена на сосне у церковного крыльца. Местные жители называли ее иконой святого Николая Тагажмозерского. Длина дерева составляла 10 сажен, а толщина на высоте двух аршин от корней – 25 вершков. 27 июля 1909 года от сильного ветра сосна упала [Чесноков 1909: 687]. По свидетельству жены унтер-офицера Александры Ивановой, икону нашла крестьянская вдова. Спрятав ее в подполье в бочке с рожью, она лишилась зрения. «Соседи, найдя икону, признали ее иконой Святителя Николая и сказали: “Зачем ты взяла ее с места? Ведь он Чудотворец – благослови и мы снесем, где ты нашла”. Вдова сказала: “Бог благословит”. Те икону понесли, и слепая прозрела. Когда это узнали люди, в тот же день

начали строить малую часовню – не больше сажени. Скоро сделали и поставили святую икону в этом малом молитвенном храме» [Шайжин 1908: 482]. Ее несколько раз пытались вынести на Вытегорский погост, но она всегда оставалась на своем месте.

В селе Яндебы Лодейнопольского уезда почиталась икона святого Николая, которая явилась по дороге между приходами из Яндебского в соседний Тененицкий приход. На месте явления иконы была поставлена часовня, а позже крест. Особенно она почиталась и чествовалась прихожанами служением молебнов перед неделями жен мироносиц, для чего приходили в Яндебу богомольцы и из соседних приходов. Праздник этот назывался «дорожным Николаем» [Шайжин 1909: 106; Казанский 1904: 609].

Наиболее часто в петрозаводской дореволюционной периодике встречаются легенды о чудесном исцелении, которые происходят благодаря воздействию иконы Николая Угодника [Никольский 1907: 42–43], и о вере в благодатную помощь от святой иконы [Шайжин 1908: 483–485]. Петербургский купец, болевший три с половиной года, усердно молился Богу, Божией Матери и Николаю Угоднику. Во сне ему явился Святитель Николай, который сказал: «Ты просишь меня ходатайствовать о здоровье – сделай и мне послушание. В Вытегорском уезде, при озере “Тагаж” есть во имя мое явленная икона, а от города Вытегры туда лошадиного проезда нет. На дороге в проливе озера сделай лаву и будешь здоров» [Шайжин 1908: 483]. Купец проснулся и дал обет выполнить эту просьбу. Вскоре он выздоровел и построил часовню, которая простояла до 1863 года.

В Вытегорском районе Кондушского прихода при почтовом тракте находилась часовня во имя Святителя Николая. Она стояла на том месте, где обосновался первый поселенец и откуда начал формироваться приход, поэтому часовню называли «Николаем на корешках» [Тихомиров 1889: 17]. Сохранилось предание о ее построении. Первый житель Кондушского прихода был охотник. Он отправился на охоту и заблудился в лесу. Изнемогая от усталости и голода, он молился Николаю Чудотворцу и дал обещание построить часовню во имя Святителя, если вернется домой. Охотник проснулся от крика петуха. Осмотревшись, он увидел недалеко знакомую тропу, которая вывела его к жилищу. В благодарность за спасение обет был исполнен [Шайжин 1909: 104]. В храме не было иконы Николая Чудотворца. Житель молился Господу, чтобы Он помог ему в этом затруднении. Ночью к нему пришел незнакомец и предложил написать икону Святителя, а, написав ее, скрылся. Эта икона была поставлена в часовне до литовского разорения. Ее как чудотворную перенесли в деревянный храм имени Святого Николая, а из деревянного храма – и в каменный [Шайжин 1909: 105]. В церковной летописи было записано, что при двух церковных пожарах огонь, возникавший во втором этаже храма, не касался иконы Святителя Николая, стоящей в нижней церкви, и даже стекла этой церкви не трескались от жара.

В Кондушской приходской церкви хранилась частица святых мощей Николая Чудотворца. Дочь диакона Ивана Титова, Анна Иванова, была «служительницей» при царице Евдокии Федоровне. Путешествуя по святым местам и делая богатые вклады, она получала в дар разные святыни. Анна Иванова, сопровождая царицу, получила частицы святыни от нее. Приехав на родину, она оставила их в доме отца. По завещанию последнего из рода Дьяконовых, эти святыни поступили в Кондушскую приходскую церковь в день освящения в ней придела Всех Святых 26 января 1836 года первым епископом Олонецким и Петрозаводским Игнатием [Шайжин 1909: 105].

В деревне Антушевской находилась деревянная часовня со звонницей во имя Святителя и Чудотворца Николая [Шайжин 1909: 241]. Напротив часовни в честь Святителя, на противоположном берегу реки был камень с углублением, похожим на отпечаток человеческой ступни. По рассказам крестьян, этот отпечаток ноги принадлежал Святому Николаю, ходившему по их полям и возвращавшемуся с той стороны реки на берег, где находилась часовня [Островский 1900: 458]. Вода в углублениях камня считалась священной, исцеляющей от глазных болезней [Пидмозерский 1902: 580–583].

Существует еще одна легенда. Илья совершал путь от Таржеполя в Машезеро один, а по машезерским сказаниям — вместе со Святителем и Чудотворцем Николаем. Однако в до-

роге путники расстались: Николай направился в деревню Лососинное, где во имя его и была построена часовня, а преподобный Илья достиг Машезера, где ему угодно было иметь монастырь в честь своего имени и оставить след своей правой ступни на одном камне. Святитель Николай не соизволил сопровождать преподобного Илью до Машезерского погоста, и Илья, по сказанию, предрек, что «не будет ему, угоднику, в Лососинном ни чести, ни святости». Так объяснялось слабое паломничество к Лососинской часовне, в то время как древний Машезерский Ильинский монастырь и приходская церковь, существующая после его закрытия, всегда привлекали к себе большое число близких и дальних богомольцев — карелов [Шайжин 1909: 242]. В вепском народном календаре святые Николай и Илья также часто фигурировали в паре [Винокурова 2013: 218].

В дореволюционной периодике публиковались предания о выборе места для часовен Николая Угодника [П. 1907: 75–79]. В деревне Даниловской Ряговской волости Каргопольского уезда крестьянин Бажен посоветовал спустить по течению реки дерево и где оно остановится, там и строить церковь. Дерево остановилось напротив сгоревшей церкви, поэтому ее опять построили на прежнем месте, отступив 10 сажень от пожарища [Ряговская волость 1885: 603].

В Мошинском приходе Каргопольского уезда икона Святителя Николая, «спущенная на плоте» по реке из села Воезера, находящегося в 13 верстах от села Моши, остановилась на «соболином» (ныне Никольском) острове. Приняв это за указание свыше, жители и построили храм в честь Николая Угодника на острове, и остров стал называться Никольским [П. 1907: 75–79].

Путешественники, купцы, крестьяне и ремесленники считали Николая Угодника своим небесным покровителем. Ему молились о благополучии в пути, от бури и потопления на море. О твердой уверенности в благодатной близости его ко всем призывающим и по водам плавающим свидетельствует легенда о поездке Алексея на остров Кижь [Куликовский Г. И. и В. Х. 1891: 196–198; Из Олонецких легенд 1902: 62–65; Шайжин 1911: 243]. Пьяный Алексей перед поездкой на остров Кижь не помолился и не поставил свечи Святому Угоднику Николаю. Компас сломался. «Я положил компас за пазуху да с ним скорее в каюту к иконе: “Прости ты меня, Микола, говорю, что не молился тебе!”. Потом и смотрю, прошло время, надо быть в Кижях — ан нет ничего. Опять в каюту, молюсь: “Прости, Микола, что пьян был, не дай в море (так называют крестьяне открытое Онего) потонуть”» [Шайжин 1911: 243]. Под кормой зазвучала музыка, как будто бы шли солдатские учения. Через пятнадцать минут показались Кижь. Солдаты стояли в пятидесяти верстах.

В дореволюционной периодике г. Петрозаводска публиковались предания о панах, бытовавшие в разных уездах Олонецкой губернии [Народные предания в Олонецкой губернии 1863; Народные предания о панах в Олонецкой губернии 1857]. В Янгозере польские паны, забравшись в деревню, взяли из часовни образ Николая Чудотворца и хотели зарубить его, но вдруг ослепли, и тогда были загнаны местными жителями в болото и потоплены, в память чего это болото получило название Панова [Народные предания в Повенецком уезде 1863: 154].

Паны покушались несколько раз ограбить часовню во имя Николая Чудотворца, находящуюся в деревне Карзим-озеро, в одиннадцати с половиной верстах от Большой Сельги, но в каждое нападение наказывались слепотою. Священник В. Никольский опубликовал предание об ослеплении шведского войска у часовни Николая Чудотворца [Никольский 1907: 42–43].

Финские разбойники хотели разрушить часовню Святого Николая вблизи деревни Муезеро, находившейся в пятидесяти верстах от Ребольского погоста. Все они были превращены в камни [Народные предания в Повенецком уезде 1863: 157].

В традиционных народных представлениях Николай Чудотворец — покровитель земледелия, урожая и животноводства. В заговорах и молитвах к нему обращались с просьбами уберечь крестьянский скот, поскольку он считался старшим и самым близким к Богу угодником [Суеверие и предрассудки в простом народе 1885: 690–691; Елпидинский 1872: 586–587]. Такие представления отразились, например, в описании обряда домашнего отпуска при выгоне рогатого скота на пастбище, опубликованном учителем Ряговского сельского земского училища В. Ильинским: старшая женщина обносила три раза икону вокруг скота, потом ставила ее

на ворота двора, под воротами растягивала свой пояс и полагала три земных поклона, прося Господа Бога, Матерь Божью, святителя Николая Чудотворца и архистратига Михаила – начальника сил сохранить скот ее от зверя лютого, от ночи темной [Ильинский 1884: 516].

В Ильин день в селе Виданы совершались обрядовые действия, имеющие языческий характер. В большом котле варили печень («максу») барана, пожертвованную крестьянином пророку Илье. После молебна куски печени съедались присутствующими. Голова, ноги и шкура быка или барана поступали во владение жертвователя, грудь отдавали церковному причту, а остатки продавали. Вырученные деньги шли в часовню Николая Чудотворца [П. М. 1891: 610].

Праздник Николы Зимнего (6/19 декабря) считался временем интенсивного лова рыбы. Патровский волостной писарь Карачев рассказывал о рыбной ловле на озере Лаче. Вырученные деньги делились между всеми ловцами в каждое воскресенье по равной части, которая называлась жеребьем. Двадцать пятая доля выделялась Николаю Чудотворцу, в пользу Тихмангской церкви, в которую этого дохода в течение зимы поступало от 150 до 300 рублей. При ловле рыбы перед праздниками Введения во храм Богородицы, Николая Чудотворца, Рождества Христова и Нового года ловец, прогнавший раньше жердь под льдом, считался в артели первым и в праздник занимал между товарищами самое почетное место, с него и начиналось угощение [Карачев 1869: 977–978].

В это же время с 6 по 12 декабря работала Никольская ярмарка в городе Пудоже, в селе Шуньга Повенецкого уезда, в Оптинском погосте Лодейнопольского уезда, в деревне Мостовая Вытегорского уезда.

Таким образом, предания и легенды о Николае Угоднике, опубликованные в дореволюционной периодике города Петрозаводска в XIX – начале XX в., позволяют изучить особенности культа святого в Олонецкой губернии.

Литература и источники

Анастасий. Историческое значение перенесения мощей св. Николая Чудотворца с востока на запад и важность для России праздника установленного в воспоминание этого события // ОЕВ. 1903. № 10. С. 337–346.

Винокурова И. Ю. Народные представления об Илье Пророке и Николае Чудотворце в вепсской традиционной культуре // Православие в вепсском крае: материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 450-летию основания Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря (г. Петрозаводск, 26 сентября 2012 года). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 208–224.

Елпидинский С. Обход или спуск для скота // ОГВ. 1872. № 52. С. 586–587.

Из Олонецких легенд // Олонецкий сборник: материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края / сост. [И. Благовещенский]. Петрозаводск: Губ. тип., 1902. Вып. 4. С. 62–65.

Ильинский В. Домашний отпуск при выгоне рогатого скота на пастбище // ОГВ. 1884. № 53. С. 515–516.

Казанский А. Яндебский приход Лодейнопольского уезда // ОЕВ. 1904. № 20. С. 609.

Карачев. Рыбная ловля в озере Лаче // ОГВ. 1869. № 92. С. 977–978.

Куликовский Г. И. и В. Х. Из Олонецких легенд // Этнографическое обозрение. 1891. № 4. С. 196–198.

Народные предания в Олонецкой губернии (чудь, пань и язычники) // ОГВ. 1863. № 50. С. 192.

Народные предания в Повенецком уезде // ОГВ. 1863. № 40. С. 154.

Народные предания в Повенецком уезде // ОГВ. 1863. № 41. С. 157.

Народные предания о панах в Олонецкой губернии // ОГВ. 1857. № 20. С. 110–112; № 22. С. 122–124; № 23. С. 126–127.

Никольский В. Местное предание о Торосозерской часовне в честь Святителя Николая // ОЕВ. 1907. № 2. С. 42–43.

Островский Д. Село Виданы // ОГВ. 1900. № 12. С. 457–461.

От Совета Императорского Православного Палестинского Общества // ОЕВ. 1911. № 30. С. 514–516.

Отношение, состоящего под Высочайшим покровительством Его Императорского Величества Комитета по сбору пожертвований и построению во имя Св. Николая Мирликийского храма и странноприимного дома при оном в г. Бари на имя Его Преосвященства Преосвященнейшего Никанора, епископа Олонецкого и Петрозаводского // ОЕВ. 1913. № 19. С. 345.

П. Мошинский приход Каргопольского уезда // ОЕВ. 1907. № 3. С. 75–79.

Пр-ский А. Из наблюдений сельского священника над деревней // ОЕВ. 1908. № 13. С. 311.

Петров К. Окрестности города Вытегры // ОГВ. 1860. № 13. С. 51.

Пидьмозерский В. Село Таржеполь (Петрозаводского уезда) // ОЕВ. 1902. № 17. С. 580–583.

Ряговская волость (Олонецкой губернии Каргопольского уезда). (Корреспонденция) // ОГВ. 1885. № 67. С. 603.

Суеверие и предрассудки в простом народе // ОГВ. 1885. № 78. С. 690–691.

Тихомиров А. Кондушский приход Вытегорского уезда // ОЕВ. 1889. № 18. С. 16–21.

Чесноков Г. Двадцатилетие со дня освящения Тагажмозерской Николаевской церкви Вытегорского уезда. 1889–1909 // ОЕВ. 1909. № 30. С. 687.

Шайжин Н. Сказание о явлении и прославлении иконы Святителя и Чудотворца Николая Тагажмозерского // ОЕВ. 1908. № 21. С. 483–485.

Шайжин Н. Слава Святителя и Чудотворца Николая в Олонецком крае // ОЕВ. 1909. № 4. С. 104–106.

Шайжин Н. Слава Святителя и Чудотворца Николая в Олонецком крае // ОЕВ. 1909. № 11. С. 240–243.

Шахматов А. Отношение Председателя Барградского Комитета князя В. Ш. Шахматова на имя Его Преосвященства Преосвященнейшего Никанора, епископа Олонецкого и Петрозаводского // ОЕВ. 1912. № 7. С. 170–171.

Шахматов А. Отношение состоящего под Высочайшим покровительством Его Императорского Величества Комитета по сбору пожертвований и построению во имя Св. Николая Мирликийского храма и странноприимного дома при оном в г. Бари от 12 марта 1913 г. за № 150 // ОЕВ. 1913. № 11 12. С. 203–204.

**ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВИЗМА
В ПОЭЗИИ ОЛЕГА МИШИНА – АРМАСА ХИЙРИ 1970-Х ГОДОВ**

В 2000 году вышел в свет 3-й том «Истории литературы Карелии», где впервые в разделе «Опыт билингвизма в творчестве карельских писателей» было заявлено о наличии билингвального / двуязычного контекста в словесности Карелии. Литература Карелии развивается на четырёх языках: русском, финском, карельском и вепском. Письменность же двух последних была создана лишь в 1980-е годы, более ранние попытки не увенчались успехом. Ранее карельские писатели лишь изредка использовали в своём творчестве два языка: родной и приобретённый позже. Например, А. Тимонен, О. Степанов, Я. Ругоев, писавшие на финском языке, использовали в своих произведениях родной карельский диалект, что придавало произведениям особый национальный колорит, а их героям национальную самобытность.

Поэты Олег Мишин и Рейё Такала одними из первых стали писать на двух языках: русском и родном финском. Их путь к билингвизму был непрост: забыв в эвакуации родной язык, выпустив первые свои сборники на русском языке, они всё-таки возродили свой финский язык и продолжили поэтическое творчество уже на двух языках. Уже позже А. Волков, пишущий на русском и карельском языках, и Н. Абрамов, пишущий на русском и вепском языках, вступили на литературное поприще сначала как русскоязычные поэты, а спустя некоторое время начали писать на своих родных языках.

Как мы видим, художественный билингвизм – относительно молодое явление для литературы Карелии, несмотря на то, что в силу своей исторической, территориальной и культурной специфики, Республика всегда была, есть и будет многонациональной, многие жители которой знают русский и родной национальный язык. Соответственно, билингвизм или двуязычие является национальной особенностью её жителей.

Создание художественных произведений на двух языках или художественный билингвизм имеет свои отличительные особенности на территории Карелии. Большинство исследователей проблемы художественного билингвизма говорят об обращении национальных писателей к русскому языку как к языку, который имеет более богатую литературную традицию и, соответственно, более универсальную систему для воплощения творческих замыслов. Г. Гачев пишет: «Писатели в своём родном языке не имеют такой развитой системы, и потому родной язык их сковывает» [Гачев 1988: 145]. Ч. Айтматов в своём труде писал, что «обращаясь к русскому языку как к форме художественной практики, как к форме создания литературных произведений, национальные писатели развивают не только традиции русской, но и своей национальной литературы и культуры. Это развитие выражается в отборе жизненного материала, в его освещении, образной системе, в использовании фольклорных мотивов, в употреблении слов из своих родных языков» [Айтматов 1969: 34].

Если же мы говорим о художественном билингвизме в литературной жизни Карелии, то наблюдаем несколько иную тенденцию. Писатели-билингвы вступают на творческий путь как русскоязычные писатели и лишь спустя некоторое время начинают использовать в своём творчестве родной национальный язык, поскольку они надеются посредством литературы сохранить язык своих предков, их традиции и культурное наследие.

В своей работе Г. Гачев, говоря о философии художественного билингвизма, пишет, что «двуязычие – это диалог мировоззрений, систем мира, обуславливающий стереоскопичность зрения, объёмность мышления» [Гачев, 1988: 445].

Одной из проблем, которые встают перед писателем-билингвом, является проблема выбора языка творчества.

Соответственно, если мы рассматриваем билингва с точки зрения создания им произведений на двух языках, то возникает вопрос, может ли писатель-билингв создавать произведения на одну и ту же тематику, используя оба языка, или темы его произведений будут различны в зависимости от выбора языка творчества.

Здесь представляет интерес творчество поэта-билингва Олега Мишина – Армаса Хийри. Напомним, что свои русскоязычные стихи поэт подписывает именем Олег Мишин, а финноязычные именем – Армас Хийри. Первые свои сборники поэт издал в 1960-е годы на русском языке и лишь в 1970-е стал активно публиковать лирику и на финском языке, а первый финноязычный сборник стихов поэта «Ikkinani katsoo maailmaan» («Мои окна смотрят в мир») вышел в 1976 году. Поэтому в данной статье для анализа мы возьмём начальный период билингвального творчества поэта, то есть 1970-е годы.

В 1970-е годы было издано 4 русскоязычных сборника «Солнечный день» (1970), «Теплотрасса» (1972), «Второе зрение» (1973), «Тревожность» (1978) и один сборник на финском языке «Ikkinani katsoo maailmaan» («Мои окна смотрят в мир») (1976). В русскоязычные сборники вошли, помимо стихов, написанных на русском языке, переводы стихов с финского на русский, сделанные автором.

Первые два указанных выше сборника стихов Олега Мишина 1970-х гг. являются своеобразным итогом. Сюда вошли многие стихотворения 1950–1960-х годов, воспевавшие силу человеческого духа, красоту и поэзию труда, а также созвучные им стихотворения 1970-х годов.

Центральной темой стихов Олега Мишина 1970-х годов является природа. Она не статична, природа живёт своей жизнью и, что удивительно, жизнью лирического героя. Как писал А. Гидони, «Для Мишина природа – это двойник человека, его “другое” я, но именно поэтому, что оно – другое, оно не может существовать разобщенно от “я” человеческого» [Гидони 1972: 124]. Природа повсеместно участвует в жизни лирического героя, который является лишь малой его частицей:

Зов природы тем сильней,
чем острее осознание
кратковременности в ней
нашего существованья.

[Мишин 1970: 39]

Природа в стихах Мишина соразмерна с динамикой человеческой жизни, она «пульсирует, как будто жилка на виске» [Мишин 1970: 42]. В стихах Мишина о природе нет чрезмерной описательности, неестественного пафоса, его метафоры и сравнения лаконичны и емки. «Ручей, упрятанный на зиму / под сугробом снежных одеял» [Мишин 1970: 46], одуванчик – «маленький клочок зари» [Мишин 1970: 47], снег – «белей нейлоновой рубашки» [Мишин 1970: 42]. Они понятны читателю и создают ощущение целостного мира природы, где всё гармонично и целесообразно. Л. Резников писал о поэзии Мишина как о поэзии «скромной изобразительности (без авторских комментариев)» [Резников 1980: 109].

Благодаря единству с природой, лирический герой стихов Мишина находит в себе силы преодолеть все трудности жизни и «просветлённым» продолжать свой путь. Поэт создаёт ощущение единства и полного, гармоничного слияния с ней:

Деревья утренние замерли
в аллеях парка, как в строю.
В часы такие словно заново
я начинаю жизнь свою.

[Мишин 1972: 5]

Но и у природы есть свой предел. Мишин в своих стихах о природе не просто воспевает красоту природы с её необозримыми просторами, полноводными реками и озёрами, но и не устаёт кричать о том, что лишь человек виновен в гибели этой красоты. «Он обвиняет человека в содеянном преступлении. Но даже если человек лично не участвовал в убиении рек и озёр, он всё равно виноват, потому что оставил, бросил родники и реки детства» [Маркова,

2000: 270]. Таким образом, Мишин выходит на социальную проблематику. Он обращается с призывом к человеку быть ответственным за свои поступки, за то наследие, которое он оставит после себя будущему поколению:

А вдруг устанет чудеса
творить природа.
Устанет сеять чистый снег,
цедить дождевики.
Бывал недобрый человек
с ней в поединке.

[Мишин 1978: 43]

Непреодолимо для лирического героя остаётся и чувство тоски по родному селу. «Родные отцовские дали» манят своею красотой, заставляя лирического героя всё снова и снова мысленно возвращаться туда, куда уже нет возможности вернуться. Его стихи наполнены светлой, но печальной памятью об утраченной родной земле. Для него «малая» родина – исток и основа его художественного мира со своей чистотой и естественностью, драматизмом и трагедийностью:

Проплывает за окном мой край –
Приладожье,
Где когда-то было ты, моё село.
К тем истокам не вернешься, не приладишься:
Каждый дом войною начисто сожгло.

[Мишин 1973: 17]

В названных сборниках стихов поэт развивает тему малой родины. Сквозь грусть и тоску о потерянном отчем доме, о безвозвратно утраченном родном селу, появляются жизне-радостные строки о других, не менее любимых краях, где лирический герой, хотя и не в полной мере, смог восполнить утрату родного села, родного края:

Эта боль в груди вовек бы не уменьшилась,
если б Родиной большой не стали мне
и Сибирь, мою тоску унять сумевшая,
и Урал, который вижу я во сне...

[Мишин 1973: 17]

Любовью к родному дому, родному краю, близкому другу, природе, любовью к женщине наполнены стихи Мишина. Любовь для него – это состояние души, вечно ждущей чего-то, лирический герой его стихов не боится любить, даже если его сердце «себя оно губит, ревнует и ждёт» [Мишин 1978: 71]. Свою любовь он сравнивает с двумя соснами, которые «живут одной землёй, одною высью» [Мишин 1978: 73]. И если их разлучить, то «не выдержат их корни, оборвутся, и упадут они, и разобьются» [Мишин 1978: 73].

Первый и единственный, вышедший в 1970-е годы сборник стихов на финском языке «Ikkunani katsoo maailmaan...» («Мои окна смотрят в мир...») продолжает его излюбленную тему. Армас Хийри говорит о любви к природе, её чистоте и гармоничности, в сравнении с изменчивостью и непрочностью окружающей жизни. «Природа лечит душевные раны, которые наносит человеку социальная жизнь, потому что сама чиста и честна» [Алто 1997: 164].

Как в русскоязычных, так и в финноязычных стихах природа у Хийри – друг, брат, родной человек, который готов всегда поддержать в сложную минуту. Она сопереживает лирическому герою и проходит с ним его жизненный путь:

Synkeän metsän takana kohoa taivas sinertyvä.	За мрачным небом поднимается синеющее небо.
Ikkunaan kantautuu puiden kohina, ikään kuin huokaus syvä.	В окно доносится шум деревьев Как будто глубокий вздох.
Kukaties mutkia elämäni metsäkin ajatteli.	Возможно, об изгибах моей жизни лес тоже думает.

Se kun nyt huokaa vierelläni
kuin ystävä taikka veli.

Он вздыхает рядом со мной
Как друг или брат.

[Hiiri 1976: 60]

Не остановить стремительный бег жизни. Одна лишь природа напоминает нам о том, как много вокруг нас прекрасного, которое подчас мы не замечаем, проходя мимо. Стараясь успеть везде, мы опаздываем жить, наслаждаться жизнью в её каждом, пусть даже самом незначительном мгновении.

Toisinaan on niin paljon huolia,
ettet ehdi huomata
milloin on satanut
ensi lumen.
Joku toinen
on nähnyt sen
ja mykistynyt ihastuksesta.

Иногда так много забот,
что ты не успеваешь заметить
когда выпал
первый снег.
Кто-то другой
увидел его
и онемел от восхищения.

[Hiiri 1976: 64]

Лирический герой обращается к природе, к дереву как к близкому человеку. Тема природы в финноязычных стихах тесно переплетается с проблемой памяти: памяти детства, утраченной родины (во время войны финны были интернированы из Ингерманландии, куда им не позволили вернуться после окончания войны: их родина перестала существовать на карте). Тоска лирического героя о своём прошлом, своих корнях не даёт ему покоя. Детство напоминает ему о беззаботном времени, которое как светлое воспоминание кажется «*niin lähellä, mutta kuitenkin niin tavattoman syvällä menneisyydessä olet*» ('так близко, но, всё-таки, так недостижимо глубоко в прошлом ты есть') [Hiiri 1976: 58].

Для Хийри детство и всё, что с ним связано, – это, прежде всего, светлое воспоминание, которое помогает преодолевать самые сложные моменты в жизни. Лирический герой его стихов стремится познать сегодняшний мир сквозь «призму» прошлого, в котором он черпает силу и вдохновение. Иногда кажется, что лирический герой всё-таки пытается спрятаться за свои воспоминания о былом, но, в действительности, он ищет в них опору.

Тема природы является доминирующей темой как финноязычной, так и русскоязычной лирики Мишина-Хийри. Природа в его стихах – это близкий друг, который проживает жизнь вместе с лирическим героем, сопереживая ему. Билингвальное творчество поэта в отношении к теме природы прошло значительную эволюцию от описательности к рефлексивности. Всё чаще поэт пишет о любви к природе, её чистоте и гармоничности в сравнении с изменчивостью и непрочность окружающей жизни, о том, что эту гармонию довольно легко нарушить и разрушить, о том, что человек повинен в этом разрушении и только от него зависит, останется ли природа другом человеку.

Есть у него и описательные стихотворения о природе, где природа – это радостное и возвышенное её восприятие, где даже дождливые и пасмурные дни воспринимаются как нечто одухотворённое, очищающее и оптимистическое. Вообще, оптимистический взгляд на жизнь, на своё место в этом мире – особенность, характерная как для финноязычной, так и для русскоязычной лирики Мишина-Хийри. Он с радостью думает о будущем, встречая сегодняшний день, но и не забывает о прошлом, с его горечью и утратами.

В финноязычных стихах поэта тема потерянной родины воспринимается как тоска по утраченной родине, Ингерманландии, родному селу, которое было сожжено дотла, и куда вернуться уже не представляется возможным. В русскоязычных стихах поэта, наряду с щемящей тоской о родном крае, отчётливо прослеживается тенденция появления родных и близких сердцу поэта мест, с которыми свела его жизнь. Свои стихи он посвящает Иртышу, Архангельску, Ленинграду, а также Неглинке, Лососинке, Валааму и Кижам.

Обращает на себя внимание замечание Е. И. Марковой относительно лирики Мишина, посвящённой многочисленным путешествиям лирического героя: «Его герой предстаёт прежде всего путешественником, взору которого открывается мир во всем его движении и многообразии. Мотив пути, сюжеты и образы путешествий становятся определяющими в ли-

рике Мишина» [Маркова 2000: 372]. Мотив дороги звучит у него и как мотив расставания с родным домом, родным селом, и как мотив жизненного пути, где сплетаются воедино все жизненные сиюминутные коллизии с вечным, где движение не кончается, а устремляется вперёд в поисках истины, любви и гармонии:

Словно в сказке,
дивный
катится клубок
в жажде неизбывной
странствий и дорог.

[Мишин 1978: 7]

В его стихах есть мотив дороги, но нет образа дома, образа родного очага, к которому он возвращается. Несмотря на мажорные интонации его лирики, исследовательница считает, что образ окна в вагоне, машине подменяет образ дома, обнаруживая тем самым «бездомность, неукоренённость» человека [Маркова 2000: 372].

Заметим, что образ окна задан в названии финноязычного сборника. Есть ли в нём образ дома? Для финской лирики Армаса Хийри 1970-х годов образ дома не является сквозным, здесь он присутствует лишь вскользь, мы его только начинаем ощущать в воспоминаниях детства лирического героя. Здесь образ окна – это надежда на будущее, это вера торжества жизни. Лирический герой не испытывает иллюзий относительно будущего, он готов принять его таким, каким оно будет:

Ikkunani katsoo maailmaan
aurinkoiseen tai sateiseen,
sen päiviin ja öihin.

[Hiiri 1976: 45]

Мои окна смотрят в мир,
в ясный день
или в ночную мглу.

[Мишин 1978: 102]

В поэзии Мишина 1970-х годов продолжается активное осмысление трагического исторического прошлого страны, преломившегося в его собственной судьбе и судьбе его близких. Тема войны, тема памяти проходит сквозь всё творчество Олега Мишина. Не забывать, что забыть нельзя, передать будущим поколениям тоску по потерянной жизни, по потерянным близким людям стремится Мишин в своей лирике:

Мы тоже помним сорок первый,
Забыть такое не дано:
Солдатским подвигом безмерным
И наше детство спасено.

[Мишин 1970: 28]

В финноязычной лирике Хийри тема войны приобрела новое философское звучание. Испытание войной оставило неизгладимый след в его жизни, изменив её до неузнаваемости. В одночасье Хийри потерял всё: дом, родину, родной язык. Память не даёт ему и его потомкам забыть те суровые годы войны, забыть как «lentokone syöksähtää vonkuen alas» ('самолёт бросается с воем вниз') [Hiiri 1976: 14], как «sota-aikana poroksi paloi kotikyläni jok'ainoa talo» ('во время войны дотла сгорел каждый дом в моей деревне') [Hiiri 1976: 19]. На прошедшую войну Хийри смотрит глазами своего детства, глазами печальными и уставшими, которые видели слишком много. Эти воспоминания нельзя вычеркнуть, стереть, удалить, они остаются с ним всю его жизнь. Его стихи о войне – это не патриотические зарисовки тех событий, не описание героических подвигов солдат, это, прежде всего, запах земли, стальной звон солдатских лопат, незабываемые деревья его деревни.

Объектом лирического размышления в финноязычных стихах Хийри выступают непрерывность течения жизни и, одновременно, её конечность, преемственность поколений. Здесь, как и во многих других стихах, Мишин выступает больше как рефлексирующий поэт, сознание которого направлено на восприятие окружающего мира посредством формирования ценностных категорий в процессе осмысления человеческого знания.

Edesmenneet,
ette ole poissa

Ушедшие,
вы не ушли,

vaan meidän kanssamme.

а всегда вместе с нами.

Teidän tekonne
ja totuudenkaipuunne
määrää usein sen,
mitä me teemme tänään.

Ваши поступки
и ваша тоска по правде
определяет часто то,
что мы делаем сегодня.

[Hiiri 1976: 34]

И даже в стихах о любви Хийри выступает больше как мыслящий поэт. Для него любовь – чувство, которое пронесется сквозь всю жизнь, наполняя её смыслом и содержанием, в котором сердце человека «kärsii ja iloitsee rakkautta täynnä» ('страдает и радуется полное любви' [Hiiri 1976: 41]). Его любовь к женщине – это чувство, для которого и всей жизни оказывается мало. Лирический герой стихов Мишина-Хийри не боится любить, не боится потревожить своё сердце сильными чувствами, не боится нарушить свой покой. Он готов встретить любовь такой, какой она ему будет предначертана, даже если в конце его ждёт разочарование и разбитое сердце.

Жизнь со всеми своими проявлениями – радостями и печалью, вот то, что интересует поэта. Поэт стремится прожить жизнь от начала и до конца, дыша полной грудью, впитывая каждое её, подчас самое незначительное, впечатление.

Kysyin kurttuaiselta mummolta:

Я спросил у старой женщины:

– Eikö olisi hauskaa
palata elettyihin vuosiin
silloin tällöin

– Наверно, неплохо
время от времени возвращаться
к прожитым годам
и проживать их заново?

ja elää ne uudelleen?

– Конечно, неплохо,

– Niinpä kyllä, poikakulta...

но всё же, сынок,

Mutta elämä

слаще прожить

on metisempää

эту жизнь

jos elää sen

от начала до конца

alusta loppuun

всю кряду.

yhdellä kertaa.

(перевод с финского О. Мишин)

[Hiiri 1976: 38]

[Мишин 1978: 92]

Картину его билингвальной лирики 1970-х годов хотелось бы дополнить словами А. Гидони, что Олег Мишин – Армас Хийри – «поэт, весь состоящий из полутонов, преобразённых едва ли не в принципиально утверждаемое видение жизни с его многообразием переходов света в тень – и наоборот; счастья в горечь – и обратно; реалий быта – в поэзию, и поэзии в реальность быта. Можно сказать, что всё творчество Мишина – это красивая проекция на мир, видимый прежде всего со стороны его динамики и взаимопроницаемости составляющих его элементов» [Гидони 1972: 122].

Литература

Айтматов Ч. Проблема двуязычия // Азия и Африка. 1989. № 2.

Алто Э. Л. Финноязычная литература Карелии. История литературы Карелии. Т. 2. СПб.: «Наука», 1997. 244 с.

Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М., 1988.

Гидони А. Изнутри озаренный мир // Север. 1972. № 5. С. 122–125.

Маркова Е. И. Лирика семидесятых годов // История литературы Карелии. Т. 3. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2000. С. 267–280.

Маркова Е. И. Олег Мишин (Армас Хийри) / Опыт билингвизма в творчестве карельских писателей // История литературы Карелии. Т. 3. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2000. С. 361–388.

Мишин А. Тревожность: стихи. Петрозаводск: Карелия, 1978. 119 с.

Мишин О. Второе зрение: стихи. Петрозаводск: Карелия, 1973. 71 с.

Мишин О. Солнечный день: стихи. Петрозаводск: Карелия 1970. 32 с.

Мишин О. Теплотрасса. М., 1972. 48 с.

Резников Л. Необходимость преодоления (Свет и тени лирики Олега Мишина) // Север. 1980. № 5. С. 106–112.

Hiiri A. Ikkunani katsoo maailmaan: runoja. Petroskoi: Karjala, 1976. 95 s.

Елена Александровна Калинина
г. Петрозаводск

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ КАК ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Преподавание русской словесности в школах России постепенно завоевывало одну из главных позиций в программах учебных заведений первой половины XIX века. Вопросы «чему и как учить» становились основными предметами исследования педагогов и филологов, которые широко обсуждали проблемы изучения отечественной словесности, учебных программ и пособий, задумывались над разработкой новых форм и методов преподавания. Создание школьных курсов обучения, а именно их содержание, организация, методология нашли свое отражение в работах дореволюционных исследователей Н. Арепьева [Арепьев 1891], Н. Х. Весселя [Вессель 1866], Е. К. Шмида [Шмид 1878]. Советские ученые существенно расширили тематику исследований по истории русского языкознания, однако вопросы организации литературных бесед как формы преподавания российской словесности в учебных заведениях России рассматривали фрагментарно [Березин 1984; Ларин 1977]. Современные историки проявляют значительный интерес к изучению методики преподавания русской словесности в школах XIX в. [Гетманская 2014; Логинова, Логинов 2009; Сосновская 2005]. В этих работах исследуются проблемы организации и проведения литературных бесед в старших классах гимназий, но не затрагиваются вопросы их организации в уездных училищах. В данной статье на основе архивных источников и мемуаристики рассматривается организация таких бесед в разных типах учебных заведений Европейского Севера России.

Первоначально учебный предмет «Русская словесность» включала в себя обучение «Русской грамматике» (впоследствии «Русский язык» и «Русская литература»). В «Уставе учебных заведений, подведомых Университетам» 1804 г. ее преподавание предполагалось только в приходских и уездных училищах. В гимназиях подготовка «благовоспитанного» человека к будущей жизни предусматривала «всеобщую грамматику» лишь в I классе. Воспитанники гимназий знакомились с извлечениями из «лучших сочинений или мест в латинских сочинениях писателей», а также «из французских и немецких прозаических писателей и стихотворцев» [Устав учебных заведений, подведомых Университетам 1830]. На этой основе учителя, преподавая основы создания произведений в прозе или в стихах, готовили будущих писателей и поэтов. Например, учитель Олонецкой гимназии И. Ф. Яконовский своих учеников обучал правилам стихосложения, а «при рассмотрении существа и видов стихотворений практически занимался умственными сочинениями примеров на разные виды стихотворства» [Петров 1874: 5]. Примечательно, что этот педагог стал вдохновителем будущего русского поэта, ученика Олонецкой гимназии В. Г. Бенедиктова, учившегося в Олонецкой гимназии в 1817–1821 гг. Первые стихи В. Г. Бенедиктова были написаны под влиянием И. Ф. Яконовского. Поэт вспоминал: «В гимназии с особенным вниманием и удовольствием слушал я уроки учителя Яконовского, который писал иногда и сам стихи для произнесения их ученикам при публичных ежегодных экзаменах, при домашних праздниках и разных других случаях...» [Петров 1874]. Литературное сочинительство в стихах было удобно для выражения благочестивых чувств и пользовалось особенным почетом. Как правило, стихи учеников патристического содержания, оды, посвященные царственным особам или высшему начальству, использовались в проведении публичных актов всех учебных заведений страны.

Импульсом для развития школьного филологического образования стало введение с 1819 г. изучения русского языка в учебные планы российских гимназий с I по VI класс. В программу «Русский язык» вошли предметы: в I–II классах – чтение гражданское и церковное, в II–IV – грамматика с упражнениями в слоге и диктант, в V–VI – риторика, логика, словесность и ее история [Алешинцев 1912: 58]. По школьному Уставу 1828 г., обучение русской словесности в гимназиях производилось с I по VII класс. Учащиеся изучали этимологию языка, синтаксис, орфографию, словоговорение, стихосложение, словоударение. В связи с этим у отечественных лингвистов и педагогов в это время возникла потребность в создании новых школьных грамматических руководств по русскому языку и русской литературе, повышение интереса к русской словесности как к науке, а также применение различных форм работы с учащимися.

Одной из форм учебной работы являлись литературные беседы на различные отвлеченные темы в присутствии высших чиновников и дворянства губернии. Первоначально они были введены в гимназиях. На таких мероприятиях у воспитанников формировалось не только умение четко излагать свои мысли, участвовать в диалогических спорах, но и правильно общаться со старшими.

В Архангельской гимназии литературные беседы стали проводить с 1836 г. Директор гимназии И. Н. Скрудлов обратился к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа М. А. Дондукову-Корсакову с просьбой о разрешении ученикам высших классов собираться два раза в неделю вечером в зале гимназии для чтения вслух произведений лучших российских поэтов и прозаиков, а также и собственных ученических сочинений. Такие чтения, по мнению дирекции, могли устранить местное произношение у уроженцев города Архангельска и «усовершенствовать учеников в правильном и приятном чтении вслух на различных языках» [ЦГИА СПб, ф. 139, оп. 1, д. 45509, л. 1]. Успешный опыт Архангельской дирекции привлек внимание высшего училищного начальства и литературные беседы вскоре были распространены в школах учебного округа. Например, по распоряжению попечителя в гимназиях Санкт-Петербурга они были организованы в 1840–1842 гг. для усиления успехов учащихся в русской словесности.

По окончании учебного года по четыре ученика VI–VII классов от каждой столичной гимназии в зале университета зачитывали свои сочинения на заданные им по разным предметам темы. Затем эти конкурсные работы поступали к университетским профессорам на просмотр и наиболее отличившиеся награждались книгами и похвальными листами. Публичное представление лучших сочинений предполагало возбудить соревнование не только между учащимися, но и между учителями и директорами. Первоначально ученикам предлагались темы сочинений по четырем предметам: русской словесности, всеобщей истории, алгебре и латинскому языку, позже, в 1842 г., история и алгебра были заменены геометрией и греческим языком. Как правило, на каждый предмет назначалось по 4 премии (всего 16 премий). Конкурс заканчивался торжественным актом, где зачитывался общий отчет о состоянии всех Санкт-Петербургских гимназий и вручались награды за лучшие сочинения [Шмид 1878: 320]. С 1841 г. такие литературные беседы для учеников VI–VII классов были введены не только в Санкт-Петербургском учебном округе, но и в других учебных округах страны.

В ноябре 1845 г. были учреждены «Правила литературных бесед при гимназиях Санкт-Петербургского учебного округа» [РГИА, ф. 733, оп. 24, д. 128]. По этим «Правилам», беседы проводились 2 раза в месяц по 1,5 часа в свободное от других занятий время под руководством старшего учителя словесности в присутствии директора, инспектора, учителей. Для каждой беседы ученики готовили одно или два сочинения и поочередно читали свои сочинения, написанные на свободно избранные темы. В конце 1840-х годов из Петербурга в учебные заведения стали присылать примерный список тем, состоящий из нескольких разделов: «краеведческого (по истории края), описательного (об окружающей среде) и нравственного (о добре и зле)». Все письменные работы предварительно просматривались старшим учителем словесности. На него возлагалось главное руководство этими беседами, руководство прениями, а по окончании диспута учитель должен был «объяснять степень справедли-

ности сделанных возражений... и подробный разбор, и оценку прочитанного сочинения и исправить оказавшиеся погрешности» [Арепьев 1891: 82].

После прочтения сочинения между автором сочинения и слушателями устраивались диспуты. Присутствующие ученики высказывали свое мнение о достоинствах или недостатках сочинения товарища. Замечания касались «выбора темы, плана и авторской точки зрения, верности и полноты сообщаемых сведений; содержания, а также использования языка и слога» [РГИА, ф. 733, оп. 24, д. 128, л. 3]. При этом сочинитель обязан был защищаться и отстаивать свой способ изложения материала. По окончании взаимного обмена мнений между учениками учитель русской словесности разъяснял спорные вопросы, сам делал подробный разбор и ставил оценку ученическому сочинению. Как правило, мнение проверяющего о достоинстве сочинения излагалось письменно в конце сочинения. Директор, инспектор и присутствующие учителя также могли сделать свои замечания и дать советы. Сочинения, прочитанные на литературных беседах, первоначально представлялись попечителю учебного округа по полугодиям, затем – в конце каждого учебного месяца с приложением всех черновых записей сделанных замечаний, чтобы можно было таким образом видеть весь ход работы ученика и оценить надлежащим образом сам способ ведения литературных бесед.

Циркуляры попечителя по проверке сочинений, как правило, состояли из нескольких разделов. Сначала приводились общие данные о количестве прочитанных сочинений по каждой гимназии в округе, затем следовала их характеристика и оценка, и в заключении – указания и предложения, исходя из отмеченных замечаний. Мнение высшего училищного начальства о достоинствах сочинений воспитанников прочитывалось на педагогическом совете гимназии, а также на собрании воспитанников двух высших классов гимназии. Сочинения, удостоенные одобрения попечителя, вносились в особый альбом, который хранился в гимназической библиотеке «как памятник успехов воспитанников в отечественном языке и для возбуждения соревнования учащихся» [РГИА, ф. 733, оп. 24, д. 128, л. 5].

Интересно, что в 1853 г. «Правила» 1845 г. были дополнены методическими рекомендациями о способах составления сочинения, а именно: как правильно выбрать тему и составить план. Особое внимание обращалось на грамотность и стройность изложения материала. Новые «Правила» учащимся рекомендовали темы по русской истории и литературе: «работка подобных тем полезна и в том отношении, что ученик вместе с тем знакомится с отечественной историей, с нравами и обычаями предков и с древним русским языком», а темы по истории русской литературы знакомили воспитанников с сокровищами родного языка, «учили его сознательно любить свою Родину и из ее же недр извлекать пищу для своего любознательного ума» [Правила 1853: 5]. Кроме собственных сочинений на избранные темы на литературных беседах допускались упражнения в переводах с иностранных языков. Переводить разрешалось только произведения классических авторов по выбору преподавателей. Например, в Вологодской гимназии ученики, изучающие немецкий язык, занимались «переводами серьезных сочинений и представляли их для прочтения на литературных беседах» [ГАВО, ф. 438, оп. 3, д. 1628, л. 6].

Литературные беседы возбуждали в учащихся литературные наклонности, любовь к литературе, развивали владение русским языком и пером, потребность чтения, литературный вкус. «Тут юные литераторы впервые ощущают то радостное чувство славы и всеобщего одобрения» [Вологодские губернские ведомости 1839], – писал директор училищ А. В. Башинский в своем отчете за 1838 г. Н. Ф. Бунаков, учащийся Вологодской гимназии, вспоминал: «Ученики много читали... довольно дельно и не без изяществ писали сочинения довольно серьезного характера. Были и поэты, вернее стихотворцы, бойко владевшие стихом... Большинство обладало литературным вкусом, хорошо понимая и чувствуя неизмеримую разницу между романами Ф. В. Булгарина и произведениями Н. В. Гоголя; между стихами В. Г. Бенедиктова и М. Ю. Лермонтова, между «Юрием Милославским» и «Капитанской дочкой», между историческими драмами Н. В. Кукольника и «Борисом Годуновым» [Бунаков 1909: 16–17].

Архивные документы показывают, что в 1846/47 учебном году в 9 гимназиях Петербургского учебного округа было проведено 27 литературных бесед, а в адрес попечителя М. Н. Мусина-Пушкина поступило 150 сочинений. Среди них – 18 работ из Архангельской гимназии: сочинения «О зырянах» ученика Суханова, «Санскритское предание» Плотникова, «Соловецкий монастырь» Шестакова и стихотворение «Река Иордан» Четверухина и др. 16 сочинений – из Вологодской гимназии: «О рыцарстве и его падении» Дозе, разбор элегии К. М. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» Новицкого, «Устюг» Мерцалова, «Исторический взгляд на столицу» Герасимова и др. 15 сочинений поступило из Олонецкой гимназии. В замечаниях попечителя отмечалась небрежность написания сочинений: «так нечетко и неразборчиво, что с трудом можно было прочитать». М. Н. Мусин-Пушкин предложил учителям словесности научить учеников письменно выражаться отечественным языком свободно, правильно и связно, а «для полного успеха в языке»: 1) тему сочинения ученик должен сам обдумать, 2) лучше всего задавать небольшие темы, т. к. «обширные темы не годятся для учеников», 3) обязательно прилагать план сочинений, 4) записывать замечания на полях [РГИА, ф. 733, оп. 24, д. 128, л. 10–10 об].

Отметим, что к проверке ученических сочинений, как правило, привлекали преподавателей Санкт-Петербургского университета А. В. Никитенко, А. С. Воронова, П. А. Плетнева и инспектора П. П. Максимовича. Относительно письменных работ в общих замечаниях профессоров отмечалось, что «молодые люди, судя по сочинениям, видимо, склоняются к основательному и нравственному способу изложения, избегают литературных блесков, ложного насыщенного красноречия, затейливых фраз и афоризмов... Сочинения воспитанников Олонецкой гимназии большей частью составлены описательно... Желательно, чтобы воспитанники для разнообразия выбирали темы исторические и литературные...» [РГИА, ф. 733, оп. 24, д. 128, л. 10–10 об].

Следует подчеркнуть, что среди лучших сочинений, отмеченных проверяющими, были признаны работы учащихся Вологодской и Олонецкой гимназий. Более слабыми оказались работы воспитанников Архангельской гимназии. Сочинения учащихся Архангельской гимназии на исторические темы «посредственные, они написаны не по источникам, лишены всякой критики и заключаются только в переложении своими словами или много что в извлечении из известных историков» [РГИА, ф. 733, оп. 24, д. 128, л. 10–10 об].

Произведения школьных сочинителей и стихотворцев Вологодской гимназии печатались на страницах «Вологодских губернских ведомостей» [Андреевский 1840; Протопопов 1843] и публиковались в столичных изданиях периодической печати: журналах «Маяк» [Красильников; Муромцев 1843], «Москвитянин» [Бунаков 1855], прибавлений к «Журналу Министерства народного просвещения» [Фаворский 1845; Хохлов 1844; Царевский 1849] и др. В то же время работы учащихся гимназий имели большое значение в деле краеведческой работы. При подготовке своих сочинений воспитанники занимались сбором документальных материалов по истории края.

С 1852 г. в гимназиях были введены «читательные беседы» с целью научить учащихся говорить по-русски не только правильно, но и с «некоторым изяществом». На таких беседах воспитанники прочитывали вслух отрывки из произведений русских писателей и прозаиков. Особое руководство по проведению читательных бесед в учебных заведениях были составлены экстраординарным профессором Петербургского университета И. И. Срезневским.

Практика проведения литературных бесед продолжилась и в уездных училищах, только в более упрощенном варианте под названием «Практические упражнения». Они предполагали краткое переложение учащимися прочитанных ими различных текстов из журналов и произведений художественной литературы отечественных авторов. По мнению училищного начальства, такая деятельность приучала бы учеников к легкости, ясности и точности выражений связных мыслей. Советы по проведению практических упражнений были изложены в «Правилах о практических упражнениях в русском языке в Петрозаводском уездном училище в 1851 г.» [НА РК, ф. 423, оп. 3, д. 1/1, л. 11].

Как отметила О. В. Сосновская, с одной стороны, литературные беседы как средство нравственного развития учащихся «стали составной частью внеклассной работы с гимназистами, поэтому в первую очередь были призваны решать учебные задачи, но несколько на ином уровне, чем в классе. С другой стороны, литературные беседы, в работе которых наравне с учащимися могли принимать участие все желающие, явились продолжением кружков литературного чтения, распространенных в это время среди образованных слоев общества тех лет...» [Сосновская 2005: 59–60].

Таким образом, литературные беседы были одной из форм учебной работы в российских школах. Они не только знакомили учащихся с лучшими произведениями отечественных поэтов и прозаиков, но и развивали в воспитанниках красоту устной и письменной речи, умение выражать свои мысли, выступать публично перед аудиторией, а также способствовали возможности самим стать в будущем прозаиками и поэтами.

Литература

Андреевский Н. Воспоминания о пребывании Петра Великого в Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1840. № 1.

Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (в XVIII и XIX веке). СПб., 1912.

Арепьев Н. Литературные и читательные беседы // Русская школа. 1891. № 7/8.

Березин Ф. М. История лингвистических учений: учебник для студентов филологических специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1984.

Бунаков Н. Ф. Записки: моя жизнь. СПб., 1909.

Бунаков Н. К. Н. Батюшков // Москвитянин. 1855. № 23/24.

Вологодские губернские ведомости. 1839. № 1.

Вессель Н. Х. Учебный курс гимназии. СПб., 1866.

Гетманская Е. В. Взаимосвязи гимназического и университетского литературного образования в России XIX – начала XX века [Электронный ресурс]. М.: Флинта, 2014.

Красильников А. Окрестности Устюга // Маяк. 1844. Т. 14. № 4.

Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание: (избранные работы). М.: Просвещение, 1977.

Логинова О. А., Логинов О. Н. Учебно-воспитательный процесс в гимназиях дореволюционной России (на примере гимназий Пензенской губернии). Пенза: Изд-во ПГУ, 2009.

Муромцев И. Глеб Васильевич, князь Белозерский // Маяк. 1843. Т. 8.

Национальный архив республики Карелия. Ф. 423: Смотритель Олонецкого и Лодейнопольского уездов, дирекции народных училищ.

Петров К. М. Олонецкая гимназия с 1808 по 1831 гг. Материалы для истории учебных реформ министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. 1874. Кн. 176. № 11.

Петров К. М. Иван Федорович Яконовский // Олонецкие губернские ведомости. 1874. № 69.

Правила для литературных бесед в гимназиях Санкт-Петербургского учебного округа, утвержденные попечителем Санкт-Петербургского учебного округа 22 марта 1853 г. СПб., 1853.

Протопопов П. Нашествие Шемяки на Вологду и северные страны Вологодской губернии // Вологодские губернские ведомости. 1843. № 28.

Российский государственный исторический архив. Ф. 733: Департамент народного просвещения.

Сосновская О. В. От катехизической беседы к учебному диалогу // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета IV: Педагогика. Психология. 2005. Вып. 1. С. 49–65.

Устав учебных заведений, подведомых университетам // ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 28. № 21501. СПб., 1830.

Фаворский И. Грозный в Вологде // Журнал Министерства народного просвещения. 1845. Ч. 48.

Хохлов И. Киев // Журнал Министерства народного просвещения. 1844. Ч. 42. С. 968–967.

Царевский В. Крестный ход в Устюге во время холерной эпидемии 1848 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1849. Прибавление. С. 7.

Центральный государственный исторический архив СПб., ф. 139: Канцелярия попечителя Петроградского учебного округа.

Шмид Е. К. История средних учебных заведений в России. СПб., 1878. С. 320.

Ольга Алексеевна Колоколова

Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,

г. Петрозаводск

**ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВА БЛУДНОГО СЫНА (БЛУДНОЙ ДОЧЕРИ)
В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
И ПОВЕСТВОВАНИИ Н. М. ЯККОЛА «ВОДОРАЗДЕЛ».
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ**

Н. М. Яккола (1905–1967) – карельский писатель, карел по национальности, представитель литературы, переживающей период становления. Он писал на финском языке, но считал себя выразителем тем карельского народа, его судьбы, традиций, быта. Судьба карельского народа тесно связана с русским языком и русской культурной традицией. Таким образом, и молодая карельская литература неотделима от русской литературной традиции, самобытные национальные образы переплетаются в ней с мировыми архетипическими темами, сюжетами и символами. Изучение произведений развивающейся литературы, история которой насчитывает несколько десятилетий, – непростая задача для исследователя. А. С. Спиридонова пишет о некой «презумции непонимания», явлении, возникающем при исследовании национальной литературы «извне», при взгляде «со стороны» [Спиридонова 2003: 392].

Возможно, один из подходов к исследованию произведений национальной литературы, стоящей еще у истоков своего развития, кроется в сравнительном анализе с мировой, в данном случае русской, литературной традицией, со сложившимся тематическим, образным, сюжетным рядом, художественными категориями и поэтическими приемами. Такой подход поможет, с одной стороны, выделить родственные связи молодой национальной литературы с питающей ее мировой литературой и, с другой стороны, увидеть оригинальные, национальные компоненты, особенности художественного стиля и образности карельских писателей.

Обратимся к творчеству карельского писателя Н. М. Яккола, а именно, к самому крупному произведению писателя, труду его жизни, повествованию «Водораздел»¹. Рассмотрим мотив блудного сына, который занимает важное место в мировой христианской традиции и русской литературе. Проанализируем особенности рецепции данного мотива в произведении на уровне архетипа. Необходимо учитывать, что Н. М. Яккола – советский писатель и трудно предположить, что он намеренно делает отсылку к евангельскому тексту, поднимая религиозные проблемы. Проведем сравнительный анализ со схожим мотивом в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Хотя мы не можем утверждать о сознательной ориентации карельского писателя на произведение русского классика, рассматривая отдельные компоненты мотива, мы обнаруживаем их присутствие в обоих произведениях, где один и тот же мотив по-разному преломляется на сюжетном уровне.

Героини данных произведений – девушки, покинувшие отеческий дом и ушедшие за возлюбленными, мотив «блудного чада» трансформируется в мотив «блудной дочери». Обе героини – обычные девицы, воспитанные и выросшие в обычных жизненных обстоятельствах. Заметим, что герой карельской литературы в целом – обычный человек, переживаю-

¹ Отметим, что творчество Н. М. Яккола подробно изучено Т. И. Старшовой, деканом факультета прибалтийско-финской филологии, зачинателем «Бубриховских чтений», чья кандидатская диссертация «Творческая история тетралогии “Водораздел” Н. М. Яккола» посвящена творчеству писателя.

щий жизненные тяготы, живущий трудом, семейными заботами, исполняющий свое предназначение и далекий от мировых свершений. В именах Евдокия и Евкениэ (Евгения), а также Евфимия, имени героини романа В. Скотта «Эдинбургская темница»¹, содержится греческий корень εὖ ('благо, добро'). Имя Евдокия переводится с греческого как «благоволение», а Евгения – «благородный».

Отметим, что первоначально в замысле повести у А. С. Пушкина у станционного зрителя был сын, но впоследствии автор создает образ Дуни². Т. Г. Мальчукова в своем исследовании, посвященном интерпретации притчи о блудном сыне в творчестве А. С. Пушкина, анализируя образ Дуни, отмечает, что писатель не останавливается на описании подробностей ее лица или фигуры, а скорее указывает на особое влияние, которое она имела и на женщин, и на мужчин. Красавицу Дуню, умеющую завлечь разговором, приготовить и подать кушанье, уладить ссору, содержать в порядке и опрятности жилище, никто не мог обойти вниманием. Она пользовалась большим успехом у мужчин.

Героиня повествования Н. М. Якколы, Евкениэ – простая девушка, жительница карельской деревни Пирттиярви, наоборот, не обладает притягательностью и способностью очаровать, остановить на себе взгляд, привлечь. В терминах карельской традиционной культуры Евкениэ не хватает лемби. По словам Л. И. Ивановой, лемби – это сложное понятие, «включающее в себя и честь, и обаяние, и домовитость, и счастье, и добрую славу, и удачу, и внешнюю привлекательность, то, что в наши дни подразумевают под словами “харизма” и “сексапильность”» [Иванова 2014: 18]. Под этим понятием подразумевалась и внешняя, и внутренняя красота девушки, но более всего – ее притягательность, которой в избытке было у героини повести А. С. Пушкина. Н. Ф. Лесков отмечал, что лемби «до сих пор означает какую-то непонятную таинственную силу всякой целомудренной, честной девушки, при помощи которой она и будучи бедна, некрасива от природы, может понравиться любому парню» [Иванова 2014: 15–16]. Евкениэ описывается как хорошо сложенная девушка, но не пригожая лицом, на котором еще и остались следы от оспы. Евкениэ шел двадцать шестой год, мать, тревожась за дочь, просит помощи у Мавры, знахарки, самой старшей жительницы деревни³. Мавра соглашается «попарить» Евкениэ в бане и совершает обряд поднятия лемби⁴. Подготовка и совершение обряда детально описаны автором повествования, что обнаруживает его прекрасное знание народных традиций и желание отразить жизненную правду, описать национальные традиции и народные верования. Э. Г. Карху называет это стремлением «к строгому историзму повествования» [Карху 1985: 609]. Отметим, что такие детальные описания явлений или определенных предметов на фоне масштабного эпического полотна, вбирающего в себя множество событий, героев, охватывающего большой период времени, сходны с гомеровским приемом ретардации повествования.

На следующий день после проведения обряда на игрищах к Евкениэ впервые подошел молодой человек, вручивший ей платок как знак своего расположения. Проходя обряд поднятия лемби, Евкениэ представляла сына Хеки-Хуотари Ховатту, который нравился ей. Де-

¹ Т. Г. Мальчукова видит общность религиозно-нравственных проблем, а также евангельских архетипов в повести А. С. Пушкина «Станционный зритель» и романе В. Скотта «Эдинбургская темница». Об этом: Мальчукова Т. Г. Евангельская притча о блудном сыне и ее интерпретации в творчестве А. С. Пушкина // Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в изображении человека и природы в творчестве А. С. Пушкина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 345–420.

² Подробный анализ мотива «блудного сына» и образа Дуни в повести А. С. Пушкина «Станционный зритель» см.: Мальчукова Т. Г. Евангельская притча о блудном сыне и ее интерпретации в творчестве А. С. Пушкина // Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в изображении человека и природы в творчестве А. С. Пушкина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 345–420.

³ Образ Мавры сочетает в себе черты исконной национальной культуры и христианской традиции. Она представлена как хранительница народной мудрости, умелая рассказчица, знахарка, знающая рецепты народных снадобий, к которой жители деревни обращаются за помощью в бедах и болезнях. Она же и последовательница христианской веры, старообрядка, ревностно исполняющая христианские законы и обряды, творящая ежедневную молитву, соблюдающая пост.

⁴ Подробный анализ обряда поднятия лемби см. в нашей статье «Христианская традиция и народные верования в повествовании Н. Яккола “Водораздел”» (в печати).

вushка мечтала об ответной симпатии Ховатты, но на игрищах Евкениэ выбрал сын Юрки Нихвоева Онтто. Евкениэ, несмотря на чувство влюбленности к другому молодому человеку, не раздумывая принимает платок от Онтто. Она верит, что раз ей подняли лемби, и посва- тавшийся молодой человек предназначен ей судьбой. Отказываясь от своего чувства, девуш- ка стремится исполнить свое предназначение как жены и матери. Осознание своего предна- значения и стремление исполнить его очень важно для христианина¹. Семья Хилиппы Ма- лахвиэнена исповедовала православную веру, однако, нельзя говорить о восприятии героями произведения христианства в его канонической форме. Во многом для них важна внешняя сторона христианского закона и обрядность, что в их сознании сочетается и с народными ве- рованиями.

Отец Евкениэ, Хилиппа, отказывает сватам, исходя из причин социального характера. Семья Юрки Нихвоева была огромна и жила очень бедно. Гордость Хилиппы не позволила ему выдать свою дочь, невесту с приданым, за Онтто и признать его достойным Евкениэ, да- же если других женихов в их доме не будет. Получив отказ, сваты проклинают Евкениэ, пи- ная скамьи и предметы в избе, что считалось непозволительным в доме, где живет незамуж- ная девушка и, в соответствии с народными представлениями, понижало лемби. Евкениэ по- нимает, что вряд ли к ней посвадается другой жених, и осмеливается на побег. Желая испол- нить свое предназначение, девушка нарушает нормы традиционного поведения: выходит за- муж, не получив родительского благословения.

Дуняша в повести А. С. Пушкина покидает отца, соглашается на побег, повинуюсь чувству влюбленности и симпатии к молодому гусару, который, притворяясь больным, не- сколько дней провел на станции.

Оба отца невольно подталкивают дочерей к уходу, «виной» тому – милосердие, лю- бовь и доверие к дочери у Самсона Вырина и жестокость, нежелание понять и отсутствие жалости к Евкениэ у Хилиппы. Когда Дуня собиралась к обедне, Самсон Вырин уговаривает дочь принять приглашение гусара подвезти ее к церкви: «Чего же ты боишься? – сказал ей отец, – ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви» [Пуш- кин: 102]. В повести указывается важная деталь – *Дуня стояла в сомнении*, то есть решение о побеге далось ей нелегко, и слова отца будто подтолкнули ее. По словам ямщика, Дуня всю дорогу была в слезах, хотя, казалось, ехала по своей воле. Возможно, это были слезы вины перед отцом или страха перед неизвестностью, боязни быть обманутой.

Таким образом, в обоих произведениях добровольный уход из отчего дома соверша- ется втайне, в отличие от сюжета евангельской притчи. Отчасти это объясняется причинами социального характера, поскольку дочь покидает родительский дом, только получив благо- словение, и причиной тому чаще всего является замужество. Это объясняет побег Дуни, по- скольку ее положение противоречит социальным и христианским нормам поведения – она живет в качестве содержанки Минского, не являясь законной женой. При этом Онтто берет Евкениэ в законные жены, а Хилиппа, препятствуя браку дочери, понимая при этом, что, ве- роятно, это единственная ее возможность выйти замуж, поступает вразрез с народными ка- рельскими представлениями о браке и христианской традицией.

Л. И. Иванова пишет о важности замужества для девушки с точки зрения народа и приводит в подтверждение некоторые народные изречения: «Замужество для девушки было необходимо: «Ei tyttyö miehel menemättömeä eigo puudu linnun istumattomua» – «Нет девушки, не вышедшей замуж, нет и дерева, на котором птица не сидит». Или: «Ei tyttyö miehel menemättömeä eigo valgiedu hebuo val'l'asamattomua» – «Нет девушки, не вышедшей замуж,

¹ Тема предназначения человека и единства божественного замысла является одной из ключевых в сборнике посланий апостола Павла. В посланиях Павел рассуждает о своем миссионерском предназначении, исполняя которое, он участвует в свершении замысла единого Бога-Творца, и подчеркивает, что именно таким образом осуществляется связь каждого человека с историей. История, по его словам, – «домостроительство тайны» (Эф. 3: 9), постепенный процесс одухотворения мира, достичь которого можно путем осознания и исполнения своей роли в Божественном устройстве мира.

нет и незапряженного белого коня». Карелы говорят: «Paha on paritta elyä, pari se on linnulaki» – «Плохо жить без пары, пара и у птицы есть» [Иванова 2014: 16–17].

Обратимся к христианской традиции. В тексте Священного Писания и трудах Святых Отцов и учителей Церкви браку отводится очень большое значение, равно как и житию в девстве. Приведем строки из Нового Завета: «Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» [Мф. 19: 4–6].

Большое значение в святоотеческой литературе имеет учение св. Иоанна Златоуста о браке. Иоанн Златоуст, подчеркивая важность жития в девстве, монашестве, тем не менее не отрицает брака и подчеркивает его значения для христианина: «Творческая Премудрость Божия с самого начала разделила одного на два... И кто еще не соединился узами брака, тот не составляет целого, а половину» [Григоревский 2007: 116].

Таким образом, конфликт между отцом и дочерью неразрешим. Для Хилиппы главным фактором является социальное положение, материальная обеспеченность. Евкениэ же стремится исполнить свое женское предназначение и желает испытать счастье замужества. Во многом по этой причине Евкениэ, в отличие от Дуни, не чувствует раскаяния, возвращаясь домой. С одной стороны, ее ребенок, которого не хочет признать отец, рожден в законном браке. С другой стороны, вернуться домой в поисках помощи и приюта ее заставила страшная трагедия – смерть мужа. Дуня же раскаивается, сожалеет о том, что оставила отца и долгое время не возобновляет с ним отношения. В отчий дом ее тоже приводит смерть, но смерть любящего отца, готового простить и принять дочь, не перенесшего разлуки и собственной вины.

Таким образом, исследуя традицию обращения к притче о блудном сыне и рассмотрев ее на примере повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» и повествования «Водораздел» карельского писателя Н. М. Яккола, который был очень хорошо знаком с произведениями русского классика, часто к ним обращался и любил, можно сделать вывод о востребованности этого евангельского сюжета в литературах разного времени, взращенных на различной национальной почве. Мы не можем говорить о том, что Н. М. Яккола сознательно ориентировался на произведение А. С. Пушкина, создавая образ «блудной дочери» Евкениэ. Необходимо также учитывать тот факт, что в повести А. С. Пушкина отчетливо звучат христианские мотивы во всей полноте их нравственно-религиозного содержания, для автора важны идеи христианской любви, сострадания, прощения. Евангельский сюжет о блудном сыне стал основой произведения и единственным сюжетом повести «Станционный смотритель». В то же время повествование Н. М. Якколы, подобно эпосу, представляет читателю широкую картину народной жизни, полотно исторических событий. Судьба Евкениэ – это лишь одна из множества нитей, составляющих единое целое произведения. Оба произведения воспроизводят вечный сюжет евангельской притчи, актуальный в мировой литературе с античных времен до современности. Мотив «блудного сына» в повести А. С. Пушкина и повествовании Н. М. Якколы состоит из одинаковых компонентов: добровольный уход дочери из дома за своим возлюбленным, жизнь вдали от отчего дома, возвращение / «невозможность вернуться» (смерть отца Дуни и отказ простить дочь Хилиппы). Однако на сюжетном уровне мотив реализуется по-разному в произведениях, в связи с чем по-разному расставлены и нравственный акценты.

История Дуни – это драма любящего отца, покинутого дочерью, вслед за своим сердцем сбежавшей с возлюбленным. Это повесть о милосердии, скромном, мирном житии, христианской любви, заблуждении и страсти молодого сердца, грехе и прощении, возвращении и раскаянии. А. С. Пушкин поднимает вечные нравственно-религиозные проблемы, наполняя их христианским содержанием.

Христианские аллюзии в повествовании «Водораздел» отчасти бессознательны. Н. М. Яккола, будучи советским писателем, не может все же отказаться от христианского контекста, поскольку изображаемую им от самых истоков карельскую деревню населяют ве-

рующие люди, православные христиане. История Евкениэ на основе архетипических образов блудного сына в контексте национальной культуры поднимает проблемы предназначения, женской судьбы, милосердия, гнева, следования букве закона и истинного умения простить и понять ближнего.

Литература

Библия / пер. Св. Синода 1876 г. М., 2007. 1337 с.

Григорьевский М. Учение Святителя Иоанна Златоуста о браке. М.: Локид-Пресс и Патмос, 2007. С. 116–269.

Иванова Л. И. Народные представления и обряды, связанные с лемби // Иванова Л. И., Миронова В. П. *Kuldazet kukkizet da kaunehet kanazet*. Магия поднятия лемби и свадьба в карельской народной культуре. *Juminkeko*, 2014. С. 11–107.

Карху Э. Г. Об авторе и его книге // Яккола Н. Водораздел. Петрозаводск: «Карелия», 1985. С. 607–613.

Мальчукова Т. Г. Евангельская притча о блудном сыне и ее интерпретации в творчестве А. С. Пушкина // Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в изображении человека и природы в творчестве А. С. Пушкина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 345–420.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19 т. М.: Воскресенье, 1994–1997. Т. VIII.

Спиридонова И. А. Вепсская литература: проблемы становления // История литературы Карелии. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2000. Т. 3. С. 391–419.

Старшова Т. И. Тетралогия «Водораздел» Н. М. Яккола (Творческая история. Идеино-художественные особенности): Автореф. ... канд. филол. наук. Петрозаводск, 1983.

Яккола Н. М. Водораздел. Петрозаводск: Карелия, 1985. 614 с.

Ирма Юльевна Марцина

*Московский государственный университет,
г. Москва*

ПРЕДМОДЕРНИСТСКИЙ ПСИХОЛОГИЗМ В «МАЛЕНЬКОЙ ИСТОРИИ ЖИЗНИ» Т. ПАККАЛА (1903)

Раннее творчество выдающегося прозаика и драматурга Теуво Паккала (1862–1925) впервые в отечественном литературоведении введено в контекст литературного процесса Финляндии конца XIX века в рамках господства критического реализма в фундаментальном труде [Карху 1964: 144]. Изучение психологизма в зрелой новеллистике Паккала и его крупномасштабной романной прозе позволит выявить не замечаемые ранее марксистской филологией проявления предмодернизма. Неповторимо индивидуальный творческий метод писателя развивался на рубеже XIX–XX столетий – в период, насыщенный многогранным взаимодействием и столкновениями разнонаправленных содержательно-стилевых тенденций и ставший пограничным для стилевой периодизации. При изучении переходных эпох в литературном процессе подчеркивалось: «Границы не только разделяют, но и соединяют в процессе перехода» [Андреев 2000: 3]. Лишь предметный литературоведческий анализ текста позволяет постичь подлинную эстетическую природу неповторимости и творческой свободы художника слова, за счет которой реализуется теоретический исследовательский концепт смены стилевых направлений. В индивидуальном авторском стиле Паккала, как и многих больших художников слова, органично интегрируются, преломляясь, магистральные стилевые доминанты эпохи рубежа веков. Но изучение психологизма у Паккала демонстрирует нечто большее – в этой сфере его новеллистики и романистики различимы предвестники будущих литературных открытий. У него проступает сквозь текст постижение психологических глубин личности, включая интерес к пограничным состояниям человеческой психики, трагической надломленности, вплоть до патологических искажений сознания и душевной болезни.

Достаточно вспомнить два шедевра его новеллистики на детскую тему, изученные автором статьи [Марцина 1998]. В сборнике «Дети» (1895) в новелле «У постели больной» описан поток сознания, вернее горячечный бред маленькой Нанны, видящей, скажем, как бегают наперегонки ее пальцы ног. В сборнике «Маленькие люди» (1913) в новелле «Бедняжка Илка» шокирующе неожиданно изображается духовный мир постепенно взрослеющего душевнобольного мальчика, воображающего себя лошадью.

Новаторское значение предмодернистских черт прозы Паккалы тем более весомо, что собственно модернизм в его сначала авангардистской, а затем экспрессионистской, ипостаси оформляется только в послереволюционные десятилетия, сначала в шведоязычной лирике, и лишь потом становится магистральным благодаря обширной группировке «факельщиков» или «пламеносцев» (“tulenkantajat”). В конце XX века в финском литературоведении движение национального литературного процесса вековой давности осмыслялось в категориях «народо-описания» (“kansankuvaus”), отмеченного попеременной актуализацией различных характеристик, скажем биологизма у Ф. Э. Силланпяя. Признавалось, что за счет фрейдистских моментов проза Паккала опередила свое время [Laitinen 1981: 243]. Пертти Каркама, изучавший отражение общественно-идеологической ситуации в структуре романов Теуво Паккала с позиций социологической критики [Karkama 1975], усматривает проявление модернизма в постижении «отчуждения» как экзистенциального состояния [Karkama 1990: 37–39].

Для скандинавского литературного процесса, в том числе и органично включенной в него при всей национальной самобытности литературы Финляндии, вообще характерно вытеснение нереалистических тенденций в недрах натурализма. Однако для финского литературного процесса были специфически доминантны поворот к типологически сходному с творчеством Н. Рериха мифологизированному символизму [Сойни 1996] и неоромантическому эстетизму и мощная субстанция фольклоризма [Рахимова 2001: 190–193], объяснимые подъемом национально-патриотических умонастроений. Преобладание «калевальской» стилевой доминанты и национальное возрождение вроде бы не позволяли ожидать усложненного, в чем-то шокирующего неподготовленных читателей экзистенциализма в духе модернизма.

Новаторство психологизма, глубина постижения сложной и противоречивой индивидуальности декадентской эпохи достигает своей вершины в романе Паккала 1903 г. “Pieni elämäntarina” – «Маленькая история жизни». Его центральная героиня – мятущаяся и неординарная Эстери Калм, дочь овдовевшего чиновника – лесного инспектора. Роман встретил неоднозначный прием у представителей финской писательской критики. Ак. Р. Коскимиес считал Эстери лишь перенесенной на финскую почву гамсуновской капризной «проблемной женщиной» [Koskimies 1946: 372–374]. Жизнеощущение Гамсуна, действительно, было созвучно Паккала, с 1880-х годов увлекавшегося норвежской литературой и ставшего в 1899 г. переводчиком на финский язык «Виктории». Журнальная публикация «Маленькой истории жизни» в «Валвоя» началась в 1901 г.

Отнюдь неправомерно усматривать в изображении героини вторичность и подражательность. Финскому прозаику удалось не просто отразить типический характер эпохи рубежа столетий, но и наделить его неповторимым, до того не отображавшимся в литературе, психологическим опытом. Паккала обращается к более противоречивой, чем у Гамсуна, личности молодой женщины, сразу после рождения оставшейся без матери, подробно воссоздавая внутренний опыт ее детства и отрочества. За свою короткую юность, завершающуюся безвременной гибелью от послеродовой горячки, Эстери переживает два неразрешимых внутренних конфликта.

Любовь-отталкивание Эстери с Лаури Хольма, да и отношения ее с другими мужчинами (провинциальным светским циником Альфредом Леоном и будущим мужем, получившим университетское образование выходцем из крестьян Эмели Раутийненом, которого соседи считают самодуром) на первый взгляд похожи на страстную любовь-ненависть людей, страдающих болезнью конца века, доведенную до предельного, рокового накала. В главе 14 в сцене прощального свидания с Лаури Хольма зимним вечером на мосту, в ответ на

его вопрос, любила ли она его и любит ли теперь, Эстери вспоминает, как ей пришлось умертвить своего любимца-птенца:

«Кажется в чем-то прозаичным, – сказала она, – когда сравниваю с моей любовью к вороненку, которого я выкармливала как-то в детстве. Мы друг друга любили, вороненок и я. ... А потом, у него нога сломалась. ...С вороненком за пазухой, с круглым поленом в руке я вошла в лес и положила моего любимого на камень. До сих пор помню его взгляд. Я рыдала от тоски – и ударила по голове»* [Pakkala 1922: 162].

Высказывание Эстери, конечно же, перекликается со знаковым для мироощущения декаданса уайльдовским признанием: «Мы убиваем тех, кого любим». Ведь детализированно изображаемая Паккала духовная жизнь не сводится к гамсуновскому переживанию роковой любви, захватывающую героев без остатка. Ведь Виктория в предсмертном письме возлюбленному говорит, что всей ее земной долей было родиться и любить его.

В духовной же жизни Эстери едва ли не более существенен для Паккала иной, не разрешимый не только для женщины эпохи декаданса, но и универсальный, конфликт – тоска героини по покойной матери и неудовлетворенность притязаний на отцовскую любовь, на эмоциональную близость и взаимопонимание с овдовевшим отцом, да и мачехой. Неразрешимость этого конфликта осмысливается уже в фольклоре, в том числе и в русском. Вспомним причитание великой заонежской плачеи И. А. Федосовой «О племяннице, после которой остались малые дети»:

Возрастет да как сердечно мало дитятко / Без родителя оно ведь да без матушки, (...)
Скрозь обидушку да их стане выспрашивать: «Уже где мое великое желаньице, / Уже где да е спацлива моя матушка?.. От рожденьица веселых дней не видано, / Красно солнышко меня не пропекает, / Я Иисусовой молитвы не слышаю. Отрекнулся мой родитель-родной батюшка» [Барсов 1997: 83 (№ 6)].

Паккала раскрывает переживания героини за счет смещения граней реальности и ее фантазий – или, может быть, чудесного в символистском понимании. В развязке романа портрет покойницы оказывается, случайно упав со стены, изорван младшими детьми мачехи:

«На месте обоих глаз были проткнуты пальцем дыры, а под ними вмятины, словно следы слез. Рот был ужасно изуродован. Картина выглядела горько рыдающим, страдающим и замученным человеком» [Pakkala 1922: 215].

Ясно и убедительно – при всей неординарности ее глубоких детских переживаний и даже психологических травм – описано в первых двух главах становление характера героини, омраченное тоской и страданием. Показаны сложнейшие отношения Эстери с отцом. Девочка, обожающая его, тайком целует его плащ и калоши, когда тот возвращается из служебных поездок, но когда дети приходят приветствовать его объятиями и поцелуями, она прячется под кроватью в самой дальней комнате. Но интенсивнее всего Эстери задыхается от отсутствия материнской любви и всеми силами души стремится увидеть хотя бы призрак матери. Между тем девочку считают замкнутой и неприветливой. Она не сразу раскрывает свое сердце даже гувернантке покойной матери Кайсе Рутанен, тем более сестре мачехи барышне Смарин, которая позднее станет ее подругой. Кайсе, самой потерявшей отца, непризнанного изобретателя, Эстери признается, что по ночам приходит в гостиную в неосуществимой надежде:

«Если бы появился призрак мамы! ...Я приходила сюда часто по ночам, когда вы спали. И я ждала. ... И я ждала, чтобы она пришла и поцеловала меня. Поцеловала бы единственный раз. ... Она целовала вас, поцелуйте вы меня за нее!» [Pakkala 1922: 19].

Сцены появления призрака матери можно оценить как шедевр символистской – или, если считать это галлюцинацией – поздненатуралистической прозы. В кульминационные моменты воспроизводится не только несобственно-прямая речь, но взволнованные восклицания от первого лица. Один из таких немых вскриков повторяется, когда героиня видит призрак матери и зовет ее. Паккала намеренно снимает любую «режиссерскую» ремарку с *verbi dicendi*, так что читатель может, опираясь на собственное воображение, заполнить зону

* Перевод здесь и далее – автора статьи, И. М.

неопределенности и подставить: «беззвучно вскрикнула», «воскликнула прерывающимся голосом». Так происходит, скажем, когда девочку, ощущающую безмерное одиночество, отправляют из усадьбы в город:

«– Эстери!» – слышался нежный голос. Эстери вздрогнула. Господи... Мама?! Она обернулась, чтобы посмотреть назад, увидела огромные очки барышни Смарин и разрыдалась» [Pakkala 1922: 32].

Особенно загадочно смешение реального, фантастического и внутренне переживаемого и дочерью, и отцом (для него, кстати, едва ли не на грани запретного – неслучайно гостиную заливают из окон пылающий свет алой зари) в сцене появления призрака матери в ночь неделю спустя после шестнадцатилетия Эстери в главе II. Паккала вновь передает сцену, не разделяя авторской речи и внутренней речи Эстери:

«Она пришла, мать. Пришла тогда один раз, в одну ясную летнюю ночь, когда разгоралось зарей восходящее солнце. Эстери пошла разбудить форстмейстера. Форстмейстер взглянул на нее в восторге, словно жених, протягивая ей обе руки» [Pakkala 1922: 21–24].

Эстери увлекает отца к дивану, однако велит ему пересесть, чтобы не задеть «настоящую мать». Отец пытается убедить девочку, что ей привиделся сон. Когда Эстери, расплакавшись, уносит принесенное показать матери кружевное рукоделие, он пытается утешить девочку. Теперь мать с портрета, залитого восходящим солнцем, улыбается им обоим. Форстмейстер (которому передается фокус повествования) сам бесконечно взволнован, вспоминая, что впервые увидел свою будущую первую жену шестнадцатилетней, а спустя два года она уже умерла после родов. Он тихо целует дочь, словно спящего младенца. Эстери видит не устрашающего домочадцев и слуг чиновника, а седовласого старца, который обликает слезами ее лицо. Но через несколько дней девочку отправляют в город вместе с сестрой мачехи для поступления в школу. Читателю остается догадываться, что испытывает в душе вдовец. Вроде бы – как надеется героиня, наделенная в этой сцене «фокализирующим» восприятием, – ему открылась глубина духовной жизни повзрослевшей дочери-сироты. Читателю известно только, что с форстмейстером – человеком замкнутым, суровым и резким – поделилась своими опасениями относительно слишком тесных контактов Эстери с батраками сестра мачехи. Вспомним, что спустя год отец с презрением высмеял и даже попытался запретить народнические порывы героини, назвав шутковством ее попытку открыть для батраков и служанок народную школу. Вплоть до финальной ссоры (в главе XVI), когда отец трижды проклянет дочь, поверив оскорбительной клевете насчет ее интимной связи с батраком, их отношения остаются сухими и Эстери кажутся механическими. Неслучаен в изображении взаимоотношений взрослой дочери с отцом развернутый в главе VII мотив игры в шахматы – единственного для форстмейстера способа коммуникации.

Повторяется в романе, становясь лейтмотивным, символический образ сороки. Смех которой предвещает несчастья героини и последний раз звучит на ее похоронах; одновременно сорока служит уничижительной басенной аллегорией для светской завистницы, оклеветавшей Эстери перед женихом. Эпизод обморока героини возле кровати своей новорожденной дочери (и возможно, ее гибели) подан в духе символистской фантастики – или позденатуралистического акцентирования болезненного состояния персонажа. Непонятной читателю в этой сцене остается роль неуклюжей служанки – привиделся ли той рядом со склонившейся над кроватью Эстери некий белый призрак и плеснула она в него воду из стакана. Так что, если младенец – «девочка, как она и надеялась» – выживет, Эстери повторит судьбу своей матери. Паккала привносит в развертываемую перед читателем картину причудливой духовной жизни нервно восприимчивой и тонко чувствующей героини еще один экзистенциально-модернистский символ – призрак громадного господина Стуре, которого Эстери в своей внутренней речи называет столошадиносильным чудовищем. Эстери видит его неоднократно, наиболее эмоционально переживая это видение при возвращении с кладбища, где похоронена мать, уже проклятая отцом. Еще один из лейтмотивных в «Маленькой истории жизни» символов, причем он достаточно частотен в финской лирике начала XX столетия начиная с «Зимней ночи» (“Talviyö”, 1906) Эйно Лейно – это пейзажная зарисовка морозной

зимней ночи. Метафора сводящего с ума ледяного безмолвия и губительного мороза постоянно повторяются в кульминационные для героини моменты – тем более, что непосредственное развитие ее любовные взаимоотношения получают во время пребывания в городе, то есть зимой (на лето она уезжает в отцовскую усадьбу).

Принципы повествования о судьбе утонченной красавицы из провинциальной господской среды органичны для всей творческой манеры финского прозаика. Их развитие начато уже в дилогии о жизни рабочих окраин города Оулу “Vaaralla” – “Elsa” («На Горке», 1891 – «Элса», 1894). Первый из романов был начат в 1886 г. под названием “Ompelijatar” («Швея»). Ведь, как мы увидели, характер Эстери предстает перед читателем не только в драматичных взаимоотношениях с мужчинами. В романе более весомое место занимает изображение детства героини и ее детских переживаний. Именно рисуя духовный мир детства, Паккала на протяжении всего творческого пути создает подлинные шедевры психологизма. Тонкое будничное наблюдение над взаимоотношениями в детстве между неродными братьями и сестрами, к примеру, подается в технике flash-back от лица мачехи, которая наблюдает за тем, как юная красавица Эстери блестяще вальсирует на званом вечере со своим отцом [Pakkala 1922: 110–114]. Дама с мучительным раскаянием вспоминает, как уже после отъезда 16-летней барышни в город «по-прежнему продолжали таинственным образом уменьшаться запасы печенья, а на ягодном варенье снова попадались подозрительные следы пальцев». Прежде мачеха ничтоже усумнявшись винила Эстери, но неприятная случайность раскрыла ей глаза: теперь, хотя старшие из ее родных детей принялись ябедничать друг на друга, а не на старшую сестру, младшенький Эйнар «с невинным младенческим взглядом» ответил «Эстери» на вопрос, кто разбил лампу – во время ее отсутствия в усадьбе.

Почти непреодолимое чувство вины, переживаемое девочками, нарушившими так или иначе родительскую волю, ярко воплощается и в прозаических миниатюрах Паккала о детях (мечтательная Ваппу забывает от страха перед розгами поручения матери, хотя она всю дорогу в лавку твердит «на десять пенни сиропу») и в «окраинной» дилогии. Часто испытывает ужас и отчаяние дочь благочестивой вдовы Вийо, ангельски хорошенькая и безусловно послушная маленькая Эльса. Когда она, скажем, не успевает помочь матери в ее тяжелом труде ткачихи и намотать достаточно клубков, заигравшись с подружками, то потом страшится, что страдающая удушьем мать уже умерла по пути к заказчице. Напротив, запертая на чердаке в наказание за озорство бойкая девчонка-сорванец Лийса Латту в ужасе воображает свое превращение в бородатого батрака. Что же касается Эстери, то в детстве постоянно незаслуженно наказываемая за провинности, она всю юность испытывает чувство вины и страх оказаться недостойной любви, страшась быть с позором изгнанной сердечно любившими ее матерью и сестрой жениха, Лаури Хольма.

Всепоглощающее чувство вины и страх оказаться отвергнутой объясняют сложные отношения Эстери с поклонниками, особенно ее первая любовь к Лаури, сперва восторженному, увлеченному народническими идеалами студенту, а позднее – блестящему красавцу и модному поэту. Менее ясна подоплека многосторонних взаимоотношений с батраками из отцовского имения. Важнейшую роль играет сочувствие несчастному заикающемуся Юхе, который с детства делится с ней воспоминаниями о покойной матери, на руках спасает из болота в ночь на Иванов день, находит в метель в ночь последнего приезда из города и делится с ней переживаниями от влюбленности в свою невесту Катри и потом своим горем от измены обожаемой жены. Главная героиня оказывается в центре системы персонажей, так что все остальные как бы вращаются вокруг нее по круговым орбитам, предметно присутствуя совместно у ее смертного ложа и в сцене ее похорон. Но если не принимать во внимание сложность и разорванность событийной канвы, резких обрывов и смещения граней реального и внутреннего мира героини, то в основе сюжетной структуры лежит нарочито традиционный, восходящий к сентиментализму принцип «романа-воспитания». Жизнь героини в романе, начиная с третьей главы четко подразделяемая по сезонному принципу (лето она проводит в имении отца, зиму – в провинциальном городе), небогата внешними событиями. Помолвка с Лаури заканчивается разрывом. После напрасной попытки объяснения с ним, скрывая отчая-

ние, Эстери блистает в свете и флиртует с циником, обнищавшим аристократом Леоном. Причиной всех несчастных событий в ее личной жизни становится настойчиво повторяющееся клеветническое обвинение в любовной связи с батраками, а именно с Юхой, из-за чего отец проклинает ее. Пытаясь найти спасение в браке с разбогатевшим и получившим образование выходцем из крестьян Эмели Раутиайненом, Эстери гибнет от послеродовой горячки.

Повествуя с точки зрения героини о ее любви к Хольма, Паккала вводит в текст своего рода персональный миф – «сказку о безобразном королевиче». Этот инвариантный мотив находит будто бы жизненное разрешение в истории генеральской воспитанницы Лауры Сорво, ставшей женой землекопа и проживающей с ним на удаленном лесном хуторе. Юная Эстери приглашает влюбленного в нее молодого поэта Лаури (который сам восторженно увлечен народническими идеалами) совершить лыжную прогулку на этот лесной хутор и пишет ему – «прекрасному рыцарю в синих чулочках» письмо про дворец уродливого королевича, которого преобразила любовь прекрасной девочки-сиротки (глава V). Однако реальная прогулка (в главе IV) приносит юным восторженным героям только разочарование в истеричной театральности и фальши быта семейства Лауры Сорво. Тем самым перед читателем предстает модерная реализация восходящего уже к йенскому романтизму мотива «лесного одиночества», где достигает предела его изначальный внутренний трагизм – человек остается наедине с устрашающими глубинами своего «Я» (вспомним новеллу Людвиг Тика). Но главное, потребность во всепоглощающей и чудесно, по-сказочному, преобразующей свой предмет любви становится для Эстери препятствием в отношении Лаури Хольма – он слишком красив и благополучен, чтобы героиня могла любить его так, как она считает «подлинным». Текст романа едва ли не перенасыщен кульминационными сценами, где психология Эстери изображена на грани нервного срыва.

При изображении переживания героиней мучительных, зачастую пограничных ситуаций, Теуво Паккала мастерски применяет технику внутреннего монолога. Своего рода квинт-эссенцией сжигающей эмоции становится сцена выюжной ночи, когда Эстери бежит из города в отцовскую усадьбу (глава XV). Она выкрикивает свою страсть в пустоту, пока спит мальчик-возница. Бег лошади на самом деле уносит её от жениха, но в полубреду ей кажется, что она возвращается в город. Техника эмоционально насыщенного внутреннего монолога, когда безличный повествователь как бы вживается в речь (зачастую беззвучную) своего героя, приближается здесь у Паккала к показу потока сознания, как и в его новеллах на детскую тему. Описание строится от третьего лица, а затем сменяется истерикой, переданной уже прямой речью:

«Эстери всё погоняла лошадь. Тот длинный полночный проезд оставался позади, а впереди раскинулся сияющий множеством огней город. Завтра вечером я буду в городе! И мне надо быть там! Ну же лошадка, ну же, давай! Я хочу полюбить тебя. Иначе мне не жить. Я приду и стану твоей рабыней, я стану чем угодно, только бы быть рядом с тобой, видеть тебя, сказать тебе: люблю, люблю, люблю! Ну же лошадка, ну же, давай!» [Pakkala 1922: 174].

Из бурана героиню спасает брошенный женой и воспитывающий чужого ребенка Юха. Сцена встречи Эстери с ним – в том числе благодаря условному описанию героини в мантии на шелковой подкладке и золотых перстнях, пытающейся как нищенка согреться у огня крестьянского очага – описана так, что позволяет читателю самостоятельно заполнить зоны неопределенности и объясняет подозрения родных, приводящие к отцовскому проклятию. Посещение могилы в главе XVI было для Эстери последней попыткой осознать собственное «Я», воскресить в своем сознании и тем самым обрести для себя образ покойной матери и получить от нее помощь. Попытка оказывается безуспешной: она слышит только смех сороки, которая угрожающе преследует ее, перелетая с ветки на ветку. На обратном пути героиню преследует призрак столошадиносильного чудовища Стуре, и едва не давят сани проезжающего мимо ленсмана, который Эстери не узнал и ударил бичом, как нищенку.

Взаимоотношения малолетней дочери с матерью вообще выносятся на первый план в психологической прозе Паккала (и в новеллистике детской тематики, и в окраинной диалогии). Как установила в свое время экзистенциальная психология, индивидуальный опыт пе-

реживания взаимоотношений с матерью, действительно, является стержнем внутреннего мира каждой женщины, будучи в то же время архетипическим для коллективного бессознательного [Юнг 1996: 211–249].

Источники и литература

Андреев Л. Г. Длинные волны культуры // «На границах»: зарубежная литература от средневековья до современности. / Сборник работ под ред. Л. Г. Андреева, 2000.

Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым. Т. 1. Похоронные причитания. Изд. подг. Б. Е. Чистова, К. В. Чистов. СПб.: Наука, 1997.

Карху Э. Г. Финляндская литература и Россия: 1850–1900. М. –Л.: «Наука», 1964.

Марцина И. Ю. К проблеме психологизма в литературе: детская тема в прозе Финляндии XIX – начала XX века // Филологические науки. 1998. № 3. С. 79–88.

Рахимова Э. Г. От калевальских изустных рун к неоромантической мифопоэтике Эйно Лейно. М.: ИМЛИ РАН, 2001.

Сойни Е. Г. Эйно Лейно и Николай Рерих. Вопросы типологических взаимосвязей // Проблемы литературы Карелии и Финляндии: сб. ст. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1996. С. 74–95.

Юнг К. Г. Психологические аспекты архетипа матери. Киев, 1996.

Юнг К. Г. Душа и миф: Шесть архетипов. Киев, 1996.

Karkama Pertti. Teuvo Pakkalan romaanit: Yhteiskunnallis-ideologinen tausta ja rakenne. Oulu: Pohjoinen, 1975.

Karkama Pertti. Modernismin haasteet // Tutkielmia suomalaisesta modernismista. Toim. Tuuja Takala ja Juha Hyvärinen. Turku, 1990.

Koskimies Rafael. Elävä kansalliskirjallisuus. I. Helsinki, 1946.

Laitinen Kai. Suomen kirjallisuuden historia. Keuruu: Otava, 1981.

Pakkala Teuvo. Pieni elämäntarina. / Pakkala T. Kootut teokset, III. Helsinki: Otava, 1922.

Ирина Сергеевна Маташина

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В ШВЕДОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ФИНЛЯНДИИ XX ВЕКА

Творчество Ф. М. Достоевского уже давно перешагнуло границы культуры России, превратившись в явление поистине всемирное. Литература Финляндии не стала исключением, испытав на себе сильное воздействие русского гения. К проблеме рецепции его творчества в Финляндии обращаются российские и зарубежные исследователи, в частности А. Матсон, А. Сараяс, Э. Г. Карху, Е. Г. Сойни. Выделение в особую группу изучения шведоязычных писателей обусловлено их самобытностью и значительностью вклада в культурное достояние страны.

Обращение зарубежной публики к произведениям Ф. М. Достоевского началось с появления первых переводов его романов. Начиная с 1880-х годов, читатели европейских стран (Франция, Германия, Великобритания) могли познакомиться с творчеством русского писателя. Популярность его росла, и страны Северной Европы, в том числе и Финляндия, не смогли остаться в стороне от этой волны интереса. Восприятие русского реализма и, в частности, романов Ф. М. Достоевского, становилось все более полным и глубоким, при этом отмечалась его самобытность, «русскость» [Карху 2004: 61].

В Финляндии, входившей в то время в состав России, первые переводы Ф. М. Достоевского появились в 1881 г., однако изданы они были на шведском языке, которым пользовалась образованная элита общества. Финские переводы, выполненные, в отличие от публиковавшихся в Швеции текстов, на основе оригинальных произведений, появились лишь в период подъема национального движения в Финляндии.

Интерес к творчеству Ф. М. Достоевского развивался волнообразно, отражая политические взаимоотношения стран. Начало XX века было ознаменовано большим количеством культурных контактов между Финляндией и Россией, и Ф. М. Достоевский, среди прочих русских классиков, вошел в культурный пласт, составивший основу мировоззрения образованной элиты финского общества.

Именно в среде шведоязычных писателей зародилось новое для Финляндии течение экспрессионизма, и почти каждый из его видных представителей либо вдохновлялся творчеством Ф. М. Достоевского, либо полемизировал с ним. Такое соотнесение стало возможным благодаря той глубине анализа, которой автор подвергал внутренний мир своих героев, что в некотором роде отвечало эстетике литературного направления. По утверждению Э. Витт-Браттстрём, Ф. М. Достоевского воспринимали как крупнейшего русского писателя-метафизика [Witt-Brattström 1997: 263].

Так, А. И. Мишин находит отражение гуманистических традиций Ф. М. Достоевского в лирике Э. Диктониуса, который посвятил ему одно из своих стихотворений-портретов, обращался среди прочих к нему в стихотворении «Ты – брат»; при этом атеистически-революционное мировоззрение финского поэта стало его отличительной чертой [Мишин 1987: 61–85]. Мотив «братства» также составляет важную часть идеологии экспрессионизма и отмечается у Э. Сёдергран и Х. Ульссон, а русский писатель, в свою очередь, воспринимается через призму образа Христа, «брата всем страдающим и болящим» [Мишин 1987: 61–63]. Этот подход, однако, разделяют не все исследователи. В частности, Е. Г. Сойни, анализируя лирику Э. Диктониуса, приходит к выводу об отражении в его стихотворениях «нравственных идеалов русского писателя, верного христианству» [Сойни 2005: 292]. Созвучные своему мировоззрению идеи находил у Ф. М. Достоевского и Г. Бьёрлинг, которому были близки мысли старца Зосимы в плане «приятия непосредственной жизни» [Карху 1984: 167–168].

Несмотря на кажущуюся близость, исследователи отмечают существенную разницу между эстетикой модернистов и идеями Ф. М. Достоевского, который стремится познать человека в его взаимосвязи с природным и общественным окружением, что для модернизма представлялось совершенно не существенным [Вегнер 1976: 231]. Таким образом, начало XX века – время активного использования творческого наследия русской литературы.

Довоенный период отмечен спадом советско-финских контактов. Возобновление связей стало возможно только в послевоенный период, с ослаблением политического напряжения, параллельно которому шел процесс осмысления культуры Финляндии в общемировом контексте [Карху 1990: 43]. Тогда же появилось большое количество переводов.

К. Чилман, как представитель реалистического направления, сознательно полемизирует с Ф. М. Достоевским в мировоззренческом и эстетическом плане, видя в этом свою творческую задачу, при этом опираясь на гуманистические идеи писателя [Карху 1990: 568–570]. Творчество М. Алопеус богато реминисценциями, отсылающими читателя к произведениям Ф. М. Достоевского. Важность фигуры русского классика для своего творчества подчеркивают также такие писатели, как П. Санделин, А.-Х. Аттианесе, Т. Коллиандер, М. Экман. Все они отмечают значение романов Ф. М. Достоевского в формировании их мировоззрения и становлении писательского мастерства.

Таким образом, творчество и личность Ф. М. Достоевского оказали в XX веке значительное влияние на литературу Финляндии, в том числе и на шведоязычную ее часть. Знакомство читающей публики с его творчеством стало возможным благодаря активной переводческой работе. Своеобразие рецепции было обусловлено, в первую очередь, возникновением и развитием экспрессионизма, характерного, прежде всего, для шведоязычных писателей, для которых произведения русского классика стали образцом глубокого погружения во внутренний мир человека. В послевоенное время и по сей день фигура Ф. М. Достоевского сохраняет свое литературное влияние, оставаясь образцом эстетики гуманизма и значимого в общемировом контексте явления культуры, важного не только для построения художественной ткани произведения, но и для формирования внутреннего мира самих писателей.

Литература

- Вегнер М. Литературный модернизм и творчество Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Сборник статей. Л.: Наука, 1976. Т. 2. С. 230–234.
- Карху Э. Г. История литературы Финляндии XX век. Л.: Наука, 1990. 607 с.
- Карху Э. Г. Финская лирика XX века. Петрозаводск: Карелия, 1984. 319 с.
- Карху Э. Г. Финско-русские литературные связи XIX–XX веков // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России: Сборник научных статей / Под науч. ред. А. Н. Цамутали, О. П. Илюха, Г. М. Коваленко. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. С. 43–88.
- Мишин А. И. Творчество Эльмера Диктониуса и проблемы шведоязычной литературы Финляндии. Петрозаводск: Карелия, 1987. 119 с.
- Сойни Е. Г. Русско-финские литературные связи 1890–1930-х годов: дис. ... д-ра филологических наук. Петрозаводск, 2005. 417 с.
- Witt-Brattström Ebba Edtihs jag – Edith Södergran och modernismens födelse. Stockholm: Norstedts förlag AB, 1997. 348 p.

Валентина Петровна Миронова

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

СИМВОЛИЧЕСКИЙ МИР КАРЕЛЬСКОЙ ЧАСТУШКИ

В карельской фольклорной традиции частушка появилась относительно поздно, лишь в середине XIX столетия. Однако этот сравнительно молодой жанр в настоящее время успел занять одну из доминирующих позиций.

Особый интерес при изучении частушек представляет поэтический язык, поскольку в этом жанре соединились воедино различные тропы, заимствованные из лирических песен, баллад, причитаний и даже архаичных рун. Довольно активно используется разнообразная символика, характерная для женской лирики в целом. Наиболее часто она употребляется в параллельных строках. Например, в анализируемых текстах встречаются образы сада, белой волюшки, что сближает этот жанр с причетной традицией и дает нам право рассматривать частушки как составную часть вербального кода карельской свадьбы:

Сад в частушке, как и в лирической песне, символизирует жизнь в родительском доме, девичество, девичью волю:

*Shuaviet, tytöt, kezäpäiviä,
Keskipihal saduine.
Mi kui nuorel miehel mennä,
Lučče savus gul'aiija.*

*Славьте, девушки, летние деньки
Во дворе садочек.
Чем молодой замуж выходить,
лучше в садочке погулять.*

[Коски 1985: 39].

Заимствованное из русского языка слово активно использовалось и в свадебной лирике, куда оно проникло из русской традиции. Как известно, символика «сада» получила широкое распространение в фольклоре восточных славян [Гура 2012: 157], а также активно бытовала у различных этнолокальных групп на Русском Севере (к примеру, у поморов, заонежан). Согласно выводам В. П. Кузнецовой, в заонежских причитаниях «сад символизирует девичество, девичью волю, под садом может пониматься некое определенное пространство, к примеру, свой дом. “Садом” также именуются и девушки, подружки невесты» [Кузнецова 1993: 93]. В карельском фольклоре указанный символ получил активное бытование, помимо частушек, этот образ встречается и в карельских причитаниях, и в лирических песнях, причем преимущественно у южных карелов.

Помимо сада в текстах карельских частушек изображается лес, чаще с опавшей листвой. Подобное описание приобретает символическое значение, осмысляемое как измена:

*On jo mečässä kaunehutta, da,
Kun on lehet langiematta.
On jo kulalla armahutta,
Kuni ei muida l'iibimuu.*

*Красиво в лесу,
Пока листья не опали.
Был и мой любимый нежный,
Пока других не любил.*

[Коски 1985: 104].

Наряду с садом и лесом символической окраской наделяются и отдельные деревья. Обращает на себя внимание довольно редко встречающийся в частушках образ черёмухи, вернее, ее цветение, символизирующее девушку, её чистоту и красоту:

*A gu olizin gu tuori,
da kukkizin gu tuomi.
Savus čuajuzii juozin,
da kullal nämuzii tuozin.*

*Была бы я молоденькой,
цвела бы, как черёмуха,
В садочке чай бы потивала,
милёнка конфеткой угощала.*

[Миронова 2013: 210].

Помимо частушек, образ черёмухи, точнее её ягод, встречается в карельских причитаниях. По мнению А. С. Степановой, черёмушинки (tuomekšet) в севернокарельской традиции символизируют детей в целом, в южнокарельских причитаниях семантика слова несколько расширяется. Черёмушками могут именоваться и женихи, и сваты, и подруги. В некоторых случаях оно может обозначать «его»: dai kui ruvennen, tuomenoini, toižih luadužih luadittuu elätäh – и как же буду [я], черёмушинка, после перехода в другие строеньица (=в другой дом, возможно, замуж) жить [Степанова 2004: 271].

К наиболее распространенным деревьям, приобретающим символическое значение в лирических жанрах, относятся береза или ель. Широко известно, что издревле «у многих европейских народов (германских, финно-угорских, славян) вечнозеленые деревья (ель, сосна, можжевельник, кедр, пихта, лиственница) символизировали вечную жизнь, бессмертие, были местами сакральной жизненной силы, а также имели культовое значение» [Ершов 2003: 386]. Кроме того, еловый бор как место с повышенной хтонической символикой часто упоминается в связи со свадебной обрядностью у коми, карелов и русских. В данном случае он выступает как мифологема подземного мира, где гибнет «воля-красота» невесты [Ершов 2003: 387]. В русских причитаниях невеста прилетает птичкой в еловый бор, садится на ель, в вариантах, сама выступает в виде живого деревца – елочки и подвергается уничтожению [Кузнецова 1987: 108–110]. В карельских лирических жанрах подобные символические картины встречаются в меньшей степени. Примечательно, что в частушках зафиксирован образ сухой ели:

*Kuku kägöi, kuku kägöi
Kuivan kuuzen ladvassa.
Itken minä ulahutan
Armahalla kaglassa.*

*Кукуй, кукуй, кукушечка,
На сухой на елочке.
Плачу я и заливаюсь
У милого на шее.*

[Коски 1985: 59].

Увядание дерева может быть соотнесено с утратой отношений с любимым или с потерей самого любимого, с несчастной или неразделенной любовью.

Данную гипотезу подтверждает следующий текст:

*Kaksi kuldasta kägöstä
yhtes kuuzes kukutah;*

*Две золотые кукушечки
на одной ели кукуют;*

*kaksi tyhjeä tytöilasta
yhtä brihoa itketäh.*

*Две молодые девушки
по одному парню плачут.*

[Ahtia 1922: 9].

Одним из самых популярных в лирической традиции является, несомненно, образ берёзы, получивший широкое распространение и в карельских частушках:

*Huondeksel menin, koivuine pystys,
tulles tuli – kuadunnu.
Midä olen duumainnu, da
Olen tietton luadinnu.*

*Утром шла – стоит береза,
Иду обратно – свалена.
Того, кого задумала,
В ухажеры и взяла.*

[Коски 1985: 23].

Известно, что «заламывание березы» (на наш взгляд, в данном случае глагол «свалить» можно приравнять к глаголу «заломать») в лирической традиции ассоциировалось с овладением невестой, подчинением ее себе. В данном случае, возможно, «сваленная» берёза ассоциируется уже с несвободной девушкой. Возможно, невеста таким образом дает понять, что нашла себе жениха по сердцу.

В целом у берёзы в различных лирических жанрах отмечается положительная семантика, нередко с берёзой отождествляет себя молодая девушка, невеста:

*Hos koivuine hoiskei on,
Hänes ladvaine turbei on.
Hos kuldaine loitton on
Hänen sanazet vacas on.*

*Хоть березка тоненькая,
Да верхушка густенькая.
Золотой мой далеко, да,
От любви его легко.*

[Краснопольская 1977: 104].

Аналогичные примеры были выявлены и в русской причетной традиции, где невеста зачастую называет себя именно березой [Кузнецова 1993: 88]. Как указывает А. В. Гура, среди прочих растительных символов, используемых в свадебной поэзии славян, встречается и образ берёзы [Гура 2012: 104]. Однако данного символа нет ни в карельских причитаниях, ни в карельских лирических песнях. Можно было бы предположить, что образ всецело заимствован из русской традиции. Однако все же в некоторых случаях карелы соотносили женщину с березой, о потерявшей сына матери (или о провожающей в армию матери) говорили: «Itkõy, gu koivu kuaduu; toko häi žiälõiččõy roigua» – «Плачет, как береза клонится; уж так она жалеет сына» [Федотова 2000: 84]. Таким образом, склонившаяся береза в народной традиции ассоциируется со страданиями.

Аналогичный ассоциативный ряд встречается и в карельских частушках, где склонившаяся береза – пережившая измену девушка:

*Koivu jo puuhuot kuavuttih
Pohoila potkittavakse.
Kuldazeni minut jätti
Kaikile sanottavakse.*

*Дерева-березы повалились,
Чтобы их топтали.
Миленький меня оставил,
чтобы все осуждали.*

[ФА 235/10].

Невеста в рассматриваемых частушечных текстах может быть изображена как полевой цветочек:

*Vaste olin, muato-rukku,
Sinun kädyis kukkaine.*

*Только я была, маменька,
В твоих руках цветочек.*

*A nygöi olen, tuamo-rukku,
Vieras virmuheinäine.*

*А теперь я, маменька,
Чужой травки стебелек.*

[ФА 1682/3].

Причем, девушка-невеста – это цветочек, тогда как просватанная девушка представлялась уже как чужая трава.

В карельской частушечной традиции героини могут косить траву, а также они могут обращаться к кому-либо с просьбой выполнить такую работу:

*Ken ku niityn rannaz niittäz
Minä luvvot ottazin,
Ken ku vačas tuskan ottaz,
Minä pravdan sanozin.*

*Кто скосил бы бережок,
Я бы сено убрала.
Кто тоску мою бы понял,
Тому бы я все поведала.*

[Коски 1985: 52].

Согласно народным представлениям, травинка ассоциируется с молодостью, красотой, изяществом. Карелы говорили: «Hienoini kui heinäini – тоненький, изящный, как травинка; nuori kui heinäine – молодой, как травинка» [Федотова 2000: 32–33]. Молодую девушку сравнивают с травинкой: «Onhäi kui heinäine kauniz da hienoine da hyvä – она, как травинка, красива, изящна и хороша». «Nuorukkaine on neidine gu heinäine – молода еще девушка, как травинка» [Karjalan kielen sanakirja 1968: 201]. Примечательно, что уборка сена приравнивается к замужеству, у приладожских карелов встречается пословица: «Heinät luvvol, tyttö miehelle – траву убрать, девушек замуж отдать» [Karjalaisia sananpolvia 1971: 56]. Таким образом, становится понятным завуалированный текст частушки, а появление подобных конструкций в частушечных текстах вполне оправдано.

Животный мир в частушках представлен птицами, в основном это кукушки, излюбленный персонаж лирической поэзии. Кукующая кукушка является символом девушки или женщины:

*Kaksi kaunistu kägösty
Kangahazel kukutah.
Kaksi nuordu neičykästy
Yht' Iivanaa itketäh.*

*Две красивые кукушечки
В бору кукуют.
Две молодые девушки
По одному Ивану плачут.*

[Коски 1985: 47].

Женихи могут изображаться в образе куриц:

*Midbo nämä kanoi ollah:
Kagrua lykkiät – ei syvvä.
Midbo nämii brihoi ollah:
Kučut, kučut – ei tulla.*

*Что это за курицы,
Даешь овес – не клюют.
Что это за парни:
Зовешь, зовешь – не идут.*

[Коски 1985: 58].

Можно было бы предположить, что в настоящем примере используется характерная для свадебной лирики метафора: курочка. Однако, как отмечает А. С. Степанова, курица – это символ девицы, девушки, невесты [Степанова 2000: 165], в данном случае речь идет о женихах. В анализируемом тексте, возможно, идет соотношение не по самому образу, а, скорее, по их поведению.

В единичных случаях в частушках встречается образ ласточки, причём, эта птичка находится в неволе, что не характерно для ее описания:

*Päsköilinduine päjattau
Rauduresotkan tagua.
Minun nuori mieli vieröy
Vierahan poiijan rinnal.*

*Птичка-ласточка поет
За железною решеткой.
Мое сердце молодое
к чуждому парню тянется.*

[Коски 1985: 39].

Подобное изображение ласточки, на наш взгляд, усиливает концовку самого текста: неволя – отчий дом, а девушка таким образом заявляет о своем желании выйти замуж и уйти из родного дома, в данном случае, клетки.

Следует отметить еще один пример, в котором смерть птицы осмысливается как смерть девушки, вышедшей замуж:

*Tämä kezä – räkki kezä,
Linduine levol kuoli.
En se minä tänä kezän
Tuaton kodih tulegi.*

*Это лето – жаркое лето,
Птичка на крыше померла.
Ведь этим летом я
не приду в отцовский дом.*

[Коски 1985: 55].

Использование подобного символа вполне оправдано: замужество для девушки означало перемену статуса, «временную смерть», уход из родного дома в дом мужа. Основным назначением свадьбы, как известно, является оформление нового социального статуса лиц, вступающих в брак. В ходе обряда первоначально происходит отделение жениха и невесты от той социальной группы, к которой они принадлежали, какое-то время оба персонажа находятся в состоянии между прошлым и будущим. По завершению обряда жених и невеста входят в новую социальную структуру и приобретают новый статус. Основанием для этого утверждения служит исследование бельгийского этнолога А. ван Геннепа, согласно которому суть жизни (начиная от жизни индивида и кончая космическими явлениями) состоит в последовательной смене этапов – перехода из одного состояния в другое; окончание одного этапа и начало другого образуют системы одного порядка. Автор вводит новое понятие – обряды перехода (rites de passage), дает ему обоснование, привлекая обширный материал из обрядовой практики народов буквально всего мира, чем и доказывает универсальность явления. А. ван Геннеп рассматривает свадебный ритуал в качестве совокупности обрядов, символизирующих переход личности из одного положения в другое [Геннеп 1999].

Позже В. Тернер, анализируя теорию ритуала, выделяет понятие «состояния» личности в обрядах перехода, обозначенных тремя фазами. «Первая фаза (разделение) включает в себя символическое поведение, означающее открепление личности или группы от занимаемого ранее места в социальной структуре или от определенных культурных обстоятельств («состояния»), либо от того или иного сразу. Во время промежуточного «лиминального» периода особенности ритуального субъекта («переходящего») двойственны: он проходит через ту область культуры, у которой очень мало или вовсе нет прошлого или будущего состояния. В третьей фазе (восстановления или воссоединения) переход завершается. Ритуальный субъект – личность или группа – опять обретает сравнительно стабильное состояние» [Тернер 1983: 168–169].

Представители водной стихии, рыбы, зачастую также используются при характеристике героев, преимущественно женихов. С одной стороны, использование этих образов вполне оправданно, т. к. согласно карельской традиции, сватовство в эпической, к примеру, отождествляется с рыбной ловлей:

*«Mit työ miehyzii oletta?»
«Myö miehet kalaniekat!»
«Että ole työ kalaniekat,
olizitta kalaniekat,
verkot oldaiz ven'oizes,*

*«Что вы за мужчины?»
«Мы мужчины-рыбаки.»
«Вы не рыбаки,
были бы вы рыбаками,
были бы сети в лодке,*

*kaluimet käzivarzil.
Mit työ oletta miehet?»
«Myö miehet sulhoimiehet!»*

*на локтях – планки.
Что вы за мужчины?»
«Мы мужчины-женихи».*

[Mironova 2006: 30, 204–205].

Хотя в рунах женихи чаще всего изображаются рыбаками, а девушки – девами-рыбами, в качестве примера можно привести известный образ девы – лосося в рунах. В частушечной традиции, напротив, жених – это рыба: небольшой сиг, в вариантах – озерная рыба или ерш:

*Sillan al on äijä kalua,
Kai on si(i)jan poigazed.
Kostamukses on äijä brihua,
Kai on sieglan alluzed.*

*Под мостом много рыбы,
Но все маленькие сиги.
В Костомукше много парней,
Но все пройдут сквозь сито.*

[Кондратьева 1977: 193].

*Täššä järveššä äijä kalua,
Kaikki šiijän poikaiset.
Täššä kyläššä äijän prihua,
Kaikki on viinan juojaset.*

*В этом озере много рыбы,
Да все маленькие сиги.
В этой деревне много парней,
Да все пьют вино.*

[Кондратьева 1977: 187].

Причем, описанный таким образом жених несет в себе некую отрицательную, негативную характеристику: маленький, как небольшой сижок, или пьющий вино, как маленький сижок. По представлениям карелов, сиг считается неуловимым (=скользким): «Siijal on silie bokka – У сига скользкий бок» [Karjalaisia sananpolvia 1971: 460]. Пословицы дают довольно неоднозначное его описание, у этой рыбы «siijan suu, salatin vatsa, lammin ahvenen ajatus – рот сига, брюхо салаки, мысли окуня из ламбушки» [Karjalaisia sananpolvia 1971: 460]. По отношению к ершу также можно найти довольно противоречивые материалы: с одной стороны, карелы считали, что ерш – это главная рыба в озере: «kiiškoi on vahnin kala – ерш – главная рыба». Кроме того, полагали, что, поев уху из ерша, улучшалась мужская сила: «kiiškoin syödyu kiihissyt, mie en syö kiiškoida; na, syö sie, siul on nuogi mičoï – как поешь ерша, желание появляется; я не ем ершей. На, поешь ты, у тебя молодая жена» [Karjalan kielen sanakirja 1974: 185]. С другой стороны, человека могли называть ершом, если он был противником женщин: «olet yksi kiiškoi!» – «ну ты ерш!» или «olet kiiskoin kokkuruvvan syönyh» – «ты, наверно, кость ерша съел». Вероятно, сохранившиеся в народном сознании подобного рода оценки указанных рыб могли оказать влияние на появление рассматриваемых образов в частушечной традиции.

Кроме того, поимка рыбы в частушках становится делом девушек, она в текстах ассоциируется со свиданиями:

*A läkkiäs tyttöizet nuotal da,
Viškuammo verkozet vedeh.
Anna tulou armas kuldoi
Joga ehtästy edeh.*

*Рыбачить, девушки, пойдем,
Забросим в воду неводок.
Пусть мой золотой дружок
Приходит каждый вечерок.*

[Краснопольская 1977: 104].

Причем свидание в частушках – это рыбная ловля сетями или неводом. В вариантах можно встретить параллелизмы следующего вида:

*Kaikis hoivin roadoine –
rannal nuotanpyudöine;*

*Самая легкая работа –
неводом на берегу ловить (рыбу);*

*kaikis lyhyin aigaine –
istuo tieton rinnale.*

*Самое короткое время –
сидеть рядом с милёнком.*

[Ahtia 1922: 9].

Символический смысл приобретает в частушках изображаемое поведение домашних животных, в частности собаки. В параллельных строках оно уподобляется с негативным, с точки зрения девушки, поведением одного из членов новой семьи, со свекровью:

*Suaval nägyy koiru haukkuu
Musta da villaine.
Pitkyhammas muatuška, da,
Värvättäy, ni kuole ei.*

*У Саввы собака лает,
Черная, лохматая.
Длиннозубая свекровь
Ворчит, не помирает.*

[Коски 1985: 30].

В контексте данного композиционного приема следует обратить внимание на символику явлений природы, используемую в частушках. В некоторых случаях в текстах появляется упоминание снега:

*Meijän pihal eule lundu,
Vai on levot polgiettu.
Meijän Annii eile koissu,
Vai on miehel annettu.*

*В нашем дворе нету снега,
Только тропки протоптаны.
Нашей Анни нету дома,
Её замуж выдали.*

[Коски 1985: 43].

В данной конструкции использованы два символических образа: снег и тропинка, причем отсутствие снега, возможно, повествует о пустом доме (=в доме нет девушки на выданье), а ведущие к дому утопанные тропинки – о прошедшем сватовстве или свадьбе.

В рассматриваемой тематической группе символических образов ветер получил довольно большое распространение:

*Tuuli, tuuli tukutti
da huavas ladvan katkai.
Tuska katkai rindani
kui tiettoni mimun hylgäy.*

*Ветер, ветер всё дул и
с осины обронил ветку.
Тоска заела моё сердце,
Когда милёнок меня покинул.*

[Ahtia 1922: 13].

Сильный ветер символизирует некие горестные чувства: напрасные ожидания, разлуку. Однако встречный ветер может ассоциироваться с получением какой-либо весточки от любимого:

*Äijän tuulou, äijän tuulou,
Vastavozaine tuulou.
Vastavos on kirjutettu:
Mimun kuldoine tulou.*

*Сильно дует, сильно дует,
Встречный ветер дует.
А в письме написано:
Что миленький мой едет.*

[Коски 1985: 44].

В частушках можно встретить и образ огромной тучи, в данном случае это символ разлуки, расставания:

*Pellose pouzou suuri pilvi,
Pohjozella poudu.
Natin likan sydämes on
Sulamatoi raudu.*

*Над полем поднимается большая туча,
а с северной стороны – ведро.
На сердце у Натой
не растопляемое железо.*

[Кондратьева 1977: 169].

Хотя первоначально, как следует из анализа карельских рун, надвигающаяся туча предсказывала скорый приезд женихов:

*Seizoi An'n'oi pordahil:
«Tulez, iżä, kaččomah
sodago tulou, vai sää tulou?»
Tuloubo Hippo pordahile:
«Eig'ole soda, eig'ole siä,
tulou seppo Ilmoilline
An'n'oid akakse ottamah».*

*Стоит Анни на крыльце:
«Иди-ка, отец, посмотри,
то ли войско приближается, то ли непогода?»
Идет Хитто на крыльцо:
«Не войско это и не непогода,
едет кузнец Илмойллине
Анни в жены брать».*

[Mironova 2006: 214–215].

Подобный мотив встречается в фольклорных традициях многих финно-угорских народов, он широко распространен также в севернорусских свадебных причитаниях [Кузнецова 1993: 92].

Таким образом, в карельской частушечной традиции представлен широкий круг различных символов, связанных с растительным, животным миром и некоторыми явлениями природы. Появление многих из них обусловлено традиционностью, устойчивостью употребляемого художественного образа в других, стадийно наиболее архаичных, фольклорных жанрах. Межэтнические контакты способствовали заимствованию некоторых наиболее распространенных символов из русской традиции.

Литература и источники

- Геннеп А. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов. М., 1999.
- Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М., 2012.
- Ершов В. П. Ель – древо мертвых // Рябининские чтения. Петрозаводск, 2003.
- Карельская народная песня / Сост. С. Н. Кондратьева. М., 1977.
- Коски 1985 – Карельские частушки / Сост. Т. Коски. Петрозаводск, 1985.
- Краснопольская 1977 – Песни карельского края / Сост. и автор вступ. статьи Т. В. Краснопольская. Петрозаводск, 1977.
- Кузнецова В. П. Причитания в северно-русском свадебном обряде. Петрозаводск, 1993.
- Кузнецова В. П. Соотношение причитаний с другими текстами севернорусского свадебного обряда (в плане семантики) // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1987.
- Миронова 2013 – Фольклорные традиции Ведлозерья / Сост., автор вступ. ст. В. П. Миронова. Петрозаводск, 2013.
- Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004.
- Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983.
- ФА (Фонограммархив Института ЯЛИ КарНЦ РАН) 235/10.
- ФА 1682/3.
- Федотова В. П. Фразеологический словарь карельского языка. Петрозаводск, 2000.
- Mironova 2006 – Эпические песни Южной Карелии = Aunuksenkarjalazet eepizet rajot / Сост., авт. вступ. ст., коммент. и пер. В. П. Миронова; ред. кар. текстов В. Д. Рягоев. – Петрозаводск, 2006.
- Ahtia 1922 – Rahvahan kandleh. Karjalan lauluo, virttä, soanoa da tieduo. Azetelluh E. A. Ahtia. Viiburis, 1922.
- Karjalan kielen sanakirja. Osa 1. Helsinki, 1968.
- Karjalan kielen sanakirja, Osa 2. Helsinki, 1974.
- Karjalaisia sananpolvia / toim. L. Miettinen, P. Leino. Helsinki, 1971.

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ФИНСКОЕ ИСКУССТВО В ЭССЕИСТИКЕ Н. К. РЕРИХА¹

Статья Николая Константиновича Рериха «Древнейшие финские храмы» была написана художником в 1907 году после путешествия по городам Финляндии и впервые опубликована в журнале «Старые годы» в феврале 1908 г. По жанру статью можно отнести к культурной эссеистике. Личные впечатления, художественные зарисовки, сюжетные вставки переплетаются в ней со строгим научным анализом и публицистическим накалом.

В Финляндии Рерих познакомился с творчеством Аксели Галлен-Каллела и с ним самим. Родственница финского художника сопровождала семью Рерихов в поездке в г. Лохью. Из Лохьи 16 июня 1907 года Рерих писал Галлен-Каллела: «Восхищаемся церковью и Вашей очаровательной племянницей» [Roerich 1907].

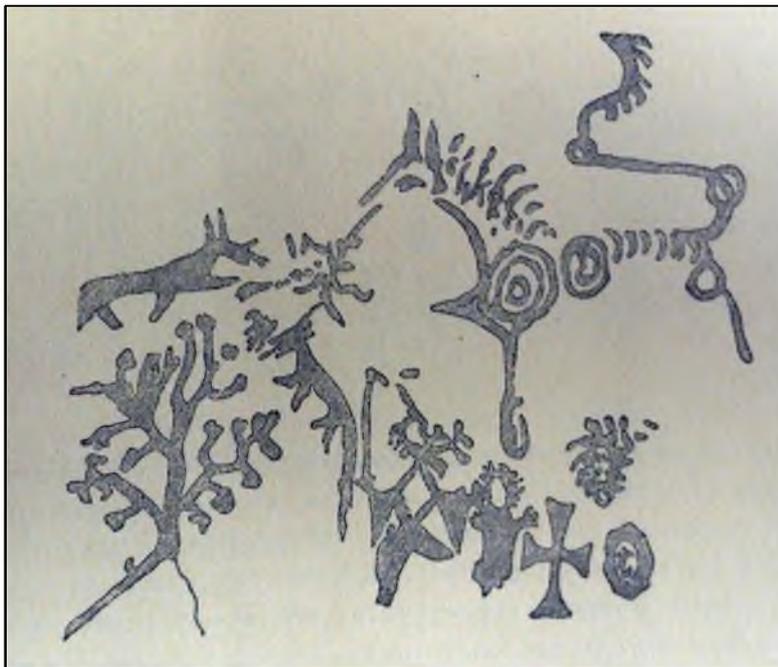
Статья «Древнейшие финские храмы» уникальна уже потому, что именно из уст русского художника в начале XX века раздался призыв к финнам сберечь настенную роспись в средневековых церквях Финляндии: «В Финляндии по холмам затейливыми, непонятными кругами раскинулись каменные лабиринты, свидетели незапамятных обрядов. Богатыри схоронены в длинных курганах. Еще звучит кантеле» [Рерих 1914: 154] – так начинается статья. В ней художник не согласился с распространенным тогда мнением, что старинные церкви Финляндии построены шведами, а не финнами. Рерих подчеркивает, что существует преемственность в архитектуре северных стран, у финских и шведских художников были одни и те же источники вдохновения, но считает, что финские храмы выделяются среди всех. Особенности финских храмов, по мнению Рериха, – в настенной живописи. В основном она в двух тонах: коричнево-красном и сером. Фантастические орнаменты, птицы, звери, изображенные на стенах, напоминают Рериху наскальные рисунки Севера. «В них чувствуются границы Палатинской капеллы и Чудских фигур, – пишет художник, – время, когда христианство наложило руку на священный шаманизм» [Рерих 1914: 163]. Рерих надеялся, что его статью прочтут финские археологи, видные профессора: Йоханнес Аспелин (1842–1915), Аксель Хейкель (1851–1924), Юлиус Айлио (1872–1933), – и добьются проведения реставрационных работ в финских каменных храмах. «Финны, полюбите и сумейте сберечь Ваши старейшие храмы!» [Рерих 1914: 167] – писал он.

На заседании Общества Архитекторов – Художников 24 января 1908 г. Рерих выступил с сообщением, после чего было решено обратиться к финским деятелям культуры: в Финляндское Общество Архитекторов и Финляндскую Археологическую комиссию с ходатайством: «Не найдут ли они возможным возбудить вопрос о необходимости снятия штукатурки, наложенной на фрески, и открытия столь интересного памятника для всего ученого и художественного мира» [Макаренко 1908: 95–96].

Теперь, по прошествии более, чем ста лет, можно сказать, что призыв Рериха был услышан. В храмах, где возможно было сбить штукатурку, не повредив росписи, прошла реставрация, потребовавшая высокого профессионализма художников, понимания служителей церкви и больших материальных затрат как государства, так и прихожан. Настенные росписи Финляндии стали предметом внимания ученых разных стран [Edgren 1993, Geary 1994, Hiekkanen 2003, Ringbom 2011]. Но это произошло не сразу.

¹ Публикация подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 13-04-0266 «Взаимопроникновение русской и финской литературы в первой половине XX века».

Решение проблемы было достаточно деликатным. Ответ Финляндской Археологической комиссии, был опубликован в разделе «Доклады по вопросам искусства в русских ученых обществах» журнала «Старые годы» за май 1908 г., частично процитирован в исследовании В. Г. Науменко «Здесь, на конце России исполинской»: «Заседание Об-ва Архитекторов – Художников, 3-го апреля, было посвящено, главным образом, обсуждению ответа Финляндской Археологической комиссии, по поводу возбужденного Н. К. Рерихом вопроса, об открытии из-под штукатурки древних фресок в церкви прихода Nousiainen Абоской губ. <...> в ответе финляндских охранителей говорилось, что открываемые из-под штукатурки фрески «сохранять в зданиях, служащих местом богослужения, оказывалось невозможным, <...> «приходы могут поступать с ними по своему благоусмотрению». В оригинале этого письма, найденном нами в 2015 г. в Финляндии, смысл последней фразы можно перевести несколько иначе: «...maalaukset ovat tavallisesti olleet niin huonossa kunnossa ettei niitä sellaisina ole voitu säilyttää rakennuksessa, jota vielä käytetään jumalanpalvelukseen, koska seurakunnat vaativat kirkoissaan siistin ulkoasun». («...Живопись действительно находилась в таком плохом состоянии, что не могла быть сохранена в здании, которое еще используется для богослужения, поскольку приходам необходимо, чтобы в церкви был благопристойный вид») [Сойни 2015].



Ил. 1. Роспись в церкви прихода Ноусиайнен

Относительно фресок прихода Ноусиайнен (Nousiainen) комиссия сообщает, что они закрыты штукатуркой с разрешения комиссии «по совету магистра Нервандера, так как они по своему грубому и первобытному свойству неуместны в современной церкви» [Макаренко 1908 май: 283, Науменко 2010]. Журнал прокомментировал ответ финских археологов достаточно категорично: «Финляндия, гордая своей «культурностью», по-видимому относится к национальным святыням искусства с бесцеремонностью поистине некультурной» [Макаренко 1908 май: 283]. однако решение проблемы о снятии штукатурки было далеко не простым.

Как известно, в XI–XII веках н. э., в эпоху романского стиля в Западной Европе начинается повсеместное строительство церквей. Но сквозь романскую пластику на севере Европы четко проглядывал «звериный» стиль, словно прошедший через тысячелетия со времен гуннов и скифов. Это чувствовалось в орнаменте, в узор которого были вплетены фрагменты растений, лапы зверей, клювы птиц. Рядом с гармоничными евангельскими образами соседствовали фантастические чудовища. «Кусая и попирая друг друга, чудовища переплетаются на стенах христианского храма столь же яростно и неудержимо, как на носу дракара», – пишет теоретик искусства Л. Д. Любимов [Любимов 1982: 24]. По мнению ученого, уже в эпоху романского стиля церковные круги были смущены жутким характером народной фантазии, отражающей всевозможные страхи. Один из учителей католической церкви Бернард Клервосский (Bernard de Clairvaux) возражал против такого искусства в храмах: «К чему в монастырях перед лицом читающей братии это смешное уродство или красивое безобразие? <...> Здесь над головой видишь много тел, там, наоборот, на одном теле много голов» [Любимов 1982: 25–26].



Ил. 2. Роспись в церкви прихода Лохья

И действительно, глядя на изображенную в церкви Лохья открытую пасть собаки, задаешься вопросом: «В церкви? Зачем?» Хотя более уместным был бы вопрос: «Почему?» Почему у финского крестьянства было столь странное мироощущение?

Чем дальше на Север, тем больше в самостоятельном искусстве Норвегии, Ирландии, Швеции ощущались народность, фольклорные истоки, яркий, не по-северному, колорит, отсутствие каких-либо канонов. Что касается яркости, сочности красок, то в этом север не уступал югу. В Финляндии свободомыслие художника не знало предела. На восточных границах только что утвердившегося католицизма предпочтение отдавалось декоративно-прикладному искусству, причудливым формам, изображению фантастических существ.

Взрывчатая энергия народного сознания в его художественном выражении далеко не всегда сочеталась с церковными проповедями. Католические священники смирялись с подобной настенной живописью. Тот же Эмиль Нервандер¹, один из первых исследователей финских фресок, заключал, что росписи, открытые в Ноусиайнен в 1880-м го-

ду, совершенно особые. «В христианских храмах ничего подобного еще находимо не было» [Nervander 1887–1888]. Рерих полностью доверяет информации Эмиля Нервандера, но удивляется, что ученый не смог отстоять существование увиденных им росписей. «В том же году эти стенописи были вновь замазаны, – цитирует Рерих финского исследователя, – вид этих изображений был слишком странным, даже отталкивающим для тех, кто ожидал встретить в храме картины, возвышающие религиозное чувство» [Рерих 1914: 163].

И если на взгляд ученого, настенная живопись смотрелась в церкви странно, то по мнению лютеранских пасторов, она там была не нужна.

Лютеранская церковь, утвердившаяся в Финляндии в 1536 году, на вопрос Бернарда Клервосского: «К чему это?» – ответила однозначно: «Ни к чему». Фрески стали замазываться, стены храмов постепенно обрели молитвенный белый цвет. Рерих считал это вандализмом: «Известны также случаи, когда уже вскрытая живопись была замазана снова. Радость вандалам! – было замазано то, что справедливо привлекало внимание английских и скандинавских ученых. Такое варварство случилось между прочим в Nousiäinen'e со второю по древности церковью» [Рерих 1914: 160].

Слова 'вандалы', 'варварство' придают эмоциональную экспрессию статье Рериха, говорят о нем как о подлинном публицисте, отстаивающем интересы искусства. Однако по отношению к истории лютеранской церкви такие выражения вряд ли уместны. Как известно, еще в Древнем Риме существовало изречение: «Cuius regio, eius religio» ('чья сторона, того и верование').

Потребовались усилия многих ученых, чтобы, начиная с конца XIX века, настенная живопись была отреставрирована и показана людям. Был найден верный путь реставрации. Цвет росписей слегка приглушен, живопись не пугает прихожан, она как бы существует сама по себе как знак культуры далеких времен. Здесь уместно вспомнить, какое впечатление произвело открытие церковной живописи, фресок и русской иконы (особенно старообрядче-

¹ Эмиль Нервандер (Emil Nervander) (1840–1914) – ученый, поэт, друг Алексиса Киви, исследователь творчества Элиаса Леннрота. Одну из книг Нервандера (см. ниже) с некоторыми ошибками цитирует Н. К. Рерих.

ской) в конце XIX века, описанное, например, у Николая Лескова в повести «Запечатленный ангел».

Н. К. Рерих увидел в росписях сочетание двух традиций – идущих от романского стиля Палатинской капеллы и «звериного» стиля – Чудских фигур. Это была своего рода фресковая живопись, но пользовались художники техникой *al'fresco* не умышленно. Впрочем, расписывали стены не всегда художники, чаще это делали строители. Маркус Хиекканен одним из первых указал, что примитивные росписи были выполнены строительными группами, в частности, в церкви в Ноусиайнен. Термин «примитивная живопись», по мнению ученого, – наследство 1930-х годов, и этот термин создает проблему, ибо он включает оценку [Hiekkanen 2003: 191–193].

Статья Рериха подобных оценок лишена. Более того, Рерих как подлинный художник понимал, что искусство любого времени имеет свою значимость.

Катя Фельт отдает предпочтение термину «живопись строителей». Исследовательница пишет, что когда гипотеза о древнем (до XIII в.) происхождении живописи не подтвердилась, то пришлось объяснять «уродства» образов по-другому, вне какой-либо связи с каноном европейского средневекового искусства [Fält 2011: 33–34]. Росписи рассматривались то как детские имитации, то как работа неподготовленной руки. Но на рубеже XX века эстетическая функция средневековых артефактов была оценена, прежде всего, с точки зрения финского неоромантизма.

Николай Рерих, идеи которого тесно переплетались с эстетикой финских неоромантиков [Сойни 2014: 197–200], был среди тех, кто оценил именно эстетическую функцию росписей, а не их возраст: «Иероглифы северной жизни: как благородно сочетание таких красок! ... Значение такого храма могло быть выше ковра Матильды» [Рерих 1914: 163].

Казалось бы, религиозные образы можно интерпретировать с помощью христианской иконографии, ведь на стенах изображены визуальные нарративы, зрительные описания сцен из жизни святых. Но в случае с финской живописью мы имеем дело с исключениями. Стенопись теснее связана с магической практикой, язычеством и фольклором, что однако было вполне возможно в средние века. «Стенопись находится вне норм и форм средневековой иконографии, – отмечает К. Фельт. – В некотором смысле образы – это проявление дикой, почти неконтролируемой физиологии» [Fält 2011: 36–37].

На наш взгляд, исследовательница ставит правомерные вопросы: можно ли гадать, что было в голове авторов в момент создания работы? По мнению Фельт, возможны два подхода в академической науке в трактовке рассматриваемой живописи: 1) продолжать поиск кода в традиционной иконографии, чтобы разгадать тайну прошлого; 2) отделить себя от этой традиции.

В первом случае единственно возможная точка зрения – та, что основывается на изучении литературных текстов или иных системах текстуальности. Интерпретаций много – это одна из главных проблем. Во втором случае изображение интерпретируется с помощью художественных методов. «Похоже, способ мышления авторов был визуальным, а не литературным», – считает Фельт [Fält 2011: 36–37]. По мнению петрозаводского исследователя В. Н. Сузи, мирская и церковная культура различаются приемом: «позиции исследователей обусловлены изучае-



Ил. 3. Роспись в церкви прихода Лохья

мым аспектом и степенью вживания в опыт Предания Отцов» [Сузи 2010: 23]. В своем описании стенописи в церкви Св. Лаврентия в г. Лохья Николай Рерих не отказывается от «литературной» трактовки и объясняет сюжеты в обычной иконографической традиции, например: «Притвор храма занят сценами убийства Авеля и проделками дьявола над людьми» [Рерих 1914: 166].

Объяснению сюжетов Рерих посвящает два абзаца. В первом речь идет о росписях в западной части церкви, у входа. Второй абзац посвящен росписям на сводах: «изображениям Рая», «родословной Христа..., Богоматери» [Рерих 1914: 166]. Рерих, конечно, не разделял в стиле постмодернистской эстетики восприятие мира людьми на интеллектуальное и визуальное. Его позиция была объединяющей.

Там, где это возможно, он трактовал росписи, основываясь на библейском тексте, там, где текст «молчал», объяснение было с точки зрения искусства: о цвете, о тенях, о размерах изображений. Рерих был одним из первых, кто оценил значение оригиналов церкви в Хаттула; назвал их «звеном между древнейшей живописью al'сессо и более поздней уже из XV века» [Рерих 1914: 164]. Художник обратил внимание на «богатые сочетания грунтов и цветов», на зеленую, белую, синюю, красную и серую краски. Особое впечатление произвел на художника орнамент в Лохья.

Рерих «разглядел» естественный рисунок каменных граней на внутренней поверхности стен, обратил внимание, что между извилистыми линиями камня и линиями орнамента возникает неожиданная гармония: «Грани камня выходят из поверхности стены и разбивают плоскость неожиданным рисунком углов и извилистых линий. Думали ли создатели о таком впечатлении, но заботливое время украсило и довело простые изображения до сложной мягкости искусства наших дней. <...> орнамент дрожит непонятными рунами. Время сложило красоту, общую всем векам и народам» [Рерих 1914: 167].

Перед глазами Рериха в Лохья предстал цветочный орнамент со змеевидными ветвями. Какой цвет был в оригинале, сказать невозможно. То, что Рерих указал в своей статье на увиденный им в 1907-м году цвет на стенах церквей, может оказать большую услугу современным реставраторам.

Как живописец Рерих несомненно понимал, что авторы росписей ставили перед собой серьезные художественные задачи: достижение определенного колорита, создание многофункциональных композиций на стенах и сводах, использование естественного контура камней в расположении линий рисунков. Он называл средневековое искусство Финляндии «драгоценным», независимо от его происхождения. В том, что финская средневековая живопись сейчас открыта всему миру, есть заслуга и русского художника.



Ил. 4. Роспись в церкви прихода Лохья

Литература

Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: Средние века. М., 1982. 320 с.

Макаренко Н. Е. Доклады по вопросам искусства в русских ученых обществах // Старые годы. 1908. № 2. С. 95–96.

- Макаренко Н. Е. Доклады по вопросам искусства в русских ученых обществах // Старые годы. 1908. Май. С. 283.
- Науменко В. Г. Здесь на конце России исполинской. М., 2010.
- Рерих Н. К. Древнейшие финские храмы. Собр. соч. М., 1914. С. 154–167.
- Сойни Е. Г. Финские неоромантики и русские символисты // Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России. Материалы V Всероссийской конференции финно-угроведов. Петрозаводск, 25–28 июня 2014. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. С. 197–200.
- Сойни Е. Г. Отчет об экспедиции в Финляндию. ИЯЛИ КарНЦ РАН. 2015. (Рукопись).
- Сузи В. Н. Христологический дискурс в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 320 с.
- Edgren Helena. Mercy and Justice: Miracles of the Virgin Mary in Finnish Medieval Wall-Paintings (Finska Fornminnesforeningens Tidskrift, 100). 1993.
- Fält K. Attitudes and Discourses in the Historiography of Finnish Medieval Rakentajamaalaukset Paintings // St. Andrews Journal of Art History and Museum Studies. 2011. Vol. 15. P. 33–38.
- Geary P. Living with the Dead in the Middle Ages // Cornell University Press. 1994. № 4. Op. cit. P. 38–39.
- Hiekkanen M. Suomen kivikirkot keskiajalla. Helsinki: Otava, 2003. 270 s.
- Nervander E. Kirkollisesta taiteesta Suomessa keskiaikana, os. 1–2. Kansanvalistusseura 1887–1888. Цит. по: Рерих Н. К. Древнейшие финские храмы. Собр. соч. Т. 1. М., 1914. С. 163.
- Roerich N. Akseli Gallen-Kallela. Posti kortti. 1907. 16 kes. // Akseli Gallen-Kallelan museo. Arkisto käsikirjoitettu. Roerichin rahasto.

Алла Александровна Титова

*Центральная районная библиотека им. И. П. Мордвинова,
г. Тихвин*

КАПШИНСКИЕ ВЕПСЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Первая известная нам публикация в местных изданиях Тихвинского края строк, написанных вепсом, была в 1918 г.: в газете «Наш край» напечатали стихи А. А. Горского «Думы чухаря» [Горский 1918]. Его же стихотворение «Здесь в Чухарии лесистой...» известный ученый В. И. Равдоникас приводит в очерке «Чухари» [Равдоникас 1926: 250–251].

Вновь автор-вепс появляется на страницах тихвинских изданий более чем через 50 лет. В 1974 г. в районной газете «Трудовая слава» была напечатана серия очерков «Весна 54-го» о колхозе «Авангард» в деревне Пялья. Их автором был Василий Пулькин.

Поскольку его биография мало кому из читателей известна, укажем основные вехи его пути. Вепсский писатель, член Союза писателей СССР Василий Андреевич Пулькин, родился 1 января 1922 г. в деревне Нюрговичи (Сельга, Нюргосель Гора) Пелдушской волости Тихвинского уезда Череповецкой губернии (ныне Тихвинский район Ленинградской области). Закончил 7 классов в Корбенической школе, работал вместе с братом Алексеем в лесопункте. После окончания курсов учителей начальных классов в Тихвине с 1939 г. Василий Андреевич назначен на должность учителя начальных классов в Корбенической школе. Одновременно он заочно учится в Лодейнопольском педучилище.

В июле 1941 года В. А. Пулькин был призван на фронт и прошел всю войну в составе дивизиона гвардейских минометов («катюш»). Воевал на Юго-Западном, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м Украинских фронтах. В 1944 г. вступил в ряды КПСС. Войну закончил в Будапеште. Награжден орденом Красной звезды и Отечественной войны 2-й степени, многими медалями. Демобилизовался в 1946 г. и вновь стал преподавать: в школах Капшинского района, одно время работал директором Корбенической школы. Затем снова был призван в армию на должность зав. отделом политпросвещения железнодорожной части.

В 1950–1954 гг. служил в Капшинском райкоме КПСС в пос. Шугозеро. С апреля 1954 г. по ноябрь 1957 г. был председателем колхоза «Авангард» в д. Пялья Капшинского

района. Затем работал 2-м секретарем райкома партии того же района. В эти же годы Пулькин закончил Высшую партийную школу.

В мае 1960 г. по состоянию здоровья вернулся на учительскую работу, стал директором Пяльинской восьмилетней школы. Школа была большая, около 350 учеников. «По отзывам коллег и бывших учеников, Василий Андреевич был очень хорошим организатором внеклассных мероприятий. По его инициативе и при непосредственном его участии проводились конкурсы, турпоходы, концерты художественной самодеятельности. Самыми любимыми для учащихся были пешие походы по родному краю», – писала о Василии Андреевиче его внучатая племянница Анна Тятляшова [Тятляшова 2006: 14]. – «Пионерская дружина школы 4 раза становилась “Спутником семилетки”, над школой в честь этого красовалась красная звезда, а на знамени дружины появились особые ленты. Отряды пионеров принимали участие в парадах на Дворцовой площади в Ленинграде. О школе писали в журналах “Народное образование” и “Пионер”».

«В Пялье Василий Андреевич построил дом, который сохранился по сей день. Его дети: Людмила, Светлана и Юрий – закончили Пяльинскую школу. Из Пяльи Василий Андреевич уехал в 1965 г. Последний раз в Пялью писатель приезжал в 1982 г., очень долго беседовал с учителями школы и пообещал, что следующую книгу он обязательно напишет о них» [Вильховецкая 2015].

С 1965 по 1969 гг. В. А. Пулькин работал директором школы и учителем истории в пос. Лукаши Гатчинского района, затем стал директором школы в пос. им. Свердлова Всеволожского района. С 1970 г. живет в г. Кировске и работает директором ПТУ № 23. С 1972 г. – заведующий консультационным пунктом СЗПИ. С 1977 г. выходит на пенсию по инвалидности. Профессионально занимается литературой. Умер В. А. Пулькин 9 апреля 1986 г. Похоронен на кладбище в г. Кировске.

До последнего года своей жизни Василий Андреевич приезжал в родную деревню Нюрговичи со своими друзьями-писателями: «Живу я теперь в городе, но нет года, чтобы летом не приехал погостить в родную деревеньку, что уютно расположилась на живописном берегу Капшозера. Посидеть с удочкой на зеленых берегах. Покупаться в чистых ее водах. Полакомиться ягодами, которых в здешних лесах много и разных» [Пулькин 1986]. Его сестра, Анна Андреевна Тятляшова, вспоминала: «Помню, как приезжал Василий в Нюрговичи, всё время работал. Делал сундучки из ольхи, игрушки из проростков берёзы, из корней, из капа» [Тятляшова 2006: 15].

Первые публикации В. А. Пулькина в тихвинской районной газете «Трудовая слава» (серия очерков о жизни капшинских колхозников в середине 1950-х гг. «Весна 54-го») были напечатаны в 1974 г. Эту серию продолжили очерк «Поездка к Носкову» (1976) и рассказ «Учитель мой – пастух». Главная наука этого учителя заключена в словах: «Кто лесу не бережет, тот и себя не бережет. Может быть, мы и живы благодаря ему. Не будет леса – и нам тут делать нечего».

В 1983 году в газете «Трудовая слава» Пулькин публикует «Вепские сказки»: «Упрямая жена», «Лень и любовь», «Сказка про то, как Кузя через солдатчину счастье свое добыл». В 1984 году они были перепечатаны в центральном журнале для детей «Искорка». В 1981 году в региональном журнале «Север» (№ 11–12) была напечатана первая повесть В. А. Пулькина «Азбука детства», в 1983 году она вышла в Петрозаводске отдельной книгой с иллюстрациями О. Чумака. В 1990-е повесть «Азбука детства» была переведена на вепский язык и опубликована в газете «Kodima».

Вслед за первой увидели свет ещё две книги В. А. Пулькина: «Глубокие воды Корбярви» (1985), куда вошли две повести – «Азбука детства» и «Глубокие воды Корбярви», и «Возвращение в сказку» (1986) с иллюстрациями известного художника, действительного члена Академии художеств СССР Владимира Ветрогонского. Эта книга увидела свет уже после смерти автора.

«Выпавшее из рук друга знамя» поднял Глеб Александрович Горышин, ставший с 1986 г. летописцем капшинских вепсов. Уже через четыре месяца после смерти Василия Ан-

дреевича в газете «Ленинградская правда» публикуется очерк «Гора и Берег», состоящий из четырёх частей: «Нюрговичи», «Торяковы», «Цветковы», «Пулькин».

В последнем Глеб Александрович дает портрет ушедшего из жизни друга: «Однажды ко мне в кабинет (я работал тогда в журнале) вошел пожилой мужчина с изборожденным морщинами, живым, добрым, умным лицом. Он представился Василием Андреевичем Пулькиным, оставил мне свой роман «Глубокие воды Корбярви» – о жизни вепсской деревни. Я вчитывался в роман, мало-помалу проникаясь особенным колоритом, духом лесного народа, напряженной внутренней жизнью озерного края. Все было у Пулькина то же, что и в романах о путях-перепутьях русского северного села, но север Пулькина отличали никем до него не увиденные краски, дополнительные обертоны в речи героев, национальные черты вепсов, сохранивших себя, – в неповторимости мировосприятия, слиянности с природой, поэзии жизнетворчества.

Роман «Глубокие воды Корбярви» нес в себе самоценность никем пока не освоенного жизненного материала – и все следы неопытности начинающего романиста... Чаще всего в таких случаях автор тратит годы (а их и так мало) на обивание порогов редакций, на бесплодную переписку с консультантами. Или находит себе литобработчика. Василий Андреевич Пулькин, став на эту стезю, удивительно скоро понял, чего от него хотят, с крестьянской смекалистостью, хваткой сам научился работать над текстом в нужном ключе» [Горышин 1986].

Очерк был перепечатан в газете «Трудовая слава». На следующий год уже в большем объёме очерк о вепсской деревне Нюрговичи, состоящей из двух частей – Горы (Сельга) и Берега (Ранд), был опубликован в ленинградском журнале «Звезда». В том же году капшозеры Торяковы, Цветковы, Пулькины и др. появляются на страницах столичного журнала «Природа и человек». В 1989 г. в Москве, в издательстве «Современник» выходит книга «Гора и Берег: Повести». Капшозеры становятся героями не только прозаических произведений Горышина, но и его стихов. В книге «Виденья: Стихотворения и новеллы» помещены два финальных стихотворения: «На все четыре стороны» и «Прощай, деревенька моя». Они будто пропитаны «терпким запахом старины» и, конечно, посвящены вепсам, и в их числе дорогим сердцу автора нюрговичским соседям Торяковым. Те же интонации в «Письмах из лесу», опубликованных в столичном журнале «Вокруг света». В 1992 г. на страницах журнала «Север» впервые получает слово... Леший. Если в книге «Гора и Берег» описание деревни Нюрговичи, соседних вепсских деревень и их жителей является содержанием только первого из восьми очерков, то в изданной посмертно книге Г. А. Горышина «Слово Лешему: Записи очевидца» северо-восток Тихвинского района становится либо главным объектом внимания писателя, либо служит изящной «оправой» для рассказов о событиях, происходивших в других краях. Появляется в повести и деревня близ Пашозера Чога, куда Глеб Александрович, вслед за своими деревенскими соседями, перебрался из опустевшего села Нюрговичи. Чога упоминается и в стихотворении «Обретение» (сборник «Возвращение снега»). Часть книги «Слово Лешему» («Луна запуталась в березе», «Возвращение снега», «Почему не прилетели ласточки?» «Ночами мне снится...») вошла в книгу «Звенит озябшая трава».

Произведения обоих авторов являются бесценным источником информации о жизни капшинских вепсов в начале XX века (В. А. Пулькин) и в его конце (Г. А. Горышин). Однако если В. А. Пулькин знает жизнь вепсов изнутри, то у Глеба Александровича это – записки свидетеля событий.

Не обошлось это «летописание» без ошибок: например, «Говорят, старушки сползаются к часовне в бору, неподалеку от Харагинского озера, со всей Вепсчины – на Успенье». Очевидно, что сам автор на Успение в этой часовне не бывал. «Шел в Озровичи через кладбище – одно на всю округу: здесь упокоились корбенические, нюрговические, озровические, харагенические, может быть, и из Долгозера, Нойдалы... Кладбище хорошее, видать, в давнюю пору обнесено каменной кладкой, просто nanoшено камней, грядкой сложено». На самом деле кладбище на Бору довольно «молодое»: появилось после запрета хоронить на Корбеническом погосте. Жителей из д. Нойдала хоронили в Корвале. Насколько точны описания событий, в которых автор непосредственно принимал участие, виденных им пейзажей, знако-

мых ему людей, настолько приблизительно то, о чем знал понаслышке: например, «это Берег, по-вепски Рента». Если «Леший» для Горышина – литературная игра, то для Пулькина сказки, поверья, обряды – естественная и обязательная часть жизни его народа (правда, варианты переводов названий у Василия Андреевича тоже не всегда точны).

Главное, что объединяет описания Капшозерья В. А. Пулькина и Г. А. Горышина, – отсутствие прикрас, и в то же время большая любовь к краю. Прислушаемся же к дивной речи писателей:

«Михаил Яковлевич Цветков мастер на все руки, великий труженик, как все крестьяне-вепсы, но главная его страсть-улада – в лесу, в корбях. Он и сам, как лесная коряжина, маленький, суковатый, и взгляд у него... лесной» [Горышин 1999].

«Поляночка-то эта дяди Васи Чистякова... Ровно сто лет старичок прожил. Да, правду сказать, человеком был очень ладным. Такую длинную жизнь прожил, а худого слова о себе не оставил. Самое его плохое слово было: "Ой, ты бес, ты бес". И это-то слово говорил не зло, даже ежли и сердился. А шутник какой был! Уж не пройдет мимо ни ребенка, ни взрослого, чтобы не пошутить. Но шутки у него были не злобны, а скорее добрые. Есть люди, которые смотрят, как бы укусить шуткой другого человека, а то над его недостатком посмеяться. Этот же пошутит всегда об чем-нибудь постороннем. Другой раз скажет ребенку, который отчего-то плачет: "Смотри-ка, как облачко-то пляшет, а ты плачешь". Или: "Гляди-ко, гляди-ко, как солнышко-то улыбается. Улыбайся и ты". А то больше шутит про себя. Другой раз увидишь его с палкой в руках и скажешь ему шутя: "Что-то сегодня, дядя Вася, не на Вороном, а на суковатке поехал". Он улыбнется и скажет: "Да пускай Вороной сегодня отдохнет". Дядя Вася до девяноста пяти лет проработал в колхозе. И работал только на лошади. "Отберут у меня сивку-бурку – и я умру, – говорил он. – Только благодаря лошади я и держусь на этом свете". Зимой, летом, осенью, весной – всегда на лошади. Только повозку меняет. Утром иножды начинает запрягать лошадь, так подумаешь, что он уснул. Час, а то и дольше возится вокруг нее. У другого человека раз-два и упряжка готова, а дядя Вася запрягать не торопится: пока не проверит всего, не подгонит сбруи по телу, чтобы нигде комар носа не поточил, все вокруг лошади проходит. Чтобы уж ни одна лишняя мусоринка не мешала. Зато никогда с возом в дороге не сживал» [Пулькин 1986].

Свой взгляд у ещё одного писателя, судьба которого волею случая оказалась ненадолго связана с территорией современного Пашозерского сельского поселения Тихвинского района. Его имя не столь широко известно в России, но вепсам он запомнился, в частности, о Василии Павловиче Бетаки (назовем, наконец, его имя) поведал краоведам директор КORBенической школы Николай Александрович Клочев [Клочева 2013].

Итак, Василий Павлович Бетаки (29 сентября 1930, Ростов-на-Дону – 23 марта 2013, Осер), поэт, переводчик, литературный критик.

В 1955–1956 гг. работал в Капшинском районе в КORBенической и/или Пашозерской школах и Шугозерском Доме культуры. Вспоминает об этом в мемуарах «Снова Казанова (Мее...! МУУУ...! А? РРРЫ!!!)»: «Мы с Сашкой перебрались тогда в Ленинградскую область, где я стал работать в средней школе села Пашозеро. От Тихвина, ближайшей железнодорожной станции, до Пашозера было примерно 150 километров (в действительности 100 км – А. Титова). Половину этого расстояния до села Шугозеро, проезжали на автобусе, а вторую половину – кто как может. Машину можно было встретить не чаще раза в неделю на узкой лесной дорожке, раздолбанной трелёвочными тракторами... Второй, относительно близкой к Пашозеру, станцией было Лодейное Поле на севере, но до него было, наверно, все 170 километров. И оттуда уж вообще никакого транспорта – разве что тоже случайная попутка, если дождей нет...»

Описывает свою жизнь в Капшинском районе В. П. Бетаки несколько в минорном ироническом ключе:

«Село стояло на озере – разливе реки Паши, кругом были тетерева и грибы, чуть подалее в лес – медведи на которых я и не умел охотиться и побаивался, а в единственном местном магазине – шпроты, мука, подсолнечное масло и грецкие орехи.

Короче говоря, жить надо было на подножном корме. Молодой учитель ботаники из местных жителей сразу научил меня ставить силки на рябчиков, тетеревов и глухарей. Их приманивали рябиной, которой было вокруг видимо-невидимо. Через несколько дней в Тихвин пришли и два моих чемодана с багажом, отправленные малой скоростью. В одном чемодане, среди прочего хлама, лежало и моё старинное ружьецо. В Пашозере я охотился последний раз в жизни, и там без охоты непонятно было, как кормиться...

Ботаник, белокурый вепс, увалень, по-моему, лет двадцати с хвостиком решил надо мной подшутить. Перед моей поездкой за багажом он подвёл меня к табуну и выбрал мне для поездки лошадку. Я сразу заметил, что она была совсем молоденькая, явно необъезженная, однако, ничего не сказал. Но с лошадкой, понятно, стал обращаться соответственно ее молодости и необъезженности. Первым делом я зашел в избу за сахаром, а уже потом, на глазах у несостоявшегося насмешника, к его немалой досаде довольно быстро привел кобылку, что называется, в христианский вид. Она от природы была достаточно смиренная и не упрямая, так что объездить её не составляло большого труда.

У вепсов не было настоящих кожаных седел, они употребляли грубо вытесанные топором деревянные, не очень надёжные. Такое седло мне и досталось, правда, подпруга была из хорошей кожи.

...Итак, теперь я преподавал литературу в такой «глубинке», о существовании которой раньше не мог и подозревать. Жить здесь было можно, только все же тоскливо».

В заключение скажем, что благодаря произведениям В. Пулькина (своего родного вепса), Г. Горышина (друга вепсов) и В. Бетаки (проработавшего в вепском селе год) перед читателями предстала яркая панорама Капшинского края XX века трёх временных периодов и с трёх разных точек зрения: «своего», «друга» и «чужого», и мы благодарны российской литературе за этот подарок.

Литература

Вильховецкая В. М. Творчество В. А. Пулькина на страницах газеты «Трудовая слава» // Первые Мордвинские краеведческие уездные чтения (30–31 марта 2003 года). Материалы. Тихвин, 2003.

Вильховецкая В. М. Пулькин Василий Андреевич – певец вепского края // XII Мордвинские краеведческие уездные чтения. Материалы. Тихвин, 2015.

Горский А. А. Думы чухаря: Стихи // Наш край. 1918. № 6.

Горышин Г. А. Вепсы // Природа и человек. 1987. № 2. С. 62–66; № 3. С. 64–70.

Горышин Г. А. Виденья: Стихотворения и новеллы / Оформл. Вас. Дроздова. Л., 1990. 48 с.

Горышин Г. А. Возвращение снега: Стихотворения. СПб.: Изд-во писателей «Дума», 1996. 32 с.

Горышин Г. А. Гора и Берег // Ленинградская правда. 1986. № 181; Трудовая слава. 1986. 12 авг.

Горышин Г. А. Гора и Берег: Записки писателя // Звезда. 1987. № 10. С. 75–98.

Горышин Г. А. Гора и Берег: Повести. М.: Современник, 1989. 544 с.

Горышин Г. А. Гора и Берег: главы из повести // Костер. 1996. № 7. С. 26.

Горышин Г. А. Звенит озябшая трава: Проза разных лет / Худож. Э. П. Соловьева. СПб.: Изд-во писателей «Дума», 2005. 320 с.

Горышин Г. А. Как вепсы уперлись // Санкт-Петербургская панорама. 1992. № 9. С. 16–19.

Горышин Г. А. Кто живет на Горе: (письмо из лесу) // Искорка. 1989. № 8.

Горышин Г. А. Письма из лесу // Вокруг света. 1992. № 2. С. 30–33.

Горышин Г. А. Слово Лешему: Рассказ // Север. 1992. № 8. С. 2–51.

Горышин Г. А. Слово Лешему [в сокращ.] // Литературная Россия. 1992. № 30. 24 июля. С. 7–8.

Горышин Г. А. Слово Лешему: Записи очевидца. СПб.: Лит. фонд России, изд. писателей «Дума», 1999. 346 с.

Горышин Г. А. Три рассказа // Аврора. 1997. № 7. С. 21–49. Содерж.: Суханов. Слово Лешему. Постоялец.

Ключева С. А. Корбеническая восьмилетняя... // Девятые Мордвиновские краеведческие уездные чтения (7 апреля 2012 г.). Тихвинская центральная районная библиотека им. И. П. Мордвинова, информационно-краеведческий центр «Нагорное Обонежье».

Пулькин В. А. Азбука детства // Север. 1981. № 11–12.

Пулькин В. А. Азбука детства: Повесть в рассказах. Петрозаводск: Карелия, 1983. 143 с.

Пулькин В. А. Весна 54-го // Трудовая слава. 1974. 12, 13, 15, 19, 20, 22 ноября.

Пулькин В. А. Вепские сказки // Трудовая слава. 1983. № 145 (10 сент.).

Пулькин В. А. Возвращение в сказку. Л.: Детская литература, 1986. 112 с.

Пулькин В. А. Глубокие воды Корбярви. Л.: Лениздат, 1985. 245 с.

Пулькин В. А. На главном направлении. 1975. №№ 87, 88, 91, 92, 93, 95, 98, 101, 102, 104, 106.

Пулькин В. А. Поездка к Носкову // Трудовая слава. 1976. 9, 11, 16 июня.

Пулькин В. А. Сказка про то, как Кузя через солдатчину счастье свое добыл // Трудовая слава. 1983. 17 сентября.

Пулькин В. А. Учитель мой – пастух // Трудовая слава.

Равдоникас В. И. Чухари // Тихвинский край. Тихвин, 1926. С. 242–261.

Тятляшова Анна. В. А. Пулькин: по воспоминаниям родных // Мордвиновские краеведческие уездные чтения, первые (30–31 марта 2003 года) и вторые (20 ноября 2005 года): тезисы докладов / Сост. А. А. Титова. Тихвин, 2006. С. 14–16.

Наталья Валерьевна Чикина

Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,

г. Петрозаводск

К ВОПРОСУ О БИЛИНГВИЗМЕ В ТВОРЧЕСТВЕ П. ПЕРТТУ

Петр Алексеевич Пертту (наст. фам.; псевд. Пекка Пертту, П. Весиперя) (Pekka Perttu; P. Vesiperä (14.10.1917–10.8.1992) родился в деревне Кеунасыярви ныне Калевальского района Карелии. Происходит из знаменитого рода карельских рунопевцев – ладвозерских Перттуненов. Отец и мать – крестьяне. Учебу Пертту начал в местной трудовой школе, продолжил ее в Вокнаволоке, а среднюю школу окончил в Ухте (ныне – п. Калевала). В 1937 г. поступил на организованные в Петрозаводске курсы учителей–карелов и вернулся преподавателем в ухтинскую школу. Во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг. был направлен ответственным секретарем в газету «Голос солдата», а затем продолжил учительствовать.

Когда началась Великая Отечественная война, Пертту вступил в Ухтинский истребительный батальон, а с февраля 1942 г. перешел в партизанский отряд «Красный партизан», проявив себя отважным минером. Был награжден боевыми медалями. Осенью 1943 г. Пертту был ранен и, после излечения, с мая 1944 г. работал в республиканской газете «Totuus». Писал очерки, рассказы, стихи. Литературным дебютом оказался опубликованный в 1946 г. на страницах журнала «Punalipru» (№ 1) рассказ-воспоминание «Пересечение вражеской линии».

По окончании института тринадцать лет работал заведующим отделом прозы журнала «Punalipru» и пять лет – литературным консультантом Союза писателей Карелии. Он уделял большое внимание воспитанию молодых литераторов, пишущих на финском языке, отредактировал четырнадцать книг молодых авторов, многим дал путевку в литературу.

П. Пертту проделал большую работу по литературной обработке карельских сказок разных диалектов и переводу их на финский язык (книга «Голубая важенка», 1969). Он перевел с русского на финский язык многие произведения Д. Гусарова, В. Соловьева и других.

У. Викстрем в конце 1970 года, отчитываясь о работе журнала «Punalipru» за последние пять лет, написал о двенадцати наиболее значимых написанных и опубликованных на финском языке произведений следующее: «Сюда можно отнести произведения: Яккола "На ясные воды", Тимонена "Мы карелы", Пертту "Клад" и «Риико Мартинен", Хуусконена

"Земле нужен хозяин" и "Стальной шквал на перешейке", а также начало романа Степанова "Родичи". Также воспоминания, стихи, поэмы, пьесы появлялись в нашем журнале постоянно» [Vikström 2006: 64]. Именно в 1970 году П. А. Пертту был принят в Союз писателей.

Одной из главных тем творчества П. Пертту является охрана родной природы, ее богатств и красоты. Прозаик – признанный мастер пейзажа, умеющий раскрыть неповторимые оттенки карельской природы. Герои многочисленных книг писателя – это и наши молодые современники, работающие на самых трудных участках, и ветераны, прошедшие жестокие испытания Великой Отечественной войны. Будучи уроженцем песенного края Калевалы, где возникли руны бессмертного народного эпоса, П. Пертту поставил себе цель – пройти мысленно по следу лодки Вяйнямейнена, по местам, где жили и творили представители талантливого рода певцов–сказителей Перттуненов. Так родились очерки-раздумья о карельском народном творчестве «След лодки Вяйнямейнена» (1978). За книги «След лодки Вяйнямейнена» и «Люди на берегу» П. А. Пертту в 1981 году была присуждена Государственная премия Карелии им. А. Перттунена.

Творчество П. Пертту хорошо известно в Финляндии. В 1988 году он был избран иностранным членом научного общества «Калевала» (Хельсинки). Писатель был награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Карелии. Ему было присвоено почетное звание Заслуженного работника культуры Карелии.

В последнем по времени романе «Колокола лжи» (1990) П. Пертту обратился к изображению крестьянской жизни в Карелии, начиная с 1840-х годов.

Прежде всего, учителем Пекки Пертту был его отец из Салменкорва Алексей, выдающийся знаток природы и последователь адаптационной философии. Он учил сына смотреть, видеть и наблюдать. Во многих рассказах Пертту, которые похожи на детские воспоминания, на первый план выходит Отец, первый наставник мальчика. Но хорошие уроки пропали бы даром, если бы ученик не был прилежным слушателем [Perttu 1996: 3–4].

Отец П. Пертту знал толк в юморе, любил шутить и рассказывал услышанные им истории, как будто они произошли с ним. Знал он руны и новые песни. П. Виртаранта писал: «Пекка рассказывал мне, как в детстве читал вслух «Калевалу», а неграмотный отец в некоторых местах останавливал его и делал замечание: «Это неправильно, надо вот так», – иправлял текст или даже дополнял его. Любимой руной отца была «Состязание в пении»...» [Виртаранта 1992: 201].

Салли Лунд, представляя книгу «Глазами природы» в 1974 году написала: «Сначала был Отец. Прирожденный эстет. Мыслитель. Хранитель севернокарельской стихотворной традиции. Потом родился Сын и новое время. Таким образом, Пекка Пертту второе поколение писателей. Продолжатель опыта и взгляда, традиций рода» [Lund 1974].

Не только наследие, но и учеба в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве с 1950 по 1955 г. способствовала раскрытию таланта Пертту, где его главным учителем был известный писатель К. Паустовский, добрые советы которого он вспоминал всю жизнь. М. Мазаев писал: «Пекка Пертту защищает природу искусством слова. Он отвечает на вопрос: почему надо защищать природу и окружающую среду как мыслитель, писатель, художник и делает это блестяще. По мнению Пертту, у природы перво-наперво этическое назначение, природа растит и облагораживает человека» [Mazajev 1974: 106].

Патриарх литературы Карелии Николай Яккола в шутку описывал своего карельского брата-писателя следующим образом: «Если бы в России в 1917 году не случилась революция, сейчас Антти [Тимонен – *Н. В. Ч.*] был бы предпринимателем, Николай [Лайне – *Н. В. Ч.*] – торговцем, Яакко [Ругоев – *Н. В. Ч.*] – большим начальником, я был бы, конечно же, священником, ну а Пекка только пахарем». Пахарем Пекка мог стать в любом случае, но в 1969 году он восстановил дом, в родовом месте, построенный его отцом в Салменкорва и позже разрушенный. После этого Пертту проводил там, на природе каждое лето вплоть до поздней осени [Perttu 1996: 5].

Видимо, тогда родилась у него идея написать о близлежащих деревнях. Сборник рассказов «*Vesiperän rakinoita*» («Лукавинки», 1980) содержал забавные и поучительные исто-

рии из жизни карельского народа. П. Пертту написал их под псевдонимом Весиперя. На титуле книги указано, что произведения написаны на финском языке, но в действительности они написаны на собственно карельском наречии карельского языка.

Первоначально эти рассказы и очерки публиковались в газетах, журнале «Punalipri» и коллективных сборниках. «Однако отобранных для книги рассказов оказалось маловато. Тогда он быстро «наклепал» еще полдюжины новых рассказов» [Виртаранта 1992: 201], – писал П. Виртаранта.

Начинает Пертту эти истории так: «У каждой деревни в нашем крае было прозвище. Как будто оно что-то означало. Например, жителей Ладвозера не называли настоящим именем, им нужно было придумать что-то интересное. Называли «грибные запрудники». В Вокнаволоке также были туппелайсие, пиртилахтинцы – любители печени, ювалакшинцы – хёттия, суднозерцев называли – племена, контокцев – тутуттаят. И так в каждой деревне. Были длинные дымы, смоляные чашки, были кичуо и чуаккуа, вагон киселя и приносящий бурю. Посторонние не могли догадаться, о ком идёт речь» [Perttu 2004: 209]. Далее Пертту рассказывает о том, что значит каждое из прозвищ.

Таким обычаям этнограф У. Конкка дает следующее объяснение: «Известно, как в старину жители одной деревни высмеивали жителей других деревень, наделяли их общим смешным прозвищем, при случае рассказывали определенный анекдот, относящийся к жителям данной деревни. Обычно в этом высмеивании не было ничего враждебного. Люди разных деревень, несмотря на это, общались друг с другом, ездили друг к другу на праздники, рождались и т. д.» [Конкка 1965: 133].

И действительно, Пертту пишет: «Если видели, что человек сердится, думали что: «Обижайся сколько угодно» [Perttu 2004: 210]. Подобного рода рассказы только о киндасовских мужиках писал П. Лукин, а в настоящее время продолжает эту традицию сатирических «анекдотов» о жителях отставшей деревни, исторически сложившуюся между селами Киндасово и Пряжа, П. Семенов в серии рассказов «Kindahilazet» («Киндасовцы»).

Рассказы полны живым юмором. В них просматривается доброжелательное отношение авторов к персонажам и их приключениям. Стилистика повествования сродни стилистике документального фильма, имитирующего репортажи с места события.

В XXI веке северные карелы вновь вспомнили о Пертту. Его рассказы стали активно редактироваться, приводиться к современным языковым нормам, т. к. в 1980 году еще не было письменного карельского языка, и Пертту, как и Брендоев, писал свои рассказы и повести на таком письменном языке, каким его видел.

Толчком к изданию Пертту на карельском языке послужила публикация нескольких его рассказов в книге «След лодки Вяйнямейнена» в 2004 году в серии «Классики карельской литературы», издаваемой фондом «Юминкеко» (Финляндия). В 2014 году рассказы из сборника «Лукавинки» вошли в сборник «Vienan tuynet ta tuulet» («Ветры земли калевальской»).

В советское время произведения П. Пертту на карельском языке остались как-то в тени. Видимо, одной из причин послужило то, что в тот период его финноязычное творчество затмило карелоязычное. В XXI веке литература на ливвиковском наречии развивается активнее, чем на собственно карельском. Основной причиной нам видится схожесть финского и карельского языков и тесные многовековые отношения финнов с северными карелами, что, безусловно, не могло не сказаться на национальном самосознании.

В указанном контексте хочется привести пример из очерка К. Гнетнева «Тень Сталина». В части под названием «Аура границы» приведен пример взаимоотношений жителей пограничных деревень Карелии друг с другом: «Тут деревенские встрепенулись: «Как?! К этим карелам в Погранкондуши?! Ни за что!» Управляющий сельской администрацией Сергей Ковалев объяснил: до сих пор в Манссиле считают себя «финнами», а соседей в Погранкондушах «этими карелами». Давнее и ничем неистребимое настроение...» [Гнетнев 2014: 71].

Побасенки Весиперя написаны на вокнаволокомском говоре карельского языка. Сам же Пертту был твердо убежден, «что в художественной литературе его применение целесообразно только в тех случаях, если диалектные обороты окажутся в нужных местах и если они

характеризуют говорящего» [Виртаранта 1992: 201]. Поэтому для своих классических произведений он выбрал финский язык.

Поэт Рейё Такала, воспевавший в своих стихах Калевальскую землю, посвятил Пекке Пертту два стихотворения: «Köynäsjärvi. Salmenkorva» («Кёюнясьярви. Салменкорва») и «Kultalintu, oletko vai et...» («Золотая птица, есть ты или нет...»).

В качестве посредника у северных карелов в развитии литературы на собственно карельском наречии можно назвать Пекку Пертту, который вошел в литературу Карелии как финноязычный писатель вместе со своими земляками: А. Тимоненым, Н. Лайне, Я. Ругоевым.

Литература

Виртаранта П. Этюды о карельской культуре: люди и судьбы. Петрозаводск, 1992.

Гнетнев К. Там, где начинаются реки. По Карелии: очерки. Петрозаводск, 2014.

Конкка У. С. Карельская сатирическая сказка. М.; Л., 1965.

Lund S. Lahja lukijan käteen // Neuvosto-Karjala. 1974. 19. toukok.

Mazajev M. Luonto lähikuvassa // Punalippu. 1974. N 4.

Perttu P. Etsin Kultaista Kuurnaa. Petroskoi, 1996.

Perttu P. Väinämöisen venehen jälki: essee ja kertomuksia. Petroskoi, 2004.

Vikström U. Viikkojen varrelta // Carelia. 2006. N 10.

Наталья Валерьевна Чикина

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

Т. А. КОСКИ – МУЗЫКОВЕД И СОБИРАТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРА

Тертту Арвовна Коски (1924–1990) родилась в Хельсинки. В 1932 году переехала с родителями в Петрозаводск. В 1946 году окончила теоретическое отделение Петрозаводского музыкального училища и с 1947 по 1955 год работала в ансамбле «Кантеле», затем около десяти лет – в Республиканском доме народного творчества. С 1964 по 1984 год работала музыковедом в Институте языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР (ныне Карельский научный центр РАН).

Являясь единственным специалистом по народной музыке, она занималась расшифровкой полевых магнитофонных записей, сделанных фольклористами Института. Для книги «Карельские причитания» ею были переложены на ноты напевы карельских плачей. Т. А. Коски принимала участие в сборе и обработке русских народных песен для сборника «Русские народные песни Карельского Поморья», снабдила их нотными расшифровками. Подготовила ноты свадебных песен для сборника «Русская свадьба Карельского Поморья».

Т. А. Коски внесла значительный вклад в изучение устной поэзии народов Карелии. В сборнике «Карельские частушки» ею был выполнен не только музыковедческий, но и текстовый раздел, включающий переводы частушек на русский язык. Эта книга до настоящего времени остается единственным научным сборником по указанной теме. К сожалению, исследования по данной проблематике в Институте не ведутся, хотя в Фонограммархиве учреждения хранится большое количество фольклорного материала, и продолжается деятельность по сбору устного народного творчества народов Карелии.

Библиография Т. А. Коски

Коски Т. А. О некоторых особенностях народных песен Карельского Поморья и о местных певческих коллективах // Научная конференция по итогам работ за 1965 г. Май, 1966 г. Секция языкознания, секция лит. и нар. творчества: тез. докл. – Петрозаводск, 1966. – С. 66–68.

Разумова А. П. Русские народные песни Карельского Поморья / А. П. Разумова, Т. А. Коски, А. А. Митрофанова; ред. Н. П. Колпакова, муз. ред. Ю. М. Зарицкий. – Л.: Наука, 1971. – 452 с.: нот. Рец.: Лапин В. А. // Совет. этнография. – 1973. – № 6. – С. 173–176; Краснопольская Т. Песни Северного Поморья // Север. – 1972. – № 7. – С. 125–128; Лойтер С. Народная поэзия Севера // Лен. правда. – 1972. – 17 февр.; Kiuru E. Vienanmeren rannikon venäläisiä kansanlauluja // Neuvosto-Karjala. – 1971. – 29. lokak.

Народные песни Ингерманландии / Изд. подгот. Э. Киуру, Т. Коски, Э. Кюльмясу. – Л.: Наука, 1974. – 516 с.: нот. Рец.: Лавонен Н. А. // Совет. этнография. – 1976. – № 6. – С. 156–157.

Карельские причитания / Изд. подгот. А. С. Степанова, Т. А. Коски; Науч. ред. У. С. Конкка; Предисл. А. Степановой; Ред. по южно-карел. текстам В. Д. Рягоев; Муз. ред. И. И. Земцовский. – Петрозаводск: Карелия, 1976. – 534 с.: ил., нот. – Текст парал.: карел., рус. Рец.: Рюйтель И. Н., Чистов К. В. // Совет. этнография. – 1978. – № 5. – С. 178–181; Киуру Э. // Север. – 1978. – № 10. – С. 120–122; Киуру Э. С. Жемчужины народной лирики // Лен. правда. – 1977. – 2 февр.; Кузнецова В. Народный жанр // Комсомолец. – 1977. – 1 февр.; Krasnopol'skaja T. Karjalaisia itkuvirsiä // Neuvosto-Karjala. – 1977. – 8. huhtik.

Коски Т. А. Карельский музыкальный фольклор // Soome-ugri rahvaste muusikarändist. – Tallinn: Eesti raamat, 1977. – S. 505.

Коски Т. А. Напевы свадебных причитаний Карельского Поморья / Т. А. Коски; А. П. Разумова // Проблемы изучения музыкального фольклора русского и финно-угорских народов Карелии и земель Северо-Запада: тез. докл. конф. Петрозаводск, 10–13 апр. – М., 1977. – С. 26–27.

Степанова А. С. Карельские ёйги / А. С. Степанова, Т. А. Коски // Soome-ugri rahvaste muusikarändist. – Tallinn: Eesti raamat, 1977. – Lk. 307–322.

Русская свадьба Карельского Поморья: (в селах Колежме и Ньюхче) [Тексты и ноты / Изд. подгот. А. П. Разумова, Т. А. Коски]. – Петрозаводск: Карелия, 1980. – 222 с., ил., нот., 4 л. ил.

Карельские частушки / Сост. Т. Коски. – Петрозаводск: Карелия, 1985. – 127 с.

* * *

Виртаранта П. Этюды о карельской культуре: Люди и судьбы. – Петрозаводск: Карелия, 1992. – 287 с., ил. – Из содерж.: Тертту Коски. – С. 147–148.

Учёные Карельского научного центра Российской Академии наук: Биограф. слов. / Ред. кол.: И. М. Нестеренко (отв. ред.) и др. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1996. – 132 с. – О Коски Т. А.: с. 101.

Учёные Карельского научного центра Российской Академии наук: Биограф. слов. / Ред. кол.: И. М. Нестеренко (отв. ред.) и др. – 2-е изд., доп. и перераб. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1999. – 305 с. – О Коски Т. А.: с. 267.

Учёные Карельского научного центра Российской Академии наук: Биограф. слов. / гл. ред. А. Ф. Титов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2012. – 419 с. – О Коски Т. А.: с. 369.

Экспедиции Т. А. Коски

Год	Место записи	С кем записано	№ касс.
1959	с. Ведлозеро	С Кондратьевой С.Н.	58, 59
1964	Поморье: Шуерецкое, Черная Река	С Разумовой А.П.	448–452, 390–400
1967	Онькулица, Юргилица, Судалица, Ильинское, Тулокса, Петрозаводск, Тукса, Мегрега	С Митрофановой	885, 884, 883, 886
1968	Криворучье, Поги, Глинки, Кингисепск. р-на, Краполье, Мишино, Дубки, Ротка	С Э.С. Киуру, Кюльмясу	1465, 1467, 1477

1969	Пудож, Колодозеро, Сашино	С Разумовой А.П.	1424, 25, 26, 45–46
1970	Поморье: Шижня, Нюхча, Беломорск	С Лавонен Н.А., Разумовой А.П.	1481–87
1971	Сумпосад, Колежма	С Русаковой Е.И., Сенькиной Т.И., Разумовой А.П.	1606
1972	Нюхча	С Разумовой А.П.	1665–1671
1973	Пога, Куганаволок, Кевасалма, Бостилова	С Разумовой А.П., Гин Е.М., Русаковой Е.И.	1929–1951
1977	Кестеньга Лоухский р-н	С Лавонен Н.А.	2505–2510–2516
1979	Софпоры, Тунгозеро Лоухский р-н	С Лавонен Н.А., Трофимчик З.М.	2545–2555

Таблицу составила В. П. Кузнецова

НОВАЯ ЛЕКСИКА В СЛОВАРЯХ НОВОПИСЬМЕННОГО КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА И ЕЕ АДАПТАЦИЯ

На протяжении многих десятилетий карельский язык функционировал только в домашне-бытовой сфере общения, и, естественно, шло развитие тех групп лексики, которые отражали хозяйственный уклад жизни карел, а такие пласты лексики, как научная, техническая, общественно-политическая, урбанистическая и другие, оставались в стороне. Современные реалии обусловили появление новых лексических пластов. Появилась необходимость в нормировании карельского языка, в пополнении его лексического состава. С августа 1999 г. при Главе Республики Карелия в составе Государственного комитета РК по национальной политике начала работать на постоянной основе Республиканская терминологическая комиссия, в которую вошли учителя, журналисты, учёные, карельская интеллигенция. Задачей комиссии явилось упорядочение и пополнение словарного арсенала карельского и вепсского языков, совершенствование орфографических и орфоэпических правил этих языков, образование новой политической, экономической и другой тематической лексики на карельском и вепсском языках с целью её введения в повседневную жизнь.

Благодаря хорошо развитой словообразовательной системе и широким выразительным возможностям карельского языка, результатом работы комиссии стали бюллетени по новейшей лексике и терминологии. Всего было создано и издано четыре бюллетеня новейшей лексики и терминологии: «Lingvistiekkuterminät» [2000], «Školasanasto» [2000], «Yhteiskunnallis-poliittine sanasto» I–II [2003], «Fauna- da florasanasto» [2005], которые поставили карельский язык на совершенно новую ступень развития. В последние годы комиссия работает на общественной основе и является совещательным органом по вопросам терминологии, орфографии, топонимии карельского и вепсского языков, распространённых на территории Республики Карелия.

Как известно, при номинации новых реалий в языке обычно используются как собственные лексические и морфологические средства, так и заимствованные из близкородственных и других языков. В языкознании выделяется несколько способов образования новых слов. Наиболее распространённым является морфологический способ, включающий в себя суффиксальное словообразование и словосложение. Лексико-семантический способ образования новых слов представляет собой изменение семантики слова. К морфологическому способу относят случаи перехода слов в разряд других частей речи.

В новописьменном карельском языке при номинации нового понятия самым распространённым является морфологический способ словообразования [Ковалёва, Родионова 2011: 40]. Наиболее активно используется суффиксальное словообразование. Значительную часть новейшего словарного состава составляют именные части речи – имена существительные и имена прилагательные, образованные как от имён, так и от глаголов.

Карельский язык обладает чрезвычайно богатой суффиксальной системой, большинство продуктивных суффиксов, с помощью которых образуются производные слова, находится в активном употреблении и хорошо понимается носителями языка.

При составлении новейшей лексики и терминологии наиболее продуктивными стали суффиксы, образующие слова абстрактного и обобщённого значения, в которых язык остро нуждался в связи с расширением его функций, например, суффиксы **-us**, **-ys**; **-hus**, **-hys**; **-vus**, **-vys**: **poikkevus** ‘исключение’ < poiketa ‘отклониться’; **tiettävys** ‘известность’, ‘популярность’ < tiettävy ‘известный’, ‘популярный’; **viärendys** ‘подлог’; ‘фальсификация’ < viärendiä ‘подделы-

вать', 'фальсифицировать'; **vellalližus** 'обязанность' < vellalline 'обязанный'; **väritys** 'колорит' < väri 'цвет'; **yhtymys** 'объединение', 'ассоциация', 'союз' < yhtyö 'объединяться'.

В новообразованиях коллективного значения активно используются широко известные суффиксы **-kko**, **-kkö**; **-ikko**, **-ikkö**; **-likko**, **-likkö**, например: **kuuzikko** 'ельник' < kuuzi 'ель'; **lomeikko** 'бурелом', 'валежник' < lomu 'хлам'; **marjužikko** 'ягодник' < marju 'ягода'.

Школьная лексика карельского языка активно пополнилась новообразованиями с такими суффиксами: **päivikkö** 'дневник' < päivä 'день'; **kirjaimikko** 'алфавит' < kirju 'буква', **kuvvikko** 'куб' < kuuzi 'шесть', **viizikulmikko** 'пятиугольник' < kulmu 'угол'.

Также эти словообразовательные суффиксы могут придавать новым словам вполне конкретное значение, например: **urhakko** 'лихач' < urhu 'лихой'.

Очень продуктивным при создании новых отымённых существительных со значением рода занятий, специальности, профессии оказался суффикс **-niekku**, например: **neroniekku** 'виртуоз' < nero 'мастерство, умение'; **ozaniekku** 'участник' < oza 'часть, доля'; **virguniekku** 'служащий' < virgu 'должность; служба'; **vuittiniekku** 'акционер' < vuitti 'часть, доля'.

Весьма часто используется в настоящее время при образовании новых слов в ливвиковском наречии суффикс **-sto**, который придаёт им значение коллективности: **pertistö** 'апартаменты' < perti 'комната'; **vehkehistö** 'оборудование' < vehkeh 'вещь, предмет'. Этот суффикс используется для образования лексики, касающейся названий правительственных учреждений, например: **linnan|haldivosto** 'городской муниципалитет'; **kylän|haldivosto** 'сельский муниципалитет'. Вся эта новейшая лексика нашла отражение в словарях новописьменного карельского языка.

В новописьменном карельском языке также не менее продуктивными оказались и суффиксы **-u** (**-y**) и **-us** (**-ys**), образующие имена от глаголов и обозначающие действие или его результат. В лексикон ливвиковского наречия новописьменного карельского языка вошли следующие слова: **kuhkutus** 'агитация' < kuhkuttua 'агитировать', **luvettelu** 'перечень' < luvetella 'перечислять', **nägy** 'зрелище' < nähtä 'видеть', **ozuttelu** 'выставка' < ozuttua 'показывать', **tiijustelu** 'допрос' < tiijustella 'узнавать', **valličus** 'баллотирование' < vallita 'выбирать'.

Наряду с суффиксацией используется словосложение, при котором части слов могут включать в себя элементы как исконного, так и заимствованного происхождения. Новые сложные слова относятся преимущественно к разряду имён существительных. В зависимости от происхождения составных частей сложные слова могут представлять собой *сложение*

двух (или более) исконных слов:

eloksen|suvaiččii 'жизнелюбивый', **hyvyön|eččimätöi** 'бескорыстный', **ičen|vuardai** 'аскет', **kiistu|mielen|vaihto** 'дискуссия'; **piä|miäry** 'кворум', **tavvin|tuuju** 'болезнетворный', **väli|myöjy** 'дистрибьютер' (новообразований данного типа больше всего);

исконного слова и заимствованного: **kyzely|listu** 'анкета', **väli|sud'd'u** 'арбитр', **jalgu|miäččy** 'футбол'. В большинстве новых слов этого типа второй компонент заимствован из русского языка, но в некоторых сложных словах второй компонент может быть заимствован из финского языка, например: **heikko|luondehelline** 'бесхарактерный'; **laihin|merkit** 'кавычки', **tiedo|koneh** 'компьютер', **vedo|laivu** 'буксир';

двух и более заимствованных слов: **zakonoin|luadii** 'законодатель', **kul'tuuru|keskus** 'культурный центр', **bumuagu|dengu** 'ассигнация'. Это немногочисленная группа слов, которые можно квалифицировать как прямые заимствования из русского или финского языка.

С помощью лексико-семантического способа словообразования расширяется значение слова. В карельском языке семантическими неологизмами стали имена существительные, например: **este** 'барьер' (старое значение 'препятствие'), **kuhkuttai** 'агитатор' (первоначальное значение 'подстрекатель'), **käskyläine** 'курьер' (старое значение 'прислуга'), **ozattomus** 'авария' (первоначальное значение 'несчастье'), **piätös** 'вердикт' (первоначальное значение 'решение'), **pilku** 'запятая' (первоначальное значение 'пятнышко, зарубка'), **sobu** 'консенсус' (первоначальное значение 'мир, лад'), **tuhmus** 'бескультурие' (старое значение 'простота, глупость'), **vainu** 'инстинкт' (старое значение 'нюх').

У имен прилагательных также произошло расширение семантики: **hieno** ‘изысканный’ (первоначальное значение ‘тонкий’), **jrky** ‘категоричный’ (первое значение ‘крутой, решительный’), **kipakko** ‘импульсивный’ (старое значение ‘злой, вспыльчивый’), **mavutoi** ‘банальный’ (первоначальное значение ‘безвкусный’), **tolkutoi** ‘нерациональный’ (первоначальное значение ‘бестолковый’), **vägevy** ‘концентрированный’ (старое значение ‘сильный, крепкий’).

Процесс расширения семантики коснулся и некоторых глаголов, например: **hävittiä** ‘аннулировать’ (прежнее значение ‘истреблять, уничтожать’), **karkottua** ‘депортировать’ (первое значение ‘выгонять’), **kzellä** ‘анкетировать’ (первое значение ‘спрашивать’), **muannittua** ‘искушать’ (старое значение ‘заманивать’), **sellittiä** ‘интерпретировать’ (старое значение ‘выяснять, разбирать’), **tarkastua** ‘инспектировать’ (первое значение ‘проверять’).

Словарный запас карельского языка пополняется и путём заимствования из других языков. Языками-донорами стали русский язык как наиболее развитый и соседствующий идиом и близкородственный финский язык. Очень часто через русский язык заимствуется интернациональная лексика. В бюллетенях республиканской терминологической комиссии из всего состава общественно-политической лексики на ливвиковском наречии более 40 % составляют интернационализмы, например: **aspektu**, **aspirantu**, **biljardu**, **dokumentu**, **indeksu**, **projektu**, **seminuaru**, **žurnualu** и т. д. Все эти интернационализмы в карельском языке приобрели конечную огласовку, характерную для ливвиковского наречия.

Употребляются заимствования из близкородственного финского языка: **ilmoitus** ‘объявление’, **ystävys** ‘дружба’, **paino||merki** ‘знак ударения’, **luondo** ‘природа’, **tiedo||koneh** ‘компьютер’ и т. д. Особенностью употребления заимствований становится тот факт, что во многих случаях рядом с интернационализмом параллельно даётся и термин, созданный из собственных элементов карельского языка, например: **ičenvuardai**, **askiettu** ‘аскет’; **mielita-zo**, **intelektu** ‘интеллект’; **ristikanzantiedo**, **antropolougii** ‘антропология’; **šeikkailuhimo**, **avant’urizmu** ‘авантюризм’; **tartumu**, **infekcii** ‘инфекция’; **vägevy**, **intensiivine** ‘интенсивный’; **ystävys**, **sobu** ‘дружба’. При семантическом освоении заимствованные слова могут полностью сохранить своё прежнее значение, расширить его, частично или полностью переосмыслиться.

Нужно сказать, что слова, созданные путём заимствования, полного или частичного калькирования, не всегда становятся понятными носителям языка, например: **maha||laukku** ‘желудок’; **sävelmy** ‘мелодия’; **säveldäi** ‘композитор’.

Об удачном способе номинации свидетельствует уже достаточно устоявшееся в карельском языке слово **čöke** ‘точка’, образованное от глагола **čökätä** ‘сунуть’. У носителей языка вызвало вопросы новое понятие **šorpikku** ‘вилка’, образованное по финской модели **haarukka** ‘вилка’.

Важно отметить, что при возрождении и развитии языка происходит также довольно активный процесс перехода забытых или полузабытых слов в разряд активной лексики, например: **aineh** ‘вещество’, **ehto** ‘условие’, **indo** ‘вдохновение’ и т. д.

Одним из способов создания новых терминов является также терминологизация, т. е. перевод общеупотребительного слова в термин, например, **piinavo** ‘терроризм’, **tozi** ‘реализм’, **uvvistus** ‘инновация’. В терминологическом значении лексема **virkeh** употребляется сейчас в значении ‘предложение’, при этом в иных случаях сохраняет своё прежнее значение ‘слова (мн. число), укор’.

Морфолого-синтаксический способ словообразования не стал широкоупотребительным в новописьменном языке. В новообразованиях причастия употребляются в качестве имён существительных и прилагательных: **kirjuttai** ‘автор’, **keskelekavonnuh** ‘растерянный’, **luadii** ‘автор’, **puolistai** ‘адвокат’; **vuogruaju** ‘арендатор’, **vallittu** ‘избранный’ [Зайков 1999: 113].

В «Большом русско-карельском словаре» для закрепления норм правописания на карельском языке приводятся наименования отдельных языков, стран и жителей стран, которые чаще всего встречаются в окружающей нас повседневной жизни. Для большинства из

наименований жителей стран в словаре дано два варианта, например: **amierikkalaine** и **amerikansu** ‘американец, американка’; **anglielaine** и **angličuanu** ‘англичанин, англичанка’; **germuanielaine** и **nemsu** ‘немец, немка’. В «Большом карельско-русском словаре» дан один вариант наименований жителей стран по устоявшейся модели на **-laine**: **amierikkalaine**, **anglielaine**, **germuanielaine** и т. п.

Пресса, радио и телевидение активно употребляли и употребляют новейшую лексику, чтобы донести её до читателей и слушателей. Газета «Oma tuu» на протяжении долгого времени публиковала списки новых слов с переводом на русский язык, которые могли вызвать трудность в понимании у читателей.

Таким образом, лексический тезаурус карельского языка пополняется различными способами, чтобы соответствовать новому времени и отражать новейшие реалии окружающей жизни. Можно утверждать, что словообразовательные средства карельского языка позволяют продуцировать новые слова бесконечно. В изданном в 2011 г. «Большом русско-карельском словаре» и завершённом в авторском варианте «Большом карельско-русском словаре» новообразования составляют не менее трети. Но целью создания новой лексики является не только пополнение словарного состава, но и то, чтобы эта новейшая лексика была понятна, и язык мог функционировать в разных стилях. Важно почувствовать ту грань, устанавливающую предел образования новых слов в определенный период, которая позволила бы языку оставаться общеупотребительным и узнаваемым.

Литература и источники

Бойко Т. П., Маркианова Л. Ф. Большой русско-карельский словарь. Петрозаводск, 2011. 400 с.

Лексика по фауне и флоре: (ливвиковское наречие карельского языка). Республ. термино-орфогр. комисс., бюл. № 10. Петрозаводск, 2005. 63 с.

Лингвистическая терминология. Респ. термино-орфогр. комис. бюл. № 1 = *Lingvistiekkuterminat: bylleteni № 1*. Петрозаводск, 2000. 31 с.

Макаров Г. Н. Словарь карельского языка. Петрозаводск, 1990. 495 с.

Маркианова Л. Ф. Глагольное словообразование в карельском языке. Петрозаводск, 1985. 193 с.

Маркианова Л. Пути развития лексической системы карельского языка / Л. Маркианова // Вопросы терминологии в финно-угорских языках Российской Федерации. Szombathely, 2003. С. 63–74.

Маркианова Л. Ф., Бойко Т. П. Карельско-русский словарь. Петрозаводск, 1996. 222 с.

Общественно-политическая лексика: А–О (ливвиковское наречие карельского языка) = *Yhteiskunnallis-poliitiekalline sanasto: A–O: (livvin murreh)*. Респ. термино-орфогр. комис. Петрозаводск, 2003. 132 с.

Общественно-политическая лексика: А–О (ливвиковское наречие карельского языка) = *Yhteiskunnallis-poliitiekalline sanasto: A–O: (livvin murreh)*. Респ. термино-орфогр. комис. Петрозаводск, 2003. 132 с.

Школьная лексика. Респ. термино-орфогр. комис., бюл. № 2: (ливвиковское наречие карельского языка) = *Školasanasto: bylleteni № 2: (livvin murreh)*. Петрозаводск, 2000. 53 с.

Петр Мефодьевич Зайков

Университет Восточной Финляндии,

г. Йоэнсуу, Финляндия,

Петрозаводский государственный университет,

г. Петрозаводск

СИМПАТЕТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Влияние синтаксической структуры русского языка на прибалтийско-финские является довольно значительным и требует внимательного исследования. Оно проявляется, в част-

ности, в употреблении так называемых симпатетических конструкций в диалектах карельского языка.

А. Генетц в своем дескриптивном исследовании по ливвиковскому наречию впервые отмечает необычное, с позиции финского языка, употребление внешнеместных падежей вместо посессивного генитива [Genetz 1885: 190].

Позже А. Оярви в монографии «О значении падежей в говоре Маасельга» также указывает на употребление форм адессива-аллатива вместо генитива в таких случаях как: *Meillä hebone ramboau* ‘у нас лошадь хромает’. *Veneh heilä d’äi koškiloin alipuolee* ‘у них лодка осталась под порогами’. *Kivistä äijäldi miula hambahii* ‘у меня сильно болели зубы’ [Ojajärvi 1950: 100–103].

Подобные конструкции, в которых адессивно-аллативные формы употребляются вместо атрибутивного генитива, функционируют в настоящее время во всех диалектах карельского языка.

Собственно-карельское наречие:

Meilä eklein koira česni ‘у нас вчера собака сдохла’. *Heilä pereheššä oli 7 tyttö ta 3 poikua* ‘у них в семье было 7 девочек и 3 мальчика’. *Yksi hammaš miula šuušta läksi* (Оуланга, НКК I, 35) ‘один зуб у меня выпал’. *Hiän miulani läsiyty* (Кестеньга, НКК I, 43) ‘он у меня заболел’. *Meilä otettih poika armijah ennenin šotua* (Калевала) ‘у нас сына до войны призвали в армию’. *Koirad meil lähettih mugah* (Пугозеро, НКК I, 162) ‘собаки у нас пошли с нами’. *Meilä ka Karjalašša šanotah kaikkie nuodivokši* (Пугозеро, НКК I, 164) ‘у нас в Карелии все (костры) называют нодьями’. *A kaloo meil’l’ oli kaikel aigoo* (Паданы, НКК I, 170) ‘а рыба у нас всегда была’. *A meil oldii melličat* (Тухвин, НКК I, 191) ‘а у нас были мельницы’. *A že poiga hänel’l’ on ammuin jo kuollun* (Тухвин, ОКР, 1980, 31) ‘а тот сын у нее давно умер’.

Приладожские диалекты:

Meil oli lapset sie, loitton (Суоярви) ‘у нас дети были там далеко’. *Tyttö kadoi meile, myö vai itkun ker ečimmö* ‘у нас дочь потерялась, мы с плачем искали’.

Ja nuotat ol’ham meilä isotki (Корбисельга) ‘и мережи у нас были большие’. *Va hetti miula lukot rampsahiti* ‘у меня только замки щелкнули’.

Miul lehmil ainos kellot kaglas (Импилахми) ‘у меня у коров всегда на шее были колокольчики’. *Heil’ ol’i se tua yhtiän* (Импилахми) ‘у них была общая земля’.

No mityäs sittä ol’ minulla männessä tai eläissä (Иломантси) ‘ну какая там жизнь у меня была, когда я уезжала да жила там’. *Ka ne ol’ hyvät villat heilä nimeltää saksikkovillat* (Иломантси) ‘но у них (у овец) хорошая была шерсть, шерсть для стрижки называлась’.

Yhen hevozen sain myyvä a toine jäi myömättä minullen (Салми) ‘одну лошадь я продал, а вторая осталась у меня не проданной’. *Ja heile tagavarikottih kai jauhot ne* (Салми) ‘и у них всю муку забрали’. *Kaloo siel oli meile kovah* (Салми) ‘рыбы у нас было много’.

Ливвиковское наречие:

A minul yksikai poigu kazvoi ku sokol (ОКР 1969, 55) ‘а у меня все равно сын, как сокол вырос’. *Meil oldih jäl’l’es voimia yl’en jygiat aijat* (ОКР 1969, 49) ‘у нас после войны были очень трудные времена’. *Nu yksi slučai meil oli vel’l’en kele vahnemban* (ОКР 1969, 141) ‘Ну один случай у нас со старшим братом был’. *Hänelleh taattah ihastui* ‘отец у него обрадовался’.

Людиковское наречие:

Meil babuška oli ylen čistoplotnii (ЛТ II, 33) ‘а у нас бабушка была очень чистоplotная’. *Millai vie baba oli hengis* (ЛТ II, 136) ‘у меня ещё бабушка была жива’. *Millai koir oli ambuttu* ‘у меня собака была застрелена’.

Относительно подобных дативных конструкций Вильгельм Хаверс употребляет латинский термин *dativus sympatheticus*. Впоследствии их стали называть «симпатетическими конструкциями» в силу того, что они включают в себя эмпатическое, нежное, интимное, позитивное и дружеское значение [Havers 1911].

В русском языке в симпатетических конструкциях употребляются три падежных формы: у + родительный падеж, у + дательный падеж, к + дательный падеж, из которых наиболее употребительным является первый [Гарде 1985: 181–196]. В. Торпакко подсчитал,

что в девяти случаях из десяти употребляется структура *y + родительный падеж*, типа «Рука у нее не дрогнет. У мамы было три сына» [Torpakko 1992: 71].

П. Гарде подробно проанализировал в русском языке употребление конструкции «предлог *y* + имя в родительном падеже» в атрибутивной функции. Он пришел к выводу, что в данном случае не подчеркивается отношение принадлежности, а лишь идет косвенное указание на нее с помощью семантического субъекта. В сравнении с симпатетической, генитивная конструкция является нейтральной, лишенной каких-либо эмпатических эмоций. Так, сравним два предложения: 1) Наш отец погиб на войне; 2) У нас отец погиб на войне. В первом случае информация является нейтральной, в которой сообщается факт гибели отца. Во втором же, в информацию привносится дополнительный оттенок эмпатии, сочувствия, желания продолжить разговор. Симпатетическая конструкция состоит из двух существительных и глагола, который чаще всего является непереходным. Существительное или местоимение указывает, как правило, на человека или животное. В конструкции второе существительное или прилагательное не всегда является семантически свободным. В отдельных случаях симпатетические конструкции *y + родительный падеж* приобретают значение идиоматических выражений и не могут быть замещены конструкциями *мой, моя, моё + существительное*. Так, говорят: «У меня болит голова (нога, рука)». Эти предложения нельзя заменить выражениями «*моя голова (нога, рука) болит» [Savijärvi 1994: 234].

Р. Пюёли отмечает, что в ливвиковском наречии карельского языка обнаруживаются три группы симпатетических конструкций.

Одна из них, наиболее крупная, связана родственными отношениями: *Sie on hänel hronittu sizar* ‘там у нее похоронена сестра’. *Yksi poigu on minul naižiz vai* ‘один сын у меня только женат’. *Rodit’el’ad meil, toine toiženkel paištah karjalan kieleh* ‘родители у нас друг с другом по-карельски говорят’. *Tuatto paralizoovannoi oli meile* ‘отец парализованный был у нас’.

Вторая тематическая группа соотносится с болезнями, в которых словосочетания во многом являются жестко связанными: *Minul jallat kivistäy* ‘у меня ноги болят’. *Häi boleznennoi on minul tyttö* ‘она у меня болезненная дочь’.

Третья группа конструкций связана с окружающей средой (с домом, родной деревней и трудовой деятельностью): *Vot sid moized meil dielod oldih* ‘вот такие у нас дела были’. *Khuasal minul oli seičče hengie* ‘в классе у меня было семь человек’. *Kirikko meil oli ylen hyvä* ‘церковь у нас хорошая была’. *Meile otpuskaz on ristikanzu* ‘у нас работник в отпуске’.

Во всех трех тематических группах используется местоимение 1. лица единственного и множественного числа [Pyöli 1996: 265–270].

Л. Кеттунен в свое время отмечал, что подобное употребление форм адессива в вепском языке общеизвестно и возникло под влиянием русского языка. Эти конструкции особенно употребительны, когда речь идет о психическом или физическом состоянии человека или животного, о родственных отношениях или вообще об отношениях между людьми: *Akai mužik iile kodiš* ‘у женщины муж не дома’. *Rindhat kibištah mužikal* ‘у мужика в груди колет’ [Kettunen 1943: 331, 146].

М. Савиярви также полагает, что в карельском и вепском языках употребление адессивно-аллативных форм вместо атрибутивного генитива возникло под влиянием русского языка [Savijärvi 1994: 231–238]. В упомянутых выше случаях личное местоимение выступает, как правило, в форме адессива. Однако, имеются случаи, когда наряду с ним употребляются формы аблатива: *hebozelda ku kibeydy kieli, a lehmäldä ku kieli kibeydyu* (Мяндусельга, ККН III, 7) ‘у лошади заболел язык, у коровы язык заболит’. *Kuoli hänelldä muččo* (Тихвин, ОКР 1980, 77) ‘у него жена умерла’.

В вепском языке, ливвиковском и людиковском наречиях адессив совпал с аблативом (окончание – *l*), поэтому иногда нельзя с уверенностью сказать, адессив или аблатив имеется в виду, например *Minul otetih poijan armijah* ‘у меня сына забрали в армию’ [Savijärvi 1994: 236].

М. Савиярви отмечает также, что симпатетические конструкции активно употребляются в севернорусских говорах (например У мн’я сумья небольшая), под влиянием которых

они могли перейти в прибалтийско-финские языки [Savijärvi 1994]. Материалы словаря С. А. Мызникова также указывают на это: *Был у нас тогда Рыбкон* (Княжая Губа) [Мызников 2010: 29]. *У нас такой был деда, он сам делал хорошие бочки* (Кочкомозеро) [Мызников 2010: 29]. *Озеро большое у нас* (Нюхчезеро) [Мызников 2010: 33]. *Батько у мя, это, мерёжи ставил, така берёзова для налимов* [Мызников 2010: 15].

Литература

- Гарде П. О так называемых «симпатетических» падежах в современном русском языке. *Russian Linguistics*. 1985. № 9. S. 2–3.
- Мызников С. А. Русские говоры Беломорья. СПб., 2010
- ОКР 1980 – Образцы карельской речи. Собрал, расшифровал и перевел В. Д. Рягоев. Ленинград, 1980.
- ОКР 1969 – Макаров Г. Н., Рягоев В. Д. Образцы карельской речи. Ленинград, 1969.
- Genetz A. Tutkimus Aunuksen kielestä. Suomi II: 17. Helsinki, 1885.
- Ojajärvi A. A. Sijojen merkitystehtävistä Itä-Karjalan Maaselän murteissa. SUST XCVII. Helsinki, 1950.
- Kettunen L. Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus. SUST 86. Helsinki, 1943.
- LT II – Pertti Virtaranta. Lyydiläisiä tekstejä II. SUST 130. Helsinki, 1963.
- NKK I – Näytteitä karjalan kielestä. I. Joensuu–Petroskoi, 1994.
- Pyöli R. Venäläistynvä aunuksenkarjala. Joensuun yliopiston julkaisuja 18. Joensuu, 1996.
- Savijärvi M. Sympaattinen rakenne itäisissä itämerensuomalaisissa kielissä. Murteiden matkassa. *Studia Carelica Humanistica* 6. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. Joensuu, 1994.
- Torpakko V. Venäjän ja suomen kielten sympaattisten rakenteiden kuvaus. Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten raportteja 14. Helsinki, 1992. S. 60–75.

Юлия Андреевна Князева

*Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

Язык народа – это его душа, его дух; это его исторический опыт, обобщенный и зафиксированный в словах, понятиях и грамматических категориях. Как считают ученые, язык – самое многогранное из проявлений духовной деятельности человека. Язык существует в конкретных общественных условиях, выполняет свою главную функцию – коммуникативную, а также вступает во взаимодействие с другими идиомами. Язык в конкретный исторический период формирует определенную языковую ситуацию, которая может быть описана на основе анализа составляющих ее компонентов – этнолингвистических, социоллингвистических и собственно лингвистических.

Статья посвящена современному состоянию удмуртского языка. Название, используемое носителями языка, – *удмурт кыл*. До 1932 года официальное название языка удмуртов было вотский или вотяцкий. Оно сохраняется до сих пор в зарубежных изданиях. Удмуртский язык относится к пермской группе финно-угорских языков. Как коми, марийский, вепсский языки, удмуртский – один из самых древних, коренных языков на территории России. Наиболее близок удмуртский язык к коми-зырянскому и коми-пермяцкому языкам. Он распространен в Республике Удмуртия, частично в Башкортостане, Татарстане, Республике Марий Эл, а также в Кировской и Пермской областях.

В удмуртском языке выделяют северные наречия (говоры бассейна реки Чепца, притока Вятки, и язык особой этнической группы – бесермян) и южные (группа говоров южной территории Удмуртии, а также завятские и закамские говоры). Развитие северных и южных этнических групп протекало в различных этноисторических условиях, что предопределило

своеобразие их этнографических характеристик: у южных удмуртов ощущается тюркское влияние, у северных – русское. Различия между ними прослеживаются в элементах материальной культуры, обрядах, языке.

Существуют переходные говоры средних районов Удмуртии, включающие характерные черты северных и южных наречий [Алатырев 1959, Атаманов 1988].

Демографическая ситуация

В 2002 году в Удмуртии удмуртов насчитывалось 413 795, общее число говорящих, для которых данный язык является родным – 375 659. Общее количество говорящих, для которых язык является вторым, – 53 180 [Письменные языки мира 2000: 501–520]. По переписи 2010 года количество удмуртов составляет 0,55 млн. человек. Это 0,44 %, по сравнению с 2002 годом, количество уменьшилось до 0,40 % [<http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php>]

Четкие данные по численности населения со знанием языка имеются только до 2002 года. После этого года решение о признании или не признании себя удмуртом по национальности у граждан Республики Удмуртия стало добровольным, отсюда следует, что в настоящее время очень сложно установить ясность в происхождении каждого отдельного человека, а также установить общее количество истинных удмуртов. Многие, имеющие удмуртские корни, называют себя русскими. Есть и те, кто просто не желает участвовать в переписи населения.

В 2013 году нами было проведено исследование о состоянии удмуртского языка в одном из городов Удмуртии – Глазове. Целью исследования было выяснить отношение различных групп населения к функционированию удмуртского языка. Среди информантов были школьники, студенты, их родители и друзья, учителя, преподаватели. Возрастная шкала от 10 до 70 лет. Общее количество опрошенных – 364 человека. Результаты исследования представлены в таблице:

Возраст	10–20	20–30	30–40	40–50	50–70
Мне нравится язык, и я бы хотел его изучать	16,6 %	12,5 %	29,6 %	26,6 %	7,1 %
Мне нравится язык, но изучать его я не имею желания	66,6 %	62,5 %	80 %	26,6 %	42,8 %
Язык должен быть официальным в Республике Удмуртия	–	–	14,8 %	33,3 %	35,7 %
Мне все равно	16,6 %	12,5 %	14,8 %	6,6 %	7,1 %
Мне не нравится этот язык, не вижу смысла его изучать	–	–	3,7 %	–	–
Я говорю по-удмуртски	–	12,5 %	-	6,6 %	7,1 %

Имеется ли необходимость изучать удмуртский язык в университетах и школах Удмуртской Республики

	10–20	20–30	30–40	40–50	50–70
Да		14,2 %	20,8 %	26,6 %	38,4 %
Нет					
Я бы хотел изучать	100 %	85,7 %	79,16 %	73,3 %	61,5 %

Как видно из таблиц, удмуртский язык не имеет престижа у информантов. Нет заинтересованности в его изучении, распространении. На наш взгляд, повышению престижа удмуртского языка в современном обществе могло бы способствовать введение языка как обязательного предмета в общеобразовательных учреждениях, а также введение предметов, на которых школьники могли бы ближе познакомиться с родным краем. Также необходимо создание дополнительных кружков и секций, где преподавание велось бы на удмуртском языке.

Удмуртская письменность

Первые записи на удмуртском языке относятся к 30-м гг. XVIII в. В 1775 г. была создана первая научная грамматика удмуртского языка (переиздана в 1975), не получившая широкого распространения. Письменность была создана в XVIII в. на русской графической основе. С XVIII и XIX вв. сохранились рукописные памятники письменности и публикации – переводы с русского языка на удмуртский, одним из важнейших среди которых является работа преподавателя-миссионера Казанской духовной семинарии Пуцек-Григоровича «Сочинения, принадлежащие к грамматике вотского языка» (1775 г.) [Письменные языки мира 2000: 501–520]. Она послужила основой для создания письменности на кириллице. С появлением удмуртской письменности литература издавалась на разных говорах. Современный литературный язык – своеобразный синтез грамматических черт и лексики северных и южных групп говоров, однако система звукового строя основывается на переходных говорах удмуртского языка.

Удмуртский язык и законодательство

В последние годы XX в. появились некоторые тенденции перемен к лучшему: в 1994 г. впервые удмуртскому языку был присвоен статус государственного наравне с русским языком.

В законе «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» Н 60-РЗ от 6 декабря 2001 года было утверждено конституционное положение об удмуртском языке как государственном. Помимо этого, в законе говорится о необходимости перевода на удмуртский язык текстов бланков, печатей, штампов, штемпелей и вывесок с наименованиями органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, муниципальных предприятий и учреждений, Министерство национальной политики Удмуртской Республики [<http://www.minnac.ru>].

Данный закон вступил в силу, но в настоящий момент он остается лишь на бумаге. По всей Удмуртии можно наблюдать двуязычные вывески и таблички на стенах административных зданий. 23 мая 2012 года в столице состоялось заседание городской Комиссии для решения о проведении работ по охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов, в том числе и на удмуртский язык. Но на практике это не отражается на сохранении, поддержании языка, а также его развитии. К сожалению, обычному гражданину все равно – двуязычие его окружает или только русский язык. Мало кто хотя бы обращает внимание на слова, написанные на удмуртском языке.

Общественные организации

С развитием письменности активизировались и национальные общественные организации. В конце 1980-х гг. возникло национальное движение удмуртов, вызванное усилением национального самосознания, либерализацией социально-политической жизни в стране, восстановлением этнокультурных связей в финно-угорском мире. В 1988 г. был создан **«Клуб удмуртской культуры»**, на базе которого возникло Общество удмуртской культуры **«Дэмен»** («Сообща, коллективно») (1989 г.). В 1991 г. создана Всеудмуртская ассоциация **«Удмурт кенеш»** («Удмуртское собрание»), в 1992 г. возникла удмуртская молодежная организация **«Шунды»** («Солнце»). Роль таких организаций – поддержание и сохранение культурных традиций удмуртов.

На удмуртском языке издается учебная, художественная и публицистическая литература, выходят газеты и журналы, ведутся радио- и телепередачи, функционирует театр.

Язык и СМИ

На данный момент, то есть в 2015 году, в Республике Удмуртия выходят журналы: **«Инвожо»** – ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный и общественно-политический журнал (с 1990 г. – для молодежи), **«Вордскем кыл»** – «Родное слово» – научно-методический журнал (с 2000-х годов – для учителей) **«Кизили»** – «Звездочка» – литературно-художественный иллюстрированный журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста, **«Кенеш»** – «Совет» – ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал, сначала выпускался как литературный и культурно-просветительский для интеллигенции, сейчас его аудитория – в основном люди среднего и пожилого возраста (1930 г.). Газета **«Удмурт дунне»** – «Удмуртский мир» – общественно-политическая (1915 г.), **«Зечбур!»** – «Здравствуй!» для детей (1930 г.). Также есть приложения на удмуртском языке к районным газетам (в 8–10 районах).

На удмуртском языке выходит по 15–20 книг в год (в том числе альбомы, альманахи), многие выпускаются издательством «Удмуртия».

Удмуртские передачи идут на **ТРК «Удмуртия»** и **ВГТРК «Удмуртия»**: **«Малы ке шуоно»** – «Потому что» (общественно-политическая), **«Огыр-бугыр»** – «Суматоха» (молодежная), **«Чечым»** – «Вкусно» (кулинарная), **«Свети дорын куноын»** – «В гостях у Светы» (интервью с интересными людьми), **«Аслым ачим кузё»** – «Сам себе я хозяин» (интервью с интересными людьми), **«Мылысь кыдысь»** – «Охотно» (интервью с интересными людьми, поздравления), **«Моко но Боко»** (детская).

На радио: **«Свети дорын куноын»** (знакомства с интересными людьми), **«Ми дорын куноын»** – «Мы в гостях» (обсуждение острых и актуальных вопросов), **«Пинал дыр»** – «Детское время» (детская), **«Кыл сярысь»** – «О языке» (проблемы удмуртского языка), **«Ти юады вал»** – «Вы спрашиваете» (ответы на вопросы слушателей), **«Синучкон»** – «Зеркало» (знакомство с современной удмуртской литературой), **«Ожгар энциклопедия»** – «Военная энциклопедия» (об уроженцах УР – героях ВОВ).

В 2013 году была переведена Библия на удмуртский язык (тираж 5 тысяч экземпляров).

Удмуртский язык в сфере образования

Удмуртский язык является средством обучения и преподается как предмет в начальной и средней школе, изучается в средних специальных учебных заведениях и в вузах. В 2010/2011 учебном году в 285 общеобразовательных (в том числе в 23 городских) и 297 дошкольных (в том числе в 39 городских) учреждениях республики преподавался удмуртский язык [<http://www.minnac.ru>].

Центрами изучения языка являются Удмуртский институт истории, языка и литературы, Факультет удмуртской филологии Удмуртского государственного университета. Также удмуртский язык преподается в Музее Ижевска, в Доме Дружбы Народов, в гимназии Кузубая Герда и в 56 гимназии, а также организуются площадки для всех желающих изучать данный язык в Ижевске. В Глазове удмуртский язык преподается в Глазовском Государственном Педагогическом Институте имени В. Г. Короленко, при институте есть кружок по изучению языка для всех желающих, а также язык преподается только в одной общеобразо-

вательной школе № 16. В Глазовском районе в поселке Октябрьский до нынешнего, 2015 года, существовала Удмуртская национальная школа, где официально преподавался удмуртский язык, в этом году было решено, что школа будет общеобразовательной, и при ней будут проходить факультативно уроки удмуртского языка.

Литература и источники

- Алатырев В. И. Вопросы удмуртского языкознания. Т. 1. Ижевск, 1959.
- Атаманов М. Г. Удмуртская ономастика. Ижевск, 1988.
- Бубрих Д. В. Историческая фонетика удмуртского языка (сравнительно с коми языком). Ижевск, 1948.
- Владыкин В. Е. Здравствуйте! Мы – удмурты. Историко-этнографический очерк. Ижевск: Издательство «ЮНКОМ», 1996.
- Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. Этнография удмуртов. Ижевск: Издательство «Удмуртия», 1997.
- Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. Удмурты // Удмуртская Республика: Энциклопедия. Ижевск: Издательство «Удмуртия», 2000.
- Грамматика современного удмуртского языка. Синтаксис простого предложения. Ижевск, 1970.
- Грамматика современного удмуртского языка. Синтаксис сложного предложения. Ижевск, 1974.
- Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология. Ижевск, 1962.
- Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских языков. М., 1963.
- Национальный состав населения Удмуртской Республики (итоги Всероссийской переписи населения 2002 года). Удмуртстат, 2005.
- Письменные языки мира. Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энциклопедия. Книга 1. Москва, 2000.
- Серебренников Б. А. Историческая морфология пермских языков. М., 1963.
- Тараканов И. В. Заимствованная лексика в удмуртском языке. Удмуртско-тюркские языковые контакты. Ижевск, 1982.
- Удмуртско-русский словарь. Под ред. В. М. Вахрушева. М., 1983.
- Ушаков Г. А. Сопоставительная грамматика русского и удмуртского языков. Ижевск, 1982.

Денис Викторович Кузьмин

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ТИПОВЫЕ ТОПООСНОВЫ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ РАЗМЕРА ОБЪЕКТА*

Обязательные или типовые топоосновы, отражающие объективную действительность, чаще всего проявляются в названиях физико-географических объектов. При этом основной чертой физико-географических названий как раз и является фиксация этой действительности [Суперанская 1969: 45]. В топонимии Карелии, помимо слов, отражающих реально существующие в природе разновидности ландшафта, к обязательным топоосновам относится также ряд определений, характеризующих свойства объекта. Сопоставление в карельской топонимии может идти, например, по размеру (*Suuri*- ‘большой’, *Pieni*- ‘маленький’), форме (*Kaita*- ‘узкий’, *Viärä*- ‘кривой’, *Puõrie*- ‘круглый’, *Levie*- ‘широкий’, *Pitkä*- ‘длинный’), цвету (*Musta*- ‘черный’, *Valkie*- ‘белый’, *Ruskie*- ‘красный’) и другим показателям. Данная лексико-семантическая группа является одной из наиболее представительных в топонимии Карелии. В

* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта РГНФ № 14-04-00243а «Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте»

то же время продуктивность топонимов, атрибуты которых выражены прилагательными, характеризующими форму и детали рельефа, все же различна.

В таблице ниже приведен список наиболее продуктивных определений, выраженных прилагательными на разных прибалтийско-финских территориях [Kuzmin 2014: 51–52, Мамонтова 1982; Муллонен 1994; Kiviniemi 1990; Saar 2008]:

север Карелии	юг Карелии	вепские территории ¹	территория Финляндии	территория южной Эстонии
Suuri- 'большой'	Suuri- 'большой'	Sur- 'большой'	Iso-, Suuri- 'большой'	Suur- 'большой'
Pitkä- 'длинный'	Kovera-, Viäry- 'кривой'	Must- 'черный'	Pieni-, Pikku- 'маленький'	Väikene, Väiku, Väikse 'маленький'
Mušta- 'черный'	Pitky- 'длинный'	Pitk- 'длинный'	Pitkä- 'длинный'	Korgõ 'высокий'
Syvä- 'глубокий'	Pieni- 'маленький'	Vouged- 'белый'	Vanha- 'старый'	Vana- 'старый'
Valkie- 'белый'	Uuzi- 'новый'	Pen-, Piçoi- 'маленький'	Uusi- 'новый'	Vahtsõ(nõ), Uvvõ- 'новый'
Kaita-, Hoikka- 'узкий'	Kaidu- 'узкий'	Korged- 'высокий'	Musta- 'черный'	Pikk: Pikä 'длинный'
Pieni-, Pikku- 'маленький'	Mustu- 'черный'	Kover- 'кривой'	Hoikka-, Kaita- 'узкий'	Tsõõrik, Ümärik, Hõõrik 'круглый'
Uuši- 'новый'	Jyrky- 'крутой'	Kuiv- 'сухой'	Korkea- 'высокий'	Must 'черный'
Levie- 'широкий'	Syvä- 'глубокий'	Syvä- 'глубокий'	Syvä- 'глубокий'	Kuld 'золотой'
Viärä-, Köyry-, Kovera- 'кривой'	Laççu- 'плоский, низинный'	Paha- 'плохой'	Paha- 'плохой'	Valgõ 'белый'
Kuiva- 'сухой'	Valgei- 'белый'	Kaid- 'узкий'	Kylmä- 'холодный'	Süvä, Sükäv 'глубокий'
Korkie- 'высокий'	Kaunis- 'красивый'	Kehker- 'круглый'	*Autio- 'заброшенный'	Palanu 'сгоревший'
Matala- 'мелкий'	Vanhu- - 'старый'	Leved- 'широкий'	Väärä- 'кривой'	Lakõ 'ровный'
Paha- 'плохой'	Lagei- 'открытый, ровный'	Rusked- 'красный'	Valkea- 'белый'	Raba 'непроходимый'
Kylmä- 'холодный'	Korgei- 'высокий'	Vihand- 'зеленый'	Puna(inen)- 'красный'	Hall, Nahk 'серый'
Kaunis- 'красивый'	Madal- 'мелкий'	Hobed- 'серебряный'	Kuiva- 'сухой'	Verrev 'красный'

¹ В группе «Вепские территории» только первые десять топооснов расположены в порядке убывания их частотности.

*Kelta- 'желтый'	Paha- 'плохой'	*Vezi- 'влажный, мокрый'	Pyöreä- 'круглый'	Kõvvõr 'кривой'
Pyörie- 'круглый'	Pyöröi- 'круглый'	Käbed- 'красивый'	Leveä-, Laaja 'широкий, обширный'	Külm 'холодный'

Таблица показывает, что доля прилагательных в карельской топонимии достаточно велика. В то же время можно сразу отметить, что только часть приведенных выше топооснов представлена относительно широко в топонимии. Так, например, пять из них (*Šuuri-* / *Suuri-* 'большой', *Mušta-* / *Mustu-* 'черный', *Valkie-* / *Valgei-* 'белый', *Pitkä-* / *Pitky-* 'длинный' и *Pieni-* 'маленький') составляет более 60 % всех названий, отразившихся в данном списке.

Таблица свидетельствует также о том, что во всех представленных прибалтийско-финских топосистемах во главе списка находится топооснова *Suuri-* 'большой', поскольку именно размер объекта является часто наиболее естественным дифференцирующим признаком. По нашим подсчетам, названий с атрибутом *Pieni-* 'маленький' в два раза меньше, в сравнении с топоосновой *Suuri-* 'большой'. Финляндский исследователь Ээро Кивиниemi отмечает, что подобная ситуация характерна и для финской топонимии. В качестве объяснения Кивиниemi приводит тот факт, что для топоосновы *Suuri-* совсем необязательно противопоставление / бинарная оппозиция с атрибутивной частью *Pieni-* [Kiviniemi 1990: 151].

Далее будет представлен обзор карельских топооснов, отражающих размер географического объекта, при этом часть из них выражена лексемами, которые практически утрачены современными говорами карельского языка. Кроме представленных в таблице наиболее продуктивных в топонимии атрибутов, в статье рассмотрены также топоосновы, имеющие на карелоязычных территориях ограниченное бытование.

Suuri- / Šuuri- / Сур-

Выше уже было отмечено, что размер географического объекта является одной из универсальных особенностей, которая используется имядателем для идентификации того или иного объекта на местности. В топонимии Карелии и сопредельных областей фиксируется целый ряд лексем со значением 'большой'. Наибольшее распространение среди них имеет топооснова *Suuri-* / *Šuuri-*, которая представлена во всех ареалах бытования карельского языка. При этом она выступает как в названиях макрообъектов, так и в микротопонимии региона. Ее следы присутствуют также и на сопредельных, ныне русскоязычных территориях, ср., например, залив *Сургуба* (Янишполе, Конд.). На территории Финляндии в том же значении выступает часто топооснова *Iso-* 'большой'. В Республике Карелия в границах 1939 года данная лексема фиксируется всего один раз на самом севере Карелии в бывшей Олангской волости, ср. возвышенность *Isovuara* (букв. 'большая возвышенность') (Боровская, Оланг.). К сожалению, данный топоним в момент сбора не был картографирован, в связи с чем его привязка к карте затруднена. В то же время можно предположить, что речь идет, видимо, о какой-либо пограничной возвышенности, большая часть которой находилась в то время на территории сопредельной Финляндии. На эту мысль наталкивает тот факт, что данная топооснова более нигде не фиксируется в Карелии, включая те территории, где присутствует сильное влияние финского языка. В то же время лексема *iso* представлена неоднократно в топонимии карельских территорий Финляндии, как в Приладожской или Приграничной Карелии (фин. *Raja-Karjala*), так и в Кайнуу. На этих территориях карелы проживали в течение нескольких столетий бок о бок с финским населением, что и стало причиной усвоения рассматриваемой лексемы в местные карельские говоры, а также использования ее при наименовании объектов на местности: ср. озеро *Iso Särkilampi* (Хиетаярви, Кайн.), озеро *Iso-Juortana* (Римпи, Кухмо), острова *Iso-Nilo*, *Iso-Vihkamoi* (Салми), горка *Isokul'vu* (Хаудувуара, Суояр.), поселение *Isokylä* (Вегарус, Суояр.), возвышенность *Isočärkkä* (Алатту, Суйст.), угодье *Iso-*

opota (Юпякко, Сован.), *горка Iso Kauluumägi* (Руогоярви, Имп.), лес *Isokorbi* (Пуровуара, Имп.), озеро *Iso-Hosko* (Иломантси).

Tobie- / Tobd'-

В карельских говорах юга Карелии фиксируется еще одна лексема со значением 'большой'. Несмотря на то, что данное слово фиксируется во всех наречиях карельского языка (ср. ск. *tobie, tobia, topie*, ливв. *tobei, tobju, tobd'u*, люд. *tobd', tobje* 'большой'), в топонимии она представлена, прежде всего, в ареале расселения северных карелов-людиков: ср. поселение *Tobd'kylä* (Лычный Остров, Конд.), гора *Tobd' Hadarmägi* (Тивдия, Конд.), остров *Tobd' Murtsuor'* (Каягина Сельга, Конд.), озеро *Tobd' Pertlambi* (Кавгора, Конд.), угодье *Tobd'obod* (Кондозеро, Конд.), угодье *Tobd'adnurmed* (Ригосельга, Конд.), луда *Tob(d)luodo* (Тавойгора, Конд.), болото *Tobd'suo* (Уссуна, Муноз.), острова *Tobd'atsuaed (Tob'-)* (Лижмозеро, Конд.), озеро *Tobjed'ärv*, поле *Tobjepaltege* (Гомсельга, Шуйск.), мост *Tobd'sild* (Мунозеро, Муноз.), камень *Tobd'kivi* (Пуйгуба, Муноз.), озеро *Tobd' Rugizlambi* (Готनावолок, Муноз.), озеро *Tobd' Haugilambi* (Юркостров, Муноз.), луда *Tobd'luodo* (Галезеро, Шуйск.), угодье *Tobd' Heinmatkobod* (Пялозеро, Муноз.), возвышенность *Tobd'(e)mägi* (вар. *Suurimägi*) (Намоево, Шуйск.), поселение *Tobd'-Voronou* (Вороново, Конд.), болото *Tobd'asuo* (Соломенное, Шуйск.). Густота сетки названий свидетельствует о том, что данная модель зародилась именно на территории современного Кондопожского района. Обращает также на себя внимание ее отсутствие на территории проживания средних и южных карелов-людиков. Ареал модели выходит, тем не менее, за восточные и западные пределы современной территории людиковского расселения, что можно рассматривать, видимо, как маркер былого людиковского присутствия. За пределами ареала, модель фиксируется, например, в топонимии южных собственно-карельских территорий (ср. остров *Tobiesuari* (Койкары), порог *Tobie Kallivokoski* (Совдозеро, Порос.), а также в Прионежье и Заонежье, ср. камень *Тобот* (< **Tobd'*) (Суйсарь, Шуйск.), угодье *Тобуй* (Кургеницы Кижск.), *Тобуйручей* (Кижж). В совокупности с рядом других людиковских признаков в топонимии этих территорий данный факт может свидетельствовать об их людиковских связях. Нельзя исключать, что топооснова имела ранее более широкое бытование в топонимии, однако подверглась, видимо, переводу в ходе русской адаптации карелоязычных названий. Следы ее бытования мы находим, возможно, и в топонимии юго-западного побережья Белого моря в окрестностях деревни Вирма (ср. *Тобручей*).

Jalo- / Ял-

В говорах карельского языка существует еще одно прилагательное, указывающее на относительно крупный размер того или иного предмета или явления. Это лексема *jalo*, известная в карельских говорах, в том числе и в значении 'крупный, большого размера'. Рассматриваемое слово в интересующем нас значении существовало ранее и в других прибалтийско-финских языках, например, в вепсском, финском, эстонском, о чем свидетельствует ряд слов, в которых сохранились и сейчас отголоски первоначальной семантики, связанной с большим размером.

Слово практически утратило семантику «большой, крупный» в современных карельских говорах, но его следы фиксируются в топонимии как юга, так и севера Республики Карелия: ср. например, названия двух соседних заливов Онежского озера *Ялгуба* и *Пиньгуба*, где присутствует бинарная оппозиция атрибутивных элементов *Jalo-* 'большой' и *Pieni-* 'маленький' [Муллонен 2013: 134]. Кроме рассмотренной выше фиксации, атрибутивная часть *Jalo-* представлена в названиях следующих географических объектов: река *Jalojoki* (Контокки), ручей *Jalo-oja* (Ювалакша, Ухта), порог *Jalomniška* (Подужемье), ручей *Jaloja* (**Jalo-oja*, карта *Ялоручей*) (Рудометово, Паноз.), озеро *Jaloizjärvi* (вар. *D'aloizd'ärvi*) (Ледмозеро, Ругоз.), остров *Jaloizsaari* (Ругозеро), залив *Jallahti* (Лычный Остров, Конд.), залив *Jallahti* (Ялгуба), река *D'alaid'ogi* (рус. Елайрека) (Ладва), мыс *Ялокорга* (Надвоицы, Петров.), залив *Ялгуба* (Тунатрека). Фиксируется данная топооснова и на территории расселения вепсов, а

также на ныне обрусевших территориях Ленинградской и Вологодской областей: ср. возвышенность *Jalam*, река *Jalažm* (рус. Явосьма), ручей *G'aloja* (рус. Елайручей), река *Ялега*, *Ялойское болото*, залив *Ялойская кара*, деревня *Ялосарь* [Муллонен 2013: 134].

Предположительно, еще ряд названий географических объектов на территории Карелии содержит указанную топооснову: ср. озеро *Jäljjärvi* (рус. Ялиозеро) (Алозеро, Ухт.), а также озеро *Jäl'järvi* (рус. Ялиярви), река *Jäl'joki* (вар. *D'iäl'joki*), мыс *Jäl'niemi* (Шомбозеро, Паноз.). Видимо, переход конечного гласного *-o-* атрибутивной части в *-i-* мог спровоцировать изменение качества гласного звука первого слога, и в связи с этим *-a-* перешел в *-ä- / -iä-*.

Äн- / Ян- / Ен-

Названная основа подробно рассмотрена в исследовании И. И. Муллонен [2002: 271–282], в котором ее бытование в Присвирье представлено на относительно широком фоне смежной территории Карелии и Восточного Обонежья.

Таким образом, топонимия Карелии хранит память еще об одном прилагательном, которое использовалось ранее для обозначения географических объектов крупного размера. Это субстратная топооснова **Äн- / Ян-*, которая бытовала в топонимии современной Карелии до ее освоения прибалтийским финнами. Речь идет, видимо, о (пра)саамском слове со значением 'большой, крупный', которое является родственным прибалтийско-финскому прилагательному **enä*. Последнее утрачено современными прибалтийско-финскими языками, однако следы его можно видеть в апеллятивной лексике, например, в наречиях: кар. *enämpi*, вепс. *enamb*, фин. *enempi* 'больше', ср. также эст. *enamus* 'большинство'. Следует также отметить, что лексема **enä* имеет древние финно-угорские корни и широко представлена в финно-угорских языках [SSA]. Участие данной лексемы в образовании топонимов подтверждается, например, данными с вепсских территорий Ленинградской и Вологодской областей, где топооснова неоднократно фиксируется в наименованиях (относительно) крупных географических объектов [Муллонен 2013: 136–137].

В топонимии Республики Карелия фиксация топоосновы **Äн- / Ян-*, как уже было отмечено выше, указывает, скорее всего, на субстратный характер данной основы. Самым известным географическим объектом, название которого содержит основу **Äн-*, является второе по величине озеро Европы – Онежское (кар. *Iänizd'ärvi*, вепс. *Änine*, фин. *Ääninen*) [Муллонен 2002: 278–282].

Названия с рассматриваемой топоосновой фиксируются, главным образом, в южных и восточных частях Карелии, а также на сопредельных территориях западной части Архангельской области, ср.: *Вянегуба*, *Вянярека* (вар. *Вянь-*), *Яниостров* (вар. *Янцостров*) (Тиконицы, Петров.), *Яностров* (Пулозеро, Петров.), *Янемох*, *Янеозера* (Луза, Водл.), *Енесполе* (вар. *Енисейские поля*), остров *Денесье* (Челозеро, Арх. Обл.), ? *Янчозеро* (Щепина Гора, Петров.), поселение *Янишполе* (Янишполе, Шуйск.), угодие *Янежполе* (Шилово, Шунг.), поселение *Вянишполе*, остров *Вяньостров* (вар. *Венишостров*) (Вёгарукса Великогуб.), *Яндомозеро* (Великая Губа, Великогуб.) и др. В северных частях Карелии данная топооснова практически не представлена, ср., например, мыс *Енякорга* (вар. *Енекорга*) (Поньгома Кем.). Кроме этого, названия рассматриваемого типа фиксируются спорадически и в Пудожском районе Республики Карелия [Муллонен 2013: 136–137].

Можно также предположить, что топооснова *Äн-* имела ранее более широкое бытование как в северных, так в центральных и западных частях Карелии, однако подверглась адаптации / переводу в ходе освоения территории современной Карелии прибалтийскими финнами. На эту мысль наводит, например, тот факт, что Онежское озеро имеет в среде средних людиков название *D'änizd'ärvi* (ср. вар. *Iänizjärvi*). Второе крупное озеро с названием *Jänisjärvi* существует в Северном Приладожье, в Сортавальском районе. Первоначальную форму названия этого крупного озера сохраняет название острова *Janatsuari* и залива Ладожского озера *Janaslahti* в окрестностях поселка Ляскеля, куда впадает река *Jänisjoki* (вар. *Janamusjoki*), вытекающая из озера *Jänisjärvi*. Кроме этого можно упомянуть, что в топонимии

мии беломорской деревни Поньгома, помимо упомянутого выше мыса *Енякорга*, фиксируется также название мыса *Янискорга*, которое, видимо, может являться его вариантом.

К рассматриваемой группе может относиться также название *Заячий остров* (кар. *Jänisšuari*), который является пятым по величине островом в составе Соловецкого архипелага после основного *Соловецкого острова*, острова *Анзера* и двух *Муксалмских* островов. Можно отметить здесь, что все они имеют доприбалтийско-финские истоки, что наводит на мысль о том, что и остров *Заячий* (кар. *Jänisšuari*) получил, видимо, свое современное название в результате переосмысления непонятной прибалтийским финнам саамской топоосновы (**Än-* → *Jänis-*), а позднее – перевода карельского названия на русский, ср. (*Jänis-* → *Заячий*).

Помимо упомянутых выше географических объектов, в топонимии Карелии фиксируется еще целая серия других названий, в которых также закрепились топооснова *Jänis-* / *Jäniz-* (букв. ‘заяц, заячий’): озеро *Jänisjärvi*, река *Jänisjoki* (Кентозеро, Вычетайбола), озеро *Jänisjärvi* (Суднозеро, Боярская, Кургиево, Ругозеро), остров *Jänisšuari* (Хайколя, Лусалми, Пильдозеро, Воронская, Вычетайбола, Барышнаволок, Булдыри, Пибозеро, Соловки, Реболы, Тужены, Лужма, Совдозеро, Баранова Гора), залив *Jänislakši* (Барышнаволок, Булдыри), порог *Jäniskoški* (Булдыри, Соанлахти), мыс *Jänisniemi* (Пибозеро), пролив *Jänisšalmi* (Реболы). Нельзя исключать того, что некоторые из них превратились в «заячьи» именно в результате народной этимологии.

Появление топоосновы со значением ‘заяц’ легко представить в названиях микропонимов, например, полей, небольших гор, ручьев и т. д. В то же время ее фиксация в названиях относительно крупных географических объектов вызывает сомнение. В их основе допустимо реконструировать финно-угорское прилагательное со значением ‘большой’, что нередко подтверждается крупными размерами географических объектов, в названии которых оно фиксируется. Таким образом, появление топоосновы *Jänis-* в названиях крупных по размеру географических объектов стало, видимо, результатом народного переосмысления саамской топоосновы *Än-*, которая была близка по звучанию с прибалтийско-финской лексемой *jänis* в значении ‘заяц’.

Pieni- / Pikku-

Основной семантической парой для лексемы *suuri* ‘большой’, выступает как в языке, так и в топонимии слово *pieni* ‘маленький’. При этом топооснова *Pieni-* представлена в большом количестве географических названий на территории всех диалектов карельского языка. В то же время в собственно карельском наречии фиксируется в значении ‘маленький’ также лексема *pikku*. Рассматриваемое слово спорадически представлено и в говорах ливвиковского наречия, а также у карелов-людиков: ср. *pikku*, *pikoi* ‘малюсенький’. Кроме этого, оно известно и в качестве слова с усилительным значением, и наречия в значении ‘совсем’.

В топонимии основа *Pikku-* фиксируется как в северных, так и в южных частях Карелии. В Беломорской Карелии основной ареал находится на территории ее западной части, граничащей с территорией Финляндии. Единичные фиксации представлены в центральных частях ареала, а также за его пределами, в топонимии Ребольской и Паданской волостей. Ср.: мыс *Pikkuniemi*, поле *Pikkupelto* (Ювалакша, Ухт.), поле *Pikkupelto* (Хайколя, Ухт.), ручей *Pikkuoja* (Юшкозеро), остров *Pikkušuari* (Вокनावолок), порог *Pikkukoški* (Пежунги, Вокн.), озеро *Pikkulampi* (Ценनावолок, Вокн.), остров *Pikkušuari* (Ладвозеро, Вокн.), остров *Pikkušuari* (Каменное Озеро, Вокн.), мыс *Pikkuniemi* (Тихтозеро), угодье *Pikkupala* (Катошлампи, Тихт.), остров *Pikkušuari* (Реболы), озеро *Pikkulampi* (Юккогуба, Падан.).

В то же время обращает на себя внимание отсутствие модели в других частях карельского Беломорья, а кроме этого, густота сетки названий с топоосновой *Pikku-* в топонимии северной частей Финляндии, с которой граничит Беломорская Карелия. Можно предположить, что появление данной топонимической модели на севере Карелии может быть увязано как с отселением финского населения на территорию России в XVIII веке, так и с активными межэтническими контактами, происходившими в карело-финском пограничье в XVIII–XIX

веках, что, в свою очередь, могло способствовать более активному использованию данного прилагательного в образовании топонимов.

Не совсем понятен генезис модели на юге Карелии. Она представлена спорадически в бывших Ведлозерской и Сязозерской волостях, а также у северных и средних карельских людииков. Кроме этого, модель фиксируется на сопредельных с людииковскими русскоязычных территориях в Кондопожском и Медвежьегорском районах, ср.: поле *Pikkupeldo*, берег *Pikkurandu*, мыс *Pikunniemi* (Салостров, Ведл.), тоня *Pikunabajat* (Кибриннаволоок, Ведл.), озеро *Pikoijärvi* (Гарболова Сельга, Сязоз.), болото *Pikoosuo* (Кавгора, Конд.) = болото *Pikoisuo* (*Пукиболото*, *Пуко-*, *Пукай-*) (Тавойгора, Конд.), поселение *Pikuoinekylä* (*Pikuine-*) (Гомсельга, Муноз.), тоня *Pikuo* (Пелдожи, Свят.).

Присутствует модель и на бывших карельских территориях Финляндии (фин. *Raja-Karjala*, рус. Приграничная (Приладожская) Карелия): поселение *Pikkukylä* (Пелдойне, Салми), порог *Pikkukoski* (Мурсула, Имп.), луды *Pikkuluvvot* (Койриноя, Имп.), угодье *Pikkupalsta* (Руогоярви, Имп.), остров *Pikkusuari* (Хунттила, Имп.), озеро *Pikkulampi* (Ахвенъярви, Илом.), озёра *Pikkulammit* (Кивилахти, Илом.), горка *Pikkutöyry* (Иломантси), мыс ? *Pikanniemi* (Вегабус, Суояр.), озеро ? *Pikanlambi* (Агья-ярви Корп.).

Видимо, в этот же ряд входят *Пукаяболото* (Ватнаволоок, Лижем.), угодье *Пукоусуо* (Лижемский с/с), урочище *Пукай* (Саньковская, Яндомоз.), урочище *Пукай* (*Пукая*) (Кондобережская, Великогуб.), ? *Пиккозеро* (*Пикозеро*), *Пиккорекка* (Воренжа, Петров.), ? *Пиккоручей*, *Пиккомох* (карта *Пухкамох*) (Тайгиницы, Петров.), ? *Пиккозеро* (Нюхча).

Возникает, таким образом, вопрос, могло ли появление модели на юге Карелии быть связано с отселением населения с территории Финляндии, например, из Приграничной (Приладожской) Карелии, или же она появилась здесь самостоятельно. Можно отметить все же, что в людииковском и ливвиковском наречиях лексема фиксируется на апеллятивном уровне нерегулярно.

Pikkaraini-

Кроме лексем *pieni* и *pikku*, в диалектах карельского языка активно бытует в значении ‘маленький’ лексема *pikkaraini/pikkaraine*. В топонимии топооснова *Pikkaraini*-малоактивна и фиксируется преимущественно в собственно карельском ареале расселения, ср.: остров *Pikkarainišuuri* (Боярская, Вычет.), озеро *Pikkaraine Lavoizlambi* (Большое Озеро, Руг.), мыс *Pikkaraineniemä* (Кудамгуба, Порос.), болото *Pikkarainešuohut* (Новинка, Тихв.), бор *Pikkarainekangaš*, угодье *Pikkarainesolmovane*, болото *Pikkarainešuohut* (Курята, Тихв.), угодье *Pikkarainepeldone* (Мяммино, Твер.), мыс *Pikkaraineniemä* (Рочезеро, Вохт.), болото *Pikkarainesuo* (Уссуня).

На территории проживания карелов-ливвиков и карелов-людииков единичные фиксации модели могут свидетельствовать, например, о подселении сюда населения с собственно карельских территорий. На собственно карельские истоки данного топонимического типа, возможно, указывает фиксация модели в топонимии собственно карельского ареала расселения в Ленинградской и Тверской областях. При этом все же не совсем понятно, насколько широко рассматриваемая топооснова могла быть распространена на родовой территории карелов в Приладожье, откуда, как известно, в XVII веке они переселились на Тверские и Новгородские земли. Возможно, массовый исход карелов из Приладожья нарушил естественный процесс функционирования данной модели, и со временем она была вытеснена на новопоселенных территориях синонимичной топонимической *Pieni-*. Принимая это во внимание, можно предполагать, что современные спорадические фиксации на обширной территории являются свидетельствами возможного бытования данной модели в карельском Приладожье в XVII веке.

С другой стороны, принимая во внимание тот факт, что лексема *pikkaraini / pikkaraine* имеет общекарельское распространение, нельзя также исключать возможности того, что рассматриваемый топонимический тип мог все же появиться независимо в разных ареалах карельского освоения / диалектных зонах.

Vähä-

Кроме рассмотренных выше атрибутов, в Карелии и на сопредельных с ней территориях фиксируется также топооснова *Vähä-*. Прилагательное *vähä* известно в говорах карельского языка в значении ‘небольшой, маленький, незначительный’. В карелоязычной топонимии Карелии лексема не продуктивна. Она представлена здесь всего двумя фиксациями, ср.: озеро *Vähärvi* (Сяргозеро, Падан.), озеро *Vähärvi* (Сааримяги, Колат.). В то же время стоит упомянуть, что модель на *Vähä-* присутствует, например, в топонимии вепских территорий, где она выступает в том числе в паре с прилагательным *enä / änä* ‘большой’, ср. озера *Än'järvi* и *Vähärvi* на верхней Ояти [Муллонен 2013: 139]. Немногочисленность фиксаций не позволяет говорить что-либо определенное о генезисе модели. Нельзя, например, исключать того, что в топонимии карельского ареала мотивом номинации географических объектов могла быть и маловодность озер в разные времена года, поскольку в диалектах карельского языка слово *vähä* фиксируется и в значении ‘что-либо небольшое по объему, количеству’. Кроме этого, единичные фиксации в карелоязычной топонимии юга Карелии могут быть свидетельством «разрушившегося» ареала, который объединял ранее коренные вепские территории, где сейчас модель присутствует в топонимии, и те территории, которые были освоены вепсами в более позднее время. Этому, по крайней мере, не противоречит факт расположения карельских деревень, в топонимии которых данная модель фиксируется, в пределах зоны бывшего вепского присутствия, что также подтверждается и некоторыми другими вепскими топонимическими маркерами.

Подводя итог, можно констатировать, что идентификация по размеру представлена в карельской топонимии целым рядом лексем, однако далеко не все из них имеют в топонимии широкое бытование. Наиболее многочисленными по представительству являются общераспространенные прилагательные *suuri / šuuri* и *pieni*, в то время как все остальные из упомянутых выше фиксируются достаточно ограниченно. При этом названий с атрибутивной частью *Pieni-* ‘маленький’ в топонимии в два раза меньше, в сравнении с топоосновой *Suuri- / Šuuri-* ‘большой’, что объясняется, в частности, тем, что для топоосновы *Suuri-* совсем не обязательна бинарная оппозиция с атрибутивной частью *Pieni-*. Кроме этого, в южной части Карелии фиксируется локальная топонимическая модель с атрибутом *Tobd'- / Tobje-* ‘большой’, которая ограниченно представлена, прежде всего, на территории проживания северных людиков, и которая является, видимо, относительно новой инновацией в топонимии юга Карелии.

В сравнении с общераспространенными атрибутивными частями со значением ‘маленький, небольшой’, на территории Карелии представлена также субстратная топооснова **Än- / Ян-* ‘большой’, которая бытовала в топонимии современной Карелии до ее освоения прибалтийским финнами. К раннему периоду освоения исследуемого региона относится, видимо, и топооснова *Jalo-*, семантика которой на современных карелоязычных территориях уже практически забыта.

Можно здесь также упомянуть, что в топонимии обнаруживаются и некоторые другие слова со значением ‘маленький, небольшой’, однако из-за единичных фиксаций на данном момент сложно что-либо говорить об истоках их появления в среде карельского населения. Среди них, например, лексема *palukka(ni)* ‘небольшой кусочек чего-либо’, которая отмечается в окрестностях деревни Тухкала на севере современной Карелии в названии небольшого острова *Palukkaisenšuari* (рус. *Маленький остров*). В то же время не совсем понятно, что за этим названием может стоять – действительно ли маленький размер данного острова или же, например, антропоним (прозвище человека), на что может указывать генитивная форма названия.

Литература и источники

Топонимическая картотека Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН.

- Мамонтова Н. Н. Структурно-семантические типы микротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР (Олонецкий район). Петрозаводск: Карелия, 1982.
- Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994.
- Муллонен И. И. Топонимия Присвирья. Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002.
- Муллонен И. И. Большие озера маленького народа: идентификация по размеру в вепсской топонимии // Вепские ареальные исследования. Сборник статей. / Науч. ред. Н. Г. Зайцева, С. А. Мызников. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 130–144.
- Суперанская А. В. Структура имени собственного. Фонология и морфология. Москва, 1969.
- Kiviniemi E. Perustietoa paikannimestä. Suomi 149. SKS. Helsinki, 1990.
- Kuzmin D. Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. Unigrafia OY. Helsinki, 2014.
- Saar E. Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosade põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 22. Tartu Ülikooli kirjastus. 2008.
- SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 556. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura – Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992–2000.

Татьяна Александровна Малкова

*Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар*

НАУЧНАЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д. В. БУБРИХА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В Г. СЫКТЫВКАРЕ КОМИ АССР

Видный представитель сравнительно-исторического языкознания, основатель советского финно-угроведения, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Дмитрий Владимирович Бубрих в годы Великой Отечественной войны жил и работал в г. Сыктывкаре Коми АССР. Военный период жизни ученого практически не изучался исследователями. В начале XXI в. был опубликован ряд статей, раскрывающих его творческую деятельность в эвакуации [Керт 1975, 1990; Рощевский, Рощевская, Береснева 1999; Малкова 2001, 2005, 2009, 2013].

Финно-угорская группа Института языка и мышления, возглавляемая с 1934 г. Д. В. Бубрихом, становится центром исследования по финно-угорским языкам Советского Союза. Начало Великой Отечественной войны определило новый этап исследовательской деятельности ученого, которая была тесно связана с научной жизнью Сыктывкара военных лет. Здесь был выполнен значительный научный задел, позволивший опубликовать научные труды в последующие годы. С 1 октября 1941 г. по направлению Наркомпроса РСФСР Д. В. Бубрих назначается заведующим кафедрой языка и литературы Коми государственного педагогического института (КГПИ). По воспоминаниям студентов военных лет, Дмитрий Владимирович представлялся очень эрудированным преподавателем, оставившим глубокий след в их жизни. Д. В. Бубрих по совместительству также преподавал в Карело-Финском университете, эвакуированном в Сыктывкар, где в 1943/44 гг. возглавил кафедру финно-угорских языков. Научная деятельность ученого была продолжена в стенах Коми научно-исследовательского института (Коми НИИ, 1934 г.) в качестве ученого секретаря с марта 1942 г. по сентябрь 1944 г. Имея большой опыт организаторской и научной работы, Д. В. Бубрих становится руководителем исследовательскими работами института [Малкова 2005: 2–3; Малкова 2009: 43–44].

К исследованию пермской группы финно-угорской семьи языков Д. В. Бубрих обратился в конце 1920-х гг. Наиболее интенсивно он занимался пермскими языками во время работы в Коми НИИ, где возглавил исследования по теме «Научная грамматика современно-

го коми языка». В планах издания 1944 г. значились его работы «Фонетика современного литературного коми языка», «Части речи в коми языке», выход которых задержался по причине отсутствия финансирования. А в 1945 г. в Коми книжное издательство была представлена работа «Научная грамматика коми языка. Вып. 1. Фонетика коми слова», опубликованная только в 1949 г. в Ленинграде. Образцом синхронного описания языка является работа Д. В. Бубриха «Грамматика литературного коми языка», в которой отразился его «метод левой языковедческой работы – метод фиксирования живого связного потока речи, противостоящий старому методу коллекционирования отдельных явлений речи». Данную работу, по словам Д. В. Бубриха, «пришлось проделать в обстановке исключительно малой разработанности множества вопросов [НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 11, д. 57, л. 4]. Историю языка он исследовал в неразрывной связи с историей народа, привлекая данные других дисциплин – истории, археологии, этнографии, фольклора.

В этот период у Д. В. Бубриха сформировалась идея подготовки сводной сравнительно-исторической грамматики финно-угорских языков. К работам такого рода относятся статьи «Вокализм первого слова в пермских языках» (1945), «Послелогои в коми языке» (1946), «К истории коми спряжения» (рукопись), подготовленные им в Сыктывкаре, материал которых в дальнейшем вошел в его фундаментальный труд «Сравнительно-историческая грамматика финно-угорских языков», оставшийся в рукописи. В 1948 г. в Ижевске выходит обобщающая работа по пермским языкам «Историческая фонетика удмуртского языка (сравнительно с коми языком)». Книга явилась первым систематическим изложением явлений фонетики древнепермского языка. Для освещения прошлого коми языка автору «пришлось прибегать, кроме ссылок на диалекты, и очень редко, на исторические памятники, к ссылкам на удмуртский язык. Научное сопоставление коми и удмуртского языков, объединяемых под названием пермских, проясняет свою перспективу развития пермской речи...» [Туркин: 39–40; НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 11, д. 39, л. 34; д. 57, л. 4].

Вторым направлением научной работы института стало изучение диалектов коми языка, начавшееся еще в 1920-е гг. (В. И. Лыткин, А. С. Сидоров). В 1939 г. небольшие экспедиции работали на Нижней и Средней Сысоле, Верхней Вычегде, но материалы их не были обработаны. Более планомерное изучение диалектов началась с 1942 г. с участием Д. В. Бубриха и проводилось сотрудниками института А. С. Сидоровым, М. А. Сахаровой, Н. А. Мальцевой (Колеговой). В план работы было внесено составление «Краткого диалектологического атласа коми языка», который должен был проследить коми диалекты на территории Коми АССР по фонетике, морфологии, некоторым линиям синтаксиса и лексики. Были обработаны материалы экспедиций 1939 года и предпринята попытка составления диалектологических вопросников Цивилевым и Шургановым. Д. В. Бубрих разработал и издал небольшим тиражом диалектологический вопросник по изучению диалектов для составления диалектологического атласа коми языка, которым пользовались сотрудники института и привлекаемая к сбору диалектологического материала общественность (учителя сельских школ, работники библиотек, краеведы). В 1942 г. для Республиканского музея Д. С. Овериным при консультативной помощи Д. В. Бубриха была подготовлена «Диалектологическая карта Коми АССР» с приложениями 12 диалектов. В 1943–1944 гг. Д. В. Бубрихом, М. А. Сахаровой, А. С. Сидоровым велась работа по составлению краткого диалектологического атласа коми языка. В отчете за 1944 г. указывалось, что собранный материал обеспечивал подготовку описания коми диалектов, но еще «не обеспечивал составление расширенного диалектологического атласа коми языка». В 1944 г. архив института пополнился семью томами рукописного отчета, по которому в дальнейшем составлялась «Карта районов исследования», проведенных сектором языка, литературы и истории Базы АН СССР в Коми АССР [Кудряшова 1999; НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 1, д. 66, л. 26–29; д. 74, л. 3 об., 28].

В годы войны в Коми НИИ под научным руководством Д. В. Бубриха шла работа по составлению нормативного «Коми-русского словаря» (1948) – основной научной плановой теме института (А. И. Подорова, Н. А. Колегова, М. А. Сахарова, Д. С. Оверин, А. С. Сидоров). В 1942 г. Дмитрием Владимировичем была подготовлена инструкция по составлению

словаря, так как проделанная ранее работа требовала большой переработки с предварительным составлением словника. Помимо организационной и редакторской работы, ученым был написан раздел «Краткая грамматика коми слова», которая, по мнению рецензентов, «восполняет имеющиеся грамматики коми языка... Бубрих не ограничивается простой группировкой слов по их значению. В одинаковых на первый взгляд группах слов он находит разнообразные оттенки». В ходе работы были проведены десятки рабочих совещаний и совершены командировки в районы республики для проверки слов [НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 1, д. 62, л. 9; д. 67, л. 1–22; д. 47, л. 1; д. 74, л. 2, 26, 33; ф. 1, оп. 11, д. 58, л. 1].

Особый интерес в военный период представляют две работы Д. В. Бубриха: «К вопросу об "арийской чистоте" германцев» и «Еще к вопросу об "арийской чистоте" германцев» (1942, рукопись), которые стали продолжением научной дискуссии ученого по вопросу о неиндоевропейском субстрате германской речи. Его работа «О языковых следах финских тевтонов-чуди» (1926) стала первой в постановке этой гипотезы, и хотя ее основные положения не были поддержаны многими учеными, показала в тот период научную смелость ученого и свободу от расовых предрассудков. В годы войны эта проблема становится более актуальной, и ученый откликается новыми разработками [Керт 1975: 13–14; НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 11, д. 45, л. 2, 6, 7].

В Сыктывкаре Д. В. Бубрих высказал немало интересного и по такой сложной проблеме, как взаимоотношение языка и мышления. В 1942–1943 гг. он пишет работу «Происхождение речи и мышления. Посвящается родному героическому Ленинграду». По словам автора, «... настоящая статья представляет собою первый шаг в новом направлении», и задача статьи «развернуть разработку проблемы». В марте 1944 г. статья была представлена на обсуждение Ученого Совета Коми пединститута с участием сотрудников Коми НИИ, а затем доработана и опубликовалась в 1944 и 1946 гг. в Ленинграде под названием «Происхождение мышления и речи» [Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 11, д. 48, л. 43, 44].

Большая заслуга Д. В. Бубриха заключалась в подготовке научных кадров Коми НИИ и КГПИ. В 1943–1944 гг. он был научным руководителем аспирантов, ежемесячно проводил семинары с сотрудниками институтов по коми языку, являясь основным докладчиком. Организовал также цикл семинаров по вопросам общего и коми языкознания (в связи с удмуртским языкознанием), в которых принимали участие сотрудники Коми НИИ, КГПИ, Института усовершенствования учителей, студенты [НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 1, д. 74, л. 12, 15, 17–19, 22–25, 30; д. 66, л. 8].

С целью концентрации научных сил республики было предпринято проведение совместных заседаний работников Коми НИИ, Коми пединститута, Карело-Финского университета и других учреждений просвещения и культуры при разработке наиболее важных научных проектов. На таких заседаниях решались организационные вопросы, заслушивались отчеты и научные доклады ведущих ученых. Так, в 1942 г. на заседании был заслушан доклад Д. В. Бубриха «Предложение и слово в русском и коми языках», в 1943 г. – доклады «Субъективизация прилагательного и активизация существительного в коми языке», «Ударение в словах русского происхождения у коми поэтов» [НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 1, д. 66, л. 29; д. 74, л. 14].

В мае 1942 г. в Коми НИИ состоялось заседание с приглашением представителей Карело-Финского университета, Коми пединститута, музея (В. Юхнин, П. Анисимов, В. Поляков, И. Панев, В. Базанов, Д. Бубрих), наметившее меры по диалектологическому и фольклорному изучению территории Коми АССР. Участниками совещания был отмечен ряд недостатков при сборе фольклора: необработанность большого количества собранного материала и утечка из республики ценных фольклорных записей. Решением заседания было «объединить весь фольклорный материал в один архив при Коми НИИ». Был составлен план экспедиций и командировок, учитывающий финансовые возможности и творческие пожелания. С 1942 г. Коми НИИ организует совместно с Республиканским музеем и Карело-Финским университетом экспедиции по изучению народного творчества в Усть-Куломский, Усть-Цилемский, Удорский и Ижемский районы. Сбор фольклорных материалов проводился по

инструкции, составленной Д. В. Бубрихом. В 1943–1945 гг. в числе плановых тем института была подготовка сборника коми сказок (Д. В. Бубрих, А. И. Подорова) [Малкова 2001: 121–123; НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 1, д. 66, л. 34].

Ученые и преподаватели г. Сыктывкара высоко оценивали роль и значение Д. В. Бубриха в изучении коми языка, методической работе. Так, заведующая кафедрой коми языка КГПИ А. И. Кипрушева отмечала, что за годы войны «работа института резко повысилась. В этом много помог Бубрих. Научные доклады помогли молодым работникам». Директор института в 1944 г. А. И. Подорова считала, что следует «...полностью использовать Бубриха, пока он работает у нас. Он большую помощь оказал всем работникам НИИ» [НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 1, д. 74, л. 41].

Д. В. Бубрих продолжал сотрудничество с коми коллегами и после отъезда из Сыктывкара. В 1945 г. он – консультант сектора языка, письменности и истории Коми базы АН СССР и руководитель тем: «Частицы в коми языке» (исполнитель А. И. Подорова), «Наречия в коми языке» (исполнитель Н. А. Мальцева), «Разграничение прилагательных от существительных» (исполнитель М. А. Сахарова), «Изобразительные слова в коми языке» (исполнитель М. А. Сахарова) [НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 1, д. 86, л. 1–14].

В Научном архиве Коми научного центра УрО РАН находятся рукописные работы Д. В. Бубриха: «К истории коми спряжения» (1941), «К вопросу об "арийской чистоте" германцев» (1942), «К вопросу об употреблении некоторых звуков в коми языке» (1942), «Происхождение речи и мышления. Посвящается родному героическому Ленинграду» (1942), «Фонетика современного литературного коми языка» (1942), «Научная грамматика коми слова» Вып. 1 (1942), «Научная грамматика коми слова» Вып. 1. (1942–1943), «Части речи в коми языке» (1942–1943), «Краткая грамматика коми слова» (1944), «Тезисы к докладам и доклады по коми языку» в соавторстве с А. С. Сидоровым, Ф. Ф. Поповым (1943–1944), которые ждут своих исследователей [НА Коми НЦ УрО РАН, ф. 1, оп. 11, д. 39, 45, 46, 47, 48, 50, 57, 58, 70, 71].

Литература и источники

Керт Г. М. Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949). Очерки жизни и деятельности. Л., 1975. 104 с.

Керт Г. М. Д. В. Бубрих – основатель советского финно-угроведения // *Linguistica uralica*. 1990. № 1. С. 62–67.

Кудряшова В. М. История создания комплекса документов по фольклору в Научном архиве Коми научного центра УрО РАН // Архивы Уральского отделения Российской академии наук. Мат. науч. конф. Сыктывкар, 1999. С. 87–88.

Малкова Т. А. Коми научно-исследовательский институт в годы Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война в документах и воспоминаниях. Мат. конф. Сыктывкар, 2001. С. 121–123.

Малкова Т. А. Научная деятельность Д. В. Бубриха в годы Великой Отечественной войны // Европейский Север в стратегии Второй мировой войны (на материалах Коми АССР). Докл. и сообщ. науч. конф. Сыктывкар, 2005. С. 1–13.

Малкова Т. А. Карело-Финский государственный университет в Сыктывкаре (1941–1944 гг.) // Национальные отношения на Европейском Северо-Востоке: история и современность (социально-экономические, политические и культурные аспекты). Тр. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Вып. 66. Сыктывкар, 2009. С. 37–46.

Малкова Т. А. Научные кадры Коми научно-исследовательского института (1934–1944) // Роль личности в становлении и развитии национальных культур. Сб. статей по итогам Всеросс. науч.-практ. конф. Сыктывкар, 2013. С. 225–231.

НА Коми НЦ УрО РАН – Научный архив Коми научного центра УрО РАН.

Рощевский М. П., Рощевская Л. П., Береснева Г. Н. Сыктывкар и Республика Коми в судьбе академиков и членов-корреспондентов АН СССР и РАН // Архивы Уральского отделения Российской академии наук. Мат. науч. конф. Сыктывкар, 1999. С. 171–172.

Лариса Юрьевна Муковская
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

ВЕНГЕРСКАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ПРИСТАВКА *IS* ЭСТОНСКОЕ АФФИКСАЛЬНОЕ НАРЕЧИЕ (В ПЛЕНУ ТЕРМИНОЛОГИИ)

Объектом рассмотрения в настоящей работе являются единицы венгерской грамматики, получившие название *igekötő* (*praefixum verbale*) и традиционно переводимые на русский язык как *глагольная приставка* (см. например [Колпакова 2007: 18]), а также единицы эстонской грамматики, получившие название *abimäärsõna*, в принятом переводе на русский язык *аффиксальное наречие* (см. например [Сопоставительная грамматика 1962: 214; Краткий справочник 2003: 76; Муковская 2013: 12]).

Статус венгерской приставки определяется исследователями по-разному, и сама приставка описывается в разных разделах грамматики. Традиционные учебники теоретической грамматики венгерского языка для высшей школы, на которые принято ссылаться как на академические грамматики современного венгерского языка, рассматривают глагольную приставку в разделе *Határozószó* (наречие). Нужно сказать, что эта глава содержит такие подразделы как *A valóságos határozószók* (знаменательные наречия), *A határozói igenevek* (деепричастия), *A módosító szók* (частицы) и *Az igekötők* (глагольные приставки) [A mai magyar nyelv rendszere 1961]. Такой же подход и такая же трактовка глагольной приставки присутствует и в следующем издании академической венгерской грамматики [A mai magyar nyelv 1991]. Т. е. в класс наречий объединяются наречия как таковые (например: наречия места, времени, образа действия и состояния), деепричастия, частицы (те частицы, которые выражают субъективную точку зрения говорящего на то, о чем сообщается в предложении, например: *bizonyosan* 'наверное, вероятно', *aligha* 'едва', *csak* 'только' и др.) и глагольные приставки. Объединение таких разных групп слов в один класс наречий делается на том основании, что все эти слова называют обстоятельства совершения действия, переданного «глаголом (реже именем, другим наречием, а возможно и целым предложением)» [A mai magyar nyelv rendszere 1961: 251]. Несомненным является тот факт, что очень часто венгерская глагольная приставка дополняет значение, передаваемое глаголом, так же как это делают наречия, например: *körülnéz* 'оглядеться, осмотреться' (*körül* 'вокруг', *nézni* 'смотреть'), *hátamarad* 'оставать' (*hátra* 'назад', *marad* 'оставаться'), *hazajár* 'сходить домой, побывать дома' (*haza* 'домой', *jár* 'ездить, ходить'). Если такая единица получает в предложении интонационное выделение, то она уже определяется как собственно наречие [A mai magyar nyelv 1991: 66]: *Nem az iskolába, hanem haza sietett.* 'Не в школу, а домой спешил'.

Не считаются приставкой и сочетания, имеющие в своем составе показатель сравнительной степени или лично-притяжательный суффикс: *följebb lép* 'подниматься' (*följebb* 'выше', *lép* 'шагать'), *eleje tegye* 'идти навстречу' (*eleje* '(куда?) перед ним', *tegye* 'идти') [A mai magyar nyelv 1991: 66]. Исключение делается для образований *továbbáll* 'езжать' (*tovább* 'дальше', *áll* 'стоять'), *továbbmegy* 'ехать дальше', *továbbnéz* 'долго смотреть' (*néz* 'смотреть'), в которых элемент с аффиксом сравнительной степени *tovább-* признается приставкой [Magyar grammatika 2000: 265].

Авторы венгерских грамматик признают венгерскую приставку словом, но слово это не является *полноценным словом*, так как приставка (1) образует **единый комплекс** с глаголом (либо с глагольным именем, либо с отглагольным именем), и (2) значения, передаваемые приставками, очень разнообразны: от значений, которые традиционно выражаются наречиями, до способности приставки изменять, «модифицировать» значение глагола, подобно словообразовательным суффиксам [A mai magyar nyelv rendszere 1961: 253; A mai magyar nyelv

1991: 65]. Именно способность образовывать **постоянную** тесную связь с глаголом отражает термин *глагольная приставка*.

Значения, которые сообщает венгерская приставка глаголу, можно разделить на три группы:

1. направленность действия в пространстве, пространственная ориентация: *lejön* 'спускаться' (*le-* 'вниз', *jön* 'приходить'), *felmegy* 'подниматься' (*fel-* 'вверх', *megy* 'уходить'), *benéz* 'заглядывать' (*be-* 'внутри', *néz* 'смотреть'), *visszatér* 'возвращаться' (*vissza* 'назад, обратно');

2. аспектуальные значения: законченности действия (*megír* 'написать', *elhasznál* 'износить'), начала действия (*megmozdul* 'пошевелиться', *megszeret* 'влюбиться', *felgyújt* 'поджечь', *elhallgat* 'умолкнуть'), длительности действия при присоединении к итеративным глаголам (*elnézeget* 'разглядывать', *elálldogál* 'стоять, простаивать'), совершение действия вновь (*átfest* 'перекрасить', *átír* 'переписать'), «успешности завершения» действия (*levizsgázik* 'сдать экзамен', *kiharcol* 'завоевать', *felnevel* 'воспитать, вырастить'), «неуспешности, ошибочности» действия (*elszól* 'пересолить', *félrelép* 'оступиться', *elnéz* 'просмотреть'), «уменьшения», «принижения» или «увеличения» (*lesóványodik* 'похудеть', *lenéz* 'презирать', *letegez* 'обращаться на ты', *felnagyít* 'увеличить', *felmagasztal* 'восхвалять', *felnéz* 'смотреть с восхищением');

3. приставка меняет значение глагола и сужает его лексическую сочетаемость (ср. например, *mos* 'мыть' – *kimossa a ruhát* 'выстирать одежду', *elmossa az edényt* 'вымыть посуду', *lemossa a bútort* 'вымыть мебель', *megmossa a kezét* 'вымыть руки', *felmossa a szobát* 'вымыть пол в комнате'; *iszik* 'пить' – *megissza a vizet* 'выпить воду', *kiissza a poharat* 'выпить бокал', *az ember leissza magát* 'человек напивается / напьется', *az itatós felissza a tintát* 'промокашка впитывает чернила', *a föld beissza az esővizet* 'земля впитала дождевую воду'); приставка меняет значение глагола и сужает его лексическую сочетаемость, придавая значение завершенности действия (*elbeszélgeti az időt* 'поговорить время', *elissza a pénzt* 'протратить деньги', *kialussza magát* 'выспаться', *kitáncolom a lelkemet* 'я напляшусь от души'); приставка меняет значение глагола, при этом меняя синтаксические характеристики глагола: непереходный глагол переходит в разряд переходных, изменяется управление глагола (*hallgat* 'молчать; слушать' – *elhallgatja a híreit* 'замолчать новости', *nő* 'расти' – *kinővi a ruhát* 'вырасти из одежды', *dönt vmiről* 'решать в отношении чего-либо' – *eldönt vmit* 'решить что-либо', *ajándékoz vmit vkinek* 'подарить что-либо кому-либо' – *megajándékoz vkit vmiel* 'одарить кого-либо чем-либо') (Здесь и далее примеры на венгерском языке из [A mai magyar nyelv 1991: 66–68; A mai magyar nyelv rendszere 1961: 263–267; Magyar grammatika 2000: 264–267].)

Самостоятельность венгерской приставки, или относительная независимость от глагола, проявляется:

1. в ее способности употребляться без глагола в ответах на вопрос или в императивных высказываниях: *Ki innen!* 'Вон отсюда!'; *Megtanultad a leckét?* – *Meg.* 'букв. Ты выучил урок? – Вы (учила)';

2. в ее способности менять свою позицию по отношению к глаголу (*nézett vissza* 'по-смотрел назад', *el is ment* 'и ушел', *nem ment el* 'не ушел', *figyelj ide!* 'букв. слушай сюда!', *el fog menni* 'уйдет', *meg kell tanulni* 'нужно выучить') в предложениях определенного типа (с отрицанием, с модальными или служебными словами, с выделением (коммуникативным, интонационным) какого-либо другого члена предложения, в повелительных предложениях);

3. в ее способности к удвоению (*meg-megáll* 'то и дело останавливаться', *meg-megnéz* 'посматривать'), добавляя при этом глаголу значение повторяемости или продолжительности действия;

4. в ее способности сочетаться с антонимичной приставкой (*föl-le szálladgál* 'бегать туда-сюда', *Menet közben fel- és leszállani tilos.* 'Во время движения заходить и выходить запрещается'), добавляя глаголу значения «разнонаправленности» действия, действия, меняющего свое направление;

5. в потенциальной возможности задать вопрос к приставке (*Hazamegy. – Hova megy?* 'Идет домой. – Куда идет?');

6. в способности одной и той же приставки присоединяться к основам с гласными переднего ряда и к основам с гласными заднего ряда. Иными словами, приставки не имеют вариантов для основ в зависимости от ряда гласных в слове (несмотря на то, что приставка часто образует единый фонетический комплекс с основой, к которой она присоединяется).

Приставка, с одной стороны, представляет собой переходную категорию между самостоятельным словом, первым компонентом сложного слова и аффиксом в начале слова; с другой стороны, приставка может выполнять функции самостоятельных наречий или образовывать с глаголом устойчивый комплекс [A mai magyar nyelv 1991: 66].

Последняя по году выпуска грамматика венгерского языка, претендующая быть «классической» академической грамматикой, рассматривает венгерские приставки в разделе A viszonyzó (Служебные слова) [Magyar grammatika 2000: 68]. Этот раздел включает подразделы, посвященные вспомогательным глаголам и их производным (A segédigék és származékaik), послелогам (A névutó), приставкам (Az igekötő), союзам и союзным словам (A kötőszó), частицам (A partikula), артиклям (A névelő), отрицательным словам (A tagadószó). В класс служебных слов авторами грамматики объединяются слова, которые (1) не могут быть самостоятельными членами предложения, (2) не могут иметь при себе зависимых слов, (3) обычно не принимают аффиксов, (4) имеют служебное значение (или коммуникативную прагматическую функцию).

Если сравнить приводимое выше определение глагольной приставки в венгерской грамматике с определением, которое дается в классической эстонской грамматике аффиксальному наречию, то нетрудно заметить совпадение дефиниций: «Аффиксальные наречия – это неизменяемые слова, которые относятся в предложении к глаголу, придавая глаголу какой-то новый оттенок значения либо конкретизируя значение глагола», например: *läbi elama* 'пережить' (*läbi* 'через', *elama* 'жить'), *vastu võtma* 'принимать' (*vastu* 'напротив', *võtma* 'брать'), *kallale kippuma* 'покушаться' (*kallale* 'на', *kippuma* 'рваться, стремиться'), *tagasi tõmbuma* 'отойти, отступить' (*tagasi* 'назад', *tõmbuma* 'отойти'), *valmis saama* 'справиться' (*valmis* 'готов', *saama* 'мочь'), *laiali valguma* 'расплываться; растекаться' (*laiali* 'рассеял', *valguma* 'течь'), *läbi paistma* 'просвечивать' (*läbi* 'через', *paistma* 'светить'), *sisse elama* 'вжиться' (*sisse* 'внутри', *elama* 'жить'). Значения, передаваемые аффиксальными наречиями, близки к значениям, которые передаются словообразовательными аффиксами [Eesti keele käsiraamat 2000: 140].

Эстонские аффиксальные наречия могут образовывать т. н. «серии» (так же как формы, например, локативных падежей: иллатив – инессив – элатив; аллатив – адессив – аблатив; или некоторые послелогии, например: *arsti juurde* 'к врачу' – *arsti juures* 'у врача' – *arsti juurest* 'от врача', *kapi peale* 'на шкаф' – *kapi peal* 'на шкафу' – *kapi pealt* 'со шкафа' и др.): *kokku langema* 'обрушиться' – *koos eksisteerima* 'существовать' – *koost lagunema* 'крошиться, рассыпаться', *kõrvale jääma* 'оставаться в стороне' – *kõrvalt seisma* 'стоять рядом' – *kõrvalt vaatama* 'смотреть со стороны'¹.

Статус аффиксальных наречий, также как и статус венгерских глагольных приставок, при попытке выстроить классическую систему частей речи сложно определить однозначно. Во-первых, аффиксальные наречия представляют собой разнородный класс единиц: некоторые аффиксальные наречия могут выступать как самостоятельные наречия, употребление других вне связи с глагольной формой невозможно. К последней группе относятся такие аффиксальные наречия, которые в составе глагольной группы придают ей аспектуальное значение (например, в традиционной эстонской терминологии перфективирующие аффиксальные наречия) *ära minema* 'уйти', *ära kaebama* 'нажаловаться', *läbi lugema* 'прочитать', *läbi elama* 'пережить', *valmis saama* 'справиться', *valmis tegema* 'закончить, сделать', *valmis olema* 'быть готовым', *ilma jääma* 'утрачивать', *ilma jätma* 'лишить'), либо аффиксальные

¹ Примеры здесь и далее на эстонском языке из [Eesti keele käsiraamat 2000: 140–141].

наречия, которые образуют с глагольной основой связанное семантическое целое (*kallale kippuma* 'покушаться', *kallale tungima* 'нападать', *jälile jõudma* 'напасть на след', *jälile saama* 'уследить', *kaasa võtma* 'взять с собой', *kaasa tulema* 'прійти вместе с кем-либо', *kaasa mängima* 'участвовать в игре') [Eesti keele käsiraamat 2000: 140].

Аффиксальные наречия могут занимать позицию перед глагольной основой (в инфинитивных формах) и после (в финитных формах): *Ma ei taha ära minna*. 'Я не хочу уходить' – *juba ära läinud noor arst* 'уже ушедший молодой врач' – *Ma lähen ära*. 'Я ухожу'. *Mine ära*. 'Уходи!' Аффиксальные наречия могут встретиться и в предикативном употреблении: *Vihm on üle*. 'Дождь прошел' [Сопоставительная грамматика 1962: 61].

В эстонских грамматиках принято различать глаголы с аффиксальными наречиями (*ühendtegusõnad*, *ühendverbid* – слитные глаголы, составные глаголы) и глаголы с неотделяемым компонентом (*liittegusõnad*, *liitverbid* – сложные глаголы). Первый компонент сложных глаголов (в классической грамматике он называется *tüvi* 'основа') сохраняет свою позицию непосредственного контактного предшествования глагольной основе независимо от формы глагола: *allahindab* 'недооценивает' – *alahinnata* 'недооценить' – *allahinnatud* 'недооцененный'. Если в качестве первого компонента выступает *üle-* или *taas-*, то такое разграничение не всегда возможно, так как «некоторые глаголы могут употребляться и как глагол с аффиксальным наречием (*ühendtegusõna*) и как сложный глагол (*liittegusõna*)»: *Poiss ülehindas oma võimeid*. – *Poiss hindas oma võimeid üle*. 'Мальчик переоценил свои способности'. *Tema luule taasavastati alles saja aasta pärast*. – *Tema luule avastati taas alles saja aasta pärast*. 'Его / ее поэзия была открыта вновь только через сто лет' [Eesti keele käsiraamat 2000: 125]. Способом образования сложных глаголов (*liittegusõnad*) в эстонских грамматиках считается словосложение, где в качестве первого компонента могут выступать наречие (*alahindama* 'недооценивать', *eeltellima* 'делать предварительный заказ', *risküsitama* 'подвергать перекрестному вопросу'), прилагательное (*kuritarvitama* 'злоупотреблять', *külmsuitsutama* 'коптить методом холодного копчения') или существительное (*hädamaanduma* 'делать вынужденную посадку', *purilendama* 'лететь на планере').

Если говорить о значениях, которые придают аффиксальные наречия, присоединяясь к глаголу, то в эстонской грамматике принято отталкиваться от семантики самого аффиксального наречия:

1. наречия места придают значение направленности действия в пространстве (*sisse kukkuma* 'провалиться', *ligi astuma* 'подойти', *ümber minema* 'опрокинуться', *üles ronima* 'взобраться наверх'; менее очевидные случаи: *välja naerma* 'высмеять', *pealt vaatama* 'наблюдать');

2. «наречия-перфективаторы» придают или подчеркивают аспектуальные значения завершенности, результативности действия (*läbi lugema* 'прочитать', *maha müüma* 'продать', *otsa lõppema* 'закончиться', *valmis tegema* 'закончить, сделать', *ära ostma* 'купить') (см. также [Краткий справочник 2003: 88]);

3. наречия состояния придают значение достижения или нахождения, пребывания в каком-то состоянии, положении (*kokku kukkuma* 'рухнуть', *katki tegema* 'разбить, сломать', *korda saama* 'навести порядок');

4. наречный компонент изменяет или сужает значение глагола, изменяя его сочетаемостные свойства (*kirjutama* 'писать' – *maha kirjutama* 'спусывать': *Toots kirjutas naabri pealt maha*. 'Тоотс спусывал / писал у соседа'; *pidama* 'держат' – *maha pidama* 'устроить, провести': *Lektor pidas loengu maha*. 'Лектор прочитал лекцию') [Краткий справочник 2003: 20];

5. модальные наречия придают значения необходимости совершения действия (*vaja minema* 'пригодиться, понадобиться', *vaja olema* 'понадобиться', *tarvis minema* 'понадобиться', *tarvis olema* 'понадобиться') (Ср. пункты 1–3 и 5 с [Eesti keele käsiraamat 2000: 360–361]). Модальные наречия в эстонском языке некоторые лингвисты уже давно

предлагали считать предикативными наречиями или выделить их в отдельную группу категории состояния [Сопоставительная грамматика 1962: 206–207].

Если в венгерском языке могут сочетаться две глагольные приставки с пространственным значением, то в эстонском языке пространственные аффиксальные наречия сочетаются с «наречиями-перфективаторами» или «наречиями состояния». Например: *Taat teadis lume tuleku ette ära*. 'Дед предвидел, (что выпадет) снег' [Eesti keele käsiraamat 2000: 361].

Аффиксальные наречия в эстонском языке следует отличать от наречий и послелогов: *Ta on kusagil seal taga* (наречие). 'Он где-то там позади' – *Ta ajab teid taga* (аффиксальное наречие). 'Он / она преследует нас' – *Ta on meie taga* (послелог) 'Он позади нас' [Eesti keele käsiraamat 2000: 141]. Глагольную приставку в венгерском языке – от именных форм, наречий и послелогов: *Erős hátra* (имя сущ.) *nagyobb terhet raknak*. 'На сильную спину большую ношу грузят' – *Se hátra* (наречие), *se előre nem lehet látni*. 'Ни назад, ни вперед не видно' – *A versenyben bizony hátramaradtunk* (приставочный глагол). 'В соревновании мы конечно отстали' [A mai magyar nyelv rendszere 1961: 264]. *Együttműködik* (приставочный глагол) 'сотрудничать' – *valakivel együtt* (послелог) 'с кем-то вместе' – *együtt sétálnak* (наречие) 'вместе гуляют' [Magyar grammatika 2000: 267].

Оставляя за рамками нашего описания историю происхождения разных глагольных приставок в венгерском языке и аффиксальных наречий в эстонском, мы привели лишь те факты и примеры, которые даются в академических классических грамматиках названных языков. Неоднозначный статус этих единиц при попытке вписать их в принятые для каждого из языков классификации объясняется тем, что авторы вынуждены выбрать какой-то один критерий, который становится основанием для отнесения этих единиц либо к служебным наречиям (вспомогательным наречным компонентам глагола), либо к приставкам (префиксоидным элементам в структуре глагольной формы). Неизбежно происходит разброс материала по разным главам, посвященным словообразованию, морфологии и синтаксису этих языков. Часть материала при этом, по понятным причинам, выводится за рамки обсуждения: например, позиция данных единиц в зависимой словоформе, влияние вхождения этих единиц в состав глагольного комплекса на сочетаемостные свойства глагола, на способность глагола в этом случае открывать позиции для объекта / для субъекта, влияние семантических характеристик глагола на способность принимать такие единицы, стилистические особенности употребления глаголов с такими компонентами и др. В результате не очень качественные типологические исследования в лучшем случае упускают из виду многие аспекты функционирования этих единиц, в худшем – значительно обедняют богатый лингвистический материал венгерского и эстонского языков при описании глагольной системы, приставок, превербов, зависимого предиката, аспектуальности, субъектно-объектных отношений, модальности, синтаксиса в финно-угорских языках.

Параллели в синтаксисе и семантике аффиксальных наречий и глагольных приставок выходят за рамки того материала, который представлен в классических грамматиках эстонского и венгерского языков в настоящее время, и могут быть описаны более детально.

Литература

A mai magyar nyelv rendszere – Deme L., Farkas V., S. Hámosi A., Samu I., Károly S., B. Lőrinczy É., H. Molnár I., Ruzsiczky É., Szépe Gy., Temesi M., Tompa J. A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. I. Budapest, 1961.

A mai magyar nyelv – Bencédy J., Fábíán P., Rác E., Velcsov Mártonné. A mai magyar nyelv / szerk. Rác E. Nyolcadik kiadás. Budapest, 1991.

Eesti keele käsiraamat – Erelt M., Erelt T., Ross K. Eesti keele käsiraamat. Teine, täiendatud trükk. Tallinn, 2000.

Magyar grammatika – Balogh J., Haader L., Keszler B., Kugler N., Laczkó K., Lengyel K. Magyar grammatika / szerk. Keszler B. Budapest, 2000.

Колпакова Н. Н. Учебный венгерско-русский словарь лингвистических терминов. СПб., 2007.

Краткий справочник – Кюльмоя И., Вайгла Э., Солль М. Краткий справочник по контрастивной грамматике эстонского и русского языков. Тарту, 2003.

Муковская Л. Эстонско-русский словарь лингвистических терминов. СПб., 2013.

Сопоставительная грамматика – Пяльль Э., Тотсель Э., Тукумцев Г. Сопоставительная грамматика эстонского и русского языка. Для преподавателей и студентов. Tallinn, 1962.

Ирма Ивановна Муллонен

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ ИСТОРИИ КАРЕЛИИ*

Обращение к топонимам как надежному источнику реконструкции этнических и культурных процессов, происходивших в прошлом, имеет давние и прочные традиции. «Язык земли», как образно называл географические названия русский ученый Н. И. Надеждин, востребован и в исследовании этнического прошлого территории Русского Севера. Уже в ранних публикациях отмечается многослойность топонимии северных территорий как свидетельство многоэтапности освоения региона. Наиболее убедительных результатов в исследовании субстратной топонимии территории Русского Севера достигла, безусловно, уральская топонимическая школа во главе с А. К. Матвеевым [Матвеев 2001–2007]. Свои наработки, связанные с топонимическим ландшафтом примыкающих к Русскому Северу территорий Обонежья, Поморья и Приладожья, предложены карельскими исследователями [например, Муллонен 2002, Kuzmin 2014]. Интересные и чрезвычайно перспективные для дальнейшего исследования результаты достигнуты в последнее время финляндскими топонимистами.

В силу объемности материала и обширности самой проблемы внимание сосредоточено на ключевых особенностях методики топонимического исследования проблем этноязыковой истории территории, а также некоторых результатах анализа субстратной топонимии Карелии и западных районов Русского Севера, включая Поонежье и Белозерье.

Этнолингвистический потенциал топонимии базируется на целом ряде объективно присущих ей особенностей. Массовость топонимического материала позволяет оперировать большими количествами названий, что выгодно характеризует топонимию на фоне отрывочных и в массе своей поздних письменных источников или этнически плохо интерпретируемых и к тому же обычно неполных, отрывочных археологических свидетельств. Далее, исключительную ценность представляет привязка топонимов и топонимных типов к определенному времени и определенной территории. По мере углубления ономастических исследований становилось ясно, что топонимия является элементом системы, предполагающей образование географических названий по моделям, характеризующимся хронологической и географической приуроченностью. Определенные топонимные модели продуктивны определенное время, и это дает исходную возможность к поиску хронологических рамок бытования той или иной топонимной модели. Исходя из того, что ойконимы *-l*-ового типа (*Rahkoil*, *Ozroil*, *Vingl*) в вепском ареале функционируют практически исключительно как названия, образованные от нехристианских имен, есть основания полагать, что модель рано утратила здесь свою продуктивность. Если к этому добавить, что в большинстве случаев это названия гнезд поселений, при этом ареал распространения модели в значительной степени накладывается на ареал средневековых приладожских курганов X–XIII вв., то относительная хронология модели может приблизиться к абсолютной, а выявление полного ареала топонимов,

* Статья подготовлена в рамках выполнения проектов РГНФ 14-04-00243 «Топонимические модели Карелии в пространственно-временном контексте» и 15-04-00063 «Формирование диалектных ареалов вепского языка».

образованных по искомой модели, позволяет уточнять предполагаемые границы археологического ареала.

Далее, чрезвычайно ценным в связи с возможностью функционирования топонима как адреса даже после утраты создавшего его языка является то, что в топонимических системах тех территорий, на которых происходило или происходит языковое контактирование, присутствуют топонимы иноязычного происхождения. Именно они являются одним из наиболее существенных источников этноязыковой информации. Язык происхождения топонимов традиционно использовался в истории ономастики для решения этногенетических проблем. Современное исследование в данном направлении выработало целый ряд методов анализа субстратной топонимии, обеспечивающих большую надежность этимологической интерпретации [например, Матвеев 1986], а также осознало необходимость выявления принципов усвоения иноязычной топонимии топонимической системой-преемником. Без этих систематизирующих знаний этимологическое исследование лишается необходимого каркаса в виде закономерностей языкового взаимодействия контактирующих топонимических систем.

Ценность топонимии как этноисторического источника вытекает из того, что топоним при происхождении мотивирован, а слово, положенное в основу названия, отражает определенный признак, качество названного объекта. При этом выбор признака, отраженного в названии, определяется уровнем общественно-исторического развития того коллектива, который создает топонимическую систему. При кажущемся разнообразии топонимов на самом деле набор их достаточно ограничен. Выявляется множество повторяющихся топонимов, причем чем шире территориальные границы привлекаемого материала, тем больше повторений. В рамках единой культуры, сходных естественно-географических условий представления людей об окружающем мире в основных, определяющих чертах едины. А это значит, что создается психологическая предпосылка для выбора одного и того же признака географического объекта в качестве мотива номинации на разных участках территории. Замечено, например, что названия, которые даются народом, находившимся в момент номинации на более низком уровне общественных отношений, нередко нагляднее и образнее, а топонимы, указывающие на какие-то события, связаны в большей степени с кочевым бытом, чем с земледельческим. Установление частнособственнических отношений повлекло за собой появление наименований, указывающих на имя владельца или его социальное положение. Анализ типовых основ вепсской топонимии характеризует ее как имеющую утилитарную направленность. Вепсская топонимия достаточно последовательно отражает то, что целесообразно с точки зрения хозяйственного назначения. Основной пафос номинации – географическая реальность как объект хозяйственного использования. В соответствии с этим одни объекты ландшафта получают названия, другие – нет. В регионе вепсского Межозерья мало безымянных водоемов: даже те из них, что располагались в глубинах лесов, далеко от поселений, были функциональны в качестве, например, водных дорог или мест рыбалки. В то же время огромные лесные массивы не имеют особых названий: очевидно, нужды населения обеспечивались лесами, прилегающими к поселению. К тому же леса, находившиеся во владении казны, были во многом недоступны для местных крестьян. Возвышенные участки рельефа (горки, холмы, кряжи) – в силу того, что к ним привязываются и поселения, и сельскохозяйственные угодья – интересуют вепсскую топонимию значительно больше, чем низинный рельеф. Из всего многообразия мира флоры в топонимии закрепились, прежде всего, те ее представители, которые имеют определенную практическую ценность для человека. Как-нибудь неприметная вахта (вепс. *vehk*) оказывается для топонимии значительно важнее многих прочих растений, ибо она находила широкое применение в жизни местного населения. Ее использовали в народной медицине, корень ее в голодные годы добавляли в хлеб. Именно этим обусловлены многочисленные *Вехкозера* и *Вехкручи* на вепсской и смежной обрусевшей территории. Топооснова *vehk*- входит в число четырех самых частотных вепсских топооснов из мира флоры. Такая утилитарная направленность вепсской топонимии продиктована, очевидно, производящим характером культуры вепсского населения. Сельское хозяйство – основа экономики, и этим определяется во многом взгляд на окружающий мир.

С другой стороны, выбор признака, положенного в основу географического названия, диктуется не только уровнем социального развития и экономическими приоритетами общества. Использование топонимии в целях этноисторических исследований должно опираться на знание закономерностей ономической номинации, на то, что отражение реального мира и реальных отношений преломляется через призму топонимической системы как определенно-организирующего начала образования и функционирования географических названий. Должно учитываться, что основная функция названия – адресная. Топоним идентифицирует объект, отличает его от ряда подобных, а не описывает его свойства. Поэтому при акте номинации приходится принимать во внимание окружающую топонимию, особенно названия объектов одного разряда, и отказываться от тех возможностей называния, которые уже реализованы. В противном случае адресность не будет выполняться. Это не значит, однако, что за основу номинации может быть взят некий нереальный, несуществующий признак. Выбор признака будет осуществлен в рамках реальных особенностей географического объекта. Это означает, что единый для ряда географических объектов одного рода признак редко кладется в основу номинации.

Выбор признака объекта, отраженного в топониме, обусловлен, таким образом, рядом обстоятельств (в том числе человеческий фактор, временной фактор, природные особенности), среди которых важная роль принадлежит закономерностям ономастической системы. Носитель языка вместе с языком усваивает и систему окружающих его топонимов. Последняя становится для него моделью, когда он сам оказывается перед необходимостью имятворчества, т. е. вынужден присваивать имена географическим объектам.

Существование таких моделей оказывается чрезвычайно ценным для этнолингвистических изысканий, поскольку часть их имеет достаточно четко очерченные ареалы, формирование которых может быть увязано с экспансией определенных групп населения, историей образования этнических территорий, границ и т. д. В ходе освоения новой территории люди, естественно, опирались на ту систему топонимов, которая была им известна, и в рамках ее присваивали имена во вновь освоенном ареале. Использовались те же структурные модели (например, набор суффиксов), те же семантические и лексические типы (к примеру, модели метафорических топонимов типа *Железные Ворота* или *Kukoinharj*, букв. ‘петушиный гребень’), которые были известны и на материнской территории.

Для исследования истории заселения наиболее продуктивно использование моделей, которые характеризуются хронологической и географической приуроченностью, т. е. они были популярны лишь в какой-то ограниченный промежуток времени или представляли топонимическую систему определенной локальной группы населения. В этом случае их ареал не размыт и поддается интерпретации. Использование ареального или, иначе, типологическо-географического метода, основанного на этнолингвистической интерпретации ареалов бытования отдельных топонимных типов, позволило в последние годы значительно продвинуться в понимании происходивших в прошлом (отдаленном и не столь отдаленном) на территории Европейского северо-запада этноисторических процессов. В статье предложены некоторые результаты этой работы. При этом внимание сосредоточено на процессах, происходивших в Карелии и прилегающей к ней с востока территории Обонежья и Белозерья.

Карельское наследие на этноязыковой карте территории представляет собой верхний нерусский слой многослойной топонимии. Археологические свидетельства надежно привязывают формирование карельского этноса на рубеже I–II тысячелетий н. э. к территории Северо-Западного Приладожья [Кочкуркина 2012], которая обладала рядом природно-климатических и ландшафтно-географических особенностей, предопределивших образование этой «колыбели» (по Д. В. Бубриху) карельского этноса. Среди последних – система водно-волоковых путей, обеспечивавших выход в Приботнию и на Финский залив. Исключительную роль в формировании карельского этноса сыграла т. н. ладожская регрессия, связанная с подъемом суши и, соответственно, понижением уровня воды у северного побережья озера. Отступившая вода освободила плодородные ложбины, которые были позднее превращены в сельскохозяйственные угодья и сыграли выдающуюся роль в формировании карель-

ского этноса и становлении системы его расселения. Здесь, на берегах заливов с плодородной почвой, на рубеже I и II тысячелетий образуется исключительно устойчивая во времени система поселений. Показательно, что ключевые места старинной карты поселений, сформировавшейся еще на древнекарельском этапе освоения территории и маркированной крепостями, оставались неизменными на протяжении многих столетий, несмотря на перипетии истории. Деревни, зафиксированные в Писцовой книге Водской пятины 1500 г. – наиболее полным и раннем письменном источнике, описывающем территорию Карельского Приладожья, повторены на шведской карте XVII века и благополучно дожили до середины XX в. При этом в источнике 1500 г. большинство поселений является разросшимися многодворными образованиями, что свидетельствует об их появлении в более раннее время. Дополнительным обстоятельством формирования традиционной карельской системы расселения, приуроченной к озерным заливам, была предоставляемая ландшафтом возможность организации их защиты от нападений с помощью системы укреплений, крепостей, располагавшихся на возвышенных участках побережий или островах, запиравших вход в залив.

Современная диалектная карта карельского языка охватывает значительно более обширную территорию, чем та, которая реконструируется в Приладожье к началу II тыс. Она формировалась в ходе неоднократных волн переселения карелов из Приладожья, вначале как промысловое освоение, а затем и оседлое заселение в XIII–XVIII вв. Особую роль в процессе переселения карелов в Карелию и далее на юго-восток сыграло, как известно, многовековое русско-шведское противостояние, превратившее на многие столетия коренные карельские территории в поле боевых действий.

Приток карельского населения на восток происходит особенно активно в XVII веке из попавшего под власть Швеции в 1617 году Карельского уезда. Карелы уходят из родных мест в Северном Приладожье, и именно в это время Карелия становится по-настоящему карельской. При этом с целью скрыть перебежчиков от шведских властей воеводе поручалось отсылать их из пограничных уездов к Москве, на Белоозеро, на Вологду и в другие отдаленные от границы места. Карелы селились в монастырских владениях Белозерского края и Двинского уезда, уже в 20-х годах XVII века они встречаются во владениях Соловецкого монастыря в Каргопольском уезде. Значительное количество переселенцев жило в отдаленном северном Антониево-Сийском монастыре и на его землях по Северной Двине.

Привлечение топонимического материала позволяет очертить широкий ареал карельского расселения к востоку от Онежского озера, на территории Русского Севера. Показательны в этом отношении топонимы с этнической основой Карел- / Корел-: *Кореловщина, Корелка, Карелин лес, Карельский ручей, Карельское озеро, Карельские острова, Карельщина, Корельский островок, Корелово, Карелы, Карельский Конец, Корелова гора, Карельская деревня, Подкарельская деревня, Корельский бор, села Большекорельское и Малокорельское* и др. Речь, как правило, идет о микротопонимах – наименованиях незначительных по размерам и социально малозначимых объектах, и хорошая их сохранность должна быть увязана с их относительно молодым возрастом. Ареал топоосновы тянется от Восточного Обонежья до бассейна Северной Двины. Как правило, топонимы этого типа маркируют большие или меньшие очаги карельских переселенцев XVII века на территории, занятой русским, в некоторых случаях – вепским населением. Обрусев, сменив этническое самосознание с карельского на русское, карельские мигранты сохранили память о себе в традиционной культуре и языке этой обширной территории.

Карелы расселялись дисперсно, подсекаясь в уже бытовавшие поселения или образуя новые. «Карельскость» проявляется в определенных очагах, но не покрывает территорию равномерно. В качестве примера такого очага приведу куст поселений Фоймогуба в Заонежье. По ПКОП XVI века известно [ПКОП: 147], что в это время здесь появляется несколько новых семей («вновь прибывшие»), при этом родовые патронимы (еще не фамилии) их позволяют утверждать, что они являются карельскими выходцами, и их появление в глубь Заонежского полуострова вызвано нестабильностью обстановки на Карельском перешейке в связи с русско-шведскими войнами: Кипр Иванов *Кярзин* (карел. *kärzä* ‘рыло; некрасивое

лицо'), Ушак *Пекуев* (Pekoi, Pekui – карельский вариант русского календарного мужского имени Петр), братья Манулко и Иванко *Патракеевы* (Патракей по-карельски – Patro, Patroi – именно этот карельский оригинал закрепился в названии деревни Патрово в Фоймогубе), Якимко Яковлев *Лонаков* (с карельским прозвищным патронимом, происхождение которого не вполне ясно). Упомянутые в документе исторические персонажи сохранили память о себе в названиях деревень, ими основанных в местности Фоймогуба: *Кярзино, Пековка, Патрово, Лонаково*. Возник, таким образом, карельский очаг в центре к тому времени уже русского Заонежского полуострова.

«Кореляне», судя по нашим материалам, продвигались на восток, на территорию Русского Севера, разными путями, которые возможно реконструировать, применяя ареальный анализ дистрибутирующих карельских топонимных основ. Так, ареал метафорической карельской топоосновы *Kuadie-*, присущей наименованиям небольших по размерам озер, заливов, формой напоминающих штаны, демонстрирует северный путь. Словом *kuadie* (карел.) / *kaatio* (фин.) в карельском языке и возникших на его основе восточных финских говорах называют подштанники, иногда ляжки. Ареал тянется из Приладожья по путям карельской экспансии в Поморье и оттуда затем на устье Онеги, Двины и Пинеги, где представлены такие русифицированные варианты, как озера *Кадье, Кадезеро, Квадозеро, Кадья ламба*. Видимо, речь может идти о морском пути. Кстати, поморский ареал демонстрируют и многочисленные лексические карелизмы в русских говорах Архангельской области [Комягина 1994].

Другой путь – Обонежский, выходящий по внутренним водным путям через Онежское озеро в Заволочье. Он подтверждается, к примеру, ареалом карельской топоосновы *Jylmäkkä-* карел. *jylmäkkä* 'гора с крутыми склонами'). Он наиболее плотен, насыщен в северном Приладожье, по мере продвижения на восток он редет, но доходит до р. Онеги.

Исследования последнего времени надежно доказывают, что вместе с карельскими переселенцами на восток оттягивалось и некоторое количество этнически финского населения. Об этом свидетельствуют топонимы с основой *Ruotsi-* букв. 'швед, шведский', но для карелов она одновременно обозначала и финское население, подданных Шведского королевства. Эти названия представлены вдоль основных путей карельской экспансии, подтверждая тем самым, что среди переселенцев были и финны – представители саво. Вопрос о продвижении жителей Саво (саволаксов) на территорию Карелии до сих пор специально не ставился, поскольку в распоряжении исследователей не было надежного дистрибутирующего материала. Исследования в области топонимики предоставляют такой материал, показывая, в частности, что топонимы с дифференцирующими саволакскими моделями обнаруживаются не только в западных областях Карелии, но и в Поморье? и в небольшом количестве в Обонежье [Кузьмин 2011].

Понятно, что карельская топонимия представляет собой верхний пласт многослойной субстратной топонимии. Ее ареал определен еще не до конца, тем более что произошло ее наложение на более раннюю, в языковом отношении близкородственную, вепсскую топонимию этого региона. В силу значительного тождества двух родственных топосистем их идентификация, особенно в условиях русской адаптации, вызывает сложности. Тем не менее, усилиями как карельских, так и работающих в области субстратной севернорусской топонимии исследователей к настоящему времени выявлены некоторые маркеры, позволяющие это делать.

Исследования в области вепсской топонимии доказывают, что она представлена далеко за пределами ареала современного вепсского расселения и реконструирует, таким образом, историческую вепсскую этническую территорию, которая занимала область с центром в Обонежье. Ранний этап, конец I тыс. н. э. в формировании вепсской этнической территории был привязан, судя по известным археологическим памятникам – курганам, к нижней, приустьевой части рек Юго-Восточного Приладожья. Одновременно, однако, уже намечались основные направления дальнейшего освоения территории – Обонежье и Белозерье. Археологически он маркирован памятниками приладожской курганной культуры рубежа I–II тыс.

н. э. При этом археологический ареал накладывается на ареал одной показательной топонимной модели, и это обстоятельство позволяет уточнить границы первоначальной вепсской территории. Имеются в виду названия поселений с формантом *-l*, который в ходе русской адаптации преобразовался в *-ичи / -ицы*: *Karhil – Каргиничи, Reboil – Ребовичи, Terl – Тервиничи, Hamaral – Гоморовичи, Vingl – Винницы* и др. Это названия своеобразных вепсских «родовых» деревень, центров, откуда происходило затем вторичное заселение территории. Два топонима этой модели – «в Тервиничех» и «у Вьюнице» – упомянуты уже в XIII веке в приписке к Уставу Святослава Ольговича – самом раннем из известных науке документов по территории вепсского Присвирья. Важно, что данная топонимная модель маркирует земледельческий тип поселений.

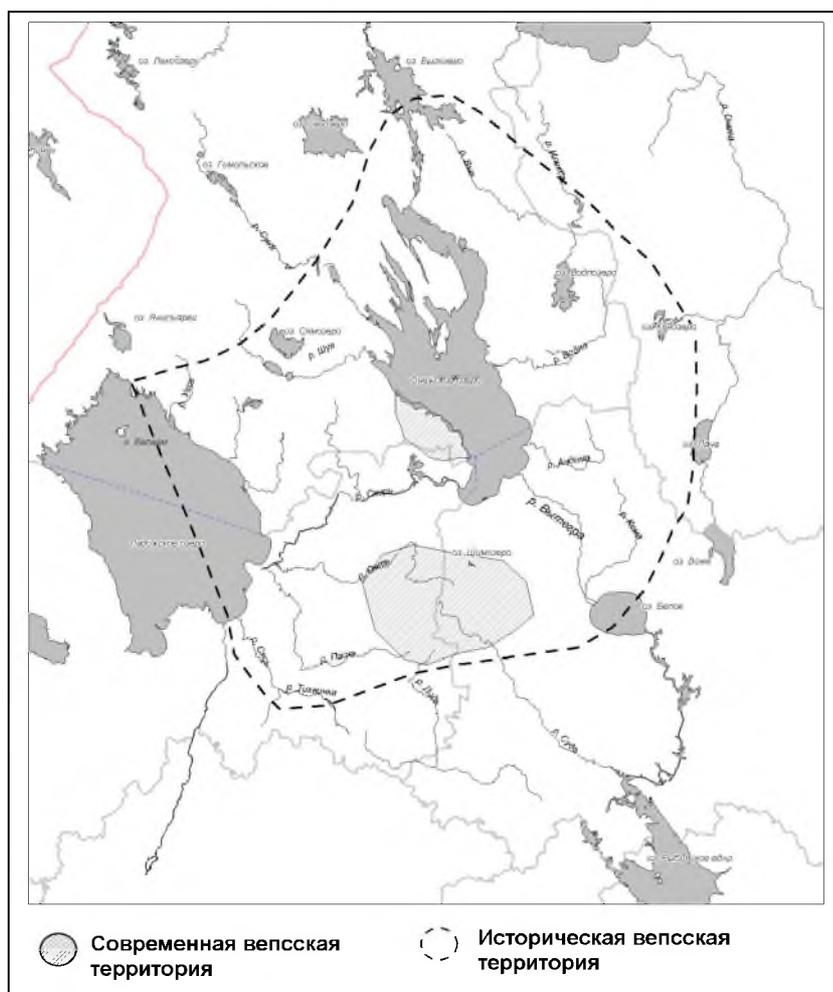


Рис. 1.

Историческая вепсская территория, реконструированная по данным дифференцирующих вепсских топонимных моделей

менным источникам. Восточная граница исторической вепсской территории, судя по топонимическим материалам, проходила в восточном Поонежье, с выходом из верхнего Поонежья, от озера Лача, к Белому озеру. Ее формирование обусловлено, конечно, древнерусским продвижением в Белозерье и далее через транзитный Ухтомский волок к верховьям реки Онеги и затем вниз по Онеге в Поморье. Оно подпирало с юго-востока вепсское продвижение и препятствовало его распространению в бассейн Онеги и Белого озера (Рис. 1).

Другой новый для вепсологии вывод, вытекающий из ареального анализа вепсской топонимии, касается экономических предпосылок освоения вепсами северных территорий. Традиционно на основе анализа археологических материалов считалось, что вепсское продвижение на север Обонежья было продиктовано промысловым освоением. Однако картографирование вепсских топонимов не вполне подтверждает этот вывод. Оказалось, что из

Дальнейшее освоение вепсами территории и границы этого продвижения в Обонежье с выходом на Онежско-Беломорский водораздел на севере, западные притоки реки Онеги на востоке и северное Белозерье на юге также реконструируются по данным топонимии [Муллонен 2012]. При этом оказалось, что границы вепсских топонимных ареалов коррелируют с границами Обонежской пятины – исторического административного подразделения, образовавшегося в XV веке в связи с присоединением новгородских земель к Москве. Это обстоятельство позволяет предполагать, что указанная административная единица объединяла земли с вепским населением. Иначе говоря, административные подразделения, существовавшие на территории средневековой Карелии, могли носить этнический характер. Топонимический материал позволяет увидеть то, что невозможно проследить по письменным источникам.

карты в карту северная граница вепских топонимных ареалов пересекает центральную Карелию и проходит от северо-западного угла Ладожского озера на западе к Выгозеру на востоке, т. е. по северной границе Онежско-Ладожского водораздела. Почему вепсы в своем продвижении на север остановились тут и не пошли дальше на север? Ответ, видимо, заключается в том, что северный предел исторического вепского этнического ареала, маркированного дистрибутивными вепскими топонимными моделями, повторяет очертания северной границы зоны среднетаежных сосновых лесов, а также южной климатической зоны. Иначе говоря, вепское расселение на север определялось, видимо, ландшафтно-географическими и климатическими факторами, что связано не столько с промысловым, сколько с сельскохозяйственным характером освоения средневековыми вепсами северных территорий. Природная граница оказывается и культурной, отделяющей территорию, наиболее благоприятную для ведения земледелия в северных условиях, от районов, где таковое малоэффективно. Сельскохозяйственный, а не промысловый характер культуры сформировал северную границу вепской территории.

Если верхние пласты субстратной топонимии территории обследования – карельский и предшествовавший ему вепский – при всех имеющихся вопросах все-таки интерпретируются в целом однозначно, то анализ предшествовавших им пластов наталкивается на значительные сложности. Установление того особого языкового типа, а вернее, тех особых языковых типов, которые бытовали на Русском Севере – это сейчас самая актуальная задача в области субстратной топонимии этого региона. Вопросы, поставленные уже первыми исследователями Европейского севера России (Русского Севера), остаются по-прежнему актуальными: с каким дославянским населением соприкоснулись новгородцы, продвигаясь на восток по транзитным водно-волоковым путям, на каком языке говорила заволочская чуждь, можно ли отождествлять весь с вепсами, или как далеко на юг распространялись в прошлом саамы? На эти вопросы современные исследователи отвечают по-разному. Однако при всем разнообразии подходов в них всех есть общее – констатация некоего языкового состояния, для интерпретации которого необходимо привлечь данные родственных, территориально смежных финно-угорских языков. Благодаря исследованиям А. К. Матвеева широкое распространение получила саамская теория, в соответствии с которой обширные пространства на Европейском севере – от Скандинавии на западе до Урала на востоке – были населены предками современных саамов. Она основана на широком бытовании здесь топооснов, этимологизирующихся из саамского языка. Однако исследования последнего времени свидетельствуют о том, что поиски саамского наследия должны быть сопряжены с решением проблемы этногенеза саамов. Известно, что в саамском языке существует два принципиально важных пласта лексики: финно-угорский, единый с прибалтийско-финскими (и в целом финно-угорскими) языками, и субстратный, истоки которого затемнены. В последнее время он определяется многими исследователями как палеоевропейский [Aikio 2012]. Иначе говоря, саамские и прибалтийско-финские языки восходят к единым праязыковым истокам, однако в саамских, в отличие от прибалтийско-финских, присутствует субстратный элемент – языковое наследие того автохтонного населения, которое было поглощено финно-угорскими переселенцами в ходе продвижения на север. В связи с этим показательно, что картографирование выявило важную закономерность в ареальной дистрибуции саамских топооснов. Оказалось, что ареал топонимных основ, восходящих к общему прибалтийско-финско-саамскому наследию, значительно смещен на юго-восток на фоне ареала топооснов, в которых представлена саамская лексика, не имеющая параллелей в прибалтийско-финских и вообще финно-угорских языках. На эту особенность обратил внимание финский исследователь Янне Саарикиви [Saarikivi 2004].

Очевидно, за этим ареальным членением стоят разные этапы древней саамской этноязыковой истории. Не исключено, что ареал субстратной топоосновы отражает былую территорию бытования палеоевропейского субстрата, подвергшегося финно-угорскому языковому воздействию, сформировавшему в итоге саамский язык. Иначе говоря, саамский язык понимается как образование, возникшее на территории Карелии, с юго-восточной границей в

Обонежье, в результате наложения финно-угорского языкового типа (фин. varhaiskantasuomi, англ. Proto-Finnic) на субстратный. В этом случае встает вопрос о правомерности отнесения к сугубо саамскому наследию той финно-угорской топонимии на территории современной Архангельской области, которая традиционно интерпретируется как саамская. Видимо, речь должна идти не о собственно саамском, а о квази-саамском, т. е. древнем финно-угорском языковом наследии, едином для прибалтийско-финских и саамских языков, которое на более западных территориях преобразовалось в результате поглощения субстратного языкового элемента в прасаамский язык. Ареальное членение, выявленное на примере двух саамских типов, подтверждается и территорией распространения других саамских топооснов. Оно, что немаловажно, позволяет скорректировать и сблизить позиции археологии и языкознания на этническую историю саамов. Сейчас они значительно расходятся, в частности, в представлениях об этнической саамской территории.

По мере накопления новых материалов о дославянском этноязыковом ландшафте Русского Севера становится понятным, что на этой обширной территории проживали разные финно-угорские в языковом отношении коллективы, занимавшие промежуточное положение между пермскими, волжскими и прибалтийско-финско-саамскими языками. При этом топонимия в силу обозначенных выше причин рассматривается в качестве основного источника реконструкции языковой ситуации региона в I тысячелетии н. э. Ведется поиск топооснов и формантов, дистрибутирующих разные языковые коллективы, выявление т. н. бинарной оппозиции, когда в одном значении использованы разные топоосновы. Примером такой бинарной оппозиции, позволяющей говорить о границе двух этнических ареалов в Белозерье, может служить ареальное противостояние топонимных элементов *-солово* и *-сарь*, использующихся активно в названиях островков на болоте. За первым стоит, очевидно, древний ландшафтный термин, выступающий в ряде прибалтийско-финских языков (финские говоры *salo*, эстонский *salu*), а также в саамском (*suolo* < **sōlōj*) в значении 'остров, в том числе на болоте' [SSA]: *Чёлсолово, Карсолово, Кейбосолово, Шаньшолово*. При этом с позиций фонетического облика он не может быть интерпретирован как прибалтийско-финский. Ареал топонимов с элементом *-соло(во)* тянется от Суды на восток к Белому озеру. Кроме того, к востоку от Белого озера обнаруживается еще два более компактных очага этой модели – в районе оз. Воже и верховьях реки Моши на западе Архангельской области. Существенно важно в этой ситуации, что севернее в той же функции используется элемент *-сарь*, имеющий явные вепские корни (ср. вепс. *sar* 'остров'): *Сосарь* 'болотный остров', *Койсарь* 'березовый остров', *Персарь* 'задний остров'. Граница, разделяющая две названные модели – вепскую и финно-угорскую, более конкретные истоки которой не определяются, проходит от северного берега Белого озера к оз. Воже. Знаменательно, что эту же границу повторяют ареалы некоторых других финно-угорских в широком плане топооснов. Данный белозерский (в широком плане) ареал в комплексе с этимологической трактовкой термина, а также выявленной ареальной оппозицией *-сарь* и *-солово* позволяет предполагать в *-солово* языковое наследие древнего невепского населения данной территории.

Наука постепенно продвигается в понимании происходивших на севере процессов и в этимологической интерпретации отдельных топонимов. К примеру, расшифрованы истоки давно дискутировавшейся в топонимических исследованиях топоосновы *ухт-*, воплотившейся в названиях многих десятков больших и малых рек на Европейском севере России (*Ухта, Ухтама, Ухтенжа, Уфтуга, Ухтынгирь* и многие другие). Убедительно доказано, что она привязывается всякий раз к волокам и, таким образом, восходит к финно-угорской лексеме **ukti* 'перешеек, волок' [Saarikivi 2006: 38, Муллонен 2002: 208–215]. Финский исследователь П. Рахконен предлагает для основы более конкретные меряно-муромские истоки, опираясь на ее ареал, тянущийся от Верхневолжья на юго-востоке до карельского Поморья и северной оконечности Ботнического залива Балтийского моря на северо-западе [Rahkonen 2013]. Парадоксально, что столь важный культурный термин оказался утраченным большинством живых финно-угорских языков, сохранившись лишь в далеких угорских языках. Однако методы исторической фонетики позволяют реконструировать его с безупречностью, а до-

казательством истинности реконструкции служат как раз речные наименования, привязанные к местам прохождения древних волоков. Достаточно вспомнить знаменитый Ухтомский волок между двумя Ухтомами в восточном Белозерье или менее знаменитый, но от этого не менее важный для местных жителей волок между заливами Унская губа и губа Ухта на Онежском полуострове в Поморье, позволявший пересечь полуостров по суше в самой узкой его части. В Карелии знаменитое село Ухта, переименованное в середине XX века в Калевалу, расположено в устье одноименной реки, которая в нижнем течении делает довольно крутое колено, при этом продвижение здесь осложнено несколькими порогами. Чтобы спрямить путь и миновать пороги, путники, продвигавшиеся вниз по реке, высаживались из лодок выше порогов и, преодолев пешком путь в несколько км (= сухопутный волок), выходили на берег Куйто, где могли продолжить путь по воде в другой лодке. Расшифровка топоосновы несет и важное историко-культурное содержание, поскольку реконструирует древние, еще дославянского времени, водно-волоковые пути на территории Европейского севера.

Удалось выявить, что, с точки зрения финно-угорских насельников, многочисленные реки с названиями *Пеленга, Пелекса, Пилежма, Пильма, Пяльма, Пележма, Пелега* и другие реки, в названиях которых присутствует корень Пел- / Пил- / Пял- (ср. фин.-угор. **pēle* ‘край, бок, сторона’), осознавались как ‘боковые’, например, по отношению к более крупной реке, притоками которой они являются [Матвеев 2007: 118, Муллонен 2012: 175–180]. Эти топонимы трудно привязать к какому-то конкретному финно-угорскому языку. Судя по широкому ареалу, слово присутствовало в языках многих этноязыковых коллективов, населявших в прошлом область Русского Севера и смежные с ним территории. Оно являлось в них общим праязыковым наследием. Сложность же расшифровки связана вновь с тем, что древняя лексема утратила в большинстве финно-угорских языков исходную примарную семантику, которая трансформировалась в целый спектр значений, невостребованных или мало востребованных в топонимии.

Доказано, что название *Онежское озеро* на языке древних обитателей края значило ‘большое’, и в нем закрепилось финно-угорское прилагательное **enä* ‘большой’, при этом, скорее, в том фонетическом виде, в котором оно реконструируется для прасаамского языкового состояния: **enē*. Подробная цепочка фонетических преобразований в ходе усвоения древнего топонима сначала в вепсский (*Ānine: Āniž-*), а затем в русский (*Онеж-*) приведена в [Муллонен 2002: 271–282].

Наименование еще одного крупного озера на Русском Севере – *Кубенского* – видимо, содержит в основе финно-угорское прилагательное **kuwa* ‘длинный’, которое адекватно отражает форму этого узкого и длинного озера.

Однако многочисленные субстратные топонимы остаются по-прежнему нерасшифрованными, что связано с исключительной сложностью задачи с большим количеством неизвестных. Для ее решения необходим учет типологии номинации, данных исторического языкознания, процессов поэтапного языкового контактирования. Один из важных инструментов – это анализ маркерных топооснов, типовых для топонимии, а поэтому повторяющихся неоднократно и формирующих ареалы, которые могут быть подвергнуты этноязыковой интерпретации. При этом есть понимание того, что топонимия – наиболее системный, а поэтому и наиболее достоверный источник по языку и древней этнокультурной истории края.

Литература и источники

Комягина Л. П. Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.

Кочуркина С. И. Этническая карта и территориально-административные границы Карелии на рубеже I–II тыс. н. э. (новгородское время) // Труды Карельского научного центра РАН. № 4. Серия «Гуманитарные исследования». Вып. 3. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. С. 3–12.

Кузьмин Д. В. Наследие саволаксов в топонимии Карелии // Труды КарНЦ РАН. № 6. Серия «Гуманитарные исследования». Вып. 2. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. С. 45–56.

Матвеев А. К. Методы топонимических исследований. Екатеринбург, 1986.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть I–III. Екатеринбург, 2001–2007.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002.

Муллонен И. И. География на службе топонимики: две прибалтийско-финские топонимические основы с «боковой» семантикой // Язык и прошлое народа. Екатеринбург, 2012. С. 170–180.

Муллонен И. И. Природные и культурные факторы формирования вепсской этнической территории // Труды Карельского научного центра РАН. № 4. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. С. 13–24.

ПКОП – Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. материалы по истории народов СССР. Вып. 1. Материалы по истории Карельской АССР. Ленинград, 1930.

Aikio A. An essay on Saami ethnolinguistic prehistory // A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Ed. By Riho Grünthal & Petri Kallio. SUST 266. Helsinki, 2012. P. 63–118.

Kuzmin D. Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. Helsinki, 2014.

Rahkonen P. Souty Eastern Contact Area of Finnic languages in the Light of Onomastics. Jyväskylä, 2013.

Saarikivi J. Über die samischen Substratennamen des Nordrusslands und Finnlands // Finnisch-Ugrische Forschungen 58. Helsinki, 2004. P. 162–234.

Saarikivi J. Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Tartu, 2006.

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3. SKST 556. Helsinki, 1992–2000.

Сергей Алексеевич Мызников

*Институт лингвистических исследований РАН,
г. Санкт-Петербург*

ВЕПСКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ ДАННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ЭТИМОЛОГИЗАЦИИ*

Данная работа является продолжением исследования вепсского лексикона в лингво-географическом и этимологическом аспектах [Мызников 2015: 189–191]. В работе используется опыт и материалы полевой работы над проектом «Лингвистический атлас вепсского языка» [Зайцева, Муллонен, Мызников 2012], а также данные «Словаря вепсского языка», «Suomen kielen etymologinen sanakirja». Если обратиться к «Словарю вепсского языка», то можно обнаружить, что в нем зафиксированы обширные южновепские материалы, например, с географической пометой Радогощь – 101 лексическая единица, Сидорово – 1208, Кортлахта – 680 слов. Причем в «Suomen kielen etymologinen sanakirja» также представлено немало единиц с диалектной вепсской локализацией, при общем числе ссылок на вепские материалы – около 3 тысяч. По томам словаря эти данные распределяются следующим образом:

1-й том – 14 единиц южн. диал., 16 сев. диал. (408 вепских лексем всего);

2-й том – 2 южн., 18 сев. (всего 475);

3-й – 16 южн., 110 сев. (всего – 372);

4-й том – 39 южн. 211 сев. (всего – 915);

5-й – 17 южн., 102 сев. (всего – 348);

6-й – 20 южн., 68 сев. (всего 418).

В данной статье предложены некоторые аспекты ареального и этимологического анализа вепсской лексики с дифференциацией ее (по возможности) по диалектам.

1. Имеется ряд данных, когда при общеприбалтийско-финском характере лексемы

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-04-00063.

людиковско-вепские материалы представляют своего рода некий семантический сдвиг, например: фин. – *ahjo* ‘печь, кузнечный горн’, вепс., люд. – ‘тлеющие угли’, однако северно-карельские данные, при обширности материалов, дают значительную семантическую наполняемость – *ahjo* ‘кузнечный горн’, ‘очаг, горящие угли’ [ССКГК: 10]. Ср.: вепс. южн. *ahj* ‘тлеющие угли’ при фин. *ahjo* ‘кузнечный горн’, фин. диал. ‘печь’, кар. ‘печь’, ‘кузнечный горн, большая головешка’, ‘угли, которые выгребли перед печью; куча сучьев и т. п., собранная для сжигания’, ливв. *ahjo, ahd'o* ‘кузнечный горн’, люд. *ahd'* ‘тлеющие угли’, водск. *ahjo*, эст. *ahi* [SKES: 5], ср. вепс. средн. *ahj* ‘горящие угли’ (Озера, Ладва, Корбиничи), южн. (Сидорово) [СВЯ: 21]. При этом вепские материалы в данном случае семантически достаточно однородны.

2. В ряде случаев южновепские данные представляют собой противопоставленный ареал по отношению к другим вепским диалектам, ср. вепс. южн. *kukič* ‘голубика’ и вепс. северн. *gilingeine*, вепс. шим. *g'õnikbarb* ‘ветка голубики’, *g'õnikäine* ‘голубика’ [СВЯ: 99]. Ср. также вепс. южн. *sämutada* ‘вдевать нитку в челнок для вязания сетей’, вепс. южн. *sämüne* ‘то же, что *käbu*’ (Белое озеро, Кортлахта, Сидорово) [СВЯ: 537], при вепс. *käbutada* ‘то же, что *sämutada*’ при вепс. *käbu* ‘челнок, иглица для вязания сетей’ [СВЯ: 259]. Имеются сходные карельские и саамские данные: кар. *käpy* ‘иглица, которой вяжут сеть’ [ССКГК: 267], ливв. *käbü* ‘челнок для вязания сетей, иглица’ [СКЯМ: 172], саам. *kiepp^a, kiebp^(a)* ‘игла для вязания сетей’ [KOLTKS: 119]. Однако для наименования этой реалии имеются и другие лексемы: кар. твер. *šukkulan'e* ‘иглица для вязания сетей’ [СКЯП: 279], ливв. *sukkulaine* ‘иглица для вязания сетей’ [СКЯМ, 348], кар. *poiminpuikko* ‘иглица для вязания сетей’ [ССКГК: 456].

3. Фиксируются лексические единицы, отмечаемые только как южновепские, при возможности этимологии на прибалтийско-финской почве: *rat'k* ‘сквозь’. В SKES вепская единица помещается в гнездо фин. *ratketa* ‘начинать [пить, смеяться и т. д.]; быть готовой [о работе]; заканчивать’ [SKES: 744]. Ср. также вепс. южн. *hama* ‘ум, толк, память’, *hamatoi* ‘бестолковый, с плохой памятью’ (Радогощь, Сидорово) [СВЯ: 104], ср. вепс. *ham* ‘соображение, память’ при фин. *haami, hamatti* ‘ум, понимание’ [SKES: 46].

4. В ряде случаев в вепском континууме южновепские лексические единицы представляют собой локализмы, которые фиксируются в прибалтийско-финских языках, но могут не иметь фиксаций в других вепских диалектах. А. Кяхрик приводит несколько таких единиц, однако их интерпретация может быть весьма различной.

5. Южновепские заимствования из русского языка могут быть представлены на прибалтийско-финской почве, но не зафиксированы в других вепских диалектах: фин. *hamutta, hamotta, hamuhta, hamuke, hamukkeet, hamuhde, hamuhteet* ‘набивка хомута’, при вепс. южн. *hamut* из русск. *хомут*, при люд. *hamutin* ‘набивка хомута’; вепс. *hamutin* из рус. *хомутина* ‘мягкий кожаный валик, прикрепляемый под клещи хомута, чтобы они не терли животному шеи’ [SKES: 54].

6. Некоторые заимствования из русского языка отмечаются только на южновепской почве, причем нередко такого рода единицы носят маркерный характер: *bas'tä* ‘говорить’, при широко распространенном *pagišta* ‘говорить’, *bask* ‘красивый’ [Муллонен 1989: 104]. Ср. также: вепс. южн. *balat* ‘грязь, слякоть’, *balatokaz* ‘грязный, слякотный’ (Белое озеро, Сидорово) [СВЯ: 40], вепс. южн. *šaržanik* ‘зипун, сшитый из понитка (грубого домотканого материала)’ (Радогощь) [СВЯ: 542].

7. В ряде случаев южновепские и русские диалектные данные весьма близки как фонетически, так и семантически: вепс. южн. *garun* ‘гриб-трутовик’ при рус. диал. *гарун* ‘трут’ (Хвойнин. Новг., 1924) [СРНГ (Т. 6): 147].

8. Иногда детальный анализ вепских, прибалтийско-финских и русских диалектных данных позволяет верифицировать некоторые этимологические версии. Например, фин. *karanka* ‘кол, шест, жердь, высохший, довольно толстый еловый сук’, ‘прут в изгороди’, *karankokuusi* ‘ель с твердой древесиной без сучьев или с небольшими сучками’, *karanka-, karenko-ohdake* ‘вид осота больших размеров’, кар. *karanko* ‘коряга, упавшая в реку’, ливв. *karango* ‘засохшее дерево’, *karangahahe* ‘сухостойное дерево’, люд. *karangahaine, kūzen*

karangahaihe 'засохшая ель' при вепс. южн. *karand: kukiŋkarand, -garand* 'осот, чертополох' [SKES: 161]. Авторы SKES предполагают связь с корнем *kara* 'твердый и засохший сук хвойного дерева' [SKES: 161].

9. Провести дифференциацию лексики, вошедшей в русские говоры из прибалтийско-финских языков на уровне диалектов, не всегда возможно. Так, например, только в ряде случаев можно идентифицировать вепсскую диалектную основу русских субстратных единиц: *ляйттина* 'кусок бересты, береста' (Прионеж., Педасельга, Ладва) и *ле'йттина* (Вытегор., Бараны) сопоставляются с *läip* (Пондала, Шимозеро), *l'eip* (Пяжозеро) при вепс. южн. *läip* (Белое озеро) в значении 'кусок, полоса бересты, еловой коры и т. п.' [СВЯ: 309]. Можно привести также в качестве дифференцируемого материала варианты наименования мокрицы, которые в целом имеют прибалтийско-финскую основу: *няча* может быть связано с вепс. *ñäçehiin* 'мокрица' [СВЯ: 371], сюда же относятся *нячега, нечога*, вариант *няжа* имеет соответствие в прионежском диалекте вепсского языка, ср. вепс. сев. *ñäža* 'мокрица' [SKES: 416], сюда же относится деривационный вариант *няжега*. Вариант *няджа* по ареалу восходит к средне-вепсскому диалекту, ср. вепс. *ñädža* 'мокрица' [СВЯ: 371], но имеет сходные формы в люд. *ñäd'žä* 'мокрица' [SKES: 416], *n'äd'žä* 'мокрица' [СКЯМ: 237] при фин. *nätsä* 'мокрица', которое авторы SKES связывают с фин. *nätä* 'сырая погода', 'влажный, мокрый', при фин. *nätä, näträuho* 'мокрица', которое, вероятно, связано со швед. *nata, nate* 'мокрица' [SKES: 417].

Хотя такого рода попытки дифференциации не всегда могут быть удачными, поскольку чаще всего в таких случаях речь идет о результатах довольно позднего вепсско-русского взаимодействия.

10. В ряде случаев фиксации южновепсских данных кажутся весьма темными с этимологической точки зрения, например: *čočō* 'младенец при обращении' (Радогощь) [СВЯ: 60], *gagura* 'пачкун, неряха', *gagurta* 'делать что-л. неряшливо' (Сидорово, Белое озеро) [СВЯ: 85].

Имеются случаи, когда только средне-вепсские данные представляют очень сложные для этимологического анализа материалы, например, вепс. средн. *lač* 'кадка, деревянная бочка' [СВЯ: 296] имеет соответствия в русских фольклорных источниках: *Отмыкайте кованы лачи, Насыпайте-тко перву мису красну золота* (Кижская волость) [Рыбников 1862: 18, зап. Лысановым]; (Макар. Нижегород.) [СРНГ (Т. 16): 297]. *Ла'ча* 'плетеный заплечный кузов для переноски различной поклажи': – *В лаче носили еду в поле* (Вост. Мар. АССР, 1952) [СРНГ (Т. 16): 297]. *Лачи* 'ларцы?' (Олон.) [Рыбников; СРНГ (Т. 16): 298]. Слово *лач*, отмеченное по текстам Рыбникова, не анализировалось с точки зрения его происхождения, однако возможно предположить для него прибалтийско-финскую этимологию. Кроме фиксации у Рыбникова, слово *лач* в фольклорном тексте представлено в Макарьевском уезде Нижегородской губернии: – *Оттирай закованный лачи* (Зимин, 1920). В СРНГ, где данное слово оформляется во множественном числе *лачи*, оно с сомнением сопоставляется с лексемой *ларцы* [СРНГ (Т. 16): 298], однако здесь же фиксируется сходный материал *ла'ча* 'плетеный заплечный кузов для переноски различной поклажи': – *В лаче носил еду в поле* (Вост. Мар. АССР, 1952) [СРНГ (Т. 16): 297], что позволяет соотнести фольклорную единицу у Рыбникова и диалектное слово в Поволжье с приведенными вепсскими данными. В удорском диалекте коми языка также бытует подобная лексема – *latš* 'вид бочки с крышкой для кваса, пива, воды' [SYRW: 134], коми удор. *латиш* 'бочонок', *сур латиш* 'бочонок для пива', *чери латиш* 'бочонок для рыбы' [ССКЗД: 194], вероятно, заимствованная из вепсского языка. Однако, поскольку вепсское слово не этимологизируется на финно-угорской почве, направление заимствования остается под вопросом. Вряд ли имеются основания для утверждения, что вепсское слово *lač* имеет коми происхождение [КЭСЯ: 413]. Близки по форме и семантике чувашские данные, ср. чуваш. *арча* 'сундук, шкатулка, ящик', при татар. *әржә* 'ящик' [ЭСЧЯ: 33]. Хотя, на наш взгляд, анализ сходных фольклорных текстов, позволяет рассматривать лексему *лач* как вариантную единицу от *ларе'ц*, возникшую, вероятно, при преобразовании формы множественного числа *ларцы'* на территориях с «чоканьем»: *ларцы* > *ларчи* > *лачи*. На территориях,

где доминирует «цоканье», такого рода процесс не отмечен, и в данных контекстах продолжает фигурировать лексема *ларцы, ларьци*.

Литература

Зайцева Н. Г., Муллонен И. И., Мызников С. А. Вопросник по собиранию материала для Лингвистического атласа вепсского языка. Петрозаводск: Институт языка, литературы и истории КНЦ РАН, 2012. 67 с.

КЭСЛЯ – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999.

Кяхрик А. Ранние записи по южно-вепсскому диалекту и их значение для современной диалектологии // Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск, 1989. С. 106–110.

Муллонен М. И. Из истории вепсской лексики // Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск, 1989. С. 102–105.

Мызников С. А. Южновепсский лексикон в севернорусском и прибалтийско-финском контексте // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы III Международной научной конференции. Екатеринбург, 7–17 сентября 2015 г. Екатеринбург, 2015.

Рыбников = Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. М., 1862.

СВЯ – Словарь вепсского языка. Сост. Зайцева М. И., Муллонен М. И. Л., 1972.

СКЯМ – Словарь карельского языка [ливвиковский диалект]. Сост. Г. Н. Макаров. Петрозаводск. 1990. 495 с.

СКЯП – Словарь карельского языка [тверские говоры]. Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994. 396 с.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Т. 1–47. М.; Л.; СПб., 1965–2014.

ССКГК – Словарь собственно-карельских говоров Карелии. Сост. Федотова В. П., Бойко Т. П. Петрозаводск, 2009. 350 с.

ССКЗД – Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961. 489 с.

ЭСЧА – Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары: Чувашиздат, 1964. 355 с.

KOLTKS – Itkonen T. I. Koltan ja kuolanlapin sanakirja. O. 1–2 // LSFU, XV. Helsinki, 1958.

Kettunen L. Lõune-vepsa häälik- ajlugu // Acta et Commentationes. Ser. B. T. 3. № 4. Tartu, 1922.

Suhonen Pentti. Suomalaiset kasvinnimet. Suomalaisen Eläin ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon kasvitieteellisiä julkaisuja. Osa 7. № 1. Helsinki, 1936.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. O. 1–7. Helsinki, 1955–1981.

SYRW – Wichman Y., Uotila T. E. Syrjänischer Wortschatz // LSFU. VII. Helsinki, 1942. 487 s.

Светлана Викторовна Нагурная

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

РОЛЬ Д. В. БУБРИХА В СОЗДАНИИ ЕДИНОГО КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА*

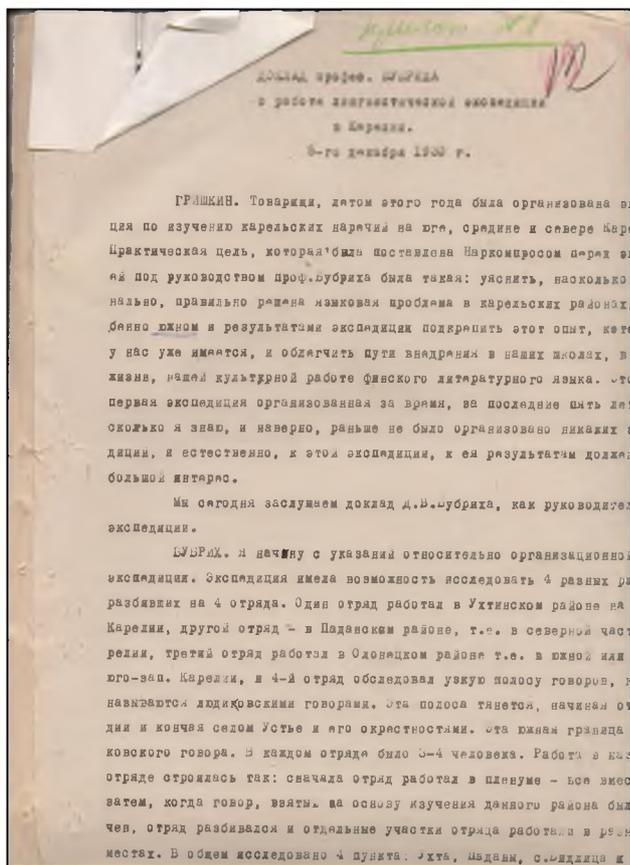
Научно-исследовательская и профессиональная деятельность Д. В. Бубриха, видного ученого-лингвиста, основателя отечественного финно-угроведения, была самым тесным образом связана с Карелией. С ноября 1937 года Д. В. Бубрих заведовал кафедрой карельского языка и карельской литературы Карельского государственного педагогического института. С 1947 по 1949 гг. – являлся директором Института языка, литературы и истории Карело-Финской базы АН СССР.

При участии и помощи Д. В. Бубриха формировалась письменность почти для всех бесписьменных финно-угорских народов, к числу которых относились карелы и вепсы. «Пе-

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект 14-04-00034а.

ру Д. В. Бубриха принадлежат обобщающие работы по финскому, мордовскому, удмуртскому, коми языкам. Однако наибольший вклад он оставил в исследовании карельского языка» [Керт 2000: 89].

В 1928 году Д. В. Бубрих впервые приезжает в Карелию. В «Обществе изучения Карелии» он ставит вопрос о создании в республиках своих литературных языков и изучения их диалектных баз. В этом же году выходит подготовленная им «Инструкция к собиранию материалов по финско-карельским говорам» [Бубрих, Беляков, Пунжина 1997: 1]. В 1930 году состоялась первая диалектологическая экспедиция Д. В. Бубриха в Карелии. К этому времени



Доклад профессора Бубриха о работе лингвистической экспедиции в Карелии. 5-го декабря 1930 г.

ученый приходит к мысли о полном диалектологическом изучении карельского языка и создании диалектологического атласа. Атлас должен был дать характеристику 200–300 диалектических точек, предполагалось охватить явления фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики [Бубрих, Беляков, Пунжина 1997: 1].

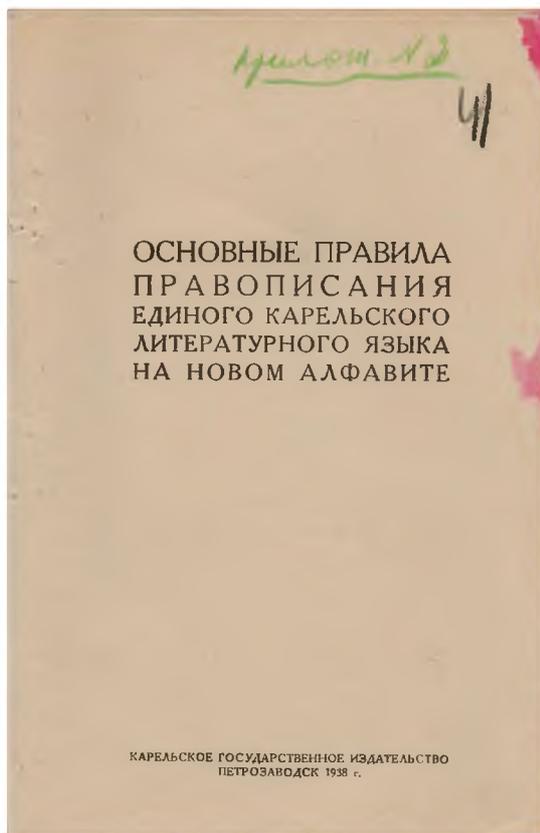
В секторе языкознания ИЯЛИ КарНЦ РАН сохранились оригиналы документов 1930-х годов о научной и практической деятельности лингвистов, непосредственно связанной с карельским языком. Один из них – Доклад профессора Бубриха о работе лингвистической экспедиции в Карелии (доклад был прочитан 5.12.1930). В Докладе Д. В. Бубрих говорит о том, что экспедиция исследовала четыре района – на севере Карелии Ухтинский и Паданском районы, на юго-западе – Олонецкий район, а четвертый отряд обследовал узкую полосу говоров, которые называются людиковскими. Экспедицией было собрано 20000 карточек [Доклад ... 1930: 1–2]. Помимо лингвистических наблюдений и выводов, в Докладе Д. В. Бубрих рассуждает о возможности создания литературного языка для карелов.

Здесь стоит кратко остановиться на характеристике условий социально-политической жизни, которые сложились в Карелии к началу 1930-х годов. Национально-демографическая ситуация значительно изменилась в связи с принятием плана первой пятилетки 1928 года, реализация которого требовала прилива новой рабочей силы. В Карелию стали прибывать сезонные рабочие, в составе которых были белорусы, украинцы, татары. В начале 1930-х годов в различные отрасли промышленности прибыло несколько тысяч квалифицированных рабочих-иммигрантов, финнов по национальности, из США, Канады и Финляндии. Всего в 1931–1932 годах в Карелию на постоянное жительство переселилось 81 тысяча человек. Языковая ситуация усилила потребность в языке межнационального общения.

В августе 1929 года на пленуме Карельского обкома ВКП(б) был сделан вывод о возможности использования финского литературного языка в качестве объединяющего карельские говоры. Финскому руководству Карелии удалось убедить центр придать финскому языку статус официального, по их мнению, более подготовленного для культурной работы и использования в сфере образования. Это решение относилось не только к многочисленному в то время финскому населению, но распространялось на карелов и вепсов [Строгальщикова

2014: 194]. Если в 1925/1926 учебном году только 30 % карельских школ работали на финском языке, то с 1931/1932 учебного года все карельские школы перешли на финский язык [Культурное строительство...1986: 54]. Против политики «финнизации» активно выступали Д. В. Бубрих и его ученик М. М. Хямяляйнен. Эра «финнизации» длилась три года – с сентября 1929 года до лета 1933 года. В 1933 году в стране началась борьба с проявлениями «местного национализма». Финское руководство Карелии во главе с Э. Гюллингом было обвинено в ориентации на Финляндию, а в 1935 году оно было снято. «Кроме традиционных для того времени обвинений в шпионаже и буржуазном национализме, финское руководство обвинялось в попытке отрыва карельских и вепсских детей от русского и родных языков» [Строгальщикова 2014: 194].

Излагая свои взгляды с точки зрения сложившейся к 1930-м годам языковой ситуации на основании наблюдений, полученных в ходе лингвистической экспедиции, Д. В. Бубрих докладывал: «Мы изучали карельскую речь сравнительно с финской литературной речью для того, чтобы просто выяснить расхождения. Различия есть и фонетическое, и морфологическое, отчасти синтаксическое и словарное. Карельская речь очень разнородная. Отношения карельских говоров к финскому литературному языку таковы: ухтинский говор к финскому литературному языку ближе всего. Паданский (южнокарельский говор собственно карельского наречия) говор уже дальше. Если возьмем олонечские говоры, то они еще дальше. Людиковский говор дальше всех стоит от финского литературного языка. Я полагаю, что один карельский литературный язык был бы невозможен, то есть его можно было бы придумать или создать, но он не устроил бы всех. Приходится говорить не об одном литературном карельском языке, а о четырех. Что же брать, русский, финский литературный язык или четыре карельских языка. Теоретически говоря, было бы очень хорошо устроить четыре карельских литературных языка. Но если отвечать на вопрос – полезно ли практически четыре литературных языка, то отвечать надо – нет» [Доклад...1930: 6–8]. «Без напряженной и внимательной работы финский язык карельскому населению не привьется. Революционная терминология в карельской деревне сплошь русская, а не финская. В производственно-технической терминологии отражаются русские слова. Если на дело ознакомления карельского населения с финским литературным языком не будет обращено внимания, финский язык в карельской деревне не привьется. Надо поставить преподавание финского языка в сельской школе. В селе Видлица: ученики жалуются – приходят – поучились, а ушли и забыли. Совершенно очевидно, что в сельской школе должен быть человек, который знает и финский литературный язык, и местную языковую среду» [Доклад...1930: 9].



Основные правила правописания единого карельского литературного языка на новом алфавите. Петрозаводск, 1938. 28 с.

Работы Д. В. Бубриха с самого начала отмечала уверенность в исторической самостоятельности в развитии карельского языка. Полемизируя со сложившимися в финляндской науке представлениями о карельском языке как диалекте финского языка, Д. В. Бубрих писал: «...уже в течение более тысячи лет та речь, которая ныне является финской, и та речь, которая ныне является карельской, развиваются врозь» [Бубрих 1932: 16]. Словарь финского языка, «на редкость глубоко проникнутый пуристической тенденцией», по выражению Бубриха, «чрезвычайно темен для карела».

Весьма интересными, на наш взгляд, оказываются результаты проведенного Д. В. Бубрихом анализа отрывка из газеты на финском языке «Punainen Karjala». Ученый определил, что 51 % слов из отрывка будут совершенно непонятны для карела, 3 % вызовут недоразумения (например, форму *tiedotettu* ‘сообщено’ карел воспримет как производное слово от карельского *tiedohus* ‘колдовство’), а 8 % слов будут поняты с большим напряжением. В то же время 5 % слов будут поняты как интернациональные слова, а 11 % – как географические термины. И только 22% слов будут поняты в силу близости карельского языка к финскому.

Помимо лексики, Д. В. Бубрих сравнивает и синтактико-морфологические системы двух языков. Он пишет: «Карельская морфология сходна с финской не больше, чем с вепсской, эстонской и т. д. Так, финскому языку неизвестны так называемые притяжательные именные образования» [Бубрих 1932: 26]. В системе синтаксиса глубочайшие расхождения начинаются в области словосочетаний высших порядков. Подобным же образом Д. В. Бубрих исследует различия в звуковых системах карельского и финского языков, отмечая, что богато развитые в карельском языке категории звонких сильношумных, мягких и шипящих согласных финскому языку неизвестны или почти неизвестны. Кроме того, по мнению Бубриха, «... вполне овладеть практически сложнейшей системой звукосоответствий карельского и финского языков карел может только тогда, когда уже говорит свободно по-фински» [Бубрих 1932: 27]

Д. В. Бубрих отстаивал независимость развития и существования карельского языка. В этом отношении он полемизировал с финскими учеными по поводу независимости карельского языка и от русского. Так, например, согласно утверждению Х. Оянсуу, шипящие согласные в карельском языке обязаны исключительно русскому влиянию. Д. В. Бубрих показал, что соприкасавшиеся с карельским языком севернорусские говоры до последнего времени не знали *ч* и никогда не знали *джь* (*з*), что исключает появление в карельском языке согласных *с* и *з* под русским воздействием. Анализируя лексические системы русского и карельского языков, Дмитрий Владимирович отмечал, что немало карельских слов получило в русской среде весьма широкое распространение и проникло в письменный русский язык. Более того, через русский язык из карельского проникло, например, в белорусский язык такое слово, как *кенги* (от русского *кенги*, карел. *kengät* ‘башмаки’). Сравнивая синтактико-морфологическую систему двух языков, Бубрих указывал на то, что эти системы содержат весьма мало такого, что можно было бы целиком отнести за счёт взаимного влияния языков [Бубрих 1932: 33]. Так же и звуковые системы в карельском и русском языках обнаруживают недостаточный для безоговорочного понимания друг друга карелами и русскими «эффект сближения». Тем самым было дано обоснование для создания письменности.

В начале 1936 года в Карелии началась работа по созданию карельского литературного языка. В прессе появилось несколько публикаций на карельском языке, в какой-то степени он использовался в культурной работе. В январе 1937 года Жданову было сделано следующее предложение: карельский литературный язык должен был быть создан с использованием латинского алфавита, как это было сделано в Тверской области, и его следует ввести в южной Карелии. В северной Карелии по-прежнему использовался бы финский язык. Однако вскоре в языковой политике Москвы произошли изменения. После 1937 года был осуществлен переход латинского алфавита к кириллическому.

17 июня 1937 года на XI Всекарельском съезде Советов была утверждена первая Конституция Карельской АССР. Карельский язык наравне с финским и русским был признан государственным. В приказном порядке начинается разработка карельской письменности.

В августе 1937 года в Петрозаводске состоялась I Всекарельская республиканская лингвистическая конференция, участники которой высказались за создание единого литературного языка для всего карельского населения. На конференции были намечены практические меры в этой области: разработка и издание грамматики, составление русско-карельского словаря, единой терминологии, издание периодики и книг на карельском языке. Д. В. Бубрих озвучил грамматические нормы, а руководитель лингвистической секции Карельского науч-

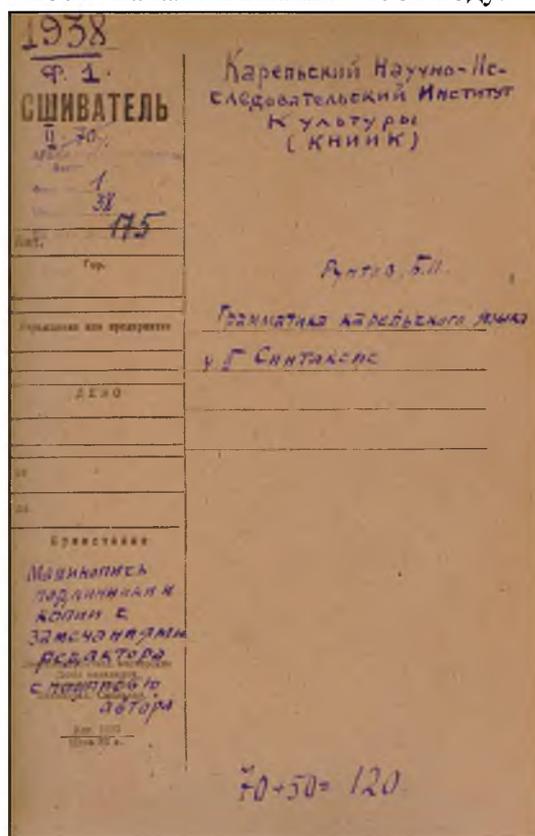
но-исследовательского института культуры М. М. Хямяляйнен сделал развернутый доклад о развитии терминологии и унификации словаря.

Утверждению алфавита карельского языка предшествовала работа ученых во главе с Д. В. Бубрихом по обсуждению правил карельского правописания. Среди документов, сохранившихся в секторе языкознания ИЯЛИ КарНЦ РАН, есть протокол совещания, основным вопросом повестки дня которого значился вопрос о карельском алфавите. В числе участников совещания указаны профессор Бубрих, Хямяляйнен, Савельев, Воронин, Кириллов, Ивачев, Машезерский, Лаукканен, Евсеев, Хрисанфов, Михкиев, Никандров. В 1930-е годы многие из перечисленных ученых были активно вовлечены в языковое строительство. Так, Н. В. Хрисанфов с 1936 года работал научным сотрудником историко-революционной секции Карельского научно-исследовательского института, занимался переводами художественной литературы на карельский язык, опубликовал записи карельских частушек, сам писал стихи на карельском. В конце 1937 года Н. Хрисанфов был арестован с обвинением в участии в «шпионско-повстанческой» организации, а в январе 1938 года расстрелян. А. М. Михкиев наряду с М. М. Хямяляйненом и Г. Богдановым составили первую вепскую азбуку и книгу для чтения [Bogdanov; Hämäläinen, Mihkijev 1932]. М. М. Хямяляйнен в 1932–1933 годах работал старшим научным сотрудником, заместителем руководителя этнографо-лингвистической секции Карельского НИИ культуры, с января 1937 года, заведовал лингвистической секцией института. М. М. Хямяляйнен занимался разработкой курса вепского языка для университета, составил грамматику вепского языка, вепско-русский словарь, в соавторстве написал учебник вепского языка для начальной школы и учебник карельского языка для средней школы. В. Я. Евсеев, известный фольклорист, финно-угровед, доктор филологических наук, научно-исследовательскую деятельность начал в КНИИК в 1931 году.

Из материалов совещания видно, что у ученых не было единого мнения по поводу выбора графики алфавита создаваемого литературного карельского языка. В основном сообщении Д. В. Бубрих изложил такие вопросы, как употребление букв карельского алфавита, перенос слов, передача гармонии гласных и чередования ступеней согласных, передача некоторых отдельных звуковых явлений, оформление заимствованных слов и собственных названий, написание форм склонения, наречий, сложных слов и т. д. В ходе дискуссии за русскую графическую основу для карельского алфавита высказывались Савельев, Кириллов, Ивачев, Михкиев. Евсеев высказался за латинский алфавит, как наиболее подходящий для карельского языка «в фонетическом и других смыслах». М. М. Хямяляйнен поддержал эту мысль, подчеркнув, что «очень трудно будет осваивать письменность, так как в русском алфавите не хватает ряда звуков, часто употребляемых в карельском языке».

В октябре 1937 года Наркомпрос Карелии опубликовал проект единого карельского алфавита, в основу которого был взят русский алфавит, а в конце этого же года максимально приближенный к русскому карельский алфавит был одобрен Наркомпросом РСФСР [Анттикоски 1998: 215].

Фонетическая система единого карельского языка, включающая в себя особенности звуковых явлений собственно карельских и тверских говоров, состояла из 8 гласных и 28 соглас-



Рунтов Б. И. Грамматика карельского языка. Часть II. Синтаксис. Карельский научно-исследовательский институт культуры.

ных букв. В письменном обозначении карельских звуков Д. В. Бубрих пользовался новым алфавитом, созданным на основе русской графики. Проект нового алфавита карельского языка, опубликованный в газете «Красная Карелия» для обсуждения в 1937 году, состоял из 39 букв. Окончательный вариант алфавита, утвержденный Наркомпросом РСФСР, состоял из 36 букв, 3 буквы: *ю, я, дж* были исключены [Баранцев 1967: 102–103].

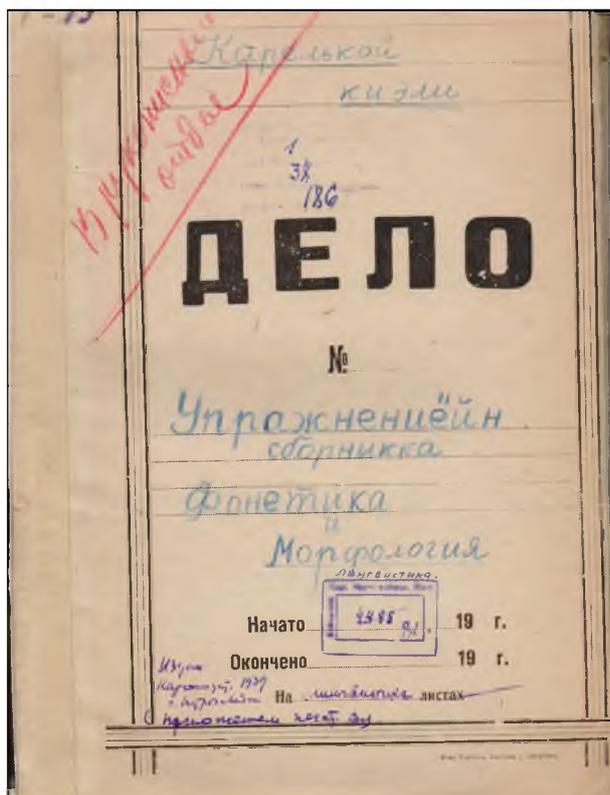
В 1937 году была издана разработанная Д. В. Бубрихом «Грамматика карельского языка» [Бубрих I 1937]. В предисловии Дмитрий Владимирович отмечал, что им связаны в единую систему все имеющиеся диалекты карельского языка, и что построенный таким образом литературный язык немногим отличается от литературного языка тверских карелов. В утвержденных 9 февраля 1938 года «Основных правилах правописания единого карельского языка» указывалось: «Ни одно карельское наречие не взято за основу литературного карельского языка, наоборот, правила правописания исходят из учета всего языкового многообразия всех карельских наречий, делая этот язык богаче, красочнее, не отрывая его от живого народного карельского языка» [Основные правила... 1938: 3].

Д. В. Бубрих начал уникальный в практике языкового строительства эксперимент, когда в основу письменного литературного языка был положен не один диалект, а в единую систему сводились ведущие черты всех диалектов.

При ЦИК была создана терминологическая комиссия, которая опубликовала списки общественно-политических терминов, терминов по грамматике, математике, естественным наукам. В 1937–1938 годах осуществился перевод преподавания карельских школ на карельский язык в начальной школе. Каргосиздат приступил к выпуску литературы на карельском языке. Ученые-лингвисты, как указывалось выше, приступили к составлению учебников,

учебных пособий, словарей карельского и вепсского языков. В научном архиве КарНЦ РАН сохранились рукописи некоторых учебников, часть из которых увидела свет, часть – осталась неизданной [Рунтов 1938; Галактионова, Волкова 1939 и др.].

Одновременно с работой по созданию единого карельского языка Д. В. Бубрих продолжает активные диалектологические исследования. В 1937 году была издана подготовленная Д. В. Бубрихом обширная «Программа по собиранию материалов для диалектологического атласа карельского языка», в которой содержалось около 2000 вопросов [Бубрих II 1937]. По «Программе» было проведено обследование около 150 населенных пунктов. В работе по заполнению программ участвовали научные сотрудники Карельского института культуры, преподаватели Карельского педагогического института, учителя сельских школ, студенты. К началу 1938 года Д. В. Бубрих составил около 200 диалектологических карт, отражающих языковые явления карельских диалектов [Керт 2000: 90]. Огромный лингвистический материал позволил Д. В. Бубриху сформулировать свое кредо по диалектному членению карельского языка [Бубрих, Беляков, Пунжина 1997: 3]. Карельский язык, по мнению Д. В. Бубриха, состоял из: 1) паданско-кемского наречия (на основе племенного языка карьяла); 2) калининского (на основе племенного языка карьяла, на иной территории, чем паданско-кемское); 3) ухтинского (на основе племенного языка карья-



Галактионова А. А., Волков А. Л. Сборник упражнений правописания по карельскому языку. Ч. 1: фонетика и морфология. Петрозаводск, 1939. Рукопись. НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 38, д. 186. 159 с.

рельский язык, по мнению Д. В. Бубриха, состоял из: 1) паданско-кемского наречия (на основе племенного языка карьяла); 2) калининского (на основе племенного языка карьяла, на иной территории, чем паданско-кемское); 3) ухтинского (на основе племенного языка карья-

ла в скрещении с финским языком); 4) ливвиковского (на основе языка лиуги); 5) людиковского (на основе племенного языка лиуги в скрещении с вепским). Впоследствии эта диалектная схема была уточнена.

Начавшееся «срочное» распространение единого карельского языка вызвало значительные трудности: обнаружилась острая нехватка кадров, способных квалифицированно вести работу на карельском языке, выявились трудности несовершенного разработанных грамматических норм, трудности перевода при отсутствии словаря и единой терминологии. Ощущалась острая нехватка переводчиков, журналистов, типографских работников. В 1938 году отмечалась «азбучная неграмотность» ряда вновь пришедших сотрудников редакции. План изданий на карельском языке в 1938 году по числу названий был выполнен лишь на 36 %. Руководство издательства объясняло невыполнение плана целым рядом причин и особенно массой споров и разногласий среди переводчиков и редакторов, являвшихся носителями различных наречий, по вопросам перевода русских общественно-политических и научных терминов. Редактор газеты «Советская Карелия» П. Савельев писал, что язык газеты чрезвычайно труден для читателя. Во второй половине 1938 года в республике распространялось лишь 60 % тиража газеты.

Осенью 1938 года начался новый этап развития карельской письменности. Правила литературного языка и их создатели были объявлены виновниками хаоса, возникшего в результате ликвидации финского языка и ускоренного введения новой письменности. «Репрессии обрушились и на языковедов. 9 января 1938 г. был арестован Д. В. Бубрих. Его признали «агентом» нескольких иностранных разведок и приговорили к смертной казни. Д. В. Бубрих провел в ленинградской тюрьме «Кресты» 70 суток и был освобожден после смещения с должности наркома НКВД Н. И. Ежова, когда из тюрем выпустили часть заключенных. М. М. Хямяляйнен был арестован 9 ноября 1938 г. Его как участника рабочей группы по разработке терминологии карельского языка обвинили в том, что он якобы намеренно включал в карельский язык финские суффиксы и приставки, «упрощал карельский язык до уровня первобытного», а также за связь с руководителями Карелии и учеными Финляндии. В 1939 г. дело было приостановлено и все обвиняемые по нему, кто остался в живых, в том числе и М. М. Хямяляйнен (его освободили 2 марта 1940 г.), – оказались на свободе за отсутствием состава преступления» [Строгальщикова 2014: 198].

Все перечисленные трудности были естественным следствием функционального и внутривидового развития карельского языка как языка местного общения, в котором отсутствовали многие термины и понятия. Совершенствование грамматических норм карельского языка и разработка терминологии, а затем их освоение населением потребовали бы довольно длительного времени. В Карелии к моменту создания литературного языка основная масса карельского населения в большей или меньшей мере уже овладела грамотой на русском или финском языках.

Попытка создания единого «междиалектного» литературного карельского языка успехом не увенчалась. В работах современных исследователей по освещению языковой ситуации второй половины тридцатых годов довольно часто встречается точка зрения о том, что народ не принял созданный за два года язык. Однако, как показывает новейший опыт создания карельской письменности и вообще исторический опыт формирования письменности и литературной нормы каких бы то ни было языков, процесс создания письменного и национального литературного языка (тем более при отсутствии письменных традиций и при наличии в языке множества диалектных различий) – достаточно длительное и порой противоречивое явление.

В послевоенные годы продолжилась работа лингвистов над созданием Диалектологического атласа карельского языка. В сентябре 1944 года Д. В. Бубрих пишет в правительство Карело-Финской республики Докладную записку о восстановлении лингвистического сектора в Карело-Финском научно-исследовательском институте культуры. Работы по составлению Атласа начались в 1947 году. В соответствии с программой Атлас должен был содержать 250–300 карт по фонетике, морфологии, дифференцированной по диалектам лексике. В 1946 году Бубрих предложил приступить к составлению вопросника по диалектологическо-

му атласу вепсского языка, который впоследствии был подготовлен М. Хямäläinen и Н. Богдановым.

Огромный диалектологический материал позволил Д. В. Бубриху уточнить схему диалектного членения карельского языка. «Карельский язык содержит три наречия: собственно-карельское (в Средней и Северной Карелии, а также в Калининских и соседних местах), ливвиковское (у восточного побережья Ладожского озера и дальше вглубь Олонецкого перешейка) и людиковское (узкой полосой вдоль восточного края ливвиковского наречия, недалеко от Онежского озера)» [Бубрих 1948: 44]. В 1956 году работа была завершена и представлена в Издательство АН СССР, и только в 1990 году НИЦ языков Финляндии обратился в Институт ЯЛИ КНЦ РАН с предложением издать Атлас. В 1997 году в Хельсинки в издательстве Финно-угорского общества Атлас вышел в свет.

Взгляды Д. В. Бубриха представляют сегодня ценность прежде всего как факт истории. Кроме того, это было мнение известного ученого. Однако, создание письменного карельского языка стало политическим заказом, поэтому сформированная в конце 1930-х годов междиалектная форма единого карельского языка требует тщательного лингвистического анализа, особенно с точки зрения преемственности письменных традиций истории и современности.

Литература и источники

Анттикоски Э. Стратегия карельского языкового планирования в 1920-е и 1930-е годы // В семье единой. Петрозаводск, 1998. С. 207–222.

Баранцев А. П. Карельская письменность // Прибалтийско-финское языкознание: Вопросы фонетики, грамматики и лексикологии. Ленинград, 1967. С. 84–104.

Бубрих Д. В. Карелы и карельский язык. Петрозаводск, 1932. 40 с.

Бубрих I 1937 – Бубрих Д. В. Грамматика карельского языка (фонетика и морфология). Петрозаводск, 1937. 78 с.

Бубрих II 1937 – Программа по собиранию материалов для диалектологического атласа карельского языка. Петрозаводск, 1937.

Бубрих Д. В. Историческое прошлое карельского народа в свете лингвистических данных // Известия Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР. Петрозаводск, 1948. Вып. 3. С. 42–50.

Бубрих Д. В., Беляков А. А., Пунжина А. В. Диалектологический атлас карельского языка. Хельсинки, 1997.

Галактионова А. А., Волков А. Л. Сборник упражнений правописания по карельскому языку. Ч. 1: фонетика и морфология. Петрозаводск, 1939.

Доклад... – Доклад профессора Бубриха о работе лингвистической экспедиции в Карелии. 5-го декабря 1930 г.

Керт Г. М. Очерки по карельскому языку. Петрозаводск, 2000. 111 с.

Культурное строительство... 1986: Культурное строительство в Советской Карелии 1926–1941: Народное образование и просвещение: документы и материалы. Петрозаводск, 1986. 176 с.

Основные правила... 1938: Основные правила правописания единого карельского литературного языка на новом алфавите. Петрозаводск, 1938. 28 с.

Рунтов 1938 – Рунтов Б. И. Грамматика карельского языка. Часть II. Синтаксис. Карельский научно-исследовательский институт культуры. 1938. Рукопись. НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 38, д. 175. 50 с.

Строгальщикова 2014 – Строгальщикова З. И. Вепсы. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург, 2014. 264 с.

Bogdanov, Hämäläinen, Mihkijev 1932: Bogdanov G., Hämäläinen M., Mihkijev A. Ezmäne vepsiden azbuk i lugendknig. Leningrad, 1932. 77 s.

Ирина Петровна Новак
Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск,
Анна Александровна Егорова
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск

СИСТЕМА ПОСЛЕЛОЖНЫХ ПАДЕЖЕЙ В ПЕРИФЕРИЙНЫХ ДИАЛЕКТАХ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА*

К периферийным диалектам карельского языка относятся говоры карельского населения, проживающего на протяжении четырех столетий на территории современных Тверской, Ленинградской и Новгородской областей. В начале XX в. численность данной группы карелов достигла исторического максимума – 150 тысяч человек, но за столетие эта цифра под влиянием различных факторов сократилась практически в 20 раз. Данные переписи населения 2010 года показывают, что лишь треть из указавших себя карелами владеет карельским языком.

Основываясь на территориальных и языковых критериях, исследователи выделяют пять периферийных диалектов, относящихся к южнокарельской группе собственно карельского наречия карельского языка. Речь идет о трех тверских: толмачёвском, весьегонском и дёржанском, а также тихвинском и валдайском диалектах. Толмачёвский диалект бытует на довольно обширной территории в центральной части Тверской области (Лихославльский, Спировский, Рамешковский, Максатихинский, Бежецкий районы), по числу носителей он является самым распространенным из вышеперечисленных. Представители весьегонского диалекта проживают на северо-востоке области: в Весьегонском районе и на прилегающих территориях Краснохолмского и Сандовского районов. Носителей дёржанского диалекта карельского языка вплоть до начала XXI века можно было встретить на юго-западе Тверской области, в Зубцовском районе, на данный момент диалект считается мертвым. Малочисленная группа тихвинских карелов локализуется в южной части Бокситогорского района Ленинградской области. В середине прошлого века в нескольких деревнях Валдайского района Новгородской области проживала группа валдайских карелов, на данный момент этот диалект, как и дёржанский, относится к мертвым.

Ранняя история исследования периферийных карельских диалектов связана с именами финляндских лингвистов Т. Швиндта, В. Петрелиуса, В. Салминена, К. Ф. Карьялайнена, Ю. Куёла, В. Алава. Огромный вклад в выделение тверских диалектов карельского языка внесла работа по сбору материала для «Диалектологического атласа карельского языка» [Бубрих 1997], валдайский и тихвинский диалекты в силу определенного рода причин, в атласе не были представлены. Активный сбор материала и исследование отдельных языковых уровней интересующей локальной группы карелов велись в середине XX в. силами советских и финляндских языковедов: Г. Н. Макаровым, А. В. Пунжиной, Д. В. Ряговым, П. Палмеос, Я. Ыйспуу, А. Пенттиля и др. Как показали исследования, многовековое тесное соседство карельского населения региона с русским значительно сказалось на всех периферийных карельских диалектах. Иноязычному влиянию оказались подвержены в первую очередь фонетическая и лексическая системы, наиболее устойчивая морфологическая система также не осталась в стороне, однако она смогла сохранить и развить отдельные черты, унаследованные из древнекарельского языка. К таковым можем отнести представительство во всех периферийных диалектах падежей послеложного образования.

* Статья подготовлена в рамках работы по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-3594.2015.6 «Исследование грамматической системы диалектов карельского языка Центральной России».

К послеложным падежам относятся падежи позднейшего образования, форманты которых возникли из слияния окончания старой падежной формы (чаще всего формы генитива, партитива, местных падежей) с редуцированным послелогом [Ковалева, Родионова 2011: 79]. Образование послеложных падежей является характерной особенностью агглютинативных языков, прибалтийско-финские языки в этом отношении не являются исключением. Основной причиной формирования послеложных падежей исследователи называют внутреннее развитие языка, в результате которого отдельные компоненты словосочетания утрачивают свою знаменательность и постепенно переходят в аффиксы. Отсутствие сдерживающего фактора орфографии в бесписьменных языках способствовало усилению интенсивности данного процесса [Зайцева 1981: 198].

В ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка получили развитие пять послеложных падежей: элатив, аблатив, комитатив, терминатив и аппроксиматив [Ковалева, Родионова 2011: 83–88]; в отдельных южнокарельских диалектах собственно карельского наречия – комитатив, терминатив, аппроксиматив и эгрессив, каждый из которых находится на том или ином отрезке пути от послеложной конструкции к живому падежу. Определить этот отрезок позволяют основные признаки перехода послелога в падежное окончание:

– на фонетическом уровне: распространение гармонии гласных на падежное окончание, утрата послелогом самостоятельного ударения, утрата паузы между именем и послелогом, ассимиляция начального гласного послелога и конечного гласного падежной формы, редукция послелога [Пунжина 1975: 154; Зайцева 1981: 38–40];

– на морфологическом уровне: открытость лексического выбора [Зайцева 1981: 40–41];

– на синтаксическом уровне: согласование определения с определяемым словом [Зайцева 1981: 41], соответствие формального и реального числа, повтор окончания при однородных членах предложения [Кросс 1983: 253], невозможность употребления форманта в функции наречия, утрата лексического и семантического значения падежным окончанием [Пунжина 1975: 154]. Переход отдельных послелогов в падежные окончания нельзя считать окончательно завершенным, т. к. их значения все еще могут передаваться и в той, и в другой форме.

В падежной системе периферийных карельских диалектов можно выделить следующие послеложные падежи / падежные образования: выражающий совместность комитатив, а также аппроксиматив и эгрессив, обладающие местным значением. Следует отметить, что в разных источниках можно встретить три варианта подачи рассматриваемых конструкций: в качестве падежного форманта (слитное написание), в виде энклитики (через дужку, обозначающую фонологическую зависимость), в виде послеложной конструкции (раздельное написание).

Комитатив с формантами *-nke* (пвс.), *-nken* (тлм., всг., држ.), *-nkena* / *-nkenä* (тлм.), *-nkela* / *-nkelä* (влд.), а также подвергшимся регрессивной ассимиляции *-kke(h)*, *-kkena* / *-kkenä* (тлм.), образовался путем слияния показателя генитива *-n* и редуцированного послелога *kerä* ‘с’ [ОФУЯ 1975: 56].

Комитатив используется для выражения лица или предмета, совместно с которым или в сопровождении которого совершается какое-либо действие. Напр., тлм.: *Davai, šanow, mir'iečemmä myö šiwwkena*. ‘Давай, говорит, помиримся мы с тобой.’ [КПКС: 132]; *Mie kažvoin vel'ilöinken*. ‘Я выросла с братьями.’ [ОКР: 55]; *Kävelläh lovalla vahna hebo pikkarazenke varžazenke*. ‘Ходят на лугу старая кобыла с маленьким жеребенком.’ [ОКР: 55]; *Bes'owdah kävel'imä kuožal'iloinke*. ‘На беседы ходили с прялками.’ [ОКР: 65]; *Pappi ris's'inke kopittau*. ‘Поп с крестом идет.’ [РМЗ: 19]; всг.: *Tul'i kod'ih kondien reijenke*. ‘Пришел домой с медвежьей ляжкой.’ [ОКР: 33]; *Mie tuamonken kažvoin*. ‘Я росла с матерью.’ [ОКР: 29]; *Elä venčaičdieče tämänke ukonke!* ‘Не венчайся с этим стариком!’ [ОКР: 22]; *Šen'ke per'ehenke tulow'jo gos't'ima vain*. ‘С той семьей придет уже гостить только.’ [NKK: 237]; *Vel'l'enke l'eikkaimma kagrua*. ‘С братом жали овес.’ [NKK: 241]; држ.: *A hiän alott toizen tytönken gul'ajj*. ‘А он начал с другой девушкой гулять.’ [DKT: 165]; *Meil' vet' trudno on kahel'i šiwnken*. ‘Нам ведь трудно двоим с тобой.’ [ОКР: 182]; *Läks'iin brihanke ženke*. ‘Пошла я с парнем тем.’ [NKK: 255]; *Tämän jumalzenken krugom stuadu*. ‘С этой иконкой вокруг стада.’ [NKK: 260]; *Rubit istumaa pär'inke*. ‘Будешь сидеть с лучиной.’ [NKK: 264]; тхв.: *Van'ka*

istuočči tytön ke heboz'ella šelgäh. 'Ванька сел с девушкой на коня.' [KKN: 110]; *Rubei kynn'el'in ke it'kemäh.* 'Стал слезами плакать.' [KKN: 131]; *Ič ičen duavittiih perehinke šinne.* 'Сами себя с семьями захоронили туда.' [ТГКЯ: 249]; *A ken šlöpönke šyöh.* 'А некоторые и с простоквашей едят.' [ТГКЯ: 264]; влд.: *Žiivtan ajetah peldoh, jumalazenkela... Kaiken žiivtan ajetah virvoinke.* 'Пригонят скотину в поле, с иконкой... Весь скот пригонят с вербочками.' [СКГ: 188]; *Šyödih pyhävoinkela.* 'Ели с постным маслом.' [СКГ: 183]; *I lähtietäh hebozella toaš kod'ih, heininkelä.* 'И поедут опять на лошади с сеном домой.' [СКГ: 192]; *Ka hyö illastettih akanke kahen.* 'Вот они поужинали с женой вдвоем.' [KKN: 136]; *Lähetit hyö poijanke.* 'Отправились они с сыном.' [KKN: 169].

Падеж послеложного образования комитатив используется также в качестве определения и выражает часть от целого (т.н. относительный комитатив). Напр., тлм.: *Rawvat miwla oldih čiepinke.* 'Капкан у меня был с цепью.' [ОКР: 113]; всг.: *Kiwgia borovatta kuin riihessä, no hingalonke i hiilokšenke.* 'Печка без борова, как в риге, но с шестком и с загнеткой.' [ОКР: 12]; *kazačkat proiminken* 'казачки с проймами' [NKK: 239]; држ.: *Kel'l' oldih fantiz'inken, a kel'l' joi borinken kortiškat.* 'У кого были с фантами, а у кого со сборками коротышки.' [ОКР: 184]; *vyä šulkkun' kis't'oinken* 'шелковый пояс с кистями' [ОКР: 184]; тхв.: *Ved'i šuappuat šieldä pit'in ke šären ke.* 'Вытащил оттуда сапоги с длинными голенищами.' [KKN: 107]; *Viid'i iče šieldä šarviloin ke...* 'Вышел сам оттуда, с рогами...' [KKN: 109]; *Kakši varžua toi kuldaz'in griivoin ke i kolmanee hebozuon gorbazen ke.* 'Два жеребенка принесла с золотой гривой и третьего жеребенка с горбом.' [KKN: 132]; *A šie tämänke peigalonke aššut.* 'А ты с этим пальцем идешь.' [NKK: 223]; влд.: *Reješšä on loajittu moin'e luadan'e loukonkela.* 'К дровням приделана такая плашка с отверстием.' [СКГ: 192]; *Loapot'it loadiw toš kostiiganke.* 'Лапти сплетет с кочедыком.' [СКГ: 191]; *Pidi mahtoa kudu broan'inoa kir'joinkela.* 'Нужно было уметь ткать браное полотно с узорами.' [СКГ: 197].

Как показывают многочисленные примеры, комитатив получил широкое распространение во всех периферийных карельских диалектах. Послелог *kerä* утратил в них самостоятельное значение и полностью вышел из употребления. Следует также добавить, что форма комитатива послеложного образования полностью вытеснила из периферийных диалектов старую форму комитатива на *-neh*, примеры употребления которой можно обнаружить еще в записях образцов речи середины XX в.

Аналогичный послеложный падеж характерен и для остальных южных собственно карельских диалектов, ливвиковского и людиковского карельских наречий, а также для вепсского языка, что позволяет возвести процесс перехода послелога в падежное окончание еще к периоду функционирования прибалтийско-финского языка-основы.

Аппроксиматив с показателями *-luo / -lyö* (тлм., всг., држ., влд.), *-luo / -lye* (в позиции после дифтонга на *-i*) (влд.), *-luoh / -lyöh* (тлм., влд., тхв.), *-luoh / -lyöh* (тхв.), *-luh / -lyh* (тлм., всг.), *-luo / -lyö, -luu / -lyä, -lu / -ly, -luh / -lyh, -luu / -lyu, -luu / -lyu, -luu / -lyu* (држ.) берет свое начало от генитивной формы имени, подвергшейся регрессивной ассимиляции, и послелога *luo* 'к' < **loona* 'к' [Зайцева 1981: 141]. Согласный *h* показателя возводится к форме иллатива [Пунжина 1975: 156], однако в отдельных случаях речь может идти и о посессивном суффиксе третьего лица.

Падеж послеложного образования аппроксиматив наиболее распространен в вепсском языке [Зайцева 1981: 140–148], а также ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка, реже встречается в некоторых южных диалектах собственно карельского наречия [ALFE I 2004: 336–338]. В периферийных же диалектах карельского языка наиболее частотным падеж аппроксиматив выступает в дёржанском и валдайском диалектах, в то время как в остальных он встречается достаточно редко. В исследовании В. Д. Рягоева «Тихвинский говор карельского языка», посвященного подробному описанию фонетической и морфологической систем тихвинского карельского диалекта, а также в образцах речи, подготовленных исследователем, падеж аппроксиматив не представлен, его значение передается послеложной конструкцией. Однако в образцах речи, собранных Ю. Куёла в 1911 году у тихвинских карелов, зафиксировано достаточно много случаев употребления аппроксиматива.

Аппроксиматив чаще всего используется для указания на движение по направлению к чему-либо, к кому-либо, приближение к объекту. Напр., тлм.: *D'iedolluoh, buabolluoh himottaw*. 'К бабушке, к дедушке хочется.' [ОКР: 59]; *Hyppiäw muamolluoh*. 'Бежит к своей матери.' [ОКР: 158]; *Tul'i ikkunalluoh*. 'Подошла к окну.' [ОКР: 158]; *I män'dih Jormonkena muamolluoh*. 'И отправились они вместе с Ермолаем к его матери.' [КПКС: 99]; *Heit't'i näidä tyttöz'ie kylällyö*. 'Оставил этих девочек около деревни.' [ОКР: 53]; вг.: *Hiän otti tyttärel'däh ves't'i sormen i män'i s'ez'illyöh brihalluoh*. 'Она взяла у своей дочери обтесала палец и пошла к этому парню.' [ОКР: 32]; држ.: *Hukk šöi i tul'i ukkzelluh aittah*. 'Волк съел и пришел к старичку в клеть.' [ОКР: 182]; *Šiel' emännällyö tungiečči*. 'Там к хозяйке сунулась.' [ОКР: 187]; *Br'ih tulow tyttölyä*. 'Парень приходит к девушке.' [ДКТ: 104]; *Mie hänellyy, a hin miwllu tulow... I lähet, to yhely to toizelluu kolmanneeluo*. 'Я к нему, а он ко мне придет... И пойдешь, то к одному, то ко второму, то к третьему.' [НКК: 258]; *Kävdih tož akoilluh, Männäh akalluh...* 'К ворожеям тоже ходили. Как придут к ворожее...' [СКГ: 170]; тхв.: *Hiän omaa služankan työndi brihal luoh... Tul'i hiää korol'eval luoh*. 'Он отправил свою служанку к парню... Пришла она к королеве.' [ККН: 131]; *I ajaa jo oman kyläl lyöh*. 'И едет уже в свою деревню.' [ККН: 132]; *Pan'i povodan oviloii luoh*. 'Положил повод к двери.' [ККН: 106]; *Vei kaz'i hänen omutaa luoh*. 'Отвел его кот к омуту.' [ККН: 107]; *Šiško läks'i d'iedoo luoh*. 'Бес отправился к деду.' [ККН]; влд.: *Kala i tuli hänel luo*. 'Рыба и приплыла к нему.' [ККН: 134]; *Papin ikkunalluo tulin*. 'Я подошел к окну попа.' [ККН: 161]; *Miula pidäy ajoa mužikalluo*. 'Мне надо ехать к мужу.' [КВМ: 176]; *Mäne peldoh i ištuoče kivellä valgiezelluo koiyuzelluo*. 'Иди в поле и сядь на камень под белую березу.' [КВМ: 35]; *Höän läks'i lambahiiluo*. 'Он пошел к овцам.' [КВМ: 91].

Кроме того, аппроксиматив может использоваться для выражения нахождения рядом с объектом. Напр., тлм.: *Nämä tyttöz'et jiad'ih maguamah tälllyö buaboz'elluo*. 'Эти девочки остались спать у этой старушки.' [ОКР: 52]; држ.: *Pualen yäd' tyttölyy, pualen yäd' brihallua*. 'Полночи у девушки, полночи у парня.' [НКК: 257]; *A myö jo riihellyä, puičemm šial'*. 'А мы уже у риги, молотим там.' [НКК: 257]; *Muam ištu svičallua*. 'Мама сидит у лучины.' [НКК: 260]; *Kir'iköllän turg ol'i*. 'Около церкви ярмарка была.' [СКГ: 64]; *A myö issumm šil', kustillu vuatamm*. 'А мы сидим там, у кустов, ждем.' [СКГ: 64]; влд.: *Käz'iripakko käz'aštiellve vain rippuw*. 'Полотенце около рукомойника висит.' [КВМ: 35]; *Saldoatta šeižow verejilye*. 'Солдат стоит у ворот.' [КВМ: 35].

Выявленные примеры показывают, что в случае с аппроксимативом соблюдена большая часть признаков перехода послеложной конструкции в живой падеж (потеря самостоятельного ударения и паузы, соблюдение гармонии гласных, ассимиляция, согласование определения с определяемым словом, соответствие формального и реального числа, повтор окончания при однородных членах предложения, открытость лексического выбора). Однако если вплоть до середины прошлого века для периферийных диалектов было характерно использование двух форм выражения значения аппроксиматива, причем наиболее употребительной являлась послеложная конструкция (генитивная форма + послелог *luo, luoh, luona* 'к, у'), то на данный момент в толмачёвском, весьегонском и тихвинском диалектах она полностью вытеснила падежную форму. Этого однако нельзя сказать о дёржанском и валдайском диалектах, в которых, как показывают образцы речи, падежная форма развилась в систему, но угасла вместе с самими диалектами.

Исключительной особенностью дёржанского и валдайского диалектов, по сравнению с остальными диалектами карельского языка, считается наличие в них довольно редких форм падежа **эгрессива**. Из прибалтийско-финских языков аналогичный падеж исследователи выделяют также в именной словоизменительной системе вепсского языка [Зайцева 1981: 150]. Показателем эгрессива в валдайском диалекте является *-lduo / -l'dye*, в дёржанском встречаются следующие его варианты: *-ldu / -l'dy, -ldua / -l'dyä, -lduw / -l'dyw* (држ.).

Основным значением падежа эгрессива является обозначение начальной точки движения, а также указание места рядом с чем-либо. Напр., држ.: *Ujiin miä urholdu*. 'Ушла я от мужа.' [Пунжина 1975: 157]; *Tytär hyppiw kojildu miwn vastah*. 'Дочь бежит от дома мне навстречу.' [Из полевых записей А. В. Пунжиной]; *Män ed'embäh hebozeldu*. 'Отойди по-

дальше от лошади.’ [Из полевых записей А. В. Пунжиной]; *Ved'imä kiriköl'dy...* ‘Возили от церкви...’ [Из полевых записей А. В. Пунжиной]; *A illal tuldih brihalduw pojat tämm, tyt't'ii vaš.* ‘А вечером пришли от жениха дружки сюда за невестой.’ [DKT: 109]; влд.: *Ka paimen tulow kod'ih akalduo täldye.* ‘Вот пастух придет домой от этой женщины.’ [KVM: 35]; *Vär't't'inäldye jalga katattu.* ‘У веретена нога сломана.’ [KVM: 35].

Исследователь морфологической системы тверских диалектов карельского языка А. В. Пунжина возводит показатель эгрессива к послелогу *luoda* ‘от’, подвергнувшись редукции [Пунжина 1975: 157]. При образовании эгрессива соблюдаются основные фонетические признаки перехода послелога в падежное окончание. Появление гласного *u / y* в показателе в таком случае можно было бы объяснить аналогией с падежом аппроксимативом. Судить же о морфологических и синтаксических падежных признаках эгрессива сложно из-за дефицита случаев фиксации падежного образования.

Также нельзя исключать возможности, что анализируемый показатель по своему происхождению связан с формантом аблатива *-lda / -ldä*, восходящим к прибалтийско-финскому языку-основе [Nakulinen 1979: 104]. Между этими местными падежами достаточно сложно провести границу, их значения тесно пересекаются. Возможно, на определенном этапе развития дёржанского и валдайского диалектов данное падежное образование начало свое становление на основе аблатива и аппроксиматива [*ld* (< *-lda / -ldä*) + *uV / yV* (< *-lluV / -llyV*)]. Очевидно, процесс формирования нового падежа сдерживало широкое употребление элатива и аблатива, имеющих те же значения, а также послеложной конструкции (генитив + послелог *luoda* ‘от’). Минимальное количество примеров употребления эгрессива позволяет сделать вывод, что на завершающей стадии существования дёржанского и валдайского диалектов эгрессив нельзя было отнести к продуктивным падежам.

Анализируемые падежи послеложного образования в отдельных периферийных диалектах в разной степени соответствуют основным признакам перехода послелога в падежное окончание. Сомнений не вызывает повсеместное распространение комитатива, ставшего самостоятельным падежом еще до формирования современных диалектов карельского языка (вероятнее всего, в поздний период функционирования прибалтийско-финского языка-основы). Очевидно, что на том же этапе или позже (в период функционирования древнекарельского языка в результате влияния древневепсского языка) встал на путь развития из соответствующей послеложной конструкции падеж аппроксиматив, о чем может свидетельствовать его широкое распространение в исследуемых, а также других диалектах карельского языка. Однако не до конца оформившийся падеж, соседствующий с послеложной конструкцией, по-разному повел себя в периферийных карельских диалектах: был вытеснен послеложной конструкцией в толмачёвском, весьегонском и тихвинском диалектах (что можно объяснить следствием влияния русского языка), и получил дальнейшее развитие в дёржанском и валдайском. Очевидно, что по аналогии с аппроксимативом в двух последних начал развитие еще один приблизительноместный падеж – эгрессив, который однако так и не завершил свое формирование по причине угасания самих диалектов.

Литература и источники

Бубрих Д. В. Диалектологический атлас карельского языка. Хельсинки: SUS, 1997. 10 с. + 209 с. карт.

Зайцева Н. Г. Именное словоизменение в вепсском языке. Петрозаводск: Карелия, 1981. 218 с.

Ковалева С. В., Родионова А. П. Традиционное и новое в лексике и грамматике карельского языка. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 138 с.

КПКС – Расшифровки экспедиционных материалов А. В. Пунжиной 1966–1973 гг. по Тверской Карелии // Культура повседневности карельской семьи. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. С. 84–154.

ОКР – Образцы карельской речи: Калининские говоры. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1963. 196 с.

ОФУЯ 1975 – Основы финно-угорского языкознания: Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М.: Наука, 1975. 346 с.

Пунжина А. В. Именные категории в калининских говорах карельского языка. Рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Петрозаводск, 1975. 211 с.

PM3 – Расшифровка магнитофонных записей, произведенных М. И. Муллонен, Г. Н. Макаровым, В. П. Тарасовым в 50-е – 60-е гг. XX в. в Тверской области. Рукопись. Петрозаводск, 2011. 50 с.

СКГ – Слушаю карельский говор / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск: Периодика, 2001. 208 с.

ТГКЯ – Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л.: Наука, 1977. 288 с.

ALFE I 2004 – Atlas Linguarum Fennicarum. I. Helsinki: SKS, 2004. 464 s.

DKT – Oispuu J. Djorža karjala tekstid. Tallinn: Tallinna pedagoogiline instituut, 1990. 198 s.

Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki: Otava. 1979. 634 s.

KKN – Karjalan kielen näytteitä. I. / Toim. E. Leskinen. Helsinki: SKS, 1932. 166 s.

KVM – Pelmeos P. Karjala valdai murrak. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1962. 228 s.

NKK – Näytteitä karjalan kielestä. I. Joensuu–Петрозаводск, 1994. С. 236–270.

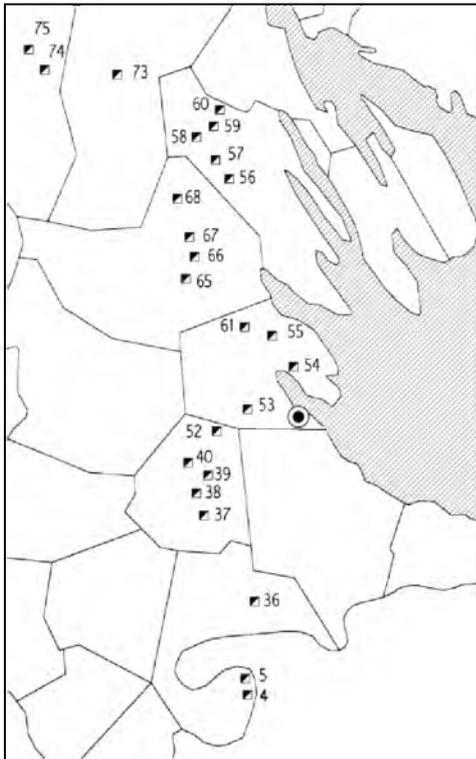
Александра Павловна Родионова

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ЛЮДИКОВСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В «ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ АТЛАСЕ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА»

Карелы-людики (самоназвание – *lüüdilaižed*) – одно из подразделений карельского этноса, традиционно проживающего в ряде деревень и поселков юго-восточной части Республики Карелия в Олонецком, Пряжинском и Кондопожском районах. Наиболее крупными поселениями являются Михайловское, Святозеро, Пряжа, Виданы, Спасская Губа, Пялозеро, Юркостров, Тивдия, Ерши. Составитель людиковского диалектного словаря, изданного в Финляндии в 1944 году, Юхо Куёла во вступительной статье к словарю писал, что «владеющие людиковским наречием проживают на территории Олонецкой губернии, Кондопожском, Мунозерском, Шуйском, и Святозерском районах» [Kurola 1944: V]. По мнению другого финляндского исследователя Аймо Турунена, территория проживания карелов-людиков была гораздо больше, чем в настоящий момент, на юге она распространялась вплоть до реки Свирь, а на севере доходила до островов, расположенных на Онежском озере [Turunen 1946: 5]. В настоящее время территория, где проживают карелы-людики, тянется примерно на 200 км. в восточной части Онежско-Ладожского перешейка с севера на юг, от реки Суны до реки Свири на её северных притоках – реках Усланке и Важинке [Муллонен 2002: 5; Муллонен 2003: 80]. В меридиальном же направлении протяженность людиковского ареала не превышает 50 км. Людиковская территория граничит на западе с ливвиковской, где говорят на ливвиковском наречии карельского языка, на севере – с собственно карельской, на востоке – с русской. На юге граница проходит по русской Свири.

Язык карелов-людиков отличается от собственно-карельского наречия в большей степени, чем от ливвиковского, и очень близок вепсскому языку. В настоящее время в научном мире существует два противоположных мнения: 1) считать людиковское наречие одним из трех основных наречий карельского языка, как это принято у отечественных лингвистов, 2) считать людиковский самостоятельным прибалтийско-финским языком, к чему склоняются финляндские исследователи. Мы будем придерживаться классификации, которую предложил Д. В. Бубрих в «Диалектологическом атласе карельского языка»: «Карельский язык содержит три наречия: собственно-карельское (в Средней и Северной Карелии, а также Калининских (речь идет о тверских говорах) и соседних местах), ливвиковское (у восточного



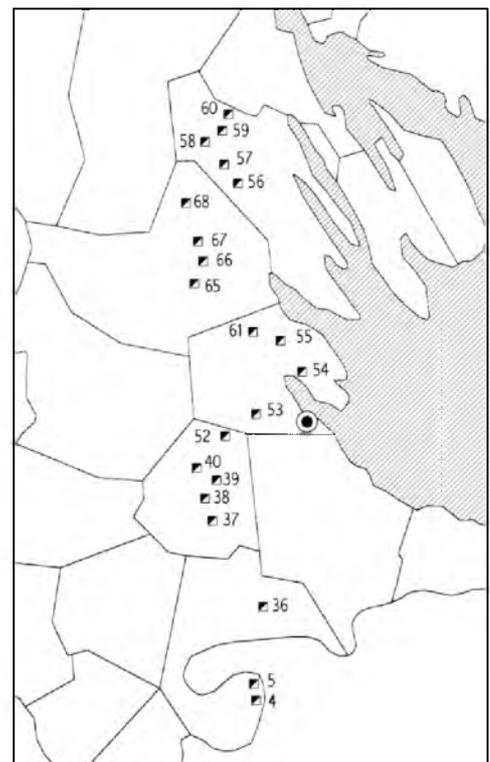
Карта 1.
Самоназвания карел и языка.
■ *l'uud'ikuoit, l'uud'i*

населенных пунктах, в которых приняли участие сотрудники Карельского научно-исследовательского института культуры: Н. Анисимов, А. Беляков, Н. Богданов, О. Бородкин, Е. Симаков, А. Флинкман, М. Хямяляйнен и др. В сборе материала принимали участие также студенты, школьные учителя. Работа над Атласом была прервана в начале 1938 года и возобновилась лишь после войны. После смерти Д. В. Бубриха работу над Атласом продолжили А. Беляков, Н. Богданов и М. Хямяляйнен. В 1956 году работа была завершена. В 1990-м году Научно-исследовательский центр языков Финляндии обратился к Институту языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН с предложением издать «Диалектологический атлас карельского языка» в Финляндии, что было с благодарностью принято. В 1990-е годы А. Пунжина подготовила 209 карт по Тверской Карелии, к некоторым картами сотрудниками ИЯЛИ были сделаны уточнения, и после редакторской работы Атлас увидел свет в 1997 году [Атлас 1997: 1–4].

Материал атласа дает возможность проследить многие фонетические и грамматические явления в речи карелов-людиков относительно их положения между наречиями карельского языка и диалектами вепсского языка.

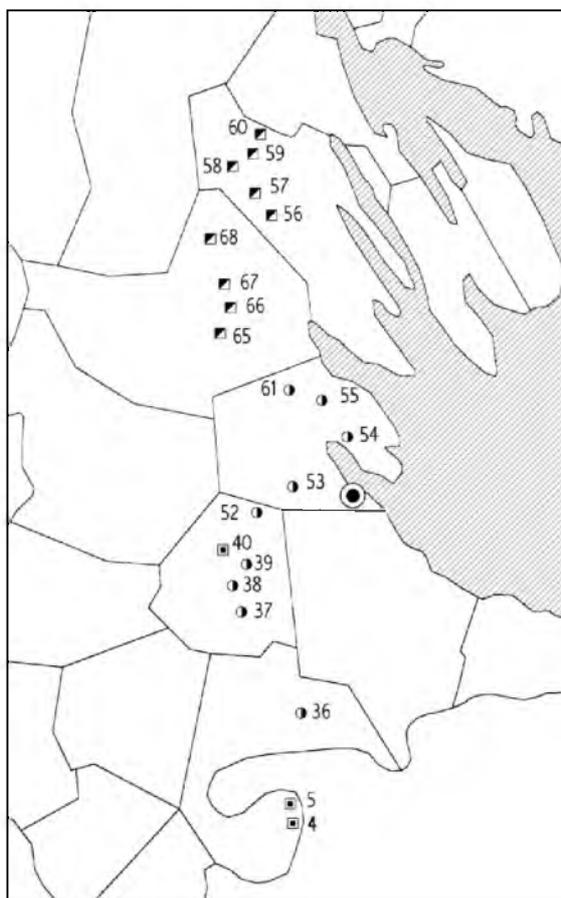
побережья Ладожского озера и дальше вглубь Олонецкого перешейка) и людиковское (узкой полосой вдоль восточного края ливвиковского наречия, недалеко от Онежского озера). Эти наречия разбиваются на диалекты, а те в свою очередь – на говоры» [Бубрих 1948: 44]. Людиковские говоры представляют собой пример смешанных, переходных, имеющих разнородные языковые признаки, говоров. Внутренние языковые различия между группами обусловлены во многом непосредственным языковым окружением [Баранцев 1975: 11].

«Диалектологический атлас карельского языка» представляет исключительную ценность при исследовании людиковского наречия, которое ареально значительно сократилось, и многих из пунктов, закартографированных в атласе, в настоящий момент уже не существует. Программу сбора материала для «Диалектологического атласа» Д. В. Бубрих составил в 1930-е годы, после того, как совершил первую диалектологическую экспедицию в Карелию. Атлас должен был охватить явления фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики в 250 пунктах сбора материала. Вопросник включал в себя 209 вопросов, из которых 112 – были посвящены фонетике, 76 – грамматике 22 – лексике карельских наречий [Зайцева 2014: 15]. Летом 1937 года Д. В. Бубрихом был организован ряд экспедиций для заполнения «Программы» в



Карта 3.
Диалекты карельского языка.
Обследованные пункты
■ Людиковские диалекты

Принято считать, что этноним *людик* (*lyydi*, *lyydikoi*, *lydilain'e*) восходит к слову *люди*, *людин* 'свободный человек', имеющему русские корни [SSA, 2: 120]. Те же истоки имеет и название другой группы карелов – ливвики: ср. *livvi*, *livviköi*. Д. В. Бубрих подчеркивал, что именно этническое самоназвание подчеркивало сходство ливвиков, людиков и вепсов. Так, ливвики называли себя *муди*, но чаще *муги*, *ливвикöйт*. Людики называли себя *лууди*, *луудикоуйт* [Бубрих 1971: 5]. Также северные и отчасти средние вепсы называли себя *люди́нкад*. Предположительно, основа *lyydi* перешла в *livvi* в результате фонетических особенностей ливвиковского наречия карельского языка [Grünthal 1997: 75–78, Муллонен 2015: 156]. Территориально этноним *людики* тяготеет к северным и южным притокам Свири, «распространился по Свири вместе с новгородским освоением и называл местных вепсов, которые в то время (первые века II тыс. н. э.) были основным населением как южного, так и северного Присвирья» [Муллонен 2015: 156–157]. Д. В. Бубрих подчеркивал, что «историческая судьба ливвиков, людиков и собственно-карелов сложилась так, что они стали чувствовать себя единым народом, отличным от вепсов» [Бубрих 1971: 6].



Карта 27.

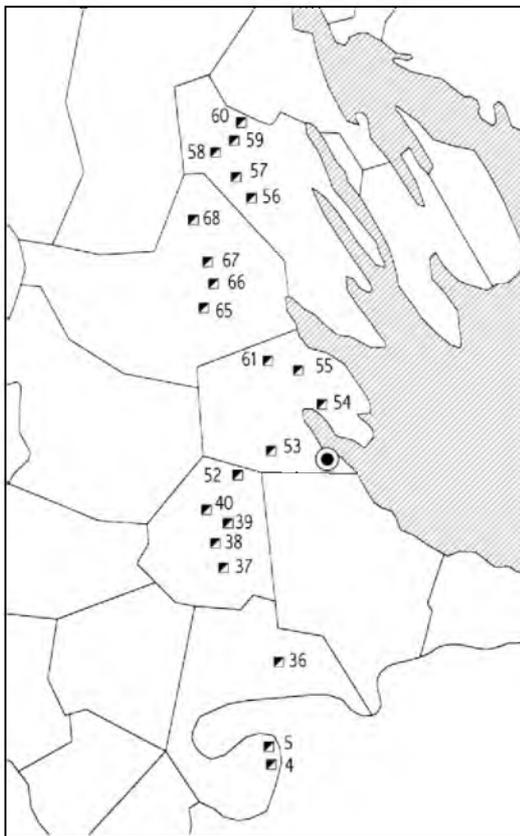
Конечная огласовка слов. Слова с двусложной основой на *-a* (*-ä*) с предшествующим закрытым слогом или долгим слогом типа *adra* 'соха', *suara* 'развилье, распустье, развилина', *silmä* 'глаз'. Наличие, отсутствие или замена конечного гласного в номинативе единственного числа.

○ *e* (*adre, suare, silme*)

■ *-a* (*adr, suar, suar, silm, šilm*)

Niinisuar, Suarenkylä (Saari), 57. Владимирская – Kondu (Kontu), 58. Тивдия – Tiud'ii, Tiud'iänkylä (Tiudia), 59. Лижмозеро – Liizmärv, Liizmärv(i) (Liizmjärvi), 60. Ояжа – Ojaža, Ojaine, Ojaiženkylä (Homselkä), 65. Спасская губа – Lahtenkylä, Mund'ärvenlahti (Munjärven lahti), 66. Мунозеро – Mund'ärvi (Munjärvi), 67. Пялозеро – Päljärvi, Pälärv(i) (Päljärvi), 68. Уссуна – Sununsuu, Sunusuu, Sunusuunkylä (Sununsuu), 69. Койкары – Koikari, 71. Святнаволок – Pühäniemi (Pyhäniemi), 73. Юостозеро – D'uustärvi (Juustjärvi), 75. Янгозеро – D'ängärvi (Jänkjärvi), 76. Кудагуба – Kuudamilakši, Kuudamalakši (Kuutamalahti) [Атлас 1997: 9–10]. Последние 5 пунктов в атласе относятся к говорам собственно-карельского наречия, и в атласе людиковское наречие представлено 21 населенным пунктом (см. Атлас, карта 3).

Карта атласа о самоназваниях карелов и их языке свидетельствует о следующих населенных пунктах, которым свойственно самоназвание *l'uud'ukuoit*, *l'uudi*: 4. Устье – D'ogensuu (Ustje), 5. Михайловское – Kud'ärv (Kuujärvi), 36. Кашканы – Kaškan (Kaškana), 37. Важинская пристань – Simaništo (Simaništo), 38. Святозеро – Pühjärvi (Pyhäjärvi), 39. Пелдожа – Peld(u)oine, Peld(u)oiženkylä (Peldoinen), 40. Пряжа – Priäžü, Priäže (Prääžä), 52. Матросы – Matrossu, Matrosankylä (Matrossa), 53. Виданы – Viidan, Viidanankylä (Viitana), 54. Половина – Pošte, Poštankylä (Pošta), 55. Намоево – Nuamoil(u) (Naamoila), 61. Гомсельга – Homsel'g, Homsel'gänkylä (Homselkä), 56. Лычный остров –



Карта 121.

Склонение. Внутреннеместные падежи. Инессив и элатив. Формы единственного числа имен типа *meččä*- 'лес', *pert* 'i'- 'изба'
Инессив-элатив:
■ -s, -š (*meččäs, pertis*)

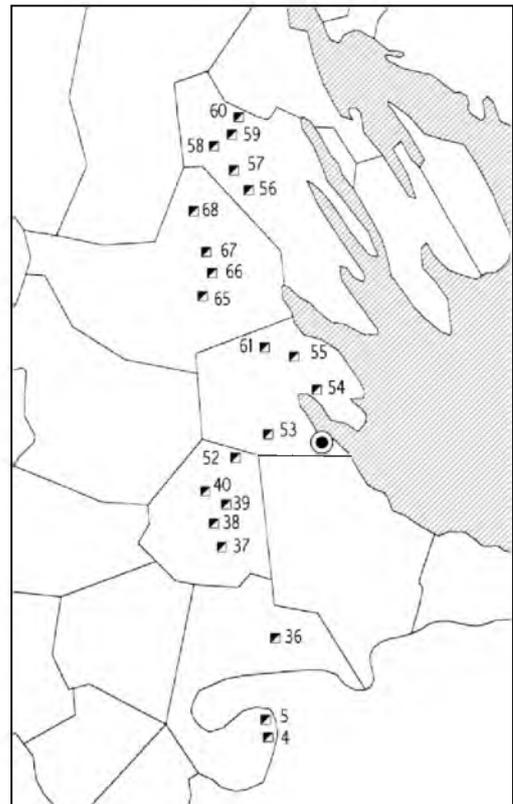
67, 68 – всего 11 карт). Людиковскому наречию свойственно наличие лишь количественной альтернации. По мнению И. П. Новак, занимавшейся проблемами альтернативной системы карельского языка, упрощение системы чередования в людиковском наречии совершилось в результате влияния древневепского языка [Новак 2014: 179–180].

Различным фонетическим явлениям в атласе посвящено 110 карт, в то время как склонению имен – в общей сложности 12 карт. Система склонения в наречиях карельского языка представляет собой упорядоченное и устоявшееся явление. Основные различия между наречиями и говорами проявляются, прежде всего, в оформлении грамматических показателей. На основе анализа фонетических карт атласа можно сделать определенные выводы, которые нашли свое отражение и в морфологии. Согласно закону отпадения гласных в двусложных словах, где первый слог был исторически долгим, или закрытым, в номинативе в ряде людиковских говоров первичные конечные гласные *a, ä* перешли в *e* или, как и в вепском языке, отпали [Tunkelo 1946: 755–756; Turunen 1950: 154–151]. И это характеризует формы многих падежей, прежде всего, номинатива. В этом отношении представляет

Несмотря на уже имеющиеся труды (в основном финляндских исследователей), людиковское наречие изучено фрагментарно. И если в области фонетики уже имеются такие труды, как двухтомное исследование исторической фонетики людиковских говоров финляндского лингвиста А. Турунена «*Luudiläismurteiden äännehistoria*» [Turunen 1946; Turunen 1950], монография А. П. Баранцева «Фонологические средства людиковской речи (дескриптивное описание)» [Баранцев 1975], то в области морфологии полноценного описания людиковского наречия карельского языка нет.

Основные отличительные особенности, маркирующие отдельные диалекты и говоры обнаруживаются, в первую очередь, при анализе их фонетических систем. «Диалектологический атлас» дает возможность проследить многие фонетические явления в речи карелов-людиков относительно их положения между наречиями и диалектами карельского языка. Проанализировав карты Атласа, можно увидеть в людиковском наречии черты, характерные для всех наречий карельского языка, так и черты, присущие вепскому языку. Одной из таких является отсутствие качественного вида чередования ступеней согласных (это демонстрируют карты 58,

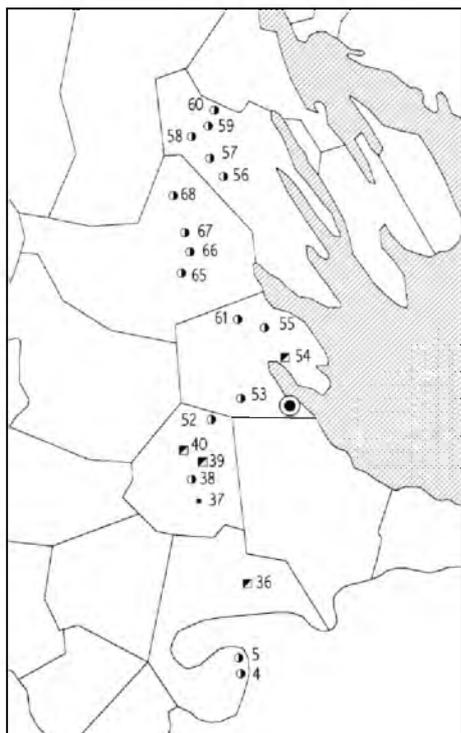
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,



Карта 123.

Склонение. Внешнеместные падежи: адессив, аблатив и аллатив. Формы единственного числа имен типа *veičče*- 'нож', *starikka*- 'старик', *kirvehe*- 'топор'.
■ Адессив-аблатив -l (*veiččel, starikal, kirvehel*)
Аллатив -le (*veiččele, starikale, kirvehele*)

интерес карта 27 о конечной огласовке слов, которая свидетельствует об отсутствии, или замене конечного *a*, *ä* на *e*, или его отпадении.



Карта 120.

Склонение. Транслатив. Формы единственного числа имен типа *učit'el'a-* 'учитель'.

- *-kse, -kše* (*učit'el'akse, učit'el'akše*)
- *-ks, -kš* (*učit'el'aks, učit'el'akš*)

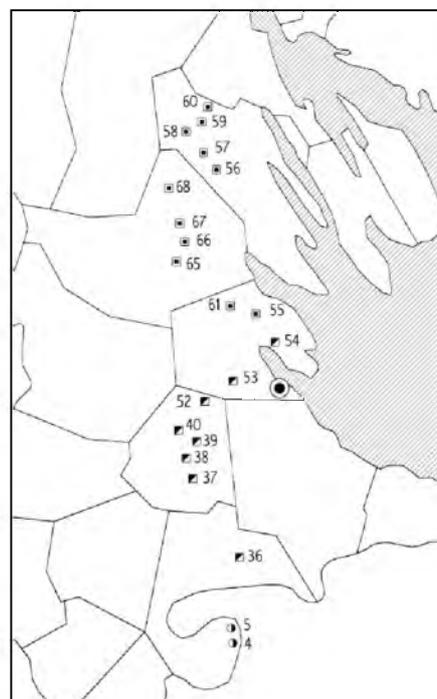
конечного согласного в *-i* (*meččäi*), что напоминает удлинение конечного гласного в окончании иллатива в южнокарельских говорах собственно-карельского наречия. В то же время михайловский говор демонстрирует свою схожесть с вепским языком, где окончанием иллатива также является *-h* + гласный, равный предшествующему или *-e* (*meččähä, meččähe*) [Карта 122].

Таким образом, материалы атласа Д. В. Бубриха еще раз свидетельствуют, что людики являются частью карельского этноса, который сформировался в западном Обонежье из двух этнических и языковых компонентов – собственно-карельского и вепского к XVIII в. При этом сплав двух названных компонентов происходил на разных участках людиковской территории неравномерно. На юге просматривается определенное преобладание вепского компонента, на севере – карельского. «В формировании границы между ливвиковским и людиковским языковыми ареалами исключительно важную роль сыграл транзитный водно-волоковой путь, соединяющий Присвирье через Онежское озеро с Белым морем» [Муллонен 2014: 43]. В языковом отношении людиковский ареал достаточно пёстрый, и, по мнению исследователей, это может быть связано с определенной незавершенностью процесса этнической и языковой консолидации, вызванной активным русским внедрением в связи с

Далее, в результате отпадения конечных гласных произошло слияние некоторых падежных форм, из-за чего изменился падежный состав как у ливвиковского, так и у людиковского наречий карельского языка. Утратив конечные гласные *-a, -ä*, а также и один из конечных согласных звуков, инессив совпал с элативом, а адессив – с аблативом, и даже в некоторых диалектах – с аллативом, о чем свидетельствуют карты 121, 123.

Закон отпадения конечных гласных можно пронаблюдать и в оформлении транслатива. Нам удалось установить, что практически всем говорам людиковского наречия свойственна форма транслатива на *-ks:* *učit'el'aks, učitel'aks* 'учителем (статья)'. В то же время в людиковских говорах Пряжи (40), Кашканы (36), Пелдожи (39), Половины (54) окончанием транслатива является *-kse:* *učitel'akse* [Карта 120]. Подобное оформление транслатива встречается во всех говорах ливвиковского наречия карельского языка.

На примере оформления иллатива можно пронаблюдать, насколько людиковское наречие выглядит пестро и в какой степени взаимодействует с близлежащими говорами и языками: южнолюдиковские и часть среднелюдиковских говоров имеют сходное с ливвиковским наречием окончание иллатива *-h* (*meččäh*), в средне- и севернолюдиковских произошла вокализация



Карта 122.

Склонение. Внутреннеместные падежи. Иллатив. Формы единственного числа имен типа *meččä-* 'лес'.

- *-h* (*meččäh*)
- *-h* + гласный, равный предшествующему, или *-e* (*meččähä, meččähe*)
- *-i* (*meččäi*)

промышленным освоением края.

С глубоким сожалением следует отметить, что большую часть людиковских говоров, которые представлены в атласе Д. В. Бубриха, в настоящий момент невозможно зафиксировать в полевых условиях. При подготовке Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков [ALFE] из 21 возможного пункта, были закартографированы всего четыре: Галлезеро, Койкары, Михайловское и Святозеро [ALFE I: 81] эти же пункты представлены и в Сопоставительно-ономасиологическом словаре диалектов карельского, вепсского, саамского языков [СОС]. Когда в научном мире появится полный анализ и учет всех сведений атласа, многие краеугольные вопросы, связанные с положением людиковского наречия в системе прибалтийско-финских языков, прояснятся.

Литература и источники

Атлас 1997 – Диалектологический атлас карельского языка / Под ред. Бубриха Д. В., Белякова А. А., Пунжиной А. В. Хельсинки, 1997.

Баранцев А. П. Фонологические средства людиковской речи (дескриптивное описание). Ленинград: Наука, 1975. 280 с.

Бубрих Д. В. Историческое прошлое карельского народа в свете лингвистических данных // Известия Карело-финской научно-исследовательской базы Академии наук СССР. 1948. № 3. С. 44.

Бубрих Д. В. Русское государство и формирование карельского народа // Прибалтийско-финское языкознание. Вопросы взаимодействия прибалтийско-финских языков с иносистемными языками. Ленинград: Наука, 1971. С. 3–22.

Зайцева Н. Г. Лингвистическая география как основа ареальных исследований (на материале вепсского языка) // Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России. Материалы V Всероссийской конференции финно-угроведов. Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г. / Редкол.: Н. Г. Зайцева, И. И. Муллонен и др. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. С. 13–16.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 353 с.

Муллонен И. И. О формировании населения южной Карелии по топонимическим свидетельствам // Язык и народ: Социолингвистическая ситуация на Северо-Западе России: Сб. статей / Под ред. А. С. Герда, М. Савиярви, Т. де Графа. СПб., 2003. С. 80–103.

Муллонен И. И. Формирование диалектной карты карельского языка // Истоки Карелии: время, территория, народы. Междисциплинарные исследования. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. С. 149–167.

Новак И. П. Становление альтернативной системы согласных карельской диалектной речи. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. 220 с.

СОС – Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского, саамского языков / Под общ. ред. Ю. С. Елисеева и Н. Г. Зайцевой. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007.

ALFE – Atlas Linguarum Fennicarum I–III. Helsinki: SKS, 2004–2010.

Grünthal R. Livvistä livviin. Itämerensuomalaiset etnonymit. Castrenianumin toimitteita 51. Helsinki, 1997. S. 75–78.

Kujola J. Lyydiläismurteiden sanakirja. Helsinki: SUS, 1944. 543 s.

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Helsinki: SKS, I – 1992. 486 s.; II – 1995. 470 s.; III – 2000. 503 s.

Tunkelo E. A. Vepsän kielen äännehistoria. SKS 228. Helsinki, 1946. 922 s.

Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria. I. Konsonantit // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1946. № 89. 338 s.

Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria. II. Vokaalit // Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1950. № 99. 266 s.

PARTITIIVIN KÄYTTÖ LAUSEOPILLISELTA KANNALTA

Tätä artikkelia kirjoittaessani olen nojannut pääasiassa Osmo Ikolan kirjoittamaan artikkeliin ”Partitiivi subjektin, objektin ja predikatiivin sijana”, joka ilmestyi Kielikello-lehdessä v. 1972. Hän kirjoittaa, että suomen partitiivi on käytöltään erittäin monipuolinen ja samalla erikoislaatuinen sija. Suomea opetteleville vieraskielisille sen oikean käytön oppiminen on hyvin vaikea, usein jopa ylivoimainen tehtävä. Ei ole pystytty laatimaan sellaisia sanallisia sääntöjä, joita seuraten ulkomaalainen oppisi käyttämään tätä sijaa erehtymättä. [Osmo Ikola 1972]. Tässä kirjoituksessa käsitellään partitiivin käyttöä lauseopilliselta kannalta, nimenomaan subjektin, objektin, predikatiivin, attribuutin ja adverbiaalisen sijana sekä sen käyttöä lauseenvastikkeissa.

1. Partitiivi subjektin sijana

Subjektin yleinen sija on nominatiivi. Partitiivisubjekti on mahdollinen eksistentiaalilauseessa, omistuslauseessa ja tuloslauseessa. Se esiintyy niissä lauseen lopussa.

Eksistentiaalilauseet merkitsevät olemassa olemista, olemaan tulemista, olemasta lakkaamista tai olemassaolemattomuutta [Osmo Ikola 1972]. Eksistentiaalilauseen alussa on useimmiten paikkaa ilmaiseva adverbiaali. Omistuslause merkitsee, että jollakulla jotakin on tai tulee, sen alussa on habitiivi- tai dativiadverbiaali. Tuloslause merkitsee tilan tai asenteen muutosta, sen alussa on elatiivilauseke. Verbi näissä lauseissa ei kongruoi, vaan on yksikön 3. persoonassa silloinkin kun subjekti on monikossa. Näiden lauseiden partitiivisubjekti ilmaisee jotain epämääräistä tai abstraktista. Se voi olla yksikössä tai monikossa, esim. *Kaapissa on leipää ja juustoa. Puiston penkillä istui vanhoja miehiä. Aukiolle kerääntyi väkeä. Taskustani on kadonnut rahaa. Pöytäliinaan on tullut tahroja. Meillä on paljon kotitehtäviä. Heistä tulee tulkkeja.*

Negatiivisen eksistentiaali-, omistus- ja tuloslauseen subjekti on aina partitiivissa. Negatiivisen ei-eksistentiaalilauseen subjekti on nominatiivissa.

Huoneessa ei ole <u>radiota</u> .	<u>Radio</u> ei ole huoneessa.
Minulla ei ole <u>puhelinta</u> .	<u>Puhelin</u> ei ole minulla.

Partitiivisubjekti esiintyy myös lauseissa, joiden sisältö on kieltävä tai epäilevä, vaikka ne eivät olekaan muodoltaan kieltäviä, esim. *Täällä on tuskin ainoatakaan kielitaitoisia ihmistä* (sana *tuskin* tekee lauseen sisällön kieltäväksi tai ainakin epäileväksi, minkä osoittaa myös liitepartikkeli *-kaan*). *Mahtaako komerossakaan olla maitokannua?* (Ellei haluttaisi ilmaista epäilyä, sanottaisiin: *Mahtaako komerossa olla maitokannu?*) [Osmo Ikola 1972]. *Onko täällä lääkäreitä? Onko sinulla kelloa? Onko täällä ketään? Onko teillä mitään kysyttävää?*

Toisaalta on sellaisiakin lauseita, jotka päinvastoin ovat muodoltaan mutta eivät sisällykseltään kieltäviä. Niissä subjektin sija määräytyy samalla tavoin kuin myöntölauseissa, esim. *Hänellä ei ole kovinkaan iso palkka* (hänellä on palkka, mutta se ei ole iso; kierto kohdistuu vain adjektiiviattribuuttiin) [Osmo Ikola 1972].

Subjekti ei voi olla partitiivissa, jos predikaattiin liittyy objekti tai predikatiivi. Ei sanota **Jättiläisiä rakensi kirkkoa*, vaan joko *Jättiläiset rakensivat kirkkoa* tai *Jättiläisiä oli rakentamassa kirkkoa*. Sanotaan *Metsässä on susia*, mutta ei esim. **Susia on petoja* (sanotaan tietenkin *Sudet ovat petoja* tai miksei myös *Monet sudet ovat petoja*). Sanotaan *Nämä hongat ovat komeita*, mutta ei **Näitä honkia on komeita* [Osmo Ikola 1972].

Myös omistuslauseessa, kun puhe on ihmisten parillisista ruumiinosista, subjektin on oltava nominatiivissa, esim. *Tytöllä on punaiset posket. Suomalaisilla on usemmiten siniset tai harmaat silmät.*

2. Partitiivi objektin sijana

Objektin sijat ovat akkusatiivi ja partitiivi. Akkusatiivi on joko genetiivin tai nominatiivin kaltainen. Akkusatiivia käytetään aina silloin, kun ei mikään seuraavassa mainituista säännöistä

vaadi partitiiviva. Partitiiviohjettin tehtävät ovat osaksi samat kuin partitiivisubjektin. Syitä partitiivin käyttöön on kolme:

1. Eksistentiaalilauseen subjekti oli partitiivissa, jos lause oli sisällykseltään kieltävä tai epäilevä. Samoin on sisällykseltään kieltävän tai epäilevän lauseen objekti partitiivissa, esim. *En osta kirjaa. En ole vielä tavannut häntä. Meille ei osteta autoa.*

Tähän sääntöön ei vaikuta, onko objektin merkitys definiittinen eli määräinen vai indefiniittinen eli epämääräinen. Kahta eri myöntävää lausetta vastaa siis sama kieltolause: *Liisa joi kahvin. / Liisa joi kahvia. – Liisa ei juonut kahvia.*

Sisällykseltään kieltäviä tai epäileviä ovat myös lauseet, joissa esiintyy:

a) III infinitiivin abessiivi, esim. *Selvisin tilanteesta kertomatta totuutta. Hän lähti lupaa kysymättä.*

b) harva-, tuskin-sana, esim. *Harva tietää tästä mitään. Tuskin muistan tätä enää huomenna. Tuskinpa hän haluaa tätä lahjaa.*

c) karitiiviset adjektiivit tai sellaiset kielteismerkityksiset adjektiivit kuin *vaikea, turha*, esim. *On mahdotonta / vaikea löytää ratkaisua tähän ongelmaan. Sitä on enää turha sanoa.*

d) epäilevä kysymys, esim. *Löysitkö käsineitäsi? Veitkö lopultakaan sitä kirjettä postiin?*

2. Eksistentiaalilauseen subjekti oli partitiivissa, jos oli puhe sanan nominatiivin tarkoittaman kokonaisuuden epämääräisestä osasta. Tällaista epämääräistä osaa tarkoittava objekti on myös partitiivissa. Tämän kohdan tarkoittamissa tapauksissa objekti on abstrakti-, aine- tai ryhmäsana tai monikollinen [Osmo Ikola 1972]. Objekti on toisaalta akkusatiivissa, jos tekeminen kohdistuu määrättyyn määrään, esim. *Juon kahvia. / Juon kahvin. Tuon paperia. / Tuon paperin. Ostin sukkaa. / Ostin sukat. Olen syönyt perunoita. / Olen syönyt perunat.*

3. Kohdilla 1 ja 2 on vastineensa subjektisäännöissä. Mutta objekti on partitiivissa vielä kolmannessa tapauksessa, jolla ei ole subjektisäännöissä vastinetta: jos verbin ilmaisema toiminta ei johda tulokseen tai se on kesken, sitä tarkastellaan prosessina. Objektin sijaanvalinnassa suomessa ilmenee ns. aspekti-käsite. Akkusatiivi on resultatiivisen, partitiivi – irresultatiivisen aspektin tunnus. Resultatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että verbin osoittama toiminta johtaa objektin ratkaisevaan muutokseen. Muuten tekeminen on irresultatiivista, esim. *Poika ampui lintua* (joko hän ei lainkaan osunut tai ei ainakaan kuolettavasti), vrt. *Poika ampui linnun. Viime kesänä opetin Pekkaa uimaan* (en saanut tulosta – Pekka ei osaa uida), vrt. *Viime kesänä opetin Pekan uimaan.*

On kuitenkin sellaisiakin lauseita, joissa objektille ei tapahdu mitään. Siinä tekeminen voidaan esittää sekä jatkuvina prosesseina että päätepisteeseen johtavina tapahtumina eli suorituksina, esim. *Luin kirjaa tunnin. / Luin kirjan tunnissa. Olen tutkinut tätä asiaa. / Olen tutkinut tämän asian.*

Monet verbit ovat ominaismerkityksiltään sellaisia, etteivät ne johda selviin lopputuloksiin. Siksi näiden verbien objekti on yleensä partitiivissa, esim.

– tunnetta, suhtautumista, mielenilmaisua merkitsevät verbit: *Halveksin tuollaista tekoa. Vitsi huvitti kaikkia. Ihmettelimme sitä, että... Minua janottaa. Kadehditko häntä? Äiti kehui pokkaansa. Suomi kiinnostaa monia ulkomaalaisia. Poika kiusasi kissaa. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Onnittelemme sinua merkkipäivän johdosta. Pelkään ukkosta. Rakastan sinua. Säälän häntä. Toivoin lahjaksi sanakirjaa. Vihasimme koulua. Vastustan tätä ehdotusta. Väsyttääkö sinua? Äänestäkää minua.*

– jatkuvaa toimintaa merkitsevät verbit: *Katsoimme televisiota koko illan. Kuuntelen radiota joka päivä. Seuraatko tätä sarjafilmiä? Odotetaan vielä muita. Väinämöinen soitti kannella.*

– ajattelemista merkitsevät verbit: *Ajattelen usein sinua. Mieltikää tätä asiaa. Harkitsemme ehdotusta yhdessä. Muistelemme kieliopin sääntöjä.*

– edestakaista liikuttamista merkitsevät verbit: *Heilutin nenäliinaa. Mummo nyökytti päätänsä. Pullon on ravistettava. Kalle silitti kissaa.*

– määrän tai välimatkan muutosta merkitsevät verbit: *Auto hidasti vauhtiaan. Ajaja lisäsi nopeutta. Määrärahaa on lisätty. Olen lyhentänyt / pidentänyt hamettani.*

Objekti on usein akkusatiivissa seuraavien verbien ohessa: *nähdä, tuntea, omistaa, omata, täyttää, peittää, valaista, erottaa*, esim. *Tunnen hänet hyvin. Hän omistaa tämän liikkeen. Heinät täyttävät ladon kattoa myöten. Lumi peittää maan. Aita erottaa tontin toisesta.*

3. Partitiivi predikatiivin sijana

Predikatiivi viittaa tavallisesti subjektiin. Subjektipredikatiivin sijat ovat nominatiivi ja partitiivi. Jos partitiiviobjektin käyttöä koskevat säännöt melkoisesti muistuttavat partitiivisubjektia koskevia sääntöjä, niin partitiivipredikatiivia koskevat säännöt eroavat edellisistä enemmän. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se seikka, että predikatiivi usein on adjektiivi.

Predikatiivin nominatiivin tai partitiivin käyttö riippuu subjektin jaollisuudesta. Jaollisen subjektin predikatiivi on partitiivissa ja jaottoman subjektin predikatiivi on nominatiivissa. Jaollisiin sanoihin lasketaan ainetta ilmaisevat sanat, abstrakti- ja kollektiivisanat, esim. *lumi, tee, rakkaus, raha, aika, lukeminen, kengät* (monta paria), *sakset* (monet), *miehet*. Jaottomiin sanoihin lasketaan konkreettiset käsitteet (ne, jotka voidaan laskea: yksi, kaksi, kolme...), esim. *mies, kurki, auto, sopimus, kengät* (yksi pari), *sakset* (yhdet), *silmät* (silmäpari).

Monikossa olevat sanat voivat olla sekä jaollisia että jaottomia. Jaottomia ovat monikkosanat tai ruumiinjäseniä ilmaisevat sanat tai ne monikot, joiden käsitteen ala on tarkoin rajattu, esim. jaolliset subjektit: *Sanakirjani ovat vanhoja. Voileivät ovat hyviä. Kaikki ovat kivoja*; jaottomat subjektit: *Jalat ovat likaiset. Kasvot ovat pyöreät. Saappaat ovat pitkät. Makuuhuoneen seinät ovat valkoiset.*

Yksikössä olevaa jaotonta sanaa joskus voi käsitellä jaolliseksi, esim. *Tämä omena on hapan* (jaoton käsite). – *Tämä omena on hapanta* (aine). *Sää* (säätinä) *on tänään sateinen* (jaoton). *Ilma* (sää) *on lämmin* (jaoton). – *Ilma* (kaasu) *on lämmintä* (aine).

Yksikön partitiivissa olevana predikatiivina voi esiintyä sekä substantiivi että adjektiivi. Jos predikatiivina esiintyy substantiivi, se ilmaisee:

a) joukkoa tai aluetta, johon subjekti kuuluu, esim. *He ovat samaa sukua. Tapiola on Espoota. Suomi on Eurooppaa. Solomanni on Petroskoita.*

b) ainetta, lajia tai laatua, mitä subjekti on, esim. *Tämä pöytä ja nämä tuolit ovat koivua. Nämä astiat ovat muovia. Jakkara on puuta. Helmet ovat meripihkaa. Taulu on naivismia. Tanssi on valssia.*

Jos predikatiivina on yksikön partitiivissa oleva adjektiivi, silloin joko lauseessa ei ole subjektia, esim. *Täällä on kaunista. Juhlassa oli hauskaa. Aamulla oli sateista. Oliko tunnilla rauhallista? Luennolla oli mielenkiintoista* tai subjektina esiintyy:

a) ainesana tai abstraktisana, esim. *Vesi on kylmää. Ystävällisyys on ilmaista! Tämä on merkillistä. Kaikki on kivaa!*

b) infinitiivi tai sivulause, esim. *On mielenkiintoista kuunnella häntä. On parasta lähteä. Oli varomatonta sanoa niin. On uskomatonta, että voit unohtaa asian. On ihmeistä, että talvi on tulossa. On ihanaa, kun aurinko paistaa.*

Harvemmin on tällaisen subjektin ohessa nominatiivipredikatiivi, esim. *On vaikea(a) tulla. Oli hyvä, että tulit. Ei ole helppo(a) päättää. Olisi parempi mennä sinne huomenna. On hauska kuulla hyviä uutisia.*

Kaikissa tapauksissa, joissa predikatiivi on nominatiivissa, on kyseessä jokin kielen tavallisimmista adjektiiveista: *hyvä, paha* (nämä kaksi adjektiivia ovat tarkoitetuissa tapauksissa aina nominatiivissa), *hauska, ikävä, varma, helppo, vaikea* jne. Selitys kielen tavallisimpien adjektiivien poikkeavaan käyttäytymiseen on se, että partitiivipredikatiivi on ennen ollut paljon harvinaisempi kuin nykyään. Kun se sitten on työntänyt tieltään nominatiivipredikatiivia, ovat nuo kaikkein useimmin käytetyt adjektiivit jaksaneet vastustaa uudistusta ja säilyttäneet nominatiivimuotonsa. [Osmo Ikola, 1972].

Predikatiivi on monikon partitiivissa:

a) kun subjekti on monikossa ja ilmaisee jaollista asiaa, esim. *Metsät ovat vihreitä ja järvet sinisiä. Lapset ovat ekaluokkalaisia. Minkävärisiä nuo omenat ovat? He ovat opiskelijoita. Oletteko iloisia?*

b) kun subjektina on numeroilmaus, esim. Kolme työntekijöistä oli harjoittelijoita. Kolmannes kontrahdeista oli suullisia.

c) kun lause on passiivinen, esim. Vain kerran ollaan nuoria! Kesällä oltiin laiskoja ja levättiin. Kun on tultu lomamatkalta, ollaan ihan rahattomia.

d) kun predikatiivi ilmaisee, että subjekti on yksi jostakin, esim. Hän on maamme parhaita urheilijoita. Tokio on maailman suurimpia kaupunkeja. Hän on minun ystäväni.

4. Partitiivi attribuutin sijana

Attribuutti on substantiivin määrite. Partitiiviattribuutti kuuluu ns. attributiiveihin. Attribuutiivi on substantiivi tai substantiivinen sana, joka ei kongruoi pääsanansa kanssa eikä ole nominatiivissa. Partitiivi on usein osaa tai määrää ilmaisevan sanan attribuuttina. Se esiintyy pääsanansa jäljessä. Näissä lausekkeissa pääsana ilmaisee jotakin mittaa tai määrää, mutta partitiivissa oleva sana osoittaa, mitä se mitta sisältää, esim. joukko ihmisiä; kilo voita; pisara vettä; kupillinen kahvia; osa tätä kaupunkia; ensimmäinen päivä toukokuuta.

5. Partitiivi adverbiaalinen sijana

Adverbiaalit määrittävät verbiä. Ne ilmaisevat toiminnan tapaa, paikkaa, aikaa, syytä, tilaa jne. Adverbiaali vastaa esimerkiksi kysymyksiin: Millä tavalla? Missä? Minne? Milloin? Minkä vuoksi? Verbiin voi myös liittyä määritteitä, jotka vastaavat kysymyksiin: Kuinka kauan? Kuinka pitkän matkan? Kuinka monta kertaa? Kuinka paljon? Nämä määritteet noudattavat samoja sääntöjä kuin objektit, niitä käytetään objektin sijoissa ja sanotaan objektin sijaisiksi määrän adverbiaaleiksi (OSMA:ksi). Tavallisimmin OSMA:n sijana esiintyy akkusatiivi, esim. Viivyn matkalla koko viikon. Koira haukkuu yöt ja päivät. Joka päivä lapsi kasvaa sentin. Partitiivi esiintyy tavallisimmin kielteisissä lauseissa, esim. Emme ole vielä kulkeneet kilometriäkään. Poikia ei tarvinnut kahta kertaa käskeä syömään. Olen täällä ensi kertaa.

6. Partitiivi lauseenvastikkeissa

Lauseenvastikkeet ovat sellaisia rakenteita, jotka sisällöltään edustavat lausetta, mutta joilta puuttuu se lauseen tuntomerkki, että predikaattina on verbin finiittimuoto. Lauseenvastikkeissa predikaattiosana esiintyy verbin nominaalimuoto eli infinitiivi tai partisiippi, joka voi saada nominien ominaisuuksia, nimenomaan sijamuotoja. Partitiivisijaiset partisiipit esiintyvät temporaali- ja fortutiivirakenteen predikaattiosana, partitiivisijainen infinitiivi esiintyy nesessiivirakenteen predikaattiosana.

6.1. Temporaalirakenne

Temporaalirakenne vastaa aikaa ilmaisevaa *kun*-lusetta. Näitä rakenteita on kahta tyyppiä: toinen ilmaisee hallitsevan lauseen samanaikaista tekemistä ja toinen sitä varhaisempaa tekemistä. Hallitsevan lauseen aikaisempaa tekemistä ilmaisevan rakenteen predikaattina on passiivin II partisiippi partitiivissa, esim. Nousetko aina herättyäsi? – Nousetko aina, kun olet herännyt? Hän oli vihainen odotettuaan monta tuntia. – Hän oli vihainen, kun oli odottanut monta tuntia. Vieraiden saavuttua istuttiin pöytään. – Kun vieraat olivat saapuneet, istuttiin pöytään.

Tämä tyyppi on syntaktisesti aktiivinen. Passiivisessa päättyneen ajan vaihtoehdossa verbi on samassa muodossa, mutta merkitys vastaa passiivista, kun tekijä jää ilmaisevaksi, esim. Syötyä lähdettiin kävelylle. – Kun oli syöty, lähdettiin kävelylle. Eläkkeelle jäätyä on sitten aikaa puuhailta. – Kun on jääty eläkkeelle, on sitten aikaa puuhailta.

6.2. Fortutiivirakenne

Rakenteessa käytetään *tulla-* ja *saada-*verbiin kanssa passiivin II partisiippia partitiivissa tai translatiivissa ilmaisemaan loppuun saatavaa tai saatettua tekemistä, esim. Me saamme varmasti työn tehtyä vielä tänään. Asia tulee selvitettyksi tämän viikon kuluessa.

*Tulla-*verbiin kanssa fortutiivirakenne voi esiintyä ilman subjektiä. Silloin se ilmaisee tekemistä, joka tapahtuu vahingossa tai ajattelemattomuutta, esim. Joskus tulee sanottua sellaista, mitä ei tarkoita. Tulipa tehdyksi virhe!

6.3. Nesessiivirakenne

Tämä rakenne ilmaisee välttämättömyyttä, velvollisuutta tai sopivuutta. Rakenteeseen voi kuulua *olla-*verbi ja IV infinitiivi nominatiivissa tai partitiivissa, esim. Sinun tuleminen. Sinne ei ole menemistä.

Kirjallisuusluettelo

Hakulinen A., Karlsson F. Nykysuomen lauseoppia. SKS, 1979.

Hakulinen A., Vilkuna M., Korhonen R., Koivisto V., Heinonen T. R., Alho I. Iso suomen kielioppi. SKS, 2004.

Ikola O. Partitiivi subjektin, objektin ja predikatiivin sijana // Kielikello 5. 1972.

Mullonen M. Suomen kielen lauseoppi. Petroskoi, 1986.